Р.С.Ф.С.Р.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ

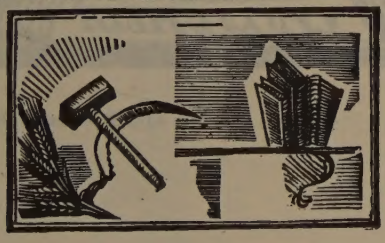
ПЕЧАТЬ
И
РЕВОЛЮЦИЯ

ЖУРНАЛ

ЛИТЕРАТУРЫ ИСКУССТВА
КРИТИКИ И БИБЛИОГРАФИИ

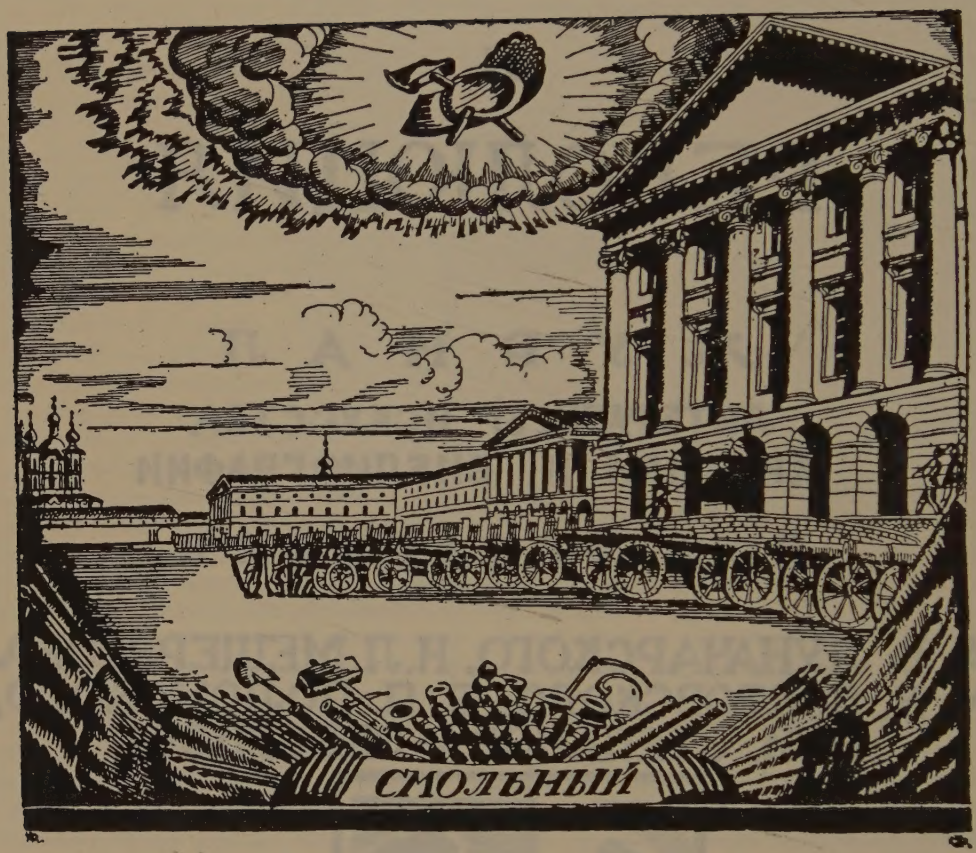
ПОД РЕДАКЦИЕЙ

А. В. ЛУНАЧАРСКОГО, Н. Л. МЕЩЕРЯКОВА,
М. Н. ПОКРОВСКОГО, В. П. ПОЛОНСКОГО,
И. И. СТЕПАНОВА-СКВОРЦОВА.



КНИГА СЕДЬМАЯ
СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ

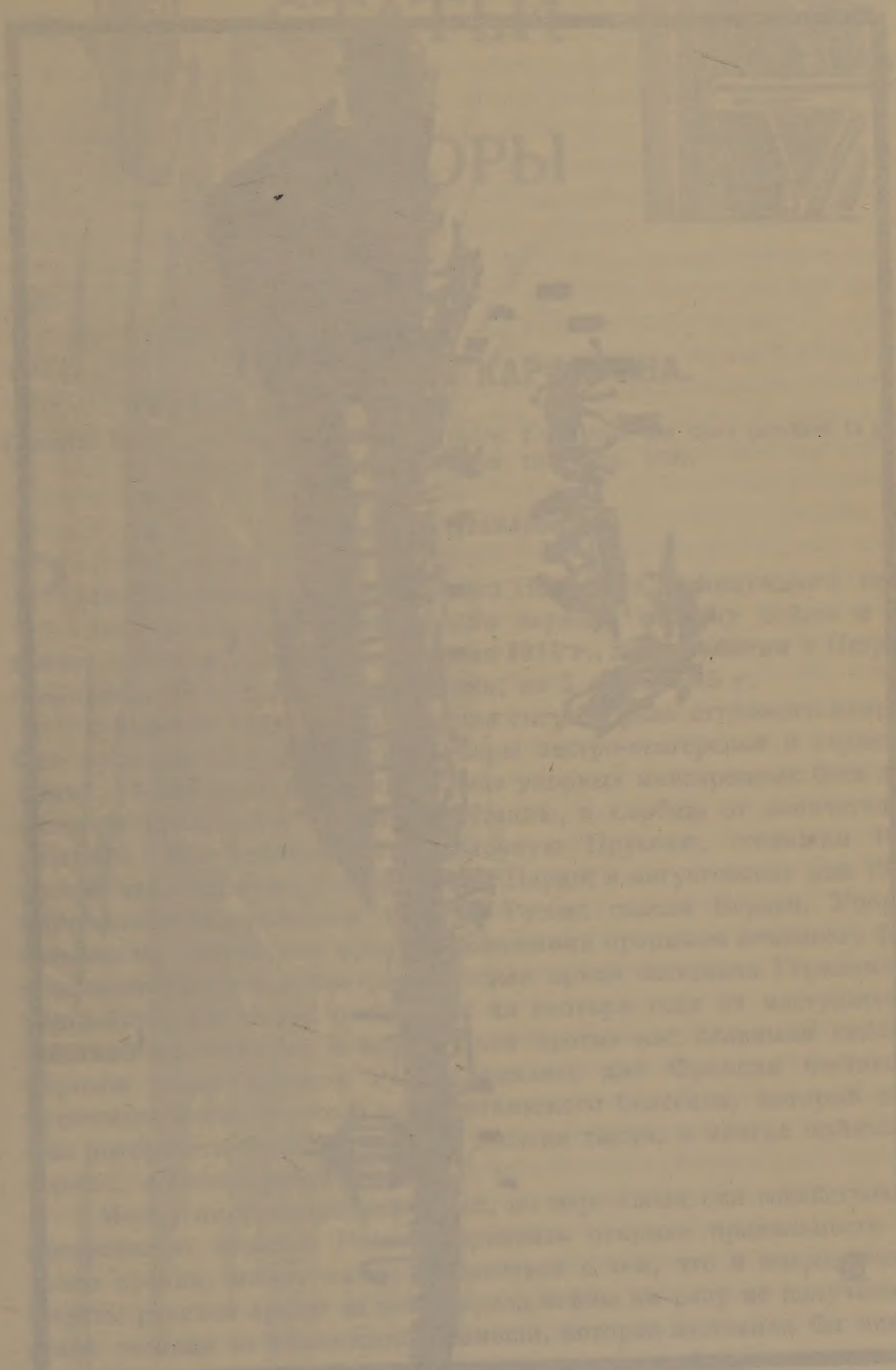
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА □ 1922



статье „Русская графика"

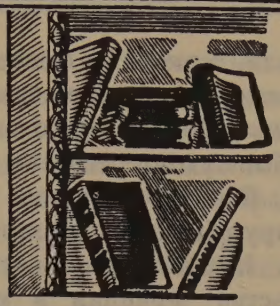
Худ. В. Фидман. Из журнала „Красноармеец"

Редакция номера закончена 10 октября.



В. Фалилеев. У станции.

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ



ПОД ПЯТОЙ КАРФАГЕНА.

(Maurice Paleologue. Ambassadeur de France. La Russie des tzars pendant la guerre. Paris. Librairie Olon. 1921. Стр. 378).

Мих. Павлович.

Роскошно изданная книга Мориса Палеолога, французского посланника в Петрограде, посвящена первому периоду войны и охватывает события, начиная от 20 июля 1914 г., дня прибытия в Петроград президента Французской республики, до 2 июля 1915 г.

В мировой войне русская армия сыграла роль оттяжного пластыря. Она приняла на себя главные удары австро-венгерской и германской армий, обескровила последние в ряде упорных маневренных боев и этим спасла и Францию, и Англию, и Италию, и Сербию от окончательного разгрома. Наступлением на Восточную Пруссию, стоившим России потери целой армии, Россия спасла Париж в августовские дни 1914 г., мартовским наступлением 1916 г. Россия спасла Верден. Упорными битвами на лодзинском фронте, грозившими прорывом немецкого фронта и полным разгромом Австрии, русская армия заставила Германию прервать битву на Изере, отказаться на полтора года от наступательных действий во Франции и повернуться против нас главными силами. В мировой войне царская Россия явилась для Франции поставщиком пушечного мяса, чем-то в роде гигантского Сенегала, который должен был доставлять Франции уже не десятки тысяч, а многие миллионы не черных, а белых рабов.

Может ли французский посол, по мере своих сил содействовавший закабалению царской России, признать открыто правильность такой точки зрения, может ли он согласиться с тем, что в награду за свои жертвы русская армия за весь период войны ни разу не получила серьезной помощи от союзников,—помощи, которая заставила бы немцев и австрийцев в какой-либо критический для русской армии момент перебросить свои силы с восточного фронта на западный?

Морис Палеолог не был бы «дипломатом», т.-е. представителем той породы людей, которым язык дан для того, чтобы скрывать свои

мысли, если бы он в своей книге, которую так расхваливает французская пресса, не дал нам совершенно фальсифицированной истории мировой войны. Прежде всего оказывается, что Франция Пуанкаре совершенно не была заинтересована в провокации мировой войны, не желала последней. Франция приняла участие в войне только *по своему благородству*, из дружбы к России и из желания соблюсти условия союзного договора.

В самом деле, вот как Палеолог рассказывает о причинах вмешательства Франции в мировую войну. Воспользовавшись убийством в Сараеве наследника австрийского престола, Австрия предъявила ультиматум Сербии, мобилизовала свою армию и начала бомбардировать Белград. Тогда царское правительство, под влиянием общественного мнения всей России, заявило, что оно не допустит уничтожения Сербии и объявило мобилизацию всей русской армии. В ответ на этот акт русского правительства Германия предъявила России ультиматум о немедленной демобилизации и, в виду отказа России подчиниться этому требованию, объявила войну России. При таких обстоятельствах *Франция решила выполнить до конца все обязательства союзного договора* и с своей стороны объявила о всеобщей мобилизации французской армии. На этот акт Германия ответила объявлением войны.

Поведение Франции было настолько благородным и бескорыстным *во всей этой истории, что все русские министры* и *сам Николай II* не могли не умиляться перед рыцарским образом действий великой страны. «Я был уверен во Франции», сказал Сазонов Палеологу, когда последний сообщил ему телеграмму Вивиани, заявившего о *решении Франции выполнить все обязательства союзного договора* (стр. 39—40). А вот что сказал Палеологу Николай II: «Я хотел выразить вам всю свою благодарность, все свое удивление перед вашей страной. Показав себя столь верным союзником, Франция дала миру незабвенный пример патриотизма и лойяльности. Передайте, прошу вас, правительству республики мою горячую благодарность». В ответ на эти царские слова Палеолог заявил, что правительство республики будет тронуто благодарностью его величества, и подчеркнул, что *правительство республики действительно заслуживает вполне такой благодарности* за ту решительность и быстроту, с которой оно выполнило свои союзные обязательства» (54 стр.).

Итак, главной причиной войны явился конфликт из-за Сербии между Германией и Австрией, с одной стороны, Россией—с другой. Франция оказалась втянутой в эту войну исключительно в силу условий союзного договора, от выполнения которого французское правительство, по своему благородству, конечно, не могло отказаться. К сожалению, Палеолог не рассказывает нам, для чего, собственно, Пуанкаре приезжал в Петроград 20—23 июля, т.-е. за несколько дней до начала войны, какие беседы он вел с Николаем II и с Сазоновым, какая программа действий была выработана во время этих переговоров? Кто поверит, что Пуанкаре приезжал в Петроград только для того, чтобы показать русским сановникам, что *президент республики умеет говорить, как настоящий само-*

держец (стр. 6), или только для того, чтобы увидеть в столице России сильные рабочие волнения и манифестации, направленные одновременно и против царского и против французского правительств и планов, которые замышлялись последними. Кстати, по поводу этих манифестаций Палеолог притворяется, будто он верит словам петербургского градоначальника, сообщившего ему о том, что среди арестованных руководителей этих рабочих манифестаций обнаружено много агентов немецкой контр-разведки.

Для чего Палеологу понадобилось в своей книге, напечатанной в виде дневника, так фальсифицировать историю и в совершенно ложном виде изобразить роль Франции в происхождении мировой войны? С какой целью вмешательство Франции в мировую войну изображается лишь как результат желания французского правительства выполнить обязательства союзного договора с Россией, чтобы не скомпрометировать Францию, как державу, не выполняющую подписанных ею договоров? Непонятно, почему французское правительство при таком уважении к союзным договорам так убеждало итальянское правительство «наплевать» на договор о Тройственном Союзе и объявить войну и Австрии и Германии, своим вчерашним союзникам, что, в конце-концов, Италия и сделала.

Автор столько раз в своем дневнике сам повторяет слова о «верности» Франции союзу или вкладывает эти слова в уста русских государственных деятелей, что невольно возникает вопрос: «Да неужели соблюдение договора, если этот факт имел действительно место со стороны Франции, представляет столь необычайное явление в истории дипломатии, что о нем французскому дипломату чуть ли не на каждой странице дневника нужно напоминать как самому себе, так и потомству?» На самом деле, не Франция, этот новый Карфаген, выполняла все условия союзного договора по отношению к своему наемнику, царской России, а, как раз наоборот, последняя слепо подчинялась приказам из Парижа и выполняла все условия военной конвенции, подписанной русскими генералами и крайне невыгодной для России, ибо эта *конвенция заранее обрекала русскую армию на верное поражение* [1]) в интересах богатой Франции, осыпавшей золотом царскую династию и царских министров. Что же касается самих обстоятельств, при которых началась война,—несомненно, все дальнейшие шаги царского правительства были предусмотрены во время визита Пуанкаре в Петербург за несколько дней до начала войны, и ясно, что Пуанкаре—ла герр (Пуанкаре—война), который, как проболтался Палеолог, умел говорить как настоящий *самодержец*, действительно вел себя в этот момент как истый повелитель России и предписал дальнейшую программу действий. Мобилизация 13 корпусов русской армии и все остальные военные меры, вызвавшие войну,—все это, конечно, было

[1]) Подробнее о русско-французской военной конвенции и ее влиянии на неудачный для России ход войны на русском фронте см. нашу работу: «Советская Россия и капиталистическая Франция», стр. 13—34.

заранее разработано и одобрено Пуанкаре. Все было разыграно как по нотам, и Палеолог сознательно искажает историю, когда изображает дело так, как будто Франция неожиданно оказалась вовлеченной в войну из-за *русских* интересов.

Та беззастенчивая фальсификация истории, к которой прибегает французский посол, имеет единственной целью оправдать наглые требования, с которыми рыцарская Франция, как бы в награду за ее «верность союзу», обращалась при каждой неудаче на западном фронте к нашему военному командованию, настаивая на немедленном переходе в наступление русских войск. Пользуясь отсутствием всякого искреннего патриотического чувства у царя и некоторых генералов, являвшихся вершителями судеб русской армии в войну 1914—1917 гг., Франция заставляла царское правительство, этого агента французской плутократии, бросать русские войска в преждевременные и совершенно неподготовленные наступления, что влекло за собой иногда бесславную гибель целых армий, но зато спасло союзников от поражения.

С поразительным цинизмом Палеолог рассказывает, желая, очевидно, подчеркнуть свои великие заслуги перед Францией, как настойчиво требовал он от Сазонова и великого князя Николая Николаевича немедленного перехода в наступление русских армий в начале войны, т.-е. когда лучшие вооруженные французские армии отступали перед натиском немцев; с самодовольством описывает, как в беседе 5 августа 1914 г. с великим князем Николаем Николаевичем он прерывает многословные излияния последнего категорическим вопросом: «*Через сколько дней, милостивый государь, вы перейдете в наступление?*» и вырывает обещание у Николая Николаевича бросить русские армии в наступление к 14 августа (стр. 56); рассказывает далее, как после неудачной для союзной армии битвы при Шарлеруа, закончившейся немецкой победой, он требовал от Сазонова перехода в наступление русской армии, хотя эта операция грозила последней верной неудачей. Вот как передает Палеолог ответ Сазонова на требования перехода русской армии в наступление: «*Я не забываю, чем мы обязаны Франции*. Равным образом не забывают этого ни царь, ни великий князь. Следовательно, вы можете быть уверены в том, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь французской армии..., но с практической точки зрения трудности велики. Генерал Жилинский, командующий северо-западным фронтом, находит, *что наступление в Восточной Пруссии осуждено на верную неудачу*, ибо наши войска еще разъединены, и переброска их наталкивается на многие трудности. Вы знаете, что Мазурская область пересечена многими озерами, лесами и реками. *Начальник штаба генерал Янушкевич разделяет мнение Жилинского и решительно высказывается против наступления.* Но генерал-квартирмейстер Данилов утверждает с неменьшей силой, что мы не имеем права оставлять нашего союзника в опасности, и поэтому, несмотря на *несомненную опасность операции,* мы обязаны атаковать немедленно. Великий князь приказал перейти в наступление и, вероятно, операция уже начата» (стр. 102).

Итак, было очевидно, что наступление на Восточную Пруссию было обречено на верную неудачу. Тем не менее, по приказу преступного царского правительства, продавшего русскую армию иностранному государству, которое, подобно древнему Карфагену, было в состоянии сохранить свое положение как велико-державной империи и вести войны с соседями лишь с помощью наемных войск, черных, белых, желтых, 400.000 рабов двинулись в Мазурские болота. Вся эта армия в составе 7 корпусов и 3 кавалерийских дивизий погибла в болотах, после победоносного вначале продвижения, вызвавшего панику в Берлине и заставившего немцев снять с западного фронта два корпуса для защиты прусских поместий—и таким образом, ценой крови русских солдат, Париж был спасен.

После французской победы при Марне, выигранной благодаря жертвам русской армии в Восточной Пруссии,—победы, которая скорее может быть названа *русской* победой, чем *французской*, немцы начали медленное отступление к северу, где они заранее подготовили сильные оборонительные позиции. «Если они нас задержат перед этими позициями,—пишет Палеолог,—победа на Марне не будет столь решительна, как можно было бы ожидать». Кто же должен был помочь Франции довершить победу на Марне? Конечно, те самые белые рабы, сотни тысяч которых своим самозакланием в болотах Восточной Пруссии дали возможность одержать победу под стенами Парижа.

«Я не был удивлен,—говорит Палеолог,—получив сегодня утром (14 сент.) телеграмму от Делькассе, в которой он снова поручает мне настаивать перед императорским правительством о немедленном наступлении русских войск против Германии. В Бордо опасаются, что наши союзники, увлеченные своими сравнительно легкими (sic! *М. П.*) победами в Галиции, не относятся с достаточным вниманием к немецкому фронту, концентрируя все свои силы для открытия пути на Вену» (стр. 128).

По получении этой телеграммы Палеолог отправляется к военному министру и с присущей ему наглостью по отношению к высшим представителям русского командования ставит категорический вопрос: «*Через сколько дней армии районов Немана и Нарева будут способны возобновить движение вперед?*» (стр. 128).

Сухомлинов указывает Палеологу на невозможность начать наступление через несколько дней, подчеркивает невозможность допустить теперь какую-нибудь неосторожность, намекая на катастрофу в Восточной Пруссии, напоминает, что для спасения французской армии Россия пожертвовала 110.000 человеческих жизней при Сольдау,—но этот ответ вызывает негодование со стороны Палеолога, и последний насмешливо заявляет военному министру: «Мы не виновны в том, что генерал Артамонов отступил на 20 верст на левом фланге, не предупредив главнокомандующего».

В беседе с Сухомлиновым, Сазоновым и другими представителями царского правительства Палеолог держит себя как рабовладелец, который купил несколько миллионов русских рабов, одел их в солдатские шинели

и имеет право распоряжаться этим пушечным мясом. И в передаче Палеолога тон ответов Сазонова, Сухомлинова и других руководителей царской России таков, как будто бы действительно русская армия является армией французского Сенегала,—колонии, откуда Франция набирает свои пресловутые чернокожие ударные полки, три четверти которых погибли, выполняя самые опасные операции против немецкой армии.

Особым цинизмом проникнуты страницы, где Палеолог изливает свое негодование по поводу недостачи снарядов в русской армии, и описывает свои разговоры по этому поводу с Сухомлиновым, Горемыкиным и другими. Здесь он говорит с пафосом человека, которого нагло обокрали. Помилуйте, столько французских денег было ухлопано на русскую армию и вдруг оказывается, что последняя должна прервать свое наступление на Берлин из-за недостатка снарядов. Конечно, факт казнокрадства, хищений в русской армии не подлежит сомнению, но мы знаем, что снарядов в первый период кампании не хватало и в Англии и в Франции, несмотря на то, что Америка щедро снабжала обе эти страны всем необходимым вооружением. Колоссальная нехватка вооружения в русской армии объясняется, во-первых, слабостью нашей промышленности по сравнению с германской, во-вторых, *колоссальной ежемесячной убылью в винтовках, орудиях и снарядах* в результате непрерывных боев (см. нашу работу «Советская Россия и капиталистическая Франция», стр. 21—28). Требуя в самом повелительном тоне через посредство Палеолога от нашего командования безостановочного движения вперед, Франция одновременно решительно отказалась уступить нам некоторое количество винтовок из своих запасов. Очевидно, русская армия хотя бы с голыми руками должна была прорываться к Берлину, чтобы дать возможность французскому командованию закончить вооружение своей армии, дождаться прибытия всех английских и американских войск и только затем двинуться в решительный бой при самых выгодных условиях против обессиленных непрерывными сражениями с русской армией немецких войск.

Как исторический документ, объемистая книга Палеолога не представляет особой ценности: дневник французского посла носит во многих местах явные следы фальсификации, записей под старыми датами мыслей, занесенных на страницах дневника гораздо позже. Палеолог относится с особой ненавистью к Сухомлинову, что, конечно, отнюдь не служит к компрометации последнего, а как раз наоборот. Палеолог не мог простить Сухомлинову того обстоятельства, что последний в беседе с послом Франции позволял себе указывать иногда, правда очень редко, на страшные потери русской армии, на невозможность *немедленного* перехода в наступление против немцев, и вообще как будто забывал, что царская Россия является лишь военной колонией Франции и обязана подчиняться беспрекословно приказам метрополии. Однако, следующее место, занесенное в дневник Палеолога под датой 15 августа, то-есть до начала русского наступления на Восточную Пруссию, явно вставлено в дневник гораздо позже, очевидно, для иллюстрации прозорливости, дальновид-

ности французского посла, его умения угадывать людей при первом взгляде. Вот эти любопытные строки:

«Внушающая сомнение личность—этот генерал Сухомлинов. 65-летний возраст; находится под башмаком жены, довольно красивой и моложе его на 32 года; интеллигентный, ловкий, проныра. Раболепный по отношению к царю, друг Распутина; окруженный канальями, которые служат ему посредниками в его интригах и взяточничестве, потерявший способность к труду и сохраняющий все свои силы для брачных наслаждений, недоверчивый вид и глаза вечно настороже под тяжелыми и сморщенными веками—таков Сухомлинов. Я знаю немногих людей, которые с первого взгляда внушали бы такое к себе недоверие, как Сухомлинов»...

Эти отрывистые строки, как бы незаконченные и неотделанные, должны свидетельствовать о том, что они писались на скорую руку под впечатлением свидания с Сухомлиновым. Но это только литературный трюк, которым наш дипломат никого не обманет, кроме наивных французских обывателей. На самом деле несомненно, что эти строки написаны после процесса над Сухомлиновым. При всем нашем отрицательном отношении к бывшему царскому министру, в интересах беспристрастия, нужно сказать, между прочим, что те резкие выпады, которыми изобилует книга Палеолога по адресу Сухомлинова, говорят лишь в пользу последнего и заставляют предполагать, что не все преступления, которые вменялись в вину Сухомлинову, могут считаться доказанными. Если судить по книге Палеолога, главное преступление Сухомлинова заключается в том, что этот человек при всей своей продажности, карьеризме и слабоволии никак не мог забыть в иные минуты, что он все же министр русской армии, а не командующий французскими колониальными войсками, обязанный по первому приказу из Парижа бросать свои неподготовленные армии в бой, хотя бы с риском погубить их в неравном бою, с единственной целью дать армиям метрополии возможность выиграть время и выбрать подходящий момент для верной победы...

Значительная часть книги Палеолога посвящена Распутину, императрице, Вырубовой и прочим пикантным сюжетам, крайне интересным для французского обывателя. В этой части французский посол ничего нового нам не сообщает и, очевидно, черпает все свои сведения из салонных разговоров и сплетен.

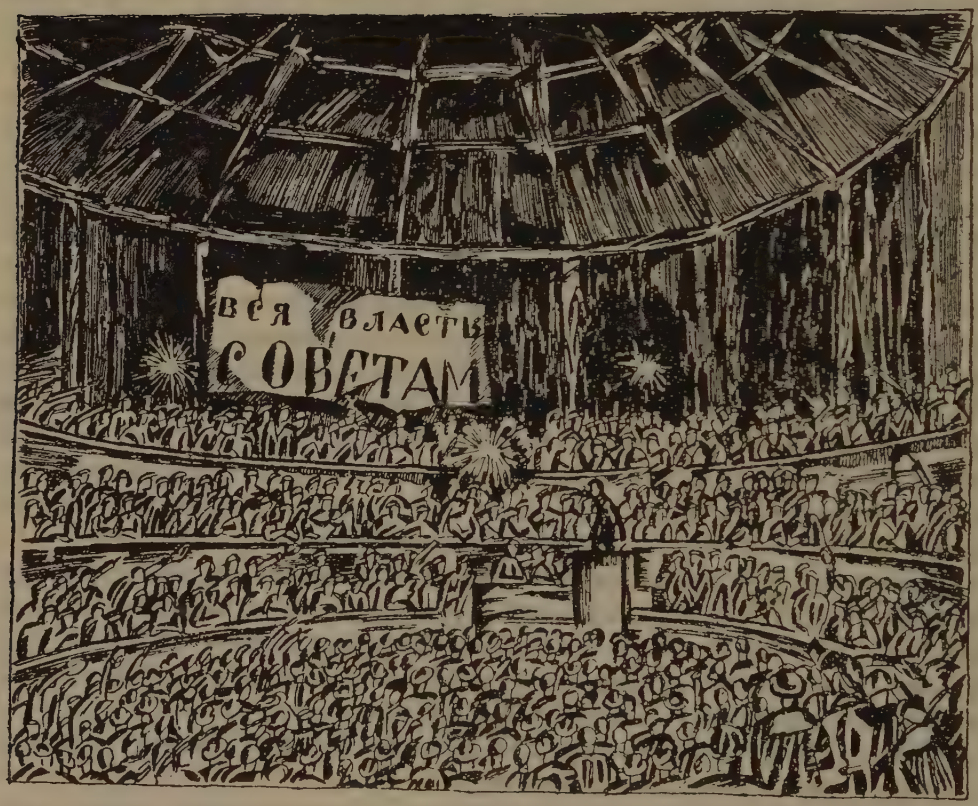
На стр. 174 своей книги под датой от 17 окт. 1914 г. Палеолог посвящает свое внимание т. Ленину.

«Не является ли Ленин немецким провокатором?» спрашивает Палеолог некоего В., своего информатора, имеющего доступ в революционные круги.

«Нет,—отвечает информатор,—Ленин человек неподкупный. Это—фанатик, но необыкновенно честный, внушающий к себе всеобщее уважение».

«В таком случае он еще более опасен», отвечает Палеолог.

Книга Палеолога, как все подобные произведения бездарных дипломатов, литературных шулеров, фольсификаторов и героев крапленых карт, которые автор не раз пытается подбросить читателю, интересна для нас не тем, что̀ автор хотел сказать в своем патриотическом произведении, а как раз наоборот, именно тем, чего автору не удалось скрыть при всей ловкости своих рук, главным образом, факта самой беспощадной эксплуатации русской армии и всех военных рессурсов России в интересах Франции.



К статье „Русская графика".

Худ. Кринский. „Митинг в цирке Модерн".
Из журнала „Красноармеец"

ГРАФ С. Ю. ВИТТЕ.

«Воспоминания.—Царствование Николая II». Том II, издан. 2-ое. Книгоиздательство «Слово», 1922 [1]).

М. Н. Покровский.

Второй том «Воспоминаний» Витте, как и следовало ожидать, дает гораздо больше первого. Автор, разумеется, не переменился. Попрежнему это, прежде всего, чиновник очень высокого ранга, весьма занятый карьерой своей и своих соперников. Попрежнему это не просто воспоминания много видевшего на своем веку старика, но апология политического деятеля, своего рода обширная защитительная речь, где о врагах сказано все худое, что только можно было собрать, а о себе — одно хорошее. Эта черта во второй части даже гораздо выпуклее, чем в первой. Тут мы как раз имеем возможность кое-что проверить по документам, уже опубликованным: и достаточно сравнить подлинные доклады Витте-премьера Николаю (напечатанные в № 9 «Былого» за 1918 год), чтобы не поверить тому, что рассказывает Витте-историк о своих, якобы, мягкости и лойяльности по отношению к революционерам, которые он старается так выгодно противопоставить беспардонной жестокости Столыпина. «Экстренно принять самые решительные меры», «ничем не стесняясь, задушить восстание», «с кровожадными мятежниками расправляться самым *беспощадным* образом» (курсив Витте),—такие фразы мелькают в докладах на каждом шагу. И «мягкому» Витте не удается скрыть,—да он, как умный человек, об этом даже и не хлопочет,—что кровавые расправы Ренненкампфа и Меллера-Закомельского в Сибири ложатся на его совесть: именно ему, Витте, принадлежит самая идея знаменитых «карательных поездов» [2]).

С революцией повторяется точка в точку то же, что было с японской войной. На Дальнем Востоке Витте был не меньшим империалистом, чем Николай II, но империалистом *умным*. В этом вся разница. Витте тоже шел к войне с Японией, но шел осмотрительно, надеясь выбрать момент, наиболее благоприятный для русского самодержавия. Николай

---

[1]) О первом томе см. «Печать и Революция», книга I, 1922 г.

[2]) «Воспоминания», II, 130.

выбрал момент и условия, максимально неблагоприятные. Но и тот и другой, и Николай и Витте одинаково смотрели на миллионы людей, зависевших от их воли, как на материал для разрешения задач, в которых эти миллионы вовсе не были заинтересованы. *Морально* Витте нисколько не лучше того, кого он так яростно критикует на всем протяжении своих «Воспоминаний». Вся разница—интеллектуальная. У одного был расчет, у другого—«из ряда вон выходящее мальчишеское безумие» [1]).

То же самое и относительно революции. Уже по поводу I части «Воспоминаний» нам приходилось отмечать, что Витте прекрасно понимал, откуда грозит «Романовым» главная опасность. Во II части есть не менее любопытные иллюстрации этой точки зрения. Сравнивая Гучкова и Урусова, Витте разражается такой тирадой: «А г. Гучков, ведь он исповедывал те же идеи, был обуян теми же страстями, как и кн. Урусов, и проявлял их более демонстративно, как до 17 октября, так и после, а как только он увидал народного «зверя», как только почуял, что, мол, игру, затеянную в «свободы», *народ* поймет по-своему, и именно *прежде всего пожелает свободы не умирать с голода, не быть битым плетьми и иметь равную для всех справедливость*, то в нем, Гучкове, сейчас же заговорила «аршинная» душа, и он сейчас же начал проповедовать: государя ограничить надо не для народа, а для нас, ничтожной кучки русских дворян и буржуа-аршинников определенного колера» [2]).

Задача Витте в том и состояла, чтобы разрознить, дезорганизовать поднявшуюся народную массу—построить своего рода мол, о который разбивались бы волны взбушевавшегося океана. Для этого нужно было собрать воедино всех, заинтересованных в «поддержании порядка», а незаинтересованных заинтересовать. Актами же грубого произвола, беспорядочными расстрелами можно было достигнуть только противоположного, и прежде всего распугать либеральную буржуазию, которая должна была составить фундамент сооружавшейся Витте дамбы. Что можно итти и другим путем,—путем прямого насилия, укрощая «зверя» исключительно ударами бича, это Витте сознавал с первой минуты, и можно ему поверить, когда он рассказывает, как он предлагал на выбор Николаю альтернативу: или «решительно и систематически» «итти против течения», или итти путем подкупа (иначе «конституционным») [3]). Но второе ему казалось прочнее, а главное, не было опыта, который бы ручался, что первым путем можно чего-нибудь достигнуть. Когда Столыпин взял власть в руки, в прошлом были уже декабрьские баррикады, была уже попытка вооруженного восстания самого опасного элемента народной массы, рабочих,—попытка, обошедшаяся старой власти гораздо дешевле, чем она могла ожидать. Этого факта, что Витте выступил *перед* декабрем, а Столыпин—*после* декабря, никогда не нужно забывать при оценке двух политических линий.

---

[1]) Воспоминания, II, стр. 47.
[2]) Там же, стр. 62. Курс. наш. *М. П.*
[3]) Там же, стр. 8.

Каково было настроение *перед* декабрем, на этот счет «Воспоминания» дают несколько ярких иллюстраций. Когда Витте с проектом манифеста ехал на пароходе в Петергоф, тут же ехал обер-гофмаршал двора Бенкендорф, все время плакавшийся, «что у их величеств пятеро детей,— так как, если на-днях придется покинуть Петергоф на корабле, чтобы искать пристанища за границей, то дети будут служить *большим препятствием*» [1]). А в самом начале декабрьского восстания фактический главнокомандующий русской армией, вел. кн. Николай Николаевич, развивал перед Витте такие соображения: «При теперешнем положении вещей задача должна заключаться в том, чтобы охранять Петербург и его окрестности, в которых пребывает государь и его августейшая семья, что у него (Ник. Ник.) на это теперь достаточно войск, но в обрез; если он уделит хотя малую часть, то в случае, Боже сохрани, восстания в Петербурге и его окрестностях войск не хватит. *Что же касается Москвы, то пусть она пропадает.* Это ей будет урок. Когда-то Москва была, действительно, сердцем и разумом России, теперь это центр, откуда исходят все антимонархические и революционные идеи. Никакой беды для России от того, если Москву разгромят, не произойдет» [2]).

В своей панике Николай Николаевич не замечал, что при его версии Москву и «громить»-то некому будет. Фактически, высшее военное командование шло на две столицы—на повторение комбинации 1608 1610 годов: Тушино и Москва. В Питере Николай, а в Москве... Имени Ленина еще не было, в те дни на всех устах гремел случайный «человек дня», Хрусталев-Носарь, ничтожество которого Витте, впрочем, отлично понимал [3]). Был страшен «зверь», а не его случайные вожаки. И то, что не кто-нибудь, а сам главнокомандующий готов был бросить в пасть «зверю» вторую столицу России (лишь бы не сожрал сразу!), показывает, как мало были преувеличены надежды и противной стороны. *Психологически* условия для революции типа французского февраля 1848 года были налицо, но *события опередили организацию масс.* Революция интеллигенции отстала от революции рабочих и крестьян, массы ринулись в бой, не дожидаясь, пока они станут боеспособными; и тут оказалось, что одной психологии против пушек и пулеметов мало.

Но «зверю» готовы были делать не только географические уступки. «Воспоминания» открывают уголок картины, которая полностью скрывается еще в неизданных архивных документах. Мы много знаем, много говорили и писали об аграрной политике Столыпина. Не имевшие практических последствий, аграрные проекты правительства зимы 1905—1906 гг. почти совершенно неизвестны, а между тем, для психологии правящих кругов они не меньше характерны, чем истерические рассуждения Бенкендорфа и Николая Николаевича.

---

[1]) Там же, стр. 31. Курс. Витте.

[2]) Там же, стр. 153. Курсив мой. *М. П.*

[3]) Там же, стр. 117 и 122. В фактических подробностях здесь, как и во всем, что касается революционного лагеря, Витте невообразимо путает.

Как-то раз,—говорит Витте (из другого места его рассказа видно, что это происходило «в первые недели после 17 октября»),—я приехал в Царское Село с докладом к его величеству. Меня в приемной встречает Трепов, заводит разговор о сплошных восстаниях крестьянства и говорит мне, что для того, чтобы положить конец этому бедствию, единственное средство—это *немедленное и широкое отчуждение помещичьих земель в пользу крестьянства*. Я выразил сомнение, чтобы ныне, накануне созыва государственной думы, можно было принять такую поспешную и мало обдуманную меру. Он мне ответил, что все помещики будут очень рады такой мере. «Я сам,—говорит генерал,—помещик и буду весьма рад отдать даром половину моей земли, будучи убежден, что только при этом условии я сохраню за собою вторую половину». Государь мне (Витте) во время доклада об этом по существу не говорил, но только передал записку с проектами, сказав: «Обсудите эти предположения в совете министров. Это записка и проект профессора Мигулина». Это была записка о необходимости принудительного *отчуждения земель в пользу крестьянства*, как мера, которую необходимо принять *немедленно непосредственною волею и приказом самодержавного государя*. Я, конечно, сейчас же понял, кто доставил эту записку государю... После доклада меня Трепов опять встретил и убеждал, *как помещик*, провести меру, предлагаемую в переданной мне записке, как можно скорее, *покуда крестьянство еще не отняло всю землю у помещиков*» [1]).

Витте очень хотел бы свести все дело к панике ненавистного ему Трепова. Но вот другой свидетель, пользующийся всеми его симпатиями. «Тогда (в декабре) приезжал в Петербург генерал-адъютант Дубасов, бравый, благородный и честный человек [2]). Он приехал из Черниговской и Курской губерний, куда он был назначен с особыми полномочиями в виду сильно развившихся там крестьянских беспорядков. Он явился ко мне и подробно рассказывал о положении дела и *высказывался в том смысле, что лучше всего было бы теперь же отчудить крестьянам те помещичьи земли, которые они забрали*, и на мое замечание, что на принудительное отчуждение не пойду без обсуждения дела в государственной думе и государственном совете после открытия этих учреждений, он высказал мнение, что теперь такою мерою можно успокоить крестьянство, а потом «посмотрите, крестьяне захватят всю землю, и вы с ними ничего не поделаете» [3]).

Уступку, на которую не решались кадеты и эс-эры летом 1917 года, готовы были сделать помещики поумнее уже осенью 1905—20-го Декабрь и тут разбил очарование революции, и когда в январе следующего года министр земледелия Кутлер вздумал разрабатывать дальше идеи Мигулина (проект последнего был отвергнут советом министров перед декабрьскими днями), это вызвало высочайшее неблаговоление

---

[1]) «Воспоминания», II, 172. Курсив наш. *М. П.*

[2]) Всем известный московский ген.-губернатор, расстреливавший Пресню. *М. П.*

[3]) «Воспоминания», II, 174. Курсив наш. *М. П.*

и отставку нетактичного министра земледелия, который с горя «пошел в кадеты» [1]).

Почему Витте «передержал» реформу, и она «села», как перепеченный кулич? Была ли это его индивидуальная ошибка? Сам творец псевдоконституции в России готов все совершающееся объяснить индивидуальными ошибками действующих лиц. Он и не замечает, что его рассуждения о «звере» (он же «сознательный пролетариат» в другом месте) совершенно опрокидывают его исторический индивидуализм. На самом деле Витте был воплощением *класса*, и, хотя он не сознавал этого, интересы этого класса определяли его политику. И вот тут, в этой классовой плоскости, мы встречаем любопытное совпадение. *Дворянство в России 1905 года, как во Франции 1789-го, было щедрее к крестьянству, нежели буржуазия.* Во Франции 4 августа дворяне отказались начисто от всех феодальных привилегий, а господствовавшая в Национальном собрании буржуазия засаботировала этот отказ, превращая упразднение феодальных привилегий в фикцию и тем все дальше и дальше загоняя крестьянство в революцию. Дворяне больше боялись за свою шкуру и рады были откупиться частью своих доходов; буржуазия, чувствуя себя в безопасности в городах, больше боялась за капиталы, вложенные в дворянскую землю, и не желала терять из них ни копейки. И у нас дворянство, непосредственно громимое в своих усадьбах, было готово поступиться половиной земли, чтобы спастись от погрома, в тайной надежде, без сомнения, что с этой половиной канет в вечность и *весь* его долг банкам. Кто и как будет платить этот долг, дворян мало занимало: земли же все-таки оставалось в руках много, особенно у крупнейших владельцев. Напротив, буржуазия, державшая в руках акции и облигации земельных банков, была в первую голову заинтересована в обеспечении земельных долгов помещика,—выкупная операция шла для нее в первой линии, и просто швырнуть землю мужику она не могла.

Такова была *экономическая* подоплека этого классового противоречия, совпадение которого в двух великих революциях необычайно характерно. Она, конечно, современниками не сознавалась, но они вполне сознательно брали дело с *политического* конца. Читатель уже заметил, конечно, что Николай и Трепов настаивали на объявлении народу о земельной уступке, как о высочайшей милости—*они хотели повторить 19 февраля*, а Витте настаивал, чтобы это был *законодательный акт думы*, т.-е. чтобы уступка явилась в глазах крестьянина *даром из рук бунтующей против самодержавия буржуазии*. Противоречие било в глаза настолько, что едва ли Витте мог его не понимать, и придворные толки будто Витте хочет быть первым президентом русской республики, едва ли по существу были так же нелепы, как по форме. Конечно, ни о президентстве, ни о республике Витте не мечтал, но что он не хотел зависеть от Николая и его камарильи, хотел выступить в качестве самостоятельной силы, это не подлежит никакому сомнению. И наметилось это противоре-

[1]) «Министра земледелия Кутлера, честного, умного и дельного человека» «травлею загнали в лагерь партийных левых кадетов». Там же, стр. 77.

чие гораздо раньше, чем стал на очередь земельный вопрос. Противоречие вскрылось уже в самый момент 17 октября, когда Николай настаивал, чтобы поворот в политике был отмечен высочайшим манифестом, а Витте убеждал, что его, Витте, доклада, с одобрительной резолюцией Николая, совершенно достаточно. Смысл конфликта был настолько понятен, что именно с этой минуты в придворных кругах и пошли толки о «президентстве» [1]). И, пытаясь втолковать Николаю, что манифест больше его обязывает, чем резолюция, Витте шил слишком белыми нитками. Николай был гораздо хитрее, чем может показаться читателю «Воспоминаний»; ловушку он легко разглядел, и с этой минуты судьба Витте могла считаться решенной. В глазах самодержавия он был изменник, и едва ли самодержавие не было в этом случае совершенно право. Хочешь или не хочешь, издевательница-судьба заставляла старого царского сановника, почитателя Александра III, ставить ставку на революцию. Ее успех, хотя бы минимальный, был минимальным условием, чтобы Витте мог удержаться у власти. Ее полный разгром превращал Витте в крайне подозрительную для Николая ненужность, которую по меньшей мере надо убрать, если не прямо уничтожить.

Как опорная точка, для Витте необходима была, таким образом, буржуазия: не во главе же «сознательного пролетариата» было ему становиться. Кое-какие поползновения и в этом направлении у автора «17 октября» были: всем известные «братцы рабочие» (об этом «Воспоминания» стыдливо умалчивают), сношения с Ушаковым и Гапоном, которые Витте старается свести к самым скромным размерам, намечают эту тенденцию. Но «братцы» отвечали на заигрывания такими звонкими оплеухами, что на сколько-нибудь продолжительное время сохранить иллюзии в данном вопросе не мог бы и человек менее умный, нежели Витте. Серьезной опорой в возможности оставалась, повторяем, конечно, *только буржуазия*. Она была нужна Витте до-зарезу. Был ли ей нужен Витте? Тут был «кризис» всей трагедии.

С делающей, опять-таки, честь Витте практичностью, он думал опереться на политически наиболее организованную часть буржуазии в лице кадетов. Воспользовавшись визитом к нему И. В. Гессена, приходившего нащупывать почву насчет легализации «партии народной свободы», Витте затеял с ним разговор. «Я ему сказал, что вообще к взглядам этой партии отношусь симпатично и многие воззрения ее разделяю и что поэтому я готов поддержать ее (!), но при одном *непременном* условии, чтобы она отрезала революционный хвост, т.-е. резко и *открыто* стала против партии революционеров, орудовавших бомбами и браунингами. На это мне Гессен ответил, что они этого сделать не могут и что мое предложение равносильно тому, если бы они нам предложили отказаться от нашей физической силы, т.-е. войска во всех его видах» [2]).

---

[1]) См. всю главу XXXIV («Манифест 17 октября»), особенно стр. 29—30 II тома «Воспоминаний».

[2]) «Воспоминания», II, 195. Курсив везде Витте.

Итак, под первым впечатлением победы рабочих (разговор происходил «в течение ближайших дней после 17 октября») кадеты предпочитали получить власть из рук «зверя», а не из рук его укротителей. Почему—на это ответ дан был Витте Милюковым, который тоже вел с только что назначенным премьером разговор на ту же тему (при чем по версии Милюкова выходит, что инициатива обоих бесед, и с Милюковым и с Гессеном, исходила от самого Витте). «Общественные деятели, популярные в стране, к вам теперь не пойдут,—сказал ему Милюков,—потому что вам и правительству вообще никто не верит. Приобретите сперва право на доверие, доказавши серьезность своих намерений» [1]).

«Недоверие к правительству»—это как будто звучит революционно по тогдашним временам: это был лозунг тогдашней крайней левой. Милюков и спешит предупредить подобное недоразумение: «Я продолжал: я не знаю тех полномочий, которыми вы располагаете. Если верить слухам,—боюсь, что они недостаточны» (я говорил об этом со слов моего французского приятеля Поля Бойе, посетившего перед этим Витте и в этом убедившегося). Сомнения кадетов относились не к искренности намерений Витте, а к его *силе*. Не сильнее ли окажется «зверь», нежели этот царский министр, ненавидимый своим царем? Не отдаст ли «зверь» короны, снятой с этого царя, буржуазии? События марта—апреля 1917 года показали, что абсолютно бессмысленным такой прогноз не был. Наиболее ограниченная и трусливая часть интеллигенции (а это—увы!—и в 1917 и в 1905 годах было большинство) могла убедить массы отдать руль в руки «опытных» вождей буржуазной реакции. Но этот прогноз, как само собою разумеющееся, предполагал материальную, физическую победу масс—победоносное вооруженное восстание. И кадеты *перед декабрем* ставили ставку на революцию, повидимому, так же мало сознавая это, как и Витте.

Откуда бы ни пошли, мы всюду встречаем то же «преддекабрьское» настроение, кружившее голову одним, заставлявшее растерянно опускать руки других. Декабрь развеял чары и показал в то же время, где кончается субъективное и где начинается объективное, над которым никакие «психологии» были уже не властны.

В самом деле, не вся же история последних месяцев 1905 года объясняется психологией. Не говоря уже о нелепости такого объяснения с точки зрения марксизма, оно просто исторически недостаточно, ибо оставляет нас недоуменными перед целым рядом вопросов. Если все дело было в ужасе перед грядущим восстанием, отчего же все сделанное ранее не рассеялось тотчас же, как только восстание разразилось, наконец, и пало под царскими штыками? Почему все-таки была созвана дума, все-таки остались кое-какие свободы, а проекты «принудительного отчуждения» дожили до лета 1906 года? Почему сам Витте пал — вторично и окончательно—только в апреле этого года, а не в январе? Какая вообще была *объективная*, а не психологическая подкладка 17 октября?

---

[1]) П. Н. Милюков. «Три попытки» (из истории русского лжеконституционализма). Париж, 1921. Стр. 23—25.

Этого вопроса особенно уместно коснуться здесь, потому что как раз «Воспоминания» Витте дают почти исчерпывающее объяснение объективной необходимости событий, поскольку творящим агентом для последних являлась государственная власть. Странное дело: мы теперь лучше знаем, почему Николай уступал рабочим, нежели почему рабочие на него наступали—не вообще почему одни наступали, а другой уступал,—это давно всем понятно, а почему это случилось именно тогда, в октябре 1905 года. Что развязало пролетарскую революцию *именно в этот момент*, нам скажут только архивные документы, к изучению которых мы едва приступаем. Но почему «дураки испугались» первого же порыва начинавшегося шквала [1]), на это почти полный ответ можно найти уже в мемуарах Витте.

В момент выступления рабочих самодержавие было затронуто в своих наиболее «жизненных частях»: оно не могло положиться на свое *войско* и не было уверено в прочности своих *финансов*? Относительно последних дело стояло даже хуже. «Финансовый устой—золотая валюта была поставлена на карту и зависела от того, заключу ли я заем или нет, т.-е. даст ли нам Европа денег, чтобы выйти из трудного положения», пишет Витте уже об эпохе *после* разгрома вооруженного восстания, об январе 1906 года [2]). А Европа требовала прежде всего другого доказательства «восстановления порядка» в России. Победы над вооруженным восстанием «Европе», т.-е. парижской бирже, повидимому, показалось достаточно—она была оптимистичнее Витте; последний на союзе с интернациональной буржуазией прогадал, так же, как просчитался он и на буржуазии туземной. Но преувеличенные, может-быть, в январе 1906 года страхи Витте были вполне обоснованы в октябре, перед лицом развертывавшейся рабочей революции [3]). Продолжение «анархии», действительно, грозило лишить царское правительство всякого кредита за границей.

А то, что происходило в действующей армии (мир с Японией был уже заключен, но демобилизация только что начиналась), не давало осведомленным людям никакой надежды и на то, что «анархию» удастся раздавить открытой силой.

«В Манчжурии знали,—пишет Витте,—что вообще в России неспокойно, что смута, начавшаяся еще до войны, во время ее все усиливалась и усиливалась. Затем, когда в сентябре и октябре 1905 года беспорядки участились и распространились на большие пространства, явились забастовки и, вследствие забастовок почты и телеграфа, целыми неделями перестали получаться в армии сведения, достойные какого-либо доверия, то там начали распускаться самые невероятные сведения. Так, государь сам

---

[1]) См. Л. Троцкий. «1905», стр.115.

[2]) «Воспоминания», II, 146.

[3]) Мы не останавливаемся здесь на моменте, совершенно не затрогиваемом и Витте: весна 1906 г. и для французской буржуазии была крайне тревожна. Стачка вспыхивала за стачкой, и 1 мая ждали в Париже с великим страхом. Это опять создавало «международную солидарность».

мне говорил, что князь Васильчиков (затем в кабинете Столыпина впоследствии занимавший пост министра земледелия, а во время войны бывший уполномоченным Красного Креста в действовавшей армии), возвращаясь после заключения мира в Россию, до самого Челябинска не знал точно, что в ней делается, и ожидал, судя по рассказам, приехавши в Россию, не застать уже в ней царскую семью, которая будто бы бежала за границу, а меня с моими коллегами по министерству ожидал увидеть на Марсовом поле висящими на виселицах. Так всюду за Челябинском ходила молва.

«Я не знаю, найдется ли между военными, бывшими в действующей армии, лицо, которое правдиво и точно опишет то революционное настроение, в котором после 17 октября пребывала действующая армия. Мне известно то настроение, в котором она находилась, со стороны, но на довольно высокой позиции премьера министерства. Я вынес то глубокое впечатление, что армия после 17 октября находилась в весьма революционном настроении, что многие военачальники скисли и спасовали не менее, нежели некоторые военные и гражданские начальники в России, что армия была нравственно совершенно дезорганизована и что шел поразительный дебош во многих частях возвращавшихся в Россию до тех пор, покуда ему не был положен, по моей инициативе, предел посредством карательных экспедиций генералов Ренненкампфа и Меллера-Закомельского и смены главнокомандующего генерала Линевича» [1]).

Без денег и без солдат вести какую бы то ни было войну, хотя бы междоусобную, нельзя—«передышка» была абсолютно необходима самодержавию, и если бы даже Николай не понял этого своими собственными мозгами, возле него был Трепов, который мог ему это растолковать. Витте был использован исключительно в целях передышки,—и то, что такую крупную рыбу Царскому Селу удалось поймать на удочку, ясно показывает, что там были уже не такие дураки, каких хотел бы видеть одураченный автор манифеста 17 октября. Вся вторая часть «Воспоминаний» пропитана желчью человека, обозленного донельзя тем, что его «провели», но факт остается фактом: Трепову, опираясь на Николая, действительно, удалось провести Витте. Он мог бы утешаться тем, что провели не одного его. В еще более дурацком положении оказались те, кому он протягивал руку за помощью во имя *классового* интереса—и которые отказались помочь, увлекаемые совершенно химерическими *партийными* расчетами. Ни Витте, ни кадеты не умели понять динамики революции—и окончательный верх должен был остаться за теми, кто на этой динамике строил все свои расчеты. Витте удержался пять месяцев, его тогдашние противники в 1917 году—два, большевики стоят у власти уже пять лет.

Для тупости великого финансиста и талантливейшего бюрократа последних лет романовской династии, тупости именно в этом отношении,—в отношении революционной тактики, чрезвычайно характерно, что он даже названия «большевики» не знал. Витте понимал «что» революции—

[1]) «Воспоминания», II, 129—130.

«как» революции оставалось для него загадкой. Все революционеры сливаются у него в одну бесформенную «анархическ и-революционную» партию, при чем из конкретных примеров ясно, что под этим нелепым именем он мыслил прежде всего социалистов-революционеров [1]).

Революция для него была неотделима от бомбы и браунинга. Тут он был таким же индивидуалистом, как и в своей философии истории вообще. Он мог высоко подняться над миросозерцанием придворно-чиновничьего круга, но вырваться из лап классового буржуазного миросозерцания он не мог. Разделял в этом случае участь всей русской буржуазии 1905 да и 1917 года до июля, по крайней мере. Революционеры и для этой буржуазии—прежде всего террористы. Да, это вот серьезные люди, с довольным видом повторял «левый» буржуа после каждого удачного покушения. А социал-демократы, это что ж такое: говорят—и только. И незнакомому с техникой массовой борьбы обывателю казалось даже, что слова—вещь довольно невинная. Поговорят—и перестанут. Отчего не дать потешиться? Не даром Витте великодушно вставил в свой манифест «свободу слова»: самая, наверное, думал он, дешевая монета для расплаты. Что слово может быть страшнее бомбы, это российский буржуа понял только, увидав перед собою массы, поднятые и наэлектризованные революционной агитацией. И тогда он бросился устраивать свои «осваги» и «редагиты». Но было поздно...

Витте до этого не дожил; но уже задолго до своей смерти он должен был убедиться, что бомба и революция отнюдь не синонимы, и что именно этой форме революционной борьбы реакция может научиться как не надо скорее и лучше. Целая глава II части (XLIX) заполнена рассказом о покушении на жизнь Витте, организованном черносотенцами. История самого покушения остается темна и мало понятна и после «Воспоминаний». Получается впечатление, что было не столько серьезное намерение убить, сколько желание хорошенько пугнуть, не без надежды, что напуганный поспешит скрыться с горизонта, от греха. Бомбы были подложены в ту часть дома, где никто не жил, и устроены так, что момент взрыва совсем не зависел от подложившего. При такой обстановке инсинуации насчет того, будто Витте сам подложил эти бомбы, довольно понятны, но тогда совершенно непонятно, зачем он возится с этим делом в своих «Воспоминаниях». Так что желание «попугать» остается наиболее правдоподобным объяснением. И если правильна догадка Витте (он ее излагает не прямо, но в форме весьма прозрачных намеков) о непосредственном участии в этом деле Николая, получается очень колоритная картинка «придворных нравов» в России накануне падения дома Романовых. Картинка, достаточно оправдывающая слова автора «Воспоминаний» о том, что иные люди понимают самодержавие, как «забаву человека, по умственному развитию вечно остающегося полуребенком» (II, 54).

---

[1]) См. особ. стр. 329—330, где рассказывается весьма правдоподобный сам по себе эпизод из жизни эс-эров, именуемых «революционной анархической партией русской».

С точки зрения фельетонной было бы стоющей задачей собрать воедино все эпитеты и характеристики, на которые так щедр Витте по адресу Николая и Александры Федоровны. По отношению к последней он увлекается настолько, что целомудренные издатели «Воспоминаний» заменили местами подлинные строки виттевского текста точками [1]). История от этого потеряет немного, но монархический эпитет г. Иосифа Гессена и К⁰ (как раз он-то и был собеседником Витте в октябре 1905 г.) весьма все же достопримечателен. Вообще же от последней четы русских самодержцев нам осталось столько подлинных документов, вышедших из-под их собственного пера, что в характеристиках явно не беспристрастного современника теперешний читатель не очень нуждается. Стоит внимания другое: чрезвычайно щедрый на всякие, до скандальных включительно, анекдоты о царях, автор не дает нам ни одного *биржевого* анекдота. А сколько у него должно было их быть, при его карьере! Но там—явление преходящее, которое и Витте еще надеялся изжить собственнолично. Конечную катастрофу он, как мы видели из I тома, вполне отчетливо предчувствовал. Ну, а биржа—это учреждение, с буржуазной точки зрения, вечное, ему же конца никогда не будет. И оскорблять ее величество биржу дело куда более рискованное, чем оскорблять ее величество императрицу российскую Александру Федоровну...

К статье „Русская графика" „Митинг на заводе".

[1]) Стр. 138—149.

СУМЕРКИ ИДЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ.

Григорий Баммель.

Говорить о философском мировоззрении современного Запада это значит говорить о тех идеологических формах, в которых нашел свое отражение величайший социально-экономический и политический кризис, охвативший Западную Европу и обнаживший все катастрофическое положение капитализма. Нет надобности указывать, что эти идеологические формы до крайней степени дифференцированы и запутаны, что *философский кризис*, кроме того, находится в теснейшей связи со всеми предыдущими философскими тенденциями в их отношении к социальным и политическим проблемам. Нет надобности указывать, что интересующее нас пятилетие (1917—1922) есть пятилетие с головокружительным темпом развития, с лихорадочным заострением основных социально-политических противоречий, а главное, с еще не закончившимся процессом идеологического распада катастрофически стремящегося вниз, к своей гибели, буржуазного общества. Трудность поставленной задачи ясна; ее сложность не менее очевидна. И не столько существом вопроса создается она, сколько его объемом, сколько включенными в него широчайшими историческими горизонтами. Уже только для того, чтобы охватить философскую литературу последнего пятилетия лишь простым регистрирующим взглядом современника, потребовалось бы не менее 2—3 листов.

Поэтому я ограничиваю свою задачу в двух направлениях: вне моего рассмотрения остаются библиография и историческая генеалогия. От указаний «имен» и «книг», впрочем, я не отказываюсь. По существу же меня интересует *философия гибнущей Европы*, т.-е. кризис мировоззрения и кризис логики, создавшей это мировоззрение, поскольку он выявился в линиях последних судорог капиталистической Европы. Но и в пределах такой постановки многое придется только наметить, кое-что упомянуть лишь мельком и многого, может-быть, совсем пройти мимо. Добавлю еще, наконец,—я сильно сомневаюсь, что в мои руки попало все, что было выброшено на философский рынок политической Европы.

I.

Девятисотые годы принято считать эпохой философского оживления. В богатстве затрагиваемых проблем, в развитии школ, в историко-философских монографиях, связывающих современность с именами

Канта, Фихте, Гегеля, в усмотрении так наз. философской традиции, в разветвлениях неокантианства, строго оформленного как школы,—принято видеть «все признаки философского подъема». В этом есть доля истины, но к этому нужно добавить: бесконечное эпигонство, вопиющее противоречие между школами, порождающими еще всякие иные школки и направленьица, несогласованность тенденции, запутанность терминологии. Чтобы правильно подойти к оценке философских тенденций этой эпохи, однако, нельзя руководствоваться общим логическим впечатлением, вмещающим много несущественных моментов, не нашедших своего выражения в последующих, десятых, годах этого столетия.

Философия девятисотых годов—это методологическая философия. Целое философское поколение отдало все свои силы исследованию и развитию проблем методологии, обоснованию «логических основ точных наук» и «принципиальной сущности» логического образования научных понятий». «Теория метода» и «теория понятий» были призваны объединить отдельные науки в целостном понимании их методов, примирить между ними противоречия и освободить место для «чистой» философии, т.-е. для этой же общей «теории метода». Философия получала самостоятельные цели и задачи, приобретала власть над науками, объединяя их в цельное мировоззрение. Во Франции и в Англии в этом направлении взяли на себя миссию сами ученые (Пуанкаре, Рессель и др.), в Германии (в дальнейшем я буду иметь в виду, главным образом, Германию)—философы-неокантианцы, так наз., «марбургского» направления (Коген, Наторп и др.).

Необычайные успехи естественных наук, быстрое распространение и развитие новых математических теорий и колоссальное значение, завоеванное наукой в промышленной жизни государств—вот что *отчасти* обусловливало интерес философских умов к «проблемам науки», к проблемам методологии в их чисто теоретической постановке; отчасти потому, что этот интерес к проблемам науки в подавляющем большинстве случаев выражался не в логическом обосновании или экспериментальном доказательстве истинности или нецелесообразности данной строго методологической концепции, но в метафизических никому не нужных рассуждениях на тему об «образовании понятий», о «возможности абстракций» и т. д. «Методологический характер этой философии, преобладание теории познания»,—все это должно иметь, следовательно, своим основанием нечто другое. С другой стороны, мы имеем в эту же эпоху школы, вполне аналогичные «методологической» по своим логическим мотивам, но, очевидно, не имеющие никакой связи с развитием отдельных наук. Такова «баденская» школа (Риккерт, Ласк и др.), утверждающая, что философия есть такое учение о «целом» мира, которое примиряет отдельные рассматриваемые специальными науками его части в «одно цельное» «мировоззрение».

Философствующая Европа девятисотых годов находится под знаком влияния идеи либерального парламентаризма. Усиление политической власти государства с развитием монополистических организаций капитализма вызвало к жизни апологию «демократического государства», «парламентарной демократии» в том переодетом философском виде,

о котором я говорю здесь. Парламентарная демократия есть внеклассовая организация, вмещающая и примиряющая социальные и экономические противоречия классов: вот—тезис, который защищается философами обрисованного выше типа. Последние «освобождают», «очищают» философию от чуждого ей влияния отдельных наук для того, чтобы диктовать им свои «методы», свои «условия работы»,—но это означает не что иное, как требование усиления политической власти парламентарной демократии для того, чтобы развязались руки у буржуазного класса, и «внеклассовая» парламентарная демократия явилась орудием ее политики. На этом, однако, влияние политической жизни Германии на философскую мысль не останавливается: политическая реакционность в области философии вынуждает бороться с эмпиризмом, в той форме, в какой мы видим его в Англии, а также в романских и скандинавских странах. В связи с этим можно сделать одно общее замечание. Именно, можно сказать, что понимание задач философии в их отношении к задачам отдельных наук зависит от соотношения государства и входящих в него социально-экономических сил: оно меняется в зависимости от политических форм этого соотношения. Вся английская философия, от Бэкона до Спенсера, с ее тенденцией растворить философию в психологии, в социологии, в естествознании, с ее позитивизмом и релятивизмом, может быть правильно понята только в этой плоскости. Разумеется, развитию позитивистического умонаклонения английской философии способствовали и другие более существенные причины, напр., географическое положение, раннее развитие морской торговли, позволяющее знакомиться с миром на опыте и т. д.; но непосредственно эмпиристическую философию создала именно политическая жизнь. Борьба с эмпиризмом в немецкой философии, известная под именем борьбы с «*психологизмом*», и является отражением *политически реакционной борьбы* с идеями английского парламентаризма.

II.

Главная мысль «антипсихологизма», защищаемая Гуссерлем, сейчас же подхваченная и получившая почти всеобщее признание, заключается в следующем тезисе: вопрос о происхождении знания не совпадает с вопросом о его логическом «значении». В первом случае мы имеем реальный, протекающий во времени, процесс, во втором—знание рассматриваемое «sub specie aeternitatis», как нечто «вневременное», «внепричинное», «вечное». Последняя постановка вопроса, говорят нам, есть истинная постановка, ибо «антипсихологистическая» точка зрения единственно и приемлема для философии, если она хочет быть очищенной от всякого чуждого ей психологического содержания. Отсюда эпитеты «чистый»—«чистая логика», «чистое мышление», «чистая философия» и т. д.

Противопоставление «психологии» и «логики», «временного» и «вневременного», проведенное для обоснования «вневременной логики» необходимо в эпоху всеобщего усиления государственной власти для того,

чтобы категориями «вневременного» и «вечного» прикрыть, оправдать и укрепить политическую реакционность германского парламентаризма.

Усиление государственной власти, служащей интересам капитала, крайне ускоряет процесс концентрирования экономики, процесс быстрого и непрерывного роста предпринимательских монополистических организаций финансового капитала. Но если это так, то сильная государственная власть, обусловливающая усиление монополистического капитала, сама становится все более и более послушным орудием в руках этих же монополистических организаций, в руках немногих магнатов капитала. Этому диалектическому обороту фактов соответствует любопытнейший оборот «антипсихологистической» критики философии. Именно, «антипсихологизм» имел результатом своей критики не «очищение» философии от психологии, но как раз наоборот: открытие и утверждение «чистой психологии». «Психология», которую с презрением отрясали от ног, стала сразу предметом самых горячих споров и монографий, сконцентрировавшихся на проблеме «предмета психологии»: «психология должна быть принципиально «чистой» от всякого логического способа мышления и обработки понятий». Строго говоря, только теперь «открыли» Бергсона. Заговорили о Джемсе. Затем вспомнили Шопенгауера и Ницше, потом В. Дильтея. Наконец, сам Гуссерль объявил себя приверженцем «чистой психологии» («феноменологии»). «Открытая» «психология» воскресила вновь такие понятия, как «жизнь», «переживание», «жизненность», «созерцание», «интуиция», «инстинкт», и такие противопоставления, как «рассудок» и «чувство», неорганическое и органическое, «логическое и алогическое», «научное и интуитивное». Эта «философия жизни» является не только одним из самых доминирующих направлений в современной философии Англии и Франции, но и основным лейтмотивом всего современного философского мышления вообще. «Философия жизни» есть продукт мелкобуржуазной стихии. Ее вождь и вдохновитель Бергсон—типичный представитель *мелкобуржуазного радикализма*.

III.

Расплывчатое и туманное понятие «жизни» стоит во главе угла зрения всей современной философии. «Жизнь» получает бесконечно многообразное содержание оттенков и истолкований, но именно то в ней, что позволяет «жизнь» противопоставлять миру механическому, неорганическому, является характерным для всех представителей «философии жизни». Принцип «жизни» приобретает значение универсальное: в его плоскости обосновывается содержание отдельных наук и философии. В биологии преобладают виталистические воззрения. Физическая наука рассматривает природу с точки зрения теологии, рассматривая «сущность» материи, как нечто непосредственное. В психологии истинным методом провозглашается «непосредственное переживание», «жизненность», «интуиция», а «психическое» рассматривается как «чистая длительность». Выс-

шим категорическим императивом» этика провозглашает: «живи»; этическое усматривается во всем, если это—живое, неустранимое и нейтральное чувство жизни; отсюда религиозный характер подлинно морального, переживаемого как «факт сознания Бога». Логика пересматривает свои понятия, чтобы охватить жизнь во всей конкретности, создается «органическая логика», при чем все знание истинно постольку, поскольку полезно в жизни, т.-е. в конечном счете оно «как будто» истинно, потому что это «как будто» оправдывается жизнью.

Уже из этого беглого обзора основного характера «философии жизни» ясно видно то внутреннее противоречие, которое лежит в ее основе. «Философия жизни» питает отвращение ко всему механическому,—научным схемам, понятиям, системам,—забывая, что она сама пользуется этим же логическим языком понятий для того, чтобы утвердить себя, как мировоззрение. Выступая против интеллектуализма науки, против рационализма, бергсонианство, оформленное как мировоззрение, пользуется рационалистическим методом обработки понятий,—в противном случае ведь нельзя же было бы говорить о какой-либо системе мыслей. Но такова уж сущность мелкобуржуазного радикализма, создавшего Бергсона. Социально-экономическая природа мелкой буржуазии двойственного, внутренне противоречивого характера. Будучи в положении угнетенного класса в условиях монополистического капитализма, она естественно готова направить все свои силы против крупнобуржуазного хозяйства, но, разрушая последнее, в силу естественной необходимости, строит его заново на его же развалинах. Идеология мелкой буржуазии вырабатывается в борьбе с тем рационализмом, с той «наукой» и «методологией», которые созданы техническими условиями капитализма, но, создавая положительную сторону своего мировоззрения, она необходимо должна усвоить тот язык логики и науки, механизирующей жизнь, который сама же отвергает.

Усиление государственной власти и концентрирование финансового капитализма означало поражение мелкой буржуазии не только в экономической, но и идеологической борьбе: отсюда отказ от философской позиции «жизненной» философии и поиски идеологического союзника в лице *церкви*, как социально-экономической категории.

IV.

Логически же «философию жизни» толкали к дальнейшему преобразованию следующие мотивы: уже сама универсальность принципа «жизненности», применяемого во всех областях знания, обесцвечивала все конкретное содержание этого понятия, затем необходимость облегчения «философии жизни» в логическую систему также способствовало этому, в результате—пустое бессодержательное формальное понятие «жизни», как логический принцип объяснения. Это—пресловутое «сознание вообще», «чистое сознание» и т.д. Оно, видите ли, вневременно, вообще не «су-

ществует», но «значит» «идеально». Это удивительное сознание «видит» вещи в их «подлинной сущности», поэтому, чтобы «познать» «вещь» (физическую, социальную, психическую, религиозную, историческую, математическую), нужно только «направить» на нее «сознание», и вы «увидите» «сущность». А дальше еще забавнее: «сущность» не есть «существование», а «существование» вовсе не то же самое, что «бытие». «Сущность» «входит» в сознание и начинает в нем «присутствовать» в форме «мнения», «мнимости», «имения в виду» [1]).

Подобная схоластика пользуется громадной популярностью в современной Германии, в Австрии в особенности в католической среде университетской молодежи, и она заслуживает более подробного анализа.

Творцом философии «сознания»—скажем так—является тот же Гуссерль, который своими «логическими исследованиями» открыл путь «чистой психологии», чтобы она вернулась к нему в переодетом, именно, логическом виде; это есть логическая психология, схоластика сознания, которая находится в теснейшей непосредственной связи со схоластикой средневековья. Об этом свидетельствуют прежде всего хотя бы внешние признаки школы. Гуссерль своим учителем считает австрийца Франца Брентано: Брентано—схоластик, заимствовавший свое понятие «сознания» у Аристотеля. Неосхоластик итальянец Борьелло связывает Гуссерля с «миланской» школой, которая так и называется «неосхоластическая» и имеет свой периодический орган, посвященный неосхоластике [2]). Наконец, исторические монографии последних лет также устанавливают связь гуссерлеянства со схоластикой [3]). О схоластических тенденциях современной философии свидетельствует также книжка француза Гонзага Трюка, с громким заглавием: «Возврат к схоластике», делающая попытку установить в истории и философии «схоластическую традицию», не опровергнутую критикою XVII и XVIII столетий [4]). Но с еще большим основанием напрашиваются логические внутренние параллели: абсолютный характер гуссерлевской «чистой сущности», непосредственно открытой «умственному зрению», и авторитарный характер схоластической культуры с ее легализированным откровением божьим: иерархический вербализм гуссерлеянства, целиком ушедшего в бесконечные разграничения, классификации, систематизации по «родам», по «видам», по «оттенкам», по «способам» образования пустых понятий-слов или слов-понятий,—и иерархическое мировоззрение схоластики, соответствующее ее церковному иерархизму; формальный методизм гуссерлеянства, определяемый лишь одною раз навсегда данною «новою установкою сознания», «вневременного-и сверхчеловеческого»,—и консервативный характер всей схоластики, отвергающей какое бы то ни было «искание»,

---

[1]) Jahrbuch für Philos. u. phänom. Forschung, Hrsg. v. E. Husserl, Bd. IV. 1921.

[2]) «Rivista di filosof. neo-scolastica».

[3]) J. Verweyn: Philosophie d. Mittelalter, 1921, S. 66.

[4]) Gonzague Truc: Le retour à la scolast. 1919.

«движение», «развитие», и окаменевшей в формах навсегда установленных церковным государством социально-политических условий.

Отсюда ясно, что гуссерлеянская схоластика должна была быть вызвана к жизни теми социально-экономическими условиями, в которых последняя критическая фаза капитализма застает церковь. А под религиозной маской уже не трудно открыть политическую сущность всей современной схоластики.

Каково религиозное мировоззрение наших дней? Каковы социально-политические мотивы, заставившие церковь заговорить?

Церковная философия социально-экономическому кризису государств уделяет самое живое, самое глубокое внимание. Идеи «пролетариата» и «марксизма» разбросаны в длинном-длинном ряде... теософских, религиозно-политических, ортодоксально-католических и всяких других богоисповедных сочинений. Мы здесь читаем, что марксизм знаменует пробуждение массовой души [1]), воскресение пролетариата, как средоточия мирового культурного развития [2]), и что религиозное мировоззрение пролетариата при социализме утверждало бы «родство в сущность (Wesens-verwandtschaft) всех творений» [3]). Но, говорит далее церковная философия, «марксизм не спасет от катастрофы Европу». Возрождение Европы может сперва произойти только на «духовной почве», а не с «естественной необходимостью экономического фатализма» [4]). «Возрождение»—«обновление»—«спасение»: вот какими словами пестрят страницы церковных философов [5]) и большинства наиболее интересных из не примыкающих к ним мыслителей [6]). Достаточно, однако, задаться вопросом, каким образом от этого «необходимого» «духовного перерождения» прийти к социально-экономическому,—чтобы понять, в чем вся политическая реакционность этих сладчайших разглагольствований. Оказывается, что в рабочем классе должно исчезнуть «недоверие» к религии, а сословия и классы в самосознавании (verstehend sich) должны объединиться для «великой», поистине новой жизни» [7]), для духовного коммунизма [8]), который должен возродить «в пролетариях внутренние ценности... ощущения внутренних переживаний, смысла внутренней ценности» [9])... Вот оказывается, где зарыта собака. Но что такое «духовный коммунизм», как не схоластическое гуссерлеянство, как не это универсальное «духовное сознание», которое вмещает в себе всю вселенную.

---

[1]) Paul Plaut: Geist. Wiedergeburt, 1922, S. 19.

[2]) J. Matthieu: Das Christh. u. d. soc. Krise der Gegenw. S. 75.

[3]) M Kadakowić: Religiöse Ström. 1922, S. 3. 63.

[4]) Ep. cit. S. 76 ff.

[5]) Schwellenbach: Erneuer. d. Abendl. 1922. S. 7—15.—Plaut: ep. c. S. 23.—T. Lessing: Die verfluchte Kultur, 1921, S. 28, 30, 33.

[6]) E. Troeltsch, Chamberlain, Max Scheler, Rosenzweig, Leon. Nelson, Osw. Spengler, Graf Keyserling.

[7]) Mathieu: ep. c. S. 153.

[8]) Plaut: ep. cit. S. 35.

[9]) «Die Tat» 11 Jahrg. Heft 10.

Но, как это ни звучит парадоксально, схоластическое гуссерлеянство более, чем любое из других философских течений, содержит революционизирующие элементы. Таков, напр., номинализм, который не трудно вышелушить из фантастической скорлупы «абсолютного сознания», рассыпающегося само собою, как ненужная ветошь. Кроме того, опровержение взгляда на сознание, как носителя отображающих мир субъективных свойств, также должно быть упомянуто в связи с этим. И в первом и во втором случае мы имеем довольно определенное тяготение к реализму, материализму, действительности.—Церковь исходит из революционных пунктов, из-за боязни потерять политическую свободу, она стремится к духовному обладанию массами ценою своего «возрождения», «реформы» при помощи «естественной теологии» [1]), но необходимость социально-экономической базы предает ее в руки господствующего класса. Поэтому схоластическая философия наших дней не способна к внутреннему развитию: противоречие между реальным миром вещей, временным и человеческим, и миром «абсолютного» сверхчеловеческого сознания выражает социально экономическое бесплодие современного католицизма. Католицизм, таким образом, нашел свое выражение в гуссерлеянстве [2]). Можно сказать, что, создав средневековье, вдохновив церковную мистику,—барокко, гуманизм, католичество устремило, в лице современной схоластики, взоры на самое себя в попытке вырваться из созданной в условиях последней фазы капитализма двойственности и противоречивости своего положения.

V.

Война и революция ударили более всего по интересам германского капитализма. Версальская катастрофа заговорила в философии языком пессимистического мировоззрения растерявшейся *крупной буржуазии*. Смирение, искание «духовных богатств» в «национальной жизни Германии», бегство на Восток и увлечение восточной философией—это был *первый* отзвук крушения империалистической политики в области философских тенденций. Но стихийное перенесение центра тяжести с политики на экономику, последовавшее вслед за версальской катастрофой, идеологически подняло силы крупной буржуазии, заставило вновь воскреснуть апологию сильного государства. Граф Кайзерлинг был первым, заговорившим о необходимости смирения во имя грядущей политической миссии германской нации. Его философские взгляды и возглавляемой им «дармштадтской» школы сводятся к следующему [3]).

Есть великие надежды, есть высочайшие идеалы, но для осуществления их нет душевных сил. Жизнь души исчезает, умирает. Психика

---

[1]) M. Scheler: Vom Ewigen im Menschen, 1921, S. 2; 396; 409; 565; 620.

[2]) M. Scheler: ep. cit. S. 5—58; 396—439.

[3]) Von Gleichen-Russwurm, Jakob von Uexküll, Hefele, Fr. Niebergall A. Liebert.

разлагается [1]). Фантазия объединяется, выветривается, оскудевает [2]). Живое чувство (Sinn) целостности жизни потеряно [3]). Душа обнищала, потеряв свою духовную стихию. Необходим «синтез души и духа» («Synthese von Geist und Seele»), только в этом синтезе душа приобретет свою органическую сущность [4]), только в нем Кайзерлинг видит то, что «нам нужно совершить». Это значит, что нужно отвергнуть авторитет разума, логики [5]), «гипертрофию интеллекта» [6]), «мертвый балласт [7]), открыто и прямо выступить против фрагментаризирования и удушения жизни интеллектуальным прогрессом [8]). Другими словами, углубиться нужно в себя, завоевать «духовное свое тело», «родиться вновь». Только это одно может нам «помочь», спасти «нас», «вылечить» («helfen», «retten», «heilen»),—нужно «взойти» и углубиться и осознать «жизненную первосвязанность» (Urzusammenhang) вещей [9]). И выполнить это призвана прежде всего философия, которая должна быть школою «мудрости». «Мудрость» есть жизнь, ставшая знанием [10]), говорит Кайзерлинг. «Если,—говорит Шпенглер,—человек есть мыслящее существо, то он далек, однако, от того, чтобы быть существом, реальное бытие которого состоит в мышлении» [11]). Для этой цели вовсе не нужны ни логика, ни теория знания, и вообще какой-бы то ни было «системы» схем и формул [12]). Вообще научная теория не способна объяснить конкретного многообразия мира [13]), всякая теория познания [14]) и логика [15]), будучи чисто отрицательного характера, рушатся мгновенно, если только обратиться с ними к конкретной действительности. «Я сам был естествоиспытателем. От внешней действительности я постепенно нашел путь к внутренней», говорит Кайзерлинг [16]). Оказывается, что мир чудес, магии, духовидения и т. д. отвечает требованиям современного духа более, чем мир какой-либо физики или естествознания [17]).

Можно подумать, что антиинтеллектуализм Кайзерлинга есть выражение влияния Бергсона на немецкую интеллигенцию, и в этом смысле отражает ту же мелкобуржуазную стихию. Но на самом деле это не так:

---

[1]) Keyserling: Was uns not tut. Was ich will... 1921. S. 4, 7, 8, 10 14, 24, Philosoph. als Kunst, 1920, S 57, 183.

[2]) Philos. als K. S. 42.

[3]) Ibid.

[4]) Was uns... S 11; 18; 19; 21; 26; 29; 32; 40; 44; 56.—Phil. a. K. S. 159 f 255.

[5]) Was uns... S. 28.

[6]) Ib. S. 12.

[7]) Ib. S. 27.

[8]) ib. S. 22.—Phil. als K. S. 105 f. 183. 186 f.

[9]) Was uns... S. 25.

[10]) Ib. S. 39.

[11]) Spengler: Untergang des Abendlandes, 1922, Bd. II. S. 14.

[12]) Keyselring: Das Gefüge der Welt, 1920, S. XIX, 27.

[13]) Ib. S. 1—27.

[14]) Ib. S. 201.

[15]) Ib. S. 76, 80, 81, Philos. als K. S. 110.

[16]) Unsterblichkeit, 1920, S. XIII.

[17]) Philos. als K. S. 10—15.

он родственен бергсонианству только в исходных пунктах, но не в нормативных выводах. Кроме того, «бергсонианские» сочинения Кайзерлинга написаны в 1905—1908 годах, но внимание на них устремилось только после выхода в свет Reisetagebuch'a, т.-е. в 1918 году. Антирационализм Кайзерлинга носит по существу черты, присущие политическому мировоззрению крупной буржуазии в условиях последней фазы капитализма. Антирационализм не есть только отражение гибнущей психологии гибнущего класса, когда душа, теряя разум и сознание, хватается за «интуицию», за «силу воображения», за «духовность души» и прочие создания выбитого из колеи ума,—антирационализм, более этого, есть выражение реакционнейшей позиции современной буржуазии. Поход против «механизации жизни», «удушения жизни схемами и понятиями» есть поход против науки, логики, против рассудка вообще. Но если мелкобуржуазное бергсонианство восставало против рационалистических устоев капитализма, то версальская катастрофа и революция все критическое оружие магнатов немецкого капитализма психологически направила против того же рационализма, науки, логики, техники, вызвавшего идеологическое оправдание революции: рационализм не только механизация процесса работы, двойная бухгалтерия, техника, но, как логический позитивизм, вместе с тем, и революционная сила в эпоху исторических катастроф,—сила, сокрушающая идеологическую ветошь старого и неудержимо пролагающая пути к новому. Таков конец «средневековья», таково мировоззрение Фр. Бэкона, такова эпоха подготовки великой французской революции. Сокрушая феодальный мир, французская буржуазия XVIII века завоеванные позиции в области политики и экономики закрепляет мировоззрением рационализма; после июльской монархии ее усилия направлены к тому, чтобы утвердить традиционную мораль компроссов и здравого смысла в лице эклектизма В. Кузена; прервавшее эту консервативную спячку и вызвавшее к жизни новое напряжение сил потрясение 70-го года и последующее затем не удержимое развитие капитализма заставляет оформить новое идеологическое оружие; это новое мировоззрение известно под именем позитивизма, и основная идея ее—идея прогресса; в наши дни, т.-е. в дни своего величайшего краха, господствующая буржуазия провозглашает «крушение и банкротство науки» и «бессмысленность истории», т.-е. отсутствие какого бы то ни было прогресса. Если необходимо укрепить, оправдать последнюю фазу капитализма, то естественно—«история не знает прогресса» Если возрождающийся пролетариат провозглашает идею развития и идею науки, сокрушающей мистику, то естественно необходимо мобилизовать все логические и софистические силы для доказательства тезиса: «банкротство науки». Просто и ясно. Вот почему Кайзерлинг на идеологию великой французской революции обрушивается только за то, что она играла «абстрактными теориями» «свободы, справедливости, равенства». Что было конкретным следствием якобинских абстракций («jakobinischen Abstraktionen»)?—спрашивает он и отвечает: «четвертование лучших людей Франции, обнищание социальных основ жизни,

прекращение нормального развития расы»... [1]) Итак, отрицательное отношение к рационалистической философии XVIII века [2]), оказывается, на деле вызвано борьбою с идеей революции вообще.

Кайзерлинговская философия, будучи созданием гибнущей психологии гибнущего капитализма, в конечном счете отражает политическую сторону мировоззрения послевоенной крупной буржуазии. Но Кайзерлинг—немец, и философия его не могла не испытать влияния особых экономических условий послереволюционной Германии. Эту новую сторону в воззрениях не трудно видеть уже в следующем утверждении: Европа гибнет [3]), но Германия более чем какая-либо другая страна способна переродиться «к истинной» политической жизни [4]). Кайзерлинг пишет уже около 15 лет, но только крушение велико-германской политики создало успех его философии. Но крушение политики означало и экономическую катастрофу. Отсюда стихийное перенесение центра тяжести из сфер: политика в области *экономики*, а следовательно, необходимость оправдания вытекающего отсюда империализма. Последнюю задачу и выполняет Освальд Шпенглер.

VI.

Шпенглер исходит, строго говоря, из основных мыслей Кайзерлинга. В его руках философия Кайзерлинга освобождается от ненужной мистической оболочки, и антирационалистическая тенденция получает откровенно-политическую выразительность.

Шпенглер начинает с противопоставления «природы» и «истории» [5]), как двух основных видов существования [6]). Это же противопоставление он выражает также в форме различения «космического» и «микрокосмического», «растения и животного», «естественным состоянием и бодрствующим состоянием» («Dasein und Wachsein). «Естественное состояние» характеризуется цельностью, направленностью, временностью, ритмом, тяготением, физиогномикой, судьбой. «Бодрствующее состояние» («микрокосмос — животное — культура») характеризуется расщепленностью, полярностью в себе (чувство и предмет, вещь и свойство, я и ты), системой, отъединенностью от мира, причинностью. О «бодрствующем состоянии» можно спросить: «где» и «как». О «естественном»—только «когда» и «почему». Там—пространство, здесь—время [7]).

«Бодрствующее» «микрокосмическое» существование нуждается в «естественном», из него проистекая. Напр., микрокосмические образо-

[1]) Deutschlands politische Mission, 1920, S. 19.—Philos. als K. S. 182.—K. Grass: Linien ideal. Weltansch. Wider Mater. u. Bolschewismus, 1921, S. 39.
[2]) Keyserling: Phil. als K. S. 28.
[3]) Ib. S. 186.
[4]) Was uns... S. 18, 19.
[5]) Ib. S. 47.
[6]) Spengler: Untergang... 1920, B. I. S. 29, 36, 54 f. 153, 161, 203, 299, 532.
[7]) Unterg... 1922, B. II. S. 1—12, 25 134, 172.

вания—миф, нравственность, техника, орнамент—в примитивных культурах развиваются подобно растению, т.-е. «космически», «естественно» [1]). Затем только возникает «бодрствующее состояние» с его отъединенностью от мира, именно, «единство языковых форм», «единство их истории» в органической связи с техникой, мифом и искусством. В истории необходимо усматривать лишь «физиономический такт», не более, потому что у человечества нет единой общей цели, она имеет целью только завершение того, что с самого начала заложено в единстве данного культурного и географического горизонта» [2]).

Подходить к истории с понятиями причинности—«значит не понимать подлинной природы соотношений «фактов» и истин» [3]). Где факт, где действительная жизнь, там господствует только внутренняя органическая логика, ein «es», совершенно независимая от причинных сцеплений «бодрствующего состояния» [4]). Жизнь находится по ту сторону причин, следствий, истин. Достаточно вникнуть в грубые различения подлежащего и сказуемого, действительного и страдательного настоящего и прошедшего, чтобы заметить, как язык рассудка обездушивает (entseelt) все действительное.

Таким же образом создается время, как измерение, судьба, как причина, жизнь, как психо-химический механизм [5]). Нельзя историю понять в линиях общего прогресса, потому что «прогресс»—рассудочное понятие, создание «неорганической логики» [6]).

Наука осуществляет свои функции только в области «природы» «непременно в системе, абсолютной, вечной, неизменной». В действительной жизни «истины» разума не могут иметь никакого значения и сейчас же терпят крушение, если подходить при помощи их к действительности. Великие теории суть евангелья, а общие понятия свободы, права, человечества — священны. Но в наши дни, на наших же глазах, они терпят крушение, потому что созданы из головы и висят в воздухе [7]).

Если вникнуть в это невинное философствование, то основное ядро политической идеологии господствующих классов Запада станет открытым. Оно может быть обрисовано в следующей форме, выражаясь словами самого же Шпенглера.

Необходимо изобличать рационализм в «культе точной науки, в тирании рассудка, диалектики, причинности», необходимо провозгласить «все признаки скорой гибели европейской науки» [8]): потому что

---

[1]) Ib. S. 40 ff.
[2]) Ib. S. 58, 197, 202, 456.
[3]) Unt... I, S. 58, 63, 69, 120. II, 56, 62, 325 f, 332, 381, 403, 456, 500, 552, 625.
[4]) Unt... II S. 124, 148.
[5]) Ib. II, S. 172.
[6]) Ib. I, S. 164. II. S. 325.
[7]) Ib. II, 568.
[8]) Ib. I, S. 607—608.

материалистическое понимание истории Маркса есть следствие рационализма» [1]), «потому что «сумасбродный оптимизм XVIII столетия» [2]) «якобинских фанатиков свободы и равенства» [3]) вызван «висящими в воздухе общими понятиями мудрости, равенства, свободы, братства, справедливости, которые остаются столь же бессильными, как и вечными» [4]), потому что Великая французская революция свои революционные идеи провозглашала «именем науки и народа» [5]), разума и каких-то абстракций [6]),—«абстрактной справедливости книжного человека» [7]).

Но Шпенглер слишком немец, чтобы быть лишь реакционером в политике. Противопоставление «природы» и «культуры» понадобилось для того, чтобы удержать катастрофическую фазу культуры, отняв ее от повиновения рассудочным идеям прогресса и развития. Но необходимость новой экономики и основанной на ней империалистической политики заставляют провозглашать «гибель Европы», гибель «отдельных культур». Но, видите ли, дело оказывается не так плохо. «Отдельные культуры могут быть спасены» истинным интернационалом, носителями которого являемся мы, немцы, ибо наша гибель лежит в отдаленной дали туманного будущего. Так философия пытается проложить путь империализму [8]).

Но эта же философия раскрывает все то внутренне противоречивое двойственное положение, в каком очутилась капиталистическая Европа после Версальской катастрофы. Именно: Шпенглер борется с «наукой», с «рационализмом», чтобы защитить и утвердить последнюю фазу капитализма, которому пророчит гибель *научный* социализм; но он же защищает капитализм, защищая и утверждая империализм, т.-е. тот же интеллектуализм двойной бухгалтерии, кредитной системы, «форм быстроходного парохода, сталелитейного завода, *процессионной* машины» и т. д.

Могучее преобладание экономики над политикой, слишком связанной, чтобы итти за экономикой,—в одних государствах, или преобладание политики над экономикой, слишком обессиленной, чтобы служить интересам политики,—в других,—вот тот, глубочайшим, вопиющим образом противоречивый и двойственный стержень, на котором держится философская мысль последних пяти лет. Но только на таком стержне и может держаться философия гибнущей Европы.

---

[1]) Ib. II, S. 569
[2]) Ib. II, S. 568.
[3]) Ib. 16.
[4]) Ib. II, S. 557.
[5]) Ib. II, S. 114, 220.
[6]) Ib. II, S. 456.
[7]) Ib. II, S. 223, 571.
[8]) Я не могу подробно останавливаться на этом вопросе за неимением места. Он достаточно освещен в статьях А. Деборина («Под знаменем марксизма», № 1—2) и Г. Пятакова («Красн. Новь», 1922, кн. 3).

VII.

«Достаточно вспомнить громадное большинство модных философских направлений, которые так часто возникают в европейских странах, ...чтобы представить себе связь между классовыми интересами и классовой позицией буржуазии, поддержкой ею всяческих форм религий и идейным содержанием модных философских направлений» [1]). Этими словами Н. Ленина можно было бы подвести итоги всему вышесказанному, но ими же как нельзя лучше определяется характер тех буржуазных направлений, которые получили возможность заговорить и воскреснуть на книжном рынке России, благодаря новой экономической политике. Но стоило только ей заговорить на «философском» языке богословия, «онтологии», «мистического рационализма» (и еще чего-то там),—как стало очевидно, что мы имеем дело с идеологическим наступлением буржуазии. Любопытно, что последняя пошла теми же путями борьбы с революционизирующими идеями науки и развития, как и западная. Сладкоречивая проповедь поповщины Л. Карсавина, выдвинувшегося при нэпе, очень напоминает проповедь Кайзерлинга. Рядом с этим все знакомое—бергсонианство (Лосский), шпенглереянство (Степпун), мистика всех рангов и оттенков (имя ей—легион). Эта группа собрана вокруг журнала Петербургского Философского О-ва «Мысль» (№№ 1—3, 1922).

Направление петербуржцев определялось всецело ожесточенной борьбой с мировоззрением господствующего класса. Чтобы убедиться в этом, достаточно «просмотреть» любого из этих философов.—«Отказ от здравого смысла—первое условие успешного философствования» («Мысль», I, с. 19), а чтобы избавиться «от засилья рассудка, хилого и ничтожного рассудничества», «надо выйти на солнце разума, ибо разум—сверхрассудочность» (ib. 26); «философия слишком много нагрешила за последний век девизом: «fiat scientia pereat mundus»,—пора провозгласить: fiat mundus pereat scientia» (ib., с. 54). Я позволю себе привести еще несколько мыслей проф. Карсавина. «Всякая более или менее продуманная и глубокая философская система приводит нас к идее абсолютного бытия, или Бога... Полагаю, что только на очень низком уровне религиозного развития можно мыслить Бога, как ветхого деньми старца» (ib. 59). В этом абсолютном бытии или Боге заключено, по Карсавину, не только наше прошлое и настоящее, но и наше будущее; будущее существует не менее реально, чем настоящее или прошлое. Этот тезис, говорит наш автор, я доказываю при помощи «фактов, не разрушимых для самой строгой и придирчивой научной критики» (ib. 59). Далее приводятся «факты»: это предсказания берлинской ясновидящей Frau de Ferriem пожара в Нью-Йоркской гавани, землетрясения на о. Мартинике, и т. д. и т. д. «Я думаю,—делается вывод,—что приведенные факты го-

[1]) Н. Ленин. О значении воинствующего материализма «Под знаменем марксизма», 22 г., стр. 313.

ворят сами за себя и удостоверенность их исключает всякий шантаж. После них читатель, может-быть, с бо́льшим доверием отнесется к предсказаниям Нострадамуса» (ib. 65). Далее идут предсказания Нострадамуса. В другом сочинении «Saligia» этот же почтенный автор обращается к читателю: «Слово Saligia мною поставлено во главе нашего рассуждения затем, чтобы ты легче запомнил порядок смертных грехов. Порядок же их таков»... но довольно (см. стр. 73), портрет обрисован настолько, что избавляет меня от комментарий: борьба с мировоззрением господствующего класса выразилась в поддержке религии, но поддержка религии привела в бо́гословский тупик, к спиритическим упражнениям, к ветхозаветным гаданиям. «Идеалистическая и субъективная философия играет реакционную роль, поскольку она подрывает веру в науку и отрицает возможность познания объективной действительности тогда, когда эта объективная действительность является источником непоколебимой веры пролетариата в неизбежность крушения старого и наступления нового общественного строя» [1]).

«Пора нам — перед лицом все растущего разложения в лагере врагов — развернуть знамя воинствующего материализма», заявляло редакционное вступление к №№ 1 — 2 журнала «Под знаменем марксизма».

И вот закипает и развивается работа защиты материализма и марксизма. Для подготовки завоевания академической кафедры учреждается специальное философское отделение при Институте красной профессуры; в целях полемики творческие силы «воинствующего материализма» сосредоточиваются вокруг уже упомянутого журнала «Под знаменем марксизма», наконец, Институт К. Маркса и Ф. Энгельса издает «Библиотеку материалиста» под редакцией А. Деборина и Л. Аксельрода. Особо следует упомянуть о чрезвычайно ценном руководстве А. Деборина: «Введение в философию диалектического материализма» (М., 1922) и о подготовляемом к печати новом издании собрания сочинений Г. В. Плеханова. А. Деборин устраняет целый ряд историко-философских предрассудков, культивируемых буржуазными историками философии; его определения философских школ строго отчеканены, формулы сжаты и освещены светом привлекаемых анализом исторических и социально политических горизонтов. Напр., махизм—это «мировоззрение без мира» (стр. 315), неокантианство 1855 г.—это «реакция против материализма и атеизма» (с. 248). Особенно ценная заслуга А. Деборина в том, что им впервые материалистическое понимание гегельянской диалектики обосновано в широком историко-философском и генетическом освещении проблем; в частности, во французском материализме XVIII века подвергаются тщательному анализу моменты историзма, и таким образом во взгляд, что французские материалисты были исключительно приверженцами механического материализма, вносится существенный корректив. В этой же плоскости ведется работа в философском отделении

[1]) А. Деборин: цит. статья.

Института красной профессуры, где руководство занятиями принадлежит А. Деборину и Л. Аксельроду.

Диалектический материализм — вот лозунг передового класса. Материалистическое воспитание масс—насущная задача нашей бурной переломной эпохи. Пусть гибнущая психология буржуазии выкапывает из пыли веков Нострадамусов, хватается за «Богоявления в природе», ковыряет пальцами своего высохшего ума в грубейшей схоластике средневековья, ищет где-то в душе, опустошенной и мертвой, мистические способности ясновидения и интуиции, затем странствует по Китаю и океанам в поисках «истинной культуры», пусть психология мертвой реакции с ее философским оружием мракобесия мобилизует богов всех видов и происхождений, гадает на столоверчениях и мистических общениях с пресвятыми богородицами всех возрастов и всех способностей,— все же, все же или поэтому, несмотря на это или как раз в полном соответствии с этим,—кораблекрушение неминуемо.

К статье „Русская графика"

А. Соберов.
Из журнала „Творчество".

ИСКУССТВО И ЛИТЕРАТУРА Р. С. Ф. С. Р. В ЭПОХУ РЕВОЛЮЦИИ (1917—1922) [1].

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ЗАВТРА РУССКОЙ ПОЭЗИИ.

Валерий Брюсов.

ОТ АВТОРА.

Приняв поручение редакции «Печати и Революции» сделать обзор русской поэзии за пять лет, 1917—1922, я сознавал, что беру на себя немалую ответственность и вообще как автор такого обзора, и в частности, как поэт, как участник поэтического движения последних десятилетий. Прежде всего трудно было достичь полноты обзора, говоря о периоде, когда нормальное распространение книг было нарушено, когда нередко книга, напечатанная в Петрограде, тем более в провинции, оставалась неведомой в Москве. Очень вероятно, что ряд явлений, может-быть, интересных, ускользнул от моего внимания. Вместе с тем, огромное все-таки количество альманахов, книг, книжек, брошюр со стихами, изданных за 5 лет, которые не все можно было вновь получить в руки, заставляло о многом говорить по памяти. Вполне возможно, что, делая посильную оценку *нескольких сот* изданий, я в иных случаях допустил суждения, недостаточно обоснованные. В о всех этих пропусках и промахах заранее прошу извинения, не столько у читателей, сколько у товарищей-поэтов.

Однако, важнее ответственность другого рода. Обозревая жизнь русской поэзии за годы 1917—1922, я должен был говорить о всех ее направлениях, т.-е. о символистах и примыкающих к ним течениях, о футуристах и связанных с ними группах, о поэтах пролетарских и крестьянских. Подход к каждому из этих направлений представлял лично для меня особые трудности.

Оценивая поэзию символистов, я должен был, по крайнему моему разумению, отнестись отрицательно к их деятельности за последние

[1] Печатая обзоры, посвященные русскому искусству и литературе истекшего пятилетия, редакция не претендует на полный охват работы в указанных областях Для такого охвата тесны журнальные рамки. *Ред.*

годы. Между тем я сам, как поэт, теснейшим образом связан с движением символизма. Доля обвинений, выдвинутых мною против символистов, падает и на меня. Само собой понятно, что я не считал уместным писать о своих собственных стихах. Но здесь, в предисловии, позволю себе сказать, что, действительно, признаю, поскольку способен критически отнестись к себе, и свои стихи 1912—1917 года не свободными от общих недостатков символической поэзии того периода. Но, продолжая столь же откровенно, думаю, что некоторых, роковых для символизма, путей мне удалось избежать и что мои стихи следующего пятилетия («В такие дни», 1920 г.; «Миг», 1922 г.; «Дали», 1922 г.) выходят на иную дорогу. Однако, решать этот вопрос, конечно, не мне.

Напротив, я должен был признать значительность работы, исполненной футуристами за тот же период. Могут возразить, что я печатно давал несколько иную оценку нашему футуризму в начале 10-х годов. На это возражу, во-первых, что русский футуризм значительно изменился за эти 5 лет; ныне, в 1922 г., он далеко не то, чем был в 1911—1913 гг., в том счете и по своей *идеологии;* во-вторых, что я сам (не вижу причин скрывать это) изменил некоторые свои взгляды на поэзию, что десять лет назад я, вероятно, не высказал бы всего того, что сегодня мне кажется справедливым. Впрочем, читавшие мои прежние статьи должны помнить, что я никогда не разделял того абсолютно-отрицательного отношения к русскому футуризму, каким его встретила часть нашей критики, и с самого начала указывал в рядах футуристов на несколько несомненных дарований.

Иное затруднение представлял для меня подход к пролетарской поэзии. Существует взгляд, что оценить пролетарскую поэзию способен только пролетарий, рабочий. Никак не выставляя себя аристократом, уже потому, что отец мой родился крепостным крестьянином,—я, однако, не могу считать себя рабочим, так как на фабрике или заводе не работал и получил воспитание «буржуазное». Тем не менее (оставляя в стороне то, что всю жизнь я был занят трудом и ныне разделяю все лучшие надежды рабочего класса), я полагаю, что внимательное изучение литературы всех веков и народов—достаточное основание, чтобы высказать свое суждение и о создающейся, в наши дни, русской пролетарской поэзии. Замечу кстати, что, по самому построению статьи, по мысли, положенной в ее основу, я рассматривал пролетарскую поэзию 1917—1922 гг. (как и стихи других направлений) *преимущественно* с точки зрения формальных достижений.

I.

В годы перед Европейской войной в русской поэзии было, собственно говоря, только два течения, по крайней мере, два *живых* течения: символисты и футуристы.

Правда, можно было назвать отдельных представителей поэзии досимволической, но их было мало, влияние на развитие поэзии они не оказывали. По большей части, то были старики, доживавшие свой век, как С. Фруг. Из поколения, выступившего в литературе в 80-х и 90-х годах, все сколько-нибудь значительные поэты, начиная с Минского и Мережковского, отчасти и К. Фофанова, испытали на себе влияние движения символизма. Очень немногие остались в стороне от него, напр.,

Ив. Бунин, А. М. Федоров, по духу своей поэзии близкие к французским парнассцам. В рядах символистов считались: Ф. Сологуб, З. Гиппиус, К. Бальмонт, пишущий эти строки, Вяч. Иванов, Андрей Белый, А. Блок, М. Кузьмин, Ю. Балтрушайтис и мн. др. Некоторые более молодые поэты выделяли себя из числа символистов и именовались акмеистами: Н. Гумилев, С. Городецкий, позднее О. Мандельштам и др., но их новаторские теории не вязались с практикой, а практика ранних акмеистов была чисто-символическая.

Противоположный лагерь образовывали ярые противники символистов—футуристы. В ту эпоху, в первую половину 10-х годов, футуризм еще не выходил из периода первого натиска, беспорядочного, неорганизованного бунта. Теоретические положения футуристов,—разные их «манифесты»,—были противоречивы, плохо обоснованы, преднамеренно и грубо парадоксальны. На ряду с произведениями, авторы которых, действительно, пытались сказать новое слово в литературе, в книгах футуристов печаталось немало вздора, затемнявшего основное течение. Сами футуристы делились на ряд «фракций», ожесточенно споривших, вернее, ругавшихся, между собою: кубо-футуристы, эго-футуристы (проповедывавшие «вселенскую эго-самость»), психо-футуристы, центрофугалы и др. В этих изданиях, начиная с «Садка судей» (1908 г.), «Пощечины общественному вкусу» и т. д., продолжая неопределенными объединениями «Петербургского Глашатая», где рядом с новаторскими стояли стихи Ф. Сологуба, Вал. Брюсова, Л. Афанасьева, и кончая разными «Чемпионатами поэтов», уже выступали почти все те деятели футуризма, о которых дальше необходимо будет говорить подробнее: В. Хлебников, Вл. Маяковский, Б. Пастернак, Н. Асеев и др. Но было также множество имен, претендовавших возглавлять целые направления,— имен, которые теперь, через 6—7 лет, вряд ли что-нибудь говорят самым усердным читателям стихов: И. Игнатьев, Федор Платов, Дм. Крючков, Ив. Оредж, Вас. Гнедков, Грааль-Арельский, Жозефина Гант д' Орсайль и т. д. и т. д.

Добавим, что в те годы, перед войной и в начале войны, уже проступали первые ростки пролетарской поэзии. Говоря так, мы имем в виду не только то, что время от времени появлялись сборники стихов, написанных рабочими. Такие стихи, разумеется, писались и раньше, но в 10-х годах XX века стало намечаться в этом направлении обособленное литературное течение, готовившееся выявиться как определенная «школа». Появились в печати книжки первых стихов Самобытника (А. Маширова) и некоторых других. Но, во-первых, стихи эти еще не привлекали широкого внимания, во-вторых, сами эти поэты, в ранних опытах, еще далеко не определились, и на общелитературную жизнь тогда это движение влияния не оказывало. Несколько заметнее были выступления поэтов-крестьян, среди которых особенно выделялся Н. Клюев яркостью своей первой книги «Сосен Перезвон»; уже позднее «крестьянская поэзия» стала находить свое новое выражение в стихах Н. Асеева, С. Есенина, П. Орешина, Ю. Анисимова.

Таково было положение русской поэзии в годы, предшествовавшие пятилетию 1917—1922 гг. или, вернее, в годы перед самым началом Европейской войны. В общем то была картина в достаточной мере тусклая. Центр ее занимали символисты, с примыкавшими к ним течениями (как акмеизм). Но в лагере символистов уже определенно чувствовалась усталость; движение вперед остановилось, сменилось застоем, который явно грозил превратить мятежный поток 90-х и 900-х годов в загнивающее болото. На новых произведениях символистов лежала печать трафарета; их настроения в целом были проникнуты успокоенным самодовольством; вся их поэзия бесповоротно отходила все дальше и дальше от жизни, любовно углубляясь то в археологию, то в мистику. На первом плане картины бурлили еще весьма мутные воды футуристического движения. Здесь ощущались живые токи, возможность достичь новых берегов, веянье свежего ветра, долетающего из современности, из подлинной жизни. Но, продолжая сравнение, можно сказать, что с чистой водой смешивались потоки грязи, что новые берега были еще скрыты туманами, что и самая атмосфера русского футуризма того периода была пропитана вредными испарениями. Таковыми, между прочим, были некоторые идеологические предпосылки, выставляемые ранними футуристами, заимствованные с Запада и толкавшие на роковой путь служения империалистическому капитализму. Задний фон картины составляли поэты, державшиеся отживших форм старого реализма, более не пригодных для выражения настроений современности. Наконец, в стороне, еще не имея сил занять видное место, группировались первые пионеры «крестьянской» и рабочей, пролетарской поэзии.

Начавшаяся война еще более затемнила эту картину. Большинство поэтов наперебой бросились писать патриотические и военные стихи. «Спрос» на такого рода произведения (со стороны не только бульварных еженедельников, но и серьезных «толстых» журналов) родил избыток «предложения». Эти батальные, славянофильские и—увы!—нередко ультра-монархические стихотворения изготовлялись, в громадном большинстве, по определенным, раз навсегда установленным, рецептам. При сочинении таких стихов поэты забывали все традиции и заветы своей «школы», и часто трудно было отличить в очередной стихотворной поставке на нужды данного издания бывшего футуриста от бывшего символиста или бывшего реалиста. Все становились «на одно лицо», во мгле порохового дыма (конечно, только словесного) «все кошки делались серы». Чисто-художественные задачи вовсе не имелись в виду, отходили на последний план... И такие произведения насчитывались тысячами, временно совсем заслонив подлинную поэзию, которая, конечно, продолжала жить, но о которой как-то позабыли и читатели и критика.

Затяжка войны привела, в области поэзии, к некоторому отрезвлению. В 1916 г. литературное небо прояснилось; стали вновь появляться книги стихов, привлекавшие внимание разрешением художественных

заданий (таковы, напр., «Оксана» Н. Асеева, «Простое, как мычание» Вл. Маяковского, «Поэзия Армении», «Альманах Муз», последовавший вскоре сборник «Поверх барьеров» Б. Пастернака и др.). Но быстро надвигались сначала черные месяцы начала 1917 г., когда русскому слову стало «не до стихов» (выражение Тютчева), потом—две революции со всеми их неизбежными, но тяжелыми следствиями для внешних проявлений поэтической жизни. Февраль 1917 г. был по плечу большинству наших поэтов, побудил «певцов» быстро настроить свои лиры на лад «свобода—народа», и затопил было журналы и газеты такими же стихотворными клише, как и начало войны. Но Октябрь был для многих, и очень многих, как бы ударом обуха по голове. Голоса, обычные в нашей поэзии, примолкли. А затем, с замираньем всей вообще художественной жизни в России, затихла и русская поэзия в ее целом, как живой организм, состоящий из разных клеток. Слабо пульсировали лишь неекоторые из них.

В первые годы после Октябрьской революции перед новой Россией, перед Р.С.Ф.С.Р. стояли задачи, вне всякого сомнения, безмерно более настоятельные, безмерно более неотложные, чем забота о нормальном развитии поэзии. В период войны внешней, где скрытым образом против нас были чуть ли не вся Европа и Америка, в период борьбы гражданской, когда на карту становилось самое бытие Советской республики, в период закладывания первых основ нового строя,—все должно было далеко отступить перед вопросами, выдвигаемыми ходом общественной жизни и политики. Великая идея диктатуры пролетариата диктовала совершенно определенную тактику. Эпоха была такая, что поэзия должна была безмолвствовать.

Больше трех лет дальнейшая эволюция русской поэзии совершалась как бы в подполье, почти незримо для широких читательских кругов. Прекратили свое существование те старые литературные журналы, со страниц которых читатель прежнего времени обычно знакомился с новыми явлениями поэзии (по самим произведениям или по критическим отзывам). Новых журналов, которые печатали бы стихи, возникало мало, и большею частью они прекращались на одном из первых выпусков, да и не получали распространения, в силу разрухи транспорта. Закрылось, временно или навсегда, и большинство прежних книгоиздательств, в одну из первых очередей—именно чисто-литературные. Одно время—конец 1919 и 1920 гг.—приостановилось было самое печатание книг, даже не только художественно-литературных, вследствие отсутствия бумаги. Издательства, основываемые при разных правительственных органах, принуждены были поэтому очень скупо давать место изданиям художественным, тем более—стихам, а изданные книги подвергались той же участи, как выпуски журналов: они расходились лишь в том городе, где были изданы. Центральное Государственное Издательство тоже могло уделять стихам только скудные обрывки бумаги, которой нехватало на газеты, на учебники и на агитационные издания. Новая книга стихов стала явлением редкостным, тогда как в

предвоенное время, в среднем, в России выходило их до 30 в месяц, т.-е. по сборнику стихов в день. Доходило до того, что появлялись в продаже издания рукописные, возвращавшие к эпохам до XV столетия!

А между тем поэты всех направлений, всех прежде существовавших и зарождавшихся тогда «школ», продолжали писать и писать усердно, и к ним присоединялись все новые и новые отряды молодых дебютантов. Полки шкапов даже Госиздата загромождались купленными рукописями стихов, хотя авторы их и предупреждались, что издание стихов может пойти лишь в последнюю очередь. Во все учреждения, связанные с литературой, как Пролеткульты, отделы Лито Наркомпроса и др. издательские отделы всех ведомств, даже Наркомзема, редакции всевозможных, хотя бы технических, временников, правления театров и тому под.,—всюду почта заносила тетради со стихами. Сколько таких тетрадок, тем или иным путем, попадало в руки любого, сколько-нибудь заметного писателя! Где только открывалась «литературная студия»,—а одно время открывалось их довольно много,—тотчас ее заполняли начинающие стихотворцы. И 1922 год, когда началось спешное отпечатывание всего написанного в предшествующие годы,—этот 22 год доказал, что, действительно, много сочинялось стихов в то пятилетие, когда русская поэзия, казалось, в ее целом безмолвствует!

Конечно, это молчание русской поэзии было неполное. Во-первых, имели голос пролетарские поэты. Без сомнения, они тоже испытывали все затруднения от недостатка бумаги, от разрухи транспорта, многие их произведения оставались в столах авторов, но все-таки Пролеткульты довольно охотно издавали сборники стихов, и существовал ряд журналов, где печатались стихи пролетарских поэтов. Рядом с этим, в отдельных случаях, выходили из печати и стихи поэтов иных течений; около 1919 г.—ряд изданий «Алконоста», со стихами петербургских символистов; в 1920—1921 гг. целая серия книжек имажинистов; футуристами кое-что было издано в Тифлисе в 1919—1920 гг. и т. п. Кроме чисто пролетарских, возникали изредка и обще-литературные временники: одно время «Москва», потом вышло два выпуска «Художественного Слова» (при Лито Наркомпроса); «Творчество» и некоторые другие журналы приоткрывали свои страницы и не только для пролетарских поэтов; в провинции (Ковров) выходил «Рассвет» и т. д. Все же если бы кто-нибудь захотел составить понятие о жизни русской поэзии в 1917 — 1920 гг. по печатным изданиям, он получил бы картину до крайности неполную. Отсутствовали бы многие значительные вещи пролетарских поэтов, тогда уже написанные, но изданные лишь позже; не было бы длинного ряда книг символистов и футуристов, тщетно искавших пути в типографию; совсем не были бы представлены поэты начинающие, поскольку они не могли войти в число пролетарских, и т. д.

Рядом с этим поэты пытались до некоторой степени заменить печать публичными выступлениями, авторским чтением с эстрады. Входить в обычай такие выступления начали еще до октября, но развились

именно в первые годы революции, когда, отстраненные от печатного станка, чуть не все стихотворцы потянулись к импровизованным кафедрам в разные кафе,—отчего этот период русской поэзии и называют иные «кафейным». Поэтические кафе нарождались и в Петрограде и в провинциальных городах, но особенно много было их в Москве. Здесь после разных «Табакерок», «Десятых Муз» и т. под. сравнительно долгое время действовало кафе «Всероссийского Союза Поэтов», где читали поэты всех направлений (не исключая пролетарских), потом еще «Стойло Пегаса»—трибуна имажинистов, и отдельное кафе пролетарских поэтов. Сходную роль играли такие же чтения собственных стихов на вечерах, устраиваемых разными государственными и немногими сохранившимися частными организациями. Таковы были вечера Пролеткультов и районных советов в Москве—Лито Наркомпроса, Особняка Поэтов, Дома Печати, Дворца Искусств, Союза Писателей; в Петрограде—Дома Литераторов, Дома Искусств и др. Еще более широкий круг слушателей привлекали эти чтения, когда поэты, в Москве, переносили их в огромную аудиторию Политехнического музея, не раз переполнявшуюся по приглашению афиш на «вечер новой поэзии». Были даже вечера, где публика присуждала премию за лучшие стихи.

Такими путями некоторые сведения о современной поэзии все-таки проникали в среду читателей. Но сведения эти были ограниченны, отрывочны, сбивчивы. Из печати узнавалось лишь немногое. Оценивать стихи со слуха (что когда-то так было распространено в древнем Риме) было непривычно. Систематическое руководство определенных критиков отсутствовало до самого последнего времени. Естественно поэтому, что большинство в публике недоумевало, знакомясь хотя бы с теми же афишами Московского Политехнического музея, возвещавшими об очередном «вечере новой поэзии». На этих плакатах перечислялся длинный ряд имен, мало кому известных, и, мало того, длинный ряд «школ» и «течений», тоже, по большей части, неведомых. Так, на афишах стояли: нео-классики, реалисты и нео-реалисты, нео-романтики, символисты, акмеисты и нео-акмеисты, футуристы и нео-футуристы, центрофугалы, имажинисты, экспрессионисты, презентисты, акцидентисты, ктематики, беспредметники, ничевоки, экклектики, затем еще «поэты вне школ» и, наконец, раза два—пролетарские поэты, которые, впрочем, затем отказались от выступлений на подобных вечерах. Всем, стоявшим в стороне от закулисной жизни русской поэзии, от той работы, которая происходила в ее недрах за пятилетие 17—22 года, это множество «направлений» представлялось и необъяснимым и ненужным, нелепой претензией одних—играть роль «главы школы», «метр д'эколя», других—оказаться непременно «левее» всех в своей области.

Однако, то было не совсем так: это распадение к 1922 г. нашей поэзии на ряд школ, фракций, направлений, групп и толков—только потому и казалось неожиданным, что целое пятилетие она прожила, так сказать, за занавесом.

II.

Теперь уже всем становится ясным, чем именно должна стать современная русская поэзия. Поэзия всегда—выражение своего времени. Наши годы, эпоха после войны и после Октября глубочайшим образом отличаются от предшествующих лет: мы живем в новом социальном укладе, мы создаем новый быт, мы исполнены новых надежд, ставим себе новые цели; руководящим стал новый, иной класс общества, который постепенно и в пределах возможности приобщает все другие к своей идеологии. С одной стороны, в нашей жизни возникают явления, раньше невозможные; с другой—многое, что было в прошлом привычным и считалось значительным, отходит в историю, исчезает; наконец, видоизменяется на наших глазах самый язык—основной материал поэта. Поэзии предстоит так или иначе воплотить переживания этого момента истории, уловить ставимые им вопросы и дать на них свой, художественный, ответ.

Истинно-современной поэзией будет та поэзия, которая выразит то новое, чем мы живем сегодня. Но подобная задача, перенесенная в область искусства, таит в себе другую, распадается на две. Надобно не только *выразить новое*, но и *найти формы* для его выражения. В искусстве, где форма содержанием обусловлена, где идея получает подлинную жизнь лишь в соответственном выражении, а вне его—мертва и не действенна, всякое искание нового и начинается с искания новых форм и приводит к нему. Здесь удачным символом оказывается старая притча о мехах и вине: новое вино вливать в старые меха нельзя, новые идеи выразить в старых формах невозможно. Все то, что было в нашей поэзии живым, что способно было откликаться на требования истории, было в годы 1917—1922 устремлено наискание «нового». Хотя бы отдельные поэты сознательно и не отдавали себе отчета, какая огромная задача поставлена русской поэзии, все же они, поскольку были поэтами, чувствовали потребность порвать со старым. Для одних—прежде всего, конечно, для пролетарских поэтов—это чувство точно определялось как потребность выявить новое миросозерцание, идеологию рабочего класса; для других, захваченных революционным движением,—менее отчетливо, как стремление воплотить новые переживания, данные им революцией и новым укладом жизни; для третьих, может-быть, только как желание отразить в художественной форме окружающую действительность; но для всех оно должно было быть связано с необходимостью искать новые средства изобразительности. Из этого и вытекает то, что вся наша поэзия миновавшего пятилетия была проникнута разнообразнейшими техническими исканиями, что главная ее работа была работой над формой. Это и привело современную поэзию к делению (конечно, чисто внешнему) на все эти группы и подгруппы, явно обличающие теоретико-технические основания таких размежевок.

Само собою разумеется, что эта вторая, вспомогательная цель,—выработка новых форм, — давала возможность гораздо более легких до-

стижений, нежели первая, основная,—выявления нашей современности. Идея, заключенная в понятии «пролетарская поэзия», принадлежит к числу задач высочайшей трудности и сложности. В конце-концов, «пролетарская» поэзия есть та, которая должна стать «поэзией» вообще, заменить собою все то, что в течение *тысячелетий* называлось поэзией. Нет поэтому ничего удивительного, что за пять лет, с октября 1917 г. по 1922 г., мы получили только первые опыты в этом направлении, видим только камни складываемого фундамента. Напротив, задача—видоизменить, усовершенствовать технику словесного искусства так, чтобы она способна была более адэкватно выражать настроения современности; это, при всей ее трудности,—только обычная, очередная задача истории литературы. Естественно, что на этом пути, за пять лет, можно отметить уже определенные достижения. Конечно, вновь созданные формы—далеко не то, что нужно пролетарской поэзии (по той же причине неразрывности формы и содержания). Но в технических исканиях миновавшего периода есть известное завершение; писатели, им посвящавшие свои силы, до известной степени «сделали свое дело», то, что могли. Их работу уже можно рассматривать исторически. Поэтому их и приходится признать главными деятелями пятилетия 1917—1922 гг.

С этой точки зрения, все направления нашей поэзии за последние годы можно распределить на *три* группы, так сказать, вчерашнего дня, сегодняшнего дня (по отношению к 17—22 гг.) и завтрашнего дня. Первая, это—поэты, не ощутившие требования времени, сознательно оставшиеся чуждыми новаторскому, обновительному движению в области техники поэзии, все «правые» (в литературном смысле) школы, кончая символистами и акмеистами,—наше литературное прошлое. Вторая, это—поэты, прежде всего увлеченные ковкой новых форм, новых средств и приемов изобразительности, нового поэтического языка, т.-е. разрешавшие ту задачу, которую ставил поэзии данный момент ее эволюции, футуристы, и все выходящие из футуризма течения,—наше литературное сегодня. Третья, это—поэты, которые сразу ставили перед собою основную цель—выразить новое миросозерцание, пытаясь использовать для того как новые, так и традиционные формы, т.-е. поэты пролетарские,—наше литературное будущее. Заметим, что при этом делении, проведенном с формальной точки зрения, группы поэтов располагаются в последовательном порядке и по духу их произведений (конечно, с отдельными исключениями): продвигаясь от первой группы к третьей, чувствуешь все более определенное веянье революции, уже не только литературной, но и политической.

О крайнем правом крыле поэтов, за годы 1917—1922, сказать почти нечего. Из наших запоздалых парнассцев многие эмигрировали из России. Попадавшиеся в зарубежных изданиях новые стихи Ив. Бунина, А. М. Федорова, С. Маковского, Л. Столицы, Вл. Эльснера и др. ничем не отличались от их прежних стихотворений: умело слажено, но скучно и ненужно. Совершенно бесцветной была и деятельность московских нео-классиков, школы боевой, которая определенно отме-

жевывалась от всякого новаторства, желая *вернуть* поэзию к идеалам классических образцов: желание, как и всякая попытка повернуть назад колесо истории, конечно, неисполнимое. Во главе нео-классиков стоял Олег Леонидов, единственный поэт в этой группе, проявивший свою индивидуальность; но он же, в разрез с тенденциями своей группы, заявил где-то: «Возврата к прошлому не вижу,—Его покоя не хочу...» Другие жаловались: «Все, что надо, сказали—Те, другие, до нас...» (Г. Дешкин), молились «неведомому Богу» (М. Гальперин), вспоминали, что «Христос родился в яслях» (Е. Волчанецкая), склонялись «перед иконою святой» (Н. Захаров-Мэнский) и т. д...

Близко к нео-классикам стояли, и с теми же результатами, поэты московского «Особняка» и значительная часть петербургского Союза поэтов. Можно пройти молчанием большинство этих поэтов, частью выступавших с отдельными сборниками (напр., А. Мареев, «Кованый ковш», 1921 г.), частью составлявших свои альманахи, иногда с приглашением футуристов («Провинциальная Муза», Казань, 1919 г. «Сюжетисты», Курск, 1921 г., «Костер», 1920 г., «Лирика», 1922 г. и др.). Следует, однако, выделить некоторых поэтов, как П. Радимова (переводы с татарского, Казань, 1920 г. «Провинциальная Муза» и др. изд.), который чужд теориям «правых» и пишет непритязательно, но живо; петербургских «островитян», как Н. Тихонов («Орда», 1922 г.) и С. Колбасьев («Открытое море», 1922 г.), в стихах которых есть что-то и «от нового» и оценивать которых по первым опытам еще рано; и еще двух-трех — из провинциальных альманахов (как «Альманах первый» Курского Союза поэтов, 1922 г., «Сполохи», В. Устюг, 1920 г., «Рассвет», Ковров, 1920 и 1221 гг.), где иногда есть намеки на талантливость.

Много виднее была деятельность символистов. Правда, в большинстве они принуждены были молчать в течение нескольких лет. Но кое-что из их произведений в печать все же проникало. Всего больше напечатано было за время революции книг А. Блока (поэма «Двенадцать» (1918 г.) в нескольких изданиях, «Ямбы» (1919 г.), «За гранью прошлых дней», «Седое утро» (1920 г.), драмы «Песня судьбы», «Катилина», «Рамзес», некоторые статьи, переводы Гейне и др.), но также кое-что Вяч. Иванова («Младенчество», «Прометей», издания Алконоста), Андрея Белого («Королевна и Рыцари», то же издание), К. Бальмонта («Перстень, изд. «Творчество») и т. д... В конце 1912 и в 1922 г. к этому присоединилось уже значительное число книг, написанных, конечно, раньше, опять А. Блока, затем Андрея Белого (изд. русские и зарубежные—«Геликона»), Н. Гумилева (посмертные), Ф. Сологуба, М. Кузьмина, А. Ахматовой, В. Ходасевича и мн. др. Тогда же в некоторых изданиях («Вестник Литературы», «Летопись Дома Литераторов», «Литературные Записки») предпринята была целая кампания, имевшая целью доказать, что именно эти произведения являются венцом современной литературы. Писалось, что Блок—значительнейший из преемников Пушкина, что стихи Гумилева—предел мастерства, что А. Белый—создатель новой

эпохи в литературе, что Ходасевич—самый яркий представитель нашей поэзии, Ахматова—ее гордость, Сологуб—ее патриарх, и т. под.

Пишущему эти строки всего менее пристало отрицать заслуги перечисленных поэтов. Все они, в свое время, были его соратниками, и он во многом разделял их идеалы и стремления; обо всех них он не раз печатно высказывал свое мнение, как о выдающихся художниках; многим из них оказал содействие при их первых шагах в литературе (Блоку, Белому, Гумилеву). Но все это не должно и не может ослеплять взгляд критика; от признания писателя истинным поэтом далеко до того, чтобы ставить его на первое место во всей русской литературе. Никто теперь не отрицает заслуг символистов в прошлом, их *исторического* значения; несоспоримо, что Бальмонт, Сологуб, Вяч. Иванов, А. Белый, Блок были в 90-х и 900-х годах передовыми деятелями в области поэзии. Но, оценивая роль тех же поэтов в 10-х и начале 20-х годов, можно прийти и к иным выводам, нисколько не впадая в противоречие с прежними суждениями. Дело идет не о переоценке *таланта* поэтов, но о сравнительной оценке их роли в разные периоды. Если в конце XIX и начале XX века издания символистов были литературным событием, то за последние десять лет они являлись лишь книжной новинкой, порой—увы!—весьма напоминавшей нечто уже прочитанное раньше.

Поступательное движение символизма, как литературной школы, прекратилось еще в самом начале 10-х годов, когда наметилось и явное вырождение тех основных принципов, которые прежде давали силу символической поэзии. Если стремление к идеям «общечеловеческим» в период расцвета углубляло и усложняло эту поэзию, сравнительно со стихотворством 70—80-х годов, то в период упадка то же стремление приводило к дидактизму, к изложению стихами тем, позаимствованных у Ницше. Если раньше символисты умели художественно воплощать вопросы современности в фигурах истории и в образах народных сказаний (мифы), то теперь это обращалось в жонглирование данными археологии и фольклора. Самый прием символа, как могущественного приема обобщения, подменялся рассудочной аллегорией. Заботливое отношение к форме переходило в пустую игру техническими трудностями. Даже язык застывал в условном, ставшем традицией, словаре, и с каждым годом символисты становились все небрежнее в выборе слов, в синтаксисе, во всем строе речи. Постепенно выработался шаблон символического стихотворения: бралось историческое событие, народное сказание, философский парадокс или что-либо подобное, излагалось строфами с «богатыми» рифмами (чаще всего: иностранного слова с русским), в конце присоединялся вывод, в форме отвлеченной мысли или патетического восклицания—и все. Такие стихотворения изготовлялись сотнями, находя хороший сбыт во всех тогдашних журналах, вплоть до самых толстых (за исключением «Русского Богатства»), и это машинное производство почиталось самой подлинной поэзией.

Годы 1911—1917 были временем развала символической школы. Извне на нее яростно нападали футуристы. Внутри от нее отказывались

мистические анархисты (Г. Чулков и др.), акмеисты (С. Городецкий, Н. Гумилев), поэты «Гюлистана» (А. Глоба, В. и Б. Шманкевичи и др.), соборные индивидуалисты (М. Гофман) и др. Из писателей остававшихся верными знамени, лишь немногие удерживались хотя бы на уровне своего прежнего творчества, еще более редкие делали шаги вперед, громадное большинство безудержно катились вниз по склону трафаретов, увлекая в те же низины и молодежь, еще пополнявшую тогда ряды символистов. В эпоху Революции символисты вступили уже разбитой армией, потерявшей многих вождей и за последние годы не приобретшей ни одного ценного соратника. И все пятилетие 17—22 года не ознаменовано ни одним выдающимся произведением, которое было бы подписано именем поэта, находящегося в рядах символистов.

Некоторые имена, прежде довольно громкие, можно обойти почти молчанием. Д. Мережковский сам исключил себя из числа поэтов-стихотворцев, задолго до 17 года. К. Бальмонт уже лет 15 назад стал превращаться в заурядного графомана, и книжки его стихов, вышедшие в революционные годы, прямо оскорбляют убожеством содержания и формы, отсутствием даже проблесков когда-то яркого дарования. З. Гиппиус, и у нас («Последние стихи». Спб., 1918) и за рубежом, печатала только ругательства по адресу Советской России, в которых неряшливость техники и грубость речи обличают полное угасание художественного вкуса и стихотворного умения. Теми же признаками отмечены новые стихи некоторых других бывших символистов, о которых не стоит говорить подробнее, так как они основательно и справедливо забыты, в роде, напр., С. Кречетова (в зарубежных изданиях).

О ряде других можно сказать только то, что они что-то писали, похожее на их прежние стихи, только слабее и бесцветнее. Жаль, что в этом ряду приходится назвать и Федора Сологуба, в новых сборниках которого («Соборный благовест», 1921 г., «Одна любовь», 1921 г., «Свирель», 1922 г., и др.) много стихов, помеченных давними годами, и это всегда—лучшие. Как стихотворец, решительно ниже себя во всех своих новых стихах был и Андрей Белый («Королевна и Рыцари», 1921 г., «Первое свидание», 1921 г., «Зовы времен», Берл., 1922 г., и др.; Белого, как прозаика, мы не касаемся). Повторением старого, перепевом самого себя, были и стихи М. Кузмина, какие нам случалось встречать («Лесок», «Эхо», 1921 г., «Петербургский Альманах», 1922 г., и др.). То же надо сказать и о ряде других, как Ив. Рукавишников («Триолеты», 1922 г.), К. Липскеров («Золотая ладонь», 1922 г.), С. Рафалович («Симон Волхв» и др. изд., Тифл., 1919 г.), и ещ многих, чьи стихи печатались отдельными книжками или в альманахах символистов («Дракон», 1921 г. «Записки мечтателей», с 1919 г. и др.), как Ю. Балтрушайтис, В. Инбер, С. Парнок, С. Соловьев, В. Пяст, Г. Адамович, П. Сухотин, С. Шервинский, и т. под. Некоторые, однако, шли назад очень далеко, так, напр., Анна Ахматова, расхваленная частью современной критики; в ранних стихах Ахматовой было некоторое своеобразие психологии,

выраженной подходящими к тому ломаными ритмами; в новых («У самого моря», «Подорожник», «Anno Domini», 1922)—только бессильные натуги на то же, изложенные стихами, которых постыдился бы ученик любой дельной «студии».

Некоторые символисты, как сказано выше, удержались на крайней высоте своего творчества или даже в том или ином отношении шли вперед. Ничуть не ниже прежних поэм новые стихи М. Волошина (альманах «Наши Дни», 1922 г., и цитаты в др. изд.), и они имеют еще то достоинство, что часто касаются тем современности. Хорошим стихом написана поэма А. Глобы «Уот Тейлор» (1922 г.), начатая, впрочем, давно (Глобы, как драматурга, мы не касаемся). На уровне прежних достижений остается и Вячеслав Иванов, хотя ни его поэма «Младенчество» (1918 г.), ни драма «Прометей» (1919 г.), ни «Зимние сонеты» (1921 г.)—не прибавляют ничего нового к его образу, как поэта. Иные, может-быть, и пошли вперед, как творческая индивидуальность и как мастер, но не вышли за грани, очертанные символизмом уже десятилетие назад, не дали ничего самостоятельного ни в содержании, ни по форме. Таковы Марина Цветаева («Версты», 1922 г.), В. Ходасевич «Путем зерна», 1922 г., и стихи в журналах, почему-то вдруг превознесенные А. Белым), Г. Чулков («Стихотворения», 1922 г.) и др. Таковы же некоторые символисты-дебютанты или полудебютанты. Они дали недурные стихи на темы, сходные с теми, какие разрабатывались их предшественниками по школе, в их манере, с их приемами, их языком Десять лет назад все это могло быть нужно в ряду аналогичных работ; ныне—бесполезно и неинтересно, потому что время выдвинуло уже новые запросы.

Критика, сочувствующая символистам, особенно выдвигает заслуги А. Блока. Однако, его последние книги (перечислены выше, также «Возмездие», 1922 г., не считая переизданий «Собрания сочинений» и др.) на девять десятых—повторение прежнего. А. Блок всегда с одного клише воспроизводил десятки стихотворений, еле различных одно от другого. Пять-шесть тем, три-четыре приема он разводил на сотни пьес, не плохих, но одноликих: опять о том же, опять так же, в тех же размерах, с теми же рифмами, даже теми же словами, где небрежно брошены «годы золотые», «душа изливается», «вечер догорал», «вода спала» и т. под., кое-что от Фета, кое-что от Блока, кое-что от других. Новые стихи Блока читались и забывались, а ведь «прекрасная дама», «незнакомка», «твари весенние» помнились и помнятся поныне. Совсем слабы новые драмы Блока, аллегорическая «Песня судьбы», исторически несообразный «Рамзес». Самым сильным произведением Блока за революционный период осталась поэма «Двенадцать», конечно, анти-революционная по духу, но где поэт все же соприкоснулся со стихией революции. В общем А. Блок, конечно, не перестал быть поэтом, но—если исключить «Двенадцать»—его образ в истории литературы остался бы все тем же и без его стихов 1917—1922 гг., и история русской поэзии без этих его стихов тоже осталась бы все той же.

Итак, символисты за пятилетие 1917—1922 гг. писали стихи, одни совсем плохо, другие—лучше, не хуже прежнего, третьи—даже стихи превосходные, сами по себе, но движения вперед в этом не было. Символизм стоял на месте и, если рос, то только вширь, да и то немного. Несколько умножилось число примеров применения этого метода к некоторым темам, раньше не разработанным или не вполне разработанным,—примеров, сделанных по образцам прошлого. Это—все, что дали символисты.

Не многим больше прав на активную роль в истории имеет родное дитя символизма—акмеизм.

Собственно говоря, двух основателей этого течения, Н. Гумилева и С. Городецкого, было бы правильнее прямо причислить к символистам, ибо оба ограничились лишь тем, что выкинули новое знамя, не изменив принципам символизма в творчестве. Но их обоих выделяет то, что оба оказались жизнеспособнее своих сотоварищей по школе, хотя и в двух прямо противоположных направлениях.

Посмертные сборники стихов Н. Гумилева («Костер», «Стихотворения», «Тень от пальмы», «Огненный столп» и др., 1922 г., перепечатки «Мик», «Фарфоровый павильон» и др.) показывают, что он сумел до последних лет остаться большим мастером пластического изображения. Описания экзотических стран, достаточно ему знакомых, и яркие аналогии, заимствуемые из этой области, придают стихам Гумилева своеобразный оттенок, не бледнеющий, даже при сравнении с Леконтом де Лилем или Бодлэром. Есть подлинная сила в одной из последних поэм Гумилева «Звездный ужас». Таким образом, акмеизм, по крайней мере,—большое мастерство. Но все-таки та экзотика, та археология, тот изысканный эстетизм, которыми пропитаны щегольские стихи Гумилева,—все это стадии, уже пройденные нашей поэзией. В его стихах—чувства утонченника, который предпочитает отворачиваться от современности, слишком для него грубой. Читая Гумилева, словно любуешься искусной подделкой под какой-то старинный, классический образец.

Совершенно иное—второй основоположник акмеизма, С. Городецкий. Он, напротив, в числе тех, которые нашли в себе живой отклик на современность. Его стихи—шаги вперед, а не топтанье на месте, именно в том, что он взялся за новые темы («Серп», 1921 г., стихи в бакинских изд. и др.). В технике творчества для самого Городецкого ново, что он усвоил себе некоторые приемы, прежде ему чуждые (напр., свободный стих Верхарна), но в целом она осталась старой техникой символистов. С. Городецкий в этом не перешагнул через самого себя, а местами не вышел даже из того стихотворного фельетона, который губил целый период его творчества. Спасительность разрыва с символизмом сказалась только в способности влить свою поэзию в жизненное русло наших дней.

Что до подлинных акмеистов или нео-акмеистов, то их надо резко отличить и от Гумилева и от Городецкого. Поэзию нео-акмеистов можно назвать поэзией парадоксов. Тщательно обтачивая свои стихи по традициям символистов, с небольшими вольностями в отношении ритма и риф-

мы, они все жадно стремятся к тому, чтобы высказать нечто неожиданное и неожиданным образом. Их стихи—четки из максим, нанизанных на образы. Само собой разумеется, что для акмеизма безразлично, будет ли такая максима революционной или анти-революционной: *то и другое* одинаково пригодно, если дает повод к красивому парадоксу или неожиданной рифме.

Очертить круг нео-акмеистов не легко, так как они никогда не имели собственного журнала или иного органа. Повидимому, их некоронованным королем можно считать О. Мандельштама, стихи которого всегда красивы и обдуманны. Но далее следует длинная вереница поэтов, которые, может-быть, станут негодующе протестовать против зачисления их в число нео-акмеистов. Все же такими представляются нам многие поэты одесских и киевских изданий 1919—1921 гг., как: Э. Багрицкий, В. и Н. Макавейские, Ю. Олеша и др.; некоторые, выступившие в литературе сравнительно давно, как В. Нарбут, Г. Шенгели, Б. Лившиц и др.; часть поэтов петербургского «Цеха», как Анна Радлова («Корабли», 1920 г.), Г. Иванов, М. Лозинский, Н. Оцуп и др.; иные начинающие или полуначинающие (чьи дебюты прошли незамеченными), Эмм. Герман («Растопленный полюс», 1918 г., «Скифский берег», 1920 г.), А. Беленсон, В. Зоргенфрей, Вс. Рождественский и др. Эти поэты приближаются к принципам нео-акмеизма в разной степени, кто ближе, кто отдаленно, но во всяком случае не переходят за его литературные грани. Впрочем, такое же приближение можно заметить и у многих «младших» символистов, у названного выше В. Ходасевича (тяготеющего также к «пушкинизму» и «тютчевизму»), у К. Липскерова (часто сбивающегося на шаблонный «парнассизм») и еще у других.

Еще ряд поэтов, не примыкая к футуризму, чужд, однако, и всем течениям, выросшим из символизма. Таков, напр., С. Нельдихен («Органное многоголосье», 1922 г.), идущий, повидимому, от Уота Уитмэна; И. Одоевцева («Двор чудес», 1922 г.), автор довольно плохо смастеренных баллад, Илья Эренбург, усвоивший за последние годы, вместо своего прежнего четкого стиха, манеру писать нарочито-неряшливо (впрочем, в своей новейшей книжке «Опустошенная любовь», Берл., 1922 г., вернувшийся к обычным приемам символистов), и др.

III.

В противоположность символизму, уже разлагавшемуся до 1917 г., футуризм, вступая в годы революции, едва начинал оформляться. Единой программы у футуристов не было. Разрозненные фракции весьма широко объединял лишь неопределенный лозунг борьбы со всеми традициями поэзии: «Бросить Пушкина, Достоевского, Л. Толстого и проч. и проч. с парохода современности» и «Стащить бумажные латы с Брюсова» («Пощечина общественному вкусу», 1913 г.) или: «Для нас Державиным стал Пушкин» и «Да, Пушкин стар для современья» (Игорь Се-

верянин). В поисках теоретических основ наши футуристы охотно обращались к уже готовому, т.-е. к манифестам западного футуризма, к Маринетти и его сотоварищам («Манифестам итальянского футуризма», перевод В. Шершеневича 1914 г.) и это было роковое недоразумение. Западно-европейский футуризм был, несомненно, законнейшим сыном последних этапов капитализма, отражением его идеологии; отсюда вытекали у западных футуристов их гимны современному городу (урбанизм), их прославления машин и машинизма, их любование фабриками и заводами (а не по связи с рабочим классом!), их защита империализма и милитаризма («война—единственная гигиена мира»). Между тем русский футуризм вербовал большое число своих ратников в тех слоях общества, которые органически были чужды такому подходу (Маяковский, Асеев и др.). Насколько еще футуристы были неорганизованы перед войной, видно уже из того, что в иных своих изданиях того времени они ожесточенно нападали на тех самых писателей, которые вскоре должны были стать важнейшими деятелями движения (напр., в «Первом Журнале русских Футуристов», 1914 г., нападки на Пастернака и Асеева), или превозносили таких, которые через 2—3 года стали принципиальными противниками футуризма (там же, восторженные хвалы В. Шершеневичу).

Тем не менее, уже в 1917 г. определенно наметились такие группы, прикрывавшиеся именем футуризма, которые явно выпадали из общего течения и которые в дальнейшем, в пятилетие 17—22 г., перестали играть сколько-нибудь видную роль. Мы говорим здесь не о разных мертворожденных «психо-футуристах», членах «Вседури» и т. п., исчезнувших вместе с первым выпуском своих программных изданий, но об объединениях, некоторое время занимавших внимание критики. Такой была группа Игоря Северянина,—поэта, деятельность которого начиналась с безусловно интересных, даже значительных созданий и который некоторое время имел самый шумный успех у читателей («Громокипящий кубок», стихи 1910—1912 г.). Северянин чрезвычайно быстро «исписался», довел, постоянно повторяясь, своеобразие некоторых своих приемов до шаблона, развил, в позднейших стихах, недостаток своей поэзии до крайности, утратив ее достоинства, стал приторным и жеманным и сузил темы своих «поэз» до маленького круга, где господствовало «быстро-темпное упоение», восклицания «Вы такая эстетная» и т. д.,—салонный эротизм и чуждый жизни эстетизм. Приставка *эго* (Северянин именовался «эго-футуристом») мстила за себя. Все, что писал и печатал Игорь Северянин за годы революции, в Крыму и в Ревеле,—только перепевы худших элементов его ранних книг. Вместе с Северянином сошли со сцены литературы и его ученики (были таковые!) Столь же бесследно пропали и поэты другой подгруппы «вселенского» эго-футуризма, одно время возглавлявшегося К. Олимповым (сын К. Фофанова) и когда-то собиравшего в своих изданиях стихи чуть ли не десятка последователей. Оставляя в стороне слабость дарований этих юношей, нельзя не отметить, что их порывания к крайнему индивидуализму шли в разрез с коммунистическими веяниями эпохи и уже через это одно не могли не быть сметенными с арены.

Гораздо более жизненной оказалась группа самых непримиримых футуристов,—та, которая именовалась то «кубофутуристами», то «будетлянами» (от корня «буду», аналогично «futur»), то «заумниками». Стойкость ее зависела от того, что она ставила себе задачи прежде всего *технические*, следовательно, отвечала запросам эпохи. Термин «заумники» указывает на желание поэтов этой группы создать новый поэтический язык, «заумь», который дал бы поэзии более совершенный материал для творчества, нежели язык разговорный. В этой тенденции есть свое здоровое ядро. Поэзия—искусство словесное, как живопись—искусство красок и линий. Извлечь из слова все скрытые в нем возможности, далеко не использованные в повседневной речи и в ученых сочинениях, где преследуются цели практические и научные,—вот подлинная мысль «заумников». Мыслимо большое количество слов, аналогичных существующим,—слов, которые не были созданы народом лишь потому, что в них не встретилось потребности. Поэт, которому нужно более точное, более детальное или более образное выражение, в праве такие слова творить сам, конечно, в духе языка и его морфологии. Например, от корня «мочь» мыслимы производные «могун», «могач», «моглец», «могатырь», «можество», «моганствовать», «моженята» и т. под. (образования В. Хлебникова). Принципиально нельзя возразить и против права поэта творить новые корнесловия, новые словосоединения, новые суффиксы, новые флексии. Далее следует вопрос о преобразовании поэтом и синтаксиса, введении новых приемов словоподчинения и словосочинения, новых оборотов речи, нового строя предложений и т. д. Все это будет творчеством поэта в сфере *языка*, который поэзия, как свой основной материал, в праве обрабатывать так, чтобы он наилучшим образом служил ее целям.

Однако, приемлемые в теории, все эти положения становятся крайне опасными, как только дело доходит до практики, до самого писания стихов по таким методам. Поэзия, как каждое искусство, возникает, может-быть, из потребности поэта выразить себя самого, уяснить самому себе свои переживания (теория Потебни); но, как каждое искусство, поэзия ценна тем, что она что-то говорит воспринимающим ее читателям. Поэт может обращаться, как и ученый, то к более широким, то к более ограниченным кругам читателей (к каким обращаются, например, специальные научные сочинения), но поэзия теряет весь смысл существования, если она вообще не воспринимаема. Стихи, понятные только самому автору, или даже стихи, доступные лишь для 5—6 «посвященных»,—явление антисоциальное. Поэтому по пути «словотворчества» и «словоновшества» писатель в праве итти лишь до известных пределов. Допустим даже, что чтение стихов будет требовать некоторой подготовки (как требуется, напр., изучение языка для чтения иностранных произведений), но все же, чем шире будет круг читателей данного произведения поэзии, тем полнее выполнит оно свое назначение. Между тем, увлекаясь сочинением новых слов и новых оборотов речи, первые заумники по большей части создавали стихи, абсолютно никому непонятные, кроме их самих. Критика недоумевала, что ей делать со всеми этими «дыр-бул-щыл-убе-

щур» или «бобэоби—вээоми—пиээо—лиэээй»; для читателей же это было пустое место. Дело ухудшалось еще тем, что заумники, на ряду с обработкой языка, как материала, выставляли еще, как принцип, соответствие графического изображения слов их смыслу (Н. Бурлюк и др.), настаивая, что шрифт, форма печатных букв, имеет чуть ли не такое же значение в поэзии, как выбор слов. В книгах заумников иные слова печатались крупнее, иные мельче, те вкось, те вкривь, те вверх ногами, и смысл этих типографских ухищрений был мало вразумителен. Наконец,—и этого не надо забывать,—словотворчество требует не только таланта и огромного чутья к языку, но и филологических знаний. Так как их многим заумникам недоставало, то и сочиняемые ими слова бывали зачастую нетерпимы для уха человека, говорящего по-русски.

Проповедь свою заумники начали с первых шагов футуризма и продолжали ее за весь период 17—22 гг., постоянно выступая с новыми образцами «зауми». Из всех этих проповедников только один достиг положительных результатов; но то был основоположник зауми, которого сотоварищи единогласно признавали учителем, недавно скончавшийся Велемир Хлебников. Только у него специальный талант к творчеству слов и несомненное (хотя и не очень широкое) поэтическое дарование соединялись с известной научной осведомленностью. Много высказано Хлебниковым нелепых филологических парадоксов, распадающихся при первом прикосновении научной критики; многое из напечатанного с его именем—только черновые наброски, опыты, где ценное смешано с совершенно лишним и ненужным; но за всем этим остается еще подлинный вклад в литературу. В своих лучших стихах—такова и последняя поэма «Зангези», 1922 г.,—Хлебников сумел, действительно, во многом преобразовать язык, выявить в нем элементы, ранее не использованные поэзией, но в высшей степени пригодные для поэтического творчества, показать новые приемы, как словом оказывать художественное воздействие, и при всем том остался «понятным» при минимальном усилии читателя. Это еще не осуществление задачи, предносящейся перед заумниками, но уже этапы на пути к ее разрешению. Безмерно слабее, неудачнее попытки ближайших единомышленников Хлебникова: драмы Г. Петникова, стихи А. Крученых («Зудесник», книга 119-ая, 1922 г.), В. Каменского, И. Зданевича, Н. и Д. Бурлюков и др. За годы 1917—22 один Хлебников шел вперед, углубляя свои искания; другие заумники топтались на месте, вплоть до повторения прежних типографских ухищрений, в своих изданиях, как московских, так тифлисских (альманах «Софии Г. Мельниковой», Тифлис, 1919 г., Терентьев, «Факт», Тифлис, 1919 г., и др.).

Но плодотворность идей Хлебникова не ограничивалась только успехами его личного творчества и неуспехом писаний Крученых и др : не в такой резкой форме, как сочинение стихов на зауми, эти идеи проникали все вообще творчество футуристов. Важно было осознать вообще, *что язык—это материал поэзии, и что этот материал может и должен быть обработан поэтами соответственно задачам художественного творчества*. Это и есть основная мысль русского футуризма; в проведении ее

в практику поэзии и заключается основная заслуга наших футуристов; успехи этой работы и суть главные (формальные) достижения нашей поэзии за пятилетие 1917—1922 гг. Участвовали в этом движении не только заумники, но, сознательно или бессознательно, все поэты, примыкавшие к новаторским течениям: все они, угадывая требования эпохи и подчиняясь, может-быть, импульсу Хлебникова (как-то свидетельствуют сами главари футуризма), устремили свое художественное внимание на *язык*. Прежнее отношение к языку, как к чему-то извне данному, во что можно вносить лишь мелкие, частичные поправки (отношение классической поэзии), было отвергнуто. Работа над «формой» в поэзии стала не только исканием адэкватных размеров, удачного строя строфы, выразительной рифмы и осторожного привлечения малоизвестных речений (отношение символистов), но в то же время, и даже раньше всего,—работой над языком, над словарем, морфологией и синтаксисом.

В центре деятельности футуристов 17—22 гг. стояли два поэта, В. Маяковский и Б. Пастернак, и оба в широкой мере выполняли этот завет своей школы. Но оба они—поэты настолько значительные, что выходят из рамок одной школы; значение их деятельности нельзя ограничить выполнением одной, хотя бы и важной, задачи момента; самое творчество их не умещается в гранях одного пятилетия.

Маяковский сразу, еще в начале 10-х годов, показал себя поэтом большого темперамента и смелых мазков. Он был один из тех, кто к Октябрю отнесся не как к внешней силе, прежде всего мешающей самой работе поэта (отношение очень многих, несмотря на стихи, где революция воспевается), но как к великому явлению жизни, с которым он сам органически связан. Уже с эпохи войны появляется ряд стихотворений Маяковского, откликающихся на современность, потом радостно приветствующих революцию: «Война и Мир», «Революция», «Наш марш» («Все, сочиненное Вл. Маяковским», 1919 г.), «Мистерия Буфф» (переделано для театра в 1920 г.), «150.000.000» (1921 г.), поэма об интернационалах, (1922 г.) и переходящих иногда в настоящие агитки («Маяковский издевается», 1922 г.), рядом с чем, впрочем, продолжается творчество и на иные темы (см. «Все», затем «Люблю», 1922 г. и др.). Стихи Маяковского принадлежат к числу прекраснейших явлений пятилетия: их бодрый слог и смелая речь были живительным ферментом нашей поэзии. В своих позднейших стихотворениях Маяковский усвоил себе манеру плаката—резкие линии, кричащие краски. При этом он нашел и свою технику,—особое видоизменение «свободного стиха», не порывающего резко с метром, но дающего простор ритмическому разнообразию; он же был одним из творцов новой рифмы, ныне входящей в общее употребление, как более отвечающей свойствам русского языка, нежели рифма классическая (Пушкина и др.). Наконец, в сфере языка Маяковский, с умеренностью применяя принципы Хлебникова, нашел речь, соединяющую простоту со своеобразием, фельетонную хлесткость с художественным тактом. Недостатки поэзии Маяковского в том, что эта последняя хлесткость иногда преобладает, что простота порой срывается в прозаизмы, что иные рифмы слишком ис-

кусственны, что некоторые размеры лишь типографски отличены от самых заурядных ямбов и хореев, что плакатная манера не лишена грубости, и т. д., главное же в том, что и у Маяковского уже начинает складываться шаблон. Во всяком случае, опасности для него еще впереди, а годы 17—22 были расцветом его деятельности. Влияние Маяковского на молодую поэзию было очень сильно, но, к сожалению, ему чаще подражали по внешности, без его силы, без его одушевления, без меткости его речи и богатства его словаря. (Ныне выходит собрание стихов Маяковского, «13 лет работы», изд. «Маф», М., 1922 г.).

Гораздо менее на виду была деятельность Б. Пастернака. Кроме стихов, изредка появлявшихся в немногочисленных журналах и альманахах революционного периода, он за последние годы дал лишь одну единственную книгу: «Сестра—моя жизнь», 1922 г.; это—собрание стихов, написанных в 1917 и 1918 гг., немногие—позже, в 1919—1920 г. Несмотря на то, влияние Пастернака на молодежь, пишущую стихи, было едва ли не равно влиянию Маяковского. Стихи Пастернака удостоились чести, не выпадавшей стихотворным произведениям (исключая те, что запрещались царской цензурой) приблизительно с эпохи Пушкина: они распространялись в списках. Молодые поэты знали наизусть стихи Пастернака, еще нигде не появившиеся в печати, и ему подражали полнее, чем Маяковскому, потому что пытались схватить самую сущность его поэзии. Стихи Б. Пастернака сразу производят впечатление чего-то свежего, еще небывалого: у него всегда своеобразный подход к теме, способность все видеть по-своему. В области формы—у него богатство ритмов, большею частью влитых в традиционные размеры, и та же новая рифма, создателем которой он может быть назван даже еще в большей степени, чем Маяковский. В творчестве языка Пастернак также осторожен, но, редко, сравнительно, прибегая к творчеству слов, он смел в новых синтактических построениях и в оригинальности словоподчинений. Насколько Маяковский, по настроениям своей поэзии, близок к поэтам пролетарским, настолько Пастернак, несомненно,—поэт-интеллигент. Частью это приводит к широте в его творческом захвате: история и современность, данные науки и злобы дня, книги и жизнь—все, на равных правах, входит в стихи Пастернака, располагаясь, по особенному свойству его мироощущения, как бы на одной плоскости. Но частью та же чрезмерная интеллигентность обескровливает поэзию Пастернака, толкает его к анти-поэтической рефлексии, превращает иные стихи в философские рассуждения, подменяет иногда живые образы остроумными парадоксами. У Пастернака нет отдельных стихотворений о революции, но его стихи, может-быть, без ведома автора, пропитаны духом современности; психология Пастернака не заимствована из старых книг; она выражает существо самого поэта и могла сложиться только в условиях нашей жизни.

К Б. Пастернаку, по характеру поэзии, близко подходит Н. Асеев. Он начинал, как один из «крестьянских» поэтов, потом испытал явное влияние идей Хлебникова («Леторей», 1915 г., «Оксана», 1916 г.); годы революции провел на Дальнем Востоке («Бомба», Владивосток, 1921 г.);

лишь за последнее время вернулся в семью московских футуристов («Стальной соловей», изд. «Маф»., 1922 г.). Таким образом, вопрос о непосредственном влиянии Пастернака, почти ничего не печатавшего между 1917 и 1921 гг., не должен ставиться. Между тем Асеев пришел почти к тем же формам и приемам, как автор «Сестры», и многое из сказанного о Пастернаке применимо к Асееву. Впрочем, Асеев свободен от интеллигентской рефлексии, напротив,—у него есть здоровое мировосприятие человека, близкого к природе. Природа, входящая в поэзию Пастернака чаще всего как «сад» или «балкон», вливается в стихи Асеева, как «степи» и «леса». Революция воспринята Асеевым непосредственно, и он останется в истории литературы, как один из ярких ее певцов. Наконец, работа над языком проведена у Асеева смелее, чем у Пастернака, особенно, в области словаря (пример: перевертень из прекрасной поэмы «Собачий поезд», картины езды на собаках на севере).

Четвертый поэт, который должен быть назван в центре футуризма, это—Сергей Третьяков. Он прикасался к движению заумников и еще не преодолел крайностей этого направления. Его стихи в меньшей степени—осуществления, чем у трех, названных раньше, и еще во многом—лишь обещания. Все же Третьяков уже дает законченные образцы того, чего может достичь футуризм на своих путях, и тоже, повидимому, вне непосредственного влияния его главарей (сборник «Ясныш», Чита, 1922 г.). Народный, порою почти мужицкий говор оживлен в стихах Третьякова художественной работой над стихией слова. Лучшие его произведения подсказаны революцией и бытом новой России, Р.С.Ф.С.Р. и Д.-В.Р. Такова, напр., прекрасная диалогическая поэма «Рыд материнский».

Таким образом, дело футуризма за 1917—22 гг. выразилось преимущественно в деятельности Хлебникова, Маяковского, Пастернака, Асеева, Третьякова. Но из них только Маяковский все время стоял на виду; Хлебникова едва знали вне круга товарищей; Пастернаком интересовались только пишущие стихи; Асеев и Третьяков жили вдали от центров, на дальне-восточной окраине. Поэтому внимание критики и читателей концентрировалось вокруг другой группы, правда, вышедшей из футуризма, но резко себя ему противополагавшей. Мы говорим об имажинистах, вся деятельность которых заключена в грани от 17 года,—самого начала этого течения, по 22 год, когда это течение ослабло, неизвестно, с надеждой ли возродиться. К тому же имажинисты были из числа тех, которым и в бесknижные годы—1919, 1920—удавалось печатать и распространять не только сборники своих стихов, но даже и книги о себе («Конница бурь», I и II, 1920 г.; Львов-Рогачевский, «Имажинизм», 1921 г.; И. Грузинов, «Имажинизма основное», 1921 г.; В. Шершеневича, «2 × 2 = 5», 1921 г., и др.).

Имажинисты издали немало «манифестов»; многое в этих программах повторено из того, что говорили футуристы, или скопировано с того, что они делали. Это естественно, так как «глава школы», Вадим Шершеневич, сам долго стоял в рядах футуризма. Оставляя в стороне эти повторения и отбрасывая как намеренные парадоксы (напр., требование, что-

бы стихи были таковы, что все равно, читать их с начала к концу или с конца к началу), так, разные технические мелочи, можно получить главную мысль имажинистов: что поэзия есть искусство *образов* и ничего другого. Мысль эта была заимствована из теорий Потебни (ныне оспариваемых в науке), но имажинистами истолкована по-своему и доведена до крайности. Во-первых, это положение резко разграничивало имажинизм от футуризма: футуристы брали за основу *слово*, имажинисты—*образ*. Во-вторых, имажинисты делали вывод: если сущность поэзии—образ, то для нее второстепенное дело не только звуковой строй (напр., звучность стихов, их «музыка»), не только ритмичность и т. п., но и *идейность*. «Музыка—композиторам, идеи—философам, политические вопросы—экономистам,—говорили имажинисты,—а поэтам—образы и только образы». Разумеется, на практике осуществить такое разделение было невозможно, но теоретически имажинисты на нем настаивали. Понятно, что, чуждаясь вообще идейности, имажинисты отвергали и связь поэзии с общественной жизнью, в частности—отрицали поэзию, как выразительницу революционных идей.

Соответствуй теории имажинистов их стихи, они были бы в нашу эпоху обречены на быстрое забвение. На деле только один В. Шершеневич, основатель «школы» и главный ее теоретик, более или менее держался своих программ. Однако, и он в своих стихах («Коробейники счастья», К., 1920 г.; «Лошадь как лошадь», 3-я книга лирики, М., 1920 г.; «Кооперативы веселья», М., 1922 г.) постоянно, даже чаще, чем то желательно в поэзии, оперировал с отвлеченными идеями. Не избег этого и второй из вождей движения, Анатолий Мариенгоф («Стихами чванствую», М., 1920 г.; «Развратничает с вдохновением», М., 1921 г.; «Разочарование», М., 1922 г., и др.) Оба все-таки следуют основному принципу имажинизма в том смысле, что стремятся в каждую строку вместить как можно больше зрительных образов, по большей части очень натянутых и вычурных; стих Шершеневича—неравномерный «дольник», стих Мариенгофа—«свободный», но резче отграниченный от метризма, чем у Маяковского, местами переходящий в явную прозу. Третий видный имажинист, С. Есенин, начинал как «крестьянский» поэт. От этого периода он сохранил гораздо больше непосредственности чувства, нежели его сотоварищи; в книгах Есенина («Радуница», 1915 г., «Голубень», 1918 г., «Преображение», 1921 г., «Трерядница», 1921 г., «Исповедь хулигана», 1921 г., «Пугачев», 1922 г. и др.) есть прекрасные стихотворения, напр., те, где он скорбит о гибели деревни, сокрушаемой «железным гостем» (фабрика), и те, где поэт остается чистым лириком настроений; у Есенина четкие образы, певучий стих и легкие, хотя однообразные, ритмы; но все эти достоинства противоречат имажинизму, и его влияние было скорее вредным для поэзии Есенина. Из других имажинистов можно отметить А. Кусикова («Поэма поэм», 1920 г., «Коевангелиеран», 1920 г., «В никуда», 1921 г. и др.), тоже слабо связанного со школой и интересного там, где он говорит о родном Кавказе. По какому-то недоразумению, в списках имажинистов значится Рюрик Ивнев («Солнце во гробе», 1921 г.),

стоящий на полпути от акмеизма к футуризму. Другие имажинисты, как Ив. Грузинов, Н. Эрдман и т. д., вряд ли заслуживают отдельной оценки.

В общем имажинисты в некоторых направлениях сделали ту же работу, как и футуристы: разрабатывали новую рифму, новые формы свободного стиха и т. д.; кое в чем продолжали и разработку языка, хотя много осторожнее. Что до самостоятельного вклада в литературу, то им можно признать лишь одно положение, выставленное имажинистами позднее: необходимость поэта «организовывать» строй образов. Поэты других направлений (в том числе и футуристы) не обращали, сознательно, внимания на единство образов в одном произведении. Имажинисты поставили как принцип, что все образы должны быть подчинены основному стилю стихотворения. Эта мысль, по существу правильная, составляет самое ценное из того, что дали имажинисты,—притом уже не только в теории, но и на практике, в своих стихах. Между прочим, эта мысль была усвоена многими из молодых пролетарских поэтов и ныне входит в их созидающуюся поэтику.

Рядом с имажинизмом существовало другое течение, отделившееся от основного футуристического—поэты «Центрофуги»; но за пятилетие, 1917—22 гг. они почти не выступали печатно. Роль теоретика здесь исполнял С. Бобров («Алмазные леса» и «Лира лир», 1917 г.), в стихах которого футуристичность причудливо смешивается с традициями пушкинской плеяды. Наиболее оригинальным представителем группы является И. Аксенов («Эйфелия», не издано). Программа группы весьма неопределенна, и в альманахах «Центрофуги» участвовали и ныне обещают участие многие футуристы, на первом месте Пастернак и Асеев, затем К. Большаков (начинавший талантливо, но за годы 1917—22 почти не появлявшийся в печати), Р. Ивнев и др.

Не входя ни в какие группы, отдельные поэты явно примыкают к футуризму, в том числе С. Буданцев («Пароходы в вечности», не издано), Вяч. Ковалевский («Плач», 1920 г.), Н. Бенар («Корабль отплывающий», 1922 г.), М. Зенкевич («Пашня танков», 1921 г.), Б. Зунделович («Стихотворения», 1922 г.), А. Ильина-Сеферянц («Земляная литургия», 1922 г.), В. Парнах («Самум», Париж, 1919 г., «Карабкается акробат», Париж, 1922 г.), В. Шишов («Слепорожденная вертикаль», 1920 г.), Т. Мачтет (сборник «Голгофа строф», Рязань, 1920 г., где также стихи Д. Туманного, В. Кисина, Я. Апушкина и др.), Н. Берендгоф (в своих неизд. стихах) и др. Любопытно, что стихи, появляющиеся в петроградских изданиях, гораздо слабее отмечены влиянием футуризма, чем в Москве: до некоторой степени оно сказывается у К. Вагинова («Островитяне», 1922 г.).

Как бы отдельную группу образуют несколько молодых поэтов, иногда именующихся «нео-футуристами», стремящихся использовать все технические завоевания футуризма, но строить свою поэзию на основе или реализма, как Адалис (журнал «Современник», 1922 г., «Первое предупреждение», не издано), поэт с большим техническим мастерством и несомненной индивидуальностью, или—романтизма, как Б. Лапин

(«Молниянин», 1922 г.), дебютант, сумевший не быть подражателем, и др.

Этими именами, конечно, не исчерпывается круг поэтов, ближе или издали подходящих к обще-новаторскому движению. Таковы еще выступавшие под флагом экспрессионизма, Т. Левит («Флейты Ваграна», 1921 г.), И. Соколов («Бунт экспрессионистов», 1921 г., и др.), С. Спасский («Экспрессионисты», 1921 г.) и др.; ничевоки (сборник «Вам», 1920 г.), среди которых единственное запоминающееся имя Рюрик Рок («От Р. Рока чтения», 1921 г.); презентисты (Дир-Туманный), ктематики и др., частью действительные, частью только номинально существующие группы.

IV.

Всей этой армии стихотворцев, от крайних правых нео-классиков до крайних левых нео-футуристов, молодая пролетарская поэзия может противопоставить небольшой, сравнительно, отряд. В сборнике «Трибуна Пролеткульта» (1922 г.), где собраны образцы творчества пролетарских поэтов за пять последних лет, включено всего 35 имен, при чем иными из этих авторов написано вообще очень немногое. К этому перечню, достаточно полному, можно прибавить лишь 8—10 поэтов, если оставаться в кругу тех, кто проявил себя более или менее определенно. Разумеется, вообще писавших стихи, печатавшиеся в изданиях Пролеткультов, было, как мы сейчас увидим, много больше (хотя в целом все же значительно меньше, чем поэтов других направлений), но далеко не все могли оставить хоть маленький след в литературе. Это вполне естественно. Для нашей интеллигенции сочинение стихов было обычным упражнением еще в салонах XVIII века; мода на него лишь немного ослабла в 60 и 70 годах, но с конца прошлого века опять чуть ли не каждый гимназист пробовал стать поэтом. Для современной молодежи из рабочего класса писать стихи—дело новое; за него берется не каждый, как потому, что вокруг нет традиции стихописания, так и потому, что относится к литературе бережнее (мы не говорим о полусознательных элементах, хотя бы из рабочего класса, откуда в редакции тоже приходят рукописи со стихами то под Некрасова, то под Апухтина, то под Бальмонта,— кто случайно попался в местной библиотеке). Вступление нашего пролетариата в литературу совершается медленно. Но то, чему суждено существовать долго, вырастает всегда неспешно.

Собственно говоря, как мы уже говорили, пролетарская поэзия возникла у нас с того самого времени, как начал создаваться в России рабочий класс. Но первоначально то были разрозненные выступления отдельных поэтов, как Ф. Шкулев, М. Савин, М. Розенфельд, А. Гмырев (см. В. Фриче, «Пролетарская поэзия», 1920 г.), также Е. Нечаев, впервые выступивший еще в 1892 г. и продолжающий писать поныне, С. Шмонин, стихи которого, 1904—1910 гг., напечатаны лишь в 1920 г. («Красное Знамя», Н.-Новг., 1920 г.), и др.; далее следовал ряд поэтов,

выдвинутых революцией 1905 года, из которых наиболее талантливым художником был Е. Тарасов. Но только перед Европейской войной начали выступать те авторы, которые затем, после Октября, приняли участие в организации «пролетарской поэзии», как самостоятельного литературного движения, первыми—Самобытник (А. Маширов), В. Кириллов и М. Герасимов. После Октября к ним быстро присоединился ряд других. Началась и организация этих поэтов в двух направлениях, во-первых, вокруг определенных центров, Пролеткультов, Пролетарского Отдела Лито Наркомпроса, журнала «Кузница» и т. д., вплоть до Ассоциации пролетарских поэтов; во-вторых, вокруг определенных художественных принципов, что из объединения сначала только идеологического вело к объединению технически-литературному. Пролетарские поэты становились временно литературной «школой», в ряду других школ.

Сравнительно с другими группами, пролетарские поэты стояли в годы 17—22 в условиях более благоприятных. Пролеткульты довольно охотно издавали сборники стихотворений за все это пятилетие. Пролеткульты же, время от времени, выпускали альманахи, где помещались и стихи. Таковы сборники Пролеткультов—Петроградского («Литературный альманах», 1917 г.), Московского («Завод Огнекрылый», 1920 г.), Саратовского («Взмахи», 1919 г.), Рыбинского, Ярославского, Тверского; также сборники других организаций—«Пролетарский Сборник», 1918 г. (изд. В. Ц. И. К.), «В буре и пламени» (Ярославль, 1918 г.) и др. Существовали и литературные журналы, выходившие более или менее последовательно: «Грядущее» (Петерб. Пролеткульта), «Горн» (Московского), «Гудки» (то же), «Горнило» (Саратовского), «Грядущая Культура» (Тамбовского), «Зарево заводов» (Самарского), «Красное Утро» (Орловского), «Пламя» (Петроградского Совета, под ред. А. В. Луначарского), «Творчество» (Московского Совета), «Красный Огонек», «Красный Пахарь», «Раненый Красноармеец» и др.; с 1920 г. стала издаваться «Кузница» (сначала при Лито Наркомпроса). Оценкой стихов пролетарских поэтов внимательно занимался журнал «Пролетарская Культура» (с 1918 г.), позже еще «Книга и Революция» (с 1920 г.).

Выше напоминалось, что в поэзии может существовать только оформленное содержание, т.-е. только идея, воплощенная в ей свойственную форму, что без соответственной формы идея в поэзии не жива и не действенна. Для тех идей, выразителями которых желали стать пролетарские поэты, готовой формы не было; старые формы поэзии классической, поэзии реалистов и поэзии символистов были не по мерке, ни этих идей, ни современных переживаний. Приходилось создавать новые формы, частью выполнять ту же работу, какую делали футуристы, поскольку надо было выразить современность, частью видоизменять эту технику, поскольку содержание должно было быть иным. Так как вся эта грандиозная задача ложилась на круг писателей, не имевших навыка в такой технической работе, к тому же горевших желанием скорее сказать свое слово, то она и не могла решаться с обдуманной

равномерностью. Годы после Октября были для пролетарских поэтов не такое время, чтобы спокойно обсуждать вопросы техники и поэтики: надо было говорить, кричать, надо было стать собою.

Поэтому с самого начала в рядах пролетарских поэтов означилось два течения: одни довольствовались случайной, какой бы то ни было формой, только бы попытаться высказать свои чувства и мысли; другие настойчиво добивались соответствия внешности своих стихов с тем новым миром, который они в них втесняли, и, чтобы обрести это соответствие, то сами творили новые формы, новые метры, новый язык, то готовы были брать новую технику у кого бы то ни было, из поэтов других школ, у символистов, у футуристов, даже у имажинистов. Только за самое последнее время это хаотическое смешение разных форм, разных техник стало уступать место сознательному отношению к вопросу, и лишь теперь, на наших глазах, вырабатывается поэтика пролетарской поэзии.

Что до основного содержания стихов, то оно было как бы подсказано термином «пролетарская поэзия». Разумеется, отдельные поэты касались и общих, обычных в поэзии тем: природа, город, смерть, любовь; но наибольшее число стихотворений написано на темы, непосредственно связанные с ролью пролетариата в истории: это—гимны революции и ее вождям, картина восстания, изображения фабрик и заводов и тому под. В этом тоже сказалась ранняя стадия развития; справедливо указывалось (Ф. Калинин), что основным мотивом пролетарского творчества должна стать вообще психология передового рабочего, а она может быть выявлена в подходе к любой теме. К тому же темы, большею частью, брались слишком отвлеченно; изображалось, напр., не определенное «восстание»: Октябрь 1917 г. в Москве или другом городе, но восстание вообще, или «победа труда», опять-таки вне эпохи, вне страны. Только за последнее время замечается в пролетарской поэзии поворот к здоровому реализму, стремление, после того, как все желанные слова, наконец, выкрикнуты, конкретизовать свои темы.

Из пролетарских поэтов первого призыва наиболее самостоятелен по форме Илья Садофьев, который не напрасно озаглавил свою книгу «Динамо-стихи» (1918 г.); в его поэзии, действительно, есть нечто динамическое и нечто от динамо-машины. Садофьев—поэт сильных восторженных чувств, великого революционного пафоса, для которых он нашел соответственное выражение; характерны для него—длинные стихи «из двух кол», со смелыми нарушениями метра, и крепкий язык, полный громких слов, не чуждающийся новообразований («фонтанно», «дирижаблит» и т. под.). Лучшие стихи Садофьева, как «Изменили Пролетарской Революции», «Факел победы», «К завтра» и др., едва ли не наибольшее приближение к своему идеалу, какое пока имеет пролетарская поэзия.

Самостоятельность формы и речи есть и в стихах А. Гастева, собранных в книге тоже с характерным заглавием «Поэзия рабочего удара» (1919 г.). Внешним образцом этим стихам служили поэмы Уота Уитмэна, но лучшие организованы по плану машины, где все—для одной цели, где не должно быть ничего лишнего. Гастеву особенно удались

те стихи, где поэт как бы сливается с жизнью машин, становится одной из их необходимых частей. Справедливо Ф. Калинин назвал эти стихи «выкованными из железа». К сожалению, последние годы Гастев не выступает с новыми стихами в печати.

Гораздо менее оригинален А. Поморский («Цветы восстаний», 1919 г.). Его стих часто неуверен, необработан, в нем много старо-книжных шаблонов, давно сданных в архив условностей. Это сильно обесцвечивает поэзию Поморского. Пролетарская критика признала его «поэтом своей стихийной души», но это справедливо лишь по отношению к части стихотворений Поморского; в других он умеет от частного случая, от случайно увиденной картины, которую рисует отчетливыми чертами, перейти к общей идее—метод чисто символический. Хороши у Поморского, в таком толковании, изображения города, к которому он подходит, конечно, с точки зрения нового мировоззрения; хороши «Похороны трибуна», написанные почти верхарновским стихом.

Еще менее самостоятелен в форме своих произведений Самобытник (А. Маширов), ранние стихи которого помечены еще 1910 г. («Под Красным Знаменем», 1921 г.). Он сам признал себя только предтечей будущей пролетарской поэзии («Еще не нам, не знавшим солнца,—Вершиной гордою шуметь»...). Самобытник пишет традиционными размерами и так называемым «литературным языком»; картины природы и мечтательные стихи о заре, которая непременно наступит, или об «острове вольных грез» у него большею частью вялы (их техника—от символистов); он оживает, касаясь более жгучих тем: города, завода; совсем хорош (хотя и написан бальмонтовским языком) его «Машинный Рай».

Четыре названных поэта, бывшие пионерами новой пролетарской поэзии, не являлись, однако, организаторами движения. Определенным литературным течением, «школой», пролетарская поэзия стала преимущественно в среде писателей, сгруппировавшихся вокруг журнала «Кузница», где заняли наиболее видные места В. Кириллов, М. Герасимов и В. Александровский.

В. Кириллов начал писать еще до Революции, но нашел свою дорогу, как поэт, только после Октября («Зори Грядущего», 1919 г., «Стихотворения», 1920 г., «Паруса», 1921 г.). Наиболее сильные стихи Кириллова написаны в начале пятилетия 17—22 гг.;это—те, о которых сказал сам автор: «Я подслушал эти песни... в шуме фабрик, в криках стали, в злобном шелесте ремней»... Тогда же удались ему песни борьбы, как, напр., прекрасное стихотворение «Матросам». В позднейших стихах—которые появляются все реже—Кириллов уже не достигал той же силы (лучшие—«Красный Кремль»). Проблемы формы, повидимому, мало интересуют поэта, о чем надо пожалеть, так как он мог бы в этом направлении сказать новое слово.

Особенно широко раскинулась поэзия М. Герасимова («Вешние зовы», 1917 г.; «Монна Лиза», 1918 г.; «Завод весенний», «Железные цветы», 1919 г.; «Четыре поэмы», «Электрофикация», «Черная пена», 1921 г.; «Негасимая сила», 1922 г., и др). За пять лет Герасимов вырос

в большого писателя в общем смысле слова, ставящего себе чисто литературные задачи, ищущего правильных методов их разрешения. В начале деятельности Герасимова критика ценила в нем «уменье выражать коллективные чувства», «обобщать картины фабрики» и т. д.; ныне все это вошло лишь как один из элементов в поэзию Герасимова, которая явно растет и которую поэтому оценивать сейчас трудно. В противоположность Кириллову—Герасимов внимательно занят вопросами техники и является в наши дни одним из мастеров свободного стиха, легче, конечно, вмещающим настроения современности, чем традиционные метры.

Менее определенен В. Александровский («Восстания», «Север», 1919 г.; «Утро», 1921 г.; «Солнечный путь», «Россыпь огней», 1922 г., и др.). У него еще много от старого; рядом со свободным стихом Верхарна у него явные перепевы Некрасова, и т. под. Нередки у Александровского чисто-субъективные темы, и в своих песнях любви он доходит до шаблона романсов. Но в лучших произведениях Александровский, несомненно, поэт; «пролетарские» темы у него разработаны сильнее других: образ сознательного рабочего, будущая роль пролетариата, значение Октября, интересная поэма «Москва» и т. под.

Из молодых сотрудников «Кузницы» особенное внимание останавливает Вас. Казин («Рабочий Май», 1922 г.), поэт, обещающий много. В стихах Казина, обладающего подлинным чутьем ритмов, намечаются самостоятельные художественные подходы; у него, например, своеобразно объединены рабочие процессы и картины природы; он оригинально чувствует и изображает город в его интимной жизни (стихотв. «Гармоника»), и т. д. Интересен по своей молодой смелости Ив. Филипченко (Стихи, 1921 г.), тоже, несомненно, одаренный. Заметными участниками «Кузницы» были еще Гр. Санников («Лирика», 1921 г.), С. Обрадович («Сдвиг», 1921 г., «Взмах», 1921 г.), С. Родов («Мой сев», 1918 г., «Перебежка зарниц», «В урагане», «Прорыв», 1921 г.). Там же печатали свои стихи Н. Полетаев, Я. Тисленко, Дорогойченко, П. Шамов, Н. Дегтярев и др. В «Кузнице» появлялись и новые стихи Е. Нечаева.

Среди поэтов, стоявших вне «Кузницы», во многом самобытен А. Крайский, кажется, поэт старшего поколения. Он—один из тех, кто занят работой и над новой формой. В замыслах у него есть широкий размах, почти космический угол зрения («Гибель Богов»), и в пафосе он приближается к Садофьеву. Напротив, пользуясь всецело техникой символистов, писали Ив. Ерошин (сборник «Завод Огнекрылый», см. особенно стихотв. «Ромен Ролан») и Борис Николаев (там же). Более самостоятельную технику нашла А. Баркова («Женщина», 1922 г.), стихи которой интересны, как попытка внести женский голос в хор пролетарских поэтов; книге Барковой предпослано предисловие А. В. Луначарского, горячо рекомендующее начинающаго поэта.

Должно отметить, что у многих из этих поэтов особенно удачны именно те стихи, где от общих тем они переходят к конкретному изображению завода, фабрики, определенного производства. Так, напр., Крайский достигает особой выразительности, изображая жизнь машины

(«Навстречу Грядущему»); выше были отмечены такие стихи Гастева и Самобытника («Машинный Рай»); прекрасные примеры есть и у Садофьева («В заводе»), и у Кириллова («Мы»), и у Герасимова («Песня о железе» и др.); красивую «Песню Кузницы» написал и Н. Рыбацкий, автор стихотворений вообще вялых и бесцветных («На светлом пути», 1919 г.).

Насколько оживляюще влияет на поэтов тема, настолько же иногда пробуждается их самобытность, как только они отходят от традиционных размеров, безнадежно увлекающих их на проторенные тропы. В этом отношении характерны опыты С. Малашкина («Мускулы», 1918 г.), которому стихом Верхарна и Уитмэна удалось резко выявить пролетарские настроения; затем А. Безыменского («К северу», 1921 г.), М. Голодного («Сваи», 1922 г.), Н. Шевелева и М. Гришина-Чарта (сборник «Паяльник», 1920 г.), Г. Светлого («Солнцебунт и ржа», Ташкент, 1920 г.) и др.; Вас. Князев («О чем пел Колокол», 1920 г.) в других стихах бледный становится ярким, использовав в стихах «Поэтам Пролеткульта» совершенно свободный склад.

Названные поэты не составляют, вероятно, и десятой части всех, выступивших в 17—22 гг., как пролетарские. Из числа поэтов, не упомянутых выше, надо назвать Демьяна Бедного, автора злободневных стихотворений, и тех, чьи стихи включены в сборник «Трибуна Пролеткульта»: Ив. Логинова, П. Арского, И. Ионова, К. Окского, Я. Бердникова, Л. Циновского, И. Кузнецова, Д. Мазнина, Е. Андреева и др. О некоторых мы затрудняемся здесь говорить, потому что их стихи, по своим узко-субъективным темам или по подавленным настроениям, резко выпадали из общего тона; но возможно, что для авторов то было явлением преходящим, которое они впоследствии сумеют преодолеть; таковы некоторые из альманаха «В буре и пламени», как Н. Кустов, Королев и др.; из «Горнила», как Левантовский; из «Сборника В.Ц.И.К.», как Е. Конобеев; из других сборников—А. Смирнова, С. Ганьшина и т. д. Также надо было бы назвать Пимена Карпова, М. Козырева («Легенда о Кремле»), С. Клычкова, Н. Тихомирова и др., но по духу их стихов они скорее принадлежат поэзии «крестьянской».

Некоторые поэты слишком мало определились, чтобы говорить о них: пятилетию 17—22 гг. принадлежат лишь их первые ученические опыты (таковы, например, почти все поэты «Паяльника», 1920 г., те, стихи которых ныне печатаются в московских и иных газетах, и т. д.). Некоторые книги стихов, особенно изданные в провинции и в начале революции, несомненно, остались нам неизвестными. Не малое число, наконец, поэтов, чьи сборники до нас дошли или чьи стихи встречались нам в журналах, только по недоразумению стали слагать рифмованные строчки. По крайней мере, критика «Пролетарск. Культуры», «Кузницы» и др. пролетарских изданий встречала многие из сборников пролетарских поэтов весьма резкими отповедями: «совершенно слабо», «прочли со скукой», «не способствует насаждению идей пролетарской культуры» и т. п.

Поэты крестьянские стали организовываться позже, чем пролетарские, и нередко участвовали в одних изданиях. Самостоятельной поэтики

крестьянские поэты не наметили, и для них поныне характерны перепевы Кольцова и Никитина. Новая крестьянская Русь еще не создала своей поэзии, хотя и пережила в связи с Октябрем глубочайший переворот, изменяющий весь ее уклад.

Значительная часть крестьянских поэтов группировалась вокруг сборников «Чернозем», 1919 г., и «Зарница», 1920 г., отчасти «Ярь», 1920 г. Там печатались стихи поэтов старшего поколения, как С. Дрожжин, М. Артамонов («Земля Родная», 1919 г., «Когда звонят колокола», 1917 г., «Улица фабричная», 1918 г.), так и ряда молодых и начинающих. Подавляющее большинство их совершенно несамостоятельна по форме, а по содержанию состоят из жалоб на то, что гибнет старая деревня, им милая. Такой лейтмотив дал еще С. Есенин («Я—последний поэт деревни»...). С более оригинальными подходами к темам и с более бодрыми настроениями выступали: А. Галкин («Венчальные ризы», 1918 г.), Н. Клюев («Песнослов», 1919 г., «Третий Рим», 1921 г., «Львиный Хлев», 1922 г.), поэт, сохранивший долю той свежести, которая пленяла в его ранних книгах, П. Орешин («Красная Русь», 1919 г., и «Радуга», 1922 г., «Алый храм», 1922 г.), С. Клычков, Пимен Карпов. Последний, впрочем, по своим настроениям, может быть причислен и к поэтам пролетарским, так же, как П. Ерошин (восклицающий, однако: «Брошу город я! С песнями вольными—Возвращусь к вам, деревни-поля!»), Н. Тихомиров («Красный Мост», 1919 г.), С. Ефремов-Горемыка (солдат, погибший на фронте) и др. Могут быть еще упомянуты П. Власов-Окский («Рубиновое завтра», 1920 г.), С. Фомин («Стихи», 1920 г.), А. Соловьев-Нелюдин («Полеты», 1920 г.), М. Дудоров, А. Германов, А. Субботин и др.

Подводя итоги этому обозрению, можно утверждать, что годы 1917 — 1922 образовали самостоятельный период в русской поэзии.

За это пятилетие правые течения поэзии показали свое полное бессилие. Символисты постепенно сходили со сцены; главные деятели этой школы частью умерли (А. Блок, Н. Гумилев), частью почти замолкли (Д. Мережковский, Вяч. Иванов), частью утратили всякое значение, как поэты (А. Белый, Ф. Сологуб). Вышедшие из символизма акмеисты оказались вне основного русла литературы, оставшись в стороне служителями «чистого искусства» (О. Мандельштам и др.).

Главными деятелями пятилетия были футуристы и вышедшие из футуризма течения. Среди них погибли все те, идеология которых опиралась на принципы крайнего индивидуализма (это—футуристы и т. под.). Удержались и имели возможность развиваться те, которые были способны, в той или иной степени, воспринять дух революции (Маяковский, Хлебников, Асеев, Третьяков, также Пастернак и др.); напротив, имажинисты (В. Шершеневич и др.), менее чуткие в этом отношении, выдвинувшиеся сначала, потом были отодвинуты на задний план. Основная задача футуризма состояла в проведении принципа,

что язык, как материал поэзии, подлежит обработке поэта. Футуризм провел этот принцип, как теоретически, так и на практике, и тем его роль в русской литературе может считаться тоже законченной.

Для пролетарской поэзии пятилетие 1917—1922 г. было периодом организации. Так как идеология движения была предрешена, то задачами пятилетия было—выработка новой поэтики и новой техники. В рядах основного ядра уже означились поэты значительного размаха мысли и мастеров стиха (Садофьев, Гастев, Кириллов, Герасимов и др., среди молодых—Казин). В лучших их произведениях пролетарская поэзия подходит к самобытной форме. Но, повторяя наше сравнение, можно сказать, что пролетарская поэзия—наше литературное «завтра», как футуризм для периода 17—22 гг. был литературное «сегодня», и как символизм—наше литературное «вчера».

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Ник. Асеев.

I. Конец беллетристики.

Беллетристика, как искусство «краснописи», языкового стиля или того особого вида «литературной речи», каким она пребывала в Европе уже в конце позапрошлого столетия, не имела ни в феодально-дворянской ни в кулацко-монархической России той характерно-классовой выразительности, с какой на Западе она выявляла облик оформленного капитализма. Бывши в начале и в зените развития западной буржуазии средством, организующим ее идеологически, утверждая и выражая неоспоримость такого социального порядка на земле (Диккенс, Бальзак, Флобер), беллетристика Запада образовала монументальный памятник капиталистической культуры, ее волевых устремлений, ее великолепных психологических средств воздействия и преодоления всяких, вне ее интересов находящихся попыток иного миросозерцания. Самая острота ненависти этих носителей большого стиля литературы к мещанству, их гневный сарказм и могучая откровенность—были лишь выражением победы молодого капитализма над традициями цехового и кустарного средневековья. А вскрывание ими пороков и язв современного им общества было инстинктивной, предупредительной мерой сродного им общественного организма к обезвреживанию тех ядов, которые впоследствии омертвили его самосознание. Эта первая профилактическая роль западно-европейской литературы имела в России своеобразное отражение в лице таких мастеров, как Достоевский и Толстой; в особенности же характерно выступает она в «Мертвых душах» и вообще последнем периоде творчества Гоголя.

Конечно, различие в соотношениях внутриобщественных сил создало выше оговоренное своеобразие наших «великих», отличающее их от западно-европейских. Но монументальность их стиля, охватывающая и разрешающая в философически-художественном масштабе вопросы бытия, была столь же действительным средством предупреждения артериосклероза верхов общественности, как и на Западе.

Эта «величественная» беллетристика, несшая цементирование и уяснение внутренних противоречий и соотношений господствующих классов с эксплуатируемыми, под давлением этих противоречий начинает дробиться на отдельные виды литературных тенденций, преследующих ближайшие, менее значительные задания, соответственно выясняющимся подробностям разлагающегося классового быта. Монументальная форма неторопливого повествования уступает место короткому импрессионистскому рассказу. Таковы Чехов и Мопассан. Им некогда разрешать проблемы всего человечества. Они вынуждены заняться буднями быта. И короткий, молниеносный толчок повествования становится наиболее удобной формой оружия в борьбе с тысячами мелочей, осаждающих сознание смешными, уродливыми и трагическими подробностями болезненно-напряженного общественного организма.

К октябрю 1917 года русская литература в целом имела три главных, примагничивающих к себе промежуточные и дополнительные, течения. Первое из них было известно под именем символизма, объединившего собой писателей чрезвычайно разномерных и разнородных, часто стоявших в непримиримо-враждебных по отношению друг к другу позициях. Сблизившиеся в начале своей деятельности на почве общих формальных заданий, они, в силу ли привычки или по причинам более глубокого характера, однако, продолжали быть связанными целью общего наименования школы. Брюсов и Белый, Гиппиус и Городецкий, Мережковский и Ремизов—все они, при разнородности приемов и методов творчества, несли на нем общий налет—аристократизма техники, заимствованный именно у законодателей «большого стиля» монументальной литературы, но не оправданный идеологической проясненностью тех, а потому и вылившийся в лозунг: «Искусство для искусства». В противовес символистам имелась другая, столь же обширная и разнородная группа литераторов, объединявшихся вокруг сборников «Знание» во главе с Горьким; эти писатели народнического толка, наоборот, пытались демократизировать приемы литературной работы до легкого восприятия их широкими массами, упрощая их до схематического фабульного и формального построения. Бытовики по преимуществу, они пытались отражать микрокосмическое миросозерцание будничного течения жизни, в то время как символисты космос сделали чуть ли не обязательным персонажем своего творчества. Но, упрощая или усложняя средства психологического воздействия на читателя, и знаньевцы и символисты отражали уже ослабевшее волевое напряжение осознания своего положения, в ко-

тором очутилась смешанная интеллигенция России 900 гг. С одной стороны, это был разночинец, дворянин без поместья, обедневший феодал, отошедший за рубеж 905 г. России, с другой—не поспевший за слишком размашистой поступью капитализма его «культурный» осознаватель. А помимо этих, с «низов» вставали и требовали себе права голоса впервые заговорившие представители молчавшего до сих пор труда. Естественно, что, вливаясь в писательские кадры пока еще только единицами, они были быстро ассимилированы той или иной группой. Так, Горький приобретает истеричность интеллигента, а Сергей Клычков из пахаря превращается в символиста соловьевского оттенка.

Между этими двумя ярко выраженными литературными группами место заполнено писателями оттеночного характера. Бунин и А. Толстой, Сологуб и Л. Андреев, участвуя до Октября в той или другой группировке, не целиком примыкали к ней. Тяготея к исхищренности стиля, к его усовершенствованию и охранению от демократической упрощенности, они не хотели терять аудиторию бытовиков. Отсюда двойственность модернизованного стиля, его сплавленная неясность, манерность, бутафорская красочность.

Так написаны романы Сологуба, так эволюционирует от реализма в символику Л. Андреев, выбирает стилизационно бытовую манеру А. Толстой и неподвижную маску бесстрастного парнассизма сохраняет И. Бунин.

Так или иначе обе эти группы, как и промежуточные между ними, пассивно и по инерции выполняли заказ, сделанный им капиталистическим обществом,—заказ осознания, предупреждения и точного выявления общественных недомоганий, тяготивших привилегированную часть общества. Пассивно—потому, что волевые импульсы самого этого общества были ослаблены и притуплены горячкой обострившихся экономических кризисов; по инерции—потому, что ничего, помимо инерции, не могло двигать социальный порядок, катившийся к собственной гибели со все ускоряющейся быстротою.

Незадолго до катастрофы, как протест против такого положения литературы, возникла третья группировка писателей—русский футуризм.

Футуризм явился протестом против дальнейшего выполнения данного литературе прежним общественным строем заказа—стоять на аванпостах интеллектуального развития общества. Так как аванпосты эти оказались далеко сзади и современной науки и современной экономики, он с решимостью тогдашней своей молодости отверг и аристократизм изысканного консервирования всевозможных стилей символизма, и демократическое мирнообновленчество народников из «Знания».

Футуризм отверг возможность общего языка с охраняющим свою личную биографию общества, недопускающим возможности нового летоисчисления сознания.

Что же нового привнес Октябрь в литературу? Как распределил он эти группы, какими новыми заданиями вдохновил?

Прежде всего следует выдвинуть положение о смене Октябрем заказа литературе. Мы особенно подчеркиваем это выражение, как многое

разъясняющее в дальнейшем. Требования, предъявленные Октябрем к «краснописи», были именно формой заказа,—заказа на агитационную, действенную, сжатую форму психологического воздействия, проникновения в толщу народных масс. Прежде всего огромное большинство писателей оскорбилось на самую форму этого предложения. В самом деле: ведь они до сих пор привыкли сплошь чувствовать себя «свободными» художниками. Ведь «заказ» капиталистического общества не был так срочен, точно формулирован и допускал кустарнические отступления в идеологических деталях. А главное... главное, не было этой *необходимости* чувствовать свою зависимость от работодателя. И гордые головы «свободных творцов» почти сплошь отвернулись от «вульгарного предложения». Конечно, если бы спросить большинство из этих блюстителей «литературной объективности», чем, как не заказом, было срочное втыкание перьев в бока «озверелому тевтону» три года до того, послышались бы голоса о «единодушном порыве», «стихийном движении» и т. п. Ну, а теперь этого «движения», конечно, не оказалось.

На выполнение заказа откликнулись, с одной стороны, «народники», с другой—футуристы.

Но первые, обладая опытом лишь в описательной области быта, в пассивном изображении не сумели пойти дальше случайной бессистемной и неудачной подделки, не игравшей значительной роли в агитационной литературе; вторые же, в силу боевого, резкого и радикального разрыва с технической эволюционностью прошлого поколения, остались в подчеркнутом одиночестве своих лозунговых построений.

И в дальнейшем ходе Октябрьской революции утвердилась тенденция этого избегания прямого ответа на запрос, отказ от выполнения задания Октября. Вначале этот молчаливый отказ, это замолкание писателей объяснялось по-разному. С одной стороны, «невозможные условия существования и печатаний», с другой—близорукое ожидание минования «переходного периода» и, наконец, просто бытовая разруха, казалось, с полной наглядностью показали невозможность тех форм литературного «сегодня», которыми кончался павший строй. Наиболее решающей из этих причин была, конечно, последняя. «Быт умер» теперь уже не на страницах полемических схваток критиков, а в самой жизни. Изменился язык, изменились условия наблюдения этого быта. Писатель отгородился личными переживаниями и перестал быть «объективным».

Как же реагировали на все это те три основные литературные группировки, бывшие до Октября руслами, определявшими водораздел тенденций русской литературы?

II. Распадение группировок.

Заказ, данный Октябрем русской краснописи, был, конечно, не ограничен частными заданиями по проведению той или иной кампании, диктовавшимися необходимостью борьбы со всеми видами разрухи. Но задания эти сами по себе контролировали жизнеспособность и при-

ложимость к жизни литературной речи, казалось бы, долженствующей отточить и улучшить средства выразительности до крайних пределов. На самом деле оказалось не так. Эти средства были незначительны, и литературная речь оказалась непригодной, бледной и казенной в соприкосновении с реальнейшими вопросами жизни. Но и помимо таких частных заданий, общий облик отражения событий в литературе не находил себе достаточно выпуклых черт до самого последнего времени. Писатели не могли подойти к их оценке с классовой точки зрения, поскольку безоговорочное присоединение их к стихии принудительного труда казалось им уничижающим их книжное свободолюбие, а свободолюбие это, в свою очередь, оказывалось дезорганизующим ферментом внутри страны. «Свободный» труд казался им существовавшим, хотя бы в виде сладкого миража, в царской России.

А «неинтеллигентность» нового заказчика в целом грозила равным образом как и тонкости стилей, так и демократической непринужденности и безответственности народнической литературы. Отсюда—сближение с правыми и левыми социалистами одних и пространственная и психологическая эмиграция—других. И символисты и знаньевцы уже не отгораживаются друг от друга колючей проволокой саркастической критики приемов друг друга. Они спутались, перемешались, объединились в общей интеллигентской оппозиции против схематизации и ясности коммунистических лозунгов, первых дней революции. Они же желчным сарказмом обрушиваются на отступление от этих лозунгов, выявляя вдруг небывалую до сих пор ортодоксальность своих взглядов.

Здесь начинается интересное и непонятное, на первый взгляд, содружество символистов с левыми эс-эрами. В журнале лево-эс-эров «Наш Путь» начинает усиленно печататься и А. Блок, и Белый, и Есенин. Иванов-Разумник делается апологетом символико-мистических прогнозов революции. Последователь заветов Чернышевского сближается с горячим приверженцем шарлатанствующего мистика Штейнера. В чем же дело? Что значит это сближение недавних идеологических противников?

А все дело в том, что, с одной стороны, левые эс-эры, оставив мысль о реальном фронте против «узурпаторов и демагогов» прочно взявших в свои руки организацию исторического прорыва, задумали окопаться на зимние квартиры психологического сопротивления коммунизму, а с другой стороны, сторонники чистого искусства видели единственную возможность сохранить «чистоту» своего творчества, поставив между собственной мистикой и торжествующим материализмом буфер интеллигентской лево-эс-эровщины, охраняющей их от толчков напирающего коммунизма.

В «Нашем Пути» появились революционные стихи Блока, между прочим, и известная поэма «Двенадцать», а также и его статьи об интеллигенции и революции. Что касается «знаньевцев», то эта группа писателей так же, как и символисты, потеряла свою монотонность, и отдельные ее участники, каждый в силу своих симпатий, заняли позицию по отношению к Октябрю. Характернейшим примером состояния этих писа-

телей является, конечно, М. Горький. Тоже шатание от «народа» к «интеллигенции», тоже нечеткая позиция в отношении литературной тенденции и в общем полная безотзывность на предъявленный Октябрем заказ. Дробление и разброд по ярко противоположным политическим лагерям коснулось в равной мере обеих дореволюционных групп—и символистов и бытовиков. И если Серафимович и Брюсов оказались среди коммунистов, то Мережковский наравне с Е. Чириковым — участником «Знания»—в поте лица работают в зарубежных белых журналах. Очевидно, не в литературных школах была сила сцепления, разорвавшая их по иным водоразделам.

Наименее связанные преемственностью традиции, а также и наименее заинтересованные в сохранении их, как «свободной торговли» произведениями «духа», футуристы ближе других подошли к заданиям Октября, в буквальном и переносном смыслах. Индустриальная поэзия, пафос организационного оформливания масс, а главным образом, активность и ясность коммунистического миросозерцания, подвела жизненный фундамент под теоретические положения футуризма. И «стояние на глыбе собственного я» для них впервые получило реальную ощущаемость, как организация личности, из которой, и только из которой, вырастает коллективистическое объединение людей. Футуристы заметили разницу между социализмом европейским, мыслящим лишь стандартирование интеллекта, как крайнюю точку своих достижений, и коммунизмом, унифицировавшим и факты и каждое волевое и интеллектуальное напряжение с тем, чтобы сумма слагаемых дала максимум активности,—максимум возможности продвижения масс.

Конечно, и в футуризме, как литературной группировке, не все проходило гладко за время определения им своего положения в революции. Поднимались в его среде голоса и о сохранении чистого вида лирики и об излишнем, якобы, опрощении и политической одиозности. Но, что бы там ни говорили о мелкобуржуазности этой группы и ее работы, следует твердо помнить о том, что стиль Октября, его первого пафоса, веры в победу и стальной гибкости его бесчисленных фронтов нашли себе исключительного поэта в лице Маяковского — лидера русского футуризма.

Были попытки отражать революцию в драматической форме и помимо Маяковского. «Пугачев» Есенина, «Оливер Кромвель», «Фома Кампанелла» А. Луначарского и другие. Но все такие попытки при большей или меньшей их значительности не вмещали в себе, не концентрировали напряженности современья, не передавали его характерных заостренных деталей. Характерно, что большинство этих пьес вуалируют действие историческим отделением, они аллегоризированы или символизированы, они отказываются говорить языком настоящего, осмеливаясь лишь из временной перспективы передразнивать в более или менее удачных гримасах мучительные судороги наших дней. Но и эта полуживая активность литературы, казавшаяся все же необходимой первые годы после Октября,—чем дальше от него,—переходит в замирающее эхо извержения, в «объективную» наблюдательность за

дрожью мостовой от проехавшего поулэце автомобиля. Начинается возврат к «быту» его описательству. Это—с одной стороны. С другой—перемещение и перемешивании, литературных групп создало повышенную требовательность к стилю, «к приему», «к развертыванию» сюжета, к экспериментальной критике. Двадцатилетняя власть символизма сказывается в тяготении молодых беллетристов к знакомству с материалом слова, к технической оборудованности. Наученная горьким опытом стариков, молодежь хочет быть предусмотрительной: содержание позаимствовать у бытовиков, а форму—у символистов. Получающаяся из этого эклектическая школа является как будто бы характернейшим явлением современной литературы. И Евгений Замятин—это уже быт городка Окурова плюс стилизация сказок Ремизова, и Б. Пильняк это еще и не И. Бунин и уже А. Белый. А младие, как, например, Никитин, Федин или Зощенко, увлеченные «теорией пародии», прямо работают над пародией, как над литературой сегодняшнего дня.

Но как ни предусмотрительны вновь и начинающие молодые беллетристы, как ни вооружены они теоретической осторожностью и практическим чутьем—одному они в большинстве своем не научились, одного не приняли в расчет. А именно того, что дореволюционная литература осознавала себя как представительницу общественного волеизъявления, что ее мораль, ее этика, стимулирующие формы ее сознания, а, в конце-концов, значит, и сила ее выразительности—были заложены в эмоциональной глубине правящих классов. Она, литература эта, даже если стояла в оппозиции к ним, все же опиралась на них, все же бунтовала лишь против дисгармонии их положения в отношении к общей массе населения, а следовательно, указывала пути к такой гармонизации. Одним словом, *литература всегда выполняла, хотя бы и не непосредственный, социальный заказ*, данный ей наиболее активным в данный момент классом общества. И для того, чтобы выполнить этот заказ, нужно было слиться с интересами этого общества, почувствовать себя родным, хотя бы и бунтарем в его семье, как, например, Л. Толстой или Писарев. Заказ предшествующих классов был дан в двояком направлении. Во-первых, закрепить, упрочить наилучшие формы быта и отметить его недостатки и, во-вторых, организовать, усложнить и истончить интеллект и чутье миросозерцания своего класса. Даже Арцыбашев с А. Каменским, даже Вербицкая с Нагродской опирались на какую-то группу своих читателей, не созданных ими, а, наоборот, создавших их, как «знамение времени», как выражение своего копеечного мировоззрения. Выступающие же теперь беллетристы и поэты, как признак своего мировоззрения, прежде всего выдвигают свою идеологическую невинность, полную кажущуюся беспристрастность, свою незаинтересованность в описываемом ими

Добру и злу внимая равнодушно,

при чем даже не пытаясь выяснить, что́ добро, что́ зло. Такой метод,—метод объективизации впечатлений, конечно, не осуществим,

доколе писатель производит известного рода психологические и идеологические ценности.

Здесь мы подходим к замыканию некоторого круга, исходная точка которого выявлена нами во вступлении настоящей статьи. Пять прошедших лет были годами прививки нового классового самосознания старому дереву русской литературы. Какие же результаты получатся после такой прививки? Даст ли она его столетним корням новую силу вбирания жизненных соков, или его упрямые старые ветви будут продолжать шуметь попрежнему?

III. Распадение стиля.

Какие же видоизменения произошли во внутреннем содержании современной литературы, принимая во внимание, что эти видоизменения в равной мере касаются и формы и содержания. Здесь в первую очередь приходится еще раз упомянуть о совмещении стилистических приемов, ранее строго разграниченных между бытовиками и символистами. Потягота на сознание нового профиля страны толкает большинство писателей к наблюдению за бытом. Но средства этого осознания берутся из опыта писателей, разрабатывавших стилистические приемы. Желание новыми средствами описать новые человеческие взаимоотношения вполне понятны и законны. Но дело в том, что самый-то быт, за пять лет революции, сложиться не мог, целиком видоизменясь. Он перегнивает, как вспаханное поле, он дышит тяжелыми испарениями взрытой целины, обсеменение его новой культуры происходит очень медленно и постепенно, и наблюдателям его приходится либо импрессионистски заносить в записные книжки анекдотические эпизоды его глыбистых контуров, либо обмануться кажущейся его неподвижностью и непроворотом. А если принять во внимание отмеченное выше стремление писателей к объективизации впечатлений, можно легко предвидеть, что и современная беллетристика должна представлять собою тот же вид свеже взрытого поля с вывернутой и перемешанной подпочвой. Так на самом деле и есть. Возьмем ли мы поэзию Есенина или прозу Пильняка—писателей, значительность которых выявилась за эти пять лет,—перед нами развороченное поле языка, стиля идеологических симпатий; еще нет укрепившихся ростков цельного растущего и убедительного в своем росте миросозерцания. Есть глыбы, межи, увалы глубоко взрытого темперамента, есть отваленные комья свежего, жирно-блестящего, плодородного чернозема. Это же и на иссушенной однопольной ниве старых бытовиков, это же и на «культурных плантациях» прежних стилистов.

Разница между литературными группировками сегодняшнего дня та, что одни из них пытаются охранить это поле от вредителей, защитить его рост от идеологической саранчи прошлого, жадно опускающейся на едва пробивающиеся всходы, другие же предпочитают оставить его рост на «милость божию», интересуясь им только с точки зрения соб-

ственного гербария. И здесь принцип «научной объективности», «сохранения бытовой правды» ведет к выращиванию множества сорных трав.

Литература вновь разбилась на бытовиков и «интеллектуалистов»; но в то время, как прежние бытовики были кровно связаны с этим бытом, отрицали или утверждали его проявления, а интеллектуалисты уходили в холод горных вершин объективного самоуглубления и философических проблем, теперь они поменялись интонациями. Теперь описатели быта хранят загадочное безразличие к описываемому, а разумники-символисты ставят диагноз общественным недомоганиям, «хронически» исследуют температуру социального организма и с запоздалым рвением пытаются приучить «дикий» материализм к идеалистической кормушке.

Начиная с «Двенадцати» А. Блока, это приручéние идет довольно успешно. Ставка на «бытовой орнамент» оказалась удачно угаданной народниками, и с того времени быт и символ слились в одно понятие какого-то «символического быта». И если «симфонии» А. Белого в свое время вызывали досадливое недоумение, то теперь, вставленные в бытовую рамку Б. Пильняком, они получили и признание и поощрение:

«И третьей главы название:

«Волчья пустынь Российской Равнины. И от центра к периферии каждая истерика стоянок раскрепощала эпилепсию от желтых желтух парш Ортчека и Утечека, чтоб эпилепсия была только эпилепсией, спутывая карты всех веков и десятилетий Российских бытий, чтобы—

чтобы въехать в земли товарища Ксении Ордыниной.

«Ветер рассыпает белый снег, швыряет ветви берез, свистит у корней и несется. Я иду за ним, прислушиваюсь и радостно жду. Я слышу крики и вопли: снежные вихри кружатся у моих ног,—я не оглядываюсь: нет ничего, на что я оглянулась бы назад. Обнаженные тонкие ветки скользят по моему лицу мимолетным холодным прикосновением. Я прижимаюсь к стволу, и он вздрагивает под моим плечом, точно живое от затаенного дыхания. Вершины кланяются одна другой и вдруг все вздрагивают, падают, кричат и стонут. В бешеной судороге отряхивают клочья снега и опять замирают и раскачиваются медленно и устало, шумят, прислушиваются и шепчут. И снова крики и движение. Волна воплем катится по вершинам, сгибаются осинки, и белые кружева березок треплются по ветру. Ели шипят, машут ветвями и изнеможденно замирают до нового порыва. Тонкие сучья ломаются, хрустят как маленькие льдинки и летят мертвые листья, путаясь в ветках: скорченный черный листок зацепился за пни, торопится и шуршит, продираясь сквозь чащу можжевельников и кружась с метелью. Молодые березки поют и кричат, они преданны и пылки. Черный листок взлетает над вершинами, сосны гулко и шумно передают известия о необычайных победах там внизу. Что такое случилось здесь? Я слушаю и замираю, широко раскрыв глаза, и уди-

вляюсь и понимаю. Я иду в диком поезде метели и ветра. Снежные пелены обвивают меня и скользят между рук. Мчит поезд.

— «Даже еслиб мы умерли!..

— «Даже умерли, даже умерли, даже умерли!..

хватает ветер и кидает в сугробы, буйный и дерзкий, и взлетает пыль, и мчит дальше, призывая, призывая, призывая. Даже, еслиб мы умерли».

(Б. Пильняк. «Иван да Марья»).

Нельзя сказать, чтобы этот отрывок был не талантлив, не эмоционален. Но... «ствол вздрагивает», «вершины вздрагивают... ели шипят... волна воплей... молодые березки поют и кричат... ветер... буйный и дерзкий»—весь этот ассортимент образов символизации природы, как действующего лица, конечно же был уже на страницах литературы российской однажды отвергнут как импрессионистское ходульное прикрытие отсутствия темы. И вкрапленные в эту бесконечную вереницу описания «космоса» бытовые анекдоты вовсе не являют собой обновленного стиля. Это—тот же распавшийся, без силы внутреннего идеологического сцепления, стиль модернистской прозы, загнивший до «снежных пелен» и «бешеных» (обязательно!), бешеных судорог импрессионистского штампа.

Именно анекдотичность быта привлекает внимание и группы молодых беллетристов, объединенных под именем «Серапионовых братьев».

Стилизует ли, упрощая ремизовский язык, М. Зощенко, пытается ли видоизменить фактуру повествования вставками протоколов, выписками из блок-нотов, вырезками из газет Ник. Никитин («Дэзи»),—везде оживляется это повествование лишь анекдотом, подслушанным диалогом, смешным словосочетанием, а не волевым движением автора.

«— Как зовут?

«— Галка.

«Председатель Совета Тимофей Пушков только бритым затылком тряхнул от изумления. Удивительный мнется перед ним человек.

«— Дак как же?

«— Эдак и доложусь, товарищ комиссар. Пишите: Галка».

(Ник. Никитин. «Рвотный форт»).

«Я вот рассказывала великосветскую историю про старого князя вашего сиятельства—

—все воистинная правда и босячки крохоборы, и что били меня они инструментом, да только не было в тот раз прекрасной полячки Виктории Казимировны... И быть ее не могло. Была она в другой раз и по другому делу... А это уж я так, извините худого мужика,—солжил».

(Мих. Зощенко. «Виктория Казимировна»).

Не будем копаться в цитатах. Скажем только, что общее впечатление от этой группы беллетристов именно таково, что при всей изобретательности их приемов, при всей добросовестности подхода к материалу—их «объективность» изложения часто становится извинением «худого мужика» о небывшей в этот раз Виктории Казимировне. Во всеоружии технической опытности они ринулись пожинать «урожай» быта, но... быт-то оказался свеже вспаханным полем, который надо засеивать новым идеологическим осязанием. И пришлось довольствоваться прошлогодними сухариками анекдота, стилизации и «космических горизонтов».

Оттого так очевидно тяготение этой группы беллетристов к фольклору, к старине, к эксперименту, что неудовлетворенность содержанием сегодняшнего дня толкает их к расцветке его сквозь призму иных временных граней.

К этой же группе отобразителей советского быта нужно причислить и И. Эренбурга.

Отражая манеру западных беллетристов современья, Эренбург формально идет по пути «авантюрного романа», привнося в него черточки российского современья. Его язык, главным образом, интересен как введение в литературу газетного, несколько небрежного, но быстрого муссированного стиля. И здесь распадание «величественной» прозы прошлого, стимулируемой сложившимися и осознанными классовыми убеждениями, налицо. Эренбург, при всей искренности и горячности своей патетики, все же рафинирует ее глубоко заложенными в него цинизмом анархического и интеллигентского миросозерцания.

Распался стиль и у стариков. Не узнаешь суховатого, терпкого, «рябинного» языка И. Бунина, раскисшего в прелую безвкусицу. Совершенно вывялился Куприн, превратясь в какую-то армейскую мочалу, совершенно зачервоточился когда-то вострый и сухонький Ремизов:

«...в дни тайных еще не открывшихся решений над жизнью и смертью народов, когда денно и нощно ангелы божии несут последние молитвы на единое небо и единому богу со всех концов расколотой, раскопанной земли, в дни веры и жертв и страха, кощунств и отъявленной подлости—после дневных забот и мелочей житейских, надуваательств и всякого обмана, ожиданий напрасных, гнева и горечи, вдруг вижу звезды.

(А. Ремизов. «Мара»).

Это ли язык автора «Посолони»? Нет, это шамканье тихой божьей старушки, свершившей все земное.

Перечислять и цитировать «новые» произведения А. Белого, Замятина, А. Толстого и др. нам нет ни нужды ни охоты в этой статье. Это—старые папашины сюртуки и визитки, тщательно хранящиеся в кладовых. Мы же пытаемся определить новый покрой одежды русской литературы. И, следя за постепенным распаданием стиля в различных писательских группировках, можем наметить кое-какие выводы.

V. Выводы.

Объективизация, позиция «моей хаты с краю», не дадут современью здоровой беллетристики и поэзии. Даже пресловутый ген. Краснов, пишущий для эмигрантщины свои «Двуглавые орлы» и «Чертополохи», имеет под собой более крепкую почву, чем наши «внепартийные» описатели. Он дает все-таки, пусть чревовещательные, ответы на запросы ему сродного круга читателей. У них ясны их взаимоотношения с «выразителем» их чаяний и надежд. Так ли обстоит дело у нас? Нет, наши писатели дают факты—без выводов, группируя эти факты пассивно, без всякой внутренней зависимости. «Энергично фукцировать»—не значит еще функционировать художественно. И вот я спрашиваю себя: какие выводы должен сделать читатель, тот же рабфаковец или свердловец после чтения «Серапионовцев». Что наша жизнь анекдотична и распылена? Что наше будущее обречено на этот анекдотический быт на бесконечные времена?

Правда, есть у нас группа писателей с коммунистическим мировоззрением. Но и они также предпочитают *описывать* происходящее вокруг без синтетического просвета читателю. Аросев, Семенов, Вересаев—писатели большого размаха. Но при чтении повести того же Семенова «Голод» разве поднимается что-нибудь, кроме физиологических судорог против *ненужности* такого натурализма. Разве *это* формирует сознание читателя в личность. И выходит, что все пишут добросовестную (или не) хронику событий без всякой художественной связи ее с историческим, а следовательно, закономерным ходом действия. Вместо истории получаются отрывочные записки, вместо художественной литературы—исторический разрозненный материал.

Это—с одной стороны. С другой—смешение всех стилей не есть еще новый стиль. И поэтому писатели, пытающиеся сплавить воедино технические заимствования разных литературных школ, проделывают как раз обратную работу—разложения этих стилей.

Нам не страшно это. Расползшийся литературный язык, несомненно, будет сменен языком новых эмоций и новых понятий. Признаки этого уже имеются. Сами авторы жалуются на невозможность выражения сегодняшнего дня средствами прошлой языковой изобразительности. Но для этого необходима идеологическая сращенность с теми слоями населения, от которых ждешь новых форм жизни. Для этого нужно отказаться от всеобъемлющей жвачки «духовного» беспристрастия. Потому что такого нет и быть не может. А есть туманный, расплывчатый обман все той же интеллигентски-головной мнимой «свободы творчества».

Таким образом, всяческие подразделения литературных группировок, как по эстетическим, так и по формальным признакам, показали свою несостоятельность за пять лет пореволюционного периода. Разошлись лишь «мечтатели» и делатели, «творцы» и производители. Разошлись внутренне, часто оставаясь внешне связанными преданием.

Тема нашей статьи далеко выходит за пределы библиографического задания. Вот почему мы и не пытались сузить ее перечислением существующих литературных группировок, объединенных в большинстве своем чисто формальными признаками.

ТЕАТР Р. С. Ф. С. Р.

А. Луначарский.

I.

Предложение написать нечто в роде суммарного обозрения застигло меня несколько врасплох, что не дало мне, конечно, возможности собрать какие бы то ни было документы, так что настоящая статья будет носить в некоторой степени характер личных воспоминаний и соображений, правда, воспоминаний и соображений лица, в значительной мере руководившего отношениями государства к театральному миру Российской Республики.

Прежде всего несколько общих предпосылок. Революция нашего театра, говоря с грубыми приближениями, расколола театр на два лагеря: театр традиционный и театр исканий. Очень часто к этим тенденциям применялось выражение: правый и левый театр, что внесло во время революции немалую путаницу и какое-то априорное принятие некоторыми левизны формальной за левизну культурно-политическую. В традиционном театре можно было также отличить два крыла. Малый и Александринский театры хранили, довольно сильно впадая в эпигонство, традиции расцвета русского драматического театра, каким он был создан нашей, в своем роде изумительной, интеллигенцией, мощный подъем которой к социалистическому сознанию мира сравнительно бледнее всего отразился в театре, но все же отразился и тут.

Другим течением традиционного театра был театр Художественный, который я называю традиционным, во-первых, потому, что он недалеко отошел от главных черт театра, как он установился за XIX век, и, во-вторых, потому, что его собственные новшества ко времени революции превратились уже в традицию.

Художественный театр сделал дальнейший шаг от театральности к естественности, перешел к импрессионизму, отчасти к тому особого рода символизму, который ознаменовал собою конец прошлого века и самое начало нового. В том и другом театре имелись замечательные актеры установившейся школы, огромный опыт, ряд блестящих спектаклей, которые до революции были недоступны массам почти совершенно.

Левые искания шли более или менее под знаком всякого рода художественного модернизма, застрельщиком которого являлся, прежде всего, авангард живописцев, в конечном счете мирок парижских живописцев и окружающая их критика.

В. Э. Мейерхольд прошел несколько стадий развития, с большим чутьем следуя за эволюцией, так сказать, модернистической моды, символического и стилизованного театра. Театр по преимуществу живописных ансамблей сменился у него театром вещным, конструктивным. Но обо всем этом мы поговорим подробнее ниже, здесь же надо только констатировать, что В. Э. Мейерхольд вступил в коммунистическую партию и стал самой видной фигурой того учения и той практики объединения «левизны» формальной с «левизной» политической, которая является, конечно, весьма интересным и значительным фактором в жизни русского театра.

Правее стоял Ф. Ф. Комиссаржевский, в начале революции раскрепощенный ею и давший несколько полных вкуса, движения и правильного намеченного новаторства спектаклей, хотя в декоративном отношении сильно зараженных футуристической модой.

От Комиссаржевского можно было ждать значительной роли в истории русского театра. Однако он предпочел уехать из России не на долгий срок, превратить этот срок в весьма долгий, занять место на задворках разрушающегося лондонского театра, чем он и вычеркнул себя из самых замечательных, быть-может, годов театрального строительства, которые мы за это время пережили и какие переживем в ближайшее десятилетие.

Таиров ни в какой мере не проявлял какой-либо специальной симпатии к революции, как к таковой,—к революции вне театра; в театре же произвел революцию систематически и планомерно, исходя из самостоятельно выработанного принципа и тоже под сильнейшим давлением той последней формы модернизма, которая в общем правильно обозначается словом футуризм.

Чрезвычайно интересные искания проявлены были многочисленными студиями, в первую голову студиями Художественного театра. Впрочем, в начале революции, кроме первой студии, все остальные были еще в зародыше.

Революционная власть должна была стать в определенные отношения к этим существующим театральным силам в Москве, Пстербурге и провинции, а вместе с тем дать толчок перерождению театра в революционном духе и к созданию революционного, а по возможности и чисто пролетарского театра. Для того, чтобы понять, правильна или неправильна, успешна или неуспешна была работа правительства в этом отношении, развивался или падал за время революции наш русский театр, необходимо, прежде всего, разобраться в том, какую ценность для новой революционной публики представлял собою найденный ею в наличии театр, к каким формам установившегося до революции театра должна была оказаться ближе идея пролетариата, осознанная его идеологами или полуосознанная самой массой.

Прежде всего революция, конечно, породила не маленькую клику очень искренних друзей революционного театра, но торопыг и радикалов, переживавших в бурной форме детскую болезнь левизны. Для таких людей старый театр был вообще неприемлемым. Раздавались речи против

этой коробки, против аристократического строения зрительного зала, против рампы, подмостков и т. д. Доходило дело до провозглашения только арены, окруженной со всех сторон публикой площадки, до заявления даже, что массовые народные действа есть единственная законная форма театра.

Ни на минуту не отрицая, что театр, когда он окончательно начнет служить народным массам, выйдет под открытое небо, что массовые зрелища получат толчок от дальнейшего развития революции, не отрицая также необходимости параллельного нынешнему театру создания других форм сцены, приходится все же признать, что в нашем северном климате, при нашей достаточно твердой традиции и при условии внутренней рациональной, в конце-концов, выкристаллизовавшейся театральной формы, на ближайшее будущее, по крайней мере, на четверть века, доминирующей формой театра будет все же театр, каким мы его знаем. Да это к тому же обеспечивается значительным количеством зданий, которые «устойчивы», и почти полной невозможностью в ближайшие 10 лет создавать новые обширные здания, типа, скажем, греческого амфитеатра. Таким образом, радикальные крики о необходимости разрушить в корне старую форму театра, конечно, серьезными коммунистами приняты не были, поддержка же новым исканиям оказывалась. Некоторые попытки широких народных действий, особенно в Петербурге, делались, но за отсутствием средств и в виду тяжелого военного положения Республики все это осталось в зародышевом состоянии. Равным образом, не отрицая ни на минуту выделения из самого пролетариата актерских сил, серьезные коммунисты не могли, конечно, поверить в то, что профессиональные актеры не могут обслуживать пролетариат и что они должны быть заменены рабочими любителями. Это было бы приблизительно то же, как отбросить «буржуазных» специалистов-врачей и заменить их наскоро подученными пролетариями, на предмет хирургического и терапевтического лечения. Сами пролетарии прекрасно знают, что дело мастера боится, и могут легко почувствовать, что сценическое искусство сложно и требует большой подготовки. Пролетариев, может-быть, больше тянет к актерскому мастерству, как к таковому, чем даже буржуазную публику. Отсюда ясно, что старая форма театра и актеры-специалисты должны были быть сохранены, что они должны были сыграть немалую передаточную роль в развитии театра после революции.

Но театральная традиция? Годилась ли она для пролетариата? Тысячу раз—да. Прежде всего театр, каким создало его до революции существовавшее общество и который в общем не являлся целиком порождением буржуазии, а в значительной мере носил на себе печать мелкобуржуазного интеллигентского творчества со всеми его уклонами, в том числе и прогрессивными,—театр, базировавшийся на постепенно найденных откристаллизовавшихся приемах исполнения великих произведений русской и иностранной классической драматургии, был до сих пор так мало доступен пролетариату, что является просто преступным даже спрашивать себя, можно ли уничтожить этот театр до тех пор, пока пролетариат не познакомится с ним и не включит его в свое культурное

сознание. Но, кроме того, именно эти театральные тенденции ближе ему, чем какие бы то ни было новейшие искания.

Почему?

Потому, что новейшие искания являются продуктами распада буржуазного мира, приведшего также к глубокому кризису сознание мелкой буржуазии. Крупная буржуазия со времени империализма обнаглела, опошлилась, потеряла всякие идеалы и всякую веру. Мелкая буржуазия потеряла в значительной мере свой революционный дух, изверилась в том, во что верила в 30-х и 40-х годах за границей, в 60 и 70 у нас. Даже высоко взметнувшийся огонь критического натурализма перестал находить отклик в широких кругах интеллигенции, сдавшейся на милость победительницы-буржуазии. Ее молодежь в своем, всегда ей свойственном бурном кипении, перенесла свои «революционные» порывы в плоскость чисто формально эстетического бунта. Абсолютная потеря идеализма, которую в известном письме признавал и оплакивал Чехов,—идеализма, конечно, не метафизического, а практического, толкнула искусство к произвольным искажениям формы, к мудрствованиям над формой, к аналитическому разложению формы, не защищавшейся более никакой своей душой, которой в произведениях искусства являются глубокие идеи или сильные эмоции.

У пролетариата есть содержание, он требует содержательности, и бессодержательное мастерство не может его забавлять в то время, как эстетизирующий буржуй или в соответствии с ним чистый мастер говорят, как о высоком призвании, как о самом лучшем на свете, именно о формальном мастерстве. Пролетариат хочет, чтобы театральный спектакль взволновал и обогатил его, хочет этого стихийно, выходит из таких спектаклей обновленным. Получает он такие спектакли редко. Когда он чувствует большое содержание, допустим не прямо свое, но волнующий кусок большой и интересной жизни, то он требует, конечно, чтобы это дано было ему понятным образом, он не хочет теряться в разных орнаментах, завитушках, к которым так тянет пресыщенного эстета. Отсюда устремление к реализму, при чем под реализмом вовсе не нужно разуметь натуралистический уклон к изображению действительности, как она есть. Народный реалистический театр во все времена имел устремления к фантастике. Но фантастика эта должна быть убедительна, должна быть как можно более ощутима, художественно правдива. Наконец, могучая душа народных коллективов требует, чтобы содержание передано было в формах мощных, ярких, монументальных.

Так как все эти условия: волнующая многосодержательность спектакля, убедительность, художественная правдивость и, наконец, широта жеста, звучность тона,— словом, театральная эффектность суть в сущности условия хорошего театра вообще, то совершенно естественно, что хороший театр, поскольку мы в разные эпохи имеем его в Европе,—театр, когда он захватывал широко и народ и удовлетворял вместе с тем лучшую часть интеллигенции, устремлялся всегда к таким формам, так как такого исполнения требует и театр Елизаветинцев, и Шекспира, и театр Мольера,

и театр немецкого классицизма, и театр французского романтизма, и театр наиболее сильных представителей натурализма и символизма конца прошлого века. Во всех этих областях имеется огромное, неизведанное наслаждение для пролетариата. Все это—широчайшая арена театральной работы, и для всего этого вполне подходящи традиционные приемы. Надо только эту традицию вновь освободить и стараться не столько двинуть ее вперед, сколько для начала продвинуть ее назад, ко временам прекрасной театральности наших дедов.

Отсюда уже следует, например, и мое личное, и я думаю не только личное пристрастие к Малому театру по сравнению с театром Художественным. Худ. театр имеет гигантские достоинства, о которых здесь нечего распространяться. Мал. театр имеет большие, приобретенные в особенности за последний период недостатки. Он растерял свои силы. И он и Александринский театр, как я уже сказал, впадают в эпигонство, но, тем не менее, принципиально Худ. театр сделал дальнейший шаг от той коренной театральности, от того театрального театра с его обольстительной «позой» к чрезмерно жизненной правде, сопровождающейся потерей некоторой доли театрального очарования, являющейся вместе с тем шагом дальше от народа.

Отсюда же следует, что левые искания с этой точки зрения являются прямо ошибочными. И Мейерхольд, и Таиров, и др. беззаботно относятся к содержанию, заявляя, что драматургия не важна в театре, и хотя на разные лады, но одинаково господствует у них форма. Отсюда получается большая опасность пустоты, с точки зрения идейной и эмоциональной, и уже не опасность, а несомненное наличие затрудняющих восприятие изворотов и кривляний, которые на здоровый вкус новой публики не могут не действовать отрицательно. В тех же случаях, когда они отрицательно не действуют, это свидетельствует только о легкости, с которой непредупрежденный пролетарий может быть отравлен устремлением упадочной культуры.

После этих предварительных соображений постараюсь дать здесь критический очерк, так сказать, истории театра за эти годы.

II.

Прежде всего об Академических театрах.

Советская власть осторожно завоевывала Ак. театры. Нам не хотелось нарушать их живых тканей, нам не хотелось пускать в ход насилие, и мы привлекли их на службу новому государству первоначально на началах более или менее договорных,—на началах автономии театра. Советская власть завоевала довольно широкие симпатии в Ак. театральных средах своею деликатностью и «либерализмом», что облегчило и вперед облегчит работу. Работа в прошлом заключалась, прежде всего, в сохранении этих театров на возможно большей высоте, в некотором очищении их от таких спектаклей, которые были, действительно, данью буржуазным

вкусам и, наконец, в продвижении общедоступности их. Конечно, идеологически Ак. театры оказались чрезвычайно неподвижными, и это относится не только к бывшим императорским театрам, но и к включенному в их сеть Худ. театру. Тем не менее, некоторые симптомы в этом отношении можно отметить. Симптомы эти стирались в огромной работе по борьбе театра за существование. Тем не менее, в особенности сейчас появляется широкая готовность начать внедрять в театры некоторые лучшие достижения театральных исканий. Нечего уже говорить, что это широко практикуется в среде Худ. театра, но и Б. театр, в особенности в будущем году, с приглашением таких радикальных новаторов, как Мейерхольд и Таиров, и Мал. и Алекс. театры, руководители которых Южин и Юрьев посвятили меня в свои планы,—все это начинает постепенно двигаться к осторожному усвоению некоторых новшеств. В отношении репертуара никак нельзя не отметить постановки моих пьес в обоих театрах. Конечно, ни одна европейская страна, с тех пор, как театр существует вне России и, может-быть, Германии, за самое последнее время не ставила пьес, столь заряженных революционностью, как «Оливер Кромвель», а в особенности «Фауст и Город». Может-быть, на чей-либо вкус они и недостаточно революционны, но для Ак. театров это был головокружительный шаг. Оба спектакля были поставлены с величайшей тщательностью и бесспорно пользовались успехом у публики. В дальнейшем, с точки зрения идеологии, необходима будет еще более прочная связь между—увы!—не очень значительной группой действительных идеологов искусства из нашей революционной среды и компетентными, высоко даровитыми и, я должен это определенно подчеркнуть, совершенно лойяльными по отношению к нам, руководителям Ак. театров.

Коснусь и материальной стороны дела. Было немало криков относительно того, что на Ак. театры мы требуем слишком много денег. На самом деле, мы требовали вряд ли одной пятой того, что тратилось при царе. А так как при этом цены на места были чрезвычайно низкие, то только большой преданностью всего артистического, а в особенности рабочего персонала можно объяснить тот факт, что Ак. театры не закрылись, а продержались на такой высоте, что в настоящее время бесспорно, по отзывам всех европейцев, их видевших, находятся в первом ряду мировых театров.

Новая экономическая политика, с одной стороны, принесла некоторые улучшения для этих театров, так как дала возможность поднять цены, далеко, однако, не до прежних пределов, особенно в Петербурге, где цены и сейчас еще очень низки и не могут быть повышены. Но вместе с тем плановое хозяйство государства побудило его к еще большей экономии насчет театров, а погоня за полной залой может снизить репертуар их. К счастью, ничего этого не произошло. Все Ак. театры оказались на прежней идеологической высоте. Государство, после некоторого колебания (вплоть до предложения некоторых представителей правительства закрыть совсем Бол. театр), дало, если не достаточную, то мало-мальски приличную субсидию театру, и, как кажется, их существование можно считать обеспеченным, конечно, при условии и в дальнейшем тех ограниче-

ний, которые актерам приходится налагать на себя волей-неволей, потому что выхода за исключением вавилонского пленения заграничной эмиграции, где хлеб—ох как не сладок, для них ведь все равно нет. Те из актеров, а их больше, чем обыкновенно думают, которые ценят идейную сторону в театре, кажется, начинают сознавать, что мы в России переживаем не какой-то унылый кризис и распад, а полосу замечательного расцвета, и, конечно, дорожат этим.

Гораздо хуже подействовал Нэп на Ак. театры в отношении их общедоступности. Правительство само потребовало от театра, так как иначе свести концы с концами было нельзя, перехода от 20% бесплатных мест к 15% сильно удешевленных мест. Я должен констатировать, что это с большой скорбью было принято и самими Ак. театрами, которые очень желают связи с рабочим классом. Отмечу здесь, что отношения с ВЦСПС, МГСПС и ПГСПС всегда были чрезвычайно хорошими. Надо прямо сказать, что рабочая масса, как таковая, поскольку она посещала театры, предпочитала Ак. театры всем остальными и что проф. союзы в своем стремлении обслуживать рабочую массу (напр., концерты, спектакли в Доме Союзов и параллельные явления в Петербурге) прибегали к соглашению с Ак. театрами.

Этого нельзя сказать о собственно профессиональном театральном союзе, Всерабис'е, у которого есть свои грехи перед Ак. театрами. Но да простятся они Всерабис'у, так как сейчас, кажется, в этом отношении дело налаживается. Отмечу здесь, что мир Ак. театров был нами довольно серьезно раздвинут в Москве. В Ак. театр включены были не только сам Худ. театр, но и его студии, Камерный театр и такие небольшие, но интересные театрики, как студия им. Горького, как студия Габима, как Камерный Еврейский театр. В Петербурге такое расширение было нам недоступно. Но зато надо отметить, что, в смысле общедоступности и связи с рабочей массой, Петербург далеко опередил Москву и сейчас может гордиться своей деятельностью с этой точки зрения.

Я считаю необходимым в этом месте выразить мою глубокую благодарность обоим руководителям этой работы, моим непосредственным, глубоко мною уважаемым помощникам в этом деле—Е. К. Малиновской и И. В. Екскузовичу. В течение всех этих 5 лет бессменно они несли свои бесконечно трудные обязанности среди постоянных кризисов, неприятностей и актерской склоки. Я совершенно убежден, что русский театр благодарною рукой занесет имена их в свою летопись.

III.

Теперь присмотримся также бегло к истории театра новаторского. Деление на Ак. театры и новаторские театры, конечно, не точно, ибо к этой второй группе придется отнести некоторые Ак. театры. Центральной фигурой нов. театра является Мейерхольд. Он был, так сказать, человеком «театрального Октября». Правда, пришел он к революцион-

ным идеям не сразу, но когда пришел, то его пылкий энтузиазм сделал его яркой фигурой в нашем ярком театральном мире. Я не буду касаться здесь административной деятельности Мейерхольда. Она была довольно неудачной. Его окружили частью горлопаны, частью люди, страдавшие в то время корью левизны до умопомрачения. В результате чего пришлось этот немножко каррикатурный Октябрь пресечь как можно скорее. Зато в отношении художественном будущий историк русского театра во время революции посвятит много страниц Мейерхольду, а я должен посвятить ему, по крайней мере, некоторое количество строк.

В Театре Р. С. Ф. С. Р. Мейерхольд, следуя своей идее политической и формальной левизны, дал замечательные спектакли. Нет никакого сомнения, что «Зори», которые в конце несколько растрепались и надоели, которые по существу уже из-под пера Верхарна вышли несколько несоответствующими идеалу революционной пьесы и были неудачно переделаны, все же явились настоящей зарей революционного театра. Я был против крышки рояля, которая летала по небу Опидомани, я несколько конфузился, когда рабочие, тоже сконфуженные и почти вспотевшие от сознания своей некультурности, указывая перстом на ту или другую подробность декорации, спрашивали меня, что сей сон значит, и, несмотря на это, в особенности, в первый спектакль в театре чувствовался подъем и подъем на сцене. Пускай на сцене было слишком много крику, но были настоящие ораторы и революционный энтузиазм, была новая форма, чистая, величественная, простая. Конечно, заря была еще бледная, но, несомненно, свежая, алая зорька. Следующий спектакль Мейерхольда—«Мистерия-буфф» Маяковского, конечно, шаг вперед. Я продолжаю утверждать и уверен, что это, в конце-концов, будет всеми признано, что «Мистерия-буфф» Маяковского прекрасная буффонада—первый опыт и прообраз настоящей театральной революционной сатиры. И Мейерхольд во многом превосходно уловил и выразил ее дух. Наконец, третьим шагом, который, наверное, был бы еще более значительным достижением, являлся грандиозный замысел революционизирования «Коло-ди-Риенци» Вагнера. К сожалению, средств на это у Республики не хватило, и замысел приостановился. Быть-может, Мейерхольду удастся осуществить его в будущем.

Между тем для Мейерхольда все эти постановки были компромиссами. Размахнулся он гораздо шире: он занес руку над самым театром, как таковым, и его принципами. Со стремительностью футбола летел и летит Мейерхольд вперед, не совсем ясно понимая, от кого получил толчок. В чем заключается устремление Мейерхольда в настоящее время?—В приближении театра к цирку, к Мюзик-Холлу. Пусть, говорит он, театр будет веселым зрелищем, пусть наполнится он гаерами, гимнастами, красками, звоном, весельем, мастерством, непринужденностью и т. д., и т. п. Конечно, этот мейерхольдовский театр, который я от всей души приветствую, не надо будет называть театром, его можно звать как угодно. Я предлагаю, когда мы осуществим его, первое подобное учреждение назвать «Мейерхольдией». Это будет нечто замечательно веселое, милое, куда можно будет пойти отдохнуть душой, но идей и эмоций театра, это выражение аме-

риканизма, от которого мы вовсе не думаем чураться, как от дьявола, которому мы охотно отдадим свое (как не будем, несомненно, прогонять и милого чертенка—оперетку), конечно, заменить нам не в состоянии. Новые опыты Мейерхольда в этом отношении меня не удовлетворяют. Я вполне согласен с тем, что можно сделать театр менее зависимым от декорации, более вещным,—согласен с тем, что машину можно выдвинуть на первый план, машину не театральную, закулисную, а машину, как действующее лицо. Например, «Паровозная обедня» Каменского есть первый шаг к такому превращению машины в лицо—и это хорошо. Но пока пусть не обидятся на меня и Всеволод Эмильевич и другие наши конструктивисты, они очень напоминают обезьяну, которая очки лизала и низала их на хвост, но не могла догадаться, что их надо одеть на нос. Так и конструктивисты с машиной, будь то Архипенко, или Татлин, Малевич или Альтман, будь то, наконец, Мейерхольд с его декораторами,—все они переобезьянивают инженеров, но в чем суть машины, знают так же мало, как тот дикарь, который думал, что газеты читают для того, чтобы лечить глаза. Но о конструктивизме мы еще поговорим особо и вплотную, ибо тут живое и мертвое, умное и глупое переплетаются в чрезвычайно сложный клубок.

Мейерхольд в будущих своих дерзновениях и попытках может дать очень много, но только надо помнить, что он все доводит до парадокса. В этом его своеобразная прелесть, за это его невозможно не любить, но из этого же следует, что не приходится брать его без критики.

А. Я. Таиров являет собою другую крупную фигуру нашего театра. Так как ему удалось создать театр необыкновенно крепко сплоченный, энтузиастически в него верующий, работающий непрерывно и систематически, то фигура эта вырисовывается тем более крупными очертаниями. Мне кажется, Таиров не станет отрицать, что хотя Советская власть на его взгляд и была скуповата к нему, но все же она сильно способствовала этой непрерывности и энергичности его работы. Поистине, театр Таирова есть «Академический театр исканий», ибо он вносит в эти искания систему, спокойствие, теоретическую обдуманность и основательность, в самом деле, редкие. Я не буду здесь спорить с Таировым, я делаю это часто и устно и письменно. Я констатирую утверждения Таирова, что с самого начала он относился к путям своего театра как к постепенным и что его богатые выдумкой крайне любопытные и острые, но чисто внешние спектакли, являлись подготовительными к тем, когда новый актер, о каком мечтает Таиров, виртуоз своего тела, сможет, наконец, не забывая своего тела, вернуться к недрам, к нутру, к эмоции. После этого надо будет сделать еще один шаг и пронизать театр великим огнем идейности. Быть-может, этой, как некоторым казалось, очень кружной дорогой Таиров и его замечательная первая актриса придут раньше других к театру, перед которым всякий скажет: да, вот, наконец, это театр! Мне же сейчас сдается, что путь этот слишком кружный, что ему не чужды блуждания и заблуждения и что рядом с большими приобретениями актеры Камерного театра потеряли кое-что, или приобрели кое-что, от чего было бы лучше отдалиться. Предоставим будущему выяснить всю ценность этой в своем

роде пирамидальной работы, а пока с уважением отметим и энтузиазм и стойкость Таирова и таировцев.

То, что при повороте, так сказать, вправо, т.-е. от чистого формализма к эмоции, сказавшемся в постановке «Федры», часть таировцев с Фердинандовым во главе с разгону пошла по касательной—не беда.

Что думает Таиров о фердинандовских исканиях, я точно не знаю, но теоретически это великий пустяк, и вряд ли с таким знаменем в качестве теории, да еще в союзе с таким кривлякой, как Шершеневич, можно добиться толку.

В своем роде не менее замечательны в области исканий, хотя и бессистемны, студии Худ. театра. 1-я студия, планомерно развертываясь, сделалась одним из лучших театров в Европе. Поездка ее по Европе сопровождалась успехом. Вообще же не надо преувеличивать значения эскапад с сокращенными декорациями, с отельной лихорадкой, с чужим языком по обедневшей духом и мощью Европе. Завоевать Европу можно и в Москве и гораздо легче. Окна и двери распахиваются, и иностранцы приливают и будут приливать все больше. У нас—мы дома. Говорим по-русски, и никто не сделает при этом нам упрека. Когда Европа окончательно констатирует проделанную у нас работу, то начнет честью просить посетить ее, и не будет тогда смешивать, как, боюсь, может, смешивает сейчас наших «советских артистов» с той заграничной богемой, числящей, конечно, и много талантов, которая, оторвавшись от родного корня, падает жертвой эксплуатации прожженного импрессарио, забубенного капиталистического театра. Русскому артисту нечего разыгрывать роль маленького савояра с шарманкой, совершенно не к чему отожествлять фигуру русского актера с профессиональным забавляльщиком европейского парвеню. Поэтому считаю нужным еще раз предостеречь наш замечательный театр от преждевременных легкомысленных туров и турнэ. Лучше немножко подождать. Успех не убежит. Но какова бы ни была судьба 1-го вылета 1-й студии, сам по себе этот театр замечателен, и последняя постановка его—«Эрик XIV»—была бы настоящим триумфом, в особенности благодаря игре гениального Чехова, гениального также и в Хлестакове, о чем следовало бы писать особо, если бы самой пьесе не была присуща большая доля невро-истерии. Как это ни странно, но Худ. театру свойственна атмосфера истеро-невроза на сцене. От этого, конечно, надо совсем отделаться.

Я меньше знаю 2-ю студию и не буду здесь говорить о ней. Знаю, однако, что она старается не отставать от своих сестер. Младшая же, очаровательнейшая 3-я студия, никак не может быть обойдена здесь молчанием. Смерть похитила самого обещающего человека театральной России, режиссера Вахтангова,—похитила его в тот самый год, когда, в особенности его трудами, мы имели блистательный сезон. Тот, кто не понимает, что мы имели блистательный сезон, потерял решительно все театральные перспективы. Год, который увидел такие постановки, как в старых Ак. театрах «Кармен» и «Оливер Кромвель», как новая постановка Мейерхольда, как «Ревизор» в Худ. театре, как «Федра» в Камерном

театре, как «Св. Антоний» и «Турандот» в 3-й студии, «Эрик XIV» в 1-й, «Гаддибук» в Габиме и другие менее, но все же замечательные («Уриэль Акоста», напр., в некоторых отношениях изумителен по работе, сделанной там Альтманом),—такой год можно считать просто ошеломляюще успешным. Не только ни одна из столиц мировых держав не может отдельно сравниться с этим московским сезоном, но и в прошлом Москва имеет немного таких годов. Кажется, это начинают сознавать. Кажется, глупейшие россказни о кризисе театра начинают убывать. А между тем кризис есть, но кризис роста, только прикрытый лохмотьями нашей материальной нищеты.

Так как я предполагаю особо писать о работах Вахтангова, то здесь ограничусь констатированием радостного факта—взлета его творчества, и ужасного факта—его преждевременной смерти и всей душой желаю, чтобы 3-я студия не распалась от ужасного удара: «Поражу пастыря, и рассеется стадо». Но, конечно, есть большая надежда, что дело Вахтангова переживет его самого.

В области Пролетарского театра работает, главным образом, Пролеткульт. Был момент подлинного расцвета этой работы. Студия Пролеткульта и его труппа заключают в себе несколько прекрасных талантов, массу трогательного рвения и энтузиазма. Спектаклем, венчавшим эту работу, был веселый, живой, полный смеха и пафоса «Мексиканец», этот спектакль нужно безусловно и крупными буквами прибавить к выше приведенным, к тому числу замечательных явлений последнего сезона. К сожалению, потом он страшно обтрепался и выветрился.

В «Мексиканце» уклон Пролеткульта к футуризму был уместен. Конечно, когда футуризм протянулся в революционно-натуралистическую «Лену» Плетнева, произошел конфуз. Пролеткульт переживает сейчас два кризиса, из которых один тягостен и постыден не для него, а для нас. Мы оставляем эту замечательную рабочую труппу без сколько-нибудь серьезной поддержки, мы, Советское государство и Московский Совет, выгнали Пролеткульт из его помещения. Пролеткульт впадает в нашей революционной Республике в настоящую нищету. Это — позор, и свою долю вины полностью беру на себя. Отчасти mea culpa. Другой кризис, более отрадный, это стремление сблизить работу Пролеткульта с культурной работой Профсоюзов. Лично я полагаю, что от этого произойдет только благо.

Другой революционный театр, менее значительный, Теревсат давал иногда хорошие спектакли. Приглашение туда Мейерхольда может влить новые соки в этот театр.

Прекрасный театр Корша старался подняться до уровня настоящего идейного театра. Он дал несколько прекрасных спектаклей в течение прошлого и настоящего сезона. Но я очень боюсь, что, лишенный поддержки государства, он, отнюдь не по своей вине, начнет скользить при нэпе, вниз ко вкусам могущей хорошо заплатить публики. А между тем со своей сильной труппой и свободным подходом ко всем театральным возможностям этот театр тоже может быть одним из лучших.

Отметим еще очаровательнейшие результаты, достигнутые оперной студией Станиславского. Отсюда может пойти сильная волна, обновляющая оперные постановки другого, однако, совсем толка, чем та, которая начата была Ф. Ф. Комиссаржевским.

Я очень мало пишу о Петербурге. Я давно там не бывал. Я знаю только большие заслуги петербургских Ак. театров по самообороне и обслуживанию самых широких трудовых масс. Я знаю, что одно время, по крайней мере, на большой высоте держался Б. Драматический театр. С удовольствием слышал о замечательных успехах на поприще народного воспитательного серьезного театра—драматического театра Народного Дома под руководством А. Р. Кугеля и с сожалением узнал, что прекрасно начатый театр буффонады, руководимый Радловым, как будто сворачивает свои пестрые крылышки. Я уже предупреждал, что могу писать больше о том, что лично видел, чем давать объективный отчет по документам.

Еще одно из касающегося не настоящего, а будущего. Я недавно писал в «Известиях» заметку об актерском объединении театра «Романеск». Личное знакомство с труппой и с репетициями заставляет меня думать, что тут выйдет толк, главным же для меня является то, и правильность идей не зависит от успешности выполнения, что эта молодежь, повидимому, чутьем, а не по моему указанию (хотя я давал их много), нашла правильный путь к народному театру, а именно, путь через возвращение к романтическому театру. Повторять здесь того, что было написано мною в «Известиях», не буду [1]).

Вот в несколько спешном порядке изложение фактов и мыслей, касающихся истории театра за эти 5 лет. Может-быть, некоторым покажется, что я слишком мало остановился на темных сторонах—на халтуре, понижении актерской техники и т. д. и т. п., может-быть, также на «косности» одних и «безумствах» других, может-быть, скажут, что слишком в светлых тонах нарисовал театр и его бытье за это время, но я утверждаю, что, когда пройдет даже не несколько десятилетий, а несколько лет, всем будет видно, что я правильно учел контуры и краски, что мы пережили обновляющие театр годы, что мы заложили фундамент замечательного расцвета театра, что русский театр в ближайшие 10 лет обгонит европейские театры.

Другой упрек будет справедливее. Я не коснулся провинции и мало ее знаю. Весьма возможно, что темные краски там преобладают.

РУССКАЯ МУЗЫКА ЗА ВРЕМЯ ВОЙНЫ И РЕВОЛЮЦИИ.

Леонид Сабанеев.

Семь лет минуло с того момента, как кровавый занавес войны скрыл от взоров Западной Европы развитие и течение русского музы-

[1]) Статья написана в июле. Сейчас кое-что можно бы прибавить, но это пусть—до другого раза.

кального искусства. Этот момент был как раз моментом кульминирующей славы русского искусства за границей. Россия была накануне гегемонии в музыкальной области. Успехи русской музыки, подготовленные триумфами русского балета в Париже,—триумфами, столь тесно связанными с именами Римского-Корсакова, Лядова, Глазунова, Мусоргского; то глубокое и несомненное влияние, которое русская музыка оказала на направление и стиль новофранцузской школы «Дебюсси-Равель»,—все это выдвинуло русских музыкантов в авангард мировой музыки. Мировая столица довоенного времени—Париж выковывал мировую славу русской музыки. В этой мировой столице сформировался Стравинский—один из самых ярких выразителей музыкального созерцания кануна войны и революции. Одновременно с этим в России жил и действовал Скрябин, если и не признанный еще Европой тогда, то потенциально уже стоявший на самом первом месте в иерархии композиторов. У нас был еще Метнер, пока еще скромный, маловедомый за пределами своей родной территории, но уже оцененный верхами музыки. Наконец, из адептов музыки, не стремившейся к открытию горизонтов, к новаторским перспективам, у нас были в активе имена Рахманинова и Глазунова, признанные Европой и Новым Светом. Если сообразить весь наш композиторский актив к моменту начала войны, то ясно, какую крупную силу в области творчества музыки представляла в ту пору Россия. Из группы выдающихся имен композиторов—Штрауса, Регера, Равеля, Дебюсси, Рахманинова, Глазунова, Скрябина, Метнера, Стравинского—русская музыка обладала большей половиной. Весы музыкальной гегемонии явно наклонялись в нашу сторону.

Военные годы отразились во всем мире страшным опустошением и в рядах музыкантов и в самом темпе музыкального творчества. Достаточно указать, что первые годы войны выбили из строя такие фигуры, как Регер в Германии, Дебюсси во Франции, Скрябин, Лядов и Танеев в России. Композиторская продуктивность страшным образом сократилась. Если сравнить количество произведений, появлявшихся на свет до войны и в ее первые годы, то ясно делается, какой опустошительный смерч пронесся над музыкой. И эта пониженная продуктивность сохранилась в сущности и до наших дней.

Теперь прошли с этого момента семь лет. Семь страшных грозных лет, каждый из которых должен считаться за долгие десятки годов. За это время мы изменили всю свою психологию, весь свой взгляд на вещи и отношения. Изменился и наш подход к искусству, изменились наши взгляды на музыку. Героическая, суровая эпоха войны и революция выдвинула совершенно иные требования, совершенно новые идеологические предпосылки музыкального искусства. Та предрассветная жажда грандиозного, та исступленная и как бы в сновидениях зримая *радость самоутверждения*, которая льется на нас в звуках позднего Скрябина, есть не что иное, как пророческая греза о новой художественной идеологии, предчувствие этой новой эры, но предчувствие, высказываемое в формах и рамках старой, дореволюционной идеологии. Мы не можем не

признать того печального в сущности факта, быть-может, общего и для всего русского искусства, что революция принесла нам *новую психологию* творчества, новые требования к искусству, но не принесла еще самого нового искусства. И в музыке это чувствительнее, чем где бы то ни было. Наши музыканты, как замершие в сновидении, лепечут коснеющим языком слова и заклинания из того ритуала, который был действителен в музыкальном «вчера».

Именно оттого, что наши требования к искусству так изменились, так страшно выросли, именно оттого, что мы ждем теперь определенно искусства *монументального*, *героического*, опирающегося на фундамент широких народных масс,—таким анахронизмом кажутся нам, быть-может, превосходные сами по себе творения наших композиторов. Ведь они все выросли в идеологии предрассветных дней, ведь они все сжились с культом утончения, культом полутонов, изощренности, отъединенности от героического, освобожденного мирочувствования. Нет ничего более далекого от новой революционной психологии, как закатное творчество наших музыкантов-модернистов. Быть-может, в разрезе прежнего миропонимания,—того, которое, видимо, *еще сохранилось* в Европе, они и теперь—на первых местах творческой современности. Но для нас, состарившихся в годы революции и, подобно фантастическому герою Уэльса, залетевшим в эпохи, упредившие европейское время,—для нас это уже музейная археология.

Однако, она пока единственное, что нам приходится слышать и с чем приходится иметь дело. Именно то «упреждение времени», которое мы пережили, наша глубокая «старость» (нам ведь, наверное, каждому по триста-двести лет) дает нам право оценивать все эти явления с полным беспристрастием временной удаленности. Для нас Скрябин, которого мы все помним и с которым жили—уже историческая реликвия,—уже «миф». И семь лет, которые бывали всегда так ничтожны для того, чтобы пытаться оценивать явления, нам почти современные, теперь являются эпохой, гарантирующей беспристрастие оценки.

Скрябин, покинувший мир вскоре после того, как он был сотрясен ударами войны, все же остается самой яркой фигурой на весах этой исторической перспективы. Конечно, именно этой историчностью его, этой отъединенностью его от нас и объясняется то, что он, вызывавший такие бесконечные и, казалось, непримиримые споры о себе, теперь канонизировался единогласно, признан даже своими врагами. И он в своем творчестве нам кажется теперь совсем не таким страшным, новым, необычайным, а кажется прекрасным. Прекрасным той красотой *былого*, в которой есть особое очарование закатной и прощальной элегии.

Революция признала его своим и вокруг имени его создала ореол *революционного композитора*. Да, он был революционен в своих музыкальных грезах по тому времени, в своих мистических мечтах, в своих держаниях выше меры. Но нельзя скрыть того, что все же миросозерцание Скрябина типично не для нашей эпохи, что это—яркий тип идеологии *дореволюционной*. В ней есть проблески, предчувствия разразив-

шейся над миром грозы, но они облечены в одеяния той салонной мистики, которая в этих сферах всегда предваряет революцию в массах.

Скрябин—мистик, и мистик не того глубинного типа, какими были религиозные мыслители, а мистик упадочнический. Это одно отделяет его непереходимой гранью от революции и причисляет его к дореволюционному миру. Нам чужды теперь все эти искания бога в себе самом, этот наивный антропоморфизм всего мироздания, теософические фантазии и прочее. Наш мир суровее, грандиознее и радостнее, чем тот болезненно утонченный мир, в котором сама радость отзывается истерикой и болезнью. Но все же эта радость, это исступление творчества, эта лучезарность мысли—единственное, что связывает Скрябина-творца с духом революции.

Что Скрябин есть уже история, что его тип неповторим и даже, быть-может, устарел, явствует из того, что мы не видим его *школы*. Она не образовалась, она не успела образоваться, потому что нахлынувшие события ускорили темп времени, потому что тот промежуток, в течение которого могла бы уместиться школа Скрябина, был нами пройден в какие-нибудь месяцы. И теперь к ней возврат только возможен *ретроспективный*.

Но это—для нас, для людей «по сю сторону». Для европейцев, быть-может, Скрябин—еще пророчество о будущем. По крайней мере, полного признания там его еще не произошло. Его утонченно-лучезарный мир был слишком тонок для довоенной Германии, слишком музыкален для Англии, слишком глубок для легкомысленной Франции. Он не попал в тон ни одной европейской культуре, а в России знойная буря революции иссушила посеянные им всходы ранее, чем они взошли.

И теперь в проясненной после бури атмосфере мы с бо́льшим беспристрастием сможем оценить и другие явления русской музыкальной действительности, которые ранее заслонялись ярким светочем скрябинского гения. Вскоре после Скрябина сошел в могилу С. Танеев. Знамя консерватизма, оплот музыкальной реакции, композитор мудро-ученый, он был столь же уважаем за свои высокие нравственные качества как личности, как ненавидим модернистическими музыкантами за прямоту неприятия новой музыки. И вот сейчас мы с удивлением видим, что этот изумительный человек, который, наверное, в древние времена стал бы мудрецом и учителем поколений, который в интимнейших подходах к искусству был так кристально чист и идеален; что он, музыка которого нами принималась только как игра математического воображения, оказывается *иногда* настоящим большим творцом. И отвлеченность танеевского творчества, его вневременность—оторванность от идеологии «предреволюционной» эпохи, как это ни странно, делает его в наших преображенных глазах *более* современным, чем музыку Скрябина, сросшуюся с этой неврастенической психологией кульминационной утонченности.

Танеев и Скрябин покинули нас, выхваченные смертью, которая принесла им в этом случае едва ли не пользу. Ибо анахронизм их мировосприятия был бы совершенно невыносим для них самих в революционную эпоху. Судьба взяла их от нас в подходящий момент, ибо творчество

этих двух людей было бы все равно прекращено условиями нашего времени.

Но другие остались. Остались, хотя и «рассеялись по лицу земли». В музыкальном мире у нас тоже несколько «Россий». Есть и «Россия № 1», которая пребывает благополучно в недрах страны, но—увы!—она идеологически далека от революции, она внутренне не восприяла революцию, она в глубине даже враждебна происшедшему сдвигу, размеров которого еще не постигает. Есть у нас и «Россия № 2», которая эмигрировала и работает, действует вне советских условий, работает, по видимости, как бы «так же, как ранее», но для всех ясно, что это «не так». Ибо для нас это творчество есть сплошное «воскрешение мертвых из могил», а сами композиторы эти не могут не чувствовать, что их оторванность от России не может пройти бесследно для творчества. Они переживают ту же драму, как и вся «Россия № 2». И едва ли мы и тут не накануне своеобразной «смены вех».

Я рассмотрю сначала этих последних, ибо они легче для наблюдения в своей замаринованной отъединенности. Но повторяю, что существенной разницы между этими двумя Россиями в музыкальной сфере нет, что в сущности мы должны считаться с фактом почти всеобщего непонимания музыкальным миром революционного процесса, что даже в том случае, когда он «как бы» приемлется—внутренний мир музыканта оказывается совершенно «непреображенным», совершенно анахронистическим, прежним, дореформенным.

Стравинский, Рахманинов и молодой Прокофьев—вот музыкальная «Россия № 2». Из них самый «косный»—Рахманинов. Я оговорюсь, что тот перспективный раккурс, который неминуемо сопровождает наше временное удаление от событий, сильно сгладил теперь то, казалось бы, принципиальное различие, которое ранее полагалось между Рахманиновым—музыкантом консервативным—и Скрябиным—новатором. Теперь они как бы сблизились. Так сближаются в отдалении предметы, когда наблюдатель отходит от них... И мы, удалившиеся в равной мере от того и другого, видим не без удивления, насколько несущественны детальные различия их творческих психологий.

Говорят, что Рахманинов перестал творить, удалившись в 1918 г. из России. Если это верно, то это было бы чрезвычайно показательно для психологии «Россиян № 2». Но как бы то ни было, для нас он творить перестал. Мы не знаем ни одного его нового сочинения, и тот актив творчества, с которым он отъехал из России, был и остался для нас единственным. Великий пианист и крупный композитор, он в своем добровольном изгнании как-то вырос в наших глазах, потому что смутно чувствуется великая драма «отъединения» в этой личности, которая была всегда очень далека от модной шумихи и от базара артистизма, даже в годы его максимального расцвета.

Другое дело Стравинский. Это—типичное порождение буржуазного Парижа. Вся ложь и весь блеск антантовской плутократии сконцентрирован в нем. Он рожден в дягилевских спектаклях-оргиях, где

прославлялось русское искусство и где Россия была для парижанина любопытным и страшноватым, остро щекочущим нервы чудищем-варваром. О, если бы они знали тогда, в чем разразится это «варварство», если бы знали, как близко пробуждение того стихийного, что смутно почувствовал закатный культурный мир Франции в глубинном творчестве Мусоргского! Стравинский был первым поставщиком заправского «варварства» для Парижа. Россия «не варварская» была там не интересна. Синтезировав колорит Корсакова и Дебюсси с остротой варварского ощущения свободной гармонии, Стравинский создает музыку, уже близкую к футуристическому мироощущению, почти музыку «шумов», острую, нервную, угловатую, красивую своей некрасивостью. В сущности этот блестящий, столь современный и столь нестерпимо буржуазный талант —рассудочен и сух, как все футуристы. Дальнейшая его эволюция происходит во время революции уже не на наших глазах. Но его новые произведения свидетельствуют о том, что линия развития его та же, что он продолжает быть поставщиком острых блюд для музыкальной буржуазии, что все далее он уходит от стихий «музыки» в стихию звуковой изобразительности. Это—новый Берлиоз «немузыкальный гений музыки», поражающий изобретением так же, как и своей органической чуждостью глубинным родникам искусства. Для нас он все-таки очень важен хотя бы тем, что влиял сильно на творчество многих оставшихся в наших пределах музыкантов, и тем, что в революционном взгляде на существо музыки далеко ушел вперед, окончательно утверждая полную самобытность и правомерность *всех* созвучий, рассматривая их, как краски, а не в той плоскости музыкальной логики, которой было проникнуто творчество и самого Скрябина.

Прокофьев бежал из России активно, уже во время революции В самом процессе выезда из России этих трех представителей музыкальной «России № 2» проскальзывает их внутреннее существо—их «тип». Стравинский застигается войной и революцией на Западе, остается в недрах, более европеец, чем русский, сжившийся с изощренной буржуазной средой гастрономического Парижа. Рахманинов легально и «печально» покидает Россию, в коей, по его мнению, водворяется разбой и анархия. Прокофьев «бежит» и проникает в Америку, совсем как маленькие мальчики, начитавшиеся Майн-Рида. Но с большим результатом. Его буйный и, несомненно, очень крупный талант был до самого последнего времени мне мало симпатичен «психологически». Но я не могу отрицать, что именно в его даровании больше всего близости к современному самочувствию музыкального искусства. Элементы глубины в нем еще не развились, задушенные элементами буйной задорности, «игры». Что-то от Мусоргского есть в его даровании. Во всяком случае это—хорошая антитеза Скрябину. Быть-может, останься он в России—именно он смог бы воплотить гений революционной современности. Ибо в нем есть и сила, и великая бодрость и если не мужественность, то мальчишество, в которой есть эмбрион мужественности. Но, попадая в буржуазный мир американской рекламы, этот морально нестойкий и слишком падкий на

славу талант, вне всякого сомнения, разменяется и пойдет по пути «изготовления» сомнительных ценностей, на спрос «рынка, т.-е. опять-таки, подобно Стравинскому, станет поставщиком «острого, пряного», чего требует истомленный вкус буржуазных кругов, ничего не понимающих в музыке американцев. Его последние произведения дают повод так полагать. В ряду современности я не могу не отметить его, как *безусловного* композитора. Пусть это будет «Любовь к трем апельсинам» или «Игрок», инсценированный с музыкой Достоевский—чрез некоторую беспринципность и часто наивную устарелость сюжетности глядит на нас лицо композитора, способного поднять тяжесть революционной проблемы музыки.

Он смел смелостью Бетховена. Это—культ резкости в музыке, но не резкости ради остроты, а резкости ради экспрессии. Иногда он—почти классик, и в нем проскальзывает штрих... даже моцартианства. Большой стихийностью творчества веет от этой музыки, вечно бодрой, никогда не туманной, не «мистагогизирующей». Он не любит «очаровывать», а предпочитает «класть на лопатки». Но отсутствие революционной культуры и легковесность психики, повидимому, лишают нас возможности ждать от него, слишком славолюбивого, чтобы остаться вне пределов «европейского мира»—достижений в плоскости грандиозности и всечеловечности.

Фигура Ник. Метнера после смерти Скрябина как-то особо рельефно вырисовалась на композиторском горизонте. Он был антитезра Скрябина и как принципиальный «ретроспективист», и как предстовитель сурового стиля в противовес скрябинским очарованиям. Тепей, как и по отношению к Рахманинову, грани модернизма и консервативности сблизились, нет уже такой разницы. Но фигура Метнера от этого не проиграла, а выиграла. Он—совершенно вне современности. Он мог бы быть и жить в совершенно иную эпоху. В этом его драма, в этой отъединенности от жизни. Он молится своим старым музыкальным богам, и ему нет дела до того, что говорит бурный сегодняшний день. В сущности это типичный представитель «России № 2» в своей идеологии. Он не принял революции (в музыкальной сфере), для него с музыкой ничего не должно случиться от того, что какие-то рабочие взбунтовались. Но в этой отъединенности есть и величие какого-то аскетического неприятия мира. Это неприятие накладывает элемент аскетизма и на его музыку. Она несколько суха, отвлеченна, но глубока и сдержанно сурова. Отсутствие очаровывающего лиризма в его музыке искупается бодростью и затейливостью ритмической жизни. Над его творчеством навис дух последних творений Бетховена, таких же от мира отъединенных, таких же подчас странных и абстрактных. И культура его музыки—не русская, а скорее германская. За годы революции он много писал, все время в излюбленных им областях романса и фортепьяно. Какими-то вестями с другой планеты кажутся эти новые произведения, страшные своей эстетической оторванностью от момента. Но я бы сказал, что есть какое-то титаническое усилие в *таком* неприятии современности. В его планетарной изолированности чувствуется жест титана, силящегося удержать стены своего духовного мира от наступающей бури внешних событий.

За Метнером идет ряд уже так называемых «молодых композиторов». Это те, которые накануне войны выступили, как носители революционных (по-тогдашнему) взглядов на искусство. Александр Крейн, Гнесин, Фейнберг, Лурье, Павлов, Александров—вот крупнейшие из них, если не все по таланту, то по сравнительной «яркости выступлений». Из них Гнесин—выученик Римского-Корсакова. Революционное время отразилось в его творчестве усилением уже бывшего в нем тяготения к «национальному» элементу. Он становится создателем национально еврейского стиля музыки и в этой области действительно делает многое. Его последние композиции пред отъездом (теперь он уехал, верный своему национальному влечению, в Палестину) показывают мастерское использование национального мелоса еврейской расы и синагогальных напевов, преломленных в культуре европейской музыки. От модернистических ухищрений—к простоте—его путь, и последние его произведения—почти наивны по фактуре. Но он несоизмерим с революцией, пожалуй, в большей мере, чем вневременный Метнер, ибо теперь шаг к национализму есть уже шаг назад.

Приблизительно в этой же плоскости, но совершенно самостоятельно работает Ал. Крейн, более чем Гнесин творчески одаренный и яркий, но значительно менее, чем он (и, быть-может, к счастью) «наученный» музыкальным премудростям. Его «гебраизм» основан на создании нового мелодического стиля, происходящего из стиля синагогальных декламационных фраз. Дарование Крейна за годы революции развилось и окрепло. У него все данные крупной музыкальной фигуры. В последнее время у него явилось стремление к монументальным формам (кантата-реквием «Кадиш»), что до известной степени примиряет его в интуитивной плоскости с духом революционного момента. Среди композиторов, рожденных эпохой последних дореволюционных лет, вскормленных отчасти упадочнической идеологией закатного искусства Франции, Крейн—самый крупный и самый сформированный.

Самуил Фейнберг еще только начинает свою композиторскую карьеру, но начинает блестяще. Он утончен, обострен и исступлен даже по сравнению со Скрябиным. Но именно это и показывает его отъединенность от времени, Фейнберг—отражение Скрябина (не в смысле подражания) в замутненном и искаженном зеркале революции. Он крайний индивидуалист и совершенно экстерриториален внешнему миру. От Скрябина же его отличает отсутствие всяких идеологических предпосылок творчества, он—чистый музыкант.

Арт. Лурье в своем типичном «декадентствующем» творчестве дает все, что может дать большая культура, редкий ум и изобретательность при чисто «умном» подходе к творению. Его музыка—тип музыки Стравинского, и его музыкальная культура—та же культура утонченного и пресыщенного Парижа. Коммунист по партийной принадлежности—он буржуазен до мозга костей в своем изощренно-эстетствующем искусстве; диссонансом и неискренностью звучат его «квази-монументальные» опыты творчества, в роде пролетарского марша и других вещей. Напротив, аме-

риканский трюковый танец («Упманн»), эротические песни, стилизованная простота от пресыщенности и утонченный культ диссонансов на канву блоковских мистических туманов—несравненно более отвечают его психологической сущности.

Как ни хочет Евг. Павлов декларировать свое искусство, как бодро-революционное, «ритмическое» искусство, как гимны ритму, как отрицание всей мистической туманности, все же это творчество—отраженный свет скрябинских утончений и лежит в той же эстетической плоскости. У него есть футуристические замашки—декларировать и пояснять. Но у него есть еще кое-что—именно незаурядное дарование, однако развивающееся не в том направлении, в каком способны ныне к выживанию творческие продукты в наше время.

Идущий отчасти по стопам Метнера, отчасти же самобытный в своей замкнутой сухости, в сущности же «соглашатель», Ан. Александров ценен как ярко и цельно сохранившийся тип «чистого» музыканта, без идеологии, без привесков к своему творчеству. Последние творения Александрова, свидетельствуя о растущей его технике, в то же время свидетельствуют и об его все более и более растущем музыкальном «октябризме» (не в революционном смысле). Во всяком случае не ему войти первым в храм будущего искусства.

Я не стану говорить многое об Рославце, типичном неудачном искателе, который в сущности чужд всякому творчеству, но жаждет «новизны», какой бы ценой она ни доставалась. Трудно тоже сказать что-нибудь и о других представителях молодого композиторского цеха, не затронутых настоящим очерком, кроме того, что среди них нет ни одного, на котором внимание могло бы остановиться, как на лице, могущем вместить наследие, завещанное нам последними годами событий. Ясно одно, что музыка наша и музыканты наши *устарели*, хотя бы они были очень новы в специфически «музыкантском» плане. Время требует от нас создания *монументальных творений*. Увы!—для этого неприспособлены все авторы, воспитанные на утончениях и миниатюрных штрихах в композиции. Ведь и сам Скрябин был в сущности миниатюристом. Чего же требовать от иных, менее крупных. На нашем горизонте нет ни одного монументального дарования, как нет его и в среде тех, кто остался за бортом революции и России. Все попытки (обычно кустарно-ремесленного типа) создать в области музыки «революционно-монументальное» принадлежали до сих пор к жалкому типу «сочинений на заказ» и писались, главным образом, такими лицами, кои ранее писали с таким же успехом или неуспехом всякие «коронационные кантаты» и «народные военные песни», смотря по изменяющимся требованиям официального рынка. Искомый монументальный творец еще впереди, как впереди и самые формы этого нового искусства, прототип которого надо искать не в утонченностях закатного декадентства, а в героических формах искусства Бетховена или даже в ораториальном стиле Генделя и Баха. В этих величественных кантатно-симфонических формах, быть-может, в соединении с действием, должно произойти рождение нового искусства. И сейчас гений старого Бетховена

нашему музыкальному, просветленному революцией сознанию ближе, чем неврастенические достижения усложненной музыки последних лет, доставшиеся нам от эпохи умерщвления героизма,—эпохи замыкания в индивидуум, оторванности от стихийности и от народной почвы.

РУССКАЯ ГРАФИКА В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ.

Проф. А. А. Сидоров.

I.

Самое понятие графики, как искусства, ясно не до конца и не для всех. Это жаль, ибо графика, конечно, самое современное из всех изобразительных искусств. Есть некая твердая логика в выборе той или иной технической формы для выявления художественного творчества каждого времени. Живопись не всегда была и не всегда будет тем видом искусства, которое считается центральным: теориею и практикою. Тот кризис искусства, который переживается современностью, есть прежде всего кризис живописи. Можно очень определенно настаивать на том, что графика этим кризисом не затронута, что разложение живописи, при котором присутствуем мы,—лишняя вода на мельницу графики, что именно в этом последнем искусстве наиболее чисто выявилась душа современности. Тому можно найти сколько угодно оправданий. Графика быстрее, острее, метче живописи уже в силу того, что графические средства более мелки и легки. Графика шире и демократичнее живописи, несмотря на то, что родилась в недавнее время из самых дотошных эстетических переживаний. Нам, современникам вихревых взмахов революции, нет времени (быть-может, и к сожалению) на настоящее живописное мастерство. Зато исследователь должен будет отметить, что именно в графике торжествует вся наша напряженная, быстрая, нелепая суетливость. Русская графика последнего пятилетия—чудеснейшее зеркало бьющейся самым горячим пульсом живой жизни. Очень ясно, что всякое подлинно великое событие действительности свой путь к народу, потребителю массовому, к коллективу, найти в искусстве сумеет только путем двух крайностей: или в *монументальном* образе большого искусства, в колоссальной фигуре на площади, в фреске, покрывающей стену общественного здания, или в размножаемом, всем доступном, широко распространяемом сквозь станок произведении искусства печати. Все промежуточное—полумеры. Наша современность монументального преображения не дождалась еще; оно будет, что бы ни говорили о немонументальности нашей действительности вообще. Остался открытым второй путь: он использован. Рассказ о русской графике революционного пятилетия неизбежен для всякого подведения итогов

Образец дензнака 22 г.—Положительный пример (ясность цифры).

А со всем тем, приходится настаивать на неопределенности и неясности границ графики, как искусства. Самый термин привиться не может; в Петербурге, например, ему придано специфическое и узкое значение книжного украшения. Прежде чем начать обследование того, что сделали с современностью русские мастера графических искусств, необходимо покрепче очертить область интересов наших. Лишний раз не помешает. Графика своей методологии и истории не имеет еще; занятия ею не вышли из стадии любительства и собирательства.

Всякое искусство от соседнего отлично своим материалом, средствами и целями. Как бы ни была различна между собою живопись: станковая, фресковая, мозаичная; реалистический портрет, икона и кубистическое построение,—вся живопись допускает заключение ее в одну скобку, поскольку в качестве материала ее мы учитываем краску и форму на плоскости. В графике решающим оказывается момент отрицательный. Ее нельзя определить, как искусство линии, ибо это будет иметь касательство только к одному разветвлению графического искусства, к *каллиграфическому* рисунку (примером может послужить величайший из мастеров японской линейной гравюры Хоксай; в Европе, конечно, Обри Бердслей, чей 50-летний юбилей падает на эти как раз дни). Графику нельзя также определить и как искусство черного—белого (blanc et noir), ибо это определение, чудесно соответствуя таким, скажем, мастерам, как Феликс Валлотон, оказывается непригодным для подцвеченного акварелью тонкого какого-либо рисунка Сомова или Дюлака, и больше—для всех видов гравюры, кроме ксилографии. А, однако, есть объединяющее начало, позволяющее в одну скобку заключить и офорт, и рисунок пером, и гравюру на линолеуме, и цинкографию. Графика, как искусство, нераздельно связана с *листом бумаги*. Ее отношение к *пространству* исключительно иное, чем в живописи.

Образец дензнака 22 г.—Пример менее удачного решения (цифра стушевана).

М. Ксидиас.—Почтовая марка в 40 р.—1921.

Графика перестает быть сама собою только когда она уничтожает самостоятельное бытие бумажной поверхности. Мы включим, таким образом, в область графики всякое искусство, в идеале стремящееся к двум измерениям, к узору, а не к форме. Мы оставим до иного времени вопрос о том, как и где переливается графика в живопись, и укажем, что для целей наших будет правильным разбить всю область графических искусств на графику *линейную*, графику *контрастную* и графику светотеневую, *переходную* (куда отойдет литография, не знающая ни линии, ни белого—черного). С иной, производственной, точки зрения графика будет в себе заключать: свободный рисунок, все роды гравюры, *иллюминацию* (попробуем ввести это слово, более широкое, чем иллюстрация, для обозначения всех видов украшения книги) произведений печати, и прикладную графику, в чем подразумевается выполнение графическими средствами предметов, имеющих иное, чем художественное, назначение: денежных знаков, марок, этикеток. В порядке статьи этой правильным будет рассмотрение отмеченных отраслей графики в обратном порядке; здесь же отметим только, что одну область зрительного искусства, к графике весьма близкую, мы сознательно оставили в стороне: *плакат*. Рассматриваемый как произведение печати, он невольно входит в круг интересов графики. Его красочность (не всегда, однако, обязательная) не живописного порядка; она столь же условна, как и контраст черного с белым в классической ксилографии; но все же плакат сам по себе. Рассматривать его на отдельном листе бумаги, а не на стене городского дома—все равно, что любоваться вырванными из книги иллюстрациями. Издали, давая на улице яркое пятно, плакат, конечно, приближается к декоративной живописи; имея особые задания чисто временного характера, он требует и особого к себе подхода. Русский революционный плакат, нашедший себе уже историка, был ярок, красочен и достоин своих дней; оставим его пока. Наша непосредственная тема, являющаяся сначала чудесным коллекционерством наблюдений над художественными событиями, не столь заметными, чрезвычайно увлекает именно своим этим самым радостным многообразием.

II.

Почтовая марка «юбилейного» выпуска 1921 г.

Нет сомнения, что наиболее *нужна* государству графика прикладная; хотя на первых порах может озадачить включение денежных знаков, всевозможных эмблем, марок, печатей в круг интересов искусствоведения. Думается, как бы ни стал читатель недоуменным при таком утверждении, что одна уже эволюция денежного знака Р. С. Ф. С. Р. выявляет весьма красноречиво историческое значение графики в наши

Почтовая марка серии 1921 г.

дни. Правда, кто когда пробовал рассматривать денежный знак с точки зрения его внешности? Поскольку мы теперь ищем критериев искусства в его конструктивности, нам ясно, что и денежный знак может быть «конструктивным», то-есть настоящим денежным знаком,—не картинкой или виньеткой; что в его внешности есть своя логичность; что он, таким образом, допускает применение к себе художественного мерила. Конечно, он может быть более или менее «красив», самое наличие этой категории красивости в нем—диковинное обстоятельство, психологически весьма интересное. Государство предъявляет к своему кредитному знаку одно требование: чтобы он не был поддельным; «защитить» кредитный билет трудностью его подделки — первая обязанность правительства. Как будто бы цель внехудожественная; но оказывается, что наиболее «защитными» являются именно наиболее мастерски сделанные денежные знаки. Искусство не допускает подделки; и под искусством мы здесь должны разуметь техническое совершенство денежного знака, как продукта печатного — полиграфического искусства,—отнюдь не какое-либо «изящество» рисунка, на денежном знаке воспроизведенного.

Все это документуется историей советского денежного знака с чрезвычайной красноречивостью. Не всем ведома скромная, протекающая вдали от всяческой гласности работа Гознака, бывшей «Экспедиции заготовления государственных бумаг», коллектива, блюдущего внешнее достоинство кредитных документов советского правительства. Не все подсчитали, что за время революции, с 1917 года, когда впервые была выпущена первая «не царская» тысячерублевка с государственной думой посредине, Гознаком изготовлено 63 различных кредитных билета. Некоторые серии, как пресловутые «керенки» октября 1917 года, конечно, и по внешности, и по выполнению не удовлетворительны. Но не надо забывать трудных условий работы Гознака: на выпуск иной серии денежных знаков давался срок—в 1 неделю! Гознак в 1918 году был из Петербурга эвакуирован в Пензу, был в 1919 году в Перми, только с начала 1920 года—в Москве. Гражданам Р. С. Ф. С. Р., конечно, хорошо ведомы продукты Гознака. Какие из них удовлетворили бы требованиям конструктивности? Думается, что в денежном знаке надо всегда учитывать две стороны: его ясность, его легко постигаемую нарицательную стоимость, что достигается помещением на нем цифр и разной окраской кредитного билета; затем, конечно, мастерство самого выполнения. Не стоит здесь вспоминать все варианты денежных знаков Российской республики. Они бывали маленькими и большими, простыми и сложными. Серия дензнаков 1921 года (25000, 50000, 100000 р.)—единственная *нарисованная* художником, все остальные—продукт коллек-

Почтовая марка выпуска 1922 г.

тивного творчества мастеров Гознака, по заданиям управления использывающих рамки, бордюры и прочий имеющийся уже в готовом виде материал. Серия 1921 года оказалась, между прочим, как раз наименее удачной по тому, что допустила наибольшее число подделок; несмотря на белые купоны с водяным знаком, серия была «плохо защищена». Тем приятнее отметить, что дензнаки года 22-го всячески более удовлетворительны. Их *качество* бесспорно лучше прежних; рисунок более уверен;

Н. И. Пискарев.—Эмблема профсоюза печатников. (Выставка Ц. Н. Т. К., 1 приз).

в главных защитных средствах—водяном знаке и тонкости перехода краски—достигнуто большое мастерство. Крупные бумажки—500 и 1000 рублей—оказываются наилучше защищенными. Рядом положенные дензнаки 22 года легко позволят предпочесть одни на счет других. Так, по заметности и четкости валютного значения бумажка в 5 рублей выпуска этого года лучше, скажем, 3-рублевой ассигнации, поскольку на последней цифра заштрихована, а на первой оставлена четкой и белой. 25-рублевый билет по крупности и заметности цифры удачнее 50-рублевого. Самый рисунок отличается своим приятным и оригинальным видом. Гознак обещает еще улучшить свое производство. Как

бы то ни было, коллекция 63 денежных знаков революционной России чрезвычайно поучительна.

Д. Аркадьевский.—Эмблема В. Ц. С. П. С. (Выставка Ц. Н. Т. К., специальный приз).

Менее интересными при всей неожиданности такого наблюдения оказываются почтовые марки, выпускавшиеся государством за последние годы. Их давно уже привыкли собирать и любить особые коллек-

ционеры-«филателисты», и указывать на правомерность включения их в круг внимания статьи этой не приходится. Только при новой экономической политике получил Гознак, во второй половине 1921 года, задание от Наркомпочтеля выпустить новые марки. Между тем уже в 1918 году в Петербурге был тамошним отделом «Изо» организован конкурс на рисунок почтовой марки, кончившийся, правда, неудачно, несмотря (или, быть-может, благодаря!) на участие в нем таких мастеров, как Чехонин, тогда «полевевший», и Альтман. Марка, как-никак, должна быть выдержана в том обще-среднем уровне, который соответствует стилю страны. «Стиль» никогда не определяется «крайностями», вот почему—увы! (или снова: к счастью!)—рисунки почтовых марок Р. С. Ф. С. Р. не подымались выше уровня «Мира Искусств». Многое в рисунках марок этих не совсем удовлетворяет; нельзя, например, если уже пошло дело о создании действительно художественной серии, один рисунок печатать разными красками на разных бумагах; при всем приблизительно одинаковом достоинстве композиции, один вариант всегда и неизбежно будет лучше другого. Так, например, в серии «Почта» 1921 года рисунок—«натюр морт»—марки в 100 рублей напечатан желтой краской, и бесспорно менее удовлетворителен, чем тот же рисунок на марке в 200 рублей, темной по цвету. «Крашеная» меловая бумага марок серии 22 года (рука с молотом), конечно, приятнее тонкой, непрезентабельной порою, бумаги более ранних серий; и несмотря на то, что иные рисунки почтовых марок наших (например, «юбилейных» серий 1921 года) весьма приятны, придется признать, что до сего времени по-настоящему художественной была только одна почтовая марка последнего времени: 40-рублевая марка с рабочим, поправшим дракона, гравированная академиком Ксидиасом. Или, может-быть, это потому; что означенная марка—единственная, выполненная старинным, классически трудным способом гравюры на стали? Остальные марки литографированы, и, несмотря на участие порою в них художников (марки Помгола по рисункам Шемшуриной, которая для одной из них использовала совсем классический мотив полулежащей фигуры), все же могли бы быть лучше. Много надежд было возложено на недавний конкурс, организованный Наркомпочтелем. Будем надеяться, что его победитель, тов. Дубасов, в своем проекте нашел всех удовлетворившее решение. А пока можно отметить, что в печатании денежных знаков Гознак все-таки достигает большего совершенства обычным способом своим («пантограф»), нежели в литографическом воспроизведении почтовых марок.

И, наконец, еще одна область аналогичного характера. К современной графике предъявлен был большой и интереснейший спрос со стороны профсоюзов и иных организаций, нуждавшихся в эмблемах. Это так называемая—чрезвычайно метко—«геральдика труда» должна найти символ данного производства, заключить его в строгую, четкую‘ лаконичную форму краткой графической схемы—задача, весьма достойная художника. Самый язык эмблемы, конечно, не умер; Р. С. Ф. С. Р. имеет же свой герб; недавняя (зима 1921—22 гг.) выставка эмблем проф-

союзов, организованная центральным научно-техническим клубом при В. Ц. С. П. С. показала, какое широкое поле здесь открывается художнику-графику. Задачи именно этого последнего мастерства здесь наиболее очевидны; бывшие на выставке живописные эмблемы (Шевченко, Герасимов, Родченко), конечно, не могли бы быть признаны всецело удовлетворительными, особенно рядом с такими чудесными и острыми примерами чистой графики, которые даны были Фалилеевым, Фаворским, Грузенбергом, Пискаревым, Аркадьевским. О выставке эмблем профсоюзов надо было бы говорить особо и подробно. Сравнение трактовки одной и той же идеи производства (хотя бы печатников) у разных художников дало бы исследователю чудеснейший материал. Русская графика *прикладная* во всех вариантах своих, рассмотренных нами, документует себя как искусство вполне и весьма жизненное.

III.

предыдущей главе мы совсем сознательно поставили на первый план такие варианты графического искусства, которые обычно совсем исключаются из поля художественной оценки, ныне нам придется остановиться на области, к которой термин «графика» применяется всего чаще, может-быть, всего правильнее. Это—графика, понимаемая как сопровождение и украшение произведений печати, — графика журнальная и книжная. Она за эти годы подарила нас столь неожиданными и чудесными новостями, что здесь уже можно сказать про самое наличие ее, что оно является великолепным свидетельством плодотворности революции для искусства. Мы начнем беглое рассмотрение наше с журналов, и оставим по соображениям, нами уже ранее высказанным, в стороне нечастую графику газетную: карикатуры «Дени» из «Правды» слишком близки к плакату, которого мы условились не трогать.

Журнальное дело за годы революции переживало ряд самых интересных колебаний. В 1918 году доживали еще свой век иные старые частные издания; в журнале «Москва» был положен почин украшения страниц дешевого еженедельника подлинными гравюрами. Мы об этом будем иметь повод поговорить дальше, пока остановимся на том, что, действительно, нового дали эти пять лет. Мы заранее отказываемся от всяческой библиографической полноты. Библиография революционного искусства и в частности графики будет создана, и скоро. Нам здесь важно выбрать характерные примеры, дать общий очерк небывалому. Таким мы можем признать за это время прежде всего журналы пролетарские. Их издавалось много и в разных местах России. В Петербурге «Пламя», в Москве «Творчество» (с 1918 года) сделались в значительной мере образцами для провинции. Самый тип журнала

конечно, не был *выдуман*. Жизнь захотела его, эту тонкую—для дешевизны—тетрадь, обильно иллюстрированную,—в чем мы должны отметить неизбежное доказательство потребности пролетариата в изобразительном начале. Что в иллюстрированных журналах должны были помещаться фотографии, не удивит никого. Что в них чрезвычайно скоро фотографии оказались замененными рисунком и гравюрой, что графика восторжествовала над простой репродукцией,—факт все еще недостаточно ни отмеченный, ни оцененный. Вначале свою роль, конечно, сыграло просто падение техники. В видимом противоречии обычному взгляду, ставящему эволюцию искусства в зависимость от прогресса техники, мы должны отметить, что первый толчок к самостоятельному графическому пересозданию видимости русское искусство получило от того, что репродукционная старая техника оказалась не на высоте, что машина «сдала». На дешевой и порою, действительно, никуда не годной бумаге, на которой были вынуждены печататься журналы, нами сейчас имеемые в виду, «сетчатое» автотипически изготовленное клише превращало рисунок в такое бесформенное пятно, что отказ от автотипии ради более простой линейной передачи был необходим. А претворить какую-нибудь сцену в комбинацию линий может только художник и график. Следующим шагом будет еще дальнейший отказ от фотомеханики вообще: линейный рисунок острее и свежее, когда он выполнен самим художником на дереве или линолеуме или камне, когда печатный процесс имеет дело таким образом непосредственно с оригиналом художника. Это—третий этап развития русской революционной графики. Что говорить: неизбежность и некоторая насильность появления гравюры в нашей периодической и непериодической прессе не могла бы, конечно, до конца удовлетворить эстетическую оценку. Но нужда открывает порою самые слепые глаза на незамеченную раньше красоту: гравюра из журнала переходит в книгу, становится самостоятельной, объединяется в альбомы. Об этом речь впереди; эти годы в истории русского искусства будут отмечены как второе возрождение гравюры. И не надо забывать, что инициатива все-таки принадлежит журналам, «еженедельным» по своему достаточно скромному виду, выходившим, конечно, гораздо реже, малоценимым «любителями»; некоторое изыскание в этой области заранее уже подарит самыми диковинными открытиями.

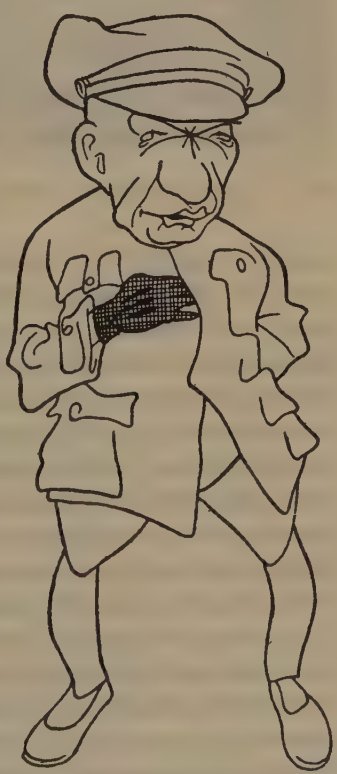
Заглавная буква из. журн. «Всевобуч и Спорт».

Лично наш опыт привел нас после рассмотрения достаточно солидного числа номеров революционных иллюстрированных журналов к убеждению, что наиболее интересно снабженным графическим материалом были журналы военные. Странный парадокс! они наименее известны широким кругам лиц, искусством интересующихся. Нельзя не скрыть от себя, что графика во всех журналах этих—не столь необходима для их читателей. Но если распределить все журналы чисто

Заставка из «Красного Командира». П., 1921 г.

«советского» типа на некоторые типические по внешности группы, то окажется, что петербургское «Пламя», журнал, рассчитанный на рабочего фабричного, питался, главным образом, репродукцией механической и не давал (если исключить виньетки Видберга) графических рисунков; что московское «Творчество» (1918—1922) в последние годы культивировало почти исключительно гравюру, и что именно военные журналы заняли среднюю позицию, отводя на страницах своих широкое место графическим рисункам, выполняемым вначале цинкографией, потом гравюрой, затем снова цинкографией; когда в самое последнее время вновь стали оживать печатные возможности, отказаться от графики уже не хотелось.

Все это оправдывает наше начало от «военной группы». Мы будем, конечно, очень кратки. Петербургский «Красный Командир» дал ряд чудесных заставок *С. Чехонина*,—мастера, которому приходится отвести одно из первых мест среди всех русских графиков последнего десятилетия. Из журналов московских всего интереснее, конечно, «Красноармеец». Здесь был помещен ряд рисунков на темы истории русской революции художника *В. Фидмана*, может-быть, незаслуженно не выдвинутого еще в первый ряд внимания. Нас не останавливает в рисунках этих (напр., из «юбилейного» № 10—15) присутствие в них весьма явной стилизации; из старого сумел Фидман взять как раз ту потребную для графического украшения страницы декоративность, которая мнится самым законным наследием прошлого. Отметим из иных украшателей и иллюстраторов «Красноармейца», прежде всего, *Кринского и Комаровского*. Их оба рисунка на одну и ту же тему «Митинг» чрезвычайно поучительны в своем несходстве: Комаровский более узорен, Кринский более динамичен. Обложки для «Красноармейца» давали такие мастера, как *Зворыкин, Арнштам и Мельников*, центр работы которых был, пожалуй, в ином. Великолепного коммунара нарисовал *Когоут*. Наконец, *Д. Моор* занял и здесь очень видное место как карикатурист. Этот талантливейший русский плакатист, думается, в карикатуре, маленькой, острой,



Д. Моор.—Керенский. Из «Красноармейца».

Н. Когоут.—«Памяти Коммуны».—Из «Красноармейца», 1921 г.

тонкой, еще интереснее, нежели в более серьезном задании уличной агитации. Его «иллюминации» к сатирической истории русской революции (№ 28—30 «Красноармейца», 1920) заслуживают того, чтобы их извлекли из страниц специального журнала; имя русского Гульбрансона невольно напрашивается для Д. Моора. Другие военные журналы («Светоч», «К Новой Армии» Всевобуча, сборник «Красная Армия» 1922 года) не столь богаты графическим материалом, а только что упомянутые карикатуры Моора позволяют вспомнить немногочисленные, впрочем, юмористические журналы революционных лет. Им почему-то не очень везло. Плакат, очевидно, и здесь встал на их место. Забавный и задорный «Бов» 1921 года остановился на первом номере; *Маяковский*, *Черемных* и *Моор* были здесь снова наиболее заметны. Новая экономическая политика вновь развязала руки сатирическому издательству; петербургский «оппозиционный» «Мухомор», наследник «Сатирикона» с *Радаковым* во главе, и более новый «Крокодил» уступают по остроте московскому «Красному Перцу», где беглого хотя бы упоминания заслуживает рядом с тем же Моором *Д. И. Мельников*, юмор которого, несколько мрачный и тяжеловесный, направлен, главным образом, против «церковной контр-революции».

Все рассмотренные сейчас журналы объединены графически в «фотомеханическую» группу. Линейный рисунок передан цинкографическим способом; цветные листы выполнены литографией, порою очень радующе яркой. От красноармейских журналов переход к группе, характеризованной московским «Творчеством», очень легок. Здесь рядом с произведениями пролетарских поэтов и писателей весьма широкое

В. Маяковский.—Из «Бов»'а.

место уделено было графике, возникающей среди пролетариата. Мы потом говорить будем о специальной «Московской школе гравюры», укажем пока, что и в «Творчестве» его графическая сторона, как и в журналах военных, все-таки занимала некое положение от текста независимое. Иллюстраций в точном смысле слова во всех журналах, нами рассмотренных, было немного, и сказать, что они были всегда безупречными, нельзя (лучше всех пожалуй *Невинский* в «Москве»). Весь тип современного (или недавнего, ибо «Творчество» не выдержало «нэпа»; хорошо еще, что богатый литографиями «Маковец» его не боится) иллюстрированного журнала сводился к обильному снабжению страниц его заставками и виньетками, рисованными порою превосходно (было бы, например, весьма поучительно сопоставить ряд заглавных букв из «Творчества», «Красноармейца» и других журналов), к включению в журнал вкладных листов с оригинальными гравюрами, часто напечатанными в несколько тонов. Гравюры эти выполнялись не всегда специально для журнала, и темами своими, чаще всего пейзажными, реже жанровыми или агитационными, все-таки имели к его организму касательство достаточно далекое, что искупалось широким распространением среди народа листов, являющихся оригинальными произведениями графически-печатного искусства.

IV.

«Иллюминованная» книга последних лет—наиболее ясное свидетельство высокого уровня русских графических искусств. С самого первого дня своего существования Государственное Издательство вовлекло в состав своих сотрудников ряд художников, которые взяли на себя заботу о внешности издаваемых книг. Разный характер Петербурга и Москвы сказался с самого же начала. Несравненно лучше обставленный технически Петербург, владея чудеснейшими русскими типографиями «Голике и Вильборг» и «Сириус», имея при близости Финляндии не только старый запас бумаги, но и возможность его постоянно пополнить, как будто далеко опередил Москву в смысле внешности своих изданий. Не надо, конечно, забывать, что в Москве, с другой стороны, печатались все учебные, пособные, агитационные книжки массового и дешевого характера. Нам представляется, что только в одной области—бумажной—действительно никогда не могла равняться с Петербургом Москва. Брошюровка и печать, конечно, в Москве часто тоже хромают. Но представляется, что книжное искусство в широком своем

М. Черемных.—Карикатура из «Бова»'а (1921 г.).

масштабе не укладывается в область, очерченную сегодняшней темою нашей. *Графике* в Государственном Издательстве отводится место почетное и нужное. Ряд обложек, выполненных в Петербурге Чехониным, Митрохиным и взявшим себе в деле этом львиную долю *А. Н. Лео*, в Москве—А. Арнштамом, Н. Вышеславцевым, В. Фидманом, П. Абрамовым, дали изданиям Государственного Издательства внешность, вполне заслуживающую привета со стороны искусствоведа. Конечно, были волнообразные повышения и понижения уровня. Как раз за последнее время весьма повысилась художественная сторона изданий московских. Не только выбор шрифта или композиция обложки—самая техника печати, краска, брошюровка в прочный полупереплет из гнущейся папки,—все это радует, может-быть, даже больше, чем бесспорный и для нас очень лестный успех России на международной книжной выставке во Флоренции весною текущего года.

О деятельности в области нас интересующей Петербургского Госиздата невольно придется нам сказать еще несколько слов, хотя бы для того, чтобы подчеркнуть примечательную и, поистине, высоко культурную роль его руководителя, т. И. Иогова, доказавшего, как и другой

руководитель Петербургского Издательства, т. И. Д. Галактионов, на деле искреннюю и настоящую любовь к книге. Не обойдет также молчанием историк колоритной фигуры заведующего 15-й государств. типографией В. И. Анисимова, самого видного у нас «спеца» книжной композиции, который, к сожалению, повредил несколько своей заслуженной репутации выпуском не совсем по тексту удовлетворительных книг.

И. Нивинский.—Иллюстрация из «Москвы» (1918 г.).

Важен не столько выпуск ряда «библиофильских» изданий, а постоянное и внимательное отношение к общему уровню типографской техники; произведения частных петербургских издательств тому давали за все последнее время чудесное доказательство. В самом начале революции вышла книга, которую по типографскому совершенству можно, пожалуй, смело счесть лучшей из изданных до тех пор в России иллюстрированных книг. Мы имеем в виду «Книгу Маркизы» Сомова (на французском языке), где лучший из современных рисовальщиков, действительно, превзошел сам себя. Пряная и легкомысленная жизнь XVIII века здесь не только отражена в искуснейшем зеркале; сомовский «галантный век»,—его собственное, значит, и наше чудесное создание. По сравнению с «Книгой Маркизы» другие выпуски той же, отныне знаменитой под шифром «15-й государственной», типографии Голике и Вильборг, начавшиеся с 1921 года издания «Аквилона», все же не на такой высоте. Петербургское издательство это дало уже ряд весьма изысканных книжек, в которых классики—Пушкин, Карамзин, Некрасов, Лесков, Фет—иллюстрированы такими мастерами, как *Добужинский*, *Кустодиев*, *Конашевич*, весьма за последнее время выдвинувшимися. Последней новинкой были пока «Три рассказа» Анри де Ренье с достаточно острыми, но подражательными (Сомову и Бенуа) рисунками *Д. Бушена*. М. В. Добужинский, как и С. В. Чехонин, весьма «полевел» за последнее время. Его «новый стиль»—

С. Чехонин.—Иллюстрация к книге «Фауст и город» А. В. Луначарского (1918 г.).

разорванная, беглая, колючая линия, разбросанная композиция—наиболее сдержан в изумительных иллюстрациях к «Тупейному художнику» Лескова, наиболее остр в «Скупом Рыцаре». Пальму первенства, конечно, надо отдать Б. М. Кустодиеву за совершенно поразительные его литографии к Некрасову; здесь очень тонкое и тактичное соответствие тексту сочеталось с выразительным мастерством техники и самого типографского выполнения: книги с иллюстрациями литографированными и не наклеенными или вставленными в текст, а напечатанными на той же странице с набором, мы просто не знали до сего времени. В. М. Конашевич, выработавший себе манеру рисуночную характера живописно-светеневого, принужден в репродукции своих иллюстраций прибегать к фототипии; его две книжки—«Стихотворения» Фета и «Помещик» Тургенева вполне оправдывают и эту манеру, если бы только перемежающееся чередование фототипии и линейных цинкографий не оказывалось в последнем счете столь случайным. Последняя из упомянутых книг Конашевича любопытна, между прочим, и в другом отношении: в ней возрождение современной иллюстрации вспоминает давний ее расцвет в 40-х годах

прошлого века; имя А. А. Агина, иллюстратора Гоголя и того же Тургенева, в настоящее время становится одним из популярнейших в истории русского искусства; его неизданные рисунки, самые случайные, публикуются в особых брошюрах («Рисунок Агина» т. Флеера), ему посвящаются научные доклады (К. С. Кузьминского в Московском «Обществе друзей книги»). Как исторически симптоматическое явление, почему не указать здесь на статьи автора этих строк, помещенные в «Печати и Революции» за 1921 («Искусство книги») и 1922 («Очерки по истории русской иллюстрации») года. На расцвет библиофилии (Общества друзей книги в Москве, Казани и Петербурге, «полиграфические секции» при Центрально-Научном Клубе Профсоюзов и Российской Академии Художественных Наук), на успех чисто библиографических органов печати, какими по существу являются «Печать и Революция», «Книга и Революция», «Новая книга», «Казанский библиофил».

В. Конашевич.—Иллюстрация к «Стихотворениям» Фета (1922 г.).

Продолжая обзор иллюминованных книг, вышедших за годы революции в Петербурге, невольно надо остановиться на паре изданий, в которых (как, впрочем, в «Книге Маркизы») интерес художественный подбавлен был, может-быть, не совсем чистого качества водами эротики. Мы на пятом году нового строя облекаться в мантию цензора нравов не станем. Из всех видов цензуры та, которая всюду боится так называемой «порнографии», нам представляется наиболее безнадежно мещанской. В искусстве, которое не хочет быть чисто формальным, эротическая тема может быть крупным художником оправдана, как и всякая иная, религиозная или патриотическая. Историк знает,

В. Замирайло.—Иллюстрация к «Загадкам» (1922 г.).

М. Добужинский.—Обложка (1922 г.).

что все здоровые времена художественных расцветов, Греция, средние века, Возрождение и Барокко, не боялись эротики. Но только: то, что дал нам Петербург в этой области — увы! — было скорее заслуживающим забвения. Мы не станем очень подчеркивать того обстоятельства, что оказался бесспорно уже весьма во вчерашнем дне буржуазного декаданса эрос Кузмина («Занавешенные картинки») и Сологуба («Царица поцелуев»). Печально то, что рисовальщики, снабдившие иллюстрациями своими их книги, были столь не на высоте трудного жанра, что самые имена их лучше не упоминать. Если к этой группе отнести «Семь портретов» Анри де Ренье, не особо удачно переведенных Кузминым, то придется признать, что только *Д. И. Митрохин* сумел откликнуться на эротическую тему достойно.

Чуть в стороне от всех этих изданий стоят книги, которые мы можем выделить в качестве образцов «левой» иллюстрации. Впрочем, рисунки Чехонина к драме т. А. В. Луначарского «Фауст и город», конечно, являются безотносительно всяческой левизны хорошими рисунками, только весьма случайно связанными с книгой (в Москве И. И. Нивинский в другой из драм того же автора, «Оливере Кромвеле», дал совсем иной и, думается, более правильный подход к иллюстративной проблеме). Зато, если «Сказ грамотным детям» с рисунками «младшего будетлянина» *Митурича* нами должен быть оценен с точки зрения книжной конструктивной эстетики отрицательно, то относительно *Ю. Анненкова*, автора иллюстраций к

«Двенадцати» Блока, та же логика книжной формы потребует самого безоговорочного признания и привета. Вся конгениальность иллюстраций Анненкова к Блоку выступает особо разительно при сравнении петербургского издания с двумя заграничными вариантами «Двенадцати», выполненными зарубежными представителями нашей графики. Берлинское издание «Двенадцати» с рисунками *В. Н. Масютина*, хотя и недостойно по некоей небрежности и беглости своего строгого мастера, то все же лучше парижского издания блоковской поэмы с довольно беспомощными беспредметными композициями *М. Ф. Ларионова*. Сравнение этих трех серий иллюстраций к единственно пока что гениальному претворению русской революции в литературе дает исключительно интересные выводы, но нами должно быть отложено до другого раза. Чтобы не разбрасываться, укажем, что в данном разделе нашей темы мы хотим остаться в области чисто книжной графики, понимая под нею рисунок, специально для книги предназначенный. Тогда из петербуржцев Бориса Григорьева нам придется рассматривать позднее, и зато именно здесь подчеркнуть совсем исключительное положение, занятое в области этой Д. И. Митрохиным, которому, очевидно, пало на долю быть наследником безвременно от нас ушедшего талант-

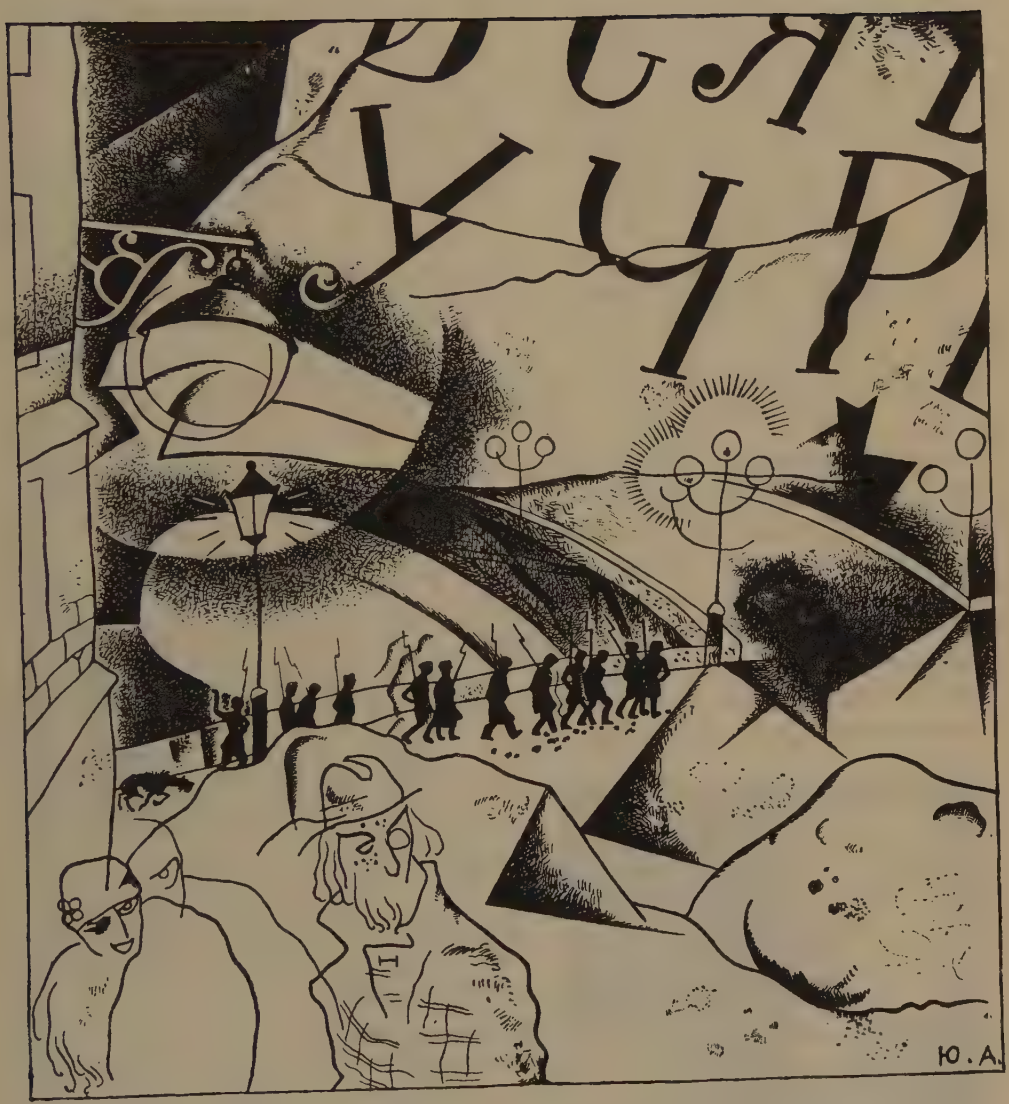
В. Кустодиев.—Иллюстрация к Лескову (1922 г.).

А. Головин.—Иллюстрация к Гофману (1921 г.).

ливейшего русского «книжника» Георгия Нарбута, смерть которого на Украине падает на отчетный период. Д. И. Митрохиным исполнен ряд обложек, заставок, виньеток, фронтисписов. С. В. Чехонин, может-быть, превосходит его своим неисчерпаемым даром декоративного изобретательства. Но если бы нам надо было выбрать из всех книжных рисунков последнего времени один, который был бы характерен для целого направления, символическим в теме своей, не только в испол-

М. Соломонов.—Иллюстрация к «Уоту Тайлору» (1921 г.).

нении, — мы назвали бы фронтиспис Митрохина к книге «Книжные знаки русских художников». Здесь квинт-эссенция всего библиофильствующего Петербурга! Рядом с Чехониным и Митрохиным, как это нам приходилось уже писать, третий из петербургских книжных художников, А. Н. Лео, несколько отходит на задний план. *М. Соломонов* дал в иллюстрациях к «Уоту Тайлору» Глобы несколько весьма усердных подражаний западной графике. И чтобы совсем очертить все же, конечно, весьма случайный и неполный круг наблюдений наших над петербургской иллюстрацией, вспомним здесь не столь многочисленные детские книги революционных лет. О Митуриче упоминали мы уже; интересные по литературной забавности рисунки дал



Ю. Анненков.

Иллюстрация к поэме
„ДВЕНАДЦАТЬ" А. Блока.

известный «сатириконец» *Н. Ремизов* к «Крокодилу» К. Чуковского. В ином стиле, который может быть поименован «кнебелевским» (сей издатель в годы дореволюционные дал целый ряд чудесных яркоцветных тетрадок для детей), выдержаны рисунки одного из самых поразительных русских графиков, В. Д. Замирайло к «Джеку, победителю великанов», и «Загадкам». Лучше всех, конечно, В. Лебедев («Слоненок»).

И вновь симптоматичным весьма и весьма окажется — отсутствие

Ю. Анненков. — Иллюстрация к «Двенадцати» Блока (1918 г.).

О. Бушен.—Иллюстрация к Ренье (1922 г.).

по-настоящему иллюстрированной книги в Москве. Здесь, конечно, решает тот фатум, который тяготел над московским издательством. Ряд иллюстративных серий был выполнен мастерами московскими, начиная с *К. Ф. Юона* (к поэме Липскерова «Другой» в издании «Альциона»), до весьма выдвинувшегося за последнее

Д. Митрохин.—Фронтиспис к «Книжным знакам» (1921 г.).

самое время своими гравюрами, о которых речь впереди, *А. И. Кравченки* (к Гофману, юбилей которого вызвал, помимо ряда любопытных графических портретов мастера, из коих назовем гравюру *И. Я. Павлинова* и *Комарденкова*, иллюстрации к «Двойникам» *А. Я. Головина* в «Петрополисе» и *Г. Васильева* к «Кремонской скрипке»). Но чуть ли не единственной московской иллюминованной книгой отчетного периода оказывается, помимо упомянутого уже «Оливера Кромвеля», книга Кусикова «Искандер Наме» с достаточно де-

В. Лебедев.—Иллюстрация к «Слоненку».

шевыми «левыми» хромолитографиями, и столь же, пожалуй, второсортный анонимный «Мой дар». При всей массе обложек, украшений, порою портретов или даже попыток вырезать или нарисовать весь текст книги, иногда в классическом—автор данной статьи—или супрематическом (*Ечеистов*) стиле, придется признать, как истину, исторически оправданную, нелюбовь Москвы к графике узкокнижной. Пробел искуплен тем, что в иной области—графике свободной — живописной или же «станковой», и, прежде всего, в гравюре на дереве, Москва дала за последнее время столько, что революционные годы приходится счесть для нашего искусства диковинно и радующе плодотворными.

К рассмотрению этого рода графики мы и переходим теперь. Весьма и весьма многое было нами оставлено в стороне, частью умышленно, так, для компактности темы, издания провинциальные, не давшие до последнего самого времени (совсем недавно появившийся в Вологде чудесный альбом литографий к Блоку *Н. Дмитревского*) ничего примечательного, отчасти, конечно, вполне случайно. Лишь самою первою и неглубоко кинутою в преизобильнейшие воды сетью рисуется нам этот наш обзор.

V.

В область графики самостоятельной исследование должно было бы включить две группы: зарисовок, являющихся свободным пересозданием зрительного мира в линию и пятно—группу рисунка, как такового, и группу гравюры. Что «гравюра» — не совсем «графика» — не мешает нам оставить здесь в стороне терминологические

Митурич.—Иллюстрация к книжке «Сказ грамотным детям» (1920 г.).

недоумения, к тому же чуть затронутые в самом начале данной статьи. Как рисуют теперь? Можем мы задать себе вопрос. Необозримою жатвою раскинутся перед нами многочисленнейшие вновь страницы книг и журналов.

Г. Васильев.—Иллюстрация к Гофману (1922 г.).

В качестве одного из любимейших «сюжетов» современной русской графики придется назвать портрет. Это—не случайно; современники революционной бури слишком интересны для потомства и для своего дня. Вновь придется повторить, что монументальности еще не достигла современность. Наличие графики при всем том широком развитии *фотографии*, которая как будто должна преимущественно заботиться о портрете, лишний раз свидетельствует о роли изобразительного искусства в строю современности.

Из портретных зарисовок, начатых вполне антихудожественными альбомами литографий *Арцыбушева*, отметим, прежде всего, небольшой альбом набросков с Ленина, принадлежащий одному из популярнейших в наши дни молодых художников: *Натану Альтману*. Здесь есть, конечно, и вещи достаточно напрасные: в общем же о власти над линией, совершенно исключительной, говорят эти зарисовки. Как всегда, в портретах своих остер *Юрий Анненков*, относительно которого хочется подумать, что именно им пассивно скорее владеет линия, нежели он ею; за последнее время своими литографическими портретами выделился *Г. С. Верейский*. В Москве ряд портретов, рисованных весьма изящно, дал *Н. Н. Вышеславцев*; еще более интересны безукоризненно сделанные портретные рисунки *К. Ф. Юона*. В весьма большом числе разбросаны портреты, графически выполненные в тех журналах новой «нэповской» формации, которые, как грибы, расплодились в Москве, скоро сходя

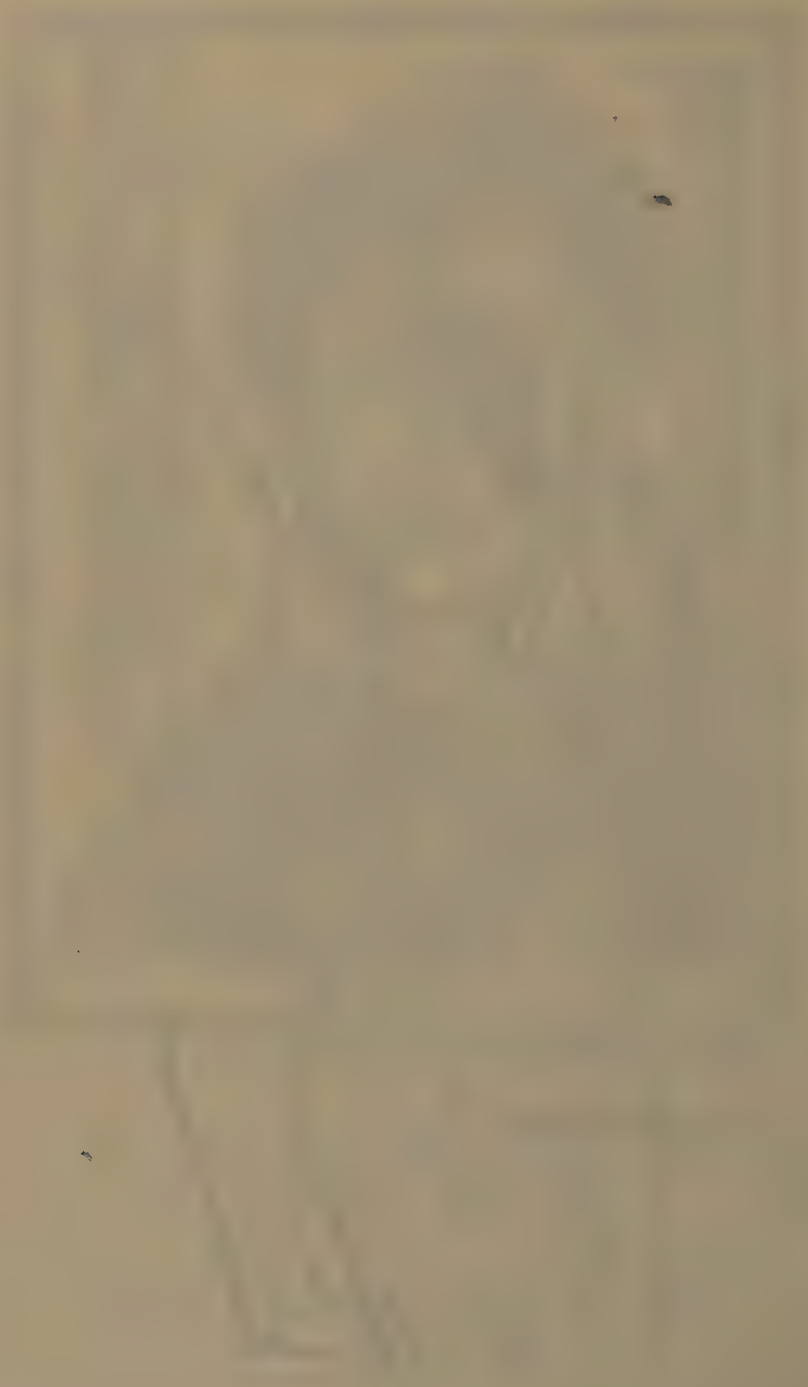
А. Кравченко.—Иллюстрация к Гофману («Повелитель блох», ксилография. 1922 г.).

И. Павлинов.—Портрет Э. Т. А. Гофман (ксилография).

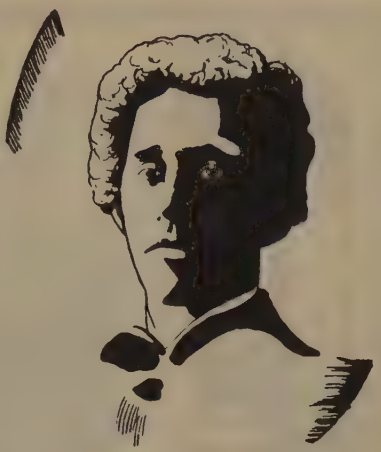
на-нет, в театральной преимущественно, менее—в литературной и художественной злобе дня черпая свое содержание. Стоит ли спасать от забвения эти эфемернейшие продукты внимания самого мимолетящего? Думается, что кое-что вполне заслуживает того, чтобы его уберечь. Так, в весьма распространенном «Экране» (1921—22) ряд зарисовок, не только портретных, был с большим умением дан *И. Раби-*

Н. Альтман.

Этюд к портрету В. И. ЛЕНИНА
(из книги „ЛЕНИН").



чевым и *А. Лопухиным*. Многое, конечно, с фотографий. В этом беды мы не видим. Наоборот, нам представлялась всегда весьма интересной та линия художественного пересоздания, которая вела от фотографической карточки, скажем, хотя бы т. Ленина, к его облику на плакате, рисунке, карикатуре, открытке какой-нибудь. Портреты вождей революции нашей, помимо Альтмана, который рисовал Ленина «с натуры», давали В. Соколов и Н. Купреянов (в гравюрах); очень думается, что настоящий портретный облик, хотя бы председателя Совнаркома Р. С. Ф. С. Р., еще не найден, а найден будет в графике, именно как воплощен облик Дега Вышеславцевым.



Н. Дмитревский.—Портрет Блока. Литография (1922 г.).

Поскольку мы коснулись уже «нэповских» театральных журналов, отметим, что среди многочисленных их, часто беспомощных, зарисовок театральных персонажей, балета, отдельных так или иначе интересных знаменитостей момента, попадаются все-таки настоящие перлы. К ним мы должны отнести прежде всего зарисовки *Якулова* (танцы И. Чернецкой), *Н. Альтмана* («Уриель Акоста»), из более молодых—*П. Алякринского* в «Театральной Москве» и *П. Галаджева* и *Люце* в «Эрмитаже». Не все, конечно, «правильно». Но некий общий беглый, чуть репортерский, стиль зарисовок этих, порою минимальный до степени стенограммы, все-таки в последнем графически оправдан.

И. Рабичев.—Портрет Гауптмана. (Из «Экрана». 1921 г.).

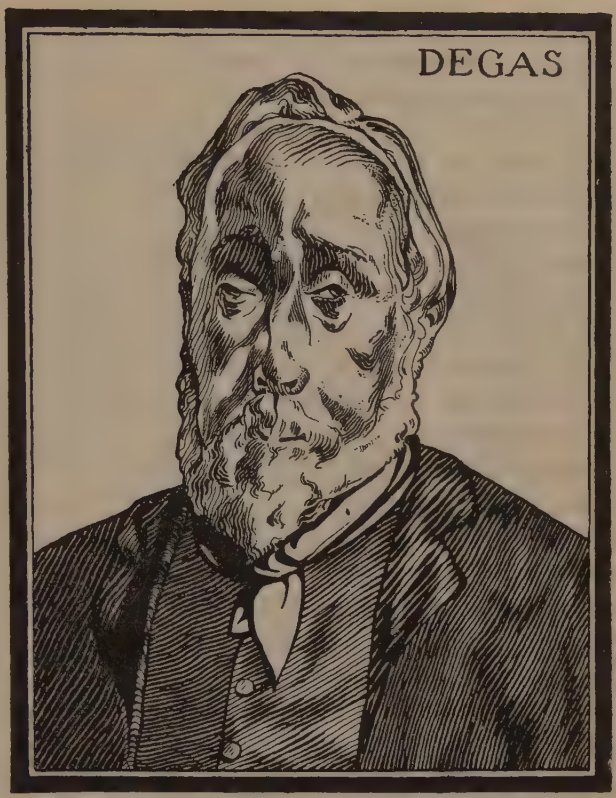
Весьма любопытные рисунки Галаджева за последнее время воспроизводились гравюрой. Однако, прежде чем перейти к этой, конечно, наиболее важной из всех отраслей полиграфического искусства, укажем, что область самостоятельного рисунка была, пожалуй, все же в последнем итоге не очень богата за последнее время. Правда, здесь есть явления все же замечательные. В Петербурге ныне эмигрировавший *Борис Григорьев* в двух изданных революцией книгах

Г. Верейский.—Портрет К. А. Сомова. Литография.

своих — «Intimité» и «Рассея» дал, может-быть, даже слишком много рисунков, карандашом и пером одинаково пряно изображающих парижский бульвар и русскую провинцию. Именно с ним хочется сопоставить и *Марка Шагала*, кумира германской молодежи. Оба они, конечно, чистейшие формалисты. Шагал лучше чувствует пятно, линия у Григорьева, всегда снабженная полутенью, утверждает в нем одного из примечательнейших современных живописцев, не графика настоящего, что бы ни писал он сам и апологет его, Н. Радлов, о линейном искусстве. Истый каллиграф, представляется нам, должен более, бесповоротно отдаться на волю линии, предоставив ей кружиться и виться по ее собственной воле; из всех современников наших мы только у одного, *Сергея Грузенберга*, выпустившего достаточно изящный недавно альбом, склонны видеть эту легкую, пускай, легкомысленную, игру завитков. Другим полюсом пусть тогда будет черное пятно силуэта, на котором столь специализовалась *Е. С. Кругликова*.

А что рядом с этой формалистикои есть еще и фантастика, вековечно влекшая в мрежи свои именно графиков, свободных от живописной тяжеловесности, доказывает, помимо широты границ изучаемого нами искусства, еще один весьма простой факт неудовлетворенности одною внешней стороною мастерства, которую, думается, не случайно переживает современность. В Петербурге, конечно, *Замирайло* должен здесь быть упомянут в первую очередь. В Москве рисунки часто символически трепетные давал безвременно погибший под поездом исключительно талантливый *В. Чекрыгин*; фантастом очень острым себя заявил *Г. П. Гольц*. Группа, близкая к «Пролетарскому искусству», молодых реалистов в качестве графиков заставляет выделить *С. В. Колесникова* и *Н. В. Синезубова*, для которых, конечно, искусство бескрасочно отступает на задний план перед живописью. Исключительно острыми рисунками недавно

порадовал нас один из старейших и лучших московских графиков, *Н. П. Феофилактов.* Рисовать не разучилась Россия. Власть над линией и пятном — самая прельстительная власть, и мы очень и очень понимаем, почему вновь к рисунку чисто графическому были вынуждены прибегать за последнее время даже крайние художники, русские «экспрессионисты», *О. Розанова*, смерть которой, конечно, является потерей не только для ее ближайших сотоварищей, *В. В. Кандинский*, *А. А. Экстер*. На другом фланге «неореализма» и «примитивизма» разве вещь *Баржа* не удовлетворит именно как безупречно сильный *рисунок?*



Н. Н. Вышеславцев.—Портрет Дега (неопубл.).

И, наконец, гравюра. Можно смело утверждать, что эпоха революции именно здесь увидела наиболее полно и богато развернутые возможности изобразительного искусства. Мы уже указывали, как временно оказавшаяся слишком неподсильною фото-механика заставила вспомнить о ксилографии издателей журналов и книг. Конечно, гравюра репродукционная, к тому же «тоновая», не вполне входит в круг нашего внимания. Ее главный жрец и рыцарь *И. Н. Павлов*, старейший из московских граверов, отпраздновал в 1921 году свой 35-летний юбилей. Его альбомы с порою безупречно тонкими пересозданиями Москвы и окрестностей ее в мир деревянный и печатный, были одним из постоянных явлений нашего книжно-художественного рынка. Главою же школы московской гравюры на дереве

Е. Кругликова. — Портрет Ф. Сологуба. — Вырезан из черной бумаги (неопубл.).

бесспорно приходится назвать *В. А. Фаворского*. У него вполне выработан свой стиль, быть-может, даже своя манера. Она не боится «тональности» старой репродукционной гравюры, дает зачастую ровные, серые поверхности, заштрихованные однообразно. Но у Фаворского такое чувство пятна, такая острота графической инвенции, такая благородная, сказали бы мы, сухость гравюрного par excellence мировосприятия, что, конечно, именно ему принадлежит по праву наименование классика современной ксилографии. Его влияние на соседей его по общей работе столь явственно, что порою становится даже досадным. Так, изначала о собственном лице в области ксилографии свидетельствует *Н. Н. Купреянов*, которого подчинение Фаворскому, очевидно, надо было воспринимать как преходящее. Купреянов, представляется нам, острее одарен к стороне *печатной*, являющейся второю неизбежной стадией гравирования; в его листах сочное черное пятно представляется чем-то собственным, эквивалентным *комбинации линий* у Фаворского. Более линейным, то-есть более графичным, явится среди московских граверов по дереву *П. Я. Павлинов*, который не боится белых пятен рядом с черными и серыми, и более по существу близок к гравюре классической: старо-немецкой. Наконец, *А. И. Кравченко*, самый *красивый* из московских граверов, представляется занимающим среднее, всегда наиболее ответственное место. Его талант наиболее проявился

Н. Альтман.—Зарисовка «Уриеля Акосты» (1922 г.).

Б. Григорьев.—Из «Intimité» (1918 г.).

С. Грузенберг.—Рисунок. (Из «Графики» 1922 г.).

в упомянутых нами бегло чудесных работах к Гофману: в нем снова к книге возвращается из нее вышедшая гравюра. Необходимо здесь хотя бы ретроспективно вспомнить имя также *В. Н. Масютина*. Если кому-либо было суждено стать синтетиком всех вариаций новой русской гравюры, то именно ему. Его отъезд за границу тем более вызывает сожаление, что небрежнее, более беглыми и как-то дешевыми стали там его работы. В Москве — не надо забывать — целая школа граверов по дереву: помимо перечисленных

М. Шагал.—Рисунок (1918 г.).

В. Чекрыгин.—Рисунок (неопубл.).

А. Усачев, *Пискарев*, ученики И. Н. Павлова, *Маторин*, Прохорова, Критская, *А. Якимченко*, художник вполне зрелый и самостоятельный, *А. Н. Павлов*, — сколько еще имен, которые имеют не меньшее право на упоминание. У В. А. Фаворского во Вхутемасе—ряд очень обещающих учеников «левого» — конструктивно решающих проблемы хотя бы обложки, работающих над «продольным» деревом. Не в забвении у нас и иные виды гравюры. Наиболее редкий и трудный офорт все же представлен *М. А. Добровым* и *И. И. Нивинским*, литография—*С. В. Герасимовым*, *О. В. Энгельсом*, заслуженно известным, как автор ряда зарисовок движения, чудесным зверописцем *В. Ватагиным*, может-быть, всего острее—*А. В. Шевченкою*, одним из лучших живописцев наших. Впрочем, плоская на камне печать наиболее полюбилась за последнее время Петербургу. Здесь вышли серии совсем изумительных по разнообразию мастерства литографий *Б. М. Кустодиева*, *А. П. Остроумовой-Лебедевой*, *Г. С. Верейского*. Любопытно, что, имея в своей среде двух примечательнейших офортистов, *Шиллинговского* и *Курилко*, Петербург не знает ни одного *чистого* ксилографа. А. П. Остроумова-Лебедева свои лучшие вещи создавала в живописных почти приемах цветной гравюры (ее обложка «Морозных узоров» — новость), *В. В. Воинов*,

Г. Гольц.—«Смерть и любовь». Рисунок (неопубл.).

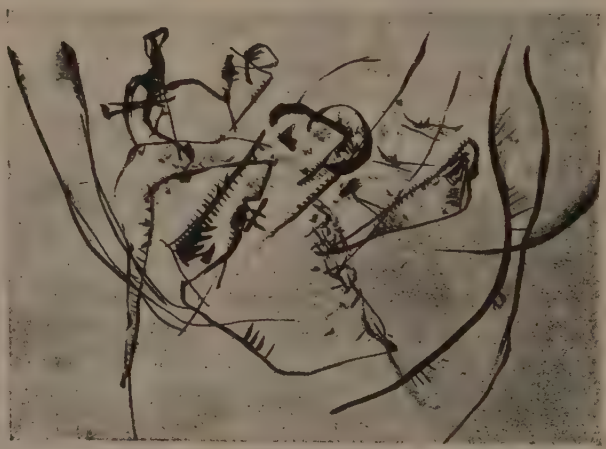
С. Колесников.—Рисунок. (Из «Горна», 1918 г.).

которого здесь забыть нельзя, пользовался чаще линолеумом. Впрочем, «король линолеума»—москвич; это, без сомнения, *В. Д. Фалилеев*, стоящий на одном из самых первых мест современной русской графики. Впрочем, что лучше в его opus'е—линогравюры ли, часто изумительно сочные и глубокие по краскам, или офорты (великолепная серия «дождей»), или литографии, которыми он с большим успехом занимался за последнее время? Притом выполненный гравюрой на дереве его портрет Блока из «Печати и Революции» был ведь лучшим портретом покойного поэта.

Один вопрос возникает невольно почти при просмотре беглом всех этих имен и явлений: вопрос о поле применения русской современной графики, в частности хотя бы только гравюры. Мы уже упоминали, что она неизбежно возвращается к книге. Или как иллюстрация в изы-

О. Розанова.—Рисунок. (Из «Москвы», 1918 г.).

сканном издании, чаще за последнее время в особом альбоме, сливаясь с наборной печатью, или без нее—русская современная графика по-иному, чем раньше, облагородила нашу книгу. Здесь много вариантов и много чудесных самых завоеваний. Мы уже упоминали об иллюстративных работах А. И. Кравченки. Безупречным мастером композиции книжной страницы доказал себя В. А. Фаворский (неосуществление, к сожалению, издания Бальзака, Ан. Франса, «кофейня» Муратова, где, по правде, чуть мизерными вышли его виньетки). Лично наш опыт «вырезать» на дереве книгу, слить шрифт и рамку в общее пятно, может-быть, тоже заслуживает внимания. Альбомы гравюр самостоятельные видели свет в одной Москве неоднократно, и перечень наш очень скоро скажется устарелым, не поспевая за деятельностью Госиздата, «Книгопечатника», Вхутемаса. Среди них надо вспомнить альбомы И. Н. Павлова, А. Е. Якимченки, М. Маторина, С. В. Герасимова



В. Кандинский.—Беспредметная графика. Собр. Музея Из. Искусств (неопубл.).

(замечательные поистине «Мужики», которых мы поставим выше «Рассеи» Бориса Григорьева), Н. М. Чернышева, великолепного мастера линогравюры, за последнее время А. Васнецова, Юона, Фалилеева и Ватагина. Альбомами более злободневного характера был поднесенный в 1921 году Коминтерну Вхутемасом сборник работ графического факультета последнего, который мы считаем не удавшимся (гораздо лучше издаваемые Вхутемасом брошюрки с гравюрами к басням Крылова), и альбом графики Пролеткульта, о котором мы дали подробный отзыв на этих страницах не так давно.

Н. Феофилактов.—Рисунок. Собр. Музея Из. Искусств (неопубл.).

Именно под влиянием расцвета гравюры приобретает свой новый вид *московская* художественная книга. Мы говорили до сих пор о книге «иллюминованной»; упомянем, что лучший по внешности *журнал* Советской России выходит в Москве. Это, конечно, «Среди коллекционеров», начавшийся в 1921 году тонкими, переписанными на машинке, тетрадками и завоевавший себе к отчетному времени не только место руководящего по тексту органа русской художественной науки, но и признания за границей своею формою. В журнале русская современная графика нашла себе широкое применение; именно на его обложках заявил о себе *И. Ф. Рерберг*, как один из лучших рисовальщиков в этой области. И, наконец, разве был бы возможен уже неоднократно отмечавшийся интерес к «книжным знакам», развившийся за последнее время, без того внимания, которое уделяют «ex libris'ам» русские графики? Недавний сборник в

В. Барт.—Рисунок (неопубл.).

Н. Купреянов.—«Броневик». Грав. на дереве (1918 г.).

Петербурге, посвященный «Книжным знакам русских художников», насчитал около 200 имен их авторов, к которым теперь прибавляется

И. Павлинов.—«Столяр». Грав. на дереве. Из «Творчества» (1919 г.).

А. Якимченко.—Гравюра на линолеуме (1920 г.).

Н. Купреянов. Гравюра на дереве.

В. Фаворский.—Гравюра на дереве (1920 г.).

еще около 50. На той разнице, которая бросается в глаза между чисто линейным, столь красивым, рисунком книжного знака славнейшего из петербуржцев, *А. Н. Бенуа*, с столь выразительною гравюркой на дереве *В. А. Фаворского*, можно построить всю эстетику Москвы и Петрограда.

VI.

Итог? Возможен ли он? Как? Мы обследовали со всею беглостью положение в Советской России искусства, которых мы в праве считать самыми демократичными из всех. Сквозь печатный станок русская графика в праве широко распространить свое влияние. Если о чем нам осталось еще сказать, это о той спайке, которую русская графика имеет с русским пролетариатом.

В. Масютин.—Заставка из «Москвы» (грав. на дереве, 1918 г.).

Нэп есть, конечно, явление болезненное. Все оценив на свои миллионы, он сделал русскую книгу дороже и недоступнее для рядового покупателя; включая в свои страницы графику, издатель удорожает слишком свою книгу, чтобы она могла выдержать большой тираж. Лучшие из петербургских изданий рассчитаны на 1500 человек, то-есть вновь на верхнюю корочку любителей. А между тем потребность в графике, думается, общенародна. Разве и теперь не висят ли в крестьянской избе лубки? Задача, на которую несколько откликнулся русский революционный плакат, еще не решена. Русского революционного *лубка* мы еще не знаем, петербургская

Н. Гончаров — (мастерская В. Фаворского, Вхутемас). Гравюра на продольной доске (1922 г.). (Неопубл.)

попытка, давшая нам «Матроса» Каменского, была случайной. Мы не думаем даже, чтобы он мог появиться из тех кругов русской графики, о которых мы говорили. По всей вероятности, русский лубок создан будет народом столь же изнутри, как, например, частушки. Настоящими спайками, о которых напоследок необходимо сказать несколько слов, являются *печатно-графические школы*. Это не то, что «студии» изобразительного искусства. Печатно-графическая мастерская по существу мыслима только рядом с производственным центром. Мы чрезвычайно много ждем еще в будущем и от Графической Мастерской Московского Пролеткульта и от той образцовой школы Печатно-Графического Искусства при 1-й типографии, которая в настоящее время приобрела поддержку от Госиздата. Ей мы посвятили в свое время особую статью («Полиграфия», № 1). Здесь мы можем отметить только вкратце, что ученики школы, создавшие уже великолепную азбуку, чудесные иллюстрации, в ряде гравюр вполне завоевавшие тот первичный уровень мастерства, который допускает уже творчество, подают самые большие надежды на то, что в будущем русская графика будет не только итти к пролетариату, но и *из* пролетариата,

М. Матюрин.—Гравюра на линолеуме (1921 г.).

А. Остроумова-Лебедева.—Обложка (1922 г.).

Композиция обложки. (Мастерская В. Фаворского).

В. Ватагин.—Литография.

Встреча уже происходит. На страницах того же «Творчества», в котором мы не мало поработали для русской художественной культуры вообще, чудесно встретились же в общей демократической теме и П. Я. Павлинов и т. *А. Соборова*, Д. Мельников, и графики из Пролеткульта, в первую очередь т. *И. Соколов*, их руководитель. А чтобы очерк наш приобрел достаточную историографическую полноту, обратим напоследок внимание на другую еще производственную школу—«Художественно-Печатного дела», руководимую талантливым А. Н. Павловым. Школа эта возникла в 1919 году в виде рисовального класса. В 21 году оборудуется наборное и печатное отделения. В настоящее время школа имеет плоскую машину и американку. Ее созидателями явилась группа лиц из печатного мира, собиравшихся в отделе профессионального образования при Комиссариате Торговли. Благодаря их энергии, чуть только действительность продиктовала «производственный» принцип, с 1 апреля 1922 года школа своими малыми сред-

В. Воинов.—Портрет Мих. Кузмина. (Грав. на линолеуме, 1921 г.).

М. Чернышев. Гравюра на линолеуме.

А. Сидоров.—Стихотворение в честь Ван-Гога. Грав. на дереве из альбома «6 портретов» (1821 г.).

складывается на плакатном листе школы символический силуэт рабочего у наковальни. Из всех зрительных искусств графика, и в частности гравюра, представляются нам именно потому наиболее жизнеспособными, что в основе их лежат прочно заложенные фундаменты *производственных* процессов. Революция в графике отражена; мы видели то. Но нам представляется она более идущей в ряд с действительностью не тогда, когда стремится *изобразить* ее, а когда учитывает в творчестве своем всю выразительную красоту и остроту труда. Сюда мы отнесем Герасимова и Павлинова, Фаворского и, конечно, пролеткультов-

А. Н. Бенуа.—Книжный знак (1921 г.).

ствами успела выпустить 10 книг разных названий. В ней 30 человек учеников, исключительно рабочего класса. А их труды (возьмем для сравнения снова букву и вновь иллюстрацию)—не свидетельствуют ли они лучше всяких слов, что в пролетарской России есть свое искусство и что оно будет?

Рано петь отходную изобразительному искусству там, где есть такая графика. Искусство подрастающих поколений всегда наиболее интересно. Из нехудожественных по существу типографских значков

В. Фаворский.—Книжный знак. Грав. на дереве (1922 г.).

цев; Купреянов, представляется, более революционен, когда

Б. Козлинский.—Лубок литография. (1918 г.).

И. Соколов.—Гравюра на дереве («Творчество» 1921 г.).

он режет на дереве чудесную свою гладильщицу, чем когда стремится передать стремительную грузность броневика. В строительстве новой жизни русская революционная графика уже играет свою немалую роль.

Плакат производственной школы «Художественного печат. дела» (1922 г.).

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ИСКУССТВА.

Б. Арватов.

I. В тупике.

1. Октябрьская революция застала искусство в состоянии острого кризиса. Кризис этот был, во-первых, кризисом изобразительности, во-вторых, кризисом станковизма.

Буржуазное общество, превратив архитектуру и художественную промышленность в производство стилизованных подделок, т.-е. не создав в этой области ничего самостоятельного, выдвинуло в качестве основной и командующей формы искусства—станковую картину. Победила она еще в XIV—XV вв.,—тогда, когда распались средневековые цехи, когда художник стал независимым, индивидуальным производителем. Станковая картина—это товарная форма искусства, продукт общества, в котором художник, работающий на рынок, обособился от процесса общественного строительства и превратил организацию вещей (краска, полотно, дерево и т. д.) в средство для организации идей (изображение внешнего мира). Станковая картина—это гармония общественной иллюзии. Мне уже не раз приходилось указывать, что социальный смысл станкового творчества заключается в восполнении неорганизованной, дисгармоничной действительности: не даром античная скульптура «красивых» тел расцветала на ряду с упадком олимпийских игр, не даром пейзаж восторжествовал в городе, портрет—в обществе чуждых друг другу индивидуалистов и т. п.

До того момента, пока буржуазное общество чувствовало себя достаточно прочно и уверенно, пока жизнь оценивалась положительно,—станковая картина оставалась реалистической: художник, создавая картину, старался достигнуть максимума иллюзии. Это был фактически не реализм, а псевдо-реализм; его крайними и наиболее последовательными выразителями были импрессионисты.

2. Начиная с конца XIX века, искусство попало в руки акционерных кампаний, и художник окончательно отделился от потребителя. Молодое поколение, выросшее в сутолоке огромных промышленных городов, воспитавшееся в атмосфере технических завоеваний современной индустрии, чувствовавшее на себе гнет капитала и рвавшееся к полной свободе личности,—это поколение перестало считаться с той публи-

кой, которую обслуживали прежние мастера. Новые художники стремились, прежде всего, к самовыявлению; крайний субъективизм, с одной стороны, жажда новаторства—с другой, наконец, отвращение к рабскому копированию внешней действительности—с третьей,—все это вместе взятое привело к тому процессу, который закончился полным отказом от изобразительности. От условности Сезанна и Ван-Гога до сдвигов Глеза и Пикассо был лишь один шаг. Художник больше не считался с «похожестью»,—он трансформировал природу, как ему было угодно. Правда, вначале он старался мало убедительными аргументами оправдать свое творчество все в том же изобразительном плане: кубисты «изображали» предмет со всех сторон; футуристы «изображали» динамику; экспрессионисты «изображали» свои личные эмоции. Исторически же все они делали одно непредотвратимое дело — разлагали избразительную картину, замененную высокой техникой фотографии. Сюжет становился мало-по-малу простым поводом для самостоятельных формально-технических построений, пока, наконец, не был выброшен совсем. Картина стала беспредметной. Но это разоблачало в ней то, что раньше было скрыто под маской изобразительной иллюзии: самоцельность. Беспредметность оказалась лишь последовательным станковизмом: она существовала для себя и в себе; она откровенно выдавала себя за самодовлеющий мир и тем самым обрекалась на смерть. Буржуазное искусство попало в тупик.

3. Напрасны были все попытки псевдо-народников и реакционеров остановить это движение. История вспять не идет. Пробовали возрождать картину, но вместо этого стилизовали под дикарей и ранних итальянцев, судорожно хватались за обломки давно умерших эпох, как нищие, вымаливали милостыню у Рафаэлей и Рембрандтов, но всем этим только обнаруживали свою историческую беспомощность. Картина быстро умирала. Формы и формочки из красок, линий, деревяшек, проволок и т. п., никому и ни для чего не нужные, грозили стать материалом для грандиозного ауто-да-фэ, которое под давлением истории готовился зажечь художник-самоубийца. Искусство ждало либо смерти, либо бесповоротной и полной революции.

II. Правые и левые.

1. Итак, искусство находилось в тупике. Правые (изобразительники) бессильно топтались на месте, разыгрывая траги-комическую мелодраму с переодеванием, костюмы для которой брались то из Египта, то из Греции, то из похороненного Версаля (Добужинский, Бенуа, Желтовский и др.); левые бешено разрушали все, в том числе и самих себя, и то единственное, но зато великое и ценное, что они несли с собой, была страстная жажда прорыва сквозь настоящее, революционная смелость ищущей молодости, возненавидевшей шаблон, фетиш и штамп.

Много писалось о засилии футуризма в первые годы революции. Объясняли это по-разному: говорили, что Советской власти пришлось пойти на «левый» мезальянс, так как больше никого у нее не было, так

как только левые приняли Октябрь; говорили об эмоциональной аналогии между левыми в искусстве и левыми в политике, говорили и кое-что другое, стараясь заподозреть молодых художников в отсутствии беспристрастия.

Дело, мне думается, обстояло куда сложнее.

Прежде всего следует установить один исторический факт: к Советской власти пришли договариваться и правые и левые. И те и другие принесли с собой проекты и планы; и те и другие соглашались сотрудничать с пролетарской революцией.

Почему же все-таки первенство осталось за левыми?

2. Если обратиться к рассмотрению тех планов, которые были предложены правой группой (во главе с А. Бенуа), то окажется, что все они сводились к одному,—к охране памятников искусств и старины. Эти музейные люди не увидали в революции ничего, кроме разрушительного урагана, грозившего смести с лица земли дорогие их сердцу обломки прошлого; закопавшиеся в песок столетий, они не хотели знать ни о сегодняшнем, ни о завтрашнем дне. Правые не думали о школах, о живом художественном делании,—их заботили мумии, но до мумий у революции не было никакого дела. Революция требовала иного. В академиях, в училищах, в комиссиях сидели политически реакционные профессора; под маской реализма крылись черносотенные вожделения, отовсюду злорадно шипели кадетствующие жрецы вечного и прочего искусства. Их надо было изничтожить, убрать, сделать безвредными, это было требованием не эстетики, а чистой политики. Правые же на такое «кощунство», разумеется, не годились.

Пригодились зато левые.

3. Восстав против прошлого во имя будущего, левые боролись на художественном фронте с тем самым обществом, с которым экономически и политически боролась революция и во главе ее пролетариат. Левые были глубоко заинтересованы в том, в чем кровно была заинтересована революция: в судьбах сегодняшнего художественного делания. Далекие от того, чтобы волноваться из-за камешков ветхозаветного собора, левые зато вплотную подошли к задачам реорганизации учебных заведений республики. Им, отброшенным на задворки и ютившимся в скверных, чердачных комнатушках, революция обещала свободу соревнования, равноправие и широкую возможность отстаивания не только словом, но и делом тех принципов, которые были провозглашены новым искусством. Если академия с точки зрения революции была оплотом политической реакции, то для левых она была цитаделью реакции художественной. Здесь именно совпали интересы обеих договаривавшихся сторон. Но и кроме того: борьба за новое искусство была не просто борьбой непривилегированных против привилегированных,—это была вдобавок борьба учащейся молодежи, молодой и неудовлетворенной старыми формами, против традиций и схоластического шаблона профессуры. Реформа академии, проведенная левыми (Альтман, Пунин, Брик, Штернберг, Карев и др.), была встречена учащимися с восторгом; их конференция,

состоявшаяся в 1918 году, приветствовала октябрьскую победу, как свою победу, и была, конечно, права.

4. Итак, левые победили. В училищах, на ряду с прежними, стали преподавать новые художники, в музеях появились работы Татлина, Малевича и Кандинского, открылись многочисленные выставки молодых мастеров и т. д.

Правые сдали свои позиции без боя. Кое-кто, за неимением творческого материала, принялся реставрировать древнюю Русь; кое-кто просто ушел в почти подпольное существование; часть, скрепя сердце, пошла на службу в качестве спецов; остальные либо бросили работать, либо эмигрировали за границу с тем, чтобы удивлять Европу русскими доморощенными сезаннятами и патриотическими петушками. Под крылышком парижских и берлинских генералов эти господа стали выжидать краха революции, обливая помоями клеветы то дело, которое вырастало в Советской России.

III. На местах.

1. Левые помогли революции. Но эта помощь была чисто отрицательной. Поскольку необходимо было бороться с контр-революцией, поскольку на очереди стояли разрушительные задачи, постольку левые оказались нужными и, мало того,—единственными сотрудниками.

Все дело приняло совершенно иной оборот, как только на место задач разрушительных выступили задачи положительно-организующие. Революция, развернув перед новым искусством все необходимые для него возможности, немедленно же после угара первых месяцев, предъявила к своим спутникам собственные властные требования. Политические работники Октября говорили: «мы дали вам, художникам-то, чего вы хотели,—дайте же теперь нам то, чего хотим мы. Дайте плакаты, иллюстрации, картинки,—дайте такие произведения, которые были бы полезны, понятны сейчас, теперь же,—нам некогда ждать». А когда левые отвечали, что их дело—революция сознания, что надо массу подымать до себя, а не апеллировать к бескультурной России,—им справедливо возражали: «Революция не может ждать того момента, когда народ пересоздастся; революция хочет иметь помощников сегодня,—тем более, что никому неизвестно, насколько лучше ваши, левые, непонятные формы форм прежних, привычных и понятных».

2. Идея народного искусства стала эпидемически популярной еще с февраля 1917 года. Правые понимали ее в плоскости изобразительной (понятные картинки), левые (беспредметники), естественно, выдвигали на первое место проблему декорационную. Однако, и тут они оказались не в силах сделать что бы то ни было существенное. Не говоря уже об ограниченности материальных рессурсов, декоративные проекты левых преследовали и не могли не преследовать, прежде всего, целей борьбы с формами современного быта; иначе говоря, их декорации имели чисто протестующее значение и уже по одному этому не удовлетворяли потребностям традиционного сознания современников. И как бы исключительно

талантлива ни была работа Альтмана (декорация пл. Урицкого в Петрограде, в 1918 г.), она только лишний раз подчеркнула эстетический разлад между левыми в политике и левыми в искусстве.

Чем определеннее и тверже становился нажим политический, тем острее стала чувствоваться недостаточность, неприспособленность левых. Отказываясь писать изобразительные вещи, левые художники, вышедшие из рядов старого искусства и воспитавшиеся на самоцельном станке, увидели в революционном нажиме угрозу их искусству. Борясь с фетишизмом прошлого, они, убежденные станковисты, герои того же чистого искусства, но только в новой оболочке, фетишизировали свое собственное творчество не меньше, чем это делали старые мастера. Это-то и послужило основной причиной их краха перед лицом революции.

3. Нужно было угомониться периоду бури и натиска для того, чтобы опомнившиеся и оглядевшиеся руководительские круги объявили поход против «футуризма». Началось пересаживание в административных центрах, пошли смены в учебных заведениях, заказы стали даваться так наз. «реалистам»,—правые временно торжествовали. Но уже первые плоды их деятельности разочаровали даже убежденных консерваторов искусства из рядов революционных политиков.

Революция привела обе борющиеся стороны к краху: и изобразительники, и беспредметники одинаково капитулировали перед требованием слить задачи художественного творчества с задачами социального строительства. Иначе говоря, крах этот был, вне зависимости от направлений, крахом чистого искусства, еще определеннее: станковизма.

IV. Курс на производство.

1. Как раз к тому времени, когда обозначилась капитуляция станкового искусства, внутри левых стала оформляться группа так наз. производственников. Приняв революцию не стихийно, не только потому, что революция им была полезна, но и идеологически, эти люди с полной решительностью продолжали искать стыка между искусством и социальной практикой; революционные марксисты по мировоззрению, они пришли к необходимости самым бесповоротным образом порвать со всяким чистым искусством, в том числе и левым. Начав с критики основных понятий буржуазной эстетики, они на место проблемы форм выдвинули проблему методов художественного труда. Идея пролетарского искусства подсказала им решение: коллективизация художественного труда оказалась немыслимой вне синтеза с той сферой социальной практики, которая является основой современного коллективного строительства, а именно с индустрией.

Проблема производственного искусства родилась, таким образом, в качестве естественного продукта пролетарской революции, но она же зато стала тем камнем преткновения, о который споткнулось не только правое, но и левое искусство.

2. В самом деле.

Речь шла уже не об изменении тех или иных художественных форм, не о борьбе направлений внутри буржуазного искусства, не об использовании форм для украшения вещей (прикладничества), а о полной ликвидации, о полном разрыве со всеми приемами современного художественного творчества. Объявлен был поход против всякого индивидуально-ремесленного метода, как правого, так и левого.

Положение круто изменилось. А вместе с изменением положения изменился и ход борьбы между художественными группировками. Внутри левых начался раскол. Большинство, крепко державшееся станка и в страхе увидевшее себя опутанным той самой революцией, которую оно только что благословляло,—это большинство сразу же пошло напопятную. Создалась психологическая реакция, приведшая, в конце-концов, к трогательному объединению правых с левыми («Мир Искусства») на почве защиты, самообороны против грозного жупела производственности. Станок оказался дороже самых глубоких разногласий в пределах этого станка.

Первыми ретировались экспрессионисты во главе с Кандинским,— их мистико-эмоциональная душа не выдержала давления со стороны крайних; затем подняли бунт супрематисты во главе с Малевичем,— убежденные самоцельники, они кричали об убийстве «священного» искусства; их сознанию были недоступны никакие другие формы, кроме привычно-станковых. Разрыв был неминуем. В 1920 году когда-то объединявший всех левых Институт Художественной Культуры распался; через некоторое время он начал действовать под флагом производственного искусства. После длительной отсортировки, после упорной борьбы внутри левых выкристаллизовалась группа беспредметников-конструктивистов (Татлин, Родченко, группа Обмоху), положивших в основу своей практики изучение и обработку реальных материалов, как переходную стадию к конструкторской инженерии. На одном знаменательнейшем из заседаний Инхука было единогласно решено бросить самоцельные конструкции и принять все меры к немедленному контакту с индустриальным производством.

3. Идея производственного искусства не впервые зародилась у нас. Но каждый раз, когда она появлялась, ее реализация всегда теснейшим образом связывалась с проблемой социализма.

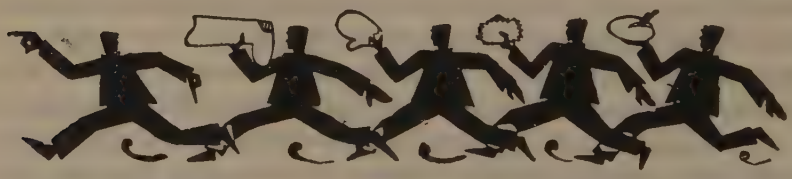
Организовать целостное, коллективистическое общество это значит подчинить социальное строительство свободной и планомерной воле людей, и, следовательно, сделать это строительство сознательно-творческим. И если Фурье и Оуэн были утопическими предшественниками основателя научного социализма, Маркса,—то такими же предшественниками русских производственников являются Вилльям Моррис, Уольтер Крэн и др. Они действовали под непосредственным влиянием рабочего движения, но поскольку это движение не выходило за рамки приспособления к капиталистическим отношениям, постольку их попытки оставались попытками одиночек-ремесленников, т.-е. были утопичными. Пролетарская революция впервые создала прочную базу для творческой организации труда.

V. Итоги.

Несмотря на всю своеобразную трудность положения, художественная революция не остановилась на одном только прокламировании своих лозунгов. По мере того, как государственные и профессиональные органы рабочей России ближе знакомились с целями нового движения, по мере того, как выяснилось, что оно несет с собой решение вопроса о квалификации труда и производства («максимум художественности—максимум квалифицированности», и наоборот),—производственное искусство все явственнее превращалось из мифа в реальный факт.

Татлин в сотрудничестве с Петроградским Пролеткультом взялся за работу на заводе Н. Лесснер; культ-отделы В. Ц. С. П. С. и М. Г. С. П. С. объявили задачи производственного искусства своими задачами и, после некоторого колебания, отвергли принцип прикладничества; наконец, идеи производственного искусства из Р. С. Ф. С. Р. проникли на Запад.

Еще значительнее те изменения, которые произошли за последнее время в Московском Пролеткульте. Новая экономическая политика, с небывалой остротой обнажившая классовые противоречия не только в сфере экономики, но и в области культуры, заставила организационные центры пролетарской культуры пересмотреть и перестроить свою программу. В результате Пролеткульт положил в основу своей работы производственный принцип, особенно сильно сказавшийся на художественной политике. Вместе с этим производственное движение получило не только классовое теоретическое обоснование, но и классовый организационный фундамент. Работа еще только началась, и говорить о ней пока что рано, но, как бы то ни было, можно с уверенностью утверждать, что, при отсутствии внешних препятствий, Пролеткульт вскоре же даст ряд образцов новых методов художественного творчества [1]).



К статье „Русская графика" Рис. В. Маяковского из журнала „БОВ".

[1]) Помещая интересную статью т. Арватова, идеолога конструктивизма, редакция в общем согласна с его характеристикой хода и исхода борьбы группировок в изобразительных искусствах. Признавая также большую революционную ценность за деятельностью «производственников», редакция, тем не менее, не разделяет стремительных выводов автора о гибели станковой живописи.

Ред.

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ.

(Опыт библиографической сводки).

Проф. Н. Ефимов.

Во многих отношениях революция для исторической науки явилась плодотворным фактором. Революция прежде всего открыла доступу исследователя наиболее заповедные архивы, дала в его распоряжение много новых, ценных и разнообразных архивных материалов. Очень много их, конечно, погибло, но многое было и собрано (напр., в ликвидированных помещичьих усадьбах). Революция, далее, изменила в некоторых случаях точки зрения на явления литературного прошлого, сделала исторические воззрения более свободными, углубленными и иногда более реальными (напр., в вопросах об интеллигенции и народе, о русском мессианизме). Революция также вызвала интерес к фактам национальной литературной истории, к подведению итогов духовного творчества разных составляющих Россию народов, к учету накопленных ими культурных сокровищ.

Произведем библиографическую сводку того, что за годы революции вышло в занимающей нас области достойного внимания. Оговоримся наперед, что не все написанное в это время увидело свет. По нашей специальности, кажется, больше приготовлено к печати, чем издано, напечатано: ждут, напр., печатания ценный курс харьковского профессора Е. Г. Кагарова по исторической поэтике, исследование проф. А. М. Лободы о Шекспире в русской литературе, задержан выход в свет четырехтомных «Опытов изучения литературной и общественной деятельности Л. Толстого» Н. Н. Апостолова и многое другое. Скажем еще, что кое-что из печатаемого ныне было задумано и написано до революции. В силу создавшихся для книгопечатного дела неблагоприятных условий выходило преимущественно то, что так или иначе отвечало острым и тревожным запросам момента, что не требовало непосильных затрат на издание: отсюда преобладание тоненькой книжки, брошюры, над книгой толстой.

Наш обзор историко-литературных работ времени революции расположим в следующем систематическом порядке, который показывает, по каким руслам протекала историко-литературная мысль.

1. *Методология истории русской литературы* представлена третьим томом «Введения в философию художественного творчества» проф. А. М. Евлахова (Ростов-на-Дону, 1917), университетскими курсами: акад. В. Н. Перетца—«Краткий очерк методологии истории русской литерату-

ры» (П., 1922), проф. В. В. Сиповского—«Лекции по истории русской литературы. Вып. I. Введение в курс истории литературы» (Баку, 1921), проф. П. О. Потапова—«Введение в историю русской литературы» (с очерком истории изучения русского народного эпоса, Одесса, 1919), статьями: акад. В. Н. Перетца—«К вопросу об основаниях научной литературной критики» («Ученые записки Самарского университета», вып. 2, 1919), проф. П. Н. Сакулина—«В поисках научной методологии» (Ф. И. Буслаев, Н. С. Тихонравов—в «Голосе Минувшего», 1919, №№ 1—4), проф. В. А. Келтуялы—«Предмет, задачи и метод истории литературы» (в журнале «Родной язык в школе» за 1919 г.), А. Л. Бема—«К уяснению историко-литературных понятий» («Известия отделения рус. языка и словесности Российской Академии Наук», 1918, т. XXIII, кн. 1), брошюрами: покойного Н. Н. Кононова—«Введение в историю русской литературы» («Историко-литературные проблемы». Вып. I. М., 1920) и М. О. Гершензона—«Видение поэта» (М., 1920) и вступительными лекциями: проф. А. Н. Вознесенского—«Метод изучения литературы» («Труды Белорусского Госуд. университета в Минске», 1922, № 1) и А. П. Георгиевского—«Русская литература перед судом науки и требований жизни» («Ученые Записки Дальне-Восточного университета», т. II).

2. *Философии истории русской литературы* посвящена книга проф. Н. И. Ефимова—«Своеобразие русской литературы. Введение в историю новейшего русского словесного искусства». Лекции. Одесса, 1919.

3. *Общие курсы и обзоры истории русской литературы*. Годы революции дали ряд книг этой рубрики, и среди них такие, которые запечатлевают многолетние университетские чтения авторитетных представителей нашей науки.

а) По *народной словесности* изданы: «Русская устная словесность» проф. М. Н. Сперанского (М., 1917), «Русская народная словесность. Лекции» проф. И. И. Замотина (Ростов-на-Д., 1919) и литографированное «Пособие к лекциям по русской народной словесности» проф. С. К. Шамбинаго (М., 1917). Проф. М. Н. Сперанский выпустил 2-ой том «Былин» «Памятники мировой литературы», изд. М. и С. Сабашниковых, М., 1919) со своими прекрасными вводными статьями. Надо отметить также «Былины» Бориса Соколова (исторический очерк, тексты и комментарии «Сокровища родного слова», М., 1918), Популярная пьеса русского народного репертуара—комедия о царе Максимилиане—получила две обработки в «Своде» Вл. Бакрылова (М., 1921) и в «Театре» Алексея Ремизова (П., 1920), представляющем талантливый образец фольклористической стилизации. Собиранию памятников устно-народного творчества время транспортной и проч. разрухи не благоприятствовало. Из статей назовем: проф. Е. Г. Кагарова «Заметки по русской мифологии» («Изв. отд. рус. яз. и слов. Росс. Ак. Наук», т. XXIII, кн. 1), покойного А. В. Маркова «Чулковский песенник и его значение для изучения великорусских народных песен» (там же, т. XXII, кн. 2), Б. И. Ярхо «Илья, Илиас, Хильтебрант» (там же), С. Михайловой-Штерн «Скоморохи» («Горн», 1919, № 2—3, изд. москов. пролеткульта).

б) По *древней русской литературе* вышли: «Курс древне-русской литературы киевского периода» акад. М. Н. Сперанского (М., 1921) и «Очерки по истории древне-русской литературы» акад. В. М. Истрина (П., 1922). Приостановилось и, к сожалению, до сих пор не возобновилось издание Т-ва «Мир»—«История русской литературы до XIX века». Литографским способом печатались «Лекции по истории древне-русской литературы» проф. В. В. Буша (Ташкент, 1922, издание не закончено) и «Лекции» А. П. Георгиевского (Владивосток, 1921). Последними диссертациями по древне-русской литературе были исследование проф. В. П. Адриановой «Житие св. Алексея, человека Божия, в древне-русской литературе и народной словесности» (П., 1917), удостоенное Росс. Академией Наук полной премии имени Ломоносова, и исследование проф. С. А. Щегловой «Богогласник» (1918). В издании М. и С. Сабашниковых (М., 1920) вышло «Слово о полку Игореве»—снимок с первого издания 1800 г. гр. А. И. Мусина-Пушкина», под ред. А. Ф. Малиновского, с приложением статьи проф. М. Н. Сперанского и факсимиле рукописи А. Ф. Малиновского. Отметим «Памятники старинного русского воспитания» (К истории древне-русской письменности и культуры), П., 1918, проф. В. В. Буша, его же статью «Старинные азбуки-прописи» («Изв. отд. рус. яз. и слов. Росс. Ак. Наук», т. XXIII, кн. 1) и «Очерки по истории древнерусского просвещения» («Труды Туркестанского Государ. университета», вып. 7, Ташкент, 1922), проф. П. О. Потапова ст. «Судьба хроники Зонары в славяно-русской литературе» («Изв. отд. рус. яз. и сл. Росс. Ак. Н.», т. XXII, кн. 2), проф. Б. М. Соколова «По поводу «Слова о законе и благодати» Иллариона» (там же), акад. В. М. Истрина «Где было переведено житие Василия Нового» (там же), А. С. Грушевского «Из полемической литературы конца XVI в. после введения унии» (там же), А. В. Миловидова «Новые документы, относящиеся к биографии Франциска Скорины» (там же), Н. П. Попова «К вопросу о первоначальном появлении вирш в северно-русской письменности» (там же), проф. Д. И. Абрамовича «О трудах Макария (Булгакова) в области древней русской литературы» (там же), пробную лекцию на звание приват-доцента Моск. университета С. А. Бугославского «Главнейшие характерные черты московского периода русской литературы» (М., 1917) и брошюру В. И. Анисимова «Максим Грек» (П., 1917). Погиб в типографии набранный уже 2-ой том «Введение в историю русской литературы» проф. А. С. Архангельского, посвященный очерку истории изучений в области древней русской литературы

в) По *новой* и *новейшей русской литературе* должны быть названы: свежие по точкам зрения «Лекции по истории новой русской литературы. Эпоха классицизма» проф. П. Н. Сакулина (М., 1918), его же «Социализм и русская литература» (Москва, 1922), «История новой русской литературы XIX в.» (30—60 гг.), курс покойного проф. Алексея Н. Веселовского (М., 1917), лекции проф. И. И. Замотина (Ростов-на-Д., 1917), «Очерки по истории новейшей русской литературы» (1881—1919) В. Львова-Рогачевского (М., 1920), «Зачинатели и продолжатели. Поминки, характе-

ристики, очерки по русской литературе от дней Белинского до дней наших» Мих. Неведомского (П., 1919) и брошюра Иванова-Разумника «Русская литература XX века» (1890—1915), П., 1919. Остается прерванным изданием Т-ва «Мир»—«Русская литература XX века», под ред. С. А. Венгерова.—Издание университетских курсов по разным периодам истории русской литературы вызывалось, между прочим, открытием новых университетов, необорудованных в библиотечном отношении, и необходимостью при наступившем книжном голоде дать студентам пособие для прохождения курсов. Из новых университетов издание лекций более или менее широко развили университеты Донской (б. Варшавский), Бакинский, Иркутский и Дальне-Восточный (в г. Владивостоке). В виду испытываемой современным студенчеством большой нужды в университетских курсах лекций, желательно, чтобы маститые представители кафедры истории русской литературы—академики В. М. Истрин, В. Н. Перетц и М. Н. Сперанский, профессора Е. В. Петухов, В. В. Сиповский, И. И. Замотин, П. Н. Сакулин, А. В. Михайлов, Н. Ф. Сумцов, А. М. Лобода, В. И. Резанов и др. опубликовали для широкой публики, сделали достоянием печати свои существующие в литографированном виде университетские чтения.

Для средней школы учебники выпустили: проф. Е. В. Петухов—«История русской словесности», в двух частях (Киев, 1918—1919), Вл. Фишер—«Русская литература. Средина века» (М., 1918) и Г. В. Александровский—«Курс истории новейшей русской литературы» (Киев, 1918). Оригинально построена книга акад. Н. А. Котляревского «Наше недавнее прошлое в истолковании художников слова: Опыт школьного изложения истории русской словесности за вторую половину XIX века» (П., 1919). Для пролетарской аудитории составлены «Беседы о русской литературе» И. Н. Игнатова (М., 1918).

Из *отдельных работ по новой русской литературе* упомянем о переиздании старой работы А. Н. Афанасьева о русских сатирических журналах 1769—1774 г. (Казань, 1917) и известного труда акад. А. Н. Веселовского о Жуковском («Поэзия чувства и сердечного воображения», П., 1918). Назовем новые книги: Г. В. Вернадского «Русское масонство в царствование Екатерины II» (П., 1917), его же—«Новиков» (П., 1919), В. П. Семенникова «Книгоиздательская деятельность Н. И. Новикова и Типографической Компании» (П., 1921), его же—«Книгу о Радищеве» (П., 1922) и «Новый текст «Путешествия из Петербурга в Москву» (П., 1922), брошюры о Радищеве проф. Д. Анучина («Судьба первого издания «Путешествия» Радищева», М., 1918) и проф. Лапшина («Философские взгляды Радищева», П., 1922), статьи: проф. Н. Н. Фирсова—«Г. Р. Державин, как выразитель настроения российского дворянства в екатерининскую эпоху» («Известия Северо-Восточного Археологического и Этнографического института в г. Казани», т. I, 1920), его же—«Исторические мотивы в поэзии М. Ю. Лермонтова» («Записки Моск. Археолог. института», т. XXX, 1917), Г. Крыжицкого—«Влияние Руссо на Аблесимова» («Изв. отд. рус. яз. и слов. Росс. Ак. Наук», т. XXII, кн. 2), проф.

Л. К. Ильинского о Крылове-драматурге» («Бирюч петроградских Государственных театров», 1919, июнь—август), монографию проф. Е. И. Тарасова «Декабрист Николай Иванович Тургенев. Очерки из истории либерализма в России» («Ученые Известия Самарского университета», вып. I, 1918), книгу М. Л. Гофмана «Поэзия К. Ф. Рылеева» (Чернигов, 1917), статьи: Б. В. Неймана—«Элементы сентиментализма в творчестве Лермонтова» («Изв. отд. рус. яз. и слов. Росс. Ак. Наук», т. XXII, кн. 2), А. Цинговатова—«Сложность перспектив лермонтовского творчества» («Вестник Воспитания», 1917, ноябрь—декабрь), К. Б. Бархина—«Н. К. Михайловский—литературный критик» (там же, 1919, январь—февраль), его же—«Забытый талант. Поэзия К. К. Случевского» (там же, 1920, кн. 5), М. Григорьева—«Приемы сценического воздействия на зрителя в пьесах Чехова» («Горн», кн. V, М., 1920). Новые, доселе неизвестные материалы о Пушкине, Баратынском, Веневитинове, Гоголе и Тургеневе содержат «Литературный Музеум» (Цензурные материалы I Отделения IV Секции Государственного Архивного Фонда), т. I, под ред. А. С. Николаева и Ю. Г. Оксмана, П., 1921 (с хорошо задуманными и выполненными комментариями С. М. Бонди, В. В. Данилова, М. К. Клемана и Ю. Г. Оксмана) и «Невский Альманах». Вып. 2-ой. Из прошлого (писатели, художники, артисты). П. 1917 (письма Гончарова, Тургенева, Некрасова и др.). Кое-что дает также «Литературно-библиологический сборник («Труды Комиссии Русского Библиологического Общества по описанию журналов XIX в.», вып. I. П., 1918).

Из популярной литературы назовем брошюры: о Новикове—Н. П. Сидорова, покойного Юр. Веселовского, его же—о Княжнине, о Радищеве—А. А. Луначарского (П., 1918), Н. Ашешова (П., 1921), В. Маяковского (П., 1917), Ю. Айхенвальда, К. Левина (М., 1918), Р. М. Кантора (П., 1920) и др.

4. *Пушкиниана* продолжала счастливо обогащаться новыми изданиями творений великого поэта и его плеяды, исследованиями, статьями и очерками биографическими и историко-литературными. Из изданий пушкинского текста должны быть названы: «А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений со сводом вариантов», под редакцией, со вступительными статьями и примечаниями Валерия Брюсова (т. I, М., 1920), издания отдельных произведений под ред. М. Л. Гофмана, «Неизданный Пушкин. Собрание А. Ф. Онегина («Труды Пушкинского Дома»), «Дневник Пушкина», под ред. и с подробными объяснениями Б. Л. Модзалевского и П. Е. Щеголева, Лицейская тетрадь в VI томе «Русских Пропилеев», издания полного текста «Гаврилиады»—одно под ред., со вступительной статьей и критическими примечаниями В. Брюсова, несколько раз повторенное, и другое под ред. Б. Томашевского («Труды Пушкинского Дома», П., 1922). Из трудов о Пушкине приведем: нашумевшую своими неудачными мистическими откровениями книгу М. Гершензона «Мудрость Пушкина» (М., 1919), книгу проф. П. Н. Сакулина «Пушкин и Радищев» («Новое решение старого вопроса»), М., 1920, несколько книг М. Л. Гофмана: «Пушкин. Его общественно-политические взгляды и настрое-

ния» (Чернигов, 1918), «Пушкин. К 120-летней годовщине рождения» (Чернигов, 1919), «Пушкин. Первая глава науки о Пушкине», П., 1922 (методология изучения поэта), «Пропущенные строфы «Евгения Онегина», П., 1922, и др., книгу А. С. Полякова «О смерти Пушкина» (по новым данным), П., 1922, представляющую дополнение к известному исследованию П. Е. Щеголева о дуэли и смерти Пушкина, очерк Б. Л. Модзалевского «Пушкин под тайным надзором» (СПБ., 1922), тщательную брошюру Н. М. Данилова «Пушкин и Карамзин» (Казань, 1917), новые выпуски (XXIX—XXXIV) академического издания «Пушкин и его современники», 3-й том Венгеровского «Пушкиниста», сборник «Пушкин и Достоевский», изд. Дома Литераторов (П., 1921), со статьями о Пушкине покойного Ал. Блока, акад. А. Ф. Кони, В. Ходасевича и Б. Эйхенбаума, сборник «Достоевский и Пушкин», под ред. А. Л. Волынского (изд. «Парфенон», П., 1921), переизданную речь покойного Инн. Анненского—«Пушкин и Царское Село», «Соболевский—друг Пушкина», сборник (изд. «Парфенон», П., 1921), заключающий переписку Соболевского с Пушкиным, статьи: проф. В. В. Сиповского о «Борисе Годунове» Пушкина (в «Ученых Записках Бакинского университета»), Вал. Брюсова—«Пушкин и крепостное право» («Печать и Революция», 1922, кн. 2—5), его же—«Пушкин и Академия Наук» (там же, кн. 6), М. П. Алексеева о «Гавриллиаде» по поводу издания В. Брюсова (во 2-ой книжке киевского журнала «Родная Земля», 1919), Н. С. Державина—«Об языке и орфографии Пушкина» («Книга и Революция», 1920, № 6), книгу проф. В. Жирмунского «Валерий Брюсов и наследие Пушкина» (П., 1922), очерк П. Е. Щеголева «Мария Волконская» (П., 1922) и интересный этюд проф. Б. М. Соколова «Мария Волконская в жизни и творчестве Пушкина» (М., 1922), научно-популярный очерк Н. Н. Фатова «Пушкин» (М. 1921) и популярную биографию—«Жизнь Пушкина» Л. П. Гроссмана в одесском издании сочинений Пушкина под ред. Лидина (изд. А. А. Ивасенко, 1919). Надо отметить также семинарское пособие проф. Н. К. Пиксанова «Пушкинская студия. Введение в изучение Пушкина. Темы, библиография, руководящие вопросы» (Саратов, 1921). Под председательством проф. Н. К. Пиксанова возобновила свою деятельность Пушкинская Комиссия при Моск. Обществе Любителей Российской Словесности, ставящая своей задачей объединения работы всех пушкинистов. Собранием представителей литературных и культурно-просветительных учреждений и организаций 11 февраля 1921 г. в Петербурге положено устраивать ежегодно всероссийское чествование памяти Пушкина в день его смерти 29 января. Упомянем о выходе «Пушкинского Календаря» на 1922 год по образцу немецкого Гётевского календаря.

Привлекли к себе внимание и «Поэты пушкинской поры», сборник стихов которых под ред. и со вступительной статьей Ю. Н. Верховского появился в издании М. и С. Сабашниковых («Пушкинская Библиотека», М., 1919). Издана поэма дяди поэта В. Л. Пушкина «Опасный сосед», со вступительной статьей и примечаниями С. П. Боброва (М., 1918). Вышли (под ред. М. Л. Гофмана) неизданные стихотворения Дельвига (П., 1922)

и книга об этом поэте проф. Ю. Н. Верховского—«Барон Дельвиг. Материалы биографические и литературные» (П., 1922). Выпущено медальное сочинение молодого киевского историка литературы П. П. Филиппович «Жизнь и творчество Е. А. Баратынского» (Киев, 1917—гл. обр., биография).

5. *Юбилейная литература.* В значительной степени возбуждали и поддерживали историко-литературную мысль исполнявшиеся юбилейные литературные даты. Довольно многие из них, впрочем, ничем не ознаменовались, были забыты, но наиболее важные и крупные литературные юбилеи породили ценную и интересную по методологическим устремлениям литературу: это—столетние годовщины со дня рождения Тургенева (в 1918 г.), Достоевского (в 1921 г.) и Некрасова (в 1921 г.), 50-летие со дня смерти Герцена.

а) О *Тургеневе.* Благодаря юбилею, изучение Тургенева—истории его творчества, его художественных приемов и миросозерцания — сильно подвинулось вперед. Вот эти вклады в тургеневскую литературу. Покойный акад. Д. Н. Овсянико-Куликовский выпустил новым изданием свои замечательные «Этюды о творчестве Тургенева» (Одесса, 1918). Далее создают тургеневскую литературу: А. Е. Грузинский книгой «И. С. Тургенев» (личность и творчество), М., 1918 (расширенная статья автора из III т. «Истории рус. литературы XIX в.», изд. Т-ва «Мир»), проф. П. Н. Сакулин—«На грани двух культур. И. С. Тургенев», М., 1918 (блестящая характеристика творчества и миросозерцания художника), С. И. Родзевич—«Тургенев», Киев, 1918 (четыре статьи, положения которых будут приняты в науку о Тургеневе: «Лирика Т.», «Т., как эстетик и критик», «Романтик реализма», «Т. и символизм»), М. О. Гершензон—«Мечта и мысль Тургенева», М. 1920 (книга со спорными утверждениями), Н. Л. Бродский—«Замыслы И. С. Тургенева. Материалы к истории его художественного творчества», М., 1917, проф. Ю. Г. Оксман—«И. С. Тургенев. Исследования и материалы», Одесса, 1922, статья Б. Скворцова—«И. С. Тургенев и граф Л. Н. Толстой» («Журн. Мин. Нар. Просв.», 1917, ноябрь—декабрь), книга Ю. А. Никольского—«Тургенев и Достоевский» («История одной вражды»), София, 1921, «Портрет Манон Леско»—два этюда Леонида Гроссмана (Одесса, 1919), доклад молодого киевского историка литературы М. П. Алексеева—«Тургенев и музыка» (внимательный анализ музыкальных увлечений художника), вступительная лекция проф. Н. К. Гудзия—«Литературный дебют Тургенева» (в № 1 «Известий Таврического университета» и в киев. журнале «Родная Земля», 1919, I—II, где под заглавием «Единый Тургенев»), статья М. М. Клевенского—«Тургенев в карикатурах и пародиях» («Голос Минувшего», 1918, кн. 1), популярный очерк И. Н. Игнатова «Иван Сергеевич Тургенев», П., 1922 («Биографическая Библиотека») и два юбилейных сборника—изящно изданный одесский «Венок Тургеневу 1818—1918» (изд. А. А. Ивасенко, 1919) и недостаточно почтительный в смысле внешности издания московский—«Творчество Тургенева» (М., 1920), под ред. И. Н. Розанова и Ю. М. Соколова. Лучшие статьи первого сборника, одесско-

го—ст. проф. Б. В. Варнеке «Тургенев драматург» и особенно ст. Л. Гроссмана «Последняя поэма Тургенева» (Senilia), менее удачны ст. В. Гиппиуса «О композиции тургеневских романов» и ст. Вл. Фишера «Таинственное у Тургенева». В более богатом статьями, но неряшливом московском сборнике выделяются статьи: В. М. Фишера («Повесть и роман у Тургенева»), Б. М. Соколова («Мужики в изображении Тургенева»), С. В. Шувалова («Природа в творчестве Тургенева»), Б. Е. Лукьяновского («Эпитет у Тургенева»), М. М. Клевенского («Общественно-политические взгляды Тургенева») и М. А. Петровского («Таинственное у Тургенева»). Большинство авторов статей в обоих сборниках подходит к изучению творчества Тургенева с т. наз. «формальным» методом. Отметим еще два сборника, вышедшие под ред. акад. А. Ф. Кони: «Тургенев и Савина. Письма И. С. Тургенева к М. Г. Савиной. Воспоминания М. Г. Савиной об И. С. Тургеневе» (П., 1918) и «Тургеневский Сборник» (П., 1922), в который вошли статьи и воспоминания о Тургеневе Л. С. Утевского, А. Ф. Кони, Вл. Каренина, М. К. Клемана, С. А. Переселенкова, а также неизданные письма Тургенева из собраний Пушкинского Дома. Библиографию Тургеневской юбилейной литературы (книг, журнальных и газетных статей) дает М. П. Алексеев в очерке «Тургеневский юбилей на Юге России» (1818—1918), Черкассы, 1919 (печатание, вследствие разразившихся политических событий, оборвалось на втором листе). В 1919 г. организовалось в Петрограде Тургеневское Общество под председательством акад. А. Ф. Кони.

б) О *Достоевском*. Изучение творчества этого корифея русского философского романа обогатилось рукописными материалами величайшей художественной ценности (ненапечатанные главы романов «Бесы», «Преступление и наказание», «Подросток», письма и дневники, планы, наброски и собственноручные комментарии писателя к его произведениям). Часть этих материалов собрал и комментировал усердный и даровитый созидатель молодой науки о Достоевском проф. Л. П. Гроссман в двух дополнительных к полному собр. соч. изд. «Просвещения» томиках «Забытые и неизвестные страницы Ф. М. Достоевского» (П., 1918). Часть помещена в вып. I «Документов по истории литературы и общественности», изд. Центроархива (М., 1922). Огромное количество рукописей еще ждет своего опубликования и детальной разработки. Укажем юбилейные историко-литературные книжные новинки по науке о Достоевском. Переиздана книга В. Переверзева «Творчество Достоевского», М., 1922 (с добавлением статьи «Достоевский и революция»—из кн. 3-ей «Печать и Революция» за 1921 г.). Вышли: «Библиотека Достоевского» (по неизданным материалам, с приложением каталога) Леонида Гроссмана, выясняющая круг чтения писателя, того же исследователя статья «Искусство романа у Достоевского» (альманах «Свиток», I, М. 1922), К. К. Истомина «Начала и концы творчества Достоевского» (М., 1922), Н. А. Бердяева «Миросозерцание Достоевского» (М., 1922), М. И. Туган-Барановского «Нравственное миросозерцание Достоевского», Одесса, 1920 (перепечатка прежней статьи из «Вопросов обществоведения», вып. I и сб. «К луч-

шему будущему»), упомянутая уже книга Ю. А. Никольского о Тургеневе и Достоевском, любопытная книжечка Юр. Тынянова «Достоевский и Гоголь» (К теории пародии), П., 1921, Пумпянского—«Достоевский и античность» (П., 1921), лекция о Достоевском А. Белого (М., 1921), юбилейный сборник «Творчество Достоевского», под ред. Л. П. Гроссмана, с талантливой статьей М. П. Алексеева о драматических опытах писателя, со статьей самого редактора и библиографией по Достоевскому, составленной под его руководством (по типу Пиксановского «Тургеневского сборника») его слушательницами, небольшая книжечка А. Ф. Кони «Некрасов и Достоевский», П., 1921 (воспоминания), упоминавшиеся выше сборники: «Пушкин и Достоевский» (изд Дома Литераторов), со статьями о Достоевском Горнфельда и Ремизова, и «Достоевский и Пушкин», под ред. А. Волынского (статьи об известной речи Достоевского К. Н. Леонтьева, Г. И. Успенского и А. Л. Волынского и статья редактора юбилейная), однодневная газета Библиологического Общества «Достоевский» (34 стр.), со статьями А. Кони, А. Долинина, А. Малеина, Ю. Новицкого, А. Полякова и др., «Достоевский». Статьи и материалы, под ред. А. С. Долинина (П., «Мысль», 1922), статьи акад. Н. А. Котляревского и проф. Л. П. Корсавина в новом журнале «Начала» (1922, № 1), ст. А. Долинина, П. Быкова и А. Кони в «Вестнике Литературы», 1921, № 2 (26), статьи А. Горнфельда, Шкловского и др. в «Летописи Дома Литераторов», 1921, №№ 2, 4, книжечка М. П. Алексеева «Ранний друг Достоевского» (Одесса, 1922), популярная брошюра Н. Черепнина «Достоевский, его жизнь и деятельность» (П., 1922). Поток юбилейной литературы о Достоевском еще не прекратился: в печати находится несколько работ. В большинстве случаев исследователи подходят к творчеству Достоевского с философской и с формально-художественной сторон.

в) О *Некрасове*. Поэт мести и печали дождался полного собрания своих произведений. Имеем в виду «Памятники русской культуры», под. ред. К. И. Чуковского. I. Неизданные произведения Некрасова. СПБ. 1918, «Н. А. Некрасов». Стихотворения. Изд. исправленное и дополненное. Под ред. К. И. Чуковского. С биографич. очерком Евгеньева-Максимова. П., 1920, «Некрасов. Неизданные стихотворения, варианты и письма». Из рукописных собраний Пушкинского Дома. Изд. М. и С. Сабашниковых. П., 1922. Биографический очерк неутомимого исследователя-некрасов. ца В. Е. Евгеньева-Максимова во втором из перечисленных изданий является лучшей биографией поэта. Под ред. В. Е. Евгеньева-Максимова и Н. К. Пиксанова издан «Некрасовский сборник. Неизданные письма и воспоминания, статьи и библиография. П., 1918». Сюда входит, между прочим, насыщенная новыми фактами статья В. Евгеньева-Максимова «Революционные идеи в поэзии Некрасова», в отдельном предшествующем издании, озаглавленная «Н. А. Некрасов—певец русской революции» (П., 1917). Выше мы уже называли книжечку А. Ф. Кони «Некрасов и Достоевский» (по личным воспоминаниям). Под ред. И. Н. Розанова и Мамонтова вышел «Сборник статей о Некрасове» (М., 1922). Другому после В. Евгеньева-Максимова исследователю-некрасовцу, К. И. Чуков-

скому, принадлежат следующие «Книги о Некрасове»: 1. Некрасов, как художник (П., 1922). 2. Поэт и палач (Некрасов и Муравьев), П., 1922 и 3. Жена поэта (П., 1922). Из юбилейных статей о Некрасове отметим: ст. И. Розанова «Проза любви» (из жизни Н. А. Некрасова), ст. С. Шувалова «К поэтике Некрасова. Сравнения» (обе статьи—в альманахе «Свиток», I, М., 1922), ст. Юр. Тынянова «Стиховые формы Некрасова» («Летопись Дома Литераторов», 1921, № 4), а также ст. А. Редько, Н. Котляревского и др. (там же, № 3) и ст. П. С. Когана «Памяти Некрасова» («Печать и Революция», 1921, кн. 3). Популярные брошюры о Некрасове: С. А. Семенова (1922), Черепнина (П., 1921) и Вал. Полянского (М., 1921). Издан «Некрасовский альбом. Портреты Н. А. Некрасова и его родственников. Автографы Некрасова. Заглавные листы его книг и его изданий. Иллюстрации к произведениям. Портреты современников. Карикатуры на Некрасова, П., 1922. Выдается юбилейная речь о Некрасове проф. П. Н. Сакулина.

О *Герцене*. Юбилейная литература о Герцене насчитывает сравнительно немного изданий: небольшой петроградский сборник «А. И. Герцен» со статьями покойного С. А. Венгерова, Иванова-Разумника, Э. Радлова, В. В. Водовозова, Д. С. Мережковского, А. Гизетти, А. Штейнберга и др., книгу Иванова-Разумника «А. И. Герцен. 1870—1920», вобравшую в себя его прежние и недавние статьи, однодневную газету памяти Герцена под названием «Колокол» (изд. Музея революции), под ред. М. Лемке, со статьями А. А. Луначарского, Иванова-Разумника, С. Ф. Ольденбурга, В. В. Водовозова, Н. Рожкова, Питирима Сорокина и др.), биографический очерк В. Водовозова «А .И. Герцен» (СПБ., 1920), работу Г. Г. Шпетта «Философское мировоззрение Герцена» (П., 1921), статьи: Б. Федорова—«Николай I в произведениях Герцена» («Голос Минувшего», 1917, кн. 5) и Л. К. Ильинского—«Герцен и III отделение» (там же, 1918, кн. 7) и очерки Ю. Стеклова (М., 1920), В. Фриче (М., 1920) и К. Н. Левина (М., 1918). После падения царизма выходит «Полное собрание сочинений и писем», под ред. М. Лемке.

6. Литература памяти отошедших. Книжную производительность историко-литературного характера вызывали не только большие литературные юбилеи, но и кончины чтимых художников русского слова. Почтили воспоминаниями, статьями и книгами память В. Г. Короленко, Ал. Блока и Леонида Андреева.

а) *Короленко*. Во время революции Вл. Г. Короленко исполнилось 65 лет, и по случаю этого юбилея был выпущен сборник статей и речей «Жизнь и творчество В. Г. Короленко» (П., 1919, ст. Горнфельда, Батюшкова, Горького, Потресова и др.). Двумя изданиями вышла книжечка А. Гизетти «Светлый духом» (М. и Харьков), вторым изданием вышедшая прежде книжка Л. Козловского «Короленко». Новые работы: покойного Ф. Д. Батюшкова («В. Г. Короленко»), В. Евгеньева-Максимова («Короленко, как художник и общественный деятель»), Т. А. Богданович «Биография В. Г. Короленко» (изд. Украинского Госуд. Издательства, 1922), «Короленко. Петербургский сборник», под ред. А. Б. Петрищева

(1922). Отношение великого правозаступника к революционной современности обрисовано в статье П. Митропана «Год деятельности В. Г. Короленко» (одесский журнал «Объединение», 1918, ноябрь—декабрь). Назовем еще статьи: А. В. Попова (ташкентский альманах «Огни», 1922), А. Горнфельда и Н. Брюлловой-Шаскольской «Еврейский Вестник», 1922, № 2). Опытным библиографом проф. Н. К. Пиксановым сделан «Обзор литературы о В. Г. Короленко» («Печать и Революция», 1922, кн. 2).

б) Об *А. Блоке* при жизни поэта вышла книга Иванова-Разумника «Александр Блок. Андрей Белый», П., 1919. После смерти появились: книга В. Львова-Рогачевского «Поэт-пророк», К. И. Чуковского «Книга об Александре Блоке», В. Жирмунского «Поэзия А. Блока», сборник воспоминаний Вольной Философской Ассоциации, «Об Александре Блоке». Статьи Анцыферова, Ю. Верховского, В. Жирмунского, Вл. Пяста, А. Слонимского, Ю. Тынянова, Б. Эйхенбаума, Энгельгардта. П., 1921, №№ 6 и 7 «Записок мечтателей» (длинный ряд воспоминаний о Блоке), статья П. С. Когана «Александр Блок и революция» («Печать и Революция», 1921, кн. 2), Р. Ф. Куллэ «Памяти А. Блока» («Военная Мысль», 1921, кн. 3) и мн. др. («Вестник Литературы», «Летопись Дома Литераторов», и проч.).

в) Появилась также «Книга о *Леониде Андрееве*» (А. Блок, М. Горький, Б. Зайцев, Е. Замятин, Н. Телешев, К. Чуковский, Г. Чулков). Отметим еще брошюру проф. М. Рейснера «Два изображения русского народа» (М. Горький и Леонид Андреев), М., 1918.

7. Изучение поэтики. Энергично развертывает свою деятельность основанное в Петрограде в 1916 г. общество изучения поэтического языка («Опояз»). Его лозунг: искусство есть сумма приемов. «Формалисты» дали следующие интересные работы: «сборник Поэтика» со статьями Викт. Шкловского, О. Брика, Л. Поливанова и Б. Эйхенбаума, книжечки Викт. Шкловского «Развертывание сюжета» (о романе Сервантеса «Дон-Кихот»), «Тристам Шенди» и «Розанов» (из книги «Сюжет, как явление стиля», его же ст. «Сюжету Достоевского» («Летопись Дома Литераторов», 1921, № 4) и др. работы Ю. Н. Тынянова «Гоголь и Достоевский», «Тютчев и архаические течения русской лирики», В. М. Жирмунского «Композиция лирических стихотворений», Б. Эйхенбаума «Мелодика русского лирического стиха», А. Слонимского о технике комического у Гоголя (журнал «Начала», 1922, № 2) и у Мольера (лит.-худ. журнал «Зеленая Птичка»), В. Виноградова «Сюжет и композиция повести Гоголя «Нос» (журнал «Начала», 1922, № 1), Томашевского о пятистопном ямбе Пушкина и др. Мы видели выше, что к исследованию творчества Тургенева, Достоевского и Некрасова с формальной стороны подходят и другие новейшие историки литературы: Л. Гроссман, Н. Л. Бродский, С. В. Шувалов, Вл. Фишер, Вл. Гиппиус, Б. Е. Лукьяновский, М. А. Петровский, К. И. Чуковский и др. Устанавливается формальный метод в изучении литературы: на первый план выдвигается в литературе словесное искусство, в центре методологических приемов литературоведения ставится изучение художественных форм, композиции, языка, стиля,

поэтической техники, особенностей художественной манеры и т. п. Возрождается поэтика. Кроме названного сборника «Опояза», ей посвящены второе, переработанное издание «Науки о стихе» (стихология, метрика и ритмика) В. Брюсова (М., 1922), «Поэзия, как волшебство» К. Бальмонта (М., 1922, новое изд.), «Введение в поэтику» Вяч. Иванова (М., 1922), ст. В. Жирмунского о «задачах поэтики» («Начала», 1922, № 1), слабый «Трактат о русском стихе, ч. I. Органическая метрика» Г. Шенгели (Одесса, 1921), «Этюды по теории поэзии» проф. И. И. Гливенко (Харьков, 1920), ряд работ А. Белого. Две ценных статьи по эволюции и психологии творчества напечатаны покойным акад. Д. Н. Овсянико-Куликовским: «Космическое и человеческое» (из лекций—в журнале «Объединение», 1919, янв.—февр., и 1920, кн. 5). Наблюдается возрождение интереса и к эстетике вообще (перевод на русск. язык книг Меймана, Кроче, Кона и др.).

8. Белинский, Апол. Григорьев, Островский, Л. Н. Толстой. Вышло «Собрание сочинений» В. Г. Белинского, под ред. Иванова-Разумника, с его примечаниями, историко-критическим и биографическим очерком (т. I—III, П., 1919). Акад. Д. Н. Овсянико-Куликовский дал статью: «Белинский и русская интеллигенция» (журнал «Объединение», 1918, сентябрь). Продолжалось возвращение русскому читателю долго пребывавшего в забвении критика Апол. Григорьева, начатое в 1915 г. «Собранием его сочинений», под ред. В. Ф. Саводника и «Стихотворениями», собр. А. Блоком. В 1917 г. в издании Пушкинского Дома появился, под редакцией Влад. Княжнина, обширный том «Материалов для биографии» («Аполлон Александрович Григорьев»), а 1918 г. отмечен выходом I тома «Полного собрания сочинений», под ред. Василия Спиридонова со статьями проф. С. А. Венгерова и пр.-доц. В. А. Григорьева (племянника критика). Укажем статьи об Ап. Григорьеве—В. Гиппиуса (журнал «Дела и Дни», кн. I, или «Родная Земля») и В. С. Спиридонова в «Бирюче петроградских Государ. театров». Познание Ап. Григорьева важно для познания и постижения его ближнего друга и соратника—великого нашего национального драматурга. Сочинения А. Н. Островского выходят в издании Госиздата (т. I, ПБ., 1919) с литературно-сценическими примечаниями и очерком жизни и творчества, составленным Н. Н. Долговым и отличающимся обилием новых данных и вдумчивым отношением к личности драматурга. Из монографий надо отметить книгу В. Г. Сахновского «Театр А. Н. Островского», (М., изд. О-ва Народн. Универс., 1919—1920). Статьи и заметки о драматурге (Н. Н. Долгова, В. Спиридонова и др.) имеются в «Бирюче петроград. Госуд. театров». Литература о Л. Н. Толстом пополнилась следующими изданиями: «Толстой. Памятники творчества и жизни», изд. 2. М., 1920. Редакция В. И. Срезневского (письма Л. Н. Толстого, воспоминания и статьи о нем), «Воспоминания о Л. Н. Толстом» М. Горького (П., 1919), две брошюры Ник. Апостолова: «Религиозно-анархические идеи Льва Толстого и современный политический психоз» (изд. 2, Киев, 1919) и «Лев Толстой, его жизнь и жизнепонимание» (популярный очерк, Киев, 1920), Б. Эйхенбаума

«Молодой Толстой» (П., 1921), ст. В. И. Срезневского «О личном элементе в драме Л. Н. Толстого «И свет во тьме светит» (Бирюч, 1920).

9. Современная поэзия освещается В. Львовым-Рогачевским в его книгах «Поэзия новой России. Поэты полей и городских окраин», М., 1919 и «Имажинизм» (М., 1921) и в брошюре В. Фриче «Пролетарская поэзия» (М., 1919). Отметим еще А. Белого «Поэзию слова» (Тютчев, Баратынский, Вяч. Иванов и А. Блок), Г. И. Чулкова «Наши современники» (характеристики Блока, Ремизова, Гумилева, А. Ахматовой и др.), Ю. Айхенвальда, «Поэты и поэтессы», Вл. Ходасевича «Статьи о русской поэзии» (1922).

10. Революционная стихия в русской литературе подверглась рассмотрению в солидной книге проф. П. Н. Сакулина о русской литературе и социализме (М., 1922), в очерках В. Е. Евгеньева-Максимова и В. Львова-Рогачевского о революционных мотивах русской литературы, в книге Ю. М. Стеклова «Борцы за социализм. Очерки из истории общественных и революционных движений в России» (М., 1918), в «Истории русской общественной мысли» Г. В. Плеханова (т. III «Движение русской общественной мысли после петровской реформы», М., 1917), в брошюре Д. Рязанова «Марксизм и русские люди 40-х годов» (2 изд.), в статье П. С. Юшкевича «Российский иллюзионизм» (к вопросу об интеллигенции—в журнале «Объединение», 1920, кн. 5) и в прочих многочисленных работах по истории революционного движения в России (эта тема требует особой библиографии).

11. Журналы. Перестали выходить дореволюционные журналы, отводившие свои страницы для историко-литературных работ. Возникли новые журналы: «Книга и Революция», «Вестник Литературы», «Летопись Дома Литераторов», «Печать и Революция», «Начала» и др. с подробной библиографией и с прекрасной хроникой литературной жизни России и Запада. На очереди—возрождение специальных научных историко-литературных журнальных органов.

Дополнения к статье «История русской ~~иллюстрации~~ в годы революции (Опыт библиографической сводки[1])

К рубрике 1. А. Горнфельд.—«Пути творчества». П., 1922.

К рубрике *3а).* М. Азадовский—«Эпическая традиция в Сибири» (Чита, 1921); Евгений Трубецкой—«Иное царство и его искатели в русской народной сказке» (Боровичи, 1922).

К рубрике *3в).* Выходят новые школьные курсы: проф. Н. К. Пиксанова—«Два века русской литературы (XVIII и XIX)» и проф. П. Н. Сакулина—«Русская литература XIX века» (М., 1922).

---

[1]) Получены после того, как вся статья была сверстана.

Проф. Н. К. Пиксанов выпустил ценный по методологической постановке исследования этюд «Грибоедов и Мольер. Переоценка традиции», М., 1922.

Тютчевиана: статья Л. Гроссмана—«Тютчев и сумерки династий» («Русская Мысль», 1918, янв.—февр.), ст. Александровской в одесском сборнике в пользу голодающих «Посев» (1921), «Тютчевиана. Сборник неопубликованных эпиграмм, афоризмов и острот Ф. И. Тютчева, под ред. Г. И. Чулкова» (П., 1922), «Тютчев. Сборник статей (сост. А. Тиняков). Редакция А. Л. Волынского» (М., 1922), проф. Карсавина—«Тютчев» (П., 1922) и ст. Н. В. Шарова—«Стихотворения Г. Гейне в переводе Ф. И. Тютчева» («Труды Белорусского Госуд. университета», № 1, 1922).

К рубрике *5а)*. Переписка И. С. Тургенева с П. В. Анненковым. Найдена в Симбирске и издана Центроархивом (М., 1922).

К рубрике *5б)*. Книга Л. Гроссмана—«Жизнь и творения Достоевского» (М., 1922), «Достоевский в изображении его дочери» Л. Достоевской (П., 1922), статьи: А. В. Луначарского—«Достоевский, как художник и мыслитель» («Красная Новь», кн. 4), В. Виноградова—Стиль и композиция «Двойника» («Начало», сб. I), А. Долинина—«Герценизм и Достоевский» (там же).

К рубрике *5б)*. Книги В. Евгеньева-Максимова—«Печальник народного горя и певец народной свободы» (М., 1919), «Некрасов. К столетию рождения. Жизнь, поэзия, программа чествования; текст избранных произведений» (П., 1921), «Жизнь и поэзия Некрасова» (популярный очерк, П., 1921), «Некрасов—певец Северного края» (Ярославль, 1921), книга К. Чуковского—«Некрасов, как человек и поэт» (М., 1922). Статьи: В. Плетнева—«Некрасов и современность» («Красная Новь», кн. 4) и С. Боброва.

5д). Юбилей Мея. К столетию рождения поэта его биограф Вл. Пяст выпустил изборник его стихов, со своей статьей об его поэзии («Мей и его поэзия», СПБ., 1922).

К рубрике *6а)*. Статьи: Розы Люксембург—«В. Короленко» («Красная Новь», кн. 2), П. С. Когана—«Памяти В. Г. Короленко» (там же, кн. 5) и брошюра В. Евгеньева-Максимова—«Великий гуманист» (В. Г. Короленко), П., 1922.

К рубрике 7. Б. Энгельгардт «Введение в эстетику слова» (П., 1922 г.), Б. Эйхенбаум — «Сквозь литературу» (статьи), П., 1922.

К рубрике 8. Об Островском: Н. Е. Эфрос — «Александр Николаевич Островский, П., 1922 («Биографическая Библиотека»).

О Л. Н. Толстом: В. Г. Чертков—«Уход Толстого» (М., 1922), А. Б. Гольденвейзер—«Дневник о Толстом 1899—1910 гг.» (М., 1922), Л. Аксельрод-Ортодокс—«Л. Н. Толстой. Сборник статей». М., 1922, В. Вересаев—«Художник жизни» (статья) в «Красной Нови», кн. 4 и отдельное издание.

Ряд статей по истории рус. литературы—в одесском сборнике в честь проф. Б. М. Ляпунова («Уч. Записки Одесской Высшей Школы», вып. 2, 1922).

Вышла биография Д. И. Писарева, написанная Казановичем по архивным материалам.

В сборнике «Памяти Людвига Фейербаха» (изд. Гос. Изд. Украины) имеется статья А. Машкина—«Фейербах и его влияние на литературную критику».

В «Русском Евгеническом Журнале», т. I, в. 1 (1922), помещена статья А. Серебровского «Генеалогия рода Аксаковых».

К рубрике 10. В. И. Семевский. «Буташевич-Петрашевский и петрашевцы» (изд. «Задруги»). Святловский—«Русский утопический роман» (П. Г. 1922).

К статье „Русская графика". Рис. худ. Критской.

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ И ПЕЧАТНОЕ ДЕЛО

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КНИЖНОЙ ПАЛАТЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ.

Н. Яницкий.

В настоящий момент, когда вышла «Книжная Летопись» за 1919—1920 гг. и значительную часть 1921 года [1]), когда 1922 год близок к выходу в свет в срок, кажется, возможно дать первую, хотя бы и грубую, обработку материала под углом зрения статистики.

В статье «О Российской Центральной Книжной Палате» («Печать и Революция», 1922, кн. 1) приводилась справка о вышедших в России непериодических и периодических изданиях с 1908 по 1921 гг. Теперь представляется возможным 1) ввести корректив в цифровые данные в виду выхода журнала за 1919—1921 гг.; 2) подтвердить и развить вывод, который был сделан тогда мимоходом о видах на 1922 г., половина которого прошла, и картина уже закреплена на страницах «Летописи» [2]).

ТАБЛИЦА I.

Справка о вышедших в России книгах с 1908 по 1922 гг.
(«Кн. Летопись» за указ. годы).

Годы.	Книги.	Годы.	Книги.	Годы.	Книги.
1908	23852	1913	34006	1918	4257
1909	26638	1914	32338	1919	6798
1910	29057	1915	26044	1920	3260
1911	32361	1916	18174	1921	4529
1912	34630	1917	13144	1922	8000 [3])

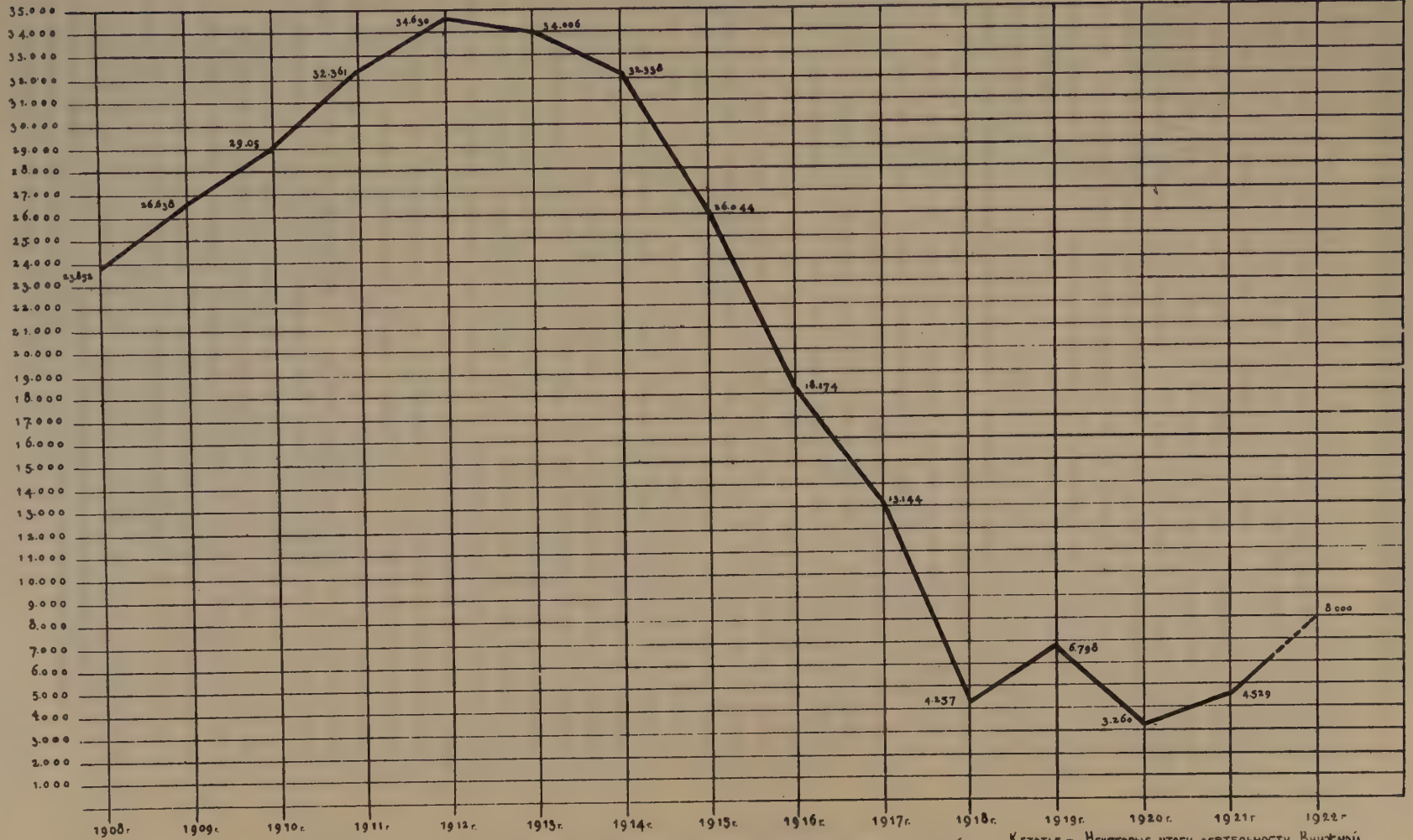
[1]) Невышедшие №№ за 1921 год подготовлены к печати Отделом Редакции Российской Центральной Книжной Палаты; автор пользовался ими на месте.

[2]) Необходимо оговориться — все данные статьи касаются: 1) исключительно книг, 2) января—июня (вкл.) 1922 года.

[3]) За первую половину 1922 года прошло через «Летопись» 3.965 книг, годовая цифра получена путем удвоения.

„Книжная Летопись" с 1908 по 1922 г.

[погодное распределение]



[Цифра 1922 г. – приблизительная, на основании первой половины 1922 г. – 3.965.

К статье – „Некоторые итоги деятельности Книжной Палаты последних лет."

В 1922 году намечается определенный перелом, ясно заметный по таблице I: за половину текущего года зарегистрировано Книжной Палатой книг—4.209 [1]). Даже если считать вторую половину года соответствующей первой, количество книг в конце 1922 г. должно достичь восьми тысяч названий. Однако, есть основания думать, что цифра эта перевалит за 8 тысяч. Основания таких оптимистических надежд следующие: первые 6 месяцев 1922 года отражают в значительной своей части деятельность Палаты до ее реорганизации и до введения в действие новых распоряжений Наркомпроса от 12 января и 6 мая 1922 года; последние дали в руки Палаты прочный фундамент для борьбы с недоставкой изданий.

Внимательное ознакомление с таблицей I и соответствующей ей диаграммой (см. диаграмму) приводит к выводу, который, по всей вероятности, применим не только к положению издательского дела за последние годы, но и к другим отраслям нашей промышленности: к 1912 г.—подъем и притом поразительно равномерный (линия 1908—1912 на диаграмме почти прямая). Это соответствует обычному представлению о громадном росте нашей промышленности этого периода. 1913 год характеризуется, быть-может, случайным незначительным падением (вернее—приостановкой роста) и затем—1914 год—война, и книжная Россия, как и вся остальная, покатилась по наклонной плоскости: линия уклона почти отвесно крута и неизменна. Война повинна в $^2/_3$ нашего падения: с 34 тысяч книг Россия к концу 1917 года скатилась до 13 тысяч. Получивши небывалый толчок вниз, книга продолжает падение, но уже далеко не с той силой: надо удивляться годам гражданской войны, которые, строго говоря, скорее приостановили колоссальную инерцию нашего военного падения—на таблице к 1918 году падение выражается цифрой в 4 с лишним тысячи, к 1920—в 3 с небольшим тысячи (максимум падения), т.-е. еще на $^1/_3$ в сравнении с 1912 годом (на 10 тысяч); не надо забывать, однако, о площади, которая составляла тогдашнюю (уже Советскую) Россию, и о тех невероятных трудностях, в которых вообще происходила всякая работа и, в частности, работа Российской Книжной Палаты. Если учесть оба эти обстоятельства, то книжная продукция как Советской России, так и России Советской плюс Белой за годы гражданской войны, несомненно, должна быть поднята, по крайней мере, на 50%, иначе говоря, уклон падения уменьшится на ту же величину. Но вот гражданская война окончена—и 1921 год намечает уже слабый перелом, 1922 год определенно продолжает его и притом взяв более быстрый темп.

Интересно сравнить, хотя бы очень бегло, эти данные о падении книжной продукции России с данными западных стран: в статье И. Звавича такая справка была дана [2]): оказывается, что в 1919 году количество выпускаемых из печати книг по сравнению с наивысшим по производитель-

[1]) Цифра 4.209 не противоречит цифре 3.965 в виду того, что первая выражает количество названий книг, прошедших через регистрацию Палаты, вторая же—лишь те названия, которые зарегистрированы журналом «Книжная Летопись».

[2]) «Печать и Революция», 1921, кн. 3.

ности за 10-летие годом понизилось в Англии (1913—12.379, 1919—8.662), Франции (1913—10.758, 1919—5.171) и Соединенных Штатах (1913—12.230, 1919—8.594), т.-е. в крупнейших западных капиталистических странах.

Воздерживаясь от анализа периодической печати 1922 г., какой удобнее сделать лишь в конце года, подробнее ознакомимся с данными о книгах, ирошедших через отдел регистрации Палаты (исключается, конечно, тот материал, который в «Книжной Летописи» за 1921—22 гг. носит наименование «листовок» и «плакатов»).

Уже из таблицы I ясно усиление притока изданий в Палату в 1922 году: в то время, как на один месяц 1920 года падает поступление 270 названий, один месяц 1921 года дает число регистрируемых изданий в среднем—375, 1922 года—700. Распределение по месяцам поступления этого материала делает еще нагляднее вывод:

ТАБЛИЦА II.

Движение книг через отдел регистрации Книжной Палаты.

За январь—июнь 1922 года.

Январь	436	Апрель	654
Февраль	464	Май	872
Март	851	Июнь	932
		Всего	4.209

Книга не только увеличивается в числе, но и растет в объеме; это станет сейчас очевидным из таблицы V; хотелось бы только предварительно выяснить, какие виды издательств и в какой мере участвуют в издательском деле последних лет. Для сравнения берем цифры 1921 и 1922 годов (1921—год начала новой экономической политики—является безусловно годом перелома):

ТАБЛИЦА III.

Распределение книг по издательствам.

(*«Кн. Лет.», 1921 и 1922 гг., янв.—июнь*).

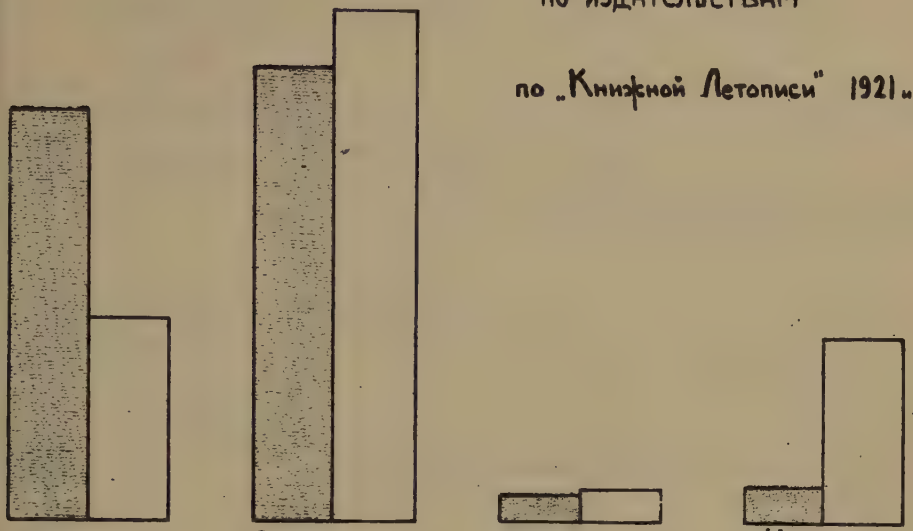
	Книги издания 1921 года.	Книги издания 1922 года.
Государственное Издательство.		
1. Главное Управление (Москва).	547	262
2. Московское Отделение	28	41
3. Петрогр. Отделение	274	125
4. Др. местн. Р. С. Ф. С. Р.	1.015	144
Итого	1.864=44,5%	572=21,9%

К ТАБЛИЦЕ III.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КНИГ 1921 и 1922 гг.

ПО ИЗДАТЕЛЬСТВАМ

по „Книжной Летописи" 1921 и 1922 гг.
(Янв.-Июнь)



	Госиздат		Ведомственные		Партийные		Частные	
	1921	1922	1921	1922	1921	1922	1921	1922
	1864	572	2057	1443	125	79	145	514
	44.3%	21.9%	49.0%	55.3%	3.0%	3.1%	3.5%	19.7%

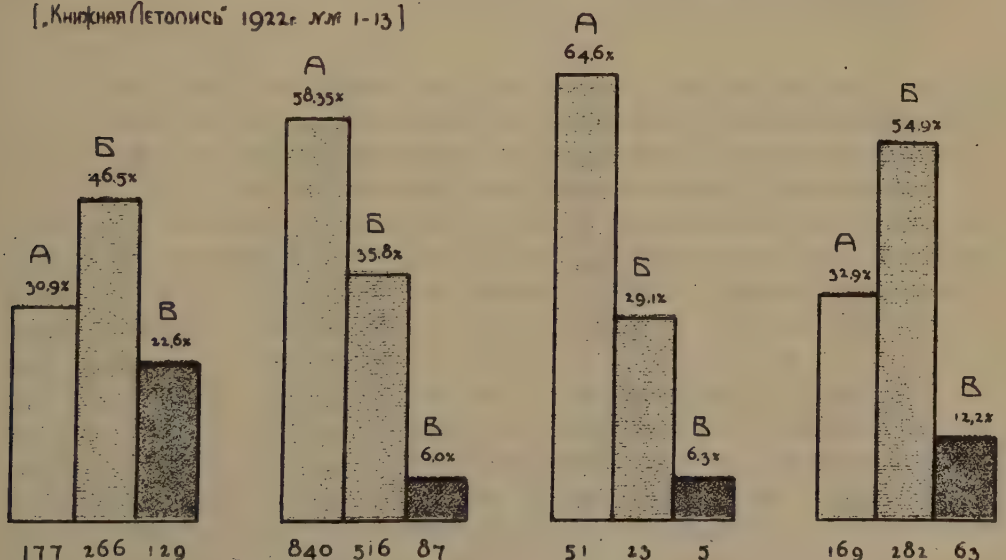
Всего: 1921 г. — 4.191 и 1922 г. — 2608.

К статье — „Некоторые итоги деятельности Книжной Палаты последних лет"

К ТАБЛИЦЕ IV

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КНИГ 1922 г. ПО ОБЪЕМУ И ИЗДАТЕЛЬСТВАМ

[„Книжная Летопись" 1922 г. №№ 1-13]



Группа А — до 32 стр., Б — до 160 стр., В — свыше 160 стр.

К статье — „Некоторые итоги деятельности Книжной Палаты последних лет"

	Книги издания 1921 года.	Книги издания 1922 года.
Ведомственные издательства.		
1. Москва	701	737
2. Петроград.	365	253
3. Др. местн. Р. С. Ф. С. Р. . . .	991	453
Итого. .	2.057=49,0%	1.443=55,3%
Партийные издательства.		
1. Москва	22	38
2. Петроград	20	9
3. Др. местн. Р. С. Ф. С. Р. . . .	83	32
Итого. .	125=3,0%	79=3,1%
Частные издательства.		
1. Москва	51	261
2. Петроград	71	211
3. Др местн. Р. С. Ф. С. Р. . . .	23	42
Итого. .	145=3,5%	514=19,7%
Всего. .	4.191=100%	2.608=100%

(*См. диаграмму*).

Взявши не абсолютные, но относительные цифры, получим следующие выводы: 1) Госиздат потерял по количеству названий свыше 20%; 2) частные издательства выиграли свыше 15%; 3) ведомственные издательства незначительно усилили свою деятельность; 4) несомненно, сокращение деятельности отделений Госиздата на местах (не считая, конечно, Петрограда): в 1921 году местные Госиздаты дали приблизительно в $1^1/_4$ раза больше того, что дали столицы, в 1922 г. цифра производительности местных отделений Госиздата в сумме в 3 раза меньше такой же цифры Москвы и Петрограда.

Потерял ли, однако, Госиздат в действительности указанные выше 20%? Для анализа надо обратиться к цифрам об объеме книг. В нижеследующей таблице все книги 1922 года, зарегистрированные в «Летописи» того же года, распределены по группам: I—до 8 стр. ($^1/_2$ л.), II—до 16 стр. (1 л.), III—до 32 стр. (2 л.), IV—до 80 стр. (5 л.), V—до 160 стр. (10 л.), VI—до 320 стр. (20 л.), VII—до 480 стр. (30 л.), VIII—до 640 стр. (40 л.), IX—до 800 стр. (50 л.), X—свыше 800 стр. (св. 50 л.).

ТАБЛИЦА IV.

Распределение книг издания 1922 г. по объему (томов).

(«Книжная Летопись», 1922 г., январь—июнь).

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Итого
А. Госиздат.											
1. Гл. Упр. Москва.	2	28	38	64	61	35	29	5	—	—	262
2. Моск. Отд.	1	3	5	9	13	6	4	—	—	—	41
3. Петр. Отд.	2	8	12	34	32	27	8	2	—	—	125
4. Др. местн. Р. С. Ф. С. Р.	14	23	41	35	18	11	1	1	—	—	144
	19	62	96	142	124	79	42	8	—	—	572
Б. Ведомств. издательства.											
1. Москва . .	168	112	139	166	103	38	7	2	1	1	737
2. Петроград.	71	59	39	39	28	13	4	—	—	—	253
3. Др. местн. Р. С. Ф. С. Р.	70	63	119	120	60	18	3	—	—	—	453
	309	234	297	325	191	69	14	2	1	1	1.443
В. Партийные издательства.											
1. Москва. . .	9	5	9	11	1	2	1	—	—	—	38
2. Петроград.	3	2	1	2	—	1	—	—	—	—	9
3. Др. местн. Р. С. Ф. С. Р.	5	6	11	6	3	1	—	—	—	—	32
	17	13	21	19	4	4	1	—	—	—	79
Г. Частн. изд.											
1. Москва. . .	5	42	50	78	54	28	3	1	—	—	261
2. Петроград.	2	12	34	66	67	26	4	—	—	—	211
3. Др. местн. Р. С. Ф. С. Р.	5	10	9	11	6	1	—	—	—	—	42
	12	64	93	155	127	55	7	1	—	—	514
Всего:	357	373	507	641	446	207	64	11	1	1	2.608
в %%:	13,7	14,3	19,4	24,6	17,1	7,9	2,5	0,4	0,1		100%

(См. диаграмму).

Наиболее распространенная книга 1922 года—IV группы, т.-е. между 32 и 80 стр. (24,6%), та книга, которую можно назвать «книжкой». Интересно сравнить ее с объемом книги 1920 и 1921 года.

ТАБЛИЦА V.

Распределение книг издания 1920—21 и 22 гг. (янв.—июнь) по объему.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Итого.
1920	352	591	765	744	346	183	56	14	3	3	3.057
в % % . .	11,5	19,4	25,0	24,3	11,3	6,0	1,8	0,5	0,1	0,1	100%
1921	730	828	923	976	483	230	49	13	1	2	4.235
в % % . .	17,2	19,6	21,8	23,0	11,4	5,4	1,2	0,3	0,1		100%
1922	357	373	507	641	446	207	64	11	1	1	2.608
в % % . .	13,7	14,3	19,4	24,6	17,1	7,9	2,5	0,4	0,1		100%

Как видно из таблицы, центральную группу для 1920 года составляют книги объемом от 16 до 32 страниц (иначе говоря в 1—2 листа), т.-е. книга, подходящая под название «брошюры». 1921 год характеризуется «книжкой», т.-е. той же IV группой объема, что 1922 год, хотя в 1922 году V группа занимает уже 17% вместо 11% 1920 и 1921 годов.

Попробуем углубить анализ: условимся считать «брошюрой» группы I—III, «книжкой»—IV и V, «книгой»—от VI и выше, и постараемся в этом направлении разбить материал; тогда окажется возможным уловить замаскированную разницу 1921 и 1922 годов, на первый взгляд характеризующихся одной и той же IV группой.

	А. (I—III)	Б. (IV—V)	В. (VI—X)	Итого.
1920	55,9%	35,6%	8,5%	100%
1921	58,6%	34,4%	7,0%	„
1922	47,4%	41,7%	10,9%	„

Теперь ясно, что при сравнении книг издания 1921 с 1922 годом, последний определенно продолжает прогрессирующую тенденцию своего предшественника и ни в коем случае не означает приостановки в расширении объема книги, как это могло казаться из таблицы V.

Еще интереснее произвести сопоставление объема книг с издательствами, хотя бы для книг издания 1922 года.

Согласно таблице IV группировка материала по крупным рубрикам А, Б и В будет следующей:

	А. (I — III)	Б. (IV — V)	В. (VI — X)	Итого.
Госиздат.	177	266	129	572
в %%.	30,9	46,5	22,6	100
Ведомствен. издат. .	840	516	87	1.443
в %%.	58,2	35,8	6,0	100
Парт. издат.	51	23	5	79
в %%.	64,6	29,1	6,3	100
Частные издат. . . .	169	282	63	514
в %%.	32,9	54,9	12,2	100

Итак, в Государственном Издательстве и в частных издательствах преобладает больше, нежели в других видах издательств, тот вид, который выше назван «книжкой», в то время как «брошюра» у них стоит на втором плане. Напротив, ведомственные и партийные издательства попрежнему сохраняют тип издания более ранних годов—с преобладанием «брошюры». Конечно, вывод этот можно было бы дать и априорно, исходя из условий новой экономической политики. Однако, сейчас он прочнее опирается на язык цифр, к тому же нагляднее. Да оно и понятно.

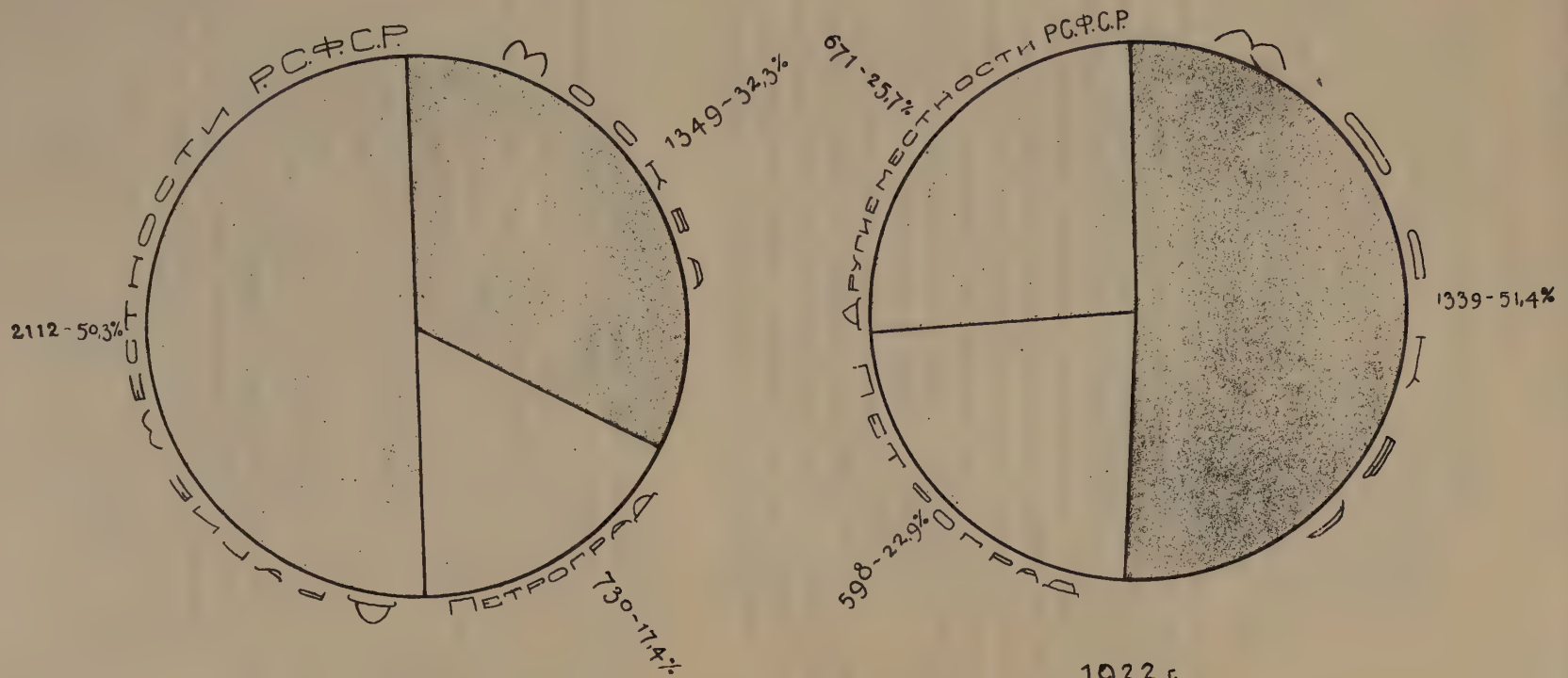
Государственное Издательство, вместе с новой экономической политикой, освободилось от массы ведомственной литературы, сдало попечение о ней самим ведомствам и перешло к печатанию не «брошюры», но «книжки», с уклоном в сторону «книги» (т.-е. произведений печати свыше 160 стр.). Действительно, при рассмотрении только что приведенной таблицы становится очевидным, что правый столбец (т.-е. столбец «книги») силен только у Госиздата, достигая $^1/_4$ всего печатаемого последним, и хотя группа В стоит на третьем месте (Б, А, В), предсказание для Госиздата благоприятно—несомненно, у Госиздата уклон именно в эту сторону. То же, пожалуй, можно сказать и о частных издательствах, но нельзя повторить об издательствах ведомственных и партийных, где подавляет группа А.

Вопрос об издательствах и об объеме книг стоит в самой неразрывной связи с вопросом о месте издания. Обратимся к последнему. Книги разбиты на 3 большие группы: 1) «Москва», 2) «Петроград» и 3) «Другие местности Р. С. Ф. С. Р.». Желательно было бы перегруппировать эти данные по районам, по федеративным составным частям, но вряд ли этот материал надежен, так как Палата лишь с июля текущего года получала право требования обязательных экземпляров от всех частей федерации. Вот почему цифры, например, украинского издательского дела будут далеки от действительности. Не будем поэтому разбивать материал по районам и ограничимся словами «Другие местности Р. С. Ф. С. Р.». В общих чертах данные эти представляются в следующем виде:

Распределение книг

1921 и 1922 г. по месту издания

[по „Книжной Летописи" 1921–1922 г. (Янв.–Июнь)]



1921 г. 4.191 — ВСЕГО — 1922 г. 2.608

К статье – „Некоторые итоги деятельности Книжной Палаты последних лет"

П.Я.

ТАБЛИЦА VI.

Распределение книг по месту издания.

	Книги издания 1921 г.	Книги издания 1922 г. (янв.—июнь).
Москва	1.349 = 32,3%	1.339 = 51,4%
Петроград	730 = 17,4%	598 = 22,9%
Др. местн. Р. С. Ф. С. Р.	2.112 = 50,3%	671 = 25,7%
Всего:	4.191 = 100%	2.608 = 100%

(*См. диаграмму*).

Сам собой напрашивается вывод—рост книжной производительности в столицах и ослабление ее в других частях республики (подразумевается в процентных отношениях, а не в абсолютных числах): Москва и Петроград дали 50% книг 1921 года, 75% книг 1922 года (увеличение на целых 25%). Подмеченный факт едва ли нуждается в объяснениях: пока провинция и вообще окраины могли печатать ведомственную литературу, они печатали—и печатали довольно большие книги («Книжная Летопись» 1921 года полна отчетами, протоколами, материалами, инструкциями и тому под. провинциальными изданиями. С переходом на хозяйственный расчет при новой экономической политике повсюду, за исключением столиц, сильно сократилось печатание этих изданий».

Получается любопытнейшая картина, если рассмотреть подробно таблицу IV в отношении распределения книг по месту издания и объему. Перестроив ее таким образом, чтобы получить отдельно общую сумму каждой из групп местностей, в конечном итоге получим следующее:

ТАБЛИЦА VII.

Распределение книг издания 1922 года по месту издания и объему.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Итого.
Москва . . .	185	190	241	328	232	109	44	8	1	1	1.339
в %% . . .	13,9	14,2	18,0	24,5	17,3	8,1	3,3	0,6	0,1		100 %
Петроград . .	78	81	86	141	127	67	16	2	—	—	598
в %% . . .	13,0	13,8	14,4	23,5	21,2	11,2	2,6	0,3	—	—	100 %
Др. м. РСФСР.	94	102	180	172	87	31	4	1	—	—	671
в %% . . .	14,0	15,2	26,8	25,6	13,0	4,6	0,6	0,2	—	—	100 %

Применяя ту же перегруппировку—соединение групп в крупные их виды (А, Б, В), получим опять наглядное представление об отличии столичных изданий от изданий других мест России, а именно:

	А (до 32 стр.)	Б (до 160 стр.)	В (св. 160 стр.)
Москва	46,1	41,8	12,1 = 100%
Петроград	41,2	44,7	14,1 = 100%
Др. мест. РСФСР .	56,0	38,6	5,4 = 100%

Таблица дает определенное подтверждение априорного вывода о различии в характере изданий мест и столиц: брошюрочная литература процветает на местах, занимая там свыше 50%. Правда, и столицы еще далеко не освободились от нее—до 40 с лишним %% отдают они брошюрам, но зато у них ясно вырисовывается уклон в сторону группы В, т.-е. выпуска настоящих, «толстых книг». Не лишено интереса то обстоятельство, что Петроград в этом отношении стоит впереди Москвы—он обладает наименьшей в %% отношении группой А и наибольшей группой В.

Перед нами еще несколько вопросов, среди которых интереснее всего вопрос о тех отраслях знания, к которым относятся книги издания 1922 года. Подведя итог всему материалу, индексированному в «Книжной Летописи» по международной десятичной системе (по первому знаку), приходим к таким суммам:

ТАБЛИЦА VIII.

Распределение книг 1922 года по отделам десятичной системы.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Итого
1921 г. . . .	75	21	10	2534	38	173	790	74	306	112	4133
в %% . . .	1,8	0,5	0,3	61,3	0,9	4,2	19,1	1,8	7,4	2,7	100 %
1922 г. . . .	77	27	21	1205	23	134	574	86	394	108	2649
в %% . . .	2,9	1,0	0,8	45,4	0,8	5 0	21,7	3,2	15,2	4,0	100 %

(*См. диаграмму*).

Подавляющее преобладание 3 отдела объясняется, конечно, включением в этот отдел почти всей «ведомственной литературы»—уставов, инструкций, протоколов заседаний, отчетов о съездах и т. д., и т. п. В этом отношении 1922 год дает несомненный прогресс в сторону уменьшения печатания этого материала: повидимому, ведомства начинают печатать только то, что действительно необходимо. Интересен приблизительный подсчет книг 1922 года, относящихся к типу «ведомственных» (подсчет этот приблизителен, потому что распределение изданий по типам—ведомственные, научные, учебные и т. п.—крайне субъективно); для объяснения крупных цифр 3 отдела десятичной системы необходимо указать на то, что «ведомственная литература» достигает 36% всего издающегося в России книжного материала 1922 года.

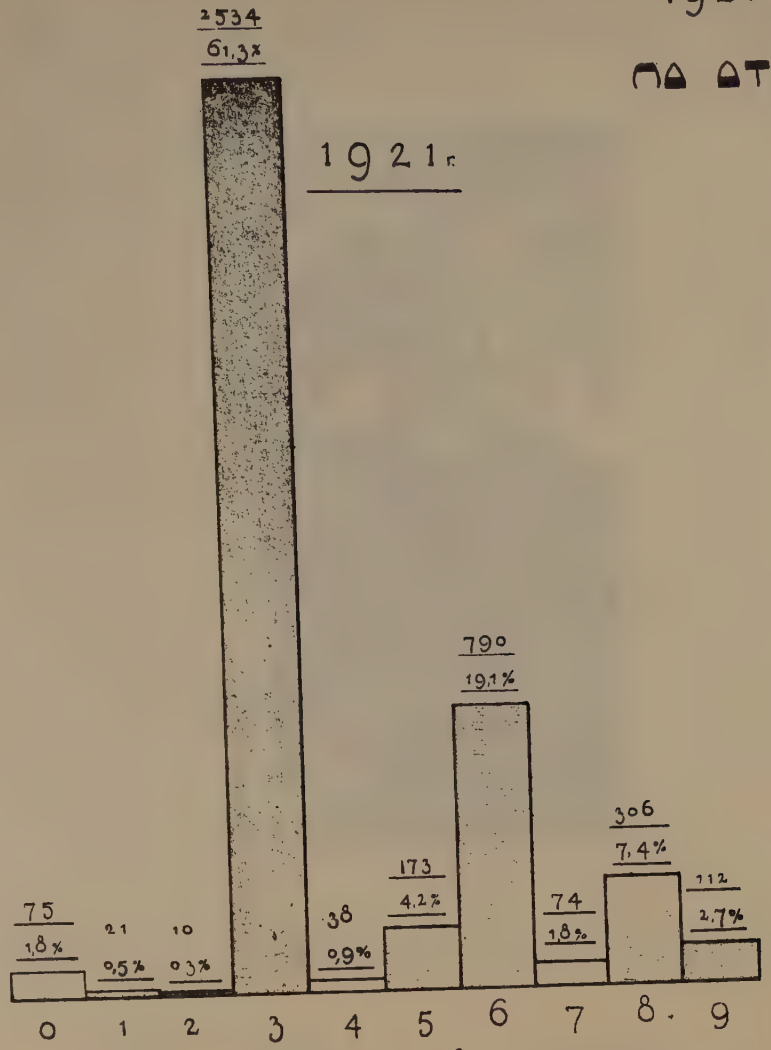
Таким выводом окончательно устанавливается преобладание или, вернее, засорение численного состава книг 1922 года ведомственной брошюрочной литературой.

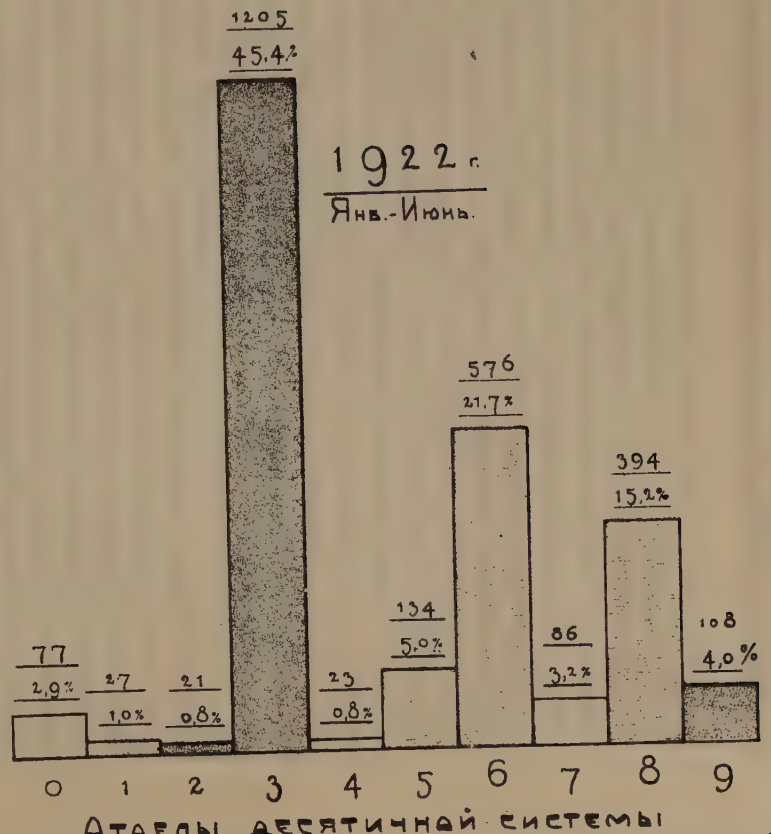
Громадное большинство книг «Летописи» 1922 года вышло на русском языке: из 4.209—4.022 на русском (95,6%) и 187 (4,4%)—на иных языках. Можно думать, что соотношение изменилось бы в пользу иноязычных книг, если бы Книжная Палата получила на полгода раньше

Распределение книг

1921 и 1922 гг.

по отделам десятичной системы





К статье - „Некоторые итоги деятельности Книжной Палаты последних лет"

право требования обязательных экземпляров от всей федерации; впрочем, едва ли изменение это было бы значительным.

В заключение несколько общих выводов, к которым привели статистические таблицы: после тяжелых лет империалистической и гражданской войны, когда кривая книжного пульса снизилась до небывало малой цифры, наступил перелом. 1922 год, несомненно, положил прочный фундамент поворота к усилению издательского дела—увеличивается количество книг, объем их растет, растут частные издания. Хотя Госиздат и не оспаривает уже в 1922 году первого места по количеству изданий, зато ему безусловно принадлежит оно в отношении качества книги, объема: именно его книга стала все дальше отходить от брошюры и все больше принимать вид «толстой» книги. К сожалению, о внешности книги говорить в статье, написанной исключительно по статистическим данным, не приходится; в противном случае, необходимо было бы констатировать громадный прогресс в этой области.

Прогноз сделан—сухой статистический материал, скучный язык цифр определенно доказывает, что в области издательского дела (как, вероятно, и в других областях) Россия, выйдя из состояния борьбы, вступает на широкий путь культурного строительства, первым показателем которого и чутким барометром является книга. Стоит только внимательно присмотреться к монотонным страницам «Книжной Летописи» или ближе, на месте, ознакомиться с текучим книжным материалом Палаты, почувствовать свежее дыхание печатного станка,—чтобы сказать: «тяжелое пережито, идем к лучшему».

К статье „Русская графика". Рис. худ. Прохорова.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПЕЧАТИ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ.

Краткий очерк.

М. Щелкунов.

I.

Прежде чем приступить к изложению развития юридических норм и мероприятий административного характера, которыми в течение пяти лет существования Советской Республики регулировались взаимоотношения государства и печати, автор должен сказать о тех идеологических предпосылках, на которых покоится это взаимоотношение в правовом государстве.

С этим жгучим вопросом происходит, по мнению многих представителей русской интеллигенции, что-то странное: те самые большевики (и примыкающие к ним), которые в течение всей борьбы с самодержавием выдвигали требование свободы печати, получив власть, стали на иную платформу и «душат свободную печать». «Может ли уважающая себя социалистическая власть», и т. д.

Однако, подобная «аргументация», чрезвычайно прочно укоренившаяся в психологии интеллигента-обывателя и подкрепляемая «научными данными», охотно фабрикуемыми авторитетами из соответствующего лагеря, покоится на грустном недоразумении, так сказать, на историческом атавизме.

Вопрос о «гражданских свободах», в число которых входит и так называемая «свобода печати», является одним из самых запутанных для юристов-государствоведов. Где границы этих свобод? Если государственная власть в данной стране существует на основании полномочий населения страны или даже вопреки воле населения,—что, впрочем, доказать без референдума невозможно,—то имеет ли право законодатель на стеснение гражданских свобод? Насколько правомочна или неправомочна личность защищать в этом случае свои субъективные—трудно отделимые от публичных—права? Следовательно, являются ли эти «права» неотъемлемыми для гражданина демократического государства или, наоборот, условными, поскольку суверен государства—народное представительство—в любой момент, из соображений государственного интереса, эти права может отнять, расширить, сузить?

Но, при всей запутанности и сложности этого вопроса, мы не найдем ни у одного современного серьезного юриста-государствоведа, кроме

анархистов, ни одного аргумента в защиту хотя бы одной из «гражданских свобод» в неограниченной форме; наоборот, положительно *все* юристы-теоретики, касаясь вопросов этой категории, подчеркивают право государственной власти,—независимо от ее правового обоснования, впрочем, следующего вслед за овладением властью, — на ограничение «гражданских свобод» — не только в интересах сохранения этих свобод, но и для ограждения самых основ правового общества.

Если мы обратимся за подтверждениями, то у одного из крупнейших основоположников государствоведения, Георга Мейера, найдем следующее:

«Величайшие успехи, достигнутые в политической, экономической и социальной жизни народов, были бы немыслимы, если бы субъективные права (граждан) являлись абсолютными ограничениями государственной власти. Их неприкосновенность не может поэтому выставляться, как безусловный принцип. Нарушения их допустимы, если вызываются высшими требованиями общего блага» [1]).

Этот *типичный* для европейских государствоведов взгляд вполне разделяется и всеми крупнейшими русскими государствоведами; если мы обратимся к сочинениям, изданным перед революцией, то увидим следующее:

Так, проф. А. И. Елистратов приводит резюме взглядов на отношение государства к личности одного из крупнейших представителей европейского государствоведения, Еллинека:

«В идее автономной личности, ни в чем не обязанной принципиальному повиновению государственной воле, Еллинек видит представление, несовместимое с природой государства. Без повиновения подданных государственная власть не может существовать... Вся государственная власть основана на повиновении подданных, вся ее деятельность есть претворенное повиновение» [2]).

Не соглашаясь с этой точкой зрения, опять-таки типичной для тех немецких государствоведов, которые видят в государстве «живой организм», проф. А. И. Елистратов, тем не менее, сильно ограничивает понятие «гражданских свобод»:

«Идея абсолютной свободы несовместима с обязательной общественной миссией государственного управления. Задачам государственного управления, усложняющимся по мере развития культуры, присваивается характер необходимых для общежития функций, которые должны быть осуществляемы независимо от воли отдельных лиц. Вследствие этого, индивид получает в государстве не более как ограниченную свободу: личное самоопределение согласуется с публичными интересами в понимании их со стороны правящих [3]).

---

[1]) Цитирую по русскому изданию: «Георг Мейер. Государство и приобретенные права». СПБ. 1909. Стр. 12. Не привожу параллельных цитат из книг, не переведенных на русский язык и мало доступных поэтому рядовому читателю.

[2]) А. И. Елистратов. «Основные начала административного права», изд. II Москва, 1917 г., стр. 122.

[3]) Там же, стр. 123. Курсив наш.

Другой наш известный государствовед, проф. С. А. Котляревский, говорит еще более решительно:

«Юридический фанатизм: pereat mundus fiat justitia не лучше всякого другого фанатизма. Никакое государство не может исключить наступления таких обстоятельств, в которых правовая последовательность разрывается. Никакое государство, какова бы ни была его политическая форма или социальный состав, не отдаст себя на гибель для того, чтобы проявить свою преданность *правовым началам*. Всякие в этом смысле преувеличенные требования и ожидания могут лишь *компрометировать правовые начала:* никто этого не понимал лучше Иеринга [1]), который высоко ценил и право и борьбу за право» [2]).

Наконец, проф. Б. А. Кистяковский говорит об ограничении свободы личности государством, как о чем-то само собой разумеющемся [3]).

Приводя все эти в сущности близкие между собой со стороны принципиальной мнения, мы хотим показать, что, с точки зрения европейской государственной науки,—столь высоко ценной для противников Советской власти по «правовым» соображениям, — «нарушение всех гражданских свобод!» — эти самые противники оказываются с точки зрения права совершенно несостоятельными или хотят быть таковыми, но тогда придется их упрекнуть в сознательном, умышленном игнорировании *правовых* понятий при защите *права*.

Для того, чтобы уяснить окончательно, как же объясняется настойчивое требование свободы печати, раздававшееся со стороны всех партий—кроме кадетов и октябристов—во время борьбы до 1918 года, следует принять во внимание значение печати.

Считать печать чем-то самодовлеющим, независимым в государстве институтом могут только очень наивные люди: еще Петр Великий, еще Наполеон прекрасно поняли значение печати, как орудия борьбы за власть; любопытен афоризм последнего по этому поводу в заседании Государственного Совета: «Печать—это арсенал, к которому нельзя подпускать всех и каждого» [4]). И, конечно, владеть в данном государстве свободой слова—это значит: иметь власть—для законодателя, это значит: получить прекрасное орудие в борьбе за власть—для активной оппозиции.

И естественно, что агитационная литература в России преследовала определенную цель—убедить всех и каждого, в том числе и пра-

---

[1]) Иеринг—третий крупнейший основоположник современного европейского государствоведения. Таким образом, не умышленно мы собрали мнения этой блестящей в глазах европейских юристов плеяды: Мейер—Еллинек—Иеринг.

[2]) Проф. С. А. Котляревский. «Власть и право, проблема правового государства». Москва. 1915. Стр. 386. Курсив наш.

[3]) Проф. Б. А. Кистяковский. «Социальные науки и право». Москва. 1916 г. Стр. 561. Там же об ограничении свободы личности у Огюста Конта, стр. 497.

[4]) См. в особенности новую книгу Синклера «Медная марка», где об американской «свободе печати» много разительных разоблачений.

вительство, что «свобода печати всюду признается одной из самых главных гарантий гражданина», как писал, например, Дионео [1]). Но оказывается, что это «всюду» надо понимать весьма ограниченно: речь у Дионео идет только об Англии. Однако, мы хорошо знаем, что, при невероятном мещанстве английского общества, достаточно прочесть по этому поводу корреспонденции того же Дионео в покойных «Русских Ведомостях»—свобода печати для Англии звук пустой, практика военной цензуры с 1914 г. это хорошо показала; к тому же, она стеснена рядом судебных решений; по поводу же свободной Америки—вспомним сообщения Синклера о том, как трудно найти издателя для социалистической книги. Вспомним и каторжные работы для *«неумеющих»* пользоваться этой призрачной свободой [2]). И, конечно, более прав был Г. Зиновьев, когда писал: «Особенно близко вопрос о свободе печати касается рабочих. Обездоленные классы больше всего заинтересованы в том, чтобы печать была свободна. Свободное слово нужно им, как светоч просвещения, как великий голос, созывающий всех эксплоатируемых и порабощенных в один стан» [3]).

Любопытно отметить, что представители умеренных партий во время борьбы с самодержавием отнюдь не требовали «свободы печати»; они лишь хотели расширить рамки для себя, оставив их для последовательных противников самодержавия. Об этом мы читаем в той же брошюре Г. Зиновьева, с сопровождением ряда доказательств, и то же мы видим в известной книге проф. А. Градовского,—«О свободе русской печати»,—где эта свобода понимается весьма условно.

Таким образом, оказывается, что и в то время кадеты и близкие к ним публицисты требовали ограниченной свободы печати. Г. Зиновьев требовал полной свободы, но определенно говорил об «обездоленных классах». И для Г. Зиновьева и для кадетов важна была цель: получить орудие *борьбы за власть*. И не для передачи власти в руки кадетов хлопотал т. Зиновьев; и не для торжества пролетариата старались кадеты и октябристы. Но власть ушла из рук первых, ее завоевали в Октябре 1917 года рабочие и крестьяне,—и роли переменились.

И, следовательно, ныне все те, кто требует свободу печати в Советской России, требует в сущности не свободу печати,—в виде отвлеченного, абсолютного, самодовлеющего правового принципа,—а свободу печати *для себя*, свободу борьбы с существующим строем.

Так было—так будет.

И, конечно, ни одна государственная власть, которая искренне считает и в сущности не может не считать, поскольку власть ей принадлежит,—*что она существует по праву*,—не может предоставить свободу печати тем группам населения, которые обнаруживают намерение эту власть отнять у правительства, чтобы присвоить ее себе.

---

[1]) Цитирую по Paul Duponte, «Histoire de l'Imprimerie», Paris. 1854, т. I, стр. IX.

[2]) Дионео. «Свобода печати», изд. II. СПБ. 1906.

[3]) Г. Зиновьев. «Вокруг свободы печати». СПБ. 1914 г.

Рассуждать иначе могут только наивные младенцы, чуждые всякого понимания идеи государства или притворяющиеся таковыми.

Автор этих строк—и юрист и журналист, работавший в газетах социалистического направления с 1905 года. И должен сказать, что общий тон русской печати резко изменился с октября 1917 года; если до этого момента в газетах принимались разнообразные меры в целях проверки правильности сообщаемых сведений, то после Октябрьской революции в так называемых «антибольшевистских» газетах эта проверка по отношению к сведениям, выставляющим большевиков в невыгодном свете, была оставлена; автор сотрудничал в этот период, с октября 1917 года до лета 1918 года, в ряде московских газет, заведывал хроникой одного из социалистических органов, и должен констатировать, что хроника—и соответственно статьи—принимались тем охотнее, чем больше в них было «перца» против большевиков. Хроникер приносил «Новый ультиматум Мирбаха Советской власти», «Ссору Ленина с Троцким», «Где германские деньги, полученные Лениным»,—и газеты печатали, не проверяя, где источник заметок, насколько они правдивы. Когда автору настоящей статьи, вместе с представителями чуть не всех «антисоветских» и в большинстве социалистических газет, пришлось иметь дело с В. Ч. К., а затем с Рев. Трибуналом, то, конечно, источник заметок не был установлен,—это, мол, «редакционная тайна»,—хотя вопрос был вовсе не в «тайне», а в изобретательности хроникеров. Когда, при царском правительстве, автору пришлось с десяток раз выступать перед окружным судом и судебной палатой и однажды в сенате по известной 129 и другим статьям, то прежде всего защитой представлялись документальные доказательства правильности статей и заметок; здесь единственным доказательством было—«и в других газетах то же самое напечатано».

О доказательствах теперь не заботились, ибо заметки и статьи помещались в этот период не с целью «освещения истины», «борьбы с темными явлениями» и т. д., а с целью всеми средствами дискредитировать существующую власть. И когда автор просматривает лежащие перед ним газеты—делается неловко: в одной из очень «солидных социалистических» газет он находит стихи, где, после сетования о том, как подорожали «мучка, мясо, масло, яички», поэт кончает:

В петлю влезь да дрыгни ножкою,
Не жалея душу юную:
Ну их к чорту и с коммуною.

Этот последний стон из желудка ничем в сущности не отличается от того вопля, который иногда доносится из-за границы в виде русских газет белогвардейского стана. Столько невероятной лжи и вздора не печаталось, вероятно, со времен Гутенберга; и явно большинство этой чепухи сфабриковано на месте, ибо ни один агент из России такой информации доставить не мог. Эта позорная сторона «вольной русской печати» после 1918 года объясняется, конечно, тем, что не в уважении

к «свободной печати», а в яростной борьбе за утраченную власть вся сущность дела.

И не нужно быть коммунистом, достаточно остаться объективным беспартийным человеком, чтобы признать, что Советская власть сделала бы невероятную ошибку, предоставив «свободу печати» всему тому шипящему элементу, который наполняет измышлениями зарубежную «свободную» русскую прессу, смотря на все происходящее в России сквозь ширму реквизированного салопа.

Сильна ненависть к настоящему из-за невозвратно потерянного уютного прошлого; и эта ненависть, а вовсе не «объективные правовые основы», диктует требование свободы печати для людей, которым самое понятие свободы органически чуждо и которые ее используют, прежде всего, для захвата власти и последующего отнятия всех «гражданских свобод» у народа.

II.

«Печать и торговля произведениями печати свободны. Применение к ним административных взысканий не допускается».

Так гласил первый закон, изданный правительством Российской Республики после свержения самодержавия; высказанная в нем юридическая норма казалась до такой степени естественной и настолько соответствовала общему настроению того момента, что с его опубликованием даже не торопились: революция произошла в начале марта 1917 г., закон этот принят правительством князя Львова 27 апреля, а напечатан в «Вестнике Временного Правительства» только 16 мая. В нем имеется и дальнейший, более обстоятельный, текст невинно-административного характера—о регистрации произведений печати и типографий.

И—увы!—в сравнении с другими конституционными законами о печати этот акт, по своему лаконичному содержанию, оказался самым неудачным; пропущено неизбежное «но», — «печать свободна, кроме случаев, предусмотренных законом», — что обычно отмечается и не может не отмечаться во всех конституциях, начиная с декларации прав 1789 года [1]).

Этот текст, в свое время не привлекший внимания юристов,—не до того было!—давал право призывать в печати к убийству, к поджогу, к еврейским и другим погромам, вообще к совершению любого преступления; и суд не в праве был, руководясь точным текстом закона, осудить никого и ни за что,—«пресса была вполне, абсолютно свободна». Пиши, кто хочет и что хочет.

---

[1]) «Право свободно сообщать свои мысли и мнения—одно из наиболее ценных прав человека; каждый гражданин может, следовательно, свободно говорить, писать и печатать, отвечая лишь в случае злоупотребления этой свободой, предусмотренного законом»—ст. 14, курсив наш.

«Печать—великая мученица за счастье и права человека»[1])—сбросила все цепи.

Увы! недолго длился праздник. Не прошло и двух месяцев с опубликования закона, как были закрыты все большевистские газеты и разгромлена редакция «Правды» в «административном порядке».

И, конечно, не могло быть речи о дальнейшей безоговорочной «свободе печати», был установлен прецедент — и затем всякое слово, истолкованное, как «стремление к ниспровержению», могло вызвать репрессии.

Но события развертывались так быстро, что Временное Правительство не успело привести дальнейших «административных» доказательств весьма условного понимания безоговорочной свободы печати.

Ибо борьба за власть между Советами и Временным Правительством перешла довольно быстро в область активных действий, и настало 7 ноября—окончательный момент перехода управления республикой в руки рабочих и крестьян

* * *

Политика рабоче-крестьянского правительства по отношению к печати за прошедший с этого момента пятилетний срок естественно распадается на четыре периода:

1. Время с 7 ноября 1917 г. по 19 июля 1918 года—день опубликования в «Известиях В. Ц. И. К.» конституции Р. С. Ф. С. Р.

2. От 19 июля 1918 года по 2 мая 1919 года—день издания декрета о Государственном Издательстве.

3. Долгий промежуток от этого момента до введения в действие «Уголовного кодекса Р. С. Ф. С. Р.»—1 июня 1922 г. и «Положения о Главном Управлении по делам литературы и издательства—Главлит» от 6 июня 1922 г.

4. От июня 1922 г. по настоящее время.

Первый период характеризуется колеблющимся, нерешительным отношением Советской власти к печати [2]); старые, привычные понятия о «революционной свободе слова» были сильны и мешали видеть надвигающуюся опасность; отсутствуют и юридические нормы карательного характера, и твердые принципиальные указания, если не считать читаемой между строк «Коммунистического манифеста» необходимости изъятия прессы из рук врагов диктатуры пролетариата.

До момента завоевания власти рабочими и крестьянами вся периодическая печать в России принадлежала самым разнообразным партиям—от правых до большевиков; но, конечно, голос большевистской печати был очень слаб, в особенности после июльского разгрома; лишь «Известия Советов» в некоторых городах велись большевистскими редакционными коллегиями, вся же масса газет и журналов принадлежала

[1]) Выражение Евг. Баранова,—«Свобода печати». Москва. 1917 г. Стр. 30.

[2]) См. также: В. Быстрянский. «Газета в буржуазном и пролетарском государстве». Птр. 1921 г. Стр. 70.

партиям, враждебными большевикам, и после переворота перед новым правительством стала дилемма: допускать ли существование печати, не разделяющей тактики партии, возглавляющей совершившие переворот рабоче-крестьянские массы, или уничтожить ее.

Первым серьезным—и необходимым—предупреждением для всех, видящих в периодической печати орудие для борьбы с новой властью, был декрет Совета Народных Комиссаров «о печати», опубликованный уже в № 1 «Газеты Временного Рабочего и Крестьянского Правительства» от 28 октября 1917 года.

Во вступительной части к декрету, подписанной В. И. Лениным, «Рабочее и Крестьянское Правительство обращает внимание населения на то, что в нашем обществе за этой либеральной ширмой фактически скрывается свобода для имущих классов, захвативших в свои руки львиную долю всей прессы, невозбранно отравлять умы и вносить смуту в сознание масс».

Декрет предусматривает закрытие газет лишь в случаях призывов к открытому сопротивлению или неповиновению Рабочему и Крестьянскому Правительству, явной клеветы по адресу Правительства и призыва к деяниям «явно преступного, т.-е. уголовно-наказуемого характера», т.-е. в случаях «абсолютно-необходимых».

Насколько широко должен был применяться этот декрет к органам периодической печати,—в то время для Совнаркома этот вопрос был далеко не решен.

Периодическая печать помогла Советскому правительству решить этот вопрос. Объективности от всей враждебной правительству печати ждать не приходилось, и даже стоящие на советской платформе левые эс-эры и анархисты отнюдь не склонны были в своей печати примиряться с большевиками, как большинством в Советах; что же касается до газет, на советской платформе не стоявших,—и буржуазных и буржуазно-социалистических,—то они все отрицательные явления жизни того времени, в том числе и несомненные результаты истощения страны из-за войны, возлагали на большевистское правительство, и общий лозунг, пропитывавший все содержание газет, выпукло конденсируется в вышеприведенном из социалистической газеты: «Ну их к чорту и с коммуною».

И вполне понятно, что, поскольку вся агитация-неправительственной прессы сводилась к борьбе за власть, в дело вмешался боевой орган по охране Советской власти—В. Ч. К.

При местных Ч. К. образовались подотделы, собиравшие газеты и др. произведения печати и отмечавшие наиболее резкие выпады против правительства; если к статьям принципиального характера, корректным по содержанию, отношение Ч. К. было толерантное, то за сообщение неверных фактов, порочащих Советскую власть, Ч. К. привлекали ответственных редакторов или авторов к ответственности и передавали дела в Революционные Трибуналы.

Газеты, которые являлись одним сплошным призывом к свержению Советской власти, Ч. К. приостанавливали до решения суда, дей-

ствуя, по крайней мере, в Москве, всегда в корректной форме (никаких разгромов типографий и прочих неправомерных явлений не было), что не мешало закрытым газетам выходить снова на другой день с другим заголовком и с новым ответственным редактором.

Теперь, в исторической перспективе прошедших пяти лет, приходится отметить странное явление: в то время, как большевики—«враги государственности»—делали нечеловеческие усилия, чтобы восстановить разваливающуюся Россию, мы, социалисты-«государственники», создали под лозунгом «Свободы печати» единый фронт с октябристами и кадетами, чтобы способствовать дальнейшему развалу России. Грустно и то, что мы вынуждены отметить это явление лишь после того, как иностранцы (например, Уэльс) в книге «Россия во мгле» своевременно его констатировали и сделали соответственные, далеко не лестные для наших правосоциалистических группировок, выводы.

Эта упорная война продолжалась до лета 1918 года, когда, после ряда процессов в Революционных Трибуналах с незначительными наказаниями—денежный штраф с заменой арестом или даже с оправдательными приговорами,—окончательно выяснилось, что вся периодическая печать, кроме правительственной, является весьма последовательной в своей борьбе за власть тех партий и группировок, которые стояли позади каждой газеты. Для правительства остался один путь—закрытие всей антисоветской периодической печати, которая, впрочем, к этому времени была представлена очень немногими изданиями.

Уход в подполье был невозможен,—и враждебная Советской власти печать возродилась за границей и позади белых генералов, чтобы разделять судьбу ряда эс-эровских и белогвардейских правительств, тщательно уничтожавших или увозивших,—если для этого было время,—типографии при своем отступлении. Очевидно, свобода печати—понятие далеко не абсолютное, и большевикам орудий печати оставлять не следовало.

О физиономии заграничной белогвардейской и прочей русской печати распространяться не приходится. Просматривая сотни зарубежных газет, нельзя не поражаться упадком журналистики: более невероятных конгломерата лжи, клеветы, подтасовок, поддельных документов трудно себе вообразить. И отсюда, из всего этого плохо сфабрикованного, до курьезов противоречивого материала, обязательно следует неизбежный вывод: какой бы то ни было ценой, хотя бы путем *иностранной оккупации*, но совершенно необходимо взять власть в свои руки. И рядом с этим—взаимная грызня и ненависть, доходящая до ругательств: кто же на эту власть «имеет право».

Такова была судьба периодической печати в Советской России. Что же касается неповременной литературы,—книг,—здесь вопрос значительно упростился тем, что тяжелый типографский кризис свел частную издательскую деятельность до минимума.

В этой области не только не было ограничений, но, «принимая во внимание создавшуюся от разных причин острую безработицу печатников,

с одной стороны, книжный голод в стране—с другой», Совнарком 30 декабря 1917 г. поручил Литературно-Издательскому Отделу Наркомпроса немедленно приступить к широкой издательской деятельности; 14 февраля 1918 г. был утвержден список национализируемых сочинений 58 русских писателей (которые могли быть издаваемы с разрешения Лит.-Изд. Отдела и частными лицами), с тем, что сочинения всех русских беллетристов и других авторов, в список не вошедших и умерших до 31 декабря 1917 года, «могут быть изданы каждым гражданином Советской Республики России без всякого на то разрешения со стороны Государства». Для издания научных трудов крупнейших авторов требовалось разрешение Госуд. Комиссии Народного Просвещения. Фактически дело свелось к отсутствию цензуры, как определенного института, и издание всех книг, кроме национализированных сочинений классиков, никакого разрешения не требовало. Ряд частных издательств, справившихся с дороговизной печатания и бумажным кризисом, продолжал непрерывно существовать и существует по настоящее время, при чем до создания Государственного Издательства никаких цензурных ограничений не было.

После обнародования Конституции Р. С. Ф. С. Р. отношение Советской власти к печати вылилось в строго определенную форму: согласно ст. 14-й раздела II Конституции, свобода печати (как и другие конституционные права—свобода совести, собраний и союзов, ст. 13, 15, 16) *предоставляется рабочему классу и крестьянской бедноте*; следовательно, все те группы населения и их идеологи, которые к этим двум классам не принадлежат, не могут претендовать впредь на свободу выражения своих мнений—антисоветского содержания—путем печати.

Расшифровывая это ограничение, следует иметь в виду, что конституция была принята в момент гражданской войны. К июлю 1918 года было ясно для каждого, что Р.С.Ф.С.Р. становится мировой базой для рабочих и крестьян, борющихся во всех странах с прекрасно организованной буржуазией; при этих условиях В.Ц.И.К. должен был покончить с привычной и не чуждой до того момента коммунистам идеализацией «свободной печати»: в штаб-квартире мировой революции не могло быть места для печатной агитации врагов революции.

Эта статья конституции последовательно проводилась в течение 4 лет, и, конечно, если бы она не проводилась, если бы всем противникам нового строя была предоставлена свобода печатной агитации, то судьбы молодой рабоче-крестьянской республики были бы иные, и нет сомнений, что толерантность Советской власти в вопросе о печати дала бы прекрасный материал для лишнего доказательства, что печать—великолепное орудие в борьбе за власть.

Период от издания конституции до 20 мая 1919 года характеризуется расцветом советской печати, периодической и непериодической; несмотря на чрезвычайное затруднение с бумагой, с электрическим током, с красками, изношенными шрифтами, наборными машинами, развиваются такие громадные издательства, как Литературно-Из-

дательский отдел Наркомпроса, издательства Петроградского и Московского Совета, «Коммунист», с сотнями изданий и иногда полумиллионными тиражами выпускаемых книг.

За этот период наиболее важным является декрет Совнаркома «о признании научных, музыкальных и художественных произведений государственным достоянием», от 26 ноября 1918 года. Этим декретом раз и навсегда было покончено с понятием «наследственной литературной собственности», благодаря которому произведения умершего автора являлись на 25 или 50 лет предметом спекуляции или наследников, или, чаще, купивших произведения ума умершего автора издателей-монополистов. Вместе с тем, конечно, авторы и их наследники обеспечиваются по этому декрету вознаграждением или пенсией, выдаваемым за сочинения, признанные собственностью народа.

Как известно, об аномалиях в этой области много писалось во времена Романовых; и, конечно, каждый «защитник народных интересов» должен был бы приветствовать эту решительную меру для развития культуры в Советской России. Но времена переменились, и аргументация была вывернута наизнанку: оказалось, что, если царское правительство «преступно не считалось с интересами народа», то Советское правительство должно было позаботиться не об интересах народа, а о наживе наследников писателей и ученых.

Необходимость урегулирования всех вопросов, связанных с печатью в Республике, а также устранения конкуренции между крупнейшими советскими издательствами и приведения в норму угрожающего роста «ведомственной литературы» приводит к созданию единого «государственного издательства» Республики, декрет В.Ц.И.К. о котором издан 20 мая 1919 г.

Этим декретом устанавливаются административные нормы, оказавшиеся временными, регулирующие положение печати в Советской России. При большой логической стройности декрета, законодатель проводит в нем концентрацию в руках единого органа—Госиздата—руководство деятельностью всех тех учреждений, которые имеют отношение к издательству, в том числе Полиграфического отдела В.С.Н.Х. и Главного Управления по делам бумажной промышленности («Главбум»).

Вся издательская деятельность всех советских издательств, «поскольку она касается обще-политических или культурных вопросов», подчиняется Госиздату; также подлежит «регулированию и контролю» Госиздата издательская деятельность всех ученых и литературных обществ и частных издательств.

Принцип последовательной концентрации пропитывает весь декрет; его положительные стороны не замедлили сказаться: слились все крупнейшие советские издательства, прекратилось их вредившее делу соперничество и создался монолит в виде Госиздата.

Хуже обстояло дело с регулированием деятельности Главбума и Полиграфотдела, благодаря подчиненности этих последних В. С. Н. Х.; если с Главбумом не было особых затруднений, благодаря персональ-

ному вхождению т. Шведчикова и в Госиздат и в Главбум на правах комиссара, то гораздо хуже обстояло дело с Полиграфотделом. Правда, при первом заведующем Госиздатом, В. В. Воровском, благодаря редкой тактичности последнего, отношения с Полиграфотделом были прекрасные, и декрет в этой части выполнялся; но затем малообоснованное стремление Полиграфотдела к освобождению от этой зависимости все больше разрушало стройную мысль законодателя и привело к анархии в области полиграфии, благодаря которой многие издания появились даже без осведомления Госиздата, в особенности произведения поэтов, печатавшиеся в провинции, а важнейшие для народного просвещения издания задерживались в типографиях.

Следует отметить, что, насколько нам известно, ни один из авторов и издателей «нелегальных» (по содержанию, впрочем, невинных) изданий никакой кары не понес.

Необходимо также указать, что после создания Госиздата цензуры (в юридическом понимании этого термина) введено не было; ответственными работниками Госиздата была разработана классификация всех поступавших оригиналов от советских и частных издательств на пять очередей, в зависимости от их важности для Советской Республики; в первую очередь печатались наиболее нужные издания, во вторую—тоже важные, но менее, и т. д.; в пятую категорию относились сочинения, которые могут быть напечатаны только при нормальных условиях, так сказать, условиях мирного времени; надобно напомнить, что 1919 год был годом разгара гражданской войны.

Не мешает вспомнить, что некоторые издатели, получив разрешения 4 и 5 очередей, все же ухитрялись реализовать эти разрешения и выпустить книги, не терпя за это, конечно, никаких преследований.

После ухода В. В. Воровского из Госиздата, постепенно эта формула пяти очередей стала оставляться, и проводилась политика запрещения отдельных изданий; политика эта диктовалась, главным образом, дошедшим до крайних пределов типографским и бумажным кризисом; блокада «высоко-культурных» европейских держав грозила не только все больше и больше увеличивать население детских и других кладбищ, но и лишить последних проблесков культуры «некультурную» страну «взбунтовавшихся рабов».

При этих условиях приходилось тщательно учитывать каждый пуд бумаги, каждого работоспособного наборщика.

Проводившиеся железной рукой вытекающие отсюда ограничения больно чувствовались не только частными, но и советскими издательствами; если первым оставалось только мириться, то вторые повели ожесточенную кампанию и постепенно расшатывали основы декрета о Госиздате; в результате—после двухлетнего периода вновь стали появляться советские издательства, работающие независимо от Госиздата; эта эволюция проходила безболезненно, ибо блокада была прорвана, и кризис изживался, чтобы даже смениться, в 1922 году, обратным кризисом из-за отсутствия в типографиях достаточного количества работ.

За этот период—с мая 1919 года по июнь 1922 г.—появилось много распоряжений Наркомпроса и Госиздата, являвшихся планомерным развитием декрета о Госиздате. Деятельность этого единственного в культурном мире государственного учреждения, представляя выдающийся для истории печати интерес, если на ней подробно останавливаться, может занять целые томы и ждет еще своего объективного исследователя.

Почти незамеченной прошла безобидная «Революционная военная цензура» (Р.В.Ц.), введенная в 1920 году и в настоящее время слившаяся с Главлитом; никакого воздействия на печать со стороны политической военные цензоры не оказывали (что случалось при военной цензуре после 1914 г. и в Европе и в России), и к запрещению изданий им, насколько нам известно, не пришлось прибегать; дело ограничилось лишь немногими купюрами—по соображениям военной тайны—в провинциальных советских изданиях.

Из декретов законодателя за этот период мы можем отметить только постановление Совнаркома от 30 июня 1920 г. о передаче библиографического дела в республике Народному Комиссариату Просвещения; постановление это возлагает на Наркомпрос обязанность вести библиографический учет и статистику произведений печати, выходящих на территории республики. Постановлением Наркомпроса от 3 августа того же года создана в Москве Центральная Книжная Палата, которая и обязана не только организовать получение от всех полиграфических учреждений Республики образцов напечатанных изданий, но и опубликовывать стихи этих произведений.

Регистрация произведений печати и правильный выпуск «Книжной Летописи» сильно расстроились еще при Временном Правительстве; вместе с свободой печати, казалось, исчезла нужда в посылке «цензурных» экземпляров; и тщетно Комиссариаты по делам печати, созданные взамен цензурных комитетов, исключительно с целью предварительной регистрации периодических изданий и типографий и последующей регистрации всех напечатанных книг, рассылали по типографиям и редакциям газет циркуляры за циркулярами: большинство изданий ускользало от регистрации; после Октябрьской революции положение не улучшилось; в начале 1918 года комиссариаты по делам печати были ликвидированы, и обязанность регистрации произведений печати была возложена на «Российскую Книжную Палату», возникшую в Петрограде, благодаря энергии С. А. Венгерова, при Временном Правительстве, и заменившую—в библиографических функциях—Главное Управление по делам печати.

Но Российская Книжная Палата, не обладая достаточными полномочиями, вела это дело почти любительским путем и получала, главным образом, издания от своих представителей в нескольких крупных городах. Фактически серьезной и полной регистрации, подобной ведущимся в западных странах—в некоторых в течение более столетия,—не было. Многие тысячи вышедших в этот период изданий навсегда утрачены для нас, даже по своим названиям.

Постановление о создании Центральной Книжной Палаты в Москве, которая прежде всего опиралась на советский аппарат на местах, покончило с этой разрухой, и вновь была дана возможность вести эту необходимую и важную для культуры страны работу.

К сожалению, до сих пор эти функции нельзя считать налаженными, так как если поступление материала из типографий, по мере урегулирования вопросов транспорта и связи, все более улучшается, все же «Книжная Летопись» издается с такими невероятными опозданиями, что все практическое значение регистрации отпадает и за нею остается только исторический интерес. Достаточно указать, что, несмотря на все усилия Книжной Палаты, до сих пор не изданы два последних номера от 1920 г. и восемь номеров «Книжной Летописи» от 1921 г. Последние номера за этот год, вышедшие в сентябре, помечены июнем.

III.

Опыт $4^1/_2$ лет дал возможность в июне текущего года ввести вопрос о печати в республике в строгие юридические рамки. Опубликовано «Положение о Главном Управлении по делам литературы и издательства», принятое Совнаркомом 5 июня и передающее функции Госиздата по регулированию вопросов печати «Главлиту».

«Положение» это возлагает на «Главлит» не только обязанность предварительной цензуры и последующей по отношению к ранее напечатанным или ускользнувшим от цензуры произведениям печати, но и выдачу разрешений на выпуск как периодических, так и непериодических изданий.

На местах Главлит создает свои органы при Губернских отделах Народного Образования, цензура же публичных зрелищ возлагается непосредственно на заведующих этими последними.

Важно отметить связь «Главлита» с Наркомпросом: находясь в ведении последнего, новое цензурное учреждение тем самым гарантировано от приемов, могущих нанести вред культуре страны. В этом его принципиальная разница с цензурными учреждениями чисто-полицейского характера, находившимися у нас при Министерстве Внутренних Дел.

В «Положении» о Главлите точно указаны случаи, в которых Главлит имеет право запретить данное издание, а также, очевидно, обезвредить его, сделав необходимые изъятия; всего таких случаев пять, при чем три имеют в виду охрану Советской власти в случаях: а) агитации против Советской власти, в) возбуждения общественного мнения путем сообщения ложных сведений, г) возбуждения националистического и религиозного фанатизма; один пункт (б) имеет в виду охрану территории (разглашение военных тайн республики), и последний пункт—д—охрану нравственности населения (сочинения, носящие порнографический характер).

Таким образом, новый цензурный институт преследует защиту лишь государственных и общественных интересов, не касаясь оскорбле-

ния и клеветы по отношению к отдельным гражданам; эти последние преступления печати, естественно, нашли свое место в Уголовном Кодексе, введенном в действие с 1 июня и предусматривающем: в ст. 173—оскорбление в печати, ст. 175—клевету в печати; эти преступления или проступки караются лишением свободы лжеца или клеветника на срок до одного года.

Предусматривает Уголовный кодекс и преступления, совершенные путем нарушения Положения о Главлите или постановлений этого последнего: издание без разрешения сочинений, признанных достоянием республики, карается принудительными работами до одного года, с конфискацией имущества или без таковой. Речь идет, очевидно, о списке сочинений «классиков», изданном в 1918 году, и о других «национализированных» авторах. Далее—Уголовный кодекс предусматривает нарушение правил о выпуске произведений печати и правил об открытии и эксплоатации типографий и литографий, с наказанием принудительными работами или штрафами до 300 руб. золотом.

Более тяжелые преступления—изготовление, хранение с целью распространения и распространение агитационной литературы наказываются: в случае, если литература имеет контр-революционный характер (стр. 72)—лишением свободы на срок не ниже одного года, если же эта литература призывает к преступлениям против порядка управления (ст. 84) (невзнос налогов, невыполнение повинностей и т. д.)—лишением свободы на срок не ниже шести месяцев.

Таким образом, мы должны констатировать, что по характеру своему наказания мягки и, очевидно, могут быть применены только по суду: административное усмотрение устраняется.

Практика политического отдела Госиздата, из которого развился Главлит, показывает, что, после некоторых неровностей, наше новое цензурное установление понимает свои функции вполне культурно и стеснением живой мысли не угрожает, поскольку эта последняя не угрожает стать агитационной против Советской власти.

Все перечисленные пункты «Постановления о Главлите» и Уголовного кодекса не включают в себе никаких предупреждающих или карающих постановлений по поводу здоровой, основанной на точных фактах, критики отрицательных явлений в жизни Советской России; следовательно, не возбраняется выпуск как периодических, так и неповременных изданий политического характера, в том числе и не-коммунистического направления, где авторы могут свободно высказывать свои взгляды. В полной свободе научной мысли также не приходится сомневаться.

Конечно, цензура неприятна и является государственным установлением отрицательного порядка, от которого нравственно страдает и культурный цензор, и цензируемый. Но надо видеть прежде всего громадную принципиальную разницу между цензурой в государстве буржуазного типа и цензурой в Советской Республике; цензура буржуазная охраняет интересы класса, являющегося угнетателем по отношению к классам трудящимся; если даже нет цензуры, то появляются или статьи зако-

нов, больно карающие представителей порабощенных классов за призрачное право пользования «свободой печати», или фашисты и наемные агенты буржуазии, громящие редакции, избивающие или стреляющие в сотрудников «свободных» газет.

Цензура советская—цензура рабоче-крестьянской Республики—имеет обратное и положительное значение: в условиях, когда существует пока только одна страна, свергнувшая власть буржуазии и ее союзников и слуг, когда не только извне страны, но и изнутри есть много охотников уничтожить ненавистное правительство трудящихся для торжества личных, совпадающих с классово-буржуазными, интересов; когда раны молодой Республики трудящихся вызывают со стороны врагов не уважение, а желание эти раны углубить и умножить,—тогда правительство классов, угнетавшихся буржуазией, имеет право охранять права освобожденного от цепей народа.

Гражданская война в буржуазных государствах все усиливается; нельзя не предвидеть сильного развития в ближайшем будущем самого отвратительного фашизма; воплями негодования встречает буржуазия каждое сильное произведение, направленное против нее; недалек тот момент, когда, может-быть, всем последовательным сторонникам освобождения трудящихся от рабства буржуазии придется прибегнуть под сень «угнетенной» подцензурной печати Советской Республики, чтобы иметь возможность смело говорить свое свободное слово.

Б. А. Кистяковский в своем суммирующем достижении правового буржуазного государства труде—«Социальные науки и право»—говорит: «В современном обществе сфера безграничной личной свободы только в принципе предоставлена каждому члену общества, фактически же ею могут теперь пользоваться только многоимущие» [1]).

В Советской Республике раскрепощение личности достигает максимальных пределов: личность освобождена от гнета общества, «рода», семьи, мужа, родителей, «хозяина», «начальства», уничтожены все социальные перегородки.

Казалось, пять и четыре и три года назад,—что под гнетом войны, блокады, хозяйственной разрухи, страшного кризиса типографского и бумажного, голодания писателей и ученых — должна была погибнуть вся культура страны.

Но годы наиболее тяжких испытаний прошли, страна с каждым днем все более и более укрепляется физически и усиливается в моральном отношении. Мы видим, что и культура начинает расцветать пышным цветом: появляется многочисленная и богатая литература, своей внешней красотой поражающая европейцев, своим внутренним содержанием отвечающая всем запросам раскрепощенной личности гражданина первой страны мира, честно и искренне, неуклонно и безоговорочно защищающей интересы трудящихся масс.

---

[1]) Цитировано выше. Москва, 1916 г., стр. 576.

И, вероятно, наше подрастающее поколение, для которого произведения печати имеют наибольшее значение, в свое время ясно оценит положительные стороны ограничений печати в Советской России. Оно скажет: «При борьбе за диктатуру пролетариата, в условиях тяжелой, далеко не оконченной гражданской войны, при тяжелом хозяйственном кризисе, заставлявшем учитывать и ничтожные единицы расходуемых ценностей, тесно окруженное странами с развращающей население буржуазной печатью,—наше Советское правительство, борясь с печатной агитацией против трудящихся, дало нам теперь возможность пользоваться всеми благами истинно свободной страны».

К статье „Русская графика"

Рис. худ. В. Фидмана из журнала „Красноармеец".

НОВАЯ БИБЛИОТЕКА И ЗАПРОСЫ ЕЕ ЧИТАТЕЛЯ [1]).

П. Гуров.

Еще не так давно велся спор о народном читателе, его психологии и запросах. Одни говорили (С. Ан—ский.«Народи книга». М., 1914 г.), что «народный читатель представляет собою особый социально-психологический т и п, с отличительными чертами, только одному ему свойственными. В защиту своих воззрений тревожили Л. Толстого, Н. Михайловского. Тот же С. Ан—ский свои выводы в значительной части обосновывает на статьях Л. Толстого по народному образованию и серии статей Н. Михайловского «Десница и Шуйца Льва Толстого» в «Записках Профана». Толстой же пришел к таким выводам о народном читателе и «интеллигентской» литературе: «наша литература не нравится и не привьется народу», «все наши журналы и сочинения (Пушкин, Гоголь, Тургенев, Державин), несмотря на давность существования, неизвестны, не нужны для народа и не приносят для него никакой пользы»; лучшее «произведение нашей поэзии лирическое стихотворение Пушкина представится набором слов, а смысл его—презренными пустяками», «единственные же книги, понятные для народа и по его вкусу,—заключает Л. Толстой,—суть книги, писанные не для народа, а из народа, а именно: сказки, пословицы, сборники песен, легенд, стихов, загадок и т. п.». Н. Михайловский, исходя из своего учения о типах и ступенях развития, сочувственно комментирует Л. Толстого, находя здесь подтверждение своих взглядов.

Противоположного мнения держался Н. Рубакин, который в своих статьях требовал дать народу доступ ко всей литературе образованных классов. Н. Рубакин говорил: «До сих пор упорно держится и отражается на деле специально русский взгляд, что для народа должна существовать особая литература упрощенная, потому что эстетические и всякие другие тонкости народу недоступны. Грустно становится, когда приходится опровергать это коренное заблуждение, столь распространенное даже

---

[1]) Печатая интересную статью т. Гурова, освещающую библиотечную работу одного отдаленного и бедного «книжного угла», редакция высказывает пожелание, чтобы эта статья, лишь затронувшая вопрос о новом читателе, послужила бы поводом к исследованию вопроса о «новом читателе» по материалам наших богатых центральных, особо богато посещаемых библиотек.

Ред.

среди, несомненно, доброжелательных для народа людей... Присматриваясь к этим взглядам, вы не без удивления замечаете в этом «учении об особой литературе для народа» нечто старое, нечто знакомое; вам вспоминается еще не истершееся в памяти народной разделение людей на «белую кость» и «черную кость». Переживание старых воззрений еще удерживается в области литературы. Белой кости доступны и наука, и искусство, все тонкости эстетики; черная кость всего этого лишена,— э т о нечто невежественное, грубое, без образования, не способное подняться до отвлеченных суждений. Черной кости нужно все «разжевать да в рот положить, да смотреть, как бы не подавилась глотая». («Этюды о русской читающей публике», цитирую по С. Анс—кому».)

Теперь этот спор должен отойти в область далеких преданий. Сейчас мы подходим к вопросу о читателе и его запросах с точки зрения его классовой принадлежности, с точки зрения его социально-экономических интересов. Мы хотим проследить читательские интересы в зависимости от общественных группировок читателей, хотим изучить расслоение читательской массы в процессе революции, разделение граждан на два лагеря.

Изучая читателя, мы проследим влияние принадлежности к той или иной группе на запросы читателя, степень активности этих групп и попытаемся ответить, кого же в сущности обслуживают сейчас библиотеки.

Освобожденное от пути старого правопорядка, библиотечное дело в настоящее время является свободной кафедрой, откуда льется свет знания и свободы. Сравнивая старое и новое библиотечное дело, мы должны сказать, что старое библиотечное дело, рожденное в недрах царского режима, питаясь ростками буржуазной и дворянской идеологии, служило интересам этих господствующих классов.—Там, где библиотеки предназначались для «народа», для «черной кости»—там подбор книг был такой, что издали было слышно, как «смердит» эта специфически «народная» литература. Так называемые народные библиотеки служили для затемнения сознания, для усыпления сознания трудовых классов. Библиотеки повыше рангом—платные публичные библиотеки содержали в себе всю мудрость «дворянской» культуры, здесь допускался и некоторый либерализм, зато не допускались рабочие: им преграждала доступ платность и большие залоги...

С 1905 года идет раскрепощение библиотечного дела, фактически превратившееся в его захват буржуазией. Новое библиотечное дело в большинстве случаев было так же далеко от интересов рабочих, как и дореволюционное библиотечное дело. Если вопреки желаниям командующих классов, новые идеи просачивались сквозь сеть запрещений, то общее направление оставалось последовательно реакционным, враждебным пролетарской идеологии.

Сведения, правда, отрывочные и далекие даже от приблизительной полноты, рисуют нам картину изолированности рабочей массы от

библиотек. Последние проходили в большинстве случаев мимо рабочих, мимо их стремления вооружить себя знаниями для борьбы с самодержавием. Жулев в «Русской Школе» (№№ 9 и 10 за 1912 г.), Клейнборт в «Современном Мире» (№ 5 за 1914 г.) свидетельствуют об отливе читателей-рабочих из библиотек общественного пользования. П. Жулев приводит показательную фразу отчета Московской Городской Управы о библиотечном деле: «Значительное большинство взрослого рабочего населения богатой столицы, одного из самых культурных сравнительно городов, за целый год буквально ничего не читает, кроме разве «Газеты-Копейки», газет, получаемых в пивных, да еще, быть-может, лубочных изданий уголовных романов». Это не бездоказательная, случайно сказанная фраза, ее обосновывают фактами. «Известия Московской Городской Думы» говорят: «Нужно отметить ф а к т понижения за последние годы % фабрично-заводских и ремесленных рабочих среди клиэнтов московских городских библиотек. Особенно ясно это обнаружилось в Хамовнической библиотеке, где рабочие, ремесленники и прислуга составляли в 1904 г.—53% читателей, в 1907 г.—42%, в 1909 г.—34%, в 1910 г.—24%... В общем городские библиотеки в Москве, хотя двери их широко открыты для всех жителей города, фактически служат пока, главным образом, учащейся молодежи, интеллигенции и средним слоям народа». («Изв. М. Г. Д. за 1914 г.», № 7—8.) Клейнборт, констатируя падение процента читателя - рабочего в общественных библиотеках, в то же время отмечает рост специально рабочих библиотек, большое оживление интереса у рабочих к чтению, к своей рабочей литературе.

Таким образом, отлив не может объясняться индиферентизмом рабочих. Просто рабочие не находили в библиотеках ответов на свои запросы. Рабочие, прошедшие суровую школу жизни, выносившие на своих плечах все ужасы бесправного существования, хотели, в конце-концов, понять жизнь, осмысленно подойти к ней. В книге искали отражения своей невеселой жизни, чтобы, проанализировав ее, искать выхода к разумному, достойному человека существованию.

В противоположность этому старому библиотечному делу библиотечное дело Советской России организуется как очаг социалистической культуры, как учреждение, доступное всем. Библиотечное дело в настоящее время является крупным культурным фактором, который вносит много ценного в общее культурное строительство Советской России. И несмотря на ряд формальных ограничений, библиотечное дело у нас, в России, представляет наиболее свободную просветительную организацию в мире: здесь вы найдете представителей самых непримиримых течений, начиная от монархически-крепостнического и кончая коммунистическим. Поэтому здесь с особенной отчетливостью можно изучить отношение к книге различных читательских групп, потому что каждая из этих групп может свободно выбирать в библиотеке что нравится, что соответствует ее складу мыслей. Мы не можем быстро перестроить библиотеки таким образом, чтобы наполнить их сейчас же произведениями революционного творчества. На рынок выброшено крайне недостаточное количество книг

для того, чтобы заполнить пробел, могущий образоваться от изъятия старой литературы. А поскольку так, постольку мы еще долго будем питаться образами прошлого,—образами старой литературы.

Таким образом, в б-ке отражаются два мотива: революционный и реакционный. Революционный мотив представлен отчасти старыми писателями, как В. Гюго, Кравчинский, М. Горький, многими научными произведениями, главным же образом литературой, изданной с 1918 г. Реакционное направление, поскольку оно пыталось обосновать себя в научных работах в библиотеках, пока не должно быть представлено, но без художественной литературы старых годов мы пока обойтись не можем, а вся беллетристика пропитана духом старой культуры, не говоря уже о таких авторах, как Вс. Соловьев, Салиас и др. Что дают эти писатели, какое настроение несут? Конечно, идеализацию прошлого, а вместе с нею искажение исторической и бытовой перспективы.

Эти два мотива—революционный и реакционный, представленные литературой в библиотеке, дают пищу читателям, которых можно разделить на те же две основных группы:

1) представителей старого мира, живущих, если не надеждами на реставрацию, то мечтами о далеком прошлом, когда им жилось сытно и привольно,

2) и читателей - революционеров, читателей-борцов, живущих революцией, принявших и ждущих хорошего только от дальнейшего развития революции.

Каждая из этих групп по-своему подходит к книге, ищет удовлетворения именно своих запросов, оказывая, таким образом, давление на библиотеку, влияя на ее общественную физиономию. Но, с другой стороны, библиотека стремится оказывать на читателя свое влияние и на давление читателей ответить своим давлением. И хотя слой инертного, живущего переживаниями прошлого, читателя - реакционера продолжает налетом лежать на библиотечном деле, но это влияние нейтрализуется перемещением положения библиотеки. В то время, как в дореволюционных библиотеках все приноравливалось к интересам мещанства, теперь задачей библиотек ставится организованное содействие новым путям революционного творчества, и самая организация библиотечного дела сводится к созданию из библиотек очагов социалистической культуры. Таким образом, библиотека активно и во всеоружии выступает против мещанства части своих читателей, зовя их вперед к новым достижениям, новым (по выражению Верхарна) свершениям.

Эту борьбу общественных групп вокруг библиотек интересно бы проследить во всероссийском масштабе. К сожалению, такими сведениями мы не располагаем. И я беру на себя смелость для иллюстрации и развития своих положений привести данные по одной библиотеке, полагая, что библиотека, в которой я работаю, не представляет исключения, что картина, наблюдаемая в ней, повторится и в других библиотеках. Поскольку так, постольку мои наблюдения дадут толчок для наблюдений другим библиотекарям, оживят работу изучения читателя.

Прежде всего несколько самых необходимых сведений о самой библиотеке. Библиотека-читальня имени В. Г. Короленко в Армавире, Кубанской обл., помещается в рабочем районе, имея целью обслуживать, главным образом, рабочую массу. Книги подобраны так, чтобы читатель мог выработать социалистическое мировоззрение и расширить умственный кругозор. Новая литература (за исключением беллетристики) представлена в библиотеке довольно полно, конечно, многого в библиотеке нет, но б-ка стремилась закупить на рынке что только могла (по сметному снабжению б-ка почти ничего не получила). Старая литература тоже богато представлена—тут я имею в виду беллетристику, так как по общественным вопросам специфически-партийная литература, кроме литературы Р. К. П., в б-ку не допускается.

Для более отчетливого представления о читателе привожу распределение читателей по возрасту и профессиям в %%. По возрасту читатели делились следующим образом: от 15 до 17 л.—23, от 18 до 20 л.—75,5, от 21 до 25 л.—17, от 26 до 30 л.—14,5, от 31 до 35 л.—11,5, от 36 до 40 л.—7, от 41 до 50 л.—8, от 51 до 60 л.—2, старше 60 л.—0,5.

Профессиональный состав подписчиков за 3 года существования библиотеки в %% следующий:

	1919 г.	1920 г.	1921 г.
1. Земледельцы, рем.-кустар.	—	4,2	2
2. Рабочие, чернорабоч., технические служащие учреждений	4	9,6	15,5
3. Советские работники	15	21,3	26
4. Специалисты	2	4	6
5. Ответственные советские работники, партийные и проч.	—	3,8	3
6. Работники просвещения	4	12,5	17
7. Служащ. распред. органов	14	5,8	3,5
8. Учащиеся	40	19	15
9. Живущие за счет семьи	21	17,2	12
10. Нетрудовой элемент	—	2,6	0,5

Мы видим из таблиц, как растет процент желательного читателя: выросло число рабочих, работников просвещения и пр.

Для изучения запросов читателей в библиотеке в 1921 г. велись работы: прежде всего выдаваемые книги записывались на карточке; в ноябре и декабре—в месяцы наибольшего оживления библиотеки—регистрировались все требования читателей, в декабре была выпущена анкета к читателям по вопросу о чтении. Эти данные и дают нам материал о новом читателе.

В отношении читателя нам важно прежде всего нарисовать картину тех требований, которые предъявляются читателями к библиотеке, запросов, которыми питается их ум, настроений, которыми они живут. Для

выяснения этого пункта библиотека выпустила анкету, данные которой дают довольно интересный материал для характеристики читателя. Ответов получено 276. Социальные группировки ответивших на анкету таковы: рабочих фабр.-зав., чернорабочих—25,5%, ремесленников-кустарей и земледельцев—2,1%, ответственных работн.—4%, специал.—4%, раб. просвещ.—12%, советск. работн.—23,4, торг.-промышл.—8%, учащихся—13%, живущих за счет семьи—8%.

На вопрос, с какой целью читаете книги, получились ответы: от скуки—15, для развлечения—52, чтобы узнать что-нибудь новое, чтобы найти что-либо полезное, приобрести практический опыт—38, чтобы понять жизнь, чтобы узнать цель и смысл жизни—68, для самообразования—8, чтобы учиться—40, чтобы подготовить себя к политической работе—3. При чем живущие за счет семьи, учащиеся, совработники, работники просвещения читают преимущественно от скуки или для развлечения (50% всех ответов, 30%—учиться, 5%—чтобы узнать полезное и 15% разных), рабочие, чернорабочие, ответственные советские, профессиональные и партийные работники, чтобы узнать что-либо полезное, приобрести опыт, понять жизнь или подготовить себя к политической работе (65% всех ответов, от скуки и для развлечения—15%, учиться и другие—20%), специалисты и торг.-промыш. служащие—чтобы узнать что-нибудь полезное (40%, остальные разбиваются).

Эти данные вполне определенно характеризуют самочувствие общественных групп, поскольку оно обнаруживается в анкете. Реакция глубоко овладела совработниками и работниками просвещения, от последних, очевидно, перешла к учащимся. Практицизм и узость представлений характеризует спецов и торгово-промышленных служащих. Пролетарские элементы библиотеки отличаются активностью, большой самодеятельностью. Жгучие теоретические интересы («я хочу понять жизнь», «осмыслить существование»), практические требования жизни (борьба с Врангелем, опыт советской работы, устройство жизни),—все это говорит о непрерывающемся революционном порыве, о молодом, смелом и сильном пытливом уме, в огне и дыму революции творящем новое общественное сознание.

Вышеприведенные данные, характеризуя до известной степени читателя, особенно интересны для библиотекаря, так как изучить круг понятий и образов, которыми живет читатель,—необходимое условие работы. Поэтому интересно подтвердить эти данные другими. Таким подтверждением является ответ на вопрос, что вам нравится читать. К сожалению, лишь незначительное меньшинство заполнивших анкеты дало ответ на этот вопрос. Поэтому говорить о серьезной доказательности этих данных не приходится, но все же в связи с другими данными они получают надлежащее освещение. Один рабочий пишет: нравится читать о том, как правильно подойти к вопросу о социальной революции на Западе. Другой—люблю читать книги о социализме, третий—интересуюсь книгами о борьбе классов. Ряд рабочих дали общие указания: люблю читать по общественным вопросам, на политические темы, о борьбе за лучшую

долю рабочих; часть ответов указывает на наличность специального интереса к технологии, технике и другим прикладным наукам. Незначительное меньшинство ответило: о приключениях (4 ответа), о любви (1 ответ). Один дал такой ответ: хочу знать, «почему во всем животном царстве только один человек не может найти себе места». Совработники, работники просвещения, учащиеся, торгово-промышлен. служащие пишут: нравится читать «повести, рассказы, приключения», «о жизни крепостного народа» и т. п.

Еще более наглядны данные ответов о наиболее интересных книгах по мнению читателей.

Вот 15 авторов, упомянутых в анкете, как наиболее понравившихся из всего прочитанного:

Толстой, Л.	98	Чехов, А.	37
Тургенев, И.	54	Горький, М.	23
Сенкевич, Г.	50	Пушкин, А.	28
Достоевский, Ф.	40	Лермонтов, М.	16
Короленко, В.	29	Лондон, Д.	16
Гюго, В.	28	Андреев, Л.	15

Данные требовательных листков (регистрация требований велась 2 месяца с наиболее интенсивной работой—декабрь и январь) говорят, что наибольшим спросом пользовались:

Достоевский, Ф.	105	М.-Сибиряк	40
Толстой, Л.	104	Данилевский	39
Сенкевич, Г.	79	Гончаров	39
Гюго, В.	66	Уэльс	36
Амфитеатров	47	Короленко, В.	33
Тургенев, И.	44	Писемский	32
Чехов, А.	43	Пушкин, А.	21
Горький, М.	41		

Мы видим, что в обоих списках фигурируют почти одни и те же авторы. Если мы возьмем первых восемь авторов обоих таблиц, то увидим поразительное совпадение: 7 авторов одинаковы, в 1-м списке нет Амфитеатрова, есть Короленко, во 2—наоборот.

Мы видим, что наибольшею популярностью пользуются наши великие классики: Толстой, Л., Тургенев, И., Достоевский, Ф., затем В. Гюго, М. Горький, В. Короленко. Писатели с общественным настроением, поэты борьбы за свободу, их революционное и ищущее (у В. Короленко) настроение соответствует теперешним настроениям читателей-рабочих, проникнутых некоторым романтизмом, жаждущих подвига и восторженно преданных идее революции.

Средняя читательская масса внесла свою поправку, выдвинув Сенкевича (пользуется особенной популярностью совработников), Амфитеатрова, Данилевского, Писемского.

Это так и должно быть, поскольку часть читателей принадлежит к числу оставшихся на «том» берегу, поскольку эти читатели стараются

остаться в стороне от революционного движения, спасаясь в мечтах от действительности.

Здесь мы не видим новых авторов. К сожалению, библиотека бедна беллетристикой, созданной революцией. Только недавно сравнительно получен ряд беллетристических произведений, журнал «Красная Новь» и пр., поэтому о читаемости этих произведений можно говорить лишь в будущем.

В виду того, что данные анкеты о наиболее читаемых авторах по отдельным социальным группам слишком дробны, мы не анализируем их. Но мы можем привести другие данные, которые скажут: кто читает Горького, а кто Сенкевича, кто читает Короленко, а кто Амфитеатрова. Во всяком случае здесь показателен факт преобладания серьезных запросов—требования и интерес к «легкой» литературе довольно слаб.

На вопрос, какие книги произвели наибольшее впечатление, перевернули ваши мысли, открыли вам глаза, даны ответы не всеми отвечавшими на анкету. Но ответы особенно характерны. Я приведу их, распределив по социальным группам:

1. Фабрично-заводские рабочие:

Степанов. Духовенство, его проклятия и благословения 2
Лафарг. Статьи о религии 3
Минин. Религия и коммунизм 2
Ренан. Жизнь Иисуса 4
Толстой, Л. Религиозные сочинения 2
„ Библия (рабочий сектант) 1
Бухарин и Преображенский. Азбука коммунизма 4
Дарвин, Ч. Происхождение человека (рабочий-токарь) 1

2. Ремесленники-кустари:

Толстой, Л. Религиозные сочинения 1
Боровой, А. Идеалы человечества 1
Штирнер, М. Единственный и его достояние 1

3. Специалисты:

Чехов, А. . . . . . .
Мережковский. . . . . . .

4. Ответственные партийные, советские и профессиональные работники:

1. *Моррис.* Вести ниоткуда 2
2. *Рубакин.* Как, когда и почему появились люди на земле . . . 3
3. *Гетчинсон.* Вымершие чудовища 1
4. *Клейн.* Астрономические вечера 1
5. *Пругавин.* Религиозные отщепенцы 1
6. *Маркс и Энгельс.* Манифест коммунистической партии 2
7. *Бюхнер.* Сила и материя 1
8. *Бухарин.* Программа большевиков 3
9. *Верн, Ж.* Капитан Гаттерас (поразила энергия, непреклонность) 1

5. Работники просвещения:

1. *Рубакин.* Практика самообразования 1

6. Совработники:

1. *Бичер-Стоу.* Хижина дяди Тома 1
2. *Станюкович.* Человек за бортом 1
3. *Вересаев.* На повороте 1
4. *Свидерский.* Труд и капитал 1
5. *Толстой.* В чем моя вера 1
6. *Лондон, Д.* Белый Клык 1
7. Евангелие. 1
8. *Вербицкая.* Дух времени 1

7. Торгово-промышленные служащие:

1. *Толстой, Л.* Религиозные сочинения 1

8. Учащиеся:

1. *Толстой, Л.* Дьявол 1

9. Живущие за счет семьи:

1. *Достоевский, Ф.* Преступление и наказание 1

Три группы книг указываются читателями, как содействовавшие формированию их мировоззрения: книги по вопросам религии, политического содержания, естественно-научные.

Большая часть читателей указывает книги по вопросам религии, как такие, которые перевернули мировоззрение; под покровом религии строились их политические и научные убеждения. Религией определялся весь строй мыслей человека, окрашивалась его практическая работа. Поэтому здесь особенно резко сказалась борьба идей, особенно обострился антагонизм между старым и новым.

Естественные науки примыкают по характеру влияния к книгам по вопросам религии. Они действуют на читателя, главным образом, разрушением навеянного религией, просветляя сознание, расширяя кругозор и открывая широкий простор работе мысли.

Книги политического содержания вводят в область социальных отношений, которые религией и властью были установлены «незыблемо». От религии мысль переходит к земному, хочет применить новую мораль, новое сознание к строительству общественной жизни. Разрушив небесную иерархию, мысль начинает задумываться над иерархией земной, где как и на небе, еще в большей мере, все основано на порабощении. И свергнув небесные авторитеты, мысль упорно работает над перестройкой социальных отношений. Образы художественные помогают работе неокрепшей мысли в лучшем случае и содействуют ее усыплению в худшем случае.

О чем говорят данные анкеты? Рабочие дали указания на ряд религиозных и политических книг, разрушивших их привычное мировоззрение. Книги—это в большинстве случаев анти-религиозные, разрушающие старые верования.

Список говорит о серьезной работе, идущей в среде пролетариата. О такой же серьезной работе говорит список ответственных работников.

Совработники—представители мелкой буржуазии и мещанства дали типичный по-своему список. Почти нет общественных мотивов, легкое чтение или воспоминание далекого детства («Хижина дяди Тома»). Вот

к чему сводятся их помыслы. Чувствуется, что перед нами представители старого мира; являющиеся чужими в новом строе, они пытаются еще создать убаюкивающие образы призрачных теней. Но тщетно—жизнь сметает их.

Мы ранее указывали, какие книги считаются читателями лучшими, на какие был наибольший спрос. Для подтверждения наших выводов мы остановимся на анализе еще одной группы данных: какие книги за год прочитаны наибольшее число раз. Список, представленный нами, состоит из произведений беллетристики. Научные авторы читаются немного: так как в б-ке по каждому научному вопросу имеется целая группа книг, то требования читателей разбиваются. Так, напр., Бухарин, «Программа большевиков», Бухарин и Преображенский «Азбука коммунизма» имеются по 4 экземпляра и т. д.

Вот список книг, которые выданы в течение года более 30 раз (имеется в виду 1 экз. названия, тома и т. п.; если в б-ке имеется 2 и больше экземпляров, то мы берем среднюю из них для одного экземпляра, так что данные говорят только об одном экземпляре названия).

1. *Горький, М.* Мать, т. I 78
2. То же, т. II 58
3. *Гюго, В.* Девяносто третий год 75
4. Его же. Несчастные, т. I 49
5. То же, » — » — т. II 39
6. *Тургенев, И.* Сочин., т. III (Романы «Накануне», «Отцы и дети») 59
7. *Кравчинский.* Андрей Кожухов 41
8. Его же. Штундист Павел Руденко 37
9. *Помяловский.* Очерки бурсы 41
10. *Гра, Ф.* Марсельцы 39
11. *Мордовцев, Д.* Сагайдачный 37
12. *Толстой, Л.* Утро помещика 37
13. *Сологуб, Ф.* Творимая легенда 35
14. *Кущевский.* Николай Негорев 32
15. *Лондон, Д.* Мартин Идэн 31
16. *Короленко, В.* Сочин., т. III (Прилож. к «Ниве») 31
17. *Станюкович.* Два брата 31

Этот список красноречивей всего говорит нам, какими интересами живет читатель, лучше всего другого говорит нам, что активные рабочие элементы имеют преобладающее влияние. Сенкевич, Данилевский, Писемский стоят назади. Впереди идут М. Горький, В. Гюго. Героические фигуры («Сагайдачный», «Мартин Идэн»), борцы за свободу, за счастье трудящихся, революционные переживания («Мать», «93-й год», «Андрей Кожухов», «Марсельцы») привлекают читателей.

Произошел глубокий сдвиг в сторону общественных мотивов, в сторону оживления интереса вопросами общественности. Ясно, что новой революционной литературе путь подготовлен. Остановка за правильным снабжением библиотек книгами, верней за регулярной информацией библиотек о книгах.

М. Горький, В. Гюго, Кравчинский—отсюда можно черпать идеи и настроения, здесь можно получить стимулы для борьбы за новое про-

летарское мировоззрение. Читатели как раз обращаются к таким авторам, которые вдохновляют на борьбу, на поддержание революции. Конечно, было бы желательно, чтобы читались книги, в которых отражались бы мотивы русской революции, но что делать, когда б-ки отстают от рынка, зачастую не зная, что на нем есть. Это большая беда библиотечного дела.

Если мы сделаем маленькую экскурсию в область истории, то увидим, какая поразительная эволюция произошла с читателем.

А. Смирнов в статье «Что читают в деревне» («Русская Мысль», 1903 г., июнь), между прочим, приводит данные о читаемости книг в рабочей среде. Вот как он распределяет книги, которыми интересуются рабочие:

Религиозно-нравственного содержания святых	52%
Беллетристика	22,1%
Известные авторы	5,2%
Сказки	0,7%
Исторические	4,2%
Научно-популярные и по сельскому хозяйству	4,3%

Это, так сказать, времена доисторические, когда рабочая масса начинала только просыпаться, она заинтересовалась чтением вообще; естественно, что вопросы религии, которой пропитано было все существо рабочего и крестьянина, должны были в первую голову привлечь рабочего.

П. Жулев приводит данные о наиболее читаемых авторах в 25 городах России в 1905, 1907 и 1909 гг.

1905 г.	1907 г.	1909 г.
1. Л. Толстой.	1. Л. Толстой.	1. Л. Толстой.
2. Немир.-Данченко.	2. Ж. Верн.	2. Ж. Верн.
3. Ж. Верн.	3. Немир.-Данченко.	3. Сборник «Знаний».
4. Тургенев.	4. Дюма.	4. Немирович-Данченко.
5. Дюма.	5. Тургенев.	5. Достоевский.
6. Майн-Рид.	6. Сборник «Знаний».	6. Тургенев.
7. Вс. Соловьев.	7. Майн-Рид.	7. Вербицкая.
8. Салиас.	8. Достоевский.	8. Майн-Рид.
9. Шеллер-Михайлов.	9. Вс. Соловьев.	9. Вс. Соловьев.
10. Г. Эмар.	10. Г. Эмар.	10. Салиас.

Нельзя не согласиться с П. Жулевым, что список этот открывает довольно печальную картину отношения читателя к книге. «Чтение для современного читателя,—говорит П. Жулев,—щекотание нервов, особый вид увеселения и развлечения. Трудно предположить, чтобы современный буржуа, или полуинтеллигент искал художественной правды, ответа на вопрос «как жить» в произведениях М.-Рида, Ж. Верна, Г. Эмара, или у г-на Немировича-Данченко, или г-жи Вербицкой, неожиданно проскочившей на наших глазах в первый, наиболее читаемый десяток авторов. Вернее будет предполагать обратное, что в глазах большинства современных читателей между книгой и жизнью лежит глубокая пропасть. Книга не освещает им жизнь с ее запросами и вопросами, не с эти-

ми требованиями подходят они к ней, а со старым еще щедринским определенным отношением: «писатель пописывает, читатель почитывает».

Л. Клейнборт в 1915 г., рисуя в довольно мрачных красках положение общественных библиотек, указывает на оживление библиотечного дела в рабочих организациях, на повышение запроса читателей. Приводя данные по нескольким городам, Л. Клейнборт говорит, что наибольшим спросом пользовались: М. Горький, Л. Толстой, А. Чехов, Достоевский, Некрасов, Короленко.

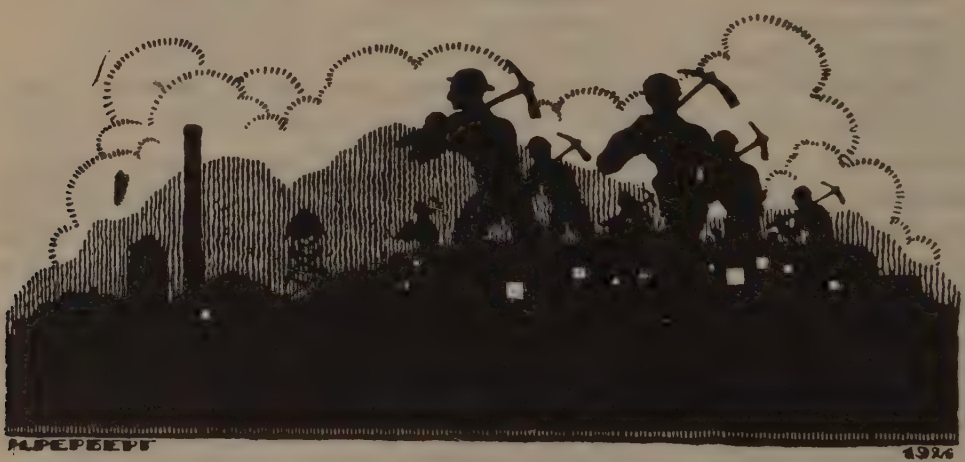
Вот картина постепенного роста сознательности рабочего—эволюции его читательских вкусов. Данные б-ки им. Вл. Г. Короленко, таким образом, только подтверждают эволюцию и с этой стороны мы их, в свою очередь, должны признать доказательными.

Данные, собранные нами, несмотря на свою скудость, все же достаточны для того, чтобы покончить с легендой о народном читателе, как особом социально-психологическом типе.

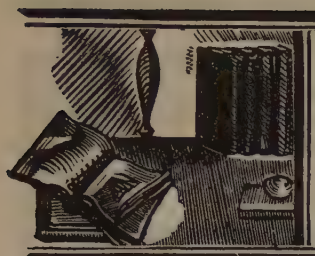
Как не велик Лев Толстой, но и он не сумеет убедить нас, что рабочий-токарь, читающий и увлекающийся Дарвиным, чужд ему и что этому рабочему сподручней читать сказки. И сколько бы С. Ан-ского ни приводил авторитетов в защиту своего положения об особом типе народного читателя, наш опыт говорит, что в городе нет особого читателя из народа.

Читатель-рабочий вырос, и его запросы по серьезности не только не ниже, но выше запросов остальной читательской массы города. Об этом говорит хотя бы только список книг, особенно понравившихся. Видно, что рабочая масса берет и культурную (если так можно сказать) инициативу в свои руки.

Заканчивая статью, скажу, что наши данные, не говоря о понижении читательских вкусов учительства, совработников и т. п., свидетельствуют с полной очевидностью о росте пролетарского сознания, о большой культурной работе, проделываемой пролетариатом над собой.



К статье „Русская графика". Рис. худ. Р. П. Герберга из журнала „Творчество".



ОТЗЫВЫ О КНИГАХ

ИМПЕРИАЛИЗМ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИКА.

МИХ. ПАВЛОВИЧ (М. П. Вельтман). Р. С. Ф. С. Р. в империалистическом окружении. Выпуск первый. Советская Россия и капиталистическая Франция. Москва. Гос. Издат. 1922 г. 64 страницы.

Реакционное правительство Карла X поняло все значение для правящих классов Франции дружбы с такой могучей военной и реакционной державой, как Россия того времени: именно благодаря поддержке Николая I Франция, несмотря на противодействие Англии, предприняла в июне 1830 г. экспедицию в Алжир, что было поворотным пунктом в истории французской колониальной политики. Во время франко-прусской войны Россия, однако, помешала Австрии вмешаться в войну в пользу Франции. Эта династическая русско-германская дружба порывается с того момента, когда германский империализм начинает стремиться проложить себе путь к Багдаду, а оттуда к Персидскому заливу. В августе 1892 г. генералами Буадефром и Обручевым подписана военная конвенция между Францией и Россией, а в 1899 г. обе страны заключили между собой политическое соглашение. Начиная с 1910 г., регулярно раз в год происходят совещания высших представителей французского и русского генеральных штабов.

В награду за золото французской биржи царская Россия, во-первых, должна была предоставить французским капиталистам важнейшие концессии на трамвайные и жел.-дорож. линии, электрич. станции, копи и рудники Донбасса и т. д., во-вторых, обязалась в случае войны действовать по плану, выработанному французским Генеральным штабом. Этот план, с точки зрения русских интересов, был стратегической нелепицей и губителен для России. Как явствует из документов, впервые опубликованных т. Валентиновым, русские войска обязывались перейти границу не позже 14 дней от начала военных действий. Россия должна была сыграть роль «оттяжного пластыря». Не принимая во внимание Австро-Венгрии, французы в порядке приказа заявляли России, что главным врагом надо считать Германию. Несмотря на медленность и трудности русской мобилизации, несмотря на то, что русская армия была вооружена хуже союзной, мы должны были наступать, к тому же в необычайно трудных условиях озерного района, тогда как армии трех союзников отступали к Парижу. Это стоило нам всей лучшей второй армии (до 400.000 человек), погибшей под ударами Гинденбурга. Но этим Россия, именно она спасла Францию: удар по гнезду прусских зубров заставил немцев в разгар битвы при Марне ослабить западный фронт, сняв с него два корпуса в пользу восточного. Военная история не знает другого подобного примера, когда армия одной страны ведет великую кампанию, считаясь с обстановкой не на своем, а на отдаленном фронте союзника. Впрочем, поражение России в войне с Японией тоже результат русско-французской конвенции с Францией, заставившей нас держать в бездействии на германском фронте наши лучшие боевые части и посылать против японцев второочередных неподготовленных бородачей. Русский генеральный штаб отлично видел всю невыгодность этого навязанного ему военного плана. Выработан был свой план увода 5-го корпуса с левого

берега Вислы на линию Пермь—Вологда, тоже и относительно 16-го корпуса и т. д.; но этот план разбился о сопротивление Франции. В инструкции ген. Жилинскому ген. Алексеев 16 янв. 1916 г. говорит: «за все нами получаемое они снимут с нас последнюю рубашку». Если принять во внимание, что на русском фронте ожидалось также выступление румынской и до половины итальянской армии, то ясно, на какую жертву заклания обрекла Франция русскую армию. Франция платила деньги и распоряжалась русским пушечным мясом по своему усмотрению. Россия превратилась в полуколонию французских шейлоков, а русская армия уподобилась чернокожим войскам Франции. Еще ярче это проявилось в июньском наступлении 1917 г., начатом Керенским под диктовку Антанты. Если прежде Антанта обращалась с Россией, как с своим лакеем, то в 1917 году, несмотря на то, что Англия довела свою армию до 2 миллионов, а Америка высадила более 1 миллиона солдат, Россию третировали, как раба. Помощи от союзников Россия не имела, на просьбы уступить из наличных запасов готовые винтовки союзники отвечали категорическим отказом, так что царскому правительству пришлось влить в американский рынок колоссальные количества русского золота и на эти деньги оборудовать там массу военных предприятий, то же самое в Англии, Франции и Японии (см. А. А. Маниковский. «Боевое снабжение русской армии в войну 1914—1916 гг.»). Недохватка в ружьях составляла до 10 миллионов, союзники уступили России всего 1.803.000 винтовок. Французские шейлоки не давали передышки в уплате кровавого векселя, подписанного царем.

До последнего времени эта унизительная роль царской России во франко-русском союзе не была известна даже самым ретивым противникам его. И только теперь становится понятна лютая вражда Франции против Советской России. Дело, конечно, не в тех 25 миллиардах франков, которых требуют от нас французские ростовщики. Этот долг лишь своего рода аркан, удавная петля. Главное: Россия служила для Франции поставщиком пушечного мяса, гигантским Сенегалом. Ни одно капиталистическое государство, действительно, не потеряло так много, как Франция, от утверждения у нас советского строя. И вот Франция, этот новый Карфаген, живущий наемными армиями, выступает против нас, как против своих взбунтовавшихся рабов,— выступает во всеоружии бичей и скорпионов. Правда, министр колоний Сарро заявил недавно, что Франция скоро сможет отменить всеобщую воинскую повинность в метрополии, так как колонии будут поставлять ей 300.000 армию; правда, Франции удалось превратить Польшу во второй Сенегал. Но все это не может заменить России.

Автор переходит затем к описанию происков Франции против Советской России, говорит о разоблачениях Буллита, вполне выяснивших роль Франции, сорвавшей план переговоров на Принцевых островах, говорит о роли Нуланса, защищавшего японский десант в Сибири в апреле 1918 г., о роли французских агентов в контр-революционном бунте чехо-словаков, в восстаниях в Москве, Ярославле, Муроме, Льгове, о письме Клемансо к генералу Франше д'Эспере (от 27-X - 1918), о необходимости создать в Одессе базу для интервенции, о ноте Фоша (X-1919) к Германии с требованием принять участие в блокаде России, о роли Франции в польской авантюре: еще накануне февральской революции Франция дала Извольскому согласие на присоединение *всей* Польши к России, а по 30 - VII - 1921 Франция израсходовала на Польшу против нас более миллиарда франков золотом, вооружила всю польскую армию своими 75-миллиметр. пушками и т. д.; замечательно, что как Польша, так и Деникин прежде, чем итти на Москву, делали диверсию на Украину и этим дали нам возможность протянуть резервы,—основа этого украинского психоза заключалась в интересах Франции, подписавшей еще при 2-й украинской республике договор с Петлюрой о передаче всех украинских жел. дор. и крупных промышленных предприятий в руки французских капиталистов! Итак, нас спасла та же жадность Франции, доведшая ее до ослепления... Автор говорит далее о поддержке Францией идеи союза 5 государств

так наз. Малой Антанты, против Советской России, об открытой поддержке Францией Врангеля, продавшем ей все железные дороги и таможни Европ. России, все излишки хлеба Кубани и Украины, $^3/_4$ экспорта нефти и бензина, $^1/_4$ добычи донецкого угля. Наконец о французском плане примирения с Турцией для использования ее против нас. По телу Турции Франция хочет пробраться в Россию.

Требование уплаты прежних долгов является лишь предлогом для более серьезных претензий. Когда т. Каменев сделал в Лондоне официальное предложение признать русский долг Франции, «Матэн» писал: «Прежде всего, надо убедиться, согласно ли будет Советское правительство признать право французов на сеть русских железных дорог. Нам нужны гарантии». В заключение автор говорит о французском саботаже помощи голодающим, о выдвинутом Францией лозунге концентрации дела помощи под главенством пресловутого Нуланса и т. д. Отметим приводимый автором факт: 7 сентября 1921 г. одна из оплачиваемых французским правительством петлюровских банд (тактика Нуланса!) пустила под откос между Фастовым и Кожанкой поезд в 61 вагон, вез-ший ржаное зерно голодающим шахтерам Донбасса; весь поезд, все продовольствие и более ста человек погибло при этом.

Ф. Капелюш.

МИХ. ПАВЛОВИЧ (М. П. Вельтман). Р. С. Ф. С. Р. в империалистическом окружении. Выпуск второй. Советская Россия и капиталистическая Англия. Москва. Гос. Издат. 1922 г. 85 стр.

В отличие от Соедин. Штатов, от Франции, даже от Германии Англия либеральная и консервативная, Англия вигов и тори, Гладстона или Биконсфильда, Ллойд-Джорджа или Чемберлена всегда была врагом сильной России, все едино: России крепостника Николая I или либерального и гуманного, по отзывам английской прессы, Александра II, России самодержавной или «конституционной» (Думской). В сущности, вся внешняя политика и военная история России в течение почти всего минувшего столетия была в значительной степени историей англо-русского конфликта. Достаточно уже одного беглого взгляда на историческую карту расширения территориальных границ обоих государств: Россия стремится по направлению к Индии, Англия двигается вперед на север, через Гималаи в Тибет, Ярканд, в сердце китайского Туркестана. Был момент, когда Англия, увлеченная своими империалистическими планами в других частях света, стремясь овладеть всем черным континентом, направляет все свои силы к Судану, останавливает французов у *Фашоды*, затем бросается к югу и начинает войну с бурами; в течение этого периода она дает возможность Германии глубоко пустить корни в Турции, России, в Китае и затем в Тибете. В 1901 г. русская миссия (бурят Цибиков) отправляется в Тибет, остается в течение всего года в Лхассе, столице запретного для иностранцев Тибета, и подготовляет почву для русско-тибетского договора. Но сейчас же после окончания бурской войны Англия, с одной стороны, расстраивает намечающееся сотрудничество французского капитала с Германией в постройке Багдадской жел. дороги, с другой стороны, заключив (30-I-1902) союз с Японией, начинает выбивать Россию из всех занятых ею за это время позиций в Персии, Тибете и Сев. Китае. Русско-японская война возможна была только благодаря дипломатической и весьма активной, хотя и скрытой, материальной поддержке со стороны Англии. В августе 1904 г. сильная английская экспедиция после необычайно трудного перехода через высочайшие в мире горные вершины вступает в Лхассу; вместе с Далай-ламой из нее бегут также представители России: капитан Козлов и бурят Джорджев. Англия принимает также меры к восстановлению своего влияния в Афганистане и в Персии, снаряжает военную экспедицию полковника Мак-Магона с громадным обозом в 1500 верблюдов и устраивает у побережья Персидского залива демонстрацию сильной военной эскадры лорда Керзона (ноябрь 1903 г.). В Персии Англия поддерживает пробуждаю-

щееся здесь конституционное движение и, ослабив силу шаха, сломила этим главное орудие русского влияния в Сев Персии.

В результате скобелевская политика устрашения Англии путем движения к индийской границе потерпела полное фиаско и привела к обратным результатам. Англо-японский договор 13 авг. 1905 г. (оба государства обязуются помогать друг другу в случае русского нападения) сделал в глазах царских дипломатов несбыточными все их мечты о реванше. Тяжкие поражения русской дипломатии лишили всякого содержания англо-русскую вражду, ликвидировали ее; к тому же Англия ищет в России противовес против своего слишком сильного союзника на Востоке, Японии и умеряет аппетиты последней при заключении Портсмутского договора. В результате было подписано англо-русское соглашение 18 августа 1907 г. К этому сближению толкает Англию также усиливающееся влияние Германии в Персии (бахтиары и персидские революционеры, взявшие приступом Тегеран, были вооружены отчасти немецким оружием; Англия поддерживала в Персии конституционное движение лишь в противовес России, но в то же время всеми силами подавляла освободительное движение в южных провинциях, прилегающих к индийской границе). А еще более чем страх перед Германией, способствует сближению Англии с Россией рост революционного движения среди 300-миллионного населения Индии.

Центр тяжести англо-русской конвенции находится в вопросе о Персии. Северная Персия, наиболее богатая и промышленная, а также революционная, признана была входящей в сферу русского влияния, Великобритания обязалась не домогаться здесь никаких концессий и получила в свою сферу только южную пустынную часть Персии. Эта сделка вызвала глубокое возмущение со стороны английской промышленной буржуазии; поскольку такой характер конвенции означал водворение анархии в стране, он был вреден также интересам русского экспорта. Секрет этого неожиданного оборота дела лежит в страхе Англии перед усилением революционного движения в Индии и внезапно выросшей германской опасностью. Конвенция устраняла возможность сближения царской России с Германией.

С Октябрьской революцией снова происходит полная перемена декораций. Англия сохраняла прочное положение в Индии не столько благодаря своей индусской армии, своим эскадрам, своему золоту и, наконец, непроходимым Гималаям, сколько благодаря тому, что царская Россия была глубоко ненавистна всем народам Востока. Советская власть, напротив, явилась в глазах последних добрым гением, освобождающим их из рук английского империализма. Англия объявляет поэтому Советской власти войну не на жизнь, а на смерть. Тогда как Франция и Соединенные Штаты желают собрать рассыпанную храмину царской империи, Англия борется с нами, наоборот, с целью расчленения и ослабления России, ставит своей основной целью усиление развала и разрухи с помощью Деникина, Колчака, Юденича, Врангеля. Политика Англии в сущности являлась политикой Брест-Литовска. Приехавший к нам в марте 1919 г. представитель Ллойд Джорджа Буллит сделал нам в этом духе ряд предложений: признание за Колчаком Сибири, за Деникиным Крыма, Кубани, Дона и т. д. Автор говорит далее о двадцатитысячной Мурманской экспедиции англичан (только низкий уровень воды в Двине помешал Колчаку соединиться с ним), о том, как англичане создали свою эскадру на Каспийском море, заняли Баку и Закавказскую жел. дорогу, как в июне 1919 г. Каспийское море находилось фактически в руках англичан, которые к тому времени считали себя господами всего Кавказа. Но в июле они эвакуировали Кавказ и передали свой каспийский флот Деникину. После поражения этого последнего Англия решила опереться на дашнакцанскую Армению и меньшевистскую Грузию. Последняя согласна была на занятие англичанами Батума, и только решительная нота Чичерина от 16 ноября 1920 г. заставила отказаться от этого плана. Советизация обеих закавказских республик окончательно взорвала английский план окруже-

лия России на восточном фронте и овладения Кавказом, как ключом к Востоку и к нашей нефти. Хотя Англия не находилась с нами официально в войне, она, согласно докладу адмирала Вальтера Кауэна, потеряла в борьбе с нашими судами одну подводную лодку, два миноносца, два траллера, семь береговых моторных лодок и транспорт Вольтурнус. С ноября 1918 г. Англия израсходовала на поддержку русской контр-революции 107 миллионов фунтов (из них 31 на британские войска) деньгами и товарами. Английский план заключался прежде всего в захвате морей Черного, Каспийского, Балтийского и Белого; Англия добивалась от Латвии уступки Даго и Эзеля, этого Гибралтара Финского залива, и оказывала тайное содействие фон-дер Гольцу и Бермонту, вообще не прочь была бы вооружить против нас Германию (план Черчилля); но все эти три комбинации разбились о сопротивление Франции. В начале войны Польши против России английский король послал приветственную телеграмму Пилсудскому: Англия желала этой войны, долженствовавшей отвлечь наши силы от Ближнего и Среднего Востока.

Что же заставило английский империализм отказаться от продолжения политики интервенции и борьбы с Советской Россией и подписать торговый договор с нами?

Поворотным пунктом было занятие нами 18 мая 1920 г. порта Энзели на Каспийском море. Мы захватили там весь флот Деникина и громадную военную добычу. Как автор, так и тов. Радек писали тогда о необходимости для нас перейти в наступление против английского империализма в самом уязвимом его месте, Центральной и Малой Азии. Результатом занятия нами Энзели было восстание в Гиляне, возглавлявшееся Кучук-ханом. По соглашению с командующим советским флотом т. Раскольниковым Кучук-хан начал наступление на Решт. Тогда англичане спешно эвакуируют последний и отступают в Багдад, их индусские солдаты при первой возможности перебегают на нашу сторону. Решительный курс нашей восточной политики, выразившийся, между прочим, в создании Совета Действия и пропаганды народов Востока, заставил английское правительство задуматься над вопросом о неизбежности соглашения с Советской Россией. К этому времени крестьянское движение в Индии охватило громадную площадь в 107.000 кв. миль с населением свыше 47 миллионов. Душой его являлся известный Ганди. Наш престиж в мусульманском мире после побед над Колчаком, Деникиным и Врангелем и английскими отрядами был необычаен. В сентябре 1920 г. в Баку собрался съезд народов Востока (около 2000 делегатов) под лозунгом борьбы с Англией, и уже в декабре того же года английское правительство предложило нам проект торгового договора. Весьма характерно письмо сэра Роберта Хорна к т. Красину, полностью приводимое в книге т. Павловича; английское правительство, указывая на действия нашего посланника в Кабуле Сурица, на пребывание роя в Ташкенте и т. д., самым откровенным образом признается, что на соглашение с нами его заставил пойти в первую голову „страх перед нашей пропагандой и прочими выступлениями среди народов Востока. Англия требовала от нас обязательства воздерживаться от всяких враждебных действий также и на Кавказе, но т. Красину удалось заставить Ллойд Джорджа исключить этот пункт из соглашения, к великому огорчению грузинских меньшевиков и армянских дашнаков. Соглашение подписано 18 марта 1921 г.

Разумеется, здесь сыграл также роль английский рабочий класс и мировой кризис. «Единственное средство ослабить безработицу,—заявил Томас на многотысячном митинге в Дерби 20 янв. 1921 г.,—заключается в подавлении безумной оппозиции нашего правительства по отношению к большевикам». «Страшно подумать о том, что может случиться, если не будет восстановлен мир с Россией, которая до войны производила четвертую часть всего продовольствия, ввозимого европейскими державами». Так заявил Ллойд Джордж в палате общин еще в июне 1920 г. За 1904 и 1905 гг. Англия вывезла из России 1½ миллиона тонн одной пшеницы; перед войной Россия по вывозу сырья в Англию

занимала второе место после С. Штатов.

Мы изложили две первые части книги т. Павловича: *Англия и Россия в прошлом* и *Англия и Советская Россия*. Третья часть озаглавлена: „Перед Генуэзской конференцией", и трактует о Вашингтонской конференции и англо-французских трениях, о Канской конференции и обострении англо-французского конфликта.

Говоря об этом конфликте, а также о вовлечении английских *доминионов* в сферу влияния С. Штатов, о расторжении англо-японского союза, связывавшего японскую экспансию, т. Павлович приходит к следующему выводу: Англия вынуждена ориентироваться на Германию и Россию также в целях восстановления нарушенного равновесия в Европе и на Тихом океане. В заключение автор констатирует две концепции мировой политики. С одной стороны, английская, которая во имя спасения самой Великобритании от полного экономического кризиса должна стремиться к уничтожению всех результатов Версальского мира, к освобождению Германии от французского пресса, к экономическому воссоединению развалин Австро-Венгрии, вообще к восстановлению сильных экономических единиц на европейском континенте. С другой стороны, концепция ростовщической и милитаристской Франции с ее незначительной вывозной торговлей; она стремится к расчленению Европы на ряд враждующих и экономически слабых государств, находящихся в финансовой кабале у Франции.

Как все труды тов. Павловича, обе новые книги отличаются своей чрезвычайной содержательностью, сжатостью и вместе с тем популярностью изложения. В них нет ни одного общего места, ни одной голословной фразы, ничего лишнего, есть только факты, при чем выводы сами собой вытекают из фактов, не могут не быть сделаны самим читателем. Темы злободневные и животрепещущие трактуются в широком историческом освещении.

Ф. Капелюш.

Б. Е. ШТЕЙН. Генуэзская конференция. Государственное Издательство. Москва. 1922 год. 126 страниц.

Е. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ. Итоги Генуэзской конференции и хозяйственные перспективы Европы. Государственное Издательство. Москва. 1922 г. 51 стр.

Т. В. САПРОНОВ. Генуэзская конференция. Кооперативное Издательство „Московский Рабочий". 1922 г. 48 стр.

Генуэзская конференция, как и следовало ожидать, нашла свой отклик не только в повседневной прессе, но и на книжном рынке. Три поименованные в заголовке работы ставят своей задачей ознакомление читающей публики с одним из важнейших моментов в процессе восстановления экономических и политических отношений между Советской Россией и капиталистическим миром, но каждая из них подходит к вопросу по-своему, так что все три в сущности являются дополнением одна к другой.

Небольшая книжка т. Штейна преследует, главным образом, описательные задачи. На своих 126 страницах он подробно излагает подготовительную работу к Генуэзской конференции, проделанную Антантой и Советской Россией, детально описывает самую конференцию, внимательно следя за всеми сложными перипетиями этого любопытного дипломатического «действа», подробно останавливается на центральном пункте конференции—на заседаниях политической комиссии по русскому вопросу, и, наконец, дает краткий отчет о работах финансовой, экономической и транспортной комиссий конференции, занимавшихся проблемами пресловутого «восстановления Европы». Изложение сопровождается приведением всех наиболее важных документов, резолюций, нот и проч., рожденных в связи с конференцией и в процессе самой конференции, а также многочисленными цитатами из органов европейской прессы все по тому же «генуэзскому вопросу». В заключительной главе своей книги автор приходит к выводу, что хотя Генуэзская конференция не дала Советской России ни юридического признания,

ни денежных кредитов на восстановление нашего народного хозяйства, тем не менее, она является громадной победой рабоче-крестьянской республики. «Европа увидела,—пишет т. Штейн,—и увидевоочию, что без включения России в сеть мировой экономики никакое действительное восстановление Европы невозможно. Она увидела, что все ее мероприятия в этой области бесплодны и бумажны». Вместе с тем Европа убедилась, что накинуть петлю на шею Советской Республике невозможно и что включение последней в орбиту международного хозяйства мыслимо лишь на почве взаимного соглашения, приносящего выгоды обоим сторонам. «В этом уроке—положительная сторона Генуэзской конференции для Европы». Для Советской России пятинедельное итальянское «сидение» оказалось тоже не без пользы: «Генуэзская конференция для Советской России,—говорит т. Штейн,—сыграла роль глубокой разведки в тылу у неприятеля. После Генуи мы знаем слабые и сильные места противника лучше, чем до Генуи. После Генуи мы больше верим в себя и собственные силы, чем до Генуи».

В общем книжку т. Штейна можно рекомендовать, как достаточно полный и вместе с тем не слишком объемистый справочник о Генуэзской конференции.

Брошюра т. Преображенского несколько иного характера. Если т. Штейн занимается, главным образом, описанием, то т. Преображенского интересует преимущественно внутренний смысл Генуэзской конференции. К вопросу он подходит единственно правильным методом—марксистским. Он старается выяснить, какие реальные экономические интересы скрываются за той шумихой фраз, которая опутывает политику великих и малых европейских держав. В этом отношении чрезвычайно интересны некоторые из приводимых им цифр.

В 1913 году ежегодный чистый национальный доход Англии составлял около 2 миллиардов фунтов стерлингов. В том же году общая сумма английского экспорта и импорта составила 1.410 миллионов фунтов, т.-е. около 70% национального дохода. Между тем общая сумма английской внешней торговли в 1920 г., если ее выразить в ценах 1913 г., равнялась 1.268 миллионам фунтов, в 1921 г.—1.000 миллионов фунтов. Таким образом, внешняя торговля Англии в 1921 г. упала на 40% по сравнению с довоенным временем. За первые три месяца 1922 г. последовало дальнейшее уменьшение, по сравнению с 1921 г., импорта на 20%, экспорта—на 16%.

Не лучше и положение в английской промышленности. Вот данные, касающиеся угля, стали и железа.

Было добыто:

	1913 г.	1920 г.	1921 г.
Уголь	287, 4 м. т.	229, 3 м. т.	164, 6 м. т.
Чугуна	10 3 » »	8, 0 » »	2, 6 » »
Сталь	7, 7 » »	9, 0 » »	3, 6 » »

Колоссальное падение производства выступает здесь чрезвычайно ярко. Если сюда прибавить, что треть английского торгового флота в настоящее время, за отсутствием грузов, находится в бездействии, что фрахты с января 1920 г. до половины 1921 г. упали почти в 4 раза и что безработица, составлявшая в 1920 г. 4% всех страхуемых от безработицы, к январю 1922 г. поднялась до 16, 2%, то станет ясно, каким тяжелым расстройством охвачено в настоящее время английское народное хозяйство.

Из приведенных цифр с совершенной отчетливостью намечается и та основная линия внешней политики, которой Англия вынуждена придерживаться, независимо от тех или иных стремлений ее руководящих государственных людей. Англии во что бы то ни стало необходимо оживить свою промышленность и внешнюю торговлю и сократить господствующую в ней безработицу. Это можно сделать только в том случае, если Европа восстановит свое хозяйство и начнет покупать у Англии и продавать ей столько, сколько она покупала и продавала в довоенные годы. Для восстановления же европейского хозяйства необходимы в первую очередь ликвидация Версальского договора и включение в мировой оборот Советской России. Вот почему Англия в течение последнего времени выступает в качестве «ангела мира», готового предать забвению недавнее прошлое и склонного болеть лишь тревогами будущего. Останет-

ся — во главе британского правительства Ллойд Джордж или будет заменен Э. Греем, внешняя политика Англии от этого мало изменится. Она попрежнему будет окрашена в «мирные тона», ибо того повелительно требуют реальные экономические интересы страны.

Совсем иное говорят цифры в отношении Франции. Перед войной годовой национальный доход Франции равнялся приблизительно 50 миллиардам франков, а общая сумма ее внешней торговли составляла лишь около 15 миллиардов франков, т.-е. всего 30% национального дохода. Таким образом, внешняя торговля играла во французской экономике неизмеримо меньшую роль, чем в английской. В частности, французский вывоз в Россию до войны был совершенно ничтожен и состоял, главным образом, из предметов роскоши. При таких условиях ясно, что Франция гораздо меньше страдает от той хозяйственной разрухи, которая господствует в Европе, и потому больше заинтересована в выколачивании репарационных платежей из Германии, чем в восстановлении европейского хозяйства. По отношению к России Франции точно так же важнее получение процентов по старым царским долгам, чем восстановление в ней нормальных экономических связей. В свете приведенных цифр становится вполне понятной основная линия французской внешней политики, так ярко проявившаяся на Генуэзской конференции. И будет ли во главе французского правительства Пуанкарэ или Бриан, никакого существенного изменения в характере внешней политики Третьей Республики ожидать не приходится, ибо реальные экономические интересы побуждают ее к сугубой непреклонности по отношению к Германии и России.

В дальнейшем изложении тов. Преображенский внимательно рассматривает под углом зрения мировой экономики генуэзские переговоры и, в конце-концов, приходит к выводу, что Советская Россия, «не отказываясь от задачи восстановления экономической связи со всеми капиталистическими странами и особенно с Англией, должна, тем не менее, центр своего внимания сосредоточить на Германии», так как «развитие производительных сил на материке Европы уже теперь властно требует создания мощного экономического объединения между германской промышленностью и русским сельским хозяйством».

Небольшая брошюра тов. Преображенского очень содержательна и вносит большую ясность в понимание движущих сил современной европейской политики. Брошюра т. Преображенского окажется очень полезной всякому, кто желает разобраться в истинной сущности того дипломатического тумана, над созданием которого так усердно работают сейчас как европейские государственные деятели, так и европейская пресса.

Брошюра т. Сапронова имеет совсем иную задачу, чем работы т.т. Штейна и Преображенского. Она дает ряд беглых очерков о поездке и пребывании русской делегации в Генуе. Это не описание конференции и не анализ ее работы и итогов, это просто впечатления от конференции, от Италии, от итальянских рабочих, набросанные по дороге в записную книжку. Но глаз у автора приметливый, перо бойкое и в результате получается очень интересная картина генуэзского «сидения». Читается брошюра т. Сапронова очень легко и по манере письма весьма пригодна для рабочей и крестьянской аудитории. Желательно было бы распространить ее возможно шире в деревнях, уездных и фабричных центрах.

И. Майский.

JOSEPH CAILLAUX. Agadir. Ma politique extérieure, suivie de: Les coulisses q'une négociation. Paris. Albin Michel. 1919. VII и 372 pp.

ЖОЗЕФ КАЙО. Агадир. Моя внешняя политика; с приложением: Закулисная сторона одних переговоров. Париж. 1919. Альбен Мишель. VII и 372 стр.

С именем Жозефа Кайо в истории Третьей Республики связан целый ряд событий внешней и внутренней политики. Инициатор введения подоходного налога, сторонник мирного разрешения франко-германского конфликта, премьер и министр ряда радикальных кабинетов,

Кайо неоднократно подвергался суровым и очень часто по существу незаслуженным обвинениям со стороны правых буржуазных кругов. Эти последние видели в Кайо одного из своих наиболее серьезных политических противников и пытались много раз закрыть ему возможность продолжать его блестящую карьеру. Были пущены в ход и письма его жены, мадам Кайо, вызвавшие убийство ею редактора газеты «Figaro» Кальметта, обвинения Кайо в германофильстве и, наконец, процесс (уже во время войны) с нисколько не обоснованным обвинением в сношениях с неприятелем и шпионстве. Стоявшему во главе министерства Клемансо, старому врагу Кайо, удалось продержать последнего до процесса около 2-х лет в предварительном заключении. После этого обвинительный приговор был необходим, Кайо была отрезана дорога к дальнейшей общественной деятельности. Еще в 1922 году, когда Кайо, выпустивший к этому времени книгу: «В тюрьме», попытался выступить кандидатом на какую-то выборную должность в родном городе, министерство Пуанкаре разъяснило властям города недопустимость подобных выборов.

«Агадир» Кайо посвящен его внешней политике в Марокко до войны — в 1911 и 1912 и предшествовавшие годы. Заключенное тогда франко-германское соглашение послужило материалом для обвинения Кайо в германофильстве. В данной книге Кайо пытается оправдаться от этого обвинения и дать документальный материал для суждений о французской политике в Марокко до 1911—1912 гг.

Книга распадается на две части. В первой автор подводит итоги французской политике в Марокко до 1911 года и франко-германским отношениям этой поры, равно как излагает общие линии своей политики по отношению к Германии по марокканскому вопросу. Эта часть книги была уже закончена к 1915 году, когда Кайо еще не решался публиковать приложения — целый ряд документов, подтверждающих его работу В 1919 г. (еще в тюрьме) Кайо издал обе части.

В изложении Кайо политика его предшественников приобретает оттенок, весьма пагубный для интересов французской буржуазии. Германии удалось путем изоляции Франции добиться интернационализации марокканского вопроса в 1905 и франко-германского договора 1909 года, которые представляли для Германии с экономической точки зрения положение, одинаково выгодное положению Франции. Кайо выступает против политики Делькассе, рассматривавшего Германию как quantité négligeable в марокканском вопросе и указывает на необходимость договориться с последней на основах компенсации в каком-либо другом колониальном предприятии. Кайо, однако, здесь совершенно упускает из виду неблагоприятное международное положение, создавшееся для французской дипломатии в 1905 году в виду неудачного (для России, а тем самым для ее союзницы Франции) окончания русско-японской войны и русской революции 1905 года. Тем не менее, упрек Кайо в неправильности взгляда Делькассе на Германию остается в силе.

Франко-германское соглашение 1909 г., заключенное министерством Рувье, было настолько обще, что не предоставляло Франции никаких выгод, давая между тем Германии фактическое признание ее претензий на экономическое могущество в Марокко. С агадирским инцидентом 1911 года марокканский вопрос был снова поднят во всей своей широте. Кайо справедливо рассматривает посылку Германией канонерской лодки к берегам Марокко, как провокацию к войне. Министр иностранных дел де-Сельв уже было поддался на провокацию Германии и только умеряющему влиянию Кайо, как министра-председателя, удалось задержать посылку французской эскадры к берегам Марокко, что составило бы «casus belli». Так изображает дело наш автор. Здесь, однако, мы можем сделать некоторые дополнеиия к его рассказу. Несомненно, крупное «умеряющее» значение имела беседа Кайо с русским послом в Париже Извольским, указавшим тогда на необходимость и желательность примирения Франции и Германии. Россия отказалась поддержать Францию в войне из-за Марокко, так как не считала себя готовой (к войне) ранее, чем через 3—5 лет. (Документальным допол-

нением к книге Кайо здесь могут служить донесения Извольского, напечатанные в сборнике: «Материалы по истории франко-русских отношений за 1910—1914 гг. Письма Извольского Нератову от 1—14 IX и 28 IX—11 X»).

Переговоры по вопросу о Марокко велись с ведома Кайо и часто помимо quai d'orsay (франц. мин. ин. дел) через посла в Берлине Камбона. Франции, как известно, удалось заставить Германию отказаться от своих претензий в Марокко (а следовательно, и от договора 1909 г.) за компенсацию в французском Конго. Операцию нельзя не назвать удачной, но в ее удаче не столько повинны Кайо и Камбон, сколько финансовый кризис, разразившийся в Германии как раз в эпоху переговоров. Тяжелое финансовое положение принудило германское правительство пойти на уступки.

Таков общий остов истории агадирских переговоров. Приложенные к книге документы представляют большой интерес, главным образом, не для истории самих переговоров, а для характеристики дипломатических приемов той и другой «высокой договаривающейся стороны». Так, среди других документов помещена переписка германского статс-секретаря по иностранным делам Кидерлена с его любовницей русской баронессой У. Последняя интересовалась дипломатией, и Кидерлен отправлял ей копии почти всех своих важнейших докладов и сообщений. Переписка эта попадала в руки Кайо, который, таким образом, имел возможность следить за переменами настроений в берлинских дипломатических и правительственных кругах. В переписке характерно отношение Кидерлена к Вильгельму (секретное обозначение: дикий зверь—fourrure), мешающему политике своих собственных министров своими несдержанными выступлениями, и к канцлеру Бетманн-Гольвегу, который выразительно обозначен, как «petite bête» (маленький зверь, маленький глупец).

Интересны стремления германских дипломатов посеять разногласия в среде своих противников. С этой целью германское посольство в Париже использует в своих «совершенно секретных» телеграммах заведомо знакомый французам шифр. Хороши также и французы, гарантирующие тайну дипломатической переписки и перепечатывающие расшифрованные ими германские секретные донесения *как обычно* (selon l'usage) на зеленой бумаге (memoranda verts).

Особый интерес представляет глава книги, посвященная Конго. Кайо знакомит нас здесь с обычной деятельностью французских колониальных и концессионных кампаний. Эти последние, захватив в свои руки концессию, вовсе не имеют в виду (обычно) хозяйственную эксплоатацию местности. Для них необходимо создать инцидент, ведущий к уплате правительством, давшим концессию, неустойки кампании. Подобная операция была, как по нотам, разыграна кампанией N'Goko Sangha, добившейся проникновения германских контрабандистов на территорию ее концессии в французском Конго, за что с правительства была взыскана крупная неустойка (indemnité). Любопытно, что через какие-нибудь полгода та же кампания, за свой патриотизм получившая крупную сумму, сочла возможным подписать договор о слиянии с германскими фирмами, против контрабанды которых шла борьба.

И. Звавич.

ROBERT LANSING. The peace negotiations. A personal narrative. London. Constable and C°. 1921. VII+298 pp.

РОБЕРТ ЛАНСИНГ. Мирные переговоры. Рассказ участника. Лонд н. Констэбл и Комп. 1921. Стр. VII+298.

Рецензируемая книга представляет собою мемуары бывшего американского статс-секретаря по иностранным делам Роберта Лансинга, одного из представителей Соединенных Штатов на Версальской конференции. Причины появления книги Лаисинга несколько своеобразны—это не простое мемуарное произведение «бывшего» человека. Книга написана с целью снять с себя ответственность за Версальский договор, за политику президента Вильсона. У Лансинга и Вильсона, этих двух верховных руководителей внешней политики Америки во

время войны и в момент заключения мира, крайне редко имелась общая точка зрения по какому-либо вопросу международной политики. Напротив того, существовали постоянные противоречия, неизбежно обострившиеся с течением мирных переговоров. Для характеристики противоположности воззрений Вильсона и Лансинга достаточно указать, что Лансинг выступает в своей книге, как убежденный противник идеи Лиги Наций, этого детища вильсоновской государственной мудрости.

Однако, в силу того, что президент является конституционно-ответственным верховным распорядителем внешних судеб Штатов, Лансинг не решается действовать против его воли. Лансинг старается показать, что делал все возможное для того, чтобы отклонить президента от его пагубных (для страны) политических намерений. Сделано это с очевидной целью отмежеваться от последствий вильсоновской политики, потерявшей в глазах американского общественного мнения ореол былой популярности. Для читателя книги Лансинга, однако, остается недоуменный вопрос: из каких побуждений Лансинг, тем не менее, оставался на своем посту, не подал в отставку. Известно даже, что в свое время Лансинг не только решительно помогал президенту «по обязанностям службы», но и выступал в сенате решительным сторонником ратификации Версальского договора, а тем самым и включения Америки в Лигу Наций. Оправдать этот свой политический шаг Лансингу не удается.

Читателя, однако, не столько заинтересуют личные отношения Вильсона и Лансинга, которым уделено слишком много внимания, сколько обстановка Версальской конференции, а также политика американской делегации, возглавлявшейся президентом Вильсоном. С этой стороны Лансинг сообщает много интересного материала.

Американская делегация выступила на конференции, как сообщает Лансинг, не имея никаких конкретных политических целей, какие могли бы быть ею проведены в жизнь. За это, по мнению автора, исключительную ответственность несет президент Вильсон. Последний обладал только общими представлениями о характере желательного для Соед. Штатов мирного договора. Между тем базой для переговоров должны были как раз явиться 14 пунктов президента Вильсона, т.-е. американские предложения. Однако, на этих 14 пунктах фактически остановилась работа Вильсона по подготовке договора, хотя в них заключались по существу только одни общие указания.

Idée fixe президента был его проект создания Лиги Наций. Лансинг подробно останавливается на доказательстве полной антидемократичности этого института, как и на его полной нецелесообразности. Лига Наций фактически находится в зависимости от своего Верховного Совета—в частности от 4—5 великих держав. Мелкие державы не имеют по существу права решающего голоса. Лансинг с полной очевидностью выясняет полную никчемность статута Лиги, требующего единогласного решения всех вопросов. Единогласие всегда будет превращаться в соглашение великих держав на основе компенсаций.

Опубликованный в тексте меморандум автора президенту (глава XVI, стр. 169—190) позволяет нам судить о собственных мирных начинаниях Лансинга. Мы воздадим ему должное, если скажем, что планы Лансинга отличаются от вильсоновских лишь полным отсутствием благих намерений да бóльшим сознанием собственных интересов. С холодным расчетом антантовского дипломата Лансинг говорит о необходимости возрождения объединенной Польши, не в силу приверженности к идее самоопределения народов, а в силу необходимости создать буфер между Германией и Россией. Лансинг не хочет допустить «в интересах мира» влияния Германии на Россию и экономического проникновения Германии на Украину. Вообще к самоопределению Лансинг вполне откровенно относится резко отрицательно. (Self-determination, pp. 83—94).

К книге Лансинга приложены: проект Лиги Наций Вильсона, Роберта Сесиля, подлинный статут Лиги; 14 пунктов; обращение Вильсона к конгрессу от 11 февр. 1918 г.; отрывок из Версальского договора, относящийся к Шантунгу, и блестяще составленный указатель.

И. Звавич.

ЭКОКОМИЧЕСКИЕ НАУКИ И НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО.

Проф. М. И. БОГОЛЕПОВ. Бумажные деньги. Центральное издательство «Кооперативное Товарищество». 1922 г. Петербург—Москва. Стр. 111.

Работа проф. Боголепова, как сообщает автор в предисловии, «написана для широкой читательской среды и имеет своей главною задачею познакомить с основными законами, фактами и политикой денежного обращения, не прибегая к чисто теоретическому изложению, а представляя их на исторических опытах из жизни различных народов. Книга дает сведения о трех возможных результатах (?) бумажно-денежного хозяйства,—об аннулировании бумажных денег, поднятии их курса до паритета с золотом и о девальвации их номинальной стоимости».

Этими словами содержание книги и с положительной и с отрицательной стороны очерчено довольно точно. В ней есть ряд интересных очерков по истории бумажных денег, которые сгруппированы в трех последних главах.

В одной,—«Аннулирование бумажных денег»,—излагается история ассигнатов и территориальных мандатов французской революции и бумажных денег Соединенных Штатов в эпоху войны за независимость.

В другой рассказывается об опытах успешной ликвидации бумажно-денежных систем путем восстановления паритета между бумажными и металлическими деньгами (Англия в эпоху наполеоновских войн, Штаты в эпоху гражданской войны, Франция после 1871 года).

Последняя глава описывает историю девальваций в России и Австрии.

История бумажных денег во время последней войны и после нее в задачу проф. Боголепова в данном случае не входит.

Слабое место книги составляют две первые главы, ярко свидетельствующие об отсутствии у автора продуманной теории денег.

Первая глава хочет дать читателю «общее понятие о деньгах». Мы боимся, что оно будет достаточно превратным.

Как, напр., оценить следующее рассуждение: «Если продумать до конца значение денег с частно-хозяйственной точки зрения, то и тут придется сказать, что если это и богатство, то довольно условное, легко могущее оказаться призрачным. Не будет большой разницы, если деньги сделаны из драгоценного металла. При истощении всех других народно-хозяйственных ценностей и при увеличении золотых денег (какой язык! *С. Ч.*) в общем получится то же самое положени , что и при бумажных деньгах, различие сведется только к масштабу: золото опирается на международный рынок, поэтому ответчиком по золоту является мировое хозяйство. Но если мировая война опустошает весь мир, то и золото разделяет судьбу бумажных денег, ибо золото само по себе имеет слишком скромную потребительскую ценность».

Разве это не шедевр теоретической безвкусицы и неразберихи?

Или, например: «Правительственные займы... превращаются в долгосрочные, что находится в прямом противоречии с банковым устройством и резко нарушает его хозяйственную жизнь».

Но, пожалуй, лучше всего такая тирада: «Внутренняя цена (!) золота определяется спросом на него в целях обезопашения (!) от вреда, наносимого частным имуществам обесценением бумажных денег и отчасти спросом на золото ради промышленных целей и ради вывоза за границу».

Нет, уже лучше бы автор обошелся без «общих понятий».

Немногим лучше и вторая глава,—«Порча денег». Прежде всего автор совершенно напрасно делает героическую попытку объединить порчу монеты и эмиссии бумажных денег в общую категорию «Порчи денег».

Затем напрасно проф. Боголепов утверждает, что в русской литературе

нет «сколько-нибудь удовлетворительного» изложения истории бумажных денег Великой французской революции. Есть, по крайней мере, два изложения (Фалькнера и Смирнова), которые могут быть признаны вполне удовлетворительными.

Но, несмотря на малую содержательность и стилистическую растрепанность двух вступительных глав, основные исторические главы книги будут, несомненно, полезны русским читателям.

С. Членов.

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ, ФИНАНСЫ и ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ. Институт Экономических Исследований Н. К. Ф. Труды института. № 4. Петроград — Москва. 1922 г. Стр. 122.

Статистический сборник, изданный Институтом Экономических Исследований Н. К. Ф., представляет собой несколько сокращенный перевод 4 тома трудов Брюссельской международной финансовой конференции, заседавшей в сентябре 1920 года.

Сборник разделен на три отдела: Статистика денежного обращения, Государственные финансы, Международная торговля. Множество статистических таблиц дает богатейший материал по означенным группам вопросов. При чем особенно ценно, что дан не сырой статистический материал, а сгруппированный под определенным теоретическим углом зрения.

Напр., в основу группировки материала по денежному обращению положена количественная теория денег, и как в выборе и комбинации таблиц, так и в чрезвычайно сжатом, но содержательном пояснительном тексте чувствуется влияние взглядов проф. Густава Касселя. Приведены не только данные о выпуске бумажных денег, вексельных курсах и движении золотых запасов, но и данные о движении банковых вкладов, добыче золота, колебаниях учетного процента, при чем изменения всех этих факторов сопоставлены с колебаниями индексов цен. Очень содержателен и второй отдел сборника, дающий большой и интересно сгруппированный материал о бюджетах, налогах и их отношении к народному доходу, внешнем и внутреннем государственном долге, займах и т. д.

Наконец 3 отдел дает детальную картину движения импорта и экспорта важнейших государств и эволюции их торговых балансов.

Данные сборника охватывают период с 1913 до середины 1920 года (некоторые таблицы только до конца 1919 года).

Для изучения эволюции мирового хозяйства за время войны и в первый год после ее окончания сборник представляет исключительную ценность.

С. Членов.

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ЕЖЕГОДНИК МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА, под редакцией проф. С. А. Фалькнера, при ближайшем участии В. Г. Громана и М. Я. Кауфмана. 1921. Год издания первый. Издание Всероссийского Центрального Союза Потребительских Обществ. Москва. 1922 г. Стр. 290+IV+V.

«Вопросы мировых потребностей и мировых рессурсов, мировой продукции и мирового спроса, мирового рынка и мировой конъюнктуры, мировой торговли и мирового транспорта являются ныне естественной базой для разрешения всех национально-хозяйственных проблем и отношений».

Удовлетворению потребностей в разносторонних и обобщающих сводных материалов для исследования и осознания основных процессов мирового хозяйства должен служить рассматриваемый ежегодник. Ежегодник, не удовлетворяясь характером справочного издания, стремится дать материал обобщенный, изложенный в «определенные комплексы». Как на препятствия к осуществлению этого задания, смягчающие его дефекты, редактор указывает на 1) недостатки самой мировой статистики (пробелы в области промышленной статистики всех стран, кроме С. Ш., пробелы в статистике труда в С. Штатах, обилие различных цифр и «итоги без частей либо части без целого» в публикациях русской

государственной статистики; 2) трудность, а иногда и совершенную невозможность получения свежей иностранной литературы и 3) трудность для небольшой группы составителей «Ежегодника» подвергать сколько-нибудь серьезной и длительной переработке иностранные материалы для выявления намечающихся динамических тенденций, без постоянного технического аппарата и нужных для этого средств. Ежегодник распадается на 12 следующих отделов: 1) население (т. т. 1—9), 2) сельское хозяйство (т. т. 10—32), 3) промышленность добывающая и обрабатывающая (т. т. 33—68), 4) международная торговля (т. т. 69—157), 5) транспорт и средства сообщения (т. т. 158 — 172), 6) движение цен (т. т. 174—182), 7) денежное обращение (т. т. 183 — 186), 8) финансы (т. т. 187—201), 9) денежный и капитальный рынок (202—210), 10) рабочий вопрос и рабочее движение (т. т. 211—225), 11) кооперация (т. т. 226—229) и 12) мировые итоги (т. т. 230—231).

Наиболее подробно составлен 4 отдел «Международная торговля» (т. т. 69—157, стр. стр. 72—157, т.-е. около $^1/_3$ всего ежегодника), при чем 19 таблиц посвящены торговле России, что делает этот сборник для всякого, интересующегося вопросами торговли России, более необходимым и ценным, чем даже специально для России опубликованные Центральным Статистическим Управлением Статистический Сборник 1913 — 1917 гг. и Статистический Ежегодник 1918 — 1920 гг. Очень интересными являются таблицы №. №.: 70) Мировая торговля в 1913—1920 гг. по 18 странам, указывающая импорт и экспорт каждой страны в ее денежных единицах, что, однако, требует целого ряда предварительных вычислений, при желании сравнить ее с таблицей 69, и сведения в которой приведены лишь о странах «Согласия» (без России) и нейтральных, а сведения о «Союзных странах» (Германия, Австрия, Турция и др.) отсутствуют.—71) «Торговля главнейших стран в 1920—21 годах», рисующая в денежных единицах по месяцам ввоз, вывоз и активный или пассивный баланс Великобритании, Германии, Северо-Американских Соединенных Штатов, Франции, Нидерландов, Италии, Швеции, Бразилии, Дании, Швейцарии, Индии (Британской), Японии, Испании, Египта, Бельгии, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки и Финляндии. — 72) «Изменение внешней торговли 20 главнейших стран» (в весовых единицах за 1913, 1919, 1920 гг.), из которой видно, что экспорт по этим странам в среднем за $^1/_4$ года в 1913 г. достигавший 74.927 тысяч метрических тонн, в 1919 колебался между 33.035 и 47.288 тысяч метрических тонн (44,1—63,1%) и 44.783 и 56 904 тысяч метрических тонн (59,7—75,9%) за $^1/_4$ года в 1920 году; а импорт, составлявший в 1913 году 75.640 тысяч метрических тонн в среднем за $^1/_4$ года,—в 1919 году колебался между 35.481 и 51.045 тысяч метрических тонн (46, 9—67,4%) за $^1/_4$ года

Годы.	ПРИВОЗ (В ТЫС. РУБЛЕЙ)					ВЫВОЗ (В ТЫС. РУБЛЕЙ)				
	Жизнен. припасы.	Сыр. и полуобр. матер.	Живой скот.	Изделия.	Всего.	Жизнен. припасы.	Сыр. и полуобр. матер.	Живой. скот.	Изделия.	Всего.
1913	237.898	667.989	17.615	450.532	1.379.034	839.852	561.027	34.359	84.895	1.520.133
1914	198.194	520.817	13.496	365.480	1.097.987	523.417	349.066	14.617	69.090	956.090
1915	179.194	499.652	15.173	444.545	1.138.564	201.815	144.656	155	55.208	401.834
1916	261.379	994.099	18.427	1.177.294	2.451.199	175.806	325.997	376	75.118	577.297
1917	127.783	628.778	60	1.560.127	2.316.748	51.476	383.815	5	28.676	463.963
1918	16.649	17.773	—	25.646	61.069	674	5.585	—	1.285	7.544
1919	2.252	406	—	272	3.032	104	5	—	—	109
1920	13.372	216	7.128	28.486	37.202	232	—	850	3	1.085
1921	33.926	23.525	834	190.390	248.675	1.795	18.947	19	546	21.307

и 49.875—64.878 тысяч метрических тонн (65,9—85%) в среднем за 1/4 года в 1920 году. Таблицы привоза, сократившегося более чем в 15 раз с 1.374.034 тысяч рублей в 1913 г. до 248.675 тысяч рублей в 1921 г. и вывоза, сократившегося более чем в 70 раз, а именно, с 1.520.133 тысяч руб. в 1913 году до 21.307 тысяч рублей в 1921 г. Таблицы 126—140, рисующие привоз и вывоз товаров в Россию и из России по странам происхождения и назначения за 1913 — 1921 гг. по 4 группам: 1) жизненные припасы, 2) сырые и полуобработанные материалы, 3) животные, 4) изделия,—исчислены в тысячах рублях, а начиная с 1918 г., что очень ценно, исчислены по ценам 1913 г., в силу чего из них можно получить следующую весьма интересную таблицу, помещенную на предыдущей странице.

Таблица 142). «Привоз в Россию и вывоз из России по 10 товарным группам в 1913, 1918—1921 гг.» в пудах составлявшие привоз в 1913 г.—936.550 тысяч пудов, в 1918 г.—11.533 тысячи пудов. в 1919 г.—520 тысяч пудов, в 1920 г.—5.223 тысячи пудов, в 1921 г.—55.304 тысячи пудов и вывоз соответственно—1.472.085 тысяч пудов; 1828 тыс. пудов, 0,1 тысяч пудов, 676 тысяч пудов и 12.963 тыс. пудов. Таблицы 144 и 145—«Избытки пшеницы и ржи в странах-производителях и недостатки пшеницы и ржи в странах-потребителях» (мука и зерно в переводе на зерно) по исчислению международного С.-Х. института в Риме, согласно которым количество, свободное к экспорту в потребляющие страны, выражается в 120,6 миллионов квинталов, т.-е. 791,2 миллионов пудов, а количество, подлежащее ввозу с 1/I по 31/VII 1921 г., в 115,6 квинталов, т.-е. 705,7 миллионов пудов зерна.

Также подробно и более или менее планомерно составлены отдел 2 (сельское хозяйство), дающий сведения о мировом посеве и сборе за 1909—1913 гг. (среднем), 1915—1918 гг. (среднем) и 1919, 20 и 21 гг. главнейших хлебных и технических растений, о мировом сборе шелковичного кокона и шерсти, о мировом скотоводстве до и после войны и отдел 3 (промышленность добывающая и обрабатывающая), дающий, главным образом, сведения о добывающей металлургической и химической промышленности. Здесь мы находим данные о мировой добыче по отдельным странам (по большей части включая и Россию) угля, нефти, руд, золота, серебра, графита, гипса и т. д.; выплавке железа, стали, чугуна, производстве нитратов и химических удобрений. Интересна таблица 68—«Использование водяной силы в главных странах мира», согласно которой общий запас наличной в странах водяной силы составляет 111.432 тысяч лошадиных сил (в том числе в России 20.000 лошадиных сил, т.-е. около одной пятой части), а использованная в 1915 г. водяная сила составляет 17.575 тысяч лошадиных сил (в том числе в России 1000 лошадиных сил, т.-е. в то время как общий процент использования водяной силы составляет около 15%, колеблясь между 5 и 43, 4%, для России он составляет всего лишь 5%, и в то время, как доля России в наличии водяной силы достигает 1/5 части, ее доля в использовании силы равняется лишь 1/18 части).

Все таблицы представляют собой или 1) ежегодные сводки обычно по годам с 1913 по 1920 г. и 2) ежемесячные по месяцам 1920 и 1921 гг. Первые должны выявить основные динамические процессы войны и ликвидации ее наследия, а вторые характеризовать конъюнктурные процессы последнего периода.

Нужно заметить, что даже и в наиболее полно и планомерно составленных, отмеченных нами выше отделах Ежегодник не дает цельной, исчерпывающей систематической картины мирового хозяйства. Резко бросается в глаза, что хотя и не по вине составителей, не план подчиняет себе материал, а в имевшийся материал, по мере сил и возможности, вносилась планомерность, главным образом, в его распределении, что приближает Ежегодник к типу чисто справочных изданий. Очень часто данные приводятся по тем или иным странам только лишь потому, что по этим странам они имеются, и не приводятся по другим (не менее, а иногда и более важным для общей картины) странам; некоторые данные являются безусловно устаревшими и т. д. Более или менее случайно или неполно составлены все остальные

отделы Ежегодника, которые, однако, тем не менее, заключают в себе целый ряд весьма и весьма интересных таблиц, как например: Таблица 5—«Убыль населения 10 европейских государств вследствие мировой войны с августа 1914 г. по июнь 1919 г.», по исчислению Даринга, достигает 35,4 миллиона человек, т.-е. 8,80% по отношению к числу населения в 1913 г. (20,3 миллиона—потери вследствие сокращения рождаемости и 15,1 миллион потери вследствие увеличения смертности, в том числе 9,8 миллионов человек убитых и умерших от ран, что свело фактическую численность населения к середине 1919 года до 389 миллионов человек вместо 424, 5 миллионов человек вероятной численности населения на это время при нормальных условиях). Таблица 67—«Мировая добыча благородных металлов со времени открытия Америки» (с 1493 по 1919 год). Таблицы 158 и 159—«Пути и средства сообщения всех стран мира» и «Подводные кабели и радио-станции». Таблицы 226—29—о числе потребительских обществ, их членов, оборотах, паевых капиталах, собственных производствах за 1913—22 гг. по 22 странам; об обществах оптовых закупок; общем числе потребительных обществ (союзных и несоюзных) по последним данным и о проценте населения, обслуживаемого в 1920 г. союзными потребительскими обществами. Таблица 230—«Мировой рост народонаселения», производства, торговли, морского флота и средств сообщения» с 1820 по 1919 г., откуда мы видим, что в 1919 году население составляло 1701 миллион человек, торговля равнялась 75.311 миллионов долларов (на душу населения 44,28 долларов), номинальный тоннаж судов в сто тонн составляет: парусных 44.046 тысяч тонн и паровых—28.177 тысяч тонн, протяжение ж. д. и телеграфов—731 и 1577 тысяч миль, производство хлопка и угля 9630 миллионов фунтов и 1107,1 миллионов малых тонн, а чугуна (за 1918 г.) 62 миллиона тонн; и таблица 231—«Национальное имущество и национальный доход крупнейших (18) стран» накануне войны в 1914 году в тысячах долларах, в которой национальное имущество России, на основании трудов Ньюмарка, исчислено в 58.398.000.000 долларов, что составляет на душу населения 414 долларов, а национальный доход (по Прокоповичу) в 8 миллиардов доллардов или 44 доллара на душу населения и т. д.

Поэтому Ежегодник является безусловно ценным и необходимым пособием для всякого работающего в области экономики и народного хозяйства, и нужно приветствовать его появление, пожелав вместе с составителями устранения объективных причин, помешавших им издать его вполне согласно задуманному плану, с надеждой ожидать последующих выпусков.

В состав Ежегодника включены: таблица мер и весов и список источников, использованных при его составлении (36 названий, из них 28 иностранных изданий и 8 русских).

Проф. Г. Эльяшев.

А. БАУЭР. Как улучшить крестьянское хозяйство и завести правильный севооборот. Изд. М. и С. Сабашниковых. Москва. 1922. Стр. 54.

Небольшая брошюра А. Бауэра, написанная популярным языком и рассчитанная на деревенского читателя, трактует о том, что главное зло нашего крестьянского хозяйства—трехполье и что только улучшенный севооборот с посевом клевера, т.-е. установление правильного травопольного севооборота, с соответствующей обработкой земли, может спасти хозяйство от прогрессирующего истощения земли.

Указав, чем же плохо трехполье, автор объясняет, какую пользу приносит клевер, что дает хозяйство при трехпольи и при четырехпольи с посевом клевера, как сеять клевер и выводить клеверные семена, как завести севооборот с клевером путем перехода от обыкновенного трехполья к конищевскому или ярославскому четырехполью, заведенному крестьянами дер. Конищево в Борисоглебском уезде, Ярославской губернии. Далее описывает переход от четырехполья к восьмиполью, от обыкновенного трехполья к волоколамскому 8-полью, к 6-полью с картофелем и корнеплодами и к хованскому пятиполью (наилучший

вид травосеяния для селений, необеспеченных пастбищами, а также и в целях сбережения лугов от потравы скотом).

Там, где для хозяйства необходимо иметь, кроме клевера, еще одно поле с картофелем, приводится пятипольный севооборот проф. Петровской академии А. Г. Доярянко, уже введенный несколькими крестьянскими хозяйствами Московской губернии.

В заключение автор дает весьма полезную сравнительную таблицу, показывающую, какое количество разных продуктов может дать хозяйство с одного и того же количества пашни при разных севооборотах, рекомендуемых в его книжке. Эта таблица дает указания, при каком севообороте получается больше продуктов.

А. А. Бессер.

ПЬЕР БРИЗОН. История труда и трудящихся. Пер. с франц. М. А. Дьяконова. 446 стр. Гос. Изд. Пет. 1921 г. 10.000 экз.

Это—не история «труда и трудящихся» вообще. Это скорее экономическая история Франции, только одной Франции. Параллели с развитием других стран проводятся очень редко и почти все относятся к последним десятилетиям XIX века (краткие указания, преимущественно в небольших подстрочных примечаниях, относительно применения женского и детского труда, фабричных законов, страхования рабочих и т. д.). Но уже в ремесленную эпоху французские отношения представляли так много своеобразного, что было бы ошибкой считать их типичными и для других стран, напр., для Германии или для Англии.

Поскольку дело идет о разных экономических отношениях, Бризон мало интересуется их развитием, их движением. Желая иллюстрировать ту или иную сторону этих отношений, автор более или менее произвольно берет примеры из XIII или XIV, и из XVI или даже XVII века. Вследствие этого от читателей совершенно ускользает, что на протяжении веков глубоко изменялось положение учеников, подмастерьев и самих мастеров, так как общие условия существования ремесла, и вся окружающая обстановка становились иными. Автор не схватывает *периодов* в эволюции ремесла,—он хочет говорить о ремесле «вообще».

О внутренних отношениях ремесла Бризон дает очень смутные и в общем неправильные представления. На стр. 59—60, характеризуя стол и одежду ремесленников, он выхватывает из XVII—XVIII веков несколько примеров обжорства ремесленников и величайшей роскоши в о ежде и преподносит их под видом «питания народа в Париже» или «одежды ремесленника эпохи Ренессанса» и лишь в конце одной строкой отмечает: «Но все это исключения. Средняя действительность была менее яркой». Для читателя остается неведомым, что приводимые Бризоном примеры были бы хороши, если бы речь шла о расслоении ремесла, о выдвигании *капиталистов* из среды ремесленных мастеров, но отнюдь не «среднем» положении ремесла.

При описании обычаев ремесленных братств Бризон почти доходит до умиления («В ряде прекрасных дней, день освященного хлеба был одним из наиболее прекрасных». Стр. 65. Тоже и в других местах).

Несчастье Бризона в том, что он приступил к своей работе без определенной концепции и в конце своей работы тоже не пришел к какой-либо ясной отчетливой концепции. В результате она дает факты и цифры, иногда целые страницы цифр, но они не упорядочены; не сведены в систему, а потому неизбежно пропадают для читателя.

Несколько лучше главы, посвященные истории крупной промышленности и рабочего класса в особенности после Великой французской революции. Много сведений о развитии новейшей техники и ее распространении. Но и здесь автор «пассивно» относится к своему материалу. Дело заходит настолько далеко, он так беспомощен перед регистрируемыми данными, что ищет прибежища даже у Сея и Бастиа, приводит их мнения, но не знает, что с ними поделать (257—258). Точно так же он просто переписывает утверждение, будто революция (1789 года) была сделана рантье (219), и затем

еще раз повторяет, будто «парижские рантье вышли на улицу (в 1789 году) вместе с населением предместий». И тщетно было бы искать у него хотя намека на более глубокое понимание движущих сил революции.

Большая—типично реформистская—неопределенность во всем, что касается перспектив рабочего движения. Политическая борьба вообще осталась вне поля зрения Бризона. Парижская коммуна упоминается буквально только одним словом, да и то просто для указания времени, о котором идет речь. Повидимому, доброжелательный Бризон хотел бы просто вытравить из воспоминаний этот «эксцесс» рабочего движения. Больше всего занимают внимание Бризона кооперативные организации. Собственных суждений у него и здесь очень мало. Но те выписки из различных авторов, которые он приводит, достаточно ясно характеризуют его реформистский уклон, лишь слабо прикрываемый мнимым объективизмом.

В оригинале книга Бризона написана более 15 лет тому назад. Поэтому многие данные ее устарели. Так, напр., Бризон говорит о передаче электрической энергии на 50—60 километров и доходит, самое большее, до 100 километров в качестве предельного расстояния. Он говорит о попытках применить двигатели внутреннего сгорания к устройству управляемых *воздушных шаров*.

Он еще и отдаленно не представлял, какое блестящее будущее предстоит автомобилям. И даже те цифры максимальной производительности доменных печей, которые приводятся у него, оставлены далеко позади последующим развитием.

Таким образом «новейшие» для Бризона сведения, иллюстрирующие современную технику, пригодны теперь только с одной точки зрения: они помогут установить, какой гигантский прыжок сделала техника во многих областях за последние полтора десятка лет.

Несмотря на многочисленные недостатки, книгой Бризона придется пользоваться. У нас до сих пор не было общего очерка истории экономического развития Франции. Книга Бризона позволит несколько заполнить этот пробел. Надо только помнить, что из него стоит выбирать лишь некоторые факты и цифры, но комбинировать эти цифры и факты, использовывать их, приводить в известную перспективу придется самому читателю.

И. Степанов.

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ.

Я. ФИН. «Фабрично-заводские комитеты в России». Москва. Изд. РИО ВЦСПС. Стр. 80.

Мы еще не имеем *истории* российского профессионального движения за годы революции, т.-е. за те годы, когда окрепло и оформилось оно. Вряд ли скоро и можно ожидать появления работ, которые реконструировали бы картину исторического развития профессиональных союзов в эти героические годы. Но при практической работе потребность в изучении истории различных фазисов движения и отдельных моментов в союзной работе—бесспорна. Нельзя зачастую строить союзную организацию, не зная исторического пути проделанного той или иной организацией.

Вот почему РИО ВЦСПС включил в план своих изданий небольшую брошюру т. Я. Фина о фабзавкомах в России. Она должна была дать основные абрисы истории той организации работников предприятия, которые в начале своего существования находились в оппозиции к профессиональным союзам, затем, после Октябрьской революции, стали опорой этих последних и в настоящее время играют роль основной союзной ячейки на местах. Не претен-

дуя на исчерпывающее освещение вопроса, не вдаваясь в анализ социально-экономической основы происхождения и развития в России данной формы профессионального объединения, данная работа в кратком очерке рисует все самые существенные моменты в истории фабрично-заводских комитетов, начиная с февральской революции и по дату II пленума ВЦСПС, установившего конкретный путь новой профессиональной политики в феврале 1922 года.

И делает это работа т. Фина в хорошо документированных кратких очерках, написанных ясным, точным языком. Язык—большое ее достоинство, искупающее зачастую недостаточность теоретических обобщений; последний дефект заметно чувствуется в брошюре. Весьма существенная роль завкомов—именно та роль, какая вытекала из самого их характера, как объединения *всех* работников предприятия, т.-е. фактическая реализация принципа—«одно предприятие, один союз»—совершенно не освещена работой. Есть лишь намеки в ней на то, что фабзавкомы содействовали проведению в жизнь производственного принципа объединения. Между тем смело можно сказать, что исторически—не организуйся в противовес соглашательским профессиональным союзам объединения на самих предприятиях (любопытно отметить было бы так же и известный параллелизм, равно как и контрасты, в истории зарождения и развития фабзавкомов, германских советов предприятий, английских «делегатов от мастерских» и «рабочих комитетов», чего так же нет в работе т. Фина)—производственный принцип, теоретически усвоенный всеми течениями российского движения, дал бы результаты, аналогичные не нынешнему строению движения, а скорей германскому. Наличность объединения на самом предприятии всегда создает тенденцию к объединению именно *всех* работников, *без различия профессии*. Опыт отдельных комитетов в сложных предприятиях, где имеются обслуживающие не производство, а производителей, работники, говорит за то, что комитет, объединяющий *большинство*, всегда пытается так или иначе вовлечь в сферу своего организационного влияния всю массу, и в том числе и организацию, действующую самостоятельно для меньшинства. Вместо, таким образом, тенденций к секционированию, к цеховой обособленности, факт связанности низшей союзной ячейки с самим предприятием рождает обратную тенденцию. Тем самым в общероссийском масштабе превращение фабзавкомов и месткомов в основную союзную ячейку позволило совершенно изжить—и в весьма короткий срок — секционизм, т.-е. то явление, которое до сих пор служит на Западе камнем преткновения для последовательного проведения в жизнь производственного принципа союзного строительства...

Мы привели только одну иллюстрацию того, что не доделано в работе т. Фина. Можно было бы остановить внимание читателя и на некоторых других дефектах книжки. Но, во-первых, назначение ее значительно уже того, что давало бы ожидать именно широких теоретических обобщений, а, во-вторых, в книжке есть еще одно достоинство, точно так же, как и язык, искупающее дефекты этого порядка. Мы говорим о *приложениях*.

Самый текст занимает всего 30 с небольшим страниц. Под приложениями—напечатанными гораздо более убористым шрифтом—свыше сорока страниц. И в числе этих приложений мы находим почти все важнейшие документы, относящиеся к строению, функциям и положению фабзавкомов. Из наиболее важных документов отсутствует только один—пресловутый циркуляр Скобелева, делавший попытку сорвать работу фабзавкомов. То, что соглашателям в Германии *удалось* сделать позднее по отношению к Betriebsräte (советам предприятий), намечалось и российскими соглашателями по отношению к завкомам. Но попытка превратить фабзавкомы в организации с неопределенными функциями и потому в организации, не имеющие реального веса ни в союзной, ни в хозяйственной жизни, оказалась, как известно, безрезультатной. Она лишь содействовала ускорению того социального взрыва, который вошел в историю под именем Великого Октября. И циркуляр Скобелева является историче-

ским памятником этой неудачи. Данного-то памятника и не находим в книжке т. Фина. Но остальные документы—вернее, важнейшие из документов—приведены в ней полностью.

Таким образом, работа т. Фина имеет цену не только для профессионалиста-практика, нуждающегося в ознакомлении вкратце с историей того союзного объединения, которое в настоящую минуту, в повседневных союзных буднях, играет такую огромную роль, но и для всякого изучающего историю профессионального движения. Ибо в данной небольшой книжке читатель найдет значительное количество материала, нужное ему для выяснения общей картины мира русских профессиональных союзов.

В. Яроцкий.

М. М. БОРОДИН. «История Великой Измены». Петроград. Госиздат. 1922 г. Стр. 120. Ц. 75.000 р.

В истории английского рабочего движения один эпизод выделяется в качестве поворотного пункта. Это—стачка горнорабочих в апреле 1921 г. Затянувшаяся на несколько месяцев, она в ходе своем привела к крушению Тройственного Согласия Труда (Triple Labour Alliance), к выявлению тактики капитала, как тактики последовательного нажима на труд и к поражению рабочих. С даты ее начинается в Англии то наступление капитала, которое приводит к временному упадку в английском рабочем движении и к укреплению позиций буржуазии. Да и в исторической цепи событий, сделавшей логически неизбежной и самое стачку и ее результат, данная стачка занимает исключительное место. Она представляет собою третий по счету конфликт в английской горной индустрии, так как ей предшествовала в 1920 году стачка, а в 1919 г. угроза стачки горняков. И этот третий по счету конфликт завершил собою постепенное суживание того плацдарма, с которого начал свое наступление английский пролетариат. Первый конфликт имел место по вопросу, поставленному *развертывавшейся классовой борьбой:* в полном соответствии с настроениями английской рабочей массы, воспринявшей почти целиком платформу южно-уэльской федерации горнорабочих и исходившей в своей борьбе с капиталом из необходимости последовательными ударами по капиталистическим прибылям «уничтожить прибавочную ценность»—горнорабочие дали бой по вопросу *о национализации* копей. Правда, бой не развернулся. Созванный экстренно в декабре конгресс тред-юнионов всеми голосами, против голосов делегатов Великобританской Федерации Горнорабочих, постановил «поручить Рабочей Партии внести законопроект о национализации недр земли и копей в парламент». Вместо непосредственной классовой борьбы получилась парламентская стычка, в которой малочисленный отряд нестойких и невыдержанных рабочих коммонеров легко был разбит опытными генералами буржуазии. Второй конфликт (в 1920 г.) вспыхнул уже по менее общему вопросу о регулировании цен на уголь (от требования государственного нормирования цен горняки отказались в ходе стачки) и по вопросу об общенациональном тарифе. На этот раз рабочие горной промышленности выступили на бой, вопреки советам вождей и одержали частичную победу: хотя руководители стачки и заставили массу выбросить из списка требований общепринципиальное требование регулирования цен на уголь государством, тем не менее правительство под давлением стачки гарантировало сохранение правительственного контроля над горной промышленностью, обеспечивавшей горнякам минимум заработной платы, а предпринимателям—минимум прибылей, вплоть до августа 1921 г. Уже этот конфликт, несмотря на его более острые формы, развернулся на основе несравненно более узкой, чем первый. Третий конфликт оказался еще менее принципиальным: он начался по вопросу о несоблюдении правительством данного обещания и попыток горнопромышленников лишить рабочих единого общегосударственного тарифа...

Все это и превратило историю всеобщей стачки английских горнорабочих в апреле 1921 года в один из значитель

нейших эпизодов истории классовой борьбы в Англии. Все это и оправдывает попытки изучения данного эпизода в русской литературе и ту печатную полемику, которая наполняла страницы рабочей печати в самой Англии в течение последующих месяцев. Ибо без понимания данной странички истории классовой борьбы невозможно понять общей картины английского рабочего движения последних лет.

Но одно дело—сознавать все значение данного эпизода и попытки его освещения, и совершенно другое—сделать попытку анализа движущих сил стачки и причин ее неудачи. В русской литературе имеются уже по этому вопросу несколько работ. Небольшая, но крайне интересная статья М. Н. Смит в «Экономической Жизни» много содействовала освещению событий как с фактической, так и с социологической стороны. Автору настоящих строк точно так же пришлось в свое время отозваться на стачку обстоятельной статьей в «Вестнике Труда» (апрель—май 1921 г.). А теперь вышла и специальная работа, посвященная данному эпизоду и написанная т. Бородиным («История Великой Измены»). От большой работы можно, разумеется, требовать несравненно больше, чем от статей в текущей периодической печати, где мыслимо недосмотреть или недооценить те или иные стороны событий. Тут равным образом недостаточна и одна только публицистика.

Однако, книга т. Бородина, дающая в общем верное изложение *фактов*, вряд ли может быть признана аналитической работой. Т. Бородин подошел к своей задаче чисто публицистически. Он взял стачку, как фон для изображения и доказательства того, что уже сотни и тысячи раз изображалось и доказывалось, именно предательства вождей. Он не попытался проанализировать производственную основу нынешних классовых отношений в горной промышленности, осмыслить события, изображаемые им лишь с анекдотической стороны, в свете выявления движущих сил конфликта. Поэтому самый подход к теме уже лишает работу т. Бородина значительной доли и ценности и интереса.

Но есть еще некоторые дефекты в этой работе, принижающие достоинство ее даже в большей мере, чем подход к теме. Есть в ней прямо неверные вещи. Напр., освещение позиций Роберта Вилльямса во всем эпизоде, приведшем к срыву забастовки отказом железнодорожников и докеров принять в ней участие, явно неправильно и неосторожно. Конечно, Р. Вилльямс—невыдержанный коммунист, изгнанный из рядов партии за неподчинение партийной дисциплине; конечно, Р. Вилльямс принадлежит к тому разряду вождей английского рабочего класса, которые прошли старую школу выучки на практике и за деревьями классовой борьбы часто не видят леса. Но ставить знак равенства между Вилльямсом и Томасом или вождями из разряда «тайных советников его величества»—это по меньшей мере... неосторожно. А между тем т. Бородин это делает. Он говорит: Роберт Вилльямс впервые излагает (в своей статье в «Лэйбор Монтли») причины, почему английские рабочие не пришли на помощь рудокопам и почему Тройственный Союз пал. Статья Вилльямса приобретает тем бо́льшую ценность, что из нее мы впервые узнаем, как и чем сами вожди, участвовавшие в эпопее, закончившейся изменой пролетариату, *оправдывают свои действия*... Роберт Вилльямс, наоборот, старается даже теоретически обосновать свою позицию (*и позицию других вождей*), старается оправдать измену «объективными условиями данного момента». В доказательство этого т. Бородин приводит цитату, в которой подчеркивает фразу, следующую за утверждением, что вожди винят во всем апатию и отсутствие боевого духа у массы, а передовые рабочие обвиняют вождей, *«я думаю, что и те и другие правы»*... Но у другого вождя, которого никак нельзя счесть за предателя и изменника и которого никому и в голову не придет обвинять в неустойчивости, у Тома Манна, тот же т. Бородин уже ранее нашел аналогичную оценку положения: масса инертна... И, кажется, история предшествовавших конфликтов, когда вся организованная масса английского пролетариата поддерживала решение конгресса о пере-

даче вопроса о национализации в парламент против углекопов, свидетельствует о неоднородности настроений во всем рабочем классе Англии... Затем нельзя не учесть и того, что подъем в рабочем движении непосредственно после войны объяснялся ростом революционных настроений, выросших на почве лишений военного времени и обострения классовых противоречий, но отнюдь не ростом классового сознания. Последнее отставало в своем росте от роста настроений. Отсюда—та противоречивость, какой отличается картина рабочего движения в Англии за последние годы... Но т. Бородин настолько пристрастен, настолько неосторожен в своих заключениях, что он просто не учитывает основного момента в статье Вилльямса, сводящегося к тому, что *организационный план* Тройственного Согласия не давал возможности быстро вовлечь массы в бой, а обставлял участие в стачке горняков, железнодорожников и докеров такими условиями, что голос наиболее отсталой массы срывал попытки передовых групп и передавал руководство тем вождям, которые рекомендовали осторожность...

Аналогичное недостаточно чуткое и вдумчивое отношение к событиям и к роли в них тех или иных деятелей английского профессионального движения мы находим рассеянным на многих страницах книги Бородина.

Между прочим, следовало бы т. Бородину знать, что «miner» означает по-английски не «рудокоп», как т. Бородин полагает, а «горняк». Между тем даже Великобританскую Федерацию Горнорабочих он настойчиво называет Великобританскою Федерацией *Рудокопов*.

Д. Чекин.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТЕХНИКА.

Инж. М. Г. ЕЛЬЧАНИНОВ. Обыкновенные дороги. Руководство по сооружению, ремонтированию и проектированию грунтовых, шоссейных и мощеных дорог. Казань. Издание М. А. Голубева. 1922. Текст—стр. 111, in 8°; атлас чертежей—51 лист, 184 черт.

В предисловии к работе автор объясняет свою цель: «дать в сжатой и простой форме описание всех главнейших мероприятий в дорожном строительстве, включая и американские способы постройки дорог», при чем думает, «что предлагаемый труд может служить руководством при изучении обыкновенных дорог в учебных заведениях не только среднего типа, но и высшего». Далее, «учитывая весьма неблагоприятные условия переживаемого времени для научной работы, автор склонен думать, что в предлагаемом труде окажутся пробелы и недочеты». К последнему заявлению автора следует, конечно, присоединиться каждому, кто только перелистал книжку инж. Ельчанинова и приложенный к ней атлас. Она, действительно, несколько неполна и настолько в то же время переполнена недостатками и неточностями всякого рода, что ее отнюдь нельзя рекомендовать учащимся ни в высших, ни в средних, вообще ни в каких учебных заведениях.

Скажем вкратце несколько слов о мыслях автора, касающихся дорожного полотна, под которым, по словам инж. Ельчанинова, «понимают полосу земли, приведенную обработкой в такое состояние, что по этой полосе движение экипажей совершается удобно, безопасно и с наименьшей затратой энергии». Откосы насыпей и выемок тоже относятся к дорожному полотну; однако, ездить по ним в экипажах никому в голову не приходит. «Идеально удобной в смысле постройки и содержания будет такая дорога, у которой полотно горизонтально, прямолинейно и сделано с наименьшим количеством земляных работ и искусственных сооружений». Такая дорога, конечно, весьма удобна для езды, но отнюдь не для содержания, что и

сам же автор утверждает, говоря в другом месте о минимальных уклонах (§ 16). «В случае расположения насыпи на косогоре резервы устраиваются с нагорной стороны». Не всегда, конечно; нужно было объяснить, когда именно. На косогорах, по М. Г. Ельчанинову, «поперечный уклон дороги делают в сторону возвышенности». Опять-таки не всегда: так делал в свое время Трезаге (Tresaguet), так делали на Крымских шоссе. Неудовлетворительные результаты подобной работы в Крыму указываются самим же автором (стр. 17). Уступы под насыпь на косогоре «делаются высотою в 0,25 саж. и располагаются на взаимном расстоянии 0,4 — 1,5 саж.». Первая половина этого утверждения неправильна, так как уступы не всегда же делаются высотою именно в 0,25 саж., часто и более; вторая же половина непонятна. Много есть и других недомолвок в отношении полотна: напр., на стр. 17 указано, что «для безопасности движения по наружному краю дороги врывают особые столбы, так называемые надолбы, на расстоянии один от другого меньшем ширины самой узкой повозки». Чертежа надолб не имеется и совершенно неясно, какой они высоты; кроме того, на основании текста читатель может подумать, что надолбы или другие ограждения для достижения безопасности движения ставятся вдоль всей дороги, что совсем неверно.

Даваемый в виде образца продольный профиль не характерен для шоссейной или грунтовой дороги, в которых проектная линия в большинстве случаев как бы обертывает черную; указанный профиль скорее мог бы фигурировать в качестве вырезки из железнодорожного, если бы на нем было указано, какое же искусственное сооружение перекрывает реку Шумиху, что автор забыл сделать...

Если разбирать все, что написано об *одежде* дорог, то придется посвятить этому делу много места, почему и ограничимся лишь кое-какими указаниями. Говоря о булыжной мостовой, автор не указывает на способы работы (как сидят рабочие, что такое работа с прижимом и т. д.). «При сильном грузовом движении, взамен шоссе, всегда устраивают мостовую». Верно, но почему?— § 61, посвященный клинкерной мостовой, лучше не читать тем, кто знает дороги возле Чернигова, где имеется много клинкера, и где этот клинкер уложен не только «прямыми рядами, перпендикулярными к бордюрам», но и в ёлку. «Швы между кирпичами заливаются или цементным раствором или асфальтом»; добавим: за границей, но на русских дорогах этого нет. «Продольный уклон клинкерной мостовой не должен превосходить 0,04». Почему?—Что касается самой фабрикации клинкера, интересной для дорожника, о необходимых свойствах глины и т. д., то об этом ничего или почти ничего не сказано.

Краткость есть одно из основных достоинств книги инж. Ельчанинова. На 111 страницах он сказал все, что мог, о технической стороне дорожного дела, хотя о многом он говорит даже дважды: о летнем пути и его устройстве сказано дважды (стр. 14—18 и 48); об уступах дважды (стр. 17 и 48), о прямой вставке между обратными кривыми дважды (стр. 19 и 75). На стр. 19 сказано при этом, что «длина прямой вставки 10 саж.; в исключительных случаях и в гористой местности вставка может быть уменьшена до 5 саж.». На стр. 75 о пятисаженной вставке почему-то уже ничего не говорится.

Неизвестно тоже, почему, вследствие ли желания дать своему изложению краткую форму, или почему-либо иному, но инж. Ельчанинов при описании технической стороны дела грешит многими пропусками: он ничего не говорит о дорогах под автомобильную тягу, о виражах, о тракторной тяге, о правилах движения, об администрации дорог и о многих других вещах. Об экономике тоже ни слова: как же может учащийся в высшем учебном заведении ничего не узнать о том, как надо с точки зрения экономических интересов страны или района проектировать отдельные направления дорог и сети их. Об этом следовало бы поговорить хоть немного.

Кроме краткости книги, нужно отметить с похвалой цитирование технических условий управления шоссейных дорог, объясняющееся желанием автора привести работу проектирования и по-

стройки к определенным нормам, чего многие составители учебников не делают.

Проф. Д. П. Крынин.

Инж. А. А. ДОБРОВОЛЬСКИЙ. «Эксплоатация железных дорог». Курс, читанный в 1-м Петроградском Политехническом институте. Посмертное издание, составленное инж. А. Н. Фроловым по запискам автора. Изд Высш. Технич. К-та НКПС. Петроград. Стр. 23.

Наименование «Эксплоатация железных дорог» следует признать чрезмерно широким и несоответствующим программе изложенного курса. Правильнее было бы назвать книгу «Работа службы эксплоатации», ибо в нее не входит эксплоатирование тягового хозяйства, хозяйства службы связи и материальной, упоминая о коих, сам автор на странице 13 говорит, что «эксплоатация» в полном значении этого слова охватывает все службы. По существу, автор в своем изложении не выходит за границы, очерчивающие деятельность службы движения.

Автор, несомненно, учел, что слушатели его курса совершенно незнакомы с железнодорожным хозяйством, с другой же стороны, он также, несомненно, имел в виду, что с основами технической и коммерческой эксплоатации жел. дорог должен быть хорошо ознакомлен не только каждый студент и техник; решивший вступить на техническое поприще железнодорожной службы, но и вообще каждый незаурядный ж.-д. агент, памятуя, что каждый ж.-д. агент должен быть железнодорожно образован. Книга А. А. Добровольского вполне соответствует начальному и даже среднему ж.-д. образованию, по каковой причине может быть рекомендована для прочтения каждому ж.-д. агенту, не специализировавшемуся на чисто эксплоатационной работе. Задачи же высшего ж.-д. образования, очевидно, и не входили в намерения автора.

В первой главе автор предварительно знакомит читателя с общею характеристикою русской рельсовой сети. Умелым сопоставлением статистических цифровых данных автор рельефно знакомит с историею развития, с постройкою и работою русской ж.-д. сети, с ее мощностью и с финансовым положением в дореволюционное время. После прочтения этой главы читатель усваивает, что жел. дорога не есть только техническое сооружение, требующее для безупречной работы лишь хорошего технического персонала, но предприятие высокогосударственного значения, требующее искусного финансового и умелого эксплоатационного управления как с технической, так и с коммерческой стороны.

В следующей главе автор знакомит с основными качествами каждой жел. дороги, с ее пропускною и провозною способностью и указывает на способы определения и установления их для вновь строющихся дорог. Далее он переходит к исследованию пропускной и провозной способностей, являющихся основанием для всех распорядительных действий при организации технического движения, при чем указывает на мощность подвижного состава и на сопротивление пути, как на основные элементы, определяющие провозоспособность дороги.

Автор задает читателю вопрос: что же лучше—увеличивать ли скорость за счет уменьшения состава поезда или, наоборот, увеличивать состав за счет уменьшения скорости. Так как разрешение этого вопроса зависит от силы тяги паровоза и от сопротивления поездов, автор указывает на способ определения силы тяги паровозов постольку и в такой форме, поскольку это необходимо знать агенту службы движения.

Следующая глава дает составление расчета потребного количества подвижного состава. Полное использование силы тяги паровоза должно составлять основную задачу и заботу агентов службы движения. Автор дает историческую справку, каким путем и способом дороги старались осуществлять эту задачу, пока, наконец, в 1901 году Ряз.-Уральская ж. д., выполнив основательную подготовительную работу, не ввела, наконец, составление товарных поездов по весу, каковой способ скоро распространился по всей сети.

Вся эта ж.-д. эксплоатационная техника, преподносимая в книжном или лекционном изложении будущему железнодорожнику, вдали от живой ж.-д. работы, казалось бы не может в достаточной мере заинтересовать непатентованного железнодорожника. Но сам автор, будучи коренным железнодорожником, сумел осветить и освежить свое изложение такими живыми штрихами, что переносит читателя мысленно в круг живой ж.-д. деятельности и невольно заинтересовывает начинающего железнодорожника.

Организация движения поездов, составляющая одну из широких задач сл. движения, особенно когда в период кампании следования массовых грузов должны быть в наибольшей степени использованы все отдельные органы службы движения, изложена живым языком и посвящает читателя во все отрасли этого дела, а именно, знакомит с порядком составления расписания, с исчислением времен занятия перегонов, с приемами составления графиков и, наконец, с вопросом организации наилучшего оборота и использования паровозов. Тут же излагаются причины, почему с 1900 г. русские жел. дороги перешли на движение товарных поездов без расписания и выгоды, связанных с этим способом движения.

В следующей главе—«Выяснение предстоящих перевозок»—автор переходит к описанию распорядительных действий общего характера, которые должны лечь в основу перевозки, составляя общий ее план. Под предстоящими перевозками автор подразумевает, разумеется, коммерческие грузы, как, например, хлебные, минеральное топливо, руда, дрова и лес.

Распределение подвижного состава, описываемое в следующей главе, составляет одну из главнейших работ сл. движения и осуществляется посредством особо выработанной организации и особыми исполнителями. Собственно говоря, работа эта состоит в обслуживании транзитных потоков и в собственной погрузке. Та и другая работа требует своевременного и заблаговременного распределения порожнего подвижного состава, в каковых работах можно держаться той или иной системы. Все они, в свою очередь, могут быть сведены к системе общего распределения и к системе установления порожних течений. У нас система порожнего потока являлась повсеместно распространенною. В конце главы указывается практикуемый порядок распределения вагонов на главнейших иностранных жел. дорогах.

Отправление груженого подвижного состава представляет собою совершенно обособленную специальную работу, изложенную в главе под наименованием «Формирование поездов». Точных инструкций, пригодных для определения порядка формирования поездов для каждой дороги, не существует. Необходимо, чтобы порядок сгруппирования груженых вагонов был бы тщательно обдуман в соответствии с местными условиями. Дальше даются общие указания по группированию вагонов и формированию целых поездов—сквозных и сборных.

Несмотря на самое искусное управление движением грузовых потоков, происходят замешательства в движении, каковому вопросу отведена особая глава, в которой яркими и живыми примерами выясняется, что для борьбы с этим бедствием требуются агенты сл. движения высшего порядка, основательно знающие теорию жел.-дор. движения и обладающие большою опытностью в нем.

Глава «Отчетность по движению» дает общие элементарные понятия об этой отчетности, достаточные, быть-может, для начинающего железнодорожника недвиженца. Видимо, эта глава не была еще разработана автором в объеме, соответствующем предыдущим главам.

В главе: «Подвижной состав», автор кратко знакомит с условиями пользования пассажирскими и товарными вагонами и порядком обращения их на сети [1]).

Инж. П. П. Риццони.

---

[1]) В рецензии, к сожалению, не отмечена убогая внешность книги. Отвратительная бумага и небрежная брошюровка сильно умаляют ценность этого издания. *Ред.*

WALTER EUCKEH. Die Stickstoffversorgung der Welt. Deutsche Verlags-Anstalt. Stuttgart und Berlin. 1921.

В. ЭЙКЕН. Мировая азотная промышленность. Штуттгарт и Берлин. 1921 г. 185 стр.

Известно, что азотная проблема, возникшая в начале текущего столетия в виду возрастающего спроса на азотистые удобрения и надвигающейся опасности азотного голода (вследствие истощения запасов чилийской селитры), в иностранных государствах еще до войны получила блестящее разрешение, благодаря успехам промышленной фиксации атмосферного азота. В Западной Европе и С. Америке возникла мощная азотная промышленность, которая получила особенное развитие во время войны, в связи с возросшей потребностью в азотистых удобрениях и в селитре — для производства взрывчатых веществ. В России самостоятельной азотной промышленности еще не имеется и, несмотря на острую нужду в азотных продуктах, у нас и по сие время этому вопросу не уделяют того внимания, какого он заслуживает.

Чтобы уяснить себе его значение, достаточно вспомнить, что соединения азота являются одной из главных и незаменимых составных частей пищи растения, а тем самым и необходимым источником нашего питания. Недостаток азота в почве, вызванный за последние годы резким сокращением навозного удобрения вследствие уменьшения скота до одной трети, а в некоторых местностях даже до половины довоенного его количества, несомненно, является одной из главных причин катастрофического падения наших и до того убогих урожаев, в среднем не превышавших за 1919 и 1920 гг. 38 пуд. хлебного зерна на десятину против 50 пуд. в довоенный период. Известно, что плодородие земли быстрее всего может быть восстановлено и повышено путем искусственных удобрений и в частности азотистых. К тому же азотные продукты приобрели большое значение и в промышленности, как необходимый исходный материал для производства красочных и фармацевтических продуктов, и в особенности в военной технике для заготовки пороха и др. взрывчатых веществ, в виду чего вопросам о производстве азотных продуктов и их применении в сельском хозяйстве и промышленности должно быть уделено самое серьезное внимание.

За недостатком отечественной литературы по азотному вопросу пока приходилось отсылать желающих ближе изучить эти интересные и важные вопросы к иностранным источникам. В книге Эйкена азотная проблема подробно рассматривается исключительно с общей политико-экономической точки зрения. Вопросов же техники производства и применения азотных продуктов в сельском хозяйстве и промышленности автор едва касается. Книга распадается на следующие три части. I. Снабжение мирового рынка азотом до войны. II. Азотный вопрос и его разрешение во время мировой войны. III. Азотная проблема после войны.—Автор собрал богатый статистический материал о производстве и потреблении азотных продуктов в отдельных странах, о развитии главнейших способов производства (чилийская селитра, утилизация азота топлива — серно-кислый аммоний, фиксация атмосферного азота), о взаимоотношениях между спросом и предложением азотных продуктов, о движении цен и пр. Особенно интересно проследить развитие азотной промышленности во время войны, вызвавшей небывалую потребность в азотных продуктах для производства взрывчатых веществ. Наиболее поразительные результаты здесь были достигнуты в промышленной фиксации атмосферного азота, как можно усмотреть из следующих данных. Тогда как в 1913 г. из общего мирового производства азотных продуктов с содержанием 780.000 тонн азота путем фиксации из воздуха было получено всего 42.000 тонн, или 5,7% от общего количества, в 1919 г. фиксация атмосферного азота была доведена уже до 467.000 тонн (что соответствует 168 милл. пуд. чилийской селитры) при общем мировом производстве в 1.347.000 тонн связанного азота, т.-е. 34,7% всей добычи было покрыто путем утилизации азота воздуха.

Книга Эйкена дает также богатый материал для оценки применения азоти-

стых удобрений и иллюстрации зависимости между средними урожаями и количеством связанного азота, затраченного на нужды сельского хозяйства отдельных стран. Значение азотистых удобрений особенно резко проявилось во время войны. Небывалый расход связанного азота для производства взрывчатых веществ и затруднения в подвозе чилийской селитры сократили во многих странах в годы войны применение минеральных азотистых туков, что вызвало резкое падение урожайности.

В Германии, напр., расход искусственных азотистых удобрений сократился с 185.000 тонн азота в 1913 г. до 115.000 тонн в 1919 г., что имело последствием уменьшение урожаев с 120 пудов ржи на десятину в довоенный период до 84 пудов в 1919 г. С прекращением военных действий применение азотистых продуктов в сельском хозяйстве весьма увеличилось. Благодаря сильному развитию азотной промышленности, Германия в скором времени будет в состоянии прокормить себя, не прибегая к ввозу продовольственных продуктов, что особенно поразительно, если принять во внимание густоту населения в 120 человек на кв. км. (против 20 в Европейской России). До войны Германия покрывала свыше половины своей потребности в кормовых средствах и продовольственных продуктах путем импорта из иностранных государств, главным образом, из России. Благодаря интенсификации собственного производства сельско-хозяйственных продуктов она в 1921 г. сократила их ввоз до 40% довоенного количества. Интересно отметить также расширение производства и применения азотистых туков в Соед. Шт. Сев. Америки, значительно повысившей этим путем за последние годы сборы хлебов и ежегодно увеличивающей экспорт хлебных продуктов. Россия же за время войны и революции превратилась из страны вывозящей хлеб в страну его ввозящую, что в значительной степени объясняется недостатком в естественных и искусственных удобрениях.

Проф. А. Э. Мозер.

В. ФАРИОН. Отверждение жиров. Перевод с немецк. Г. В. Брахмана и З. А. Дамье, под редакцией проф. С. П. Лангового. Научное химико-техническое издательство. Петроград. 1922 г. 100 стр. Продажная цена 75 руб.

Возрастающий неуклонно в течение последних десятилетий, в связи с развитием промышленности вообще, пищевой в особенности, спрос на твердые жиры поставил перед техникой задачу отыскать новые источники этих материалов, так как было очевидно, что ни скотоводство, ни импорт твердых растительных жиров из жарких стран не смогут поспеть за столь быстрым развитием и удовлетворить потребность полностью. После ряда разнообразных попыток, большею частью чисто лабораторного характера, не приведших к технически удобным и коммерчески выгодным результатам, задача была разрешена путем применения известной реакции Сабатье и Сендерена, при чем исходным материалом являлись жидкие ворвани и растительные масла. Научной и технической разработке этой реакции в применении к жировой промышленности было посвящено много усилий с начала нашего столетия. О мощности молодой отрасли промышленности можно судить по тому, что в 1914 г. количество искусственных твердых жиров, произведенных в Европе, превышало 13.000.000 пуд.

Между тем в жировой литературе не было сочинения, которое, охватив все достижения науки и техники в этой области, позволило бы одновременно наметить вехи будущей работы. Первый подобного рода труд принадлежит проф. Фариону (недавно умершему, бесспорно считавшемуся одним из лучших специалистов нашего времени в области химии жиров). Вышедшая в 1915 г. его книга является прекрасным конспективным обзором как научных исследований, так и практических осуществлений в области отверждения жиров. Книга подразделяется на 4 главы: теория гидрирования жиров; техника отверждения жиров (включая исторический обзор иных методов, кроме гидрогенизации), а также подсобные производства, как получение водорода и приготовление ката-

лизаторов; свойства отвержденных жиров; применение их в производствах: мыловаренном, стеариновом и маргариновом. Помимо ясности и детальности изложения, к числу достоинств книги надо отнести обилие указываемых оригинальных статей и патентов.

Такая первая сводная работа в новой области, явившаяся крупным приобретением и для немецкой научно-технической литературы, должна быть особенно ценна для нашего специального книжного рынка. Тем более, что в разработке как научной, так и промышленной стороны вопроса принимали участие русские силы, сделавшие крупные и оригинальные вклады. Можно только приветствовать «Химико-техническое издательство», которое после заметного периода ослабленной деятельности вновь выступило с таким ценным изданием. Для русского читателя книга интересна еще тем, что на ряде наглядных примеров она попутно знакомит его с патентным делом на Западе; вопрос важный особенно теперь, при возобновлении наших сношений с заграницей. (Нельзя не отметить, однако, что за это время вышло новое немецкое издание, правда, не отличающееся существенно от первого, с которого сделан русский перевод.)

Переведена книга весьма тщательно, иногда, может-быть, даже слишком дословно, слишком близко к немецким оборотам речи. Особенно важно умелое и правильное пользование русскими специальными терминами, что зачастую представляет почти непреодолимое затруднение вследствие бедности нашего технического языка по сравнению с немецким. Здесь же уместно будет коснуться и самого слова «отверждение», стоящего на обложке книги. Несмотря на некоторую искусственность и книжность его, надо думать, термин привьется в нашем техническом языке, так как ближе всего передает смысл и оттенки соответствующего немецкого слова «Härtung».

Книга издана хорошо и снабжена рисунками.

Б. Тычинин.

«НЕФТЯНОЕ и СЛАНЦЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО». Орган главных комитетов ВСНХ—Нефтяного и Сланцевого. Петроград, 1920; № 1 — 3. 119 стр.; № 4—8, 180 стр. + XI табл.; № 9—12, 168 стр. Москва — Петроград, 1921; № 1 — 4, 202 стр. + II табл.; № 5 — 8, 300 стр., № 9 — 12, 218 стр. + XVII табл. in 4⁰ с многочисл. чертежами.

«НЕФТЯНОЕ и СЛАНЦЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО». Орган Совета нефтяной промышленности. Москва—Петроград. 1922. № 1—4. 244 стр. in 4⁰ с чертежами.

Русское горное дело до революции почти не имело органов, посвященных одной какой-либо его отрасли. Существовало несколько более или менее солидных журналов, посвященных всей горной промышленности в целом, несколько областных органов и из специальных, не эфемерных—«Золото и платина» и «Нефтяное Дело». Между тем более развитая горная промышленность за границей создала ряд периодических изданий, обслуживающих отдельные ее отрасли. Не говоря уже о многочисленных журналах по железу и углю, имеется даже журнал, посвященный редким и благородным землям и металлам. Но за последние годы—особенно за последний год—и в России появилось несколько специальных журналов. Отметим «Вестник Силикатной Промышленности», в круг ведения которого входят глины, кварц, полевые шпаты и проч. сырье керамической и родственных ей областей промышленности, «Топливное Дело», пока, к сожалению, весьма неудачно охватывающее (благодаря соответствующему административному делению управлений) не только использование нефти, угля, сланцев и торфа, но также и древесное топливо, «Горно-Разведочное Дело Сибири», освещающее специально задачи и достижения горной разведки,—и три журнала, посвященные нефти—«Азербейджанское Нефтяное Хозяйство» (Баку), «Грозненское Нефтяное Хозяйство» (Грозный) и «Нефтяное и Сланцевое Хозяйство» (Москва—Петроград).—Это небывалое для нас обилие узко специальных горных журналов (не считая нескольких общих) свидетельствует, если не о темпе горной промышленности, превышающем дореволю-

ционный, то во всяком случае о громадном к ней интересе и желании учесть наши запасы и рационально их использовать.

Последний из перечисленных журналов—которому и посвящена настоящая заметка — является бесспорно самым серьезным и интересным. «Нефтяное и Сланцевое Хозяйство» издается 3-й год. (В 1918 и 1919 гг. ему предшествовали «Известия Главного Нефтяного Комитета»). На первый взгляд может быть покажется странным, почему именно нефтяная промышленность раньше всех потребовала для себя специальный орган. Это станет понятно, если мы обратим внимание на удельный вес нефти во внутренней и внешней экономической жизни России; нефть является едва ли не важнейшим из наших полезных ископаемых. Россия в 1900 г. была первой страной в мире по количеству добываемой нефти; вследствие колоссального роста потребления нефти в Соед. Штатах и благодаря возможности развить добычу на континенте Америки, — а также вследствие своей технической отсталости — Россия была принуждена вскоре уступить первое место Соед. Штатам, а во время войны потеряла и второе место, занятое невероятно быстро развивавшейся нефтяной промышленностью Мексики. Тем не менее, Россия, благодаря своим колоссальным запасам нефти и предстоящему скорому (в течение ближайших 10—20 лет) истощению известных запасов С. Америки, несомненно, может играть роль первого поставщика нефти Европы. Поэтому изучение нашего национального нефтяного фонда и организация нашей отсталой по темпу работы нефтяной промышленности является одним из самых серьезных вопросов в горной литературе.

Другая область, которую охватывает рецензируемый журнал—использование сланцев и сапропелей. Эти темы, до революции почти чуждые русской промышленности, неожиданно привлекли общее внимание, благодаря горячей пропаганде нескольких энтузиастов вопроса. Во время гражданской войны Республика была отрезана от всех своих нефтеносных районов, и само собой напрашивалось использование других источников продуктов нефтяного типа, на которые до тех пор не обращали внимания. В настоящее время мы снова владеем нефтеносными районами, и острота вопроса прошла, но самая возможность использования сланцев и сапропелей для нужд промышленности доказана, проложены новые пути, и чтобы они снова не заросли, и часть наших богатств не осталась и дальше лежать втуне, необходимо полное освещение всех вопросов, связанных с сланце-сапропелевой промышленностью в особом органе. Дело это настолько ново и сложно, что требует большой предварительной научной и технической работы.

В результате действия этих экономических и моральных факторов—и, конечно, энергии нескольких лиц — и возник реферируемый журнал, возник в самые тяжелые времена русской журналистики, зимой 1919—1920 гг., когда издательство было связано с большими трудностями. (Не говоря уже о бесчисленных осложнениях в типографском деле, самый процесс создания научных статей протекал тогда в обстановке, весьма мало способствовавшей работе.) Следует также поставить в большую заслугу журналу, что, возникнув в то время, когда вопросы чисто технические и научные хотя и считались своевременными, но фактически наши повременные издания, даже специального характера, отдавали почти все свое внимание задачам экономическим и организационным, — журнал сумел отстоять программу полного освещения всех сторон подлежащей области и помещать статьи, часто весьма значительного размера, почти монографии, разрабатывающие различные чисто научные и научно-технические вопросы, связанные с нефтяной и сланцевой промышленностью.

В результате—за $2^1/_2$ года мы имеем обширнейший материал по нефти и сланцам, гораздо более обширный, чем давали общие горные журналы и даже дореволюционное «Нефтяное Дело» (орган Совета Съездов Бакинских нефтепромышленников), главное внимание которого было, естественно, уделено статистике и торговым операциям. Таким образом, в русской горной литера-

туре никогда еще до сих пор не появлялось за такое короткое время такое значительное количество технических и научных статей по нефти и тем более — по сланцам и сапропелям. При этом следует отметить, что издательство, кроме журнала, выпускает еще серию отдельных книг (некоторые из них уже отмечались в «Печати и Революции»), в которой дало ряд серьезных крупных работ русских авторов по общим вопросам нефтяного дела, и ряд переводных трудов по переработке и использованию битумов.

Переходя к более подробному обзору содержания журнала, приходится отказаться от перечисления отдельных наиболее интересных статей—их накопилось за $2^1/_2$ года слишком много,—и даже от перечисления авторов, ибо пришлось бы дать список буквально всех наиболее крупных русских специалистов нефтяного и сланцевого дела и ограничиться перечислением тем, занимавших журнал.

По нефти были описаны (геологически, технически и, частью, экономически) нефтеносные районы, Бакинские, Грозненские, Уральские, Керченский, Северной Тавриды, Поволжья (в частности Сюкеева), Ухты, Байкала и Персии, при чем сообщено много совершенно новых данных. Довольно много статей было посвящено переработке парафинистой нефти и удалению из нее парафина—вопрос, имеющий жизненное значение для Грозного, и борьбе с обводнением буровых скважин, которое одно время, казалось, грозило погубить всю нашу нефтяную промышленность. Далее, журнал занимался транспортом нефти, работой трубопроводов, переработкой нефти, использованием нефти для двигателей внутреннего сгорания. Большую группу статей составляют обзоры современного положения отдельных районов, статьи о восстановлении нефтяной промышленности, о технической организации промыслов, об экономических вопросах нефтяного хозяйства, о нефтеснабжении страны. Была в нескольких статьях затронута также близкая к нефтяному делу задача использования горючих газов.

Сланцевой промышленности одно время уделялась почти половина журнала, но теперь, как и следовало ожидать, доминирующее положение занимает нефть. Вопрос об использовании сланцев, таким образом, излагался довольно подробно; освещено их применение в цементном деле, в газогенераторных установках, в металлургии, для добывания светильного газа, и просто в качестве топлива. В ряде обзорных, переводных и оригинальных статей было дано описание развития и современного состояния заграничной сланцевой промышленности по отдельным странам. Помещены описания сланцевых районов России и обсуждался вопрос о методах разработки различных месторождений. Наконец опубликованы очень подробные списки старой литературы о сланцевом деле вообще и о некоторых русских районах—в частности.

Сапропелю, который до сих пор почти не привлекал внимания русских исследователей, посвящено несколько статей. Описаны месторождения оз. Балхаша, Корчевское, Кудиновское и Толпоповское, дебатировались вопросы обезвоживания и сухой перегонки сапропеля. Дана сводка работ по теории происхождения нефти из сапропеля.

В конце журнала даются обычные отделы, — статистика добычи, русская и заграничная хроника и библиография. Последние два отдела пока далеки от желательной полноты и нередко носят несколько случайный характер. В настоящее время, когда получение иностранной литературы, наконец, более или менее наладилось, можно будет давать более полную хронику и статистику заграничной нефтяной и сланцевой промышленности и соответствующую библиографию.

К недостаткам журнала следует отнести злоупотребление большими литографированными картами и чертежами вне текста: цинкографические клише меньшего размера в тексте были бы гораздо красивее и более удобны для пользования.

Журнал выпускается до 80—90 печатных листов в год, тремя выпусками. В типографском отношении, даже в наиболее трудные времена, журнал имел более чем удовлетворительный вид (конечно, принимая во внимание, что бумага была не всегда так хороша, как это было

бы желательно). В 1921 году была введена новая, довольно удачная, графическая обложка—с рисунком нефтяных вышек, схематизированных в духе гравюры на дереве.

№№ 1—4 журнала за 1922 год отличаются теми же достоинствами—внешними и внутренними, — о которых говорилось выше. В нем целый ряд ценных работ. Отметим обзор Д. В. Голубятникова «Фонд запасных нефтеносных земель в Бакинском районе», имеющий большое значение в смысле оценки наших нефтяных рессурсов; автор дает в этой статье сводку тех квалификационных отзывов, которые на протяжении более чем 10 лет составлялись им для Геологического Комитета. Необходимость такой авторитетной сводки чувствовалась уже давно, и практические результаты ее весьма велики. Не менее интересна статья К. П. Калицкого, одного из первых знатоков наших нефтяных месторождений: «О продуктивной толще Апшеронского полуострова», суммирующая все современные сведения о геологическом строении полуострова и выдвигающая новую научную гипотезу. В обширной статье Ю. С. Залькинда: «О составе нефтей» приводится систематическая сравнительная сводка данных о химической природе нефтей, при чем использованы анализы не только русских, зап.-европейских и американских нефтей, но и колониальных. Отсутствие подобного рода сводки в русской научной литературе чувствовалось весьма остро, т. к. необходимые данные для химической характеристики отдельных нефтей разбросаны в огромном числе заграничных специальных журналов и др. изданий за сравнительно большой период времени и пользование ими для наших специалистов представлялось весьма затруднительным, а порой — просто невозможным. Нельзя не приветствовать в №№ 1—4 расширения иностранной хроники журнала и появления перечня новейшей иностранной (гл. обр., английской и американской) литературы по нефтяному делу. В дальнейшем, при более широких возможностях, открывающихся перед издательским делом, желательно, чтобы журнал, кроме расширения этих двух отделов, уделил свое внимание и сбыту нефти внутри страны и за границей. Вопросы эти освещались когда-то «Нефтяным Делом», и в настоящее время снова должны быть включены в область ведения специального журнала. Возможно, что наиболее удачным решением будет издание особого коммерческого нефтяного бюллетеня.

В заключение приходится еще раз напомнить о важном значении нефтяного дела в экономической жизни России. Для правильной организации постановки нашей нефтяной промышленности в том мировом масштабе, в котором исторически неизбежно должна будет она вестись, и чтобы использовать все то влияние, которое дает нефть в наши руки, необходимо непрестанное и внимательное изучение всех связанных с нею вопросов. И для этого существования особого государственного издательства по технике и экономике нефтяного дела, которое в надлежаще широких размерах, в журнале и отдельных изданиях, будет вести изучение и пропаганду вопроса—настоятельно необходимо.

Сергей Обручев.

ИЗВЕСТИЯ СИБИРСКОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМИТЕТА.—Т. 1, вып. I (45 стр.), в. 2 (66 стр., с 71 рис.), в. 3 (48 стр., с 5 табл.), в. 4 (36 стр., с 42 рис.), в. 5 (20 стр., с 23 рис.), в. 6 (49 стр.). Томск. 1919—1921. ИЗВЕСТИЯ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО КОМИТЕТА.—Т. II, вып. 1 (44 стр., с 18 рис. и картой), вып. 2 (26 стр., с 78 рис.). Томск. 1921.

МАТЕРИАЛЫ ПО ГЕОЛОГИИ И ПОЛЕЗНЫМ ИСКОПАЕМЫМ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА.—Издание Геологического Комитета Дальнего Востока. Выпуски № 2 (9 стр.), № 4 (10 стр.), № 9 (18 стр.), № 14 (10 стр.), № 16 (15 стр.), № 17 (16 стр.), № 20 (25 стр.), № 24 (33 стр.). Владивосток. 1920 и 1921.

ГОРНОРАЗВЕДОЧНОЕ ДЕЛО СИБИРИ.—Орган Горнотехнического Отделения Сибпромразведки в г. Томске. 1921, ноябрь (№ 1), 95 стр. 1922, март (№ 2), 86 стр.

Революция вызвала необычайное оживление жизни на местах—не только в области политической, но и в области

техники и чистой науки. Создалось множество учреждений и организаций для изучения, регистрации и разработки природных богатств окраин, почти отрезанных от центра; многие из этих учреждений существовали эфемерно и гибли, почти не обнаружив признаков жизни. Но часть из них, лучше обслуженная научными и техническими силами, закрепилась и взяла в свои руки то сложное и трудное дело изучения местного края, которое не всегда возможно вести из центра.

Просматривая пачки изданий областных геологических учреждений, возникших в Сибири во время революции, можно констатировать, что их работа внесла много ценного в наше познание геологии и полезных ископаемых страны. Известия Сибирского Геологического Комитета (позже переименованного в Сибирское Отделение Российского Геологического Комитета) выходят книжками, заключающими монографии по отдельным вопросам, или сборники протоколов и отчетов Комитета. Всего вышло 8 книжек, из них две посвящены истории учреждения и отчету Комитета за 1919 г. Выпуски 2-й и 3-й заключают монографии проф. Усова, посвященные тектонике Судженского и Анжерского каменноугольных месторождений; эти работы чрезвычайно ценны не только в научном, но и в практическом отношении: они впервые выясняют во всей полноте геологическое строение двух крупнейших месторождений Кузнецкого бассейна и дают руководящие указания по их разработке и определению запасов; очень интересны выводы автора о ходе тектонических процессов. 3 других выпуска «Известий» посвящены палеонтологическим и палеофитологическим работам К. Габуния, А. Турутановой и М. Нейбург. Наконец, 1-ый выпуск II тома заключает описание Норильского каменноугольного района, составленное Н. Урванцевым по данным его работ 1919 и 1920 гг. Норильское месторождение лежит на крайнем севере, в низовьях Енисея, и последнее время привлекло усиленное внимание, в связи с необходимостью изыскать запасы топлива для Северного Морского Пути; книга Урванцева представляет первое подробное описание этого района.

Не менее интересны издания Геологического Комитета Дальнего Востока. Они выходят также брошюрами, посвященными каждая отдельному вопросу К сожалению, до нас дошли не все из вышедших номеров (из объявленных 21 выпусков вышли 19 и печатается 5). Опубликованы отчеты Комитета, несколько отчетов геологов по исследованию отдельных районов.—главным образом месторождений полезных ископаемых, целый ряд работ А. Криштофовича по меловой и третичной флоре, обзор работ по изучению геологии и рудных богатств Дальнего Востока, составленный Анертом, и статья Гудкова об Аскольдовском золоторудном месторождении близ Владивостока. Кроме этих работ по изучению местного края, надо отметить статью Гудкова о Тельбесском железорудном месторождении (Кузнецкий бассейн), суммирующую результаты его многолетних работ, и две инструкции—для взятия проб ископаемых углей и для описания рудных месторождений. Все эти издания свидетельствуют об оживленной и плодотворной работе местных геологов.

Третье реферируемое издание—журнал, издаваемый Томским Отделением Центрального Управления Промышленных Разведок—представляет едва ли не первый в России опыт специального горноразведочного журнала. Содержание вышедших двух номеров разнообразно, интересно и соответствует задачам журнала, хотя некоторые статьи еще весьма слабого удельного веса (напр., статья А. Семенченко о Курейском графитовом месторождении). Основная группа статей—отчеты по полевым работам сотрудников и учет минеральных рессурсов. Другая довольно обширная категория—статьи по теории и практике опробования руд и пробирному искусству. Нельзя не приветствовать появления статей по этим вопросам, на которые у нас, в России, обращают еще очень мало внимания.

В заключение следует коснуться внешности реферируемых изданий. Уже не раз отмечалось безобразие титульных листов и обложек большинства русских технических книг. В этом отношении Известия Сибирского Геологического Коми-

тета, пожалуй, побили рекорд: на их обложках (особенно во втором томе) материал втиснут до отказа—подробный русский текст и полный французский перевод, в общем до 20 шрифтов разных размеров и притом 15 различных рисунков. Бумага в первом томе сносна, второй значительно хуже. «Материалы Дальневосточного Комитета» представляют прямую противоположность томским изданиям: обложка их превосходна—очень мало материала, шрифты хорошо подобраны, расположение строк напоминает некоторые американские научные издания, бумага и все остальное не оставляют желать ничего лучшего. В общем это провинциальное издание может служить образцом для столичных. Очень удачно помещение полного английского перевода титульного листа на третьей странице обложки, что разгружает первую страницу. «Горноразведочное Дело» издается на скверной бумаге; обложка в первом номере—наборная, но шрифты опять-таки разнообразны (9 рисунков); второй номер—большего, хорошего журнального формата, обложка—графическая, но весьма провинциального вида, с приевшейся фигурой плохо исполненного шахтера.

С сожалением приходится отметить незначительный тираж томских изданий—350 экз. «Известий» и 250—300 «Горноразв. Дела»; издания интересны не только для сибиряков, а тираж совершенно недостаточен.

Сергей Обручев.

КИСЕЛЕВ, В. С. Приготовление олифы и сиккативов. 1922. Москва. 92 стр. Основная цена—8 руб., продажная—68 руб.

БОТТЛЕР, М., проф. Производство лаков и олифы. Перевод с немецкого. 1922. Москва. 133 стр. Основная цена—29 руб., продажная—88 руб.

«РАБОЧАЯ БИБЛИОТЕКА». Государственное Техническое Издательство.

Ряд книг, выпущенных в свет «Рабочей Библиотекой» Государственного Технического Издательства, уже отмечен на страницах «Печати и Революции» (кн. 6, стр. 205—208), при чем одновременно указаны и основные цели «Библистеки». Поэтому нам остается лишь установить, насколько вышеназванные две книги (обе посвященные одному вопросу: олифа и лаки) удовлетворяют целям издательства.

Многие опытные лекторы полагают, что чтение популярных лекций перед слушателями, не получившими систематической подготовки, требует от лектора гораздо более внимательного и продуманного отношения, чем, например, даже специальный курс в высшей школе.

Популярная книга, как и лекция, также требует большой работы. Прежде всего она должна быть строго систематична, вполне закончена по содержанию и проработана в отношении терминологии. В ней не должно быть ни одного поверхностно затронутого вопроса, ни одного лишнего факта; все, касающееся разбираемой темы, должно быть разработано ясно и охвачено полностью. Она должна не только сообщать факты, но учить правильному систематическому мышлению. Одним словом, популярную книгу надо писать с соблюдением тех же требований, которые предъявляются ко всякому серьезному научному сочинению, но с еще большим вниманием, так как ее читатель в большинстве не сможет в других сочинениях искать объяснения непонятных туманных мест.

Конечно, такие требования под силу прежде всего ученому, ясно отдающему себе отчет во всех деталях своей науки. И немудрено, что такие глубоко научные книги, как «Основы химии» Менделеева и «Жизнь растений» Тимирязева даже неподготовленному читателю понятнее и увлекают его сильнее, чем большинство «популярных» брошюр.

Нуждается ли наш читатель-рабочий в популярных книгах, написанных с такими повышенными требованиями? Безусловно, так как он в массе не получил систематической подготовки.

Такие мысли невольно возникают при чтении выше названных изданий «Рабочей Библиотеки» и вызывают вопрос: для какого рабочего они напечатаны?

Книга Киселева начинается с изложения области, являющейся во всякой науке одной из завершающих деталей—

с анализа масел. По мысли же автора такое начало должно облегчить изложение и понимание дальнейшего. Так ли это? Ведь такие понятия, как «иодное», «эфирное» число и т. д., обычно хорошо усвояются лишь в результате или теоретической работы или длительной лабораторной практики. Изложенные же кратко, притом с помощью чуждых как обиходному, так и заводскому языку терминов, в книге ближе не разъясненных, названия эти вряд ли облегчат дальнейшее чтение. Скорее наоборот. Затем стоит ли упоминать о «так называемом коэффициенте преломления» лишь затем, чтобы ограничиться фразой, что в виду дороговизны прибора способ этот доступен только для хорошо оборудованных лабораторий. Также бесполезно, лишь отяжеляя работу неподготовленного читателя и ничего нового не давая подготовленному, мелькнет перед ним весьма кратко и туманно определяемое и в дальнейшем совершенно ненужное понятие «катализатор». Подобного рода сведения, конечно, свидетельствуют о познаниях автора, но мимолетностью изложения способны лишь нарушить цельность, концентричность содержания. В гораздо короче изложенной области практической: описания рецептов и установок при производстве сиккативов и олифы—также нельзя отметить наличие системы, ибо кратко сообщенные многочисленные рецепты без критической оценки вряд ли смогут дать благие результаты при пользовании ими на практике. Короче говоря, книжка Киселева не облегчит рядовому рабочему понимание производства, а мастеру вряд ли даст что новое.

Книгу Боттлера тоже нельзя считать вполне приспособленной к уровню рядового рабочего,—хотя бы потому, что в товароведческой части книги слишком много химических терминов, понятий и формул; да и немецкое ее издание (кстати сказать, устарелое, вышедшее в 1908 г.) не было предназначено для рабочего. Но мастеру или рабочему, получившему некоторую теоретическую подготовку, она безусловно даст ряд ценных практических указаний. И все же лучше было бы подвергнуть книгу серьезной переделке, а не ограничиваться лишь тщательным переводом. Ведь, право, немного странно, что в издании русской «Рабочей Библиотеки» сохранена книжная и журнальная библиография немецкого подлинника: немецкая и французская, и не указан, хотя бы для курьеза, ни один из наших, правда, немногочисленных, но все же существующих источников.

Вопрос о лаках и олифах для Республики—немаловажный. Отрезанная недавней блокадой от заграничных фабрикатов и источников естественного сырья экзотических стран, не обладающая, вследствие слабо развитой химической промышленности, достаточным количеством сырья искусственного, Россия, омываемая дождями, овеваемая ветрами и разрушаемая морозами, испытывает большую нужду в лаках и т. п. материалах. Не удивительно, что на конкурсе, объявленном в конце 1921 г., Комитет по делам изобретений В.С.Н.Х. высшую премию назначил за «изыскание кроющих средств, способных заменить олифу и лаки». И, повидимому, издательство понимало эту важность, издавая на протяжении небольшого промежутка времени две книжки, посвященные одному вопросу. Обе они свидетельствуют о некоторой поспешности Гостехиздата в удовлетворении нашего книжного голода, не всегда благоприятствующей достаточно четкой формулировке задач в отношении отдельных намечаемых к осуществлению изданий и потому не приводящей к вполне осязательным результатам. В рабочем государстве такое серьезное дело, как издание «Рабочей Библиотеки», требует большой продуманности и осторожности.

Б. Тычинин.

№ 1. Проф. Л. ШЕВЯКОВ. Механизация горных работ. Москва. 1922 г. 56 стр., рис. 51.

№ 2. Проф. Л. ШЕВЯКОВ. Крепление горных выработок. Москва. 1922 г. 50 стр., рис. 103.

«БИБЛИОТЕКА ГОРНОРАБОЧЕГО», издаваемая Главным Управлением Горной Промышленности совместно с Всероссийским Союзом Горнорабочих.

Издание серии брошюр для рабочих под общим заголовком «Библиотека Горнорабочего» задумано было Горным Со-

ветом (предтечей нынешн. Главгорпрома), совместно с Ц. К. В. С. Г., еще в конце 1920 года, когда Горным Советом и был объявлен конкурс на составление брошюр по следующим циклам вопросов: I. Геология (как образовались горы. Как образовались полезные ископаемые и т. д.). II. Поиски и разведки полезных ископаемых. III. Добыча полезных ископаемых. IV. Техника горного дела. (Какие бывают горные работы. Взрывные работы. Проходка выработок. Крепление. Борьба с водой. Спасательное дело и т. д.) V. Социальные и экономические вопросы. (Значение горного дела в стране. Охрана здоровья рабочих и охрана труда на рудниках.) По заданию—брошюры должны были быть составлены научно, но популярно и доступно для каждого рабочего, по возможности без математических формул и с простыми чертежами и диаграммами, а по объему не превосходить 2—3 печатных листов. Поступившие на конкурс рукописи рассматривались в особой редакционной коллегии и лучшие премировались.

В настоящее время вышли из печати две вышеуказанные брошюры, а кроме того находятся в печати или подготовляются к таковой еще семнадцать брошюр.

Брошюра № 1 («Механизация горных работ») знакомит с машинами, при помощи которых мускульный труд человека может быть заменен в горном деле механической (машинной) работой, и состоит из следующих глав: I. Что такое механизация. (Понятие о механизации. Машины для замены ручного труда в горном деле. Пользование паром, электричеством, сжатым воздухом и водою.) II. Машины для бурения шпуров. (Перфораторы — ручные, пневматические, электрические; работа их; преимущество механического бурения перед ручным способом; недостатки перфораторов.) III. Врубовые машины, режущие и ударные. Врубовые машины для очистных забоев и для подготовительных выработок. Преимущества и недостатки врубовых машин. Главное назначение их. IV. Отбойка каменного угля воздушными отбойными молотками. V. Конвейры (Назначение. Различные системы. Условия применения. Конвейры и врубовые машины. Преимущества и недостатки конвейров.) VI. Машины для замены ручной лопатной работы. (Значение машины в деле замены ручной лопатной и кирковой работы. Экскаваторы. Драги. Разработка золотых россыпей сильной струей воды.)

Брошюра № 2 («Крепление горных выработок») разделена на шесть глав: I. Введение. От неисправности крепления зависит жизнь и здоровье рабочих. О горных породах. Надзор за некрепленными выработками. Крепление постоянное и временное. II. Материалы для крепления. III. Крепление очистных забоев. Важность крепления очистных забоев. Закрепление врубов. Стойки. Костры. Выбойка крепи. Переносные стойки. Крепление в крутых пластах. IV. Крепление подготовительных выработок. (Деревянное крепление: оклады; сплошное и несплошное крепление; особые виды крепления; крепление закруглений и пересечений; податливое крепление; забивное крепление; ремонт; крепление: железное, каменное и смешанное.) V. Крепление шахт в устойчивых, сыпучих, плывучих и сильно водоносных породах. VI. Крепление камер (необходимость несгораемой крепи для подземных камер. Рудничные дворы. Конюшни. Насосные камеры).

Будучи почти безупречны в отношении ясности, систематичности изложения, а также и по выбору материала, обе брошюры страдают, однако, одним общим недостатком: имеют в виду исключительно угольное дело и почти не затрагивают рудное.

В брошюре № 1 слишком поверхностно, вообще и по сравнению с другими отделами ее, рассмотрены экскаваторно-дражные работы. Кроме того, нельзя не пожалеть, что во введении, при рассмотрении вопроса о механизации труда, автор не отметил, что машина—друг горнорабочего, а не злой конкурент его. С этого, в особенности у нас, при малой еще механизированности производства, следует начинать всякую брошюру по рассматриваемому вопросу, раз она предназначена для рабочего.

В брошюре № 2 автор, остановившись на сложных способах проходки шахт

промораживанием и бурением, не упомянул ничего о способе цементирования, более простом и успешно конкурирующем с первыми. Не рассмотрен вопрос о предохранительных целиках. Описывая весьма опасную работу по выбойке крепи (стр. 14), автор не указывает на особую опасность и недопустимость выбойки в тонких и пологих пластах. Несмотря на вышеуказанные и некоторые другие дефекты, обе брошюры в общем вполне отвечают цели издания, а опрятная внешность их и тщательность рисунков не оставляет желать лучшего.

Нельзя не пожелать, чтобы удачно начатая «Библиотека Горнорабочего» так же удачно доведена была до конца, и при том возможно скорее.

Проф. А. Скочинский.

Б. Ф. ГРИНДЕР. Что нужно знать всем работающим в респираторах. Москва. 1922. Издание второе. Главное Управление Горной Промышленности. 34 стр. 7 рис.

Аппараты, дающие возможность людям находиться и работать в подземных выработках, заполненных удушливыми или ядовитыми газами, по русской горно-технической терминологии, респираторы, являются важнейшими предметами снаряжения спасательных отрядов, спускающихся в рудники после взрывов, при пожарах и в случаях, тому подобных, для спасения людей и рудничного имущества. Каждое существенное улучшение в конструкции этих аппаратов обусловливало новый этап в развитии техники горноспасательного дела, влияя на принципы организации и тактики этого последнего.

К сожалению, конструкция даже лучших из современных респираторов еще далека от совершенства, и неумелое или неосторожное обращение с ними неоднократно бывало уже причиной гибели людей, ими пользующихся. Однако, с другой стороны, практика горного дела показывает, что тот, кто знает все слабые и сильные стороны респираторов и неуклонно соблюдает правила обращения с ними, может работать в них без особой опасности для себя и с большим полезным эффектом для горноспасательных операций. Автор настоящей брошюры, один из крупнейших русских специалистов по горноспасательному делу, еще в 1916 году задался мыслью дать в сжатом виде сводку всего наиболее важного, что надо знать работающим в респираторе. В том же году составленная им брошюра была издана Советом съезда горнопромышленников юга России и в течение года разошлась полностью. Ныне она выходит вторично, в переработанном виде, в издании Главгорпрома.

Несмотря на малый объем ($2^1/_2$ печатных листа), брошюра содержит в себе не только все существеннейшее относительно конструкции и обращения с наиболее распространенными в настоящее время кислородно-регенерационными респираторами и их принадлежностями, но и основные сведения о приемах подачи первой помощи при ранениях, ожогах, асфиксии и поражении электрическим током. Изложение совершенно элементарно и доступно пониманию простого шахтера. Весьма полезной является заключительная глава: «Вопросы и ответы для повторения», как по искусному подбору вопросов, так и по ясным простым ответам. Брошюру эту можно рекомендовать действительно каждому, кто имеет касательство к горноспасательным работам, а в особенности шахтерам, членам спасательных команд.

Проф. А. Скочинский.

ЛИТЕРАТУРА О ВОСТОКЕ.

А. СУЛТАН-ЗАДЕ. Экономика и проблемы национальных революций в странах Ближнего и Дальнего Востока. Государственное Издательство. 1922 г. Стр. 184.

Название книги т. Султан-Заде не вполне соответствует ее содержанию. О проблемах национальных революций в книге сказано очень мало. Работа Султан-Заде содержит много полезных сведений, представляет первую попытку в России дать в одном труде характеристику экономического положения и интриг империалистических держав во всех странах Востока (Персии, Турции, Египте, Палестине, Индии, Китае) и потому заслуживает внимания.

Работа т. Султан-Заде представляет опыт исследования возникновения современного капитализма в отсталых странах в связи с той непосредственно вытекающей отсюда борьбой туземной буржуазии, которую она ведет за свою экономическую самостоятельность. Задача эта очень трудная, так как во многих странах статистика или неполная или совершенно отсутствует, при чем часто даже эти неполные статистические данные не так легко достать.

В введении к своей работе т. Султан-Заде знакомит нас вкратце с очень интересной перепиской Маркса и Энгельса об экономическом положении восточных стран и цитирует письмо Энгельса, в котором последний объясняет собственнические взаимоотношения, равно как и многие другие отношения на Востоке *географическим положением и сухим климатом*. Первым условием земледелия в сухих климатических странах Востока является *искусственное* орошение, а это дело либо коммун, либо провинции, либо центрального правительства.

Интересны также цитаты из книги Каутского «Происхождение христианства», где Каутский подчеркивает революционное значение переселений азиатских народов и формулирует свой взгляд на эти вопросы в следующих словах: «*Переселения народов играли такую же роль в старину, как теперь революции*».

В том же введении автор бегло останавливается на тех классах современного общества в восточных странах, которые являются носителями национально-революционного движения и ведут борьбу против мирового капитализма.

Классы эти следующие: новая туземная буржуазия, зародившаяся и окрепшая за последние годы, особенно начиная с момента возникновения мировой войны, и незатронутая еще сверх-капиталистическими трестами. Эта буржуазия теперь борется за полное национальное освобождение от иноземных капиталистов, мечтая использовать это освобождение в интересах своего собственного класса. И как только она достигнет этой своей основной цели, она неизбежно из революционной силы превратится в реакционную и легко может пойти на соглашение с передовыми капиталистическими странами.

Второй революционный фактор, это кустарные производители и ремесленники, которые до войны под влиянием привоза дешевых фабрикантов из индустриальных центров Европы и Америки переживали эпоху тяжелого кризиса. Война вдохнула в них живую душу, живой элексир, дав им возможность дополнять огромный спрос рынка своими произведениями. Борьба против мирового капитализма для них становится борьбой не на жизнь, а на смерть. Молодая туземная буржуазия хорошо учитывает это обстоятельство и с успехом вовлекает их в борьбу против ига европейских капиталистов.

Третий революционный фактор на Востоке—это зарождение и колоссальный рост рабочего класса, особенно в Индии.

Что касается крестьянского движения, здесь нужно различать такие страны, как Индия и Персия, где феодальная аристократия сконцентрировала в своих руках огромные земельные участки от таких, как Китай и отчасти Турция, где преобладают мелкие собственники.

В первых двух странах крестьянское движение растет изо дня в день, особенно в Индии.

Таким образом, экономические интересы четырех наиболее крупных классов буржуазии, рабочих, крестьян и кустарей—неизбежно толкнет их на отчаянную борьбу против эксплуатации мирового капитализма и за полное национальное освобождение. Если к этому прибавить еще то враждебное отношение, которым охвачено духовенство в мусульманских странах (особенно в Турции), к самой могущественной из европейских держав—хищников Англии, из-за халифата, то грандиозная картина далеко идущей ненависти народов Востока к алчной, разбойничьей власти мирового капитализма будет полна. Национальная революция, которая развертывается сейчас в гигантских размерах на всем Востоке, является началом конца колониального царства капитализма. Одновременно с этим она стократно облегчает титаническую борьбу международного пролетариата за полное освобождение человечества от всех видов эксплуатации и ускоряет торжество мирового коммунизма.

В первой главе автор дает беглый очерк после военной колониальной политики и доказывает, что капиталистическая Европа и Америка в силу промышленного кризиса и обнищания народных масс вынуждены усилить эксплуатацию колоний. В следующих главах автор изучает экономическое положение отдельных стран Востока—Персии (глава вторая), Турции (глава третья), стран арабов (Месопотамии, Сирии, Палестины, Египта—глава четвертая), Индии (глава пятая), Китая (глава шестая) и знакомит читателя с хищнической политикой империалистических государств на Востоке. В 7-ой главе т. Султан-Заде дает общую характеристику национального движения на Востоке, в Индии, Турции, Китае, Корее, Персии; в главе восьмой он останавливается на основных чертах ислама, на халифатском и национальном движении в магометанских странах; в главе девятой характеризует рабоче-крестьянское движение на Востоке.

Автор заканчивает свою книгу следующим резюме:

«Окончание войны и бесцеремонный раздел мира между великими державами во много раз ускорил духовное пробуждение народов Востока. И как раз в то время, когда развращенный капиталистический строй разваливается, под напором растущего экономического кризиса, на помощь угнетенным народам идет новая сила—сила мирового пролетариата, который медленными, но верными шагами поднимается против господства империалистической олигархии. *Оба движения по своей сущности неизбежно являются союзниками и должны будут разделить одинаковую судьбу в дни победы и в дни поражения.*

Уже из нашего беглого обзора видно, насколько богата содержанием новая работа т. Султана-Заде. Книга эта изобилует конкретным материалом и интересными цифровыми данными.

К сожалению, интересная работа Султана-Заде не лишена крупных недостатков. Эти недостатки: вычурный цветистый стиль, к которому автор иногда прибегает, многочисленные общие места, неупотребительные даже в самых популярных брошюрах, предназначенных для совершенно серого читателя, слишком частые ссылки на недоступные русским читателям иностранные источники и даже газеты, на ряду с невниманием к русским источникам, трактующим те же темы.

Недостатком работы А. Султана-Заде является также неумеренное пользование длиннейшими статистическими таблицами, которыми порой пестрят целые страницы, между тем, как при некотором труде эти таблицы могут быть значительно сжаты.

Тов. Султан-Заде талантливый, многообещающий писатель. Мы убеждены, что он подарит нашей литературе много ценных трудов, но при одном условии, если он откажется от своего метода скороспелой работы, от крайне небрежного отношения к своим собственным трудам.

Мих. Павлович.

НОВЫЙ ВОСТОК. № 1. Журнал Всероссийской Научной Ассоциации Востоковедения. Н. К. Н. 1922. Стр. 104.

Журнал редактируется М. П. Павловичем (Вельтманом). В статье, открывающей журнал, редактор говорит: «В эпоху царизма Восток являлся для России исключительно объектом завоевательной политики и экономической эксплуатации. Все изменилось с того момента, как в России восторжествовала Советская власть. Рабоче-Крестьянская Россия... являлась уже в глазах азиатских народов (можно было бы сказать и африканских. *А. А.*) не вековым мучителем... не врагом, не конкурентом Англии, Германии или Франции, а искренним другом всех угнетенных народов Востока в борьбе с мировым империализмом». Вот те настроения, которые легли в основу издаваемого журнала. Впрочем, это не только настроения, это сознательная линия нашего советского государства, зафиксированная целым рядом мирных договоров с народами Востока, как-то с Персией, Афганистаном, Китаем и т. д.

Пальма мира и, выражаясь высоким стилем, рука дружбы, с которыми подходит Советская власть к народам Востока, открывают впервые возможность изучать Восток. Изучать, а не вылущивать из него данные, полезные для европейского меркантилизма. Являясь объектом эксплуатации, Восток не мог быть изучаем так широко и глубоко, как он того заслуживает. В своей передовой статье Мих. Павлович приводит, поистине, поразительные доказательства того, до чего меркантилизм тормозил чисто научный подход к восточным странам. Так, например, до сих пор в точности неизвестно количество населения Персии, до сих пор неизвестно точное деление курдов на племена, отсутствуют данные о длине железнодорожных и шоссейных путей и т. п. Эксплуататорская политика европейских стран не только тормозит прямым образом научное исследование Востока, будучи в этом либо не заинтересована, либо заинтересована «наоборот», т.-е. в сокрытии тех или иных данных о Востоке, она и косвенным образом мешает этому, создавая в туземном населении враждебное отношение к «белокожим». Неудивительно поэтому, что европейские исследователи натыкаются на враждебные выступления при своих научных исследованиях даже со стороны наиболее культурных восточных народов, как, например, жителей Тибета. Мирная и дружественная политика по отношению к Востоку открывает широко двери научному исследованию. И уже в № 1 журнала «Новый Восток» сумел украсить свои страницы таким замечательным документом, относящимся к истории древнего Египта, как «Папирус Инувера». Инувер, египетский мудрец, повествует о революции в древнем Египте. Папирус, принадлежащий писательному инструменту Инувера, хранится в Лейдоне. Он впервые переведен и издан в Лейпциге Аланом-Гардинером. Эта интереснейшая страница из истории древнего Египта, способная при некоторых дополнительных изысканиях подвинуть вперед наши познания об Египте, не обращала на себя внимания. Ибо капитализм не заинтересован в распространении знаний о революции. Автор этой интереснейшей статьи («Революция в древнем Египте»), к сожалению, как бы боится и избегает некоторых расширяющих объяснений папируса и ограничивается почти исключительно изложением его. Однако и в таком виде статья вводит читателя в такой круг понятий об Египте, который далеко не свойствен нашему старому школьному трактованию египетской истории и сложившихся на почве этого трактования обыденных представлений об Египте. Поэтому статья являет собою громадный интерес.

Журнал пытается таким широким размахом объять восточное полушарие земли, что крайним концом своего взора попадает в наизападнейшую землю, в Америку. И здесь автор статьи «Тихоокеан. проблема», М. П., развертывает перед читателем японо-американские отношения. Панамский перешеек—этот замок, который запирал от американцев Тихий океан, был отперт при посредстве канала 3 августа 1914 года. В этом факте—говорит автор статьи—лежал залог «будущих войн». Чтоб предотвратить правовые возможности и вместе с тем, что-

бы держать за шиворот левой рукой Англию, а правой—за горло Японию, Америка пытается победить и ту и другую дипломатическим путем на Вашингтонской конференции. И хотя последняя приняла американский проект сокращения вооружения, все же это не устраняет опасность новых войн. Япония и Америка продолжают смотреть друг на друга через воды Тихого океана и делать тихую взаимно-враждебную политику, которая может окончиться очень громко.

«Вот почему,—заканчивает автор,—изучение стран Дальнего Востока и всех проблем, связанных с последними, приобретает в данный момент особое значение.

Кроме помянутых мною статей, в журнале имеется целый ряд других по самым разнообразным вопросам Востока. Так, тут идет речь и о современном Китае, и о правовых достижениях России в Азии, и о религиозной жизни Кызылбашей, и об истории санекритологии и т. д. и т. д. Такая чисто восточная пестрота журнала является, однако, его положительной стороной, т. к. притягивает к себе самого разнообразного читателя, интересующегося Востоком. В соответствии с богатством и разнообразием тем и авторов, представленных в журнале, последний имеет очень сочный библиографический отдел. Почти все наиболее выдающиеся новые труды по вопросам Востока указаны в библиографии журнала.

Ал. Аросов.

ИСТОРИЯ РЕВОЛЮЦИИ.

П. Н. ЛЕПЕШИНСКИЙ.—На повороте (от конца 80-х годов к 1905).—Попутные впечатления участника революционной борьбы.—Изд. «Комиссии по истории Окт. революции и Р. К. П. (б-ков)». — Пбг. Госиздат 1922 г. Стр. 237. 15.000 экз.

Данный выпуск работ «Истпарта»—один из наиболее ценных. Хотя автор за изображаемые им 10 — 15 лет первоначальной истории нашей революционной рабочей партии и не стоял в первом ряду ее «лидеров» (о чем он и сам настойчиво напоминает читателю, именуя себя лишь «участником революционной борьбы» и т. п.), но это ничуть не отнимает у его книги *существенного* значения как одного из серьезных источников истории партии и самой революции.

Во-первых, чем скромнее перед нами автор, тем большую печать добросовестности и объективности, возможной вообще для свидетеля исторических событий (такую роль он отводит себе в «заметке» вместо предисловия) кладет это на его труд.

Во-вторых, и самое главное—степень «участия» его в деле подготовки великого переворота наших дней была вовсе не маловажна. Достаточно указать, что с самого почти возникновения широкого рабочего движения в России, с 1894—95 гг. т. Лепешинский активно работал (а не только был «свидетелем» работы) в ближайшем контакте с т. Лениным, стоял потом в центре российской организации «Искры» при ее зарождении (Псков, 1900—1902 гг.), стоял у самого центра междоусобной войны новорожденного большевизма с меньшевизмом, непосредственно после 2-го съезда Р. С.-Д. Р. П. (в 1903 и 1904 гг., в Женеве).

Отсюда уже понятно само собой, что в книжке мы находим немало новых фактов, более детально и отчетливо освещающих соответствующие моменты, так сказать, «утробного» периода развития нашей революции. Тут впервые с документальной точностью устанавливаются некоторые существенные даты и детали, личный состав важных организаций и событий. Таковы дата и ход малоизвестной доселе Псковской конференции «Искры» (2—3 ноября 1902 г.), где создался О. К. Организ. К-т (будущего 2-го съезда), Краснуха от Питера, И. И. Радченко от «Искры» и Левин от «Южн.

Рабочего». Еще ранее, в июле 1899 г.— ход возникновения и состав участников известного «Протеста 17» против не менее известного «Credo» (соглашательских тезисов, как бы манифеста тогдашних «экономистов», во главе с Кусковой и Прокоповичем). «Протест» составлен в с. Ермаковском, Минусинского уезда, в Сибири, ссыльными «стариками» из Питера—Лениным, Крупской, Статковым, Ванеевым, Кржижановским, Лепешинским, Шаповаловым, Паниным и др., сюда же примыкал и известный старый кавказец Курнатовский. Это был как бы первый и уже резко «по-ленински» определенный очерк разногласий между истинными и мнимыми пролетарскими революционерами, позже получивших такое первостепенное значение под именами большевизма и меньшевизма.

Впервые также в живом, связном рассказе и в новых, свежих чертах (см., напр., в высшей степени интересные выдержки из «литературы» Галерка-Ольминского против меньшевиков, как партийных анти-демократов) у П. Н. Лепешинского рассказана и история «послесъездовской» борьбы из-за состава редакции «Искры», Совета партии и ЦК. (1903—1904 гг.). Автор был близким свидетелем всей этой борьбы в качестве секретаря Совета от большевиков. Для молодых читателей - пролетариев будет крайне поучителен этот рассказ о беззастенчиво самодержавных методах пресловутых «демократов» меньшевиков во главе с Плехановым, Мартовым и Даном, случайно оказавшихся сильнее большевиков в заграничных интеллигентских группах и поставивших себе целью политическую смерть большевизма, хотя бы идя в разрез со всеми постановлениями парт. съезда. Отныне я узнал,— говорит автор,—какова подлинная природа «политической борьбы»... Но вместе с автором мы видим, что именно тогда, в тесных рамках женевской, повидимому, «кружковой склоки», в мелких, повидимому, стычках с бессовестными соглашателями, лидеры революционного пролетариата прошли благодетельную школу болезненного подчас политического опыта, которая потом так пригодилась в широких размерах, когда настал исторический черед для применения суровой *диктатуры пролетариата*. Многочисленные примеры отдельных «уроков» этой «школы» читатель найдет в «мелочах жизни» тогдашней эмиграции в Женеве, рассказанных автором нередко с неподражаемым юмором.

Если прибавим, что в книжке имеется немало поистине драгоценных, метких, новых черт и черточек для личной характеристики таких «чемпионов» этой борьбы, как Плеханов и Ленин, таких ее рьяных застрельщиков и лукавых «раздувателей», как Мартов, Дан и т. д., что портреты их (как и других затронутыхъ в книге лиц) нередко удивительно ярки и жизненны,—то интерес данного выпуска «Истпарта» станет вполне ясен. Нельзя также не упомянуть о таланте автора, как карикатуриста. Приводимые им снимки собственных карикатур на заграничную войну «Монтекки и Капулетти»,—карикатур, тогда широко известных в партийной среде и сыгравших не последнюю роль «в числе драки» (выраж. Гл. Успенского), очень оживляют рассказ. Но в нашем отзыве оказался бы серьезный пробел, если бы мы позабыли упомянуть еще об одной ценной стороне книги.

Автор не даром говорит в послесловии, что он «прошел основательную школу» революционного марксизма. Это самым благоприятным образом сказывается на книге. Какую бы скромную роль, по мнению автора, сам он ни играл в истории движения, но действительно солидная «школа» дает себя знать как во вносимой им отчетливости, конкретной точности, в обрисовке последовательных моментов и «узловых пунктов» движения, участником которых ему пришлось быть, так и в отдельных, подчас замечательно метких и ценных формулировках. Как образец таковых, возьму, напр., характеристику розни, царившей в 1896 г. в «Сев. башне» Бутырской тюрьмы в Москве между двумя течениями, идущими в ссылку. С одной стороны, анархисто - образные и народничествующие элементы, а с другой (Ленин и «старики») — представители того нового течения, которое претендовало на захват революционных стихий *особыми методами борьбы, рассчитанными на*

рост классового самосознания рабочих масс.

На первый взгляд тут как бы мало нового, но в действительности выдвинута на первый план та сторона тактики, именно *коммунизма*, которая ручается за конечную победу.

Спросим себя, напр.: ведет ли наша тактика сейчас на Западе к росту классового самосознания масс?—Да, ведет. Следовательно, революция там на верном пути, если и не «торопится». И тем верней она придет. Таких заслуживающих читательского размышления формулировок найдется в книжке немало.

В общем книжка дает много больше, чем обещает скромный автор. Она часто и художественна, и вдумчива, и поучительна.

А. Дивильковский

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ и Р. К. П. Вып. I. От зарождения социал-демократии до Октябрьской революции. Изд. Окружн. Военно-Рев. Совета 5-й армии и В. С. В. О. 1922 г.

В предисловии совершенно справедливо сказано, что надобность в очерке по истории русской революции и Р. К. П. подсказывается, между прочим, соображениями и партийной пропаганды: «на изучении истории нашей партии лучше всего можно уяснить себе тактику партии в наши дни, которая.....для молодых членов партии трудно понятна». Поэтому попытку просветительного учреждения далекой окраины (брошюра издана в Иркутске) следует, вообще говоря, приветствовать и отдать ей тем большую дань уважения, что в распоряжении автора (или авторов) очерка не было не только богатых архивных материалов, но, повидимому, и достаточной литературы. Пара-другая книжонок по истории Р. С.-Д. Р. П. и рабочего движения в России (Батурин, Лядов, Ельницкий), 4-й том «Русской истории» М. Н. Покровского—вот, кажется, основной фонд литературных источников, послуживших автору для его конспективных набросков первых глав брошюры. Собрание сочинений Ленина (том IV, за 12 лет) представило главный источник для цитат, посредством которых в брошюре охарактеризована деятельность партии и революции за период 1900—1905 гг. «Из эпохи звезды и правды» Ольминского легло в основу очерка о периоде 1911—1914 гг. «Против течения» Ленина и Зиновьева, «Социализм и война» тех же авторов оказали автору огромную услугу при написании главы VI (период войны 1914—17 годов). Наконец, для очерка февральской революции вполне оказались пригодными известная брошюра Бухарина «Классовая борьба и революция в России» да еще, быть-может, книга Троцкого «Октябрьская революция», или Новицкого «От самодержавия к диктатуре пролетариата».

Принимая во внимание, что у нас, в России, нет еще собственных Мерингов, и что история революционной партии русского пролетариата в обстановке развивающегося рабочего движения и борьбы с самодержавием еще не написана умелой рукой (есть только некоторые материалы и работы этюдного характера, да и то освещающие лишь период освободительной борьбы до 1905—6 гг.), было бы более, чем неуместно, ставить на вид автору рассматриваемого очерка конспективный характер его трудов, поверхностность и беглый характер этого очерка, бедность использованной автором литературы и т. п. Ведь в этом направлении так мало сделано нашими патентованными историками, и под рукой провинциального лектора по истории партии по части источников и руководств так бедно, что иной раз хоть волком вой. В таком случае—нечего делать!—приходится пробавляться «своими средствиями» и набрасывать историю Р. К. П. по той дюжине книжонок, которая имеется под рукою.

Но сумел ли автор благополучно справиться со своей скромной задачей даже в пределах тех очень скромных рамок, из которых он поневоле не мог выскочить?

И да и нет. Цитаты из Ленина подобраны сравнительно благополучно, характеристика различных моментов в развитии революции и Р. К. П. дана, в общем и целом, в надлежащих тонах. Но... все же эта работа производит впечатление черновика, в неисправленном

и непросмотренном виде, слишком поспешно выпущенного в свет. Не говоря уже о сотне опечаток—иногда досадных, иногда смешных, на каждом шагу наталкиваешься при чтении брошюры на ошибочные утверждения и на небрежность стиля, иногда граничащую с малограмотностью. Вот некоторые примеры такого рода дефектов.

На стр. 1-й упорно (в нескольких случаях) говорится о рабочих и крестьянах «крепостниках», каковой термин, как известно, применяется не к закрепощенным рабочим и крестьянам (крепостным), а к их владельцам, помещикам.

На стр. 3-й говорится о кризисах и в скобках поясняется подъем и резкое падение... Нужно думать, что момент промышленного кризиса отнюдь не характеризуется признаком подъема промышленности, а только признаком падения.

На стр. 4-й и 5-й говорится об общине. Допущено несколько более или менее спорных положений в роде, напр., того, что «для низкого по своему развитию крестьянства (автор, очевидно, хотел сказать—для крестьянства с его низким развитием) организующая и воспитательная сила общины являлась необходимым условием хотя и бедного, но все же возможного существования». Значит, разложение общины повело бы к тому, что «низкое крестьянство» потеряло бы необходимое условие для возможного существования... Но ведь именно так рассуждали и народники. А между тем автор как будто бы и сам хорошо знает, что «с экономической точки зрения община представляла из себя невыгодное сельско-хозяйственное предприятие» (только, конечно, не «предприятие», а установление, институт что ли...).

На стр. 7-й автор щегольнул исторической подробностью, приведши справку о жалобе рабочих Фряневской шелковой фабрики к Павлу I в 1880 г. (???) Стачки на Кренгольмской (в брошюре напечатано на Кренгальской) мануфактуре в 1872 г., собственно говоря, не было,—были лишь крупные беспорядки, но известна другая стачка на Кренгольмской м-ре в 1882 г. В пояснение той мысли, что рабочий класс не ограничивается только стачками, имеется указание на демонстрацию на Казанской площади в 1876 г. Это была интеллигентская, а не рабочая демонстрация, малочисленная и неудавшаяся.

На стр. 8-й брошена такая, очень сомнительная фраза: «В дальнейшем, смотря по тому, кто чувствовал себя сильнее—или рабочие, или капиталисты, в ту сторону склонилось законодательство». Умилительная картина эквилибристики самодержавного правительства между капиталистами и рабочими!..

На стр. 9-й говорится о «раскаявшихся» «из среды буржуазии (?!) и других мелких классовых группировок» (?), которые («раскаявшиеся») заполняли ряды народничества...

Вероятно, автор приплел сюда «раскаявшихся» в связи с известным термином «кающийся дворянин» (а не буржуа)... Несколькими строками ниже имеется фраза: «мужик не всегда понимал и раскаявшегося и интеллигента»,—фраза, напоминающая одну анекдотическую альтернативу: «позвольте спросить, вы из каких будете: ахвицер али благородный?..»

На стр. 10-й читаем: «Первой чисто рабочей организацией, стремящейся связаться с широкими рабочими массами (?), был «Северо-Русский рабочий союз», организованный в 1878 году усилиями плотника Холтурина, слесаря Обнозского, ткача Алексеева и др.».

В этой фразе имеется несколько опечаток (Холтурина вместо Халтурина, Обнозского вместо Обнорского), несколько мелких неточностей (напр., Халтурин был столяр, а не плотник, неправильно названа организация) и, в конце-концов, очень странное включение в число основателей союза ткача Петра Алексеева, который, как известно, был участником процесса 50 и в 1877 г. на суде произнес свою громовую речь перед отправкой в Сибирь. Дальнейшее (на той же странице) указание на то, что Союз склонился в сторону террора и начал организовывать террористические акты, и что союзом был организован взрыв Зимнего дворца (5 февраля 1880 г., а не 1881 г., как сказано в брошюре), основано на недоразумении. Покушение посредством взрыва в Зимнем дворце было произведено вне связи с

деятельностью Союза, а единолично Халтуриным, подпавшим под влияние народовольцев и получившим от Исполнительного Комитета партии Народной Воли поручение взорвать Зимний дворец.

Нет надобности дальше, страница за страницей, перечислять ряд ошибок (иногда грубых), которыми полна брошюра. Вышеприведенных указаний достаточно, чтобы судить о том, как небрежно составлен весь очерк.

А все-таки... все-таки, даже и в таком виде, он имеет свое raison d'être до тех пор, по крайней мере, пока не появится в обращении среди широкой читающей публики ряд более мастерских трудов по истории революции и Р. К. П., написанных более опытными историками и в гораздо более счастливой—в научном отношении—обстановке.

П. Лепешинский.

ОКТЯБРЬСКИЕ ДНИ в МОСКВЕ и РАЙОНАХ (по воспоминаниям участников). Изд. «Московский Рабочий». Москва. 1922 г. 183 стр. Тираж 3.000. Цена не указана.

Москва—на ряду с Питером, конечно, сыграла решающую роль в великие дни Октября. Поэтому всякая работа, которая могла бы в большей или меньшей степени дать историю этих дней, должна быть встречена с громадным интересом. Рецензируемая книжка, выпущенная Московским Бюро Истпарта, не дает ни истории, ни полной картины этих событий: она дает лишь материалы—цемент для истории, мазки для картины. И это уже весьма ценно. Сборник, за небольшим исключением, состоит из одних воспоминаний. Материал распределен, нужно заметить, удачно: на первом месте—отдел «В центре», далее—«Московский гарнизон», затем—районы, каждому району отводится особый отдел.

Воспоминания, большей частью, принадлежат средним рабочим, делившимся ими на митингах, по случаю годовщины. Сжатые коротенькие речи «не профессиональных революционеров, не профессиональных политиков, не профессиональных журналистов»,—они проникнуты удивительной ясностью и искренностью. Во всей совокупности своей они дают ответы на ряд важнейших вопросов, связанных с историей этих достопримечательнейших событий.

Сильно распространена легенда о «кучке интеллигентов», совершившей будто бы этот переворот. Вот послушаем воспоминания: «В нашем Басманном районе только один студент принял участие в наших боевых действиях. Не было почти совершенно интеллигенции. Во всем Революционном Комитете, состоявшем из трех лиц, не было интеллигенции» (стр. 119).

О стихийности этого восстания широчайших масс: «Мы не только не знаем, не могли заранее наметить план, и изо дня в день, из часа в час, мы учились, как делать самое восстание» (стр. 120). Еще: «Мне вспоминается в эти дни, насколько мы были наверху стихии, которая нас толкала. Солдатская масса, собственно, к нам сама стекалась»... «...Стоило сказать, что из Московского Совета, что мы большевики, как солдаты собирались, выходили и готовы были итти по нашему приказанию, куда угодно... Любопытно, что как только мы сказали... что в Петрограде власть перешла в руки Совета... встает здоровеннейший солдат с громадной бородой и говорит: «что тут рассказывать, вообще идем», и двинулся. Я даже, собственно, испугался, но все за ним двинулись... (стр. 31).

Как с оружием обстояло? с боевыми дружинами?

... «Всю тяжесть Октябрьской революции в Москве вынесли районы: вооруженные рабочие, которые какими-то разными способами находили, добывали оружие и вооружались, кто чем может» (стр. 25). Еще: «когда нас было 90 человек, мы начали атаку юнкерского училища, где было 500 юнкеров. Вооружены мы были несколькими ручными гранатами, но к этому времени успели подвезти 2 крупных орудия, и мы направили дуло на юнкерское училище. У нас не было ни одного снаряда для этих орудий. Вечером мы выпустили 90 человек и окружили это училище. В это время у нас у каждого бойца было по 5 патронов и ни одного снаряда... К нам в руки попало несколько десятков пулеме-

тов и ручных гранат, и мы начали второе наступление» (стр. 35).

Вот яркая иллюстрация. Молодой красногвардеец привел 3 вооруженных с головы до ног офицеров. Их разоружили в Ревкоме. «Я спросил этого красноармейца, — передает рассказчик: — а у тебя заряжена винтовка?» Он говорит: «Нет, у меня нет ни одного патрона»...

Тот же автор передает: «Первое оружие, которое мы получили, это было отнятое у врагов, а мы сами, по существу, не были вооружены в нашем районе» (стр. 119).

Вот и Замоскворечье. Бутиковские казармы. «Там наши пушки. Но нет снарядов. Является наш товарищ инженер. Говорит, что он с артиллерийцами может заняться начинкою снарядов». Приступают. Новая беда. «Нет таблиц для прицела. Целые сутки солдаты изучают орудия. Наконец, орудия изучены. Снаряды начинены» (стр. 147). И дело пошло.

Вопрос о военных руководителях. Вот как освещает его сам командующий, т. Муралов: «Когда я вспоминаю, как мы воевали, то прихожу к заключению, что очень плохо воевали,—вывозила кривая и больше стихия... Не знаю я, как воевать, особенно как вести стихийную борьбу... Я начал ломать голову и вспоминал начатки военных знаний, которые я получил, будучи солдатом в армии, когда дядька мне говорил, что такое знамя... вспомнил я брошюру, которая издана была в 4—5 году «Тактика уличного боя»... Бросалось в глаза, что плохо у нас работает и наш оперативный штаб, и разведки у нас нет... командовал артиллерией Смирнов, но нужно сказать: та команда была теоретического свойства... Давыдовский, простой солдат, командовал батареей в 4 орудия, а иногда к 4 орудиям присоединялось еще два. И вот кто-нибудь выстрелит из окна, Давыдовский без разрешения открывает огонь из всех пяти-шести орудий, его начинают сдерживать, он не слушается»... (стр. 28—29).

Вот иллюстрация пресловутых «зверств большевиков» и «благородства белых». «У нас сидит,—рассказывает т. Б. Волин,—несколько пленных и просто арестованных. Есть студенты, офицеры. Мы их содержим в лучших условиях. Мы просто с ними няньчимся... Я заявляю перед лицом всего мира труда, что ни один из них не только нигде не был расстрелян, но даже не был ранен, не был побит. А между тем мы потом узнали, после их сдачи, в Москве, что они проделали с 84 полком и нашими красногвардейцами в Кремле. Они их выставляли в ряд и стреляли из пулемета, они их били по щекам и выбивали зубы» (стр. 148).

Кстати, об этой же расправе над солдатами вот что рассказывает т. Ангарский... «И когда Кремль был взят юнкерами после обстрела, солдат 56 полка утром в 8 часов выстроили у Троицких ворот, и после команды: «смирно, руки по швам», началась ужасная, неслыханная бойня: пулеметы у царь-пушки, пулеметы у Троицких ворот и пулеметы с площади сразу затрещали... Руки, ноги, куски человеческих тел,—все это перемешалось и разлетелось в разные стороны и долетало до Сенатской площади. С этим избиением можно сравнить разве только избиение парижских коммунаров озверелой парижской буржуазией» (стр. 25).

Любопытно отношение казаков, двинутых на Москву большими эшелонами. «Раза три,—рассказывает т. Б. Волин,—приходилось выезжать навстречу казакам.., и каждый раз переговоры заканчивались нашей победой. Ибо казаки тогда бессознательно чувствовали, что правда на нашей стороне, особенно, когда они узнали о декрете о земле и что средние казаки останутся при своих наделах» (стр. 148).

Подобными ценнейшими материалами изобилует вся книга.

В сборнике приводится кое-что и из документов: переговоры с Советом Кр. Депутатов, приказ Ревкома о перемирии и разговор по прямому проводу представителя Викжеля из Петербурга Вомпе с представителем этой же организации в Москве Бильбатовым. Документы эти т. Стуковым снабжены предисловием и примечаниями, хотя далеко не полными, и представляют, конечно, большой научный интерес. Особенно ценны всякие викжелевские материалы,

которые пребывают в неизвестности; если не уничтожены [1]).

В сборнике, специально посвященном Октябрьским дням в Москве, изданном бюро Истпарта, приводится только 3 документа.

Почему? Печальный ответ на этот печальный вопрос дает т. Стуков:

«Часть ценнейших документов Московского Военно-Революционного Комитета была уничтожена в один из самых трагических моментов».

Далее, часть этой части документов оказалась в руках т. Стукова и других отдельных товарищей. Часть последней части затерялась, «а из сохранившейся части,—говорит т. Стуков,—некоторые документы попортились» (стр. 20).

Увы!—больше ничего сказать не остается...

Сборник этот все же составляет большой вклад в собрание материалов по истории Октября, а для рабочего читателя—родную книгу.

И. Волковичер.

А. Ф. КЕРЕНСКИЙ. Гатчина. М. Изд. «Книгопечатник». 1922 г. 40 стр.

Воспоминания Керенского о революции 17 г. имеют особый интерес.—Керенский с первого часа февральской революции стоял в центре событий, он знает многое, что нам неизвестно еще и сейчас. Несмотря на это, воспоминания его о «Гатчине» нового дают очень мало.

Керенский категорически утверждает, что Временному Правительству в Октябрьские дни приходилось вести борьбу на два фронта—с восставшим пролетариатом и с корниловцами. Общественные группы, поддерживавшие «диктатора» и связанные с ним, постановили: не оказывать правительству в случае столкновения его с большевиками никакой помощи. Их стратегический план состоял в том, чтобы сначала не препятствовать успехам вооруженного восстания большевиков, а затем, после падения ненавистного Временного Правительства, быстро подавить большевистский «бунт». В подкрепление этого заявления Керенский приводит только сообщения, что полковник Полковников систематически обманывал Вр. Пр., вел «двойную игру», сообщая ему неверные сведения о настроении войск.

Верно только одно, что за Вр. Прав. никто не хотел сражаться. Предпарламент, эта опора Врем. Прав., в ответ на речь Керенского о начавшемся в Петрограде большевистском восстании, вынес следующую резолюцию: 1) «Подготовляющееся в последние дни вооруженное выступление, имеющее целью захват власти, грозит вызвать гражданскую войну, создает благоприятные условия для погромного движения и мобилизации черносотенных контр-революционных сил и неминуемо влечет за собой срыв Учр. Собр., новые военные катастрофы и гибель революции в обстановке паралича хозяйственной жизни и полного развала страны. 2) Почва для успеха указанной агитации создана, помимо объективных условий войны и разрухи, промедлением проведения неотложных мер; и потому прежде всего необходимы немедленный декрет о передаче земель в ведение земельных комитетов и решительное выступление по внешней политике с предложением союзникам провозгласить условия мира и начать мирные переговоры. 3) Для борьбы с активным проявлением анархии и погромного движения необходимо немедленное принятие мер к их ликвидации и создание для этой цели в Петрограде Комитета общественного спасения из представителей городского самоуправления и органов революционной демократии, действующего в контакте с Временным Правительством».

Резолюция эта была полнейшим осуждением всей политики Керенского и произвела на него, как говорит и он сам, сильнейшее впечатление. По словам Станкевича, узнав об этой резолюции, Керенский был в изумлении и в волнении заявил, что при таких условиях ни

[1]) Т. Стуков пишет: «Говорят, что Вомпе и Бильбатов в настоящее время члены Российск. Коммунистической Партии» (стр. 20). Тем более, думается нам, морально обязаны они поделиться в печати—по меньшей мере—воспоминаниями.

минуты не останется во главе Правительства. Я горячо поддержал его решение и вызвал по телефону Авксентьева и других лидеров партии (Станкевич. «Воспоминания», стр. 259). Керенский передает речь одного Дана. Это—одно из интереснейших мест книги. Оно великолепно рисует полнейшее непонимание происходящего, какую-то необыкновенную политическую тупость вождей Предпарламента. «Прежде всего Дан заявил мне,—пишет Керенский,—что они осведомлены гораздо лучше меня и что я преувеличиваю события под влиянием сообщений моего «реакционного штаба». Затем он сообщил, что неприятная «для самолюбия правительства» резолюция большинства Совета Республики чрезвычайно полезна и существенна для «перелома настроения в массах», что эффектно уже сказывается, и что теперь влияние большевистской пропаганды будет «быстро падать». С другой стороны, по его словам, сами большевики в переговорах с лидерами советского большинства изъявили готовность «подчиняться воле большинства советов», что они готовы «завтра же» предпринять все меры, чтобы потушить восстание, «вспыхнувшее», помимо их желания, без их санкции. В заключение Дан, упомянув, что большевики «завтра же» распустят свой военный штаб, заявил мне, что все принятые мной меры к подавлению восс ания только раздражают массы и что вообще я своим вмешательством лишь мешаю представителям большинства советов успешно вести переговоры с большевиками о ликвидации восстания» (5). «Мы воочию наблюдали, — вспоминает Керенский,—о настроениях солдатской массы, с какой стремительной быстротой петербургские события отзывались на фронте, разрушая дисциплину... Присутствуя утром, по просьбе ген. Краснова, на собрании гарнизонных и казачьих делегатов, я сам мог убедиться, что каждый лишний час промедления в городе делал самое выступление корпуса из Острова все более гадательным» (стр. 18)—и только. Гораздо ярче описывает это заседание в Острове генерал Краснов в своих воспоминаниях. В Острове Керенский обратился к собравшимся солдатским и казачьим комитетам с речью. «Два раза речь верховн. главнокомандующего прерывалась грубыми выкриками... Хотите в крови нашей захлебнуться... По колено в крови ходить будете». Сообщения Краснова и Керенского одинаково показывают, что солдатские массы стояли не за Врем. Пр., а против него. Настроение солдат разделялось и рядовыми казаками. У казаков, по словам Краснова, не было уверенности, что не казаки идут «усмирять всю Россию, как в 1905 году, а что вся Россия идет усмирять небольшую кучку безумных изменников» (Краснов. «Описан. дейст. III конного корпуса», стр. 16). Таковой уверенности не мог дать и не давал казакам Керенский. Наоборот, те силы, которые собирались под его знаменами, убеждали казаков как раз в противоположном. «Наше появление в Гатчине,—пишет Керенский,—привлекло сюда значительное количество офицеров. Это придавало нашему лагерю довольно своеобразный вид и весьма настораживало казачью массу; настораживало тем более, что им приходилось слышать в этой офицерской толпе разговоры и выражения, действительно, достаточно «старорежимные» (стр. 21).

Таким образом, в основных чертах показания Керенского подтверждают показания других авторов: массы солдат и рабочих были против Врем. Правит.; за него или за другое правительство, готовое вести старую буржуазную политику, было офицерство.

Есть в книге Керенского умолчания и неточности. Умалчивает Керенский о содержании тех переговоров, какие происходили между ним и приезжавшими из Петрограда в Гатчину, как он их называет, политическими друзьями. Интересно отметить маленькое несовпадение между показаниями Керенского и показаниями Малянтовича, присутствовавшего при отъезде Керенского. Керенский утверждает, что один из автомобилей был ему предложен американским посольством, а Малянтович говорит, что это было сделано по просьбе Керенского.

И то и другое одинаково хорошо.

С. Пионтковский.

П. С. ПАРФЕНОВ. Петр (Алтайский). Уроки прошлого. Гражданская война в Сибири 1918, 1919, 1920 гг. Харбин, 1921 г., 170 стр.

Книга Парфенова—одна из немногих книг, посвященных истории Сибири в годы гражданской войны. Кроме нее, истории Сибири посвящены: книга Гинса «Сибирь», «Колчак и союзники», брошюра Эспе «Год в стане Колчака». Материалы по истории рабочего движения в Сибири, ряд интересных статей об этом периоде дан в сборнике «Три года борьбы», изданном в Омске.

Книга Парфенова составлена исключительно на основании газетных данных. Она дает превосходную хронологическую канву сибирских событий и перепечатывает ряд официальных и неофициальных документов и фактов, погребенных среди печатных страниц. В этом—ее достоинство. Вся книга распадается на пять глав. В первой главе Парфенов описывает ход революции в России и Сибири от февраля до октября, организацию Сов. власти в Сибири и причины ее слабости. Эта глава сразу же вскрывает недостатки Парфенова, как историка. Он не марксист, выдержанной классовой точки зрения у него нет. Объясняя события, он так объясняет февральскую революцию и роль в ней различных общественных сил: офицерство видело в февральской революции «право получить лишний чин и широкую возможность выдвинуться по службе, что раньше было монопольным правом только штабного гвардейского офицерства». Есть и ошибки. Так, описывая октябрьские дни в Москве, Парфенов приводит такую сцену: «В тот самый момент, когда разбитые юнкера и офицеры в стенах Московского Александровского военного училища обсуждали способы, каким путем пробраться в районы контр-революционных формирований, на Дон, в Семиречье и в полосу отчуждения Кит.-Вост ж. д. для новой и уже более организованной борьбы с русской революцией,—к ним прибыл представитель центрального комитета правых социалистов-революционеров Гоц и заявил, что они, эс-эры, тоже постановили с оружием в руках бороться с Советской властью» (стр. 14). На совести умершей партии с.-р. и в частности Гоца есть много преступлений против пролетариата, но совершал он их в это время в Петрограде, а не в Москве.

Центр изложения второй главы сосредоточивается на борьбе всех этих разнообразных правительств с рабочими и крестьянами. Чрезвычайно интересный социологически и характерный для всей гражданской войны в России момент перехода власти из рук мелкой буржуазии в руки крупной, замена демократических лозунгов единоличной диктатурой как-то остается в тени у Парфенова: он о нем говорит как о факте, но не анализирует его подробно, не вскрывает его внутренней сущности. Лучшие страницы книги посвящены описанию белогвардейского террора и борьбе рабочих и крестьянских масс Сибири с контрреволюционными атаманами.

Третья и четвертая главы книги подробно излагают начало и ход чехо-словацкого восстания и внешний облик диктатуры Колчака. Это, действительно, уроки прошлого. Последняя глава книги посвящена истории Д.-В. Р. Уроки прошлого для тех, кто обманывал и обманывался красивыми лозунгами с.-р. и меньшевиков. Парфенову не удалось в точных, ясных чертах зафиксировать, он сумел лишь, пользуясь газетами, собрать богатый исторический материал, но такова сила фактов, что они умеют громко и грозно говорить за себя. Книга Парфенова, несмотря на ее методологическую слабость, несмотря на то, что в ней затронуто лишь несколько вопросов, да и то поверхностно, поднимает завесу над тем царством кошмаров и ужаса, какое распростерлось над снегами Сибири. Она рассказывает о том, как попыталась сибирская буржуазия последний раз восстановить свое господство и как сибирский крестьянин и рабочий ответили на восстановление до-«октябрьских» порядков.

С. Пионтковский.

И. ГЕНКИН. По тюрьмам и этапам. Петербург. Государственное Издательство. 1922. Стр. 486.

Петербургское отделение Государственного Издательства хорошо поступило, собрав статьи И. Генкина, рассыпанные до того в различных перио-

дических изданиях. В собранном виде эти статьи представляют собой весьма ценную книгу, которая, благодаря изобразительному таланту автора, читается с неослабевающим интересом. Ее содержание определяется заглавием: это очерки русских тюрем и этапов, по которым ее автору пришлось провести целых десять лет жизни. Перед читателем проходят картины тюремного быта, начиная с 1906 года, когда автор после севастопольского восстания очутился в севастопольской тюрьме и затем успел побывать во всех страшнейших застенках. Современному читателю не мешает ознакомиться с ужасами тюремных насилий и издевательств. Автору удалось показать их с большой яркостью и силой. Эта яркость некоторых очерков является главнейшим достоинством книги, которая в отдельных своих частях все же не равноценна.

Автор обладает несомненным художественным дарованием, которое наложило печать на его статьи, сделав их полубеллетристическими. Но книгу эту нельзя все же назвать беллетристикой. Материал ее—историчен. Художественная же манера письма, живописные наброски, которыми книга пестрит—лишают ее значения работы чисто исторической. Историку, поскольку он будет изучать вопросы тюремного быта, придется временами с некоторой осторожностью пользоваться иными рассказами Генкина. Не всегда автору удавалось сдерживать крылатого коня своей фантазии. Некоторые страницы книги нам представляются излишними. Так, без ущерба могли бы быть выкинуты страницы, посвященные уголовным. Здесь автор не мог подойти к этим тюремным обитателям с таким знанием, с каким подходил он к политикам, потому-то страницы, где говорит он об уголовных, бессодержательны и ничего не прибавляют к богатой литературе, которою мы располагаем. Было бы целесообразней ограничить книгу исключительно материалом, трактующим политическую тюрьму и ее политических обитателей. Это предохранило бы ее от той непомерной пухлости, которою он явно страдает.

Вяч. Полонский.

М. Ил. МИХАЙЛОВ. Записки (1861—1862). Редакция и вступительная статья А. А. Шилова. Издат. «Былое». Петроград, 1922 г. стр. 159, тираж 3.000 экз.

Поэт и беллетрист М. И. Михайлов ни по темпераменту ни по умственной подготовке не был политическим деятелем. На путь революционного движения он был увлечен тем общественным подъемом и возбуждением, которыми было ознаменовано начало царствования Александра II. Обстоятельства, вызвавшие его арест и привлечение к судебной ответственности, были случайным эпизодом в его жизни. В первую половину 50 годов, когда Михайлов приобрел уже некоторую известность в качестве писателя, никто не мог бы предположить, что его в будущем ожидает та печальная судьба, которая вскоре выпала на его долю. И позднее, когда Михайлов от стихотворений перешел к нашумевшим в свое время статьям по женскому вопросу, для многих, даже близко знавших его, самая мысль о прикосновенности его к революционному движению казалась нелепой. При таких условиях рассчитывать на то, что его записки могут пролить какой-нибудь свет на столь мало известное нам до сих пор революционное движение 60 годов, не приходится. Не приходится рассчитывать на это и потому, что записки носят совершенно особый характер, являясь повествованием, с которым автор обращается к любимой женщине,—повествованием о том, что автор пережил и перечувствовал во время невольной разлуки с нею. Все обстоятельства, вызвавшие арест Михайлова, остаются в стороне. Михайлов начинает свой рассказ с момента произведенных у него обысков и последовавшего за ними ареста. Далее он говорит о своем заключении в тюрьме, о следствии, суде, описывает свое подневольное путешествие в Сибирь и условия, в которые он попал, достигнув места своего назначения.

Все это показывает, что значение записок Михайлова надо искать не в том, что они дают для истории революционного движения в России, а совершенно в ином. Эти записки важны и интересны, как материал для ознако-

мления с незаурядной личностью их автора и как документ, рисующий перед нами тюремные порядки Александровской эпохи и практику III Отделения. И этого вполне достаточно для того, чтобы признать записки Михайлова произведением, занимающим определенное место в русской мемуарной литературе и вполне заслуживающим переиздания. Известно, что первоначально эти записки появились на страницах «Русского Богатства» и «Русской Старины».

Большой интерес новому изданию записок Михайлова придают примечания к ним А. А. Шилова и особенно его вступительная статья. В этой статье очень удачно и четко сгруппированы все те сведения об обстоятельствах, вызвавших арест Михайлова, о роли его в революционном движении и о значении его «Записок», как исторического документа, которые, с одной стороны, восполняют то, о чем не говорит сам автор записок, а с другой—делают эти «Записки» доступными и интересными для весьма широкого круга читателей.

Б. Козьмин.

ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ. Революция и фронт. ПБ. Стр. 134. 1921. Эпилог. Стр. 48. ПБ. 1922.

Ренан, говоря о Нероне, замечает, что самыми зловредными тиранами были поэты и эстеты вообще. Книжки В. Шкловского заставляют вспомнить это мнение: политическая деятельность автора, хоть и весьма затушеванная (о ней меньше всего говорится в этих двукратных мемуарах), представляет такую невероятную путаницу, что нельзя не сострадать несчастным, которые были подвержены ее воздействию, а ведь он упражнялся над волей и сознанием живых людей, русских солдат в критическую для них пору лета 1917 года. Правда, о них говорится немного, но сказанное достаточно выразительно; видно было духовное гниение народа (стр. 3); для него (Анардовича), революционера уже 15 лет, эта толпа казалась стадом безумных свиней (стр. 40); слизь на фронте (47); пассивно-честных среди солдат 75%, но они нейтральны (95); так мы смотрели на всю Персию, а сейчас (писано в 1919 г. *И. А.*) на околевающую Россию (100); женщины (курдские)... мазали себе калом лицо, грудь и тело... (солдаты) их вытирали тряпками и насиловали (стр. 102)—мои цитаты, впрочем, не претендуют на полноту. И, однако, при таких нежных чувствах к солдату и при таком угле зрения автор возился с ними целое лето, при чем вторую его половину, как он говорит, добровольно. Ему, видите ли, хотелось войны до победного конца, и он уверяет, что результатом такого конца была бы... мировая революция. Так говорил презираемый Шкловским Керенский и вряд ли мотив выставляется искренний. Зато панегирики российскому офицерству, уверения в революционности русских генералов появляются немедленно, как только заходит речь об этих лицах, столь несправедливо, по мнению автора, обличаемых «Окопной» и просто «Правдой». Для всякого, кто был на фронте в пору, описываемую В. Шкловским, это такая же неправда, как и его характеристика комиссара 8 армии—Цешкевича (матерого черносотенца, большого любителя смертной казни для солдат). Мотивы этой литературы становятся понятными из-за смертной привязанности любителя сюжетологии к параллельному повествованию. Благодаря этому невинному увлечению мы узнаем, что мемуары писались в момент наступления армии Юденича; автор афиширует свою нейтральность, отрекается от социализма (я не социалист, я фрейдовец) и демонстрирует свою деятельность в защиту гг. офицеров, авось, милые простят, когда возьмут Питер. А если нет? Тут пишутся едкости по адресу Чернова, Временного Правительства и прочих невинных вещей. Филоненко выруган... о Савинкове просто упоминается (один раз с чужих слов, другой раз о присутствии на заседании) без характеристики. Осторожными ноне люди стали. Как не быть осторожным: «Сегодня 19 августа 1919 года. Вчера англичане потопили крейсер память Азова. Еще ничего не кончилось» (последния слова книжки). Увы!—конца пришлось дожидаться слишком долго и он пришел в виде книжки Семенова и Кононлевой, после которой уже никакие

параллелизмы не помогли преодолеть желания бегства. Автор наш (пользуясь его собственным термином) утек. Это и представляет себе написанный, но подлинный эпилог отчетной работы, в противность напечатанной под таким названием брошюры. В ней рассказывается о судьбе одного из многих горных племен, особенно дорогих эстету-филологу. Речь идет об айсорах, возлюбленных автором за экзотизм, он так их и называет— ассирийцы, хотя сам признается, что они, собственно, евреи - арамейцы. Во всяком случае это была та «его банда» или «мои головорезы», которые должны состоять при всяком авантюристе. История расцвечена всеми валерами романтического повествования, не упущен и пресловутый «местный колорит». Мемуарист любовно противопоставляет патриотизм и героизм своих приятелей низменным инстинктам соотечественников... Серость одна, помилуйте. Финальный апофеоз американского консула отменно венчает повесть и может послужить будущему историку наших времен для иллюстрации характеристики американизма консолидирующихся ныне остатков российской интеллигенции.

И. А. Аксенов.

ФИЛОСОФИЯ, ПСИХОЛОГИЯ.

И. И. ЛАПШИН. Философские взгляды Радищева. Издательство «Былое». Петроград. 1922. 39 стр.

Эта приятно изданная книжка не представляет новости для специалистов. Работа проф. И. И. Лапшина впервые появилась во втором томе Полного собрания сочинений А. Н. Радищева, под редакцией А. К. Бороздина, И. И. Лапшина и П. Е. Щеголева, изд. М. И. Акинфиева (П., 1908), как вступительная статья к трактату Радищева «О человеке, об его смертности и бессмертии». В теперешней перепечатке текст статьи остался неприкосновенным, только несколько цитат иностранных переведены (хотя огромное большинство из извлечений оставлены попрежнему в подлинниках, что, конечно, и доказательнее). Замечу мимоходом, что и теперь второй том акинфиевского издания не теряет своей ценности, так как многочисленные примечания проф. Лапшина к самому трактату Радищева остались невыбранными оттуда в отдельную перепечатку.

Что же касается самой статьи проф. Лапшина, то она была оценена по достоинству, как только появилась впервые. Правда, у него были предшественники по изучению и комментированию философских воззрений Радищева: проф. Е. А. Бобров и особенно П. Н. Милюков, который в своих «Очерках по истории русской культуры» первый предложил чрезвычайно плодотворное сближение Радищева с немецкой университетской философией того времени. Однако Милюков не хотел и не мог в «Очерках» подробно разрабатывать источники философии Радищева. Эту задачу взял на себя проф. Лапшин. Опираясь на свою обширную эрудицию и произведя новые, тщательные и дробные сличения, И. И. Лапшин разложил текст трактата Радищева и привел к его отдельным положениям огромное количество параллельных мест из Мендельсона, Пристли, Гердера, Гольбаха, Кондильяка и многих других философов XVIII века. Таким образом, раскрылась историческая связность идей Радищева, его обширная философская начитанность. Вместе с тем эксперт-исследователь выделил и ту долю самостоятельной работы философствующего ума, какая только была в средствах Радищева. В итоге получились двояко благоприятные результаты: уясняются характерные особенности мышления самого Радищева и вместе с тем вписывается ценная страница в общую историю русской философии.

Н. Пиксанов.

П. БЛОНСКИЙ. Очерк научной психологии. Гос. Изд. Москва. 1921. Стр. 94.

Среди представителей нашей официальной университетской науки и философии, быть-может, никто не заслуживает столь серьезного внимания, как П. Блонский. Невольно проникаешься уважением к мужеству и искренности, с которыми университетский профессор исповедуется в грехах своей науки. Нет сомнения, настоятельнейшая задача времени — выявить наше идеологическое credo во всех областях культуры и жизни. Всякая индифферентность в этом отношении знаменует реакцию. Острая, возгоревшаяся при условиях нэпа идеологическая борьба вокруг искусства, университета и философии обнаруживает, насколько еще сильны в сознании отходящей в область истории интеллигенции старые схемы, традиции, предрассудки... В этом направлении борьба Б. против идеализма началась книгой: «Реформа науки», где автор доказывает в последовательном критическом рассуждении, что «абсолют современной метафизики» — атавизм мысли, в основе которого лежит «сущее языческого богосознания». Система же мыслей, которою определяется общая методология нашего автора, может быть зафиксирована тремя принципами: антропологизмом, релятивизмом и идеей изменения. Основные выводы рецензируемой книги также покоятся на этих основаниях. Ее можно было бы назвать «Реформой психологии», и постольку ее нужно всемерно приветствовать. Несомненно, книга отражает и психологический перелом современности, нарождение новых веяний, новой психологической проблематики в связи с новым социально-экономическим укладом жизни.—Пред нами, в результате, чрезвычайно интересная попытка развить психологическое учение о человеке в духе, близком к революционному марксизму.

В критической части своих рассуждений Б. отвергает общераспространенные ныне определения психологии как науки о душе, о сознании, о душевных явлениях и т. д. «Научная психология есть психология без души» (стр. 8). Она занята изучением движений поступков и вообще поведения живого существа (стр. 12,42), и метод ее сводится к установлению тех элементов, из которых слагается поведение живого существа (стр. 10). Поведение индивидуума нельзя рассматривать вне его социальной жизни. «Поведение индивидуума есть функция поведения окружающего его общества». Место, занимаемое индивидуумом в общественном производстве, его социальный класс и группа, его занятия, обычная среда, развлечение и игры, условия (технические, экономические, правовые и идеологические), места и времени его деятельности,— все это до крайней степени характеризует поведение индивидуума (стр. 26). В связи с этим Б. посвящает целую главу выяснению «социально-экономических основ человеческого поведения»— географической среды, форм сотрудничества, классового расслоения и т. д. Но и само общественное поведение должно изучаться, как функция времени, т.-е. в историческом развитии. «Никаких неизменных и общеобязательных законов человеческого поведения в обществе нет. В классовом обществе понятие «человек вообще» есть пустое отвлеченное понятие... это должно быть основным методологическим приемом общественного психолога» (стр. 73). «Как-то странно—,пишет Б.,— читать традиционные курсы психологии, претендующие дать нам исчерпывающую картину «психологии» человека вне его экономических взаимоотношений и положения его в государстве» (стр. 77).

Желая придать своей психологии возможно более научный характер, Б. приближает ее к биологическим наукам, как науку о движениях живых существ вообще.

«О поведении человека мы судим по движениям его» (стр. 55). «Совокупность движений живого существа мы называем поведением живого существа» (стр. 10). «Движение есть основное свойство материи. Живое вещество есть такая материя, которая развивает огромную энергию» (стр. 34). В этой связи учение Павлова об условных рефлексах и Леба о тропизмах получают новое своеобразное освещение в смысле решения т. н. психо-физической проблемы. Здесь Б. подробно останавливается на характеристике поведения животных, различая возбудимость, тропизмы, рефлексы, основные инстинк-

ты, общественность, подражательность, и затем только переходит к выяснению общего характера человеческого поведения при свете физиологической психологии. Этот ход рассуждений кончается главою (последнею в книге): «Ненормальное поведение». «Чтобы легче понять, что такое координация движений, понаблюдаем,—говорит наш автор,—где-нибудь в клинике для нервно-больных расстройства ее» (стр. 56). Такова наиболее существенная часть содержания книги Б.

Ее ценные стороны очевидны. Не говоря об определенных литературных достоинствах книги, самое провозглашение и методологическое оправдание принципа: «человек вообще есть пустое понятие», нужно признать главнейшей заслугой автора. Дело, впрочем, не в самом принципе, а в том, что он открыто исповедуется одним из лучших представителей нашей университетской философии и не сегодня—завтра станет достоянием всякой философской кафедры.— При всем этом, к сожалению, книга не лишена недостатков.

Во-первых, методологически исследование Б. не согласовано в частях. Формула: «психология есть наука о поведении человека»—двусмысленна. Б. смешивает «поведение», как социальную категорию, с «поведением», как с биофизическим фактом, т.-е. с явлением, подлежащим ведению наук биологических, а не социологических. В первом случае речь идет о приспособлении человека к географической среде, об удобрении и орошении почвы, об усовершенствовании форм земледелия и скотоводства и т. д. и т. д. Во втором же случае «поведение» есть не что иное, как «функция организма» (стр. 23), как «совокупность движений живого существа» (стр. 10). Самоочевидно, на самом деле, что поведение человека, взятое в своих идеологических тенденциях (а только о них и возможно говорить в *психологии*), вовсе не совпадает с теми движениями и поступками индивидуума, которые изучает биологическая химия. Это смешение поведения, как социального факта в ряду других социальных фактов, с «поведением», как протекающим во времени биохимическим процессом, проходит через всю книгу Б. Нагляднее всего оно отразилось в следующих словах: «общественное поведение должно изучаться как функция времени, *т.-е. в историческом развитии*»... «*Иными словами*, научная психология изучает поведение, как изменяющийся *во времени* процесс» (стр. 12—13).

Первостепенной важности главы: «Социально-экономические основы человеческого поведения» и «Идеология человека» производят самое беспомощное впечатление, теряясь в общей массе рассуждений из области физиологической психологии.

Во-вторых, вся критическая часть книги определения слаба. Много психологических проблем упущено из виду, проблема предмета психологии упрощена необыкновенно, не сомневаюсь—намеренно это сделано, но в упрощении своих полемических целей нельзя не видеть промаха со стороны автора.

Понятие «метафизического учения о душе» осталось не вполне уясненным и, поскольку не было охвачено во всей полноте современной литературы, не опровергнутым. Б. мыслит метафизическую психологию в духе рационализма, но мы имеем не только Декарта и Вольфа, но и Лейбница и Бергсона. В полном соответствии с этим мыслимо метафизическое учение о душе, которого совершенно не затрагивает Б. своей критикой. Такова книга С. Л. Франка: «Душа человека». Наконец, «психология сознания» осталась также незатронутой по существу. Сказать, что иногда словом «сознание» обозначают тот факт, что мы мыслим что-либо, иногда же... какую-то сущность—значит ничего не сказать. Было бы наивно думать, что, после Гуссерля, можно на этих различениях построить какую-нибудь критику «психологии сознания». Между тем, казалось бы, центральная задача Б. состояла в преодолении гуссерлеянства всех толков и оттенков. Эти недочеты делают сочинение Б. книгою «точки зрения», «школы», «направления». Но мировоззрения исторического материализма, к которому Б. во что бы то ни стало хочет стать как можно ближе, не есть вообще «точка зрения» в буквальном значении слова: в нем заключается ключ к объяснению происхождения всякой вообще «точки зрения». Б. не дал историко-материалистического объясне-

ния генезиса главнейших направлений в психологической науке—если, конечно, не думать, что для оправдания марксистского метода в этой науке достаточно сыпать как попало цитаты из Маркса и заполнять ими целые главы.

Мне бы хотелось резюмировать так: являясь первой серьезной попыткой освобождения психологии от атавистического наследия мистицизма всех оттенков и значений, книга Б. в этом смысле, как первый шаг к преодолению психологического идеализма, заслуживает самого серьезного внимания со стороны читателя. Книга написана простым, доступным для средне-образованного человека языком и снабжена ценным интересно расположенным библиографическим материалом.

Григорий Баммель.

М. О. ГЕРШЕНЗОН. Ключ веры. «Эпоха». Петербург. 1922 г. Стр. 126.

У М. О. Гершензона есть целый ряд заслуг перед историей русской литературы, но ему хочется большего, и уже не в первый раз он выступает, как философ культуры. «Ключ веры» и есть исследование по философии религии, взятой как некая данная, устоявшаяся метафизическая величина. Ключом всякой веры, по М. О. Гершензону, «является мысль о космически-правильном поведении человека, как непреложном условии его благоденствия» (стр. 118). Поэтому всякий человек обязан держать свое сознание космически-открытым и социально-открытым. Религия—древняя мудрость человека, которая никогда не будет отменена человеческим позитивным разумом, который учитывает только отдельные, хотя бы и множественно-скрещивающиеся ряды причинностей, какие дознаны в опыте или в науке, и совершенно пренебрегает могучую связь, «таинственно вяжущую нитями все, что есть и что совершается» (стр. 120). Таким образом, здесь вскрывается старинная противоположность разума и веры и утверждается, что позитивный разум никогда не заменит религиозного мироощущения человека. Именно этот догматизм М. О. Гершензона, может-быть, всегда свойственный истинам философского характера, и представляется мало обоснованным. Сам М. О. Гершензон признает, что религия на первых порах «не что иное, как мирообъяснительная гипотеза» (стр. 87). Это утверждение само по себе довольно сомнительно, так как оно упускает из виду социальный аспект религии, который и появляется гораздо раньше и имеет большее значение, чем думает М. О. Гершензон, но уже если его принять, то необходимо допустить, что именно в этом отношении религиозное мироощущение рано или поздно капитулирует перед научным. Психологически понятно, как могло сложиться положение, подобное гершензоновскому. Прежде всего, у современного человека, действительно, еще много «древней мудрости», посреди которой позитивный разум подчас оказывается и бессильным. При признании эволюции человеческого мышления, хотя бы по типу, предложенному Леви-Брюлен, становится понятным присутствие целого ряда рудиментов в мышлении современного человека, особенно если принять во внимание различные степени культурного развития мыслящего субъекта. Можно признать даже, что человечество очень не скоро избавится от этого наследия предков, но во всяком случае идеальный предел лежит в избавлении от этого наследия, а не в его утверждении. Принципиального доказательства своего положения М. О. Гершензон дать не может и в смысле предельного устремления может быть скорее доказано противоположное. Но у тезиса М. О. Гершензона есть и другое психологическое основание. Эпоха религиозной культуры, действительно, больше связывала индивида и с космосом и с другими индивидами, на мучившие вопросы скорее получались прямые ответы. Современная буржуазная культура атомизировала социальный мир, механизировала космос, в то же время консервируя с заранее обдуманным намерением религиозные рудименты — получился самый настоящий конец культуры, раздвоившийся и расщепленный в своих основаниях. Этой безмерной индивидуализации капиталистического общества должна прийти на смену новая коллек-

тивность, новая связь индивида с космосом и сему подобными, но уже на новых рациональных началах. Опять понятно происхождение утверждений М. О. Гершензона, но недоказуемы сделанные им выводы. Отсутствие однородности в человеческом мышлении и ущербленность мировой и социальной органики побудили М. О. Гершензона обратиться вспять, вместо того, чтобы установить пределы культурного устремления впереди, в новых формах человеческого мироощущения и общежития.

Очень интересна и тонка сделанная М. О. Гершензоном характеристика древне-еврейской религии, страдающая, однако, одним коренным недостатком. Дело в том, что М. О. Гершензон пользуется всем Ветхим Заветом, как почти однородной величиной, заранее ограничивая значение трудов «Велльгаузена с товарищи». Думается, что все же труды «Велльгаузена с товарищи» недооценены М. О. Гершензоном. Ведь и ему приходится проводить резкое различие между Богом Деборы и Богом Амоса и Второисаии (стр. 108), указывать на хронологические различия между песнью Деборы (стр. 64), «Книгой Союза» (стр. 55), пророками, на значение религиозной реформы царя Иосии 623 года (стр. 50). Даже эти различия не оценены как следует М. О. Гершензоном. А ведь за ними и параллельно с ними стоят и еще более важные—различия между религией официальной и народной, которые так же велики, как различия между религией Гомера и подлинной религией греческих народных масс. Наконец, если принять, что ядро Ветхого Завета неразложимо, будучи создано коллективным, народным духом, что весьма сомнительно, то почему не искать этого народного духа и в позднейшей апокалиптике, в Талмуде и вообще в богатейшей внеканонической и апокрифической литературе? Неужели М. О. Гершензон думает, что эпоха Иоссии или Эзры была менее чревата своими последствиями для иудейской религии, чем эпоха Маккавеев или великих иудейских восстаний? Но при таком расширении материала и характеристика, данная М. О. Гершензоном, должна необходимо измениться. Поэтому в характеристике древне-еврейской религии у М. О. Гершензона, основанной, повторяем, только на каноне, всего интереснее обрисовка культурного значения веры и для космических и для социальных связей человека. Этот культурно-психологический рисунок не забывается С исторической же его частью у М. О Гершензона крупные нелады.

Одно замечание М. О. Гершензона способно вызвать недоумение у читателя. После довольно спорной характеристики происхождения древне-еврейского единобожия, М. О. Гершензон описывает три смысла Бога единобожия, при чем в качестве третьего смысла указывает на «удобовоспринимаемый, почти зримый образ» (стр. 91) Бога, прибавляя в конце абзаца, что «его изображают художники в куполах храмов». При этом М. О. Гершензон прибавляет: «тут еврейская религия представляет чистейший тип народного творчества» (ib.). При известном отсутствии всякой иконографии в религии древнего Израиля эта поспешность М. О. Гершензона может вызвать совсем нежелательные ассоциации. А между тем древне-еврейское единобожие и отсутствие всякой иконографии, крайняя бедность художественного ремесла имеют между собой весьма поучительную связь, во многом объясняющую генезис иудейского монотеизма. Сбивчивость же философствований М. О. Гершензона на эту тему производит прямо невыгодное впечатление.

Проф. П. Преображенский.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ.

Д. Н. УШАКОВ, профессор Московского университета. «Краткое введение в науку об языке». Издание пятое. Москва. Государственное Издательство. 1922. 139 стр. Цена не указана.

Насколько популярна эта книга, можно легко убедиться, побывав в студенческой или учительской среде. От студентов вы услышите, что они стремятся «сдавать» языковедение именно «по Ушакову», а учителя вам скажут, что осуществлять «новую программу» по русскому языку им очень помогает книга Д. Н. Ушакова.

То и другое объясняется, прежде всего, тем, что содержание книги точно соответствует как ее заглавию — «Краткое введение в науку об языке», так и задаче, которую автор себе поставил: «Опыт элементарного изложения главнейших основ науки об языке в целях общеобразовательных представляет собою моя книга» (предисловие, 4 стр.) И действительно, автор дает *краткое* изложение, но всех важнейших проблем языкознания,—очень доступное, но без лишних слов. Это уже талант автора—кратко и просто рассказать подчас совсем не о простых вещах. По отношению к преподавателям играет роль еще то, что автор обращает специальное внимание на вопросы школьного преподавания русского языка: указывает на различие между школьной и научной грамматикой (§ 10); дает звуковой состав русского языка с образцами фонетической транскрипции (§ 50 и сл.), формальную классификацию слов (§ 91) и многое другое, вплоть до синтаксического разбора (§ 98). Редко кто в чисто научной книге так заботится о школьном преподавателе.

Пятое издание книги сравнительно мало отличается даже от первого (1913), хотя между ними — 10 лет. Объяснение этому можно найти в предисловии (стр. 4): оказывается, автор, прежде чем отпечатать книгу, обрабатывал ее по меньшей мере в течение 11 лет (с 1902 по 1913). Благодаря этому в книге так все отчеканено, что слова не выкинешь. Скорее чувствуется потребность в прибавлениях и расширениях, что отчасти и делал автор в каждом новом издании, но очень скупо, видимо, желая, чтобы его «Введение» осталось «кратким». Однако, есть места, где дополнения и даже изменения, по моему мнению, необходимы. Перечислю важнейшие:

1. В морфологической классификации слов (§ 91) надо, по моему мнению, между рубриками б) и в) вставить еще одну: «слова с формами изменения в роде, но без форм склонения: прилагательные и причастия краткие (напр., весел, сделан), глаголы в прошедшем времени (напр., говорил,—а,—о)».

2. Пункт в) здесь же надо бы формулировать: «слова с формами изменения по лицам: глаголы в личной форме (напр., несу, приду)».

3. При определении предложения (87 стр.) автор совершенно справедливо обращает внимание на интонацию, как на один из существенных моментов, но интонация состоит не всегда «в понижении голоса» в конце предложения, а также и в повышении, что прекрасно, конечно, известно автору. Формулировку надо как-то изменить.

4. В противоречие с своим пониманием предложения автор считает предложением словосочетание: «мужик тонул» во фразе «мужик тонул, топор сулил»... (§ 97). Как показывает интонация, это словосочетание в данном случае предложением не является.

5. Едва ли можно согласиться с автором, что «разделение членов предложения на главные и второстепенные, конечно, имеет основание, но как раз с формальной, т.-е. именно грамматической, стороны»... (стр. 93). По моему мнению, как раз с формальной точки зрения такого разделения сделать и нельзя.

6. Мне кажется также, что необходимо пересмотреть отдел «Изменение значений» (стр. 120 и сл.).

Издание производит приятное впечатление четкостью печати и исполнением рисунков. Мне попалась только одна опечатка. На стр. 36 (начало § 41) напечатано: «Такая осложненная артикуляция, как смягчение, вовсе не стоит *одинаково* в человеческом языке» вместо «*одиноко*». Этой опечатки в I изд. не было.

Я не сомневаюсь, что эта книга долго еще с честью будет нести с ою просветительную миссию и потребует еще не одного издания.

Проф. М. Петерсон.

В. А. БОГОРОДИЦКИЙ, проф. Казанск. унив. Курс экспериментальной фонетики применительно к литературному русскому произношению. Вып. II. Методология и техника эксперим.-фонет. исследований физиологич. типа. Госиздат. Казань. 1922. Стр. 52 и табл.

Второй выпуск работы проф. Богородицкого (первый вышел еще в 1917) представляет собой довольно жиденькую тетрадку и несколько разочаровывает читателя несоответствием своего содержания с пышным заглавием. Из брошюрки читатель может узнать, что кимограф можно заказать у Вердэна в Париже, на Рю-Линнэ, 7, что аппараты имеющиеся в Казанском университете, обладают в соответствии с данными западных исследователей такими-то степенями инерции, что данные кривых возможно перевести на ноты помощью геометрических пропорций и пр. в том же духе. Не то описание кабинета экспериментальной эстетики, не то реферат первокурсника. Зачем существуют все эти аппараты, какого рода обследования можно с ними производить — не сказано, о существе метода—ни слова.

Было бы много полезнее, если бы казанцы, обладающие аппаратами по экспериментальной фонетике, просто бы перевели книгу аб. Руссело с примечаниями применительно к русскому языку. Об этом кардинальном труде никто у нас не знает, об экспериментальной фонетике у большинства лингвистов лишь очень смутные представления, а у некоторых светил русской лингвистики можно найти даже и весьма неодобрительные усмешечки по адресу эксперимента. Брошюрочки же, в роде разбираемой, описывающие приборы неизвестного назначения, делу помогут мало, хотя для казанских местных студентов у кабинета книжечка может быть очень полезна.

С. Бобров.

КНИЖНОЕ И ПЕЧАТНОЕ ДЕЛО.

АНИСИМОВ, В. И. Основы книжного набора. Петербург. Гос. Изд. 1922 г. Стр. 46. ЕГО ЖЕ. Стереотипное дело. Петербург. Гос. Изд. 1922 г. Стр. 166.

Обе книги, являясь в сущности продолжением одна другой, предназначены быть подручными пособиями в типографии, для наборщика—первая и для стереотипера—вторая; к книгам подобного рода обязательно предъявление трех требований: чтобы они были доступны по цене для рабочего, чтобы их текст и обложка были напечатаны на простой, но прочной и немаркой бумаге и чтобы они представляли изложение понятным языком, подробно и просто всех основных справочных сведений, необходимых квалифицированному рабочему.

К сожалению, ни одно из этих требований не выполнено. Первое условие не выполнено потому, что не хотели выполнить второго; немцы, например, давно и удачно установили тип подобных книг, напечатанных на глазированной бумаге, чтобы не приставали пот и грязь с рук, и переплетенных в простой серый или коричневый холст или в глазированный картон. Здесь—все наоборот: обе книги изданы с нарочитой, подчеркнутой, бью-

щей в глаза аляповатой роскошью; обе имеют по две обложки, при чем на внутренних на обеих книжках золото так и сверкает; обе напечатаны сплошь все страницы—в две краски, при чем вторая краска понадобилась только для печатания линеек сверх каждой страницы. В «основах книжного набора» сверх того заглавная буква на первой странице и концовка выполнены во вкусе институток младшего возраста, но зато в несколько красок. При «основах книжного набора»—ряд приложений, напечатанных без всякой нужды на отдельных листах, хотя для текста дана прекрасная веленевая бумага, на которой и приложения вышли бы отлично. На внешних обложках—по рисунку, при чем на «Основах» маленькая гравюра на дереве раскрашена в несколько красок. Набраны: «Основы» широким корпусом на шпонах, «Стереотипное дело»—даже гробэ-цицеро на шпонах. Над украшениями книг трудились два художника—Чехонин и Лео.

И, конечно, книги опять напечатаны в 15 государственной, бывшей Голике и Вильборг, типографии—лучшей типографии Республики своими правами «первого спеца», в которой Анисимов пользуется для печатания и «собрания своих сочинений», не стесняясь, по старому купеческому принципу: «Своя рука—владыка».

При этих условиях цена получилась невероятная: за «Основы книжного набора» 7 милл. 200 тыс., за «Стереотипное дело»—10 милл. рублей. (Цены августа месяца.)

Следовательно, рядовой рабочий типографии этих книг купить не может, тем более, что, по общим наблюдениям типографских техников, большинство рабочих неохотно покупает книги по своей специальности, ошибочно думая, что их практики достаточно. А если бы эти книги были изданы, как им полагается, то получились бы две брошюры, из них «Основы» совсем небольшая, этак страниц 20, а «Стереотипное дело» страниц 60—80. И рабочий их купил бы без особых размышлений от скудости своего бюджета.

Но из всего дурного можно извлечь что-нибудь хорошее, и на этот раз мы не пожалеем, что эти книги недоступны рабочему; попади они в его руки — не поздоровилось бы автору.

По обыкновению В. И. Анисимова обе книги представляют компиляции по немецким источникам, конечно, *без указания* истинного автора; «Стереотипное дело» в большей части изложение или перевод книги: Carl Kempe. «Papierstereotyrye». 1904 г., а до источника «Основ» мы пока добраться не могли, но достаточно указать, что все клише в этом руководстве, предназначенном для *русского наборщика*, представляют образцы немецкого набора, и брошюра является изложением некоторых приемов, которыми пользовались немецкие наборщики в XV веке. Конечно, широкое заглавие «Основы книжного набора» совсем не соответствует внутреннему содержанию брошюрки.

Внутреннее содержание? Прежде всего, составитель подчеркивает в обеих брошюрах свое пренебрежительное отношение ко всем книгам, изданным по этим вопросам на русском языке до него, напр., превосходные работы по типографскому делу известного специалиста П. Коломнина, И. Богданова, И. Михайлова аттестуются так: «Коломнин *не был специалистом* [1]) и даже перепутал в своем учебнике верх и низ литеры, как путают это и другие учебники (И. Богданов, И. Михайлов). Надобно сказать, что Анисимов прекрасно знает, не может не знать, что вопрос о «верхе и низе» литер очень спорный, но ему важно лишний раз подчеркнуть, что этих авторов читать не следует, так как существует его перевод (совместный с Т. Шиварсом) руководства для наборщиков Ф. Бауэра (судя по языку, это, вероятно, перевод Т. Шиварса, а русская историческая часть представляет компиляцию из книги Ф. Булгакова: «История книгопечатания»).

В предисловии к «Стереотипному делу», ругнув все изданные до него в России книги по этому вопросу, автор доходит до того, что по поводу небольшого, очень недурно написанного конспекта А. Осецкого, И. Михайлова по стереотипному делу, изданного Союзом и Секцией полиграф. производств в Петербурге в 1920 г., говорит: «В одной из

[1]) Курсив везде наш. *М. Щ.*

этих *листовок*, недавно вышедшей и представляющей собою неудачную компиляцию (!) из книг по типографскому делу, вкрались грубейшие погрешности, и дальше, не излагая, какие же это погрешности, Анисимов продолжает и заканчивает: «вся листовка является каким-то странным недоразумением, но никак не справочником по стереотипному делу».

Будет совершенно правильно, если мы этот отзыв приложим к компиляциям нашего строгого критика; прежде всего,—там, где он старается быть самостоятельным,—язык становится малопонятным, недостаточно грамотным; напр., предисловие «к Стереотипному делу» начинается так: «В первое время по изобретении книгопечатания книга создавалась в одной мастерской и трудами одного или нескольких лиц (*совершенно неправильно. М. Щ.*), но нынешняя книга является уже *прямою противоположностью* первой; в ее создании принимает участие столько различных отраслей промышленности и такое множество людей, что человеку, незнакомому с типографским делом, трудно себе представить это, и все эти отдельные отрасли являются не чем иным, как следствием царственного изобретения Иоанна Гутенберга—книгопечатного искусства, представляющим (*относится к «следствием». М. Щ.*) как бы штаб верных союзников и помощников его (*кого? М. Щ.*) в создании книги...

Заканчивая историю стереотипии, в которой хронология (вечное больное место нашего автора) перепутана самым непозволительным образом (зато указывается, что когда тайна Геда, изобретателя стереотипии, *«заглохла*, то только его земляк Тиллох *что-то такое производил по ночам в этом направлении»*), Анисимов неожиданно заявляет: «Заканчивая на этом краткий исторический обзор развития и распространения стереотипии, мы должны сказать, что далеки от мысли придать ему большое и *безусловно серьезное историческое* толкование».

Такие прелести можно нанизывать без конца. Гораздо важнее его изложение процесса стереотипии—снимания металлической копии с набора—где иногда решительно ничего не поймешь; желая дословно перевести немецкий оригинал, Анисимов, плохо владея русским языком, делает мысль настоящего автора книги—Кемпе—совершенно запутанной.

Он и сам все время путает, указывая напр., на стр. 12, что «почти нет типографии, где не имелось бы хотя небольшого стереотипного *устройства*» (не устройства, а *оборудования*. М. Щ.), на стр. 57 заявляя явную несуразицу: «старый стереотипер, каковых у нас, *пожалуй, что и нет в настоящее время*». На стр. 14 «Основ книжного набора» оказывается, что дело обстоит совсем плохо, и наборщики не лучше, ибо «*врожденная* нелюбовь к книге и серьезному чтению только мешает им полюбить свое дело».

Но мы очень боимся, что чтение книг Анисимова не сделает всех наших—увы!—неопытных стереотиперов и наборщиков опытными, если они преодолеют свою «врожденную» нелюбовь к книге; ибо у него на каждом шагу—ошибки, напр., на стр. 9 «Очерков»: «Самый старинный набор, изобретенный и применявшийся Гутенбергом, это—гладкий текстовой набор. Абзацев, неполных концевых строк тогда избегали; заголовки и рубрики были совсем неизвестны». Чтобы написать такую фразу, надо *не иметь понятия* об истории книгопечатания в XV веке; рубрики были известны еще древним грекам и римлянам, и стоит взглянуть на работы Гутенберга и его учеников, чтобы увидеть все то, что отрицает наш автор—вернее, немецкий автор брошюры. А на развитии этой фразы, в сущности, построена вся брошюра.

Чтобы дать представление о способе сочинения нашим «автором» книг, приведем только два примера «заимствований» из русских авторов.

Анисимов пишет: «Таким образом в древнем мире первая книга человека была каменная или деревянная, а первое перо его было—нож или топор». («Краткий очерк развития письменности и тип. искусства», стр. 8). У проф. А. И. Кирпичникова—«Очерк истории книги», СПБ., 1889, стр. 5: «Таким образом, первая книга человека—деревянная или каменная; первое перо его—крепкий нож или топор».

На стр. 21 там же у Анисимова читаем «Потребность в светском образовании *вызвана появлением* книг без картин,

каким являлся Донат—Donatus». «Мало-по-малу переписчик книг превращается в печатника и резчика форм».

Это есть искажение следующей фразы Ф.И. Булгакова («Иллюстр. история книгопечатания». СПБ. 1889, стр. 57): «В XIV веке потребность в светском образовании *вызвала появление* книг без картин (Донат—«Donatus»). Письмописец превратился в печатника письма и резчика форм».

Все это г. Анисимов пишет без указания где бы то ни было источников и, конечно, с повторением ошибок авторов, у которых мысли и фразы им «заимствованы».

В этом отношении особенно курьезна попытка г. Анисимова выдать за свое собственное сочинение (и как гордо об этом он говорит—посмотрите предисловие) «Стереотипное дело», представляющее типичную ловкую рекламу фирмы Кемпе в Нюренберге, составленную по обычному шаблону: небольшой кое-как «сработанный» исторический очерк, затем—изложение методов данного производства, описание приборов и материалов, при чем неизменно оказывается, что все лучшее—с данной фабрики, которая и всучивает «лучшее руководство» своим и чужим клиэнтам—гратис и франко.

Мы же должны за этот суррогат платить 10 миллионов, при чем плагиатор ухудшил недоброкачественный оригинал, да вместо чужой фамилии — Кемпе — подмахнул, ничтоже сумняшеся, свою.

На стр. 23 «Стереотипного дела» наш «автор» говорит: «*Как бы ни казалось странным*, но факт тот, что именно французская революция дала толчок к производству дальнейших, более интенсивных опытов в области стереотипного дела, и несмотря на чрезвычайное развитие французской печати во время революции, она все-таки одна не была в состоянии удовлетворить *внезапно* пробудившуюся массовую жажду знания».

Нам не кажется странным, что у наших типографских рабочих появилась после революции жажда знаний; но наше горячее желание, чтобы «внезапно» хлынувший поток анисимовских книг миновал типографских рабочих, ибо чаша сия вызовет у них снова взрыв «врожденного» отвращения к книгам.

М. Щелкунов.

ТИПОГРАФСКИЙ КАЛЕНДАРЬ НА 1922 г. Под редакцией И. Д. Галактионова. Петербург. Госиздат. 1922 г. Стр. 240.

И. ГАЛАКТИОНОВ. Беседы наборщика. Петербург. Госиздат. 1922 г. Стр. 180.

Автор обеих книг, скромно назвавшийся «редактором» первой книги,—наш выдающийся специалист по типографскому делу, выбившийся из наборщиков,—создавший после революции, совместно с И. И. Ионовым, петроградское отделение Госиздата, столь поразившее Европу красотой своих изданий на Флорентийской книжной выставке, в устройстве которой И. Д. Галактионов принимал опять-таки живейшее участие.

Книги, выпущенные им сейчас—его первые большие труды—должны составить событие в типографском мире,—много уже лет наши полиграфские рабочие не имели под руками такой необходимой им литературы, написанной языком вполне понятным даже для не очень грамотного, но без обычной в изданиях такого рода слащавости и подлаживания автора под читателя.

Первая книга по содержанию гораздо шире своего названия: это не календарь, а маленькая энциклопедия по типографскому делу, конечно, обнимающая только часть богатейшей полиграфической науки. Здесь мы имеем и коротенький, но богатый фактическими данными очерк истории книги, гравюры, литографии, бумаги, и разные необходимые в типографии математические расчеты, и указания весьма ценные — по технике набора и печати, и т. д. Здесь же и справочник—адрес-календарь интересующих полиграфического работника учреждений. Долго будет перечислять все содержание книги, написанной толково, понятно и увлекательно. Особенно ценны приложения к календарю: «Графическая летопись», типографский словарик и библиография русской литературы по искусству книгопечатания.

Нельзя обойти молчанием некоторых промахов: на ряду с сообщениями о новейших изобретениях (напр., о развившемся во время войны литографском ротационном печатании на бумаге—«Офсет»), мы находим устаревшие и опровергнутые сведения по истории книгопе-

чатания,—особенно в «Графической летописи»: мы не знаем ни года изобретения книгопечатания Гутенбергом, ни издания им обеих «Библий»,—и даты, приводимые в «Летописи», произвольные, такие не знаем мы совершенно—несмотря на все усилия ученых—года рождения ни Гутенберга (1400 г. считается *условно*), ни Ивана Федорова (почему 1520?), зато многие даты, обнимающие деятельность знаменитых типографщиков и издателей, пропущены. Тот же упрек можно повторить и по поводу исторических частей, помещенных в книге очерков: автор, давая общие правильные понятия, грешит определенностью и категоричностью там, где все чрезвычайно спорно и до сих пор не установлено; давая один из вариантов, предлагаемых учеными, необходимо оговаривать его гипотетичность.

Есть—к счастью, очень редкие—явные ошибки; напр., *листья* растения папируса никогда не были материалом для изготовления папируса (стр. 60); для этого служили тонкие пластинки, вырезавшиеся из сердцевины стволов растения; очевидно, повторяется ошибка нашего крупнейшего специалиста теоретика по фабрикации бумаги, Н. П. Мельникова, исторические очерки которого часто грешат такими казусами; совершенно фантастична цифра (стр. 67) экземпляров первопечатных книг, изданных до 1500 года: около 5 миллионов экземпляров; ведь многие имена типографов и названия напечатанных тогда книг навсегда для нас утрачены; откуда же взялась эта цифра? Тем более, что тут же приводится число названий напечатанных тогда книг—около 13.000, тогда как их известно уже более 30.000, и каждый год дает новые открытия, увеличивая их число. Неверно и указание (стр. 96), что гравюра *всегда* является предметом труда двух человек: художника и гравера, тогда как весьма нередки случаи гравирования художниками собственных рисунков особенно в XV—XVI веках и в наше время. Знаменитого французского издателя Тори звали Жоффруа, а не Жозеф.

Корректура не всегда ровная, и две-три фамилии напечатаны ошибочно, что следовало бы исправить.

И все же, если исключить мелкие промахи, почти неизбежные в такого рода работах,—эта книга должна быть обязательно на столе каждого типографского работника, хоть сколько-нибудь интересующегося своим делом.

И рядом с ней должна стоять вторая из разбираемых книг: «Беседы наборщика», представляющая диалог типографского ученика с опытным наборщиком, чрезвычайно любившим свое дело,—Д. А. Иволгиным. Эта книга посвящена одному из учителей автора, Б. Г. Скамони, ныне в Германии пользующегося репутацией лучшего типографского техника, создавшего у нас замечательную типографию Голике и Вильборг, ныне XV государственную в Петрограде,—один из лучших графических институтов в Европе.

И цель этой второй книжки—развить любовь типографских рабочих к своему делу: автор, приводя из лучших руководств по типографскому делу (Богданова, Коломнина, Бауэра) отдельные места, объясняет их рабочим, иногда делает отступления в историю—очень удачные,—и часть, посвященная первопечатнику И. Федорову, даже захватывает своим изложением, будучи написана с большим подъемом.

Книга эта должна сослужить большую службу, ибо мы согласны с автором, что наши типографские рабочие привыкли работать «по-старинке» и часто пренебрегают даже элементарными правилами, дающими и экономию труда, и значительное улучшение красоты набора, что, в свою очередь, делает все издание гораздо привлекательнее и для неспециалиста. Мы должны, однако, указать, что автор неправ, считая в этом отношении западно-европейского рабочего образцом: мы видели европейские издания, — особенно периодические,—где, напр., разбивка между словами безобразна и часто превышает длину самого слова; что относится, впрочем, за счет уродливых извращений сдельной оплаты и плохого технического надзора.

Но в общем мы должны признать, что эти две книги, написанные со страстной любовью к дорогому делу, представляют лучшее из всего, изданного у

нас для работников полиграфии в течение последних десяти лет.

Книги выглядят по внешности очень скромно, зато дешевы, что весьма ценно: странно видеть, что «Типографский календарь» напечатан в XV типографии (бывш. Голике и Вильборг) даже подчеркнуто-бедно, между тем, как книги по тем же типографским вопросам «спеца» этой типографии В. Анисимова печатаются в той же типографии с небывалой роскошью. Впрочем, «по одежке встречают—по уму провожают».

М. Щелкунов.

БИБЛИОГРАФИЯ И БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ.

Костромской Губернский Практикум по внешкольному образованию. Вып. 4, под ред. В. А. НЕВСКОГО. Библиотечный сборник. Вып. I. Кострома. Госиздат. 1921 г. Стр. 120.

Сборник Костромского Губоно настолько интересен и ценен, что займет свое не последнее место на скромной полочке русских руководств по библиотековедению. Из предисловия В. А. Невского мы узнаем, что библиотечная секция Костромского Губполитпросвета за 5 месяцев своей работы разработала и разослала по уездам 12 инструкций и руководств по библиотечному делу. Инструкции эти настолько, повидимому, интересны (можно судить по 5 из них, приведенным в сборнике), что я рискну перечислить их: 1) по организации уездных библиотечных сетей, 2) по организации городских библиотечных сетей, 3) по организации сети детских библиотек в губернии и по устройству детских отделений в сельских библиотеках, 4) по библиотечной технике в волостных библиотеках, 5) по технике библиотечного плаката, 6) о книжных выставках в библиотеках, 7) о работе с газетой в деревенской читальне, 8) об организации стола газетных вырезок при библиотеке, 9) о культурной работе библиотеки в других внешкольных учреждениях, 10) о задачах библиотекаря в деле ликвидации безграмотности, 11) о чествовании пролетарских праздников в общественных библиотеках и 12) об организации библиотечных передвижек и так называемых «сумочных библиотек». Кроме того, секция выпустила до 10 «библиографических летучек» на темы дня, провела курсы по подготовке сельских библиотекарей, курсы по подготовке библиотечных администраторов и инструкторов, разрабатывается целый ряд разного рода библиографических пособий.

В сборнике напечатаны: очень обстоятельно, толково и исчерпывающе составленные инструкции (из числа перечисленных 12) об уездной библиотечной сети, о технике библиотечного плаката, о книжных выставках в библиотеке, о культурной работе во внешкольных учреждениях и о библиотечной технике в волостных библиотеках. Последнюю инструкцию следовало бы скорее назвать обстоятельным руководством. В ней, между прочим, есть интересные указания на составление вспомогательных каталогов: алфавитно-систематического (в форме тетради), предметного настенного, рекомендательного каталога беллетристики (по темам, рубрикам) и альбома писателей-беллетристов. Вслед за перечисленными инструкциями — большая статья (конспект лекций) Н. Херсонской «Работа в детской библиотеке» и «Предметный алфавит к десятичной классификации». О некоторых недочетах последнего следует сказать несколько слов.

Прежде всего огромная важность и ценность алфавитного предметного каталога, конечно, бесспорна,—особенно теперь, когда в общественный обиход нахлынуло так много новых понятий, когда колоссально обогатилась наука и создались новые научные дисциплины, когда, наконец, создались новые общественные отно-

шения, повлекшие за собой колоссальные обогащения в сфере нашего познания. Изданные Главполитпросветом сокращенные таблицы десятичной классификации произвели первый опыт некоторого расширения и своевременного усложнения устаревших уже таблиц прежних русских изданий. Помещенный в сборнике алфавит более или менее удачно дополняет своевременный шаг Главполитпросвета. Жаль, что в алфавите приведены лишь нарицательные имена, а собственные—в целях сокращения—опущены. Этот пробел крайне чувствителен при пользовании приводимыми в конце алфавита списками с обозначением рубрик для небольших библиотек.

Упоминаемых списков приведено 5: для небольшой сельской библиотеки, для библиотеки Губпрофсовета или упрофбюро, и три списочка для специальных библиотечек—по вопросам народного образования, по вопросам советского строительства и партийной (коммунистической) библиотечки. В каждом списке даны порядковые номера тех рубрик алфавитного предметного каталога, которые признаны желательными и необходимыми для каждого вида библиотек. Я не просматривал детально всех списков, но обратил внимание на список рубрик для *сельской* библиотечки, при чем обнаружил в нем следующие, на мой взгляд несообразности. В списке совершенно отсутствуют рубрики: авиация, автономия, администрация, акушерство и др. Разве эти рубрики для сельского читателя необходимы? Есть рубрики «анархизм», «антисемитизм» и нет «анатомии», «антропологии»; есть рубрики Апокалипсис и Апостолы,—и нет Аптеки и Аристократия; есть раскол и нет Буддизма; есть Царь, но нет Фотографии, Физиологии и т. д. В самом алфавите театральная литература (пьесы) стоят под индексом 792; пьесы необходимо относить к художественной литературе (800 — или 800 — 2), и индекс 792 означает специально-театральную литературу: теория, история и техника театра.

Д. Сигорский.

СТОРОЖЕВ, Н. Г. О расстановке и нумерации книг в общедоступной библиотеке. Библиотечно - библиографический п/отд Татглавполитпросвета, вып. 2. Госуд. Изд-во Татарской С. С. Республики. Казань. 1922. Стр. 30. Тираж 1000 экз.

Руководства по библиотечной технике в наше время очень редки и потому до крайности ценны. Цель автора поэтому очень похвальна, когда он, признавая, что классическое руководство Хавкиной «сделалось почти библиографической редкостью», задался мыслью дать библиотекарям маленькое руководство, которое заменило бы классическое. Увы!—превосходного руководства Хавкиной автор не сумел заменить: предлагаемая им брошюра не будет *руководством*, а даст лишь материал без практических выводов. Не будет ясно прочитавшему брошюру и то, какую же систему при расстановке книг предпочитает сам автор, хотя последний и бросает на последних страницах фразу: «что же касается наших симпатий, то они, вероятно, ясны». Они, надо признаться, совершенно неясны.

На протяжении 28 страниц (из 30) автор излагает ряд систем расстановки книг: неподвижной и подвижной, непрерывной и прыгающей, хронологической и систематической. О каждой системе досконально говорится, каковы ее положительные стороны и каковы недостатки.—Но до конца брошюры остается невыясненным вопрос, какую же систему следует брать за основу. Способ пользования авторскими таблицами Кеттера объяснен слишком кратко и неполно, способы образования трехзначных авторских индексов не объяснены совершенно, и в то же время выставляется совсем неубедительное положение, что «рецепт Л. Б. Хавкиной о дополнительной разбивке слогов» мало применим для «выдачных» библиотек. Словом, нестрашна и авторская боязнь затруднений при «ловле» книг (находящихся на руках), в случае необходимости перенумерации: подобные затруднения неизбежны при всяком переходе на иную библиотечную систему и в сущности сравнительно легко устранимы. Напрасно не указано на совершенную неприемлемость «пере-

работанных» В. Богатыревым хавкинских таблиц (ср. мою рецензию в № 2 «Печ. и Рев.» за 1922 г.).

В конце брошюры (стр. 27) автор, наконец, выставляет определенное положение:

«Каждая система классификации, претендующая на широкое применение в библиотеках различных размеров, должна обладать известной универсальностью: она должна быть одинаково удобной как для мелких, так и для крупных библиотек, оставаясь по существу одной и той же. Это требование обусловливается тем, что каждая библиотека, даже очень небольшая, в конце-концов, *может* превратиться в более или менее крупную библиотеку. Если бы с ростом библиотек менялась по существу и классификация и отделы получали бы другую нумерацию, то это влекло бы за собой исправление шифров книг, в числителе которых обычно ставится номер отдела, а изменение шифра вело бы к реорганизации всей библиотеки от расстановки до каталогов. Десятичная система классификации как раз и удовлетворяет принципу универсальности»... Но ни выводов из этого положения, ни хоть каких-либо пояснений о сущности десятичной классификации не следует. Казалось бы с подобного определенного положения слéдовало *начинать* свое маленькое руководство, а между тем оно (положение) остается одиноко висеть без видимых предпосылок и необходимых выводов. В то время как десятичная *международная* классификация с применением авторских кеттеровских табяиц, казалось бы, должна считаться наиболее приемлемой для библиотек всякого типа; да эта система к тому же и декретирована Главполитпросветом для всех библиотек Р. С. Ф. С. Р.

Брошюра Н. Г. Сторожева могла бы сыграть известную роль маленького справочника, если бы автор взял на себя труд несколько более обосновать ее, расширить и дополнить.

А. Сигорский.

Руководство для красноармейских библиотекарей. Издание Пуарма 5 и В. С. В. О. Библиотека Политпросветработника. Вып. 16. Иркутск. 1921 г. 64 стр.

В начале руководства помещен циркуляр Начпуарма 5 и В. С. В. О., предлагающий полностью применять это руководство во всех частях Красной армии и указывающий двоякую цель:

1. Дать все необходимые указания, таблицы и формы для работы в передвижной и базисной библиотеке.

2. Установить единообразие в ведении библиотечного дела.

Составитель руководства т. А. Богоявленский, получив задание Пуарма 5 написать книгу, которая одна была бы достаточна для библиотекаря красноармейской части со включением библиотечной техники и методов работы, справился с задачей довольно успешно.

Вся техника в его руководстве построена на международной десятичной системе кеттеровских знаках и двухкарточной системе выдачи; методы же работы—на индивидуализации читателей. Автор придерживается чистой международной десятичной классификации, т.-е. не в редакции комиссии Главполитпросвета, без всяких внесенных последней добавлений.

Все руководство разделено на 4 главы: I—библиотечная техника, II—работа с читателем, III — работа с книгой, IV—статистика и отчетность.

Предлагая, между прочим, анкеты—как прием изучения отдельных читателей, автор устанавливает два рода анкет: местные и общие. «Местные анкеты ставят себе целью выяснить какие-либо данные, касающиеся только данной библиотеки, а общие—касающиеся многих библиотек—в идее, сказали бы мы, всех красноармейских библиотек». Автор сознается, что точной грани между вопросами, подлежащими включению в те и другие анкеты, нельзя провести, все же считаем возможным вопросы о любимом писателе и о миросозерцании включить только в общие анкеты.

Формулировка вопросов предлагается точная, «лучше всего так, чтобы красноармеец мог ответить только да или нет

или же подчеркнуть нужное слово в анкете».

Между тем опыт изучения 12000 анкет, собранных Пуром, определенно указывает, что «голые» вопросы без примерного их раскрытия и толкования остаются зачастую непонятными, как об этом сами красноармейцы заявляют в анкетных ответах.

Евг. Хлебцевич.

Проф. Д. Н. ВЕРГУН. Новейшая карпато-русская библиография. Цена 10 центов. Нью-Йорк. 1920 г. 16°. 16 стр.

Библиография Карпатской Руси собрана в капитальном труде И. Е. Левицкого «Валицко-русская библиография XIX века» (Львов, 1899). Лежащая перед нами брошюра, выход которой нельзя не отметить уже потому, что это кажется единственное на русском языке отдельное издание по библиографии, вышедшее за границей за 1917—1920 г.г., представляет собою оттиск из издающейся в Нью-Йорке газеты «Прикарпатская Русь» и является прямым дополнением к вышеуказанному труду. В ней зарегистрирована книжная литература (в числе 90 №№), вышедшая за период с 1901 по 1920 гг., и, кроме того, приложен список газет и журналов карпаторусских организаций, издававшихся с 1906 по 1920 гг. Брошюра будет полезна всякому интересующемуся вопросом о Карпатской Руси.

Николай Орлов.

НАУКИ О ПРИРОДЕ.

Ю. ФИЛИПЧЕНКО. Изменчивость и эволюция. 72 стр. 1921 г. Издательство Гржебина.

До последнего времени русский читатель принужден черпать познания о современном состоянии наших представлений об эволюции живого мира из книг не первой свежести. Книги К. Тимирязева, Лехе и пр., прекрасные по ясности мысли, цельности и продуманности плана, или совсем не отражают или отражают в недостаточной степени огромный сдвиг, который наметился и отчасти осуществился в биологии по отношению к методам исследования эволюционных проблем.

Эволюция возможна благодаря существованию в природе трех основных биологических явлений: изменчивости живых форм, отбору приспособленного путем гибели неприспособленного и, наконец, наследственности.

Ч. Дарвин центр тяжести своей острой и глубокой мысли направил на фактор отбора. Явления изменчивости и наследования, хотя и аргументированные многими примерами, отступают у Дарвина на задний план пред направляющим фактором эволюции—отбором приспособленного.

От мысли, брошенной Ч. Дарвиным, широкими кругами пошли волны. Море биологических и социологических знаний до сих пор несет следы их движения. Дробясь и затихая, они идут в толщу народных масс в многочисленных популярных изложениях.

Однако, пока читаются и издаются книги, являющиеся отголосками мыслей и методов работы Ч. Дарвина, в то же море уже упали новые могучие мысли, отражающие новые формы исследования.

Новые идеи являются плодом новых методов изучения изменчивости и наследственности. Цифра и опыт заговорили там, где были приблизительные оценки и догадки. Они, эти новые методы исследования, принесли с собою и иной угол зрения на проблемы эволюции.

Волны новых брошенных мыслей докатились в Россию лишь с большим запозданием, с трудом преодолевая инерцию высшей школы. Небольшая книжечка проф. Ю. Филипченко «Изменчи-

вость и эволюция» является одной из первых и до сих пор немногих попыток докатить эту свежую волну до сознания широких кругов.

Достоинства небольшой книжечки Ю. Филипченко заключаются в выпуклой и ясной постановке проблемы эволюции на фоне современного учения об изменчивости, которое широко пользуется методами статистики. Автор в сжатой и логической форме намечает путь, каким прошла биология от качественной постановки проблемы, как это выражено в учении Дарвина, до количественных попыток Гальтона и Иогансена. Краткость книжечки естественно суживает диапозон затронутых эволюционных вопросов и мешает всесторонности их освещения, но цельность и гранецность постановки проблемы, как она вытекает из опыта истекшего десятилетия, искупает упомянутый недостаток. Несмотря на быстрое развитие той отрасли знания, к которой относится тема рассматриваемой книги (издана последняя еще в 1915 году Панафидиной в серии «Библиотека натуралиста» и переиздана в 1921 году без всяких изменений), изложение сохраняет достаточную свежесть.

Статья является лучшим общедоступным введением в современное учение об изменчивости и эволюции.

Издательство Гржебина переиздало книжечку в изящной форме на прекрасной бумаге.

Проф. М. Завадовский.

С. САЗОНОВ и В. ВЕРХОВСКИЙ. Учебник химии. Изд. 3-е. Гос. Изд. 1921 г.

Учебник химии Сазонова и Верховского, действительно, таков, как его рекомендуют авторы в предисловии: он может служить «кратким руководством для классного происхождения химии в средних школах». Сама по себе книжка едва ли заинтересует, в ней нет ничего возбуждающего, но она может помочь ученику передумать, припомнить и усвоить слышанное и виденное на уроке. В тех пределах, которые очертили себе авторы, они остаются на научной почве. Однако, пределы эти намечены на наш взгляд не всегда удачно. Прежде всего поражает в современном учебнике полное отсутствие энергетического взгляда. Вещества и реакции совсем не характеризуются с точки зрения изменения в содержании энергии, и наблюдательность внимательного ученика остается таким образом не возбужденной, неиспользованной и неудовлетворенной по такому вопросу, который всем близок, практически важен и теоретически интересен. Правда, в предисловии оговорена причина такого самоограничения. Она заключается в том, что у нас будто существуют средние школы, в которых «курс химии совпадает с началом физики». Однако, это во всяком случае не аргумент. Если такой странный порядок где-либо существует, то он должен быть как можно скорее изменен, и уж никак не следует приспособлять к нему учебники, исправляя таким образом одну ненормальность при помощи другой. Да и настоящий путь приспособления в данном случае лишь один: на уроках химии пришлось бы выяснять физические понятия, ибо без них обойтись все равно невозможно. В учебнике совершенно отсутствует понятие о скорости реакции, а в то же время делаются попытки объяснения взрыва и катализа. В результате получается такое определение: «вещества, вызывающие реакцию, называются катализаторами» (стр. 40).— определение, с которым едва ли кто согласится из современных химиков, точно так же, как и с утверждением: «эта реакция идет *только* в присутствии катализаторов» (стр. 70). В заключение укажем еще на следующий пункт, который может подать повод к недоразумению. На стр. 13 говорится: «углерод есть название элемента. Углерод в свободном состоянии в виде простого вещества мы называем углем». Затем в главе XXIII, посвященной углероду, имеется заголовок «Аллотропические видоизменения углерода», под которым следуют параграфы 112 Алмаз, 113 Графит, 114 Уголь. Таким образом согласно вышесказанному в параграфе 114 должна быть речь об «углероде в свободном состоянии». Встречаем здесь мы следующее: «Природный или каменный уголь..... Различные сорта каменного

угля содержат весьма неодинаковое количество *чистого углерода*. Наиболее богатые углеродом сорта приближаются к *чистому углю. Примеси каменных углей* состоят отчасти из различных солей..... отчасти из горючих соединений углерода с другими элементами».

Из цитированного параграфа всякий ученик, как и всякий читатель, сделает следующий вывод: каменный уголь состоит, главным образом, из чистого свободного углерода с небольшим количеством примесей, вывод, с которым опять-таки едва ли кто из химиков согласится. Каменному углю, этой сложнейшей смеси сложных органических соединений, конечно, совсем не место в отделе, посвященном аллотропным видоизменениям углерода. Книжка выходит уже третьим изданием. Что касается внешнего вида ее, то он более, чем скромен: бумага разносортная и разноцветная, есть слепые страницы, и рисунки мало отличаются от тех, которые не умеющий рисовать ученик может сам сделать в своей тетрадке.

Проф. В. Шарвин.

Н. С. ДРЕНТЕЛЬН. Воздух, вода — тепло Москва. 1922 г. Кооперативное Т-во «Задруга». 32 стр. Цена 1 р. 50 коп. (новыми расчетными знаками).

Эта превосходная книжечка будет очень полезна современному учителю при современной до крайности бедной пособиями обстановке. Но те основные приемы обработки стеклянных трубок, пробок и т. п., которые необходимо знать учителю, чтобы быть в состоянии подготовить указанные в книжке опыты,—эти приемы в ней не указаны. Вместе с тем по всему тону книжки и по списку литературы, приведенному в конце ее, видно, что она рассчитана на учителя начальной школы, не очень-то опытного. Надо пожелать, чтобы в следующем издании этот пробел был заполнен: тогда книжка получит ту полноту, которую ей необходимо иметь в современных условиях.

Кроме этого общего соображения, автора упрекнуть не в чем, разве уж в самых мелочах: так, на стр. 11, при указании на необходимость обминания пробок, следовало указать, что обминать надо перед просверливанием, а отнюдь не после; в опыте со впучиванием мыльной пены от разрежения следовало бы указать, что разрежение стклянки (автор везде пишет: стклянка, таким образом происхождение этого слова от слова стекло стирается), содержащей мыльную пену, можно производить и ртом; в опыте с раздуванием резинового пузыря (стр. 16) надо бы указать, что он помещается в *широкогорлую* стклянку; обнаружить весомость воздуха накачиванием в стклянку не легко, если пробка корковая, а не резиновая,—а это не указано. Но вот и все замечания. Зато есть отличные опыты, в других подобных книжках не описанные: напр., опыт с кажущейся потерей веса тела в воздухе (стр. 19).

Цена книжки не высока. Зачем в заглавии книжки поставлено тире.

Проф. Ник. Андреев.

Академик П. П. ЛАЗАРЕВ. Физические основания принципа относительности. Изд. «Северные Дни». М. 1922.

Прочтя заглавие этой книжки и открыв ее на первой странице, читатель с изумлением видит заголовок: «Новая механика» А. Пуанкаре! Сейчас же невольно приходит в голову мысль, не перепутали ли обложку в той спешке, которая характеризует все современное издательское дело. Однако, более близкое знакомство с содержанием книги показывает, что мы имеем дело со сборником статей А. Пуанкаре, М. Планка и акад. П. П. Лазарева, получившем название тождественное с названием статьи П. П. Лазарева.

Первая статья сборника представляет собою лекцию знаменитого французского математика, прочитанную в Геттингене в 1909 г.; в ней речь идет о выводах, касающихся механики, какие можно сделать из «Специального» принципа относительности. «Всеобщего» принципа в то время еще не было. Читатель, незнакомый с литературой вопроса, может

быть введен в заблуждение утверждением автора, что возрастание массы со скоростью противоречит основам всей ньютоновской механики, а между тем Дж. Дж. Томсон, первый установивший учение об электромагнитной массе и ее возрастании со скоростью, пришел к этому результату, отправляясь от очень простой и наглядной механической аналогии.—Не упоминать о Дж. Дж. Томсоне и о данном им объяснении вошло теперь в обычай; как будто считается даже признаком хорошего тона и не потому ли, что, став на точку зрения Томсона, нет уже никакой возможности «упразднять» материю», а это сейчас довольно модное занятие. Кроме того, Пуанкаре делает тот промах, который делают все физики, увлекающиеся философией: движение *по отношению* к эфиру признается за *абсолютное*. Для зараженных этим философским предрассудком попытки физиков определить движение земного шара *по отношению к эфиру* представляются недоступной погоней за «абсолютом», и вот от этого безумия науку спасает «принцип относительности», а в то же время, по словам самого Пуанкаре, «принцип относительности» не допускает никаких ограничений в новой механике, он имеет, если можно так выразиться, *абсолютное значение*» (!) (курсив наш) (стр. 11). Все это показывает, в какие забавные положения может завести даже такого гениального ученого, как Пуанкаре, нездоровое увлечение идеалистической философией, от которого, однако, к концу своей жизни он в значительной степени избавился, если судить по его замечательной книге «Наука и метод», к сожалению, не пользующейся у нас в России, широкой известностью. Очень хороши заключительные страницы статьи Пуанкаре: он делает предупреждение современным педагогам, чтобы они не игнорировали ньютоновской классической механики, так как новую механику можно понять только после того, как усвоишь старую. Эти слова великого французского математика очень будет полезно прочесть нашим отечественным педагогам - «методистам».

Следующая статья академика П. П. Лазарева начинается с изложения тех фактов, которые привели к теории Лорентца и первой «специальной» теории Эйнштейна. В начале статьи приводятся слова Зоммерфельда, весьма знаменательные в устах ярого поклонника принципа относительности: «в противоположность широко распространенному взгляду влияние принципа относительности на реальное изучение природы весьма ограниченное...» (стр. 25).

При изложении явления аберации света П. П. Лазарев делает основательную ошибку, смешивая зенит с полюсом эклиптики (стр. 32). В общем все изложение первой части (гл. I) в значительной своей части вполне доступное. Необходимо, однако, отметить обычную в популярных изложениях принципа относительности попытку сбить с толку неосведомленного читателя тем, что теория Лорентца подыскивает какое-то искусственное объяснение. Если мы последовательно будем проводить электронную теорию, которая имеет теперь достаточно прочную экспериментальную основу, то мы неизбежно придем к выводу Лорентца; поэтому его объяснение не «великая надстройка», как говорит П. П. Лазарев, а логический вывод из фактов, установленных современной наукой.

Эта попытка, столь обычная у популяризаторов, желающих выдвинуть преимущества принципа относительности, тем менее понятна у П. П. Лазарева, что сам он относится к принципу относительности не без некоторой критики, и в заключении своей статьи внимательно разбирает возражения, выдвигаемые современными учеными против принципа Эйнштейна; в этом отношении статья Лазарева выгодно отличается от большинства популярных статей, в которых тщательно скрываются от читателей какие бы то ни было возражения.

Совершенно непонятно замечание на 72 стр.: «Области, охватываемые электродинамикой и механикой, в сущности обнимают почти все процессы мира, за исключением тепловых» (?!). Неужели академик Лазарев не признает за науку кинетическую теорию материи и в том числе и свою собственную работу «О температурном скачке на границе раз-

режённых газов и твердых тел»?.. Ведь кинетическая теория и т. называемая статическая механика как раз и приводят тепловые явления к механике атомов!

Глава о новом обобщенном принципе Эйнштейна для неподготовленного читателя будет очень мало понятна. Правда, этот принцип нелегко поддается элементарному положению.

В последней статье сборника об «Отношении физических теорий друг к другу», принадлежащей М. Планку, на стр. 79 указывается, что «последовательно проведенная механическая теория эфира с простыми максвелловскими уравнениями, при их абсолютной точности, вообще невозможна».

Во-первых, утверждать абсолютную точность каких-либо уравнений довольно бесполезное занятие, а во-вторых, невозможность, выставляемая М. Планком, весьма относительного свойства; Биеркнес в своей замечательной и мало оцененной книге [1]) показывает возможность механического вывода уравнений более общих, чем максвелловская, и предлагает путем опыта выяснить, существуют ли явления, определяемые поправочными членами к максвелловским уравнениям, которые Биеркнесу удалось получить, исходя из продуманной им механической модели.

Примечание П. П. Лазарева на странице 81 к статье Планка совершенно не выдерживает критики. Там указывается, что когда система тел переходит из одного состояния в другое и этот процесс перехода обратимый, то при этом переходе энтропия не изменяется. Это грубая ошибка: энтропия в данном случае может изменяться в зависимости от характера процесса как угодно, т.-е. может возрастать, убывать или остаться без изменения; указанный в примечании вывод приложим только *к обратимому круговому процессу*, но в примечании речь идет как раз о незамкнутом процессе! Возможно, что этот промах объясняется той поспешностью, с которой обычно в наше время редактируются и корректируются книги, но во всяком случае вдумчивый, но мало подготовленный читатель таким примечанием будет окончательно сбит с толку.

В общем сборник может принести некоторую пользу читателю, так как обычные недостатки подобных сборников о принципе относительности в нем выражены слабее.

А. Тимирязев.

[1]) V. Bjerkness. Die Kraftfelder. Изд. Wissenschaft, Vieweg, 1908.

В. М. ШИМКЕВИЧ, проф. «Пол и его признаки». 128 стр. 1921. Изд-во Гржебина.

Популярно-научная серия «Библиотека Натуралиста», издававшаяся А. Панафидиной, представляет собою одну из лучших общедоступных серий по естествознанию. Отдельные книжечки написаны высоко компетентными лицами по разнообразным вопросам биологии и выгодно выделяются своей цельностью, содержательностью и свежестью материала. К сожалению, начатое в годы мировой войны, хорошее дело оборвалось.

В настоящее время многие из книжечек упомянутой серии переизданы изд-вом Гржебина. Прекрасный шрифт, рисунки, строгие и изящные обложки,— словом, весьма удачная внешность, еще более увеличивают привлекательность. Об одном приходится пожалеть — книжечки изданы без всяких дополнений, которых настоятельно требует состояние наук текущего времени. Напрасно издательство Гржебина, перепечатывая их без всяких изменений, не считает нужным ни одним словом об этом упомянуть. Все эти замечания относятся и к книге проф. Шимкевича «Пол и его признаки», входящей в вышеупомянутую «Библ. Натуралиста». Она отличается большим богатством содержания и полнотой, если учесть ее относительно небольшой объем, но для настоящего времени она может считаться несколько устаревшей, так как использованная автором литература в связи с годами войны и блокады заканчивается 1914 годом. Несмотря на этот естественный для текущего момента недостаток свежести материала, книга может служить прекрасным введением в изучение биологических проблем пола. Анализ последних про-

изводится тремя путями: 1. Методами физиологии и механики развития. 2. Методами науки о наследовании (гибридологии) и 3. Методами микроскопического исследования половых зародышевых клеток. Намеченные три пути исследования скрещиваются между собою, дополняя друг друга. Связь их, намеченная в книге Шимкевича, за последние годы углубилась и расширилась. Читатель, заинтересовавшийся проблемой, может найти дальнейшее развитие ее в трудах Goldschmidt'a —«Mechanismus und Physiologie der Geschlechtsbestimmung», Berlin, 1920 г. и Мих. Завадовского—«Пол и развитие его признаков», Москва, 1922 г. Первая из них трактует проблему под углом зрения цитолого-гибридологических наук, вторая—под углом зрения механики развития.

Мих. Завадовский.

К. И. МЕЙЕР. Происхождение наземной растительности. Москва. 1922 г. Государственное Издательство. 78 стр. 60 рис. 1 черт.

Вопрос об эволюции растительности и происхождении наземной флоры является одним из наиболее важных и основных и вместе с тем одной из наиболее грандиозных проблем, какие когда-либо были поставлены в ботанике. Уже давно наука установила, что жизнь появилась в воде, что растительность вышла на сушу из воды, что наземная жизнь есть уже второй шаг в эволюции растительности. Целый ряд наиболее выдающихся авторов посвящали свои работы и создавали гипотезу о появлении наземной флоры, что тесно связано с вопросом о чередовании поколений у растений. Но наиболее глубоко и всесторонне подошел как к постановке этой проблемы, так к талантливому ее освещению английский ботаник Боуэр (Bower) в своей замечательной книге «The origin of Land Flora» (1908). Эта книга была признана одним из величайших произведений ботанической литературы за последние 50 лет. В конце прошлого века и в настоящее время наука обогатилась целым рядом прекрасных исследований по смене поколений у низших организмов—багряных и бурых водорослей, и все эти данные дали возможность близко подойти к широкому трактованию поставленной выше темы.

Мейер в своей краткой, но ясной, прекрасно изложенной и умело иллюстрированной книге знакомит русского образованного читателя, по преимуществу натуралиста по специальности, с положением указанной проблемы и с современными попытками ее решения. Русская читающая публика должна быть ему очень благодарна, так как он сделал общепонятными столь важные вопросы, изложенные в объемистых специальных, совершенно недоступных для рядового читателя трактатах, и нет сомнений, что книга найдет себе широкое распространение среди молодых натуралистов и лиц, занимающихся естествознанием (преподавателей школ II ступени и даже I ступ.).

Несомненно, что книжка эта вскоре увидит и второе издание. Пожелаем же автору во втором издании расширить свое лаконическое изложение и тем еще более приблизить эту книгу к большему количеству читателей, а Государственному Издательству пожелаем не экономить на шрифте и бумаге и не губить эту книгу с великолепными иллюстрациями так, чтобы качество рисунков не страдало от дурного сорта бумаги. Некоторые несогласия рецензента с мыслями автора уместно подвергнуть обсуждению на страницах специальных журналов.

В. Арнольди.

Проф. В. СУКАЧЕВ. Растительные сообщества (введение в фитосоциологию). 2 дополн. издание. Книгоиздат. «Книга». Петр. 1922. Культурно-просветительная библиотека. Третья ступень знания. Серия естественно-научная.

Книга проф. Сукачева представляет собой заметное явление среди нашей популярно-научной литературы. Несомненно, она явится незаменимым и неизбежным пособием для всякого начинающего натуралиста при изучении живой природы, при знакомстве с растительностью,

среди которой он живет и работает. Несмотря на свой малый объем, книга весьма богата по содержанию, и это богатство настолько велико, что положительно не укладывается в рамки столь малого объема. И если указывать на недочеты книги, то прежде всего надо отметить эту излишнюю лаконичность и конспективность изложения. Конечно, книга эта в дальнейших изданиях будет все более и более разрастаться, что еще выше поднимет ее крупные достоинства. Излагать подробно содержание ее мы здесь не будем. Мы имеем ряд прекрасных книг, знакомящих нас с жизнью растения, с его ростом, питанием, размножением, но в книге проф. Сукачева рассматривается не отдельное растение, а растительная *ассоциация*, т.-е. комплекс растений, представляющих собой нечто определенное целое, имеющее свои свойства, живущее своей особой жизнью, подчиненное особым законам.

Жизнь этой ассоциации может быть изучаема особыми приемами, особыми методами, и та цитадель знания, которая занимается изучением ассоциаций растений, получает название *фитосоциологии*. Эта наука выдвигает на первый план положение, «что растение, растущее в природе, во всем своем существе определяется тем, что оно живет во взаимодействии с другими растениями, и понять это взаимодействие можно только принимая во внимание взаимоотношение с условиями существования. Фитосоциология как бы завершает собой в последнем синтезе все стороны ботанического знания, опираясь на морфологию, физиологию, географию и происхождение растений; она показывает те сложнейшие явления, которые наблюдаются между растениями одной и той же ассоциации и различными ассоциациями между собой. Из всего вышесказанного ясно, какие широкие перспективы развертываются перед этой молодой наукой.

Поэтому нельзя быть достаточно благодарным автору за то, что он через свою книгу является распространителем идей и задач фитосоциологии среди лиц, изучающих жизнь природы, как единое целое.

В. Арнольди.

Проф. РАЙКОВ, Б. Е. Практические занятия по анатомии и физиологии человека для начинающих. 3-е переработанное издание. Изд. «Время». Петроград. 1922 г. Стр. 88.

Это третье издание книжки заключает 30 работ, из коих некоторые вызывают известные сомнения по своей чрезмерной примитивности—стоило ли их выделять как особые задачи. Эти сомнения позволительно высказать, например, относительно работы 24-ой.

Наоборот, нельзя не пожалеть о том, что автор в третьем издании книги исключил все задачи, требующие употребления микроскопа. Автор в предисловии объясняет это тем, что «при современных условиях дать микроскопы в руки учащимся в большинстве случаев невозможно, и потому еще, что я до известной степени разочаровался в школьном значении микроскопических работ, которые в известном возрасте дают гораздо меньше, чем мы от них ожидаем».

Разочарование автора нам понятно и отчасти оно имеет за собою объективное основание. Но, с другой стороны, нам представляется странным вести курс анатомии и физиологии, не дав учащимся элементарного наглядного понятия о клеточном строении. С этой точки зрения мы не можем не признать одинаково ненужными крайностями, как давать 10 занятий по гистологии, как это делал автор в предыдущих изданиях, так и совершенно их исключать из нормального курса лабораторных занятий. Выпускать же из средней школы учащихся без реального представления о таком инструменте универсального значения, как микроскоп, и не дав им простейших задач, разрешаемых при помощи микроскопа, нам представляется большой ошибкой.

Ссылка на современные условия нас не убеждает: и в прошлой и в современной практике условия эти в общем равны, ибо блокада лишь закрыла доступ подвозу новых аппаратов, но не уничтожила старых. Наконец, как раньше, так и теперь, естественно эти работы требовали и требуют сугубой бережности обращения и внимания со стороны преподавателя, а недостаток микроскопов

побуждал ставить их полудемонстративным путем. Но это все же не умаляло значения этих работ, а как видно из рецензируемой книги, сам автор принципиально признает в некоторых случаях такие работы укомплектованного и полудемонстративного характера (см., напр., работу 13-ую в последней ее части, где требуется эфир).

С другой стороны, можно указать на известную неполноту в подборе задач. Так странно, что в сборник не включена исключительно демонстративная и убедительная задача с кровообращением в лапке лягушки (неужели только потому, что здесь требуется микроскоп?) или фагозитоз, который можно было бы показать как на лейкоцитах лягушки, так и на амебе или сувойке.

Нам бы представлялось также полезным дать элементарное понятие об анализе мочи, хотя бы открытие сахара и белка по методу Геллера, ибо эти задачи разом вводят в круг методов медицинского исследования, что весьма важно даже для самого «ультраначинающего». Наконец, к сожалению, автор не счел нужным дать и классическую серию опытов по изучению центральной нервной системы у лягушки путем ее обезглавления и последующего разрушения спинного мозга.

Мне скажут, что эти задачи сильно увеличили бы объем курса. Но ведь сам автор, в своем предисловии, говорит, что уже данные им работы «различны по своей сложности и рассчитаны на разные возрасты» и «число их дано значительно больше, чем можно выполнить в течение одного учебного года».

Таким образом, его пособие не представляет собою, по замыслу автора, законченного практикума, а стремится удовлетворить потребностям разных классов средней школы. А раз так, то естественно пожалеть, что сборник не дает на выбор преподавателя более широкого круга возможных занятий.

Приведенные примеры далеко еще не исчерпывают круг тех работ, которыми следовало бы пополнить сборник.

При всем том книжка Райкова является, конечно, полезным пособием в нашей школьной практике, тем более, что кроме еще более краткой и рассчитанной на самообразование книжки на ту же тему проф. Белоусова мы не знаем другого аналогичного пособия, пригодного для средней школы. Книжка же Райкова полезна тем, что, помимо инструкций по каждому занятию, предназначенных для учащегося, она имеет еще особую часть, заключающую ряд ценных советов и сведений для педагогов, а равно и приложения, облегчающие педагогу составление реактивного списка, необходимого для осуществления работ.

Все это составляет несомненные достоинства книжки и ее следует рекомендовать усиленно всем практикам-педагогам.

Б. Завадовский.

MAX BORN. Der Aufbau der Materie.

М. БОРН. Строение материи. Перев. Стожарова, под ред. А. П. Афанасьева. 92 стр. 36 рис. Научное Книгоиздательство. Петроград. 1922 г.

Небольшая книжка, содержащая три статьи, напечатанные в 1920 г. в немецком журнале «Die Naturwissenschaften», выпущена автором с целью ознакомить широкие круги естествоиспытателей с новейшими успехами физики, достигнутыми в областях, пограничных с другими науками, и могущими, повидимому, оказать мощный толчок к развитию этих последних. Макс Борн принадлежит к числу физиков, принявших самое близкое участие в разработке этих вопросов, и вклад, внесенный им в современную теоретическую физику, весьма значителен; так, им вместе с Карманом, Ланде, Маделунгом и др. положены основы для новой теории упругости, основанной на представлении о прерывном строении вещества и пространственной решетке. С другой стороны, М. Борн владеет искусством в чрезвычайно ясной и простой форме излагать труднейшие проблемы науки, доказательством чего может служить вышедшая недавно в Германии книга Борна о теории относительности. Все это определяет до известной степени ценность настоящей книжки.

В первой ее главе рассказывается о строении атома, атомах электричества,

рентгеновских спектрах, инерции, энергии и даже вкратце о структуре атомного ядра. Эта глава обильно иллюстрирована и, несмотря на свою краткость, дает все же достаточное понятие о предмете, отличаясь выгодно от нередких в наше время изложений теории атома отсутствием ненужных и затемняющих дело подробностей, большим мастерством и строгой последовательностью...

Вторая глава посвящена вопросу о прерывности материи и электрическим свойствам ее. Опять крайне просто и ясно с соблюдением исторической перспективы доказывается необходимость для физики перейти от представления непрерывных сред к электрической атомистике. Естественное увлечение автора достигнутыми здесь успехами приводит его к несколько, быть-может, смелым утверждениям, в роде того, что вообще «непрерывная упругая среда—заблуждение, обусловленное грубостью наших чувств», и что нет смысла постулировать эфир и заполнять им «пустое пространство между атомами».

Наконец, третья глава, носящая название «мост между химией и физикой», является, пожалуй, наиболее интересной. Здесь приводятся результаты работ целого ряда ученых, создавших за последние годы то, что можно назвать термодинамикой пространственной решетки, и делается попытка осветить энергетику химических реакций, исходя из современного представления о строении атома.

В общем эту 3-ю главу да, быть-может, и две первые нельзя назвать популярными в полном смысле слова. Едва ли они могут быть прочитаны мало подготовленным читателем без большого напряжения. Но в качестве обобщающего обзора для лица, знакомого с развитием современных научных проблем, для естествоиспытателя, врача, студентов старших курсов она может иметь большую цену, возбуждая дух исследования и ставя мысль на верную дорогу.

Менее благоприятным будет наш отзыв в отношении русского издания книжки Борна. Она носит следы излишней спешности. Перевод не всегда удачен. Пояснения к некоторым рисункам переводчик не потрудился перевести с немецкого; нет ссылок на русские обзоры и статьи, более подробно касающиеся отдельных вопросов, затронутых в книжке, это было бы тем более желательно, что подробные перечни литературы, приводимые Борном в конце каждой главы, в виду недоступности для нас немецких книг и журналов, остаются в большей мере платоническими. Также не мешало бы в русском издании 1922 года приводить значения некоторых физических постоянных по новейшим данным, так как цифры, даваемые Борном в 1920 году, нуждаются кое-где в исправлении.

Внешность книжки, как и всех вообще изданий «Научного книгоиздательства», вполне прилична, хорошо выполнены рисунки.

С. Конобеевский.

Проф. М. М. ЗАВАДОВСКИЙ. Пол и развитие его признаков. К анализу формообразования у животных. С 20 табл. в красках и 126 фиг. в тексте. 255 стр. Государственное Издательство. Москва. 1922 г.

Книга проф. М. М. Завадовского издана прекрасно. Бумага, печать и рисунки в тексте совершенно на уровне довоенного времени. Красочные таблицы (исполненные литографским способом) немного грубоваты и лубочны; воспроизведены несколько небрежно (несовпадение цветов), но зато их много, целых 20, и по содержанию своему они и оригинальны и ценны. Многие из них, вероятно, войдут и в учебную литературу, так как очень наглядны и показательны. Следовало бы только на некоторых из них (напр., на табл. XVI), кроме общего названия таблицы, еще сделать пунктирами или стрелками отдельные обозначения для различных подробностей рисунка.

Вопрос, который затрагивает своим исследованием проф. М. М. Завадовский, принадлежит к числу тех кардинальных проблем биологии, которое одинаково волнуют и зоолога, и физиолога, и врача, и зоотехника, который за последнее время как раз усиленно разрабатывается

за границей. Так как проф. М. М. Завадовский пишет довольно просто и понятно, то книгу его с большой пользой и с удовлетворением прочитает не только специалист, но и просто человек, интересующийся успехами биологии. Много интересного материала найдут здесь и практики, например, птицеводы и зоотехники, а также те, кто интересуется наукой о поведении животных.

Основу рецензируемой работы составляют те исследования и опыты, которые автор произвел в Заповеднике «Аскания-Нова» (бывш. Фальц-Фейна), где он имел в своем распоряжении богатейший материал по птицам и млекопитающим. Достаточно сказать, что под опытом у проф. М. М. Завадовского, кроме кур, домашних уток, фазанов и других птиц, были и такие малодоступные для экспериментаторов, в обычных условиях, животные, как вильгау, оленекозы, гну, козули, лани и т. д. Цифры опытных животных также довольно внушительны! Например, 14 фазанов, 109 кур! Этой цифре могли бы позавидовать и многие из наших заграничных коллег, работающих в богатых и старых исследовательских учреждениях.

Зато, в другом отношении, обстоятельства складывались для автора не очень благоприятно. Исследования его как раз производились в самый разгар гражданской войны на юге. Протоколы его опытов так и пестрят пометками, что такое-то оперированное животное погибло от рук бандитов, или что пришлось прервать опыт и уехать «в связи с анархическим движением Махно», или «петух-фазанка погиб от рук казачьего отряда в числе других прооперированных кур в начале января 1920 г.». Всю горечь этих слов может как следует почувствовать только тот, кто сам имел дело с опытными животными. Иная мать не так беспокоится о судьбе своих детей, как экспериментатор дрожит за своих двуногих и четвероногих друзей, поставленных под опыт, часто на месяцы и даже годы.

Чувствуется во всей книге, что М. М. Завадовский любит живую природу. Это сказывается не только в заметках, разбросанных повсюду в протоколах, но и в массе рассеянных в тексте колоритных и уютных словечек, характеризующих то или иное поведение животных. Такие словечки и такой тон появляются только у лиц, действительно проводящих целые дни с животными и имеющих к живой природе не только интерес, но и любовь.

Самое ценное и существенное в книге М. М. Завадовского это — экспериментальная часть, особенно его опыты и наблюдения над птицами. Уже и ранее было известно, что половые железы имеют двоякую физиологическую задачу. С одной стороны, они служат для целей размножения и вырабатывают половые клетки (яйцевые клетки и спермии), с другой стороны, они являются и важными железами с внутренней секрецией, так как отделяют особые соки, просачивающиеся в кровь и получившие, вследствие своего могучего физиологического действия, название гормонов (от греч. слова «гормао», что значит «двигаю», «возбуждаю»).

Путем пересадки половых желез известному венскому физиологу Штейнаху удалось сначала превратить кастрированного самца в самку, а затем, несколько позже, и кастрированную самку в самца. После пересадки не только появились все вторичные признаки того пола, к которому принадлежала пересаженная железа, но даже и психика, насколько можно было судить по объективным данным, изменялась в сторону этого же пола. Опыты Штейнаха с изменением пола являются одним из самых блестящих достижений экспериментальной биологии последнего времени. Ими было дано бесспорное доказательство, с одной стороны, двойной физиологической задачи половых желез, а, с другой стороны, было установлено что мужские половые гормоны отличны от женских. Но большим минусом в исследованиях Штейнаха было то, что он работал над крысами и морскими свинками; эти животные, правда, дешевле и потому часто используются физиологами, но они мало подходят для той цели, которую наметил себе Штейнах, так как у них различия между полами (так наз. половой диморфизм) выражены не особенно резко. Действительно, не всякий даже естественник сумеет по внеш-

нему виду отличить самца крысы или морской свинки от самки.

М. М. Завадовский избрал для своих исследований, главным образом, птиц, и притом таких, у которых половой диморфизм выражен чрезвычайно резко. В самом деле, у кур, например, различия между полами настолько велики, что всякий, даже несведущий человек, безошибочно сумеет отличить петуха от курицы. Отчасти для проверки своих исследований над птицами автор ставил некоторые опыты и над млекопитающими и опять-таки над такими, у которых половой диморфизм сказывается весьма резко. Такой материал является огромным плюсом при подобного рода изысканиях, так как делает результаты и более яркими и более демонстративными. И действительно, повторяя опыты Штейнаха с пересадкой половых желез, М. М. Завадовский получил столь яркие картины превращения кур в петухов и петухов в кур, что они способны вызвать восторг у всякого, даже равнодушного к успехам экспериментальной биологии человека! Стоит только всмотреться в табл. VI, она настолько наглядна и эффектна, что от нее трудно оторваться.

Анализ богатого экспериментального материала дал автору возможность разбить все признаки организации кур, с точки зрения формообразования, на три группы: 1) признаки *неполовые*—видовые, или асексуальные, которые формируются независимо от половых гормонов; 2) признаки *независимые*, или *псевдополовые*; они могут формироваться без участия гормонов половых желез, но их развитие может быть остановлено, или модифицировано, гормоном половой железы одного из полов (например, петуший наряд и шпоры могут быть приостановлены в развитии гормоном яичника); гормон другого пола, если и модифицирует псевдополовой признак, то весьма слабо (например, петушье перо немного короче, чем у кастрата, сохраняя тот же тип); 3) признаки зависимые, половые или сексуальные, формирование которых возможно лишь при участии гормонов половой железы (например, инстинкт, головной убор и т. д.).

Кастрация птиц, т.-е. выключение из хозяйства организма половых гормонов через оперативное удаление половой железы, приводит к тому, что кастрат-самец до деталей подобен кастрату-самке. Сходство выражается в форме и в пигментах пера, в форме и размерах головного убора, в присутствии у того и другого шпор, в форме и посадке тела, в поведении и т. д. По своим наиболее бросающимся в глаза признакам кастрированное существо близко к самцу. Сходство это особенно отчетливо выражено в покровах. Но вообще вся совокупность признаков кастрированных особей позволяет говорить о некотором внеполовом, или асексуальном, типе организации, в число признаков которого входят независимые, или псевдополовые, признаки. Интересно, что самая методика удаления семенников и яичника вовсе не так сложна, как это можно было бы думать, судя по положению половых желез у птиц глубоко в полости тела. Птицы удивительно хорошо переносят операции. Из 39 петухов, кастрированных М. М. Завадовским, только 5 околело от кровоизлияния во время операции, а все остальные выжили. «В норме,—говорит М. Завадовский,—через час, через два после операции, птица хорошо ест и поведением мало чем отличается от контрольных особей. Многие петушки во время операции ловят пролетающую муху. Всех петушков оперировал без наркоза. Заживление раны идет быстрым темпом; через неделю края разреза срастаются, и лишь рубец свидетельствует о месте операции».

Производство операции иссечения яичника у птиц вообще дело трудное, и некоторые авторы выражали даже сомнение в том, осуществима ли вообще полная экстирпация этого органа у птиц. М. М. Завадовскому в некоторых случаях удавалось, действительно, полное удаление яичника у кур, что уже само по себе является крупным техническим достижением. Пишущему эти строки казалось бы только, что автору при разработке своего метода следовало бы считаться с одной опасностью, угрожающей чистоте эксперимента,—это именно с топографической близостью к половым железкам у птиц надпочечников. М. М. Завадовский почему-то это обстоятельство не оговаривает, а в одном слу-

чае он даже упоминает, что сознательно удалил часть надпочечника, чтобы быть уверенным в полном удалении яичника. Операционное поле смазывалось всякий раз крепким раствором иодной тинктуры или карболовой кислоты. Таким образом, неизбежно надпочечная железа подвергалась раздражению (механическому или химическому), а иногда и повреждению. Для чистоты опыта не следовало давать такого «физиологического толчка» надпочечнику, который является столь же активным органом с внутренней секрецией, как и половые железы, и связан с ними сложнейшим образом.

Интересно, что при гиперфункции надпочечников у женщины наблюдалось неоднократно появление гетеросексуальных вторичных половых признаков (таковы, например, случаи, описанные Mauclaire, Launois, Pinard, Gallais-Ogston и др.), т.-е. нечто подобное, что получалось у М. М. Завадовского у кур. Apert в своей монографии «La croissainse» (Paris, 1921 г.) прямо говорит: «Чем ранее начинается гиперфункция надпочечной железы у молодых женских особей, тем сильнее проявляются отклонения в сторону мужского пола. Они ограничиваются у зрелой женщины просто анормальной волосатостью. У молодой девушки они выражаются уже в проявлении мужского характера и мужской психики. Если гиперфункция надпочечника начинается с детства, то замечается еще большее отклонение в сторону мужского пола вплоть до гипертрофии клитора. Наконец, если отклонения в деятельности надпочечников проявляются уже во время зародышевой жизни, то весь организм, по внешности, настолько принимает мужской тип, вся психика настолько делается мужской, что такой организм впоследствии ведет себя совсем как мужчина, и только посмертное вскрытие дает возможность установить существование у него внутренних женских половых органов»...

Жаль также, что в протоколах опытов отсутствует указание на то, как и чем кормили находившихся под опытом птиц. Когда дело идет о таком вопросе, как окраска накожных покровов, то условия кормления безусловно имеют немаловажное значение. Как раз у птиц наиболее ярко выступает зависимость между пигментацией накожных покровов и характером птиц.

Опыты над млекопитающими с ярким половым диморфизмом, каковы антилопы Portax pictus и Antilope cervicapra, олени, козули, быки и бараны дали возможность М. М. Завадовскому установить интересный факт, что в отношении независимых, или псевдополовых, (по терминологии автора) признаков к половым гормонам у млекопитающих и птиц замечаются обратные отношения.

В то время как у птиц внеполый наряд подобен наряду самца, у млекопитающих (например, у антилоп) внеполый наряд подобен наряду самки. В то время, как у птиц яичник модифицирует внеполые пигменты покровов, у антилоп семенник модифицирует внеполый тип покровов. Следовательно, у птиц самка в потенции несет «независимые» половые признаки самца, а у млекопитающих самец в потенции несет «независимые» половые признаки самки. До накопления дальнейшего экспериментального материала автор не решается высказаться определенно ни в пользу того, что самку млекопитающего надо считать моносексуальной, ни в пользу бисексуальности ее природы.

В краткой заметке нет возможности передать множество интересных мыслей, рассеянных в книге, например, насчет устанавливаемого автором параллелизма между данными морфогении и гибридологии. Экспериментами физиологического типа автор проверяет гибридологическое построение и пытается таким путем вскрыть то физиологическое и вполне реальное содержание, которое кроется за отвлеченными символами гибридологии. Может-быть, автор местами и впадает в некоторое увлечение, но всегда ценно, когда удается наметить некоторое упрощение и показать, что за разными терминами кроется одно и то же существо явлений.

Отсылая читателя за подробностями к интересной и ценной книге профес. М. М. Завадовского, я хотел бы сделать только еще несколько общих замечаний.

Так как тема, взятая автором, очень широка и интересна, то мне кажется,

что она требует и соответствующей формы изложения. Оторванность от библиотек и невозможность сейчас дать полный исторический очерк развития данной темы не является, по-моему, достаточным мотивом к тому, чтобы излагать свои исследования в той последовательности, как они производились действительно. Все-таки следовало бы дать, пусть и неполное, но некоторое историческое введение, а затем сырой материал своих исследований подвергнуть некоторой сводке и обобщению. Тогда бы удалось избежать некоторых утомительных повторений, и читателю было бы значительно легче усвоить и охватить интересный материал книги.

Безусловно следовало бы встречающиеся в тексте французские и немецкие цитаты (некоторые размерами чуть не в целую страницу) перевести на русский язык, тем более, что в них вовсе нет таких оттенков, которые не поддавались бы переводу. Совсем уж не хорошо вводить в текст такие термины, как «Брунст-орган», да еще печатать их с большой буквы, словно бы это была фамилия автора (стр. 135). Немецкое слово «Brunst» значит «течка», «охота», «половой период», и слово «organ» можно свободно передать словом «орган», обусловливающий течку».

Проф. Д. Немилов.

Dr. H. DEKKER. Fühlen und Hören. Biologie d. Sinnestorgane. I. Stuttgart. 1921. S. 92.

Д-р БЕККЕР. Осязание и слух. Биология органов чувств. I. Штуттгарт. 1921. Стр. 92.

Разносторонняя и огромная роль, которую органы чувств играют в истории развития материальной и духовной культуры человечества, как орудия познания мира и как орудия в борьбе за существование, достаточно убедительно говорит о том, насколько важно распространение в широких массах точных научных знаний об устройстве и деятельности этих удивительных по тонкости и совершенству приборов. Только тот, кто знаком с достижениями физиологии в области изучения органов чувств, сумеет по достоинству оценить и все величие человеческого гения и всю относительность наших знаний.

Рецензируемая книжка д-ра Деккера дает полную возможность такого ознакомления и для неподготовленного читателя. В легкой, чуждой академической сухости, форме автор излагает физиологию органов чувств, оставаясь все время на высоте последних научных завоеваний. Автор—занимательный рассказчик, и сухие физиологические факты, наблюдения и эксперименты облекаются в изящную и интересную форму. Изложение иллюстрируется рисунками, вполне удовлетворяющими свои цели. Очень интересны прекрасно выполненные фотографические снимки произведений слепых (резьба по дереву). Вообще вся внешность книжки не оставляет желать ничего лучшего и свидетельствует о том, что Германии удалось и в эпоху разрухи сохранить на большой высоте издательское дело; а то, что книжка д-ра Деккера вышла в 1921 г. 26-м изданием, красноречиво говорит не только об ее качествах, но и о неугасающем стремлении германского народа к приобретению знания и об умении удовлетворять эту потребность.

В лежащем перед нами 1-м выпуске излагаются различные стороны деятельности кожи, как чувствующего аппарата, и устройство и работа органа слуха. В нем читатель находит все важное и интересное для неспециалиста, что дает в данной области современная физиология. Особенно подробно автор останавливается на ощущениях осязания, давления и температуры, описывает устройство нервных концевых аппаратов, точки тепла и холода, опыты Kisov'a, Goldscheider'a и др.

Автор очень часто делает вполне уместные экскурсии в область сравнительной зоологии: так, описывая приборы для сохранения равновесия у человека, он приводит описание устройства этих аппаратов у птиц и рыб. Нигде не покидает он общей биологической оценки различных ощущений, что придает изложению единство и цельность. Единственно, что можно было бы поставить

в упрек автору—местами некоторый пафос, который русскому читателю кажется излишним, да еще черезчур поверхностное изложение закона Вебера.

Е. Аркин.

Ю. ВАГНЕР. Рассказы о том, как живут и устроены растения. Вновь просмотренное издание. Серия «Начатки знаний». Госиздат. Берлин. 1921 г. Стр. 107.

Книжечка небольшого формата, изданная с непривычным для нас изяществом. «Извинением» этому может служить то обстоятельство, что книга печаталась в Берлине.

Что касается внутреннего содержания книжки, то оно отличается всеми достоинствами популяризаций проф. Ю. Вагнера и не отличается от предыдущих изданий: очень простой, ясный и понятный язык, доступный для первоначального чтения; при всем том автор сумел в пределах небольшой и весьма популярной книжки изложить основные сведения о строении, способах и особенностях питания зеленых растений, значении цветка и плодов и даже основы клеточного строения растения. Конечно, все это затронуто вскользь и с полным правом может быть названо «начатками знания». Поэтому приходится пожалеть, что в этой книжке в конце не указаны книги, образующие дальнейшие шаги в ознакомлении с затронутыми здесь вопросами. К сожалению, этот прием еще не вошел в практику нашей популяризации.

Книжка безусловно полезна и ей можно пожелать распространения, главным образом, в детских библиотечках.

Б. Завадовский.

РОСКО. Химия. 2-е исправленное издание. Берлин. 1921 года. Госуд. Издат. «Начатки знания».

Книга Роско уже давно пользуется большой известностью, как руководство для начинающих, по своим достоинствам не имеющее себе равного. Весь довольно значительный материал книги распределен по четырем отделам, носящим название четырех стихий «Огня, Воздуха, Воды и Земли», согласно старой терминологии химических времен.

Заслуженная известность книги объясняется целым рядом качеств этой талантливо составленной «химии», к числу которых следует отнести удачное распределение материала, большую простоту и ясность изложения, а также весьма целесообразный подбор вопросов по пройденным отделам курса. Все указанное делает книгу незаменимой, когда требуется облегчить усвоение начатков химии лицам, не имеющим ни систематического подготовительного образования, ни сколько-нибудь достаточного общего развития. Химия Роско может служить и как учебник при прохождении элементов химии на различных подготовительных краткосрочных курсах рабфаков и т. д., а также для самообразования, при чем в книге содержатся также некоторые ценные указания для производства простейших опытов. Перевод книги сделан хорошо, четкость шрифта и качества бумаги по теперешним временам не оставляют желать лучшего.

Проф. Н. Изгарышев.

М. И. ШУЛЬГА-НЕСТЕРЕНКО. Снег и лед в жизни земли. Государственное Издательство. 1922 г. 85 стр.

Популярный очерк Шульга-Нестеренко знакомит в общедоступной форме с ролью снега и льда в жизни земли. Автор кратко сообщает сведения о круговороте воды, выпадении осадков в твердом виде, о свойствах физических снега и льда и более подробно останавливается на ледниках, их движении и совершаемой ими геологической работе. Последние главы посвящены ледниковой эпохе и роли оледянения в создании современных форм рельефа. Тема в общем разработана с исчерпывающей полнотой, при чем автор обладает талантом излагать даже сложные вопросы ясно, просто, а иногда даже в картинной, художественной форме. Поэтому нам представляются излишними приводимые автором в кавычках цитаты из других более или менее известных книг,—цитаты, написан-

ные часто далеко не так просто и выразительно, как это умеет делать сам автор. Это замечание относится особенно к мало понятной цитате на стр. 85, где говорится о человеке в ледниковую эпоху. Наиболее существенным пробелом брошюры мы считаем то, что автор не решился подробно изложить гипотезы о причинах ледниковой эпохи, а ограничился на этот счет лишь общими замечаниями. Таким образом, не получает удовлетворения естественная любознательность читателя о таком грандиозном явлении, как великое оледянение. Нам кажется, что, несмотря на сложность некоторых из этих гипотез, автор сумел бы изложить их в удобопонятной форме.

Далее укажем на некоторые мелкие дефекты: на стр. 5 не вполне правильно объясняется образование росы; на стр. 13 не указано, почему границы выпадения снега в Мексике опускаются до 20° широты. На стр. 12, как на пример нагория, где линия постоянного снега спускается ниже на южном склоне, чем на северном, следовало бы указать на Западный Кавказ; точно так же на стр. 34 предпочтительнее было бы остановиться на примере из русской географии, именно на обвалах ледников Казбека. На стр. 46 следовало бы указать на то, что лед при давлении ведет себя как пластическое тело, а при растяжении, как твердое. На стр. 54 только вскользь упомянуты ледники Скандинавии, а между тем Скандинавия обладает мощными ледниками, и площадь ее оледянения значительно больше, чем в Альпах. Не вполне точно (стр. 55) указание автора, что Кавказ не уступает по оледянению Альпам. В Тянь-Шане (стр. 58) не указаны наиболее мощные ледники, стекающие с Хан-Тенгри (напр., Инылчек—70 км. длины). Следовало бы также указать на оледянение в Алтае и на Саянах (Мунку-Сардык), тем более, что и на карте (стр. 61) ледники Алтая не указаны. В Якутской области (стр. 59) на вечно мерзлой почве вызревает не только ячмень, но и пшеница.

На стр. 59 не указаны ледники Новой Гвинеи. Там же грубая опечатка: *материк Атлантиды* надо *Антарктиды*. Об оледянии Антарктиды следовало бы сказать подробнее. На стр. 73 внизу абзац о первобытном быке и зубре вследствие выпада знаков препинания может дать совершенно превратное представление. На стр. 75 автор, на наш взгляд, переоценивает гипотезу Тутковского в той ее части, которая трактует о ледниковых фёнах.

Д. Крубер.

В. А. МИХЕЛЬСОН. Физика. Том I. Механика и теплота. Выполнено по заказу Государственного Издательства Издательством «Книжная Помощь». Москва. 1922 г. Стр. 308+IV.

Когда выйдет второй том этого курса физики, то будет заполнен весьма неприятный для нашей учащейся молодежи пробел в учебной литературе для высшей школы, — и заполнен весьма удачно. Именно такая книга нужна в России; и, наверное, ею будут с успехом пользоваться все, изучающие физику не как специалисты. Автор сумел выбрать материал и, устранив кое-что, что было принято помещать в таких учебниках— описание прибора, в роде катетометра, деталей опытов и т. д., сумел изложить этот материал на сравнительно небольшом числе страниц; принципиальная сторона каждой теории и каждого опыта умело выдвинута вперед; изложение отчетливое; математические выкладки немногочисленны и нигде не заслоняют описываемого при их помощи физического содержания. Издана книжка чистоплотно и, наконец-то, сброшюрована так, что не разваливается при первом чтении.

Вот несколько мелких замечаний.

Определение умножения векторов излишне усложнено неточным определением, данным в начале параграфа (стр. 17).

Выражение «натиск силы», введенное автором по почину А. К. Крылова, очень удачно. Следует дать ему широкое распространение.

Энергиею назван запас возможной работы (стр. 40). Такое определение может ввести в некоторое смущение: есть ли атомная энергия нерадиоактивного тела энергия?

Неотчетливо указано, что конический и плоский маятники одинаковой длины имеют лишь приблизительно одинаковый период: при малых размахах (стр. 45).

Очень хорошо, что автор порвал с традицией наших учебников доказывать закон Паскаля опытом (стр. 33). Но изложение автора таково, что у учащегося может возникнуть представление, что для сжимаемой жидкости вывод этот непригоден. Маленькая перестановка изложения исправит дело.

В параграфе о размерности хотелось бы видеть хотя одно приложение теории размерностей к выводу зависимостей между физическими величинами, например, зависимости периода маятника от длины.

Вывод уравнения *адиабаты* принципиально неудачен: он поселяет в уме учащегося убеждение, что окончательный результат приблизителен; и этому не поможет и ссылка на Пуассона (стр. 232).

Основные законы термодинамики, особенно второй, изложены мастерски. Желательны одно-два приложения второго закона к установлению связи между физическими величинами; например, и к теплотам испарения.

В главе о теплопроводности, мне кажется, следовало бы сказать о практически важном случае стационарного потока тепла в стержне.

Проф. Н. Андреев.

МЕДИЦИНА И НАРОДНОЕ ЗДРАВИЕ.

ТУБЕРКУЛЕЗ. Научный сборник № 1 Издание Народного Комиссариата Здравоохранения. Москва. 1922 г. 107 стр.

Секция борьбы с туберкулезом Наркомздрава после целого ряда справочников выпустила первый научный сборник. Содержание сборника можно разбить на 2 части. Первая часть: протоколы заседаний научной конференции секции. Всех заседаний было 14. Насколько можно судить по протоколам, темы докладов представляют большой научный и общественный интерес. Но только 3 доклада приведены в сборнике в оригинале; обо всех же остальных нет ни рефератов, ни указаний, были ли они где-нибудь напечатаны. Доклад В. А. Любарского «Туберкулез и недоедание» является результатом сделанных автором наблюдений над заболеваемостью туберкулезом и большой смертностью русских военно-пленных в лагере Ламсдорф в Германии. В этом лагере умерло 7000 русских, из них 4500 от туберкулеза. Всего же в Германии до 1918 г. умерло около 500.000 русских военно-пленных. Заболевали туберкулезом пленные и других национальностей, но не в таких размерах, и смертность среди них была ничтожна по сравнению со смертностью русских. Объяснение этому автор находит в понижении или полном исчезновении защитительных сил организма против туберкулеза у русских солдат вследствие хронического их голодания.

Вторую часть сборника составляют рефераты и обзоры новейшей иностранной литературы по туберкулезу, главным образом, по вопросам значения иммунитета в патологии туберкулеза и на тему о лечении рентгеновскими лучами. Несколько рефератов посвящено вопросу о связи между войной и распространением туберкулеза. Вообще подбор реферативных работ удачен, и рефераты отличаются ясностью и содержательностью. В конце сборника заметки информационного характера. По первому сборнику трудно говорить об его направлении; в значительной степени он носит характер хроники деятельности секции. Редакция сборника не говорит о целях и программе нового издания. Во всяком случае попытка возобновить в России орган, посвященный туберкулезу, будет встречена многими врачами с большим интересом.

В. Сукенников.

Проф. ВЛ. ДЗЕРЖИНСКИЙ. Краткий учебник нервных болезней для студентов и врачей. Всеукраинское Государственное Издательство. Екатеринослав. 1921 г. 10.000 экз. Стр. 334.

Неряшливо изданный, напечатанный на оберточной бумаге с массой ошибок и опечаток, часто мешающих усвоению текста «скорее конспект, а не учебник», как говорит в предисловии сам автор, нас не удовлетворил. В общей части даются сведения по анатомии и физиологии нервной системы и органов чувств, изложена симптоматология, методика исследования. В отделе частной невропатологии говорится о сотнях нервных заболеваний, при чем на ряду с обыденными, практически важными для каждого врача и студента формами сообщается о десятках крайне редких «экзотических» заболеваний и уродств. Отсюда получилось, что спинной сухотке и прогрессивному параличу отведено по страничке, а все психоневрозы — истерия, психастения, неврастения, травматический невроз уместились на трех. Некоторым страданиям нервной системы автор отдает преимущественное внимание, напр., «нейротропной кокцемии», как—едва ли удачно—назван нашумевший в прошлом году летаргический энцефалит, эпидемии которого автор наблюдал в Екатеринославе.

Проф. Дзержинского мы знаем по ряду интересных монографий, по большому числу клинических сообщений. Большому человеку можно предъявлять и большие требования. Учебник напоминает больше всего записанные прилежным слушателем лекции, наспех проредактированные профессором, на это, пожалуй, указывают выскочившие откуда-то посреди книжки девятая и десятая лекции.

Лучше, пожалуй, изложен отдел о терапии, но также с чрезвычайной перегрузкой материалом. Говорится в нем буквально обо всем: о терапии хирургической, ортопедии, массаже, гимнастике и упражнениях, электро-гидротермо-свето-терапии, климатотерапии и бальнеологии, диэтике и диэтотерапии, фармакотерапии, органотерапии, вакцинотерапии и, наконец, о психотерапии во всех ее формах.

Приложены рисунки и схемы, алфавитный указатель. Так как книга издана в 10.000 экземплярах,—количестве, для оригинальных учебников и в прежнее время неслыханном, то надежды на скорый выход ее дополненного, просмотренного и исправленного издания не имеется.

Д-р Л. Прозоров

Н. Я. ЧИСТОВИЧ. Профессор Военно-медицинск. академии и Петроград. Медиц. Институт. Курс частной патологии и терапии внутренних болезней. Том первый. Острые инфекционные болезни. Болезни органов кровообращения и дыхания. Болезни крови и кроветворных органов. Петроград. Государственное Издательство. 1922 г. 457 стр.

О том, насколько нам необходимы серьезные руководства по частной патологии и терапии, много распространяться не нужно. Это ясно всякому, кто знает, какие огромные затруднения испытывает современное студенчество вследствие острого недостатка учебников. Предмет, которому посвящена книга проф. Чистовича, является вряд ли не самым главным предметом высшей медицинской школы. Неудивительно, что именно по этому предмету студенты-медики имели всегда довольно богатый выбор книг, преимущественно переведенных с немецкого. Такие руководства, как Mering a, Strümpell'я, Kindborg'a, Kraus'a, Левина и др., являлись основными книгами не только студенческих годов, но и дальнейших годов врачебной работы. В настоящее время запас этих книг в конец исчерпан, а русских книг серьезных и достаточно полных почти не было и сейчас нет. Книга проф. Н. Я. Чистовича является в настоящее время одной из первых серьезных попыток дать полное руководство по частной патологии и терапии исчерпывающего для студентов и начинающих врачей содержания и заполнить, таким образом, острейшую нужду. Мы имеем пред собой пока I том задуманного труда, составленного, по словам автора, «в трудных условиях», несколько торопливо.

Это не могло не отразиться на обработке и, главное, полноте отдельных глав. Отдельные главы страдают недостаточной полнотой, особенно в области терапии. Вообще можно отметить некоторую неравномерность в расположении материала. Особенно незаслуженной краткостью страдают главы об острых болезнях, за исключением брюшного тифа. Совершенно опущена сонная болезнь (летаргический энцефалит). Вскользь упоминается об испанской болезни, при чем автор целиком сливает ее с инфлюэнцией, не упоминая даже о попытках выделения не только в клиническом и эпидемиологическом, но и этнологическом отношениях. Далее имеется, по нашему мнению, нетвердость в классификации. Так, напр., цынга относится к болезням крови. Вернее ее относить к болезням питания. Это позволило бы ее выявить в свете тех проблем, какие поставлены нам в области питания. Несмотря, однако, на эти незначительные в общем дефекты и краткость изложения, книга безусловно обладает большими достоинствами. К последним относятся хорошее живое изложение, свежесть научного материала и очень удачное с точки зрения научно-педагогической расположение материала. Все это делает книгу даже независимо от теперешнего книжного кризиса ценным вкладом в научную медицинскую литературу. Надо пожелать, чтобы поскорее был издан следующий том, который вместе с изданным составит не только ценное пособие по частной патологии и терапии для студентов, но и книгу, интересную для врачей, оторвавшихся от научной работы и желающих в сжатом и систематизированном виде познакомиться с современным состоянием клиники и терапии внутренних болезней.

Д-р И. Гельман.

СБОРНИК РАБОТ ПО АКУШЕРСТВУ и ГИНЕКОЛОГИИ. Под редакцией проф. К. Скробанского и прив.-доц. Ф. Ильина. Том I. Москва. 1921 г. Издание Комиссариата Здравоохранения. Стр. 130.

Сборник издан по инициативе Народного Комиссариата Здравоохранения и составлен Петроградским акушерско-гинекологическим обществом. На ряду с большим числом чисто специальных работ есть несколько статей, отражающих влияние войны и последующих лет на здоровье женщин. В двух статьях Ильин приводит десятки случаев нарушения физиологических особенностей женского организма на почве пониженного питания. К. Скробанский ожидает прогрессирующего падения прироста населения вследствие уменьшения количества зачатий, огромного числа искусственных выкидышей и наростания случаев мертворождений. В то же время, как указывают оба автора, родовспомогательная помощь в России далеко несовершенна и в этой области нужны срочные улучшения. Можно приветствовать и появление сборника и пожелать, чтобы издание его послужило первым шагом к возрождению «Журнала акушерства и женских болезней», издававшегося обществом до 1917 года.

Д-р В. Сукенников.

Р. А. ЛУРИА. Отечная болезнь (Odemkrankheit). Клинические лекции с 14 рисунками на таблицах. Казань. 1922 г. 70 страниц.

Отечная болезнь, спутник хронических голодовок в России, захватившая особенно широкие слои населения в течение последних лет в связи с мировой и гражданской войной и огромным неурожаем, до сих пор не изучена в полной мере ни этимологически ни клинически. Специальная медицинская литература не уделяла освещению этого вопроса с чисто научной точки зрения достаточного внимания. И потому, кроме нескольких небольших статей, появившихся в медицинских журналах, мы ничего не имеем об этой ставшей почти бытовой у нас болезни. Само выделение этой голодной болезни в самостоятельную клиническую единицу принадлежит не русским, а немцам, которые могли изучить эту болезнь сначала в лагерях для военнопленных, а затем и над гражданским населением по мере того, как призрак голода простирал

свои крылья и над Германией. Этот вопрос привлек к себе интерес не только клинический, но и научно-практический, ибо он тесно переплетен с вопросами питания, с оценкой питательного значения различных пищевых веществ и их суррогатов. Поэтому горячо надо приветствовать всякую научную попытку осветить этот вопрос. Книга Луриа достаточно серьезно и добросовестно написана, чтобы удовлетворить потребности в литературе, посвященной отечной болезни. Она отчасти основана на личных клинических наблюдениях автора в терапевтическом отделении Казанского клинического института, отчасти на изучении обширного литературного материала, преимущественно немецкого. К сожалению, клиническое обследование больных в клинике д-ра Луриа не было достаточно полно. Для этого не хватало лабораторных материалов и приспособлений. Поэтому наибольший интерес в книге представляет изложение работ и выводов в этой области, имевших место в Германии (Knaek, Neumann, Feigl и т. д.) Поэтому вся работа Луриа может рассматриваться, как литературный обзор вопроса об отечной болезни, иллюстрируемый личными наблюдениями. И, как таковой, он безусловно заслуживает внимания всех врачей, интересующихся не только вопросами о сущности и клинической картине отечной болезни, но и вопросами питания, усиленно разрабатывавшимися в последнее время в Германии и у нас. В книге целая лекция посвящена именно этим новейшим вопросам питания, при чем все изложение легкое и доступное остается все время строго научным. Книга Луриа, несомненно, заслуживает того, чтобы с ней ознакомился всякий клинический врач и всякий научный работник в области физиологии и патологии питания.

И. Гельман.

В. МАЧИНСКИЙ. Крестьянская изба и двор. Москва, 1922 года. 42 стр. Издание Народного Комиссариата Здравоохранения.

Изданная Народным Комиссариатом Здравоохранения книжка В. Мачинского «Крестьянская изба и двор» появилась как нельзя более кстати. В то время, как в городе мы наблюдаем полный паралич строительной деятельности, деревня весьма интенсивно обстраивается. По мере укрепления крестьянского хозяйства, его большей устойчивости—это строительство будет расти. К сожалению, застройка нашей деревни совершается в тех же отсталых формах, с теми же неудовлетворительными приемами, что и встарь—русскому крестьянству попрежнему чужды санитарные и противопожарные требования в строительном деле, совершенно неизвестны современные принципы и приемы планировки и застройки. С другой стороны, и со стороны заинтересованных в этом деле ведомств не проявляется той инициативы и активного интереса, какого в нашей стране заслуживает сельское строительство. Книга В. Мачинского будет, несомненно, способствовать усилению интереса к исключительной по важности проблеме со стороны государственных органов и местной власти. Вместе с тем она является, очень ценным просветительным пособием в руках читателя крестьянина-строителя.

Книжка разделена на восемь глав. В первой дается краткая характеристика двора в северной, средней и южной полосе России, тип которого обусловливается, главным образом, приспособлением крестьянина к географическим и климатическим особенностям края. Вторая глава трактует о недостатках крестьянской избы как в санитарном, так и в пожарном отношении. В третьей главе дан краткий очерк того, что со времен Павла I сделано правительством и земствами в деле улучшения сельского строительства. Остальные главы посвящены изложению тех улучшений, которые автор предлагает в отношении выбора и использования материалов для постройки, техники и приемов сельских построек, планировки избы, двора и селения. Эта часть книги изложена чрезвычайно кратко.

Книжка написана простым популярным языком, доступным пониманию любого крестьянина, и снабжена показательными планами и чертежами, иллюстрирующими текст. К сожалению,

некоторые рисунки, на которые автор ссылается в тексте, вероятно, по современным техническим причинам, не приложены.

Пожелаем книге широкого распространения в нашей деревне.

В. С. Гуревич.

Проф. В. А. ОППЕЛЬ. Успехи современной хирургии. Изд. З. И. Гржебина. Петроград. Берлин. 1922 г. Стр. 170.

Как видно из содержания книги, проф. Оппель хотел ознакомить широкую публику с современным состоянием хирургии. С этой стороны, конечно, книгу можно было бы только приветствовать. Но... проф. Оппель рассматривает предмет с несколько, мы бы сказали, ограниченной точки зрения, и книгу было бы правильнее назвать—успехи современной оперативной хирургии, т. к. в ней описываются только завоевания именно оперативной техники и совершенно обходятся все успехи хирургии, так сказать, консервативной. Так, проф. Оппель совершенно не упоминает, говоря о лучах Рентгена (стр. 122), об их терапевтическом применении, ни слова не говорит о применении радия, не упоминает о лечении воспалений активной гиперемии по Виру, о лечении болезней костей и пр. и пр.

Конечно, это обстоятельство значительно понижает ценность книги, так как именно у широкой публики может создаться впечатление, что вся современная хирургия построена только на «кровавой» технике, что, конечно, не верно.

Поэтому нам кажется, что, если бы вместо мало интересных для широких слоев рассуждений о том, поскольку хирургия является искусством (стр. 10), длинного описания операционных успехов, книга более систематично описывала бы успехи хирургии не только как искусства и техники, но и как биологической отрасли медицины в лечении различных форм заболеваний, отмечая все здесь сделанное и все перспективы в этой области—она была бы гораздо более интересна и полезна. Издана книга опрятно.

Д. Перуанский.

АРХИВ КЛИНИЧЕСКОЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ. Ежемесячный журнал № 2—3 под редакцией проф. Н. Петрова, проф. Д. Плетнева, проф. Б. Словцова и проф. Л. Тарасевича. Издательство «Научная Медицина». Москва—Петербург. 1922 года. 168 страниц.

Журнал, который, несомненно, должен занять прочное место в среде научно-медицинских журналов. Он почти свободен от мелочно-медицинской казуистики, которая нередко делала и делает тягостно - скучными наши врачебные журналы. Отдельные клинические случаи, интересные только для самого автора, ничего нового не освещающие, походящие на хорошие студенческие истории, болезни, заполняют часто страницы наших журналов, и в них нередко теряются и тонут серьезные работы, проникнутые творческим огнем и, действительно, освещающие те или иные уголки научной медицины. Этот казуистический стиль медицинских журналов, заимствованный из Германии, нами утрируется до крайности и приводит к переполнению наших журналов чрезмерным балластом. Конечно, из этого не надо делать вывода, что клинической казуистике совсем не должно быть места в медицинских журналах. Она имеет право на существование, но она должна тщательно просеиваться, чтобы все много раз повторяющееся было исключено. Она должна служить лишь материалом для обобщений или для обзоров, освещающих новые течения в вопросе. Архив Клинической Медицины в этом отношении свободен от упрека. Казуистики в нем мало и она не нарушает необходимой правильной пропорции. Статьи посвящены интересным вопросам современной клинической медицины. Статья проф. С. П. Федорова дает краткий анализ механизма образования желчных камней. Интересная статья С. С. Быховского: «Мозговые полиплегии травматического происхождения», разрабатывает большой материал военного времени, прослеженный в Московском Травматологическом Институте. Далее надо отметить статьи проф. С. И. Ключарева: «К материалу о патогенезе инфантилизма», проф. В. А. Барыкина—«О возбудителе сыпного тифа»,

Е. Ворониной и т. д. Проф. В. Барыкину удалось выделить микробион, получить из него культуры, и его прививкой вызвать на морских свинках картину экспериментального сыпного тифа. Е. Воронина в небольшом автореферате, сообщает целый ряд новых данных о водной фауне, бросающих свет на инволюцию и эволюцию холерного вибриона.

Кроме этих содержательных статей, подводящих итог длительным работам и наблюдениям, надо отметить небольшой, но хорошо составленный отдел рецензий, посвященный преимущественно иностранной литературе. Рецензии сжато излагают содержание новейших американских работ в области микробиологии, работ проф. А. Безродка в области иммунитета и т. д.

Таким образом, вся книга журнала оставляет впечатление не только серьезной попытки создать хороший медицинский журнал, но и определенных положительных достижений в этом направлении.

Черезчур обильное размножение медицинских журналов в последнее время объясняется продолжительным голодом в этой области и накоплением большого материала. Но по мере удовлетворения первых острых голодных ощущений, журнальная волна должна начать спадать. Должен начаться процесс кристаллизации и собирания. Это позволит сохранившимся в этом отборе журналам стать устойчивыми и длительными с своей аудиторией постоянных читателей. И в этом неизбежном процессе отбора и кристаллизации Архиву Клинической и Экспериментальной Медицины предстоит стать одним из таких собирающих журналов, превратиться не в спорадическое явление в области журнальной литературы, а в постоянный серьезный журнал клинической мысли и эксперимента.

Д-р И. Гельман.

ЖУРНАЛ КАЗАНСКОГО МЕДИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. Выпуск I. 1921 г. Казань. Государственное Издательство. Стр. 280.

Уже в самом названии общества подчеркнуто сближение антропологии с медициной в противовес дореволюционному официальному состоянию антропологии, как придатка географии. Задачи журнала—изучение вопросов антропологии и соприкасающихся с ней областей медицины. Понятно желание редакции связать журнал с изучением народностей Волжско-Камского края, духовным центром которого является Казань. Как и следовало ожидать, краевым вопросам в научном журнале не может быть уделено много места, и почти весь выпуск журнала посвящен общим вопросам. Нет, однако, основания смотреть на антропологию, как на нечто всеобъемлющее, и круг вопросов антропологии, этой «обобщающей естественной истории человека», все же ограничен. Поэтому статьи проф. Геннадьева «К морфологии чести» и проф. Тушнова «Сперматоксический иммунитет, как биологический способ избежания материнства» были бы более уместны в специальных медицинских органах или в общей медицинской печати, а не в антропологическом журнале. Большую и интересную статью дает редактор журнала Б. Н. Вишневский. Он излагает историю антропологии, как науки, ее систему, развитие методов антропологических исследований (антропометрия, определение цветности, географический метод, посемейное изучение и др.) и останавливается на преподавании антропологии за границей и у нас, при чем большие надежды возлагает на исследовательные антропологические институты, которые должны возникнуть при всех русских университетах. Б. Н. Вишневскому принадлежат еще две статьи, библиографические обзоры и многочисленные рефераты иностранных и русских работ по антропологии. Офтальмолог Груздев в статье «Антропология и офтальмология» исходит из расовых особенностей анатомического строения глазной орбиты и из связанных с ними функциональных способностей глаза, быть-может, и заболеваний, и выдвигает на очередь собирание антропологических данных в богатом различными народностями Казанском крае. Проф. Чепурковский (Кострома) дал разработку 27.000 наблюдений над цветом глаз и волос в связи с головным ука-

зателем, сделанных им у солдат из разных областей России. Ф. Я. Дуденков (Иваново-Вознесенск) сообщил данные прибыли в весе и росте в связи с наступлением зрелости у 100 индивидуумов, находящихся под наблюдением более десяти лет. Интересна и статья П. И. Кругликова из области психологии первобытного человека «Обряд посвящения у малокультурных народов». Большой библиографический материал, рефераты и обширный отдел известий и заметок об антропологических журналах, о деятельности антропологических и евгенических обществ и съездов, о новых работах в области антропологии и движении населения и проч.—дополняют основной научный материал. В целом перед нами специальный журнал, имеющий большое общеобразовательное значение.

Д-р В. Сукенников.

Государств. Краевой институт микробиологии и эпидемиологии Юго-Востока России.—ВЕСТНИК МИКРОБИОЛОГИИ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ под редакцией С. М. Никанорова и С. А. Иловайского Т. I. Выпуск I. 1922. Саратов. 76 стр.

Радушным приветствием хотелось бы нам встретить скромную, тоненькую книжку нового научно-медицинского журнала. И это не только потому, что мы бедны, что еще недавно с величайшим трудом добывали медицинскую литературу—и свою русскую, чуть ли не с бо́льшим трудом, чем иностранную. Тесная связь между новым печатным органом и институтом, изучающим громадную область России в специальном направлении и с определенными практическими целями вызывает повышенный интерес и располагает в пользу саратовского издания.

Из специальных работ останавливают на себе внимание две статьи С. Н. Никанорова по чумному вопросу. Они содержательны и вместе с тем сжаты. Настоящее их место—в каком-нибудь широко распространенном медицинском журнале, тем более, что вопрос о чуме—вопрос животрепещущий не только для нас, но и для наших зарубежных соседей. Затем можно отметить сообщение д-ра Китаева о множественной инфекции малярийными паразитами, в котором автор не ограничивается чисто казуистическим изложением и делает подход к возможным выводам. Остальные статьи, помещенные в книжке, имеют интерес весьма условный. Они напоминают старательные, но не всегда удачные ученические работы.

Предполагая, что эти строки предназначаются, главным образом, для медиков, я позволю себе остановиться на каком-нибудь примере и обосновать свое суждение. Возьмем хотя бы статью об исследовании крови в «толстой капле». Она не дает никаких новых сведений и просто знакомит нас с личными впечатлениями автора. Но у «толстой капли» всегда были и будут свои сторонники и противники. Автор относится к первым, только его статья навряд ли убедит вторых. Да и способ окраски Methyleublau-Fuchsin'ом давным-давно употребляется (напр., при исследовании гноя на присутствие гонококков) и в то время, как в цитируемой статье рекомендуется количественно «подобрать наилучшую комбинацию» этих двух красок, C. Fraenkel, Pick Jacobson и др. указывают вполне определенные пропорции для смеси (8 капель M. B.+15 resp. 45 капель K F.). Итак, если исключить названные выше две-три статьи, центр тяжести первого выпуска «Вестника» приходится видеть в хронике и других сообщениях информационного характера. Им и отведено девятнадцать из 69 стр. текста, т.-е. четвертая часть книжки, и почти столько же—рефератам и рецензиям. Если деятельность Краевого института будет углубляться, эти страницы неизбежно превратятся в специальные «бюллетени», «регулярные периодические» известия или «хронику» наподобие заграничных информационных изданий. Статьи же с научным содержанием должны будут перейти краевые границы и занять место в широкой медицинской прессе с международным кругом читателей. Исход естественный и желательный при условиях переживаемого времени.

Несколько слов о технической стороне издания. Печать и бумага—сред-

него качества. Много мелких опечаток. Не указаны источники, откуда переведены иностранные рецензии. Resumès, на французском языке не лишены нижегородских оборотов речи. Таблицы очень хороши.

Над Д' Амелиус.

РУССКИЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, издаваемый обществом глазных врачей в Москве, под редакцией В. П. Одинцова и М. О. Авербаха. Москва. 1922 г. № I. Стр. 115.

В конце 1917 г. прекратил свое существование журнал «Вестник Офтальмологии», редактировавшийся проф. С. С. Головиным и насчитывавший не менее 35 лет. В течение 5 лет русские офтальмологи были лишены специальной литературы на русском языке и более 7 лет—иностранной.

Приветствуя появление «Русск. Офт. Журн.» и выражая пожелание ему полного расцвета, мы не можем не констатировать, однако, что журнал этот только по недоразумению носит название «русского»: в нем нет никакого отражения, никакого отзвука огромных, мировых событий, ареной которых явилась наша родина. Прошло 7 лет, две кровавые войны пронеслись над страной, были губительные эпидемии, охватившие русские города и веси, была разруха, пол-России охватил голод,—и в журнале ни одной статьи, выявляющей, несомненно, существующую связь между моральными и материальными потрясениями населения и ростом глазных заболеваний, напр., главкомы; нет указаний на положение окулистической помощи в РСФСР, никакого учета и сведений о бесчисленных жертвах войн—инвалидов-слепцов, о степени расширения сфер распространения трахомы, болезни голода и некультурности, в связи с переселением народов с севера на юг и восток, в хлебородные губернии и обратной тягой со времени окончания гражданской войны и голода в Поволжьи. Точно авторы уснули в 1913 г. и, проснувшись в 1922 г., дописали свои статьи и сдали их в печать...

Первый номер «Русск. Офт. Журн.» посвящен чисто клиническим вопросам и открывается обстоятельной статьей проф. В. П. Одинцова: «Клинические наблюдения над операцией Эллиота». Операция эта направлена против главкомы и заключается в трепанации склеры для получения постоянно-фильтрующего рубца. Статья страдает излишними подробностями и отражает эклектизм автора. Проф. Одинцов недостаточно подчеркивает противопоказания к производству этой операции. Нищета и некультурность, трахома и другие глазные болезни, усилившиеся в РСФСР за последние годы, значительно уменьшают шансы этой операции вытеснить классическую антиглавкоматозную придектомию. Необходимо предостеречь провинциальных товарищей от производства этой операции во всех тех случаях, когда можно ожидать загрязнения глаз нечистоплотными руками. Позднее заражение глаза после этой операции—вот могила надежд многих главкоматозных больных.

Модному увлечению—«парэнтеральному применению молока» отдана дань врачом М. А. Робинзон. Подытоживая свои и чужие результаты, автор приходит к заключению, что молоко действует только резорбирующим образом,—действие его быстрое и не прочное. В общем, действие его сказывается незначительным и большей частью субъективным улучшением.

Обзор иностранной литературы В. Алексеевой знакомит нас с новым прибором, значение которого для будущего офтальмологии громадно. Аппарат этот изобретен в 1911 г. Gullstrnd'ом и и называется Nernstspaltlampe. Он служит для микроскопирования живого глаза и устроен таким образом, что глаз освещается не самим источником света, но его изображением в щели. Как источник света Gullstrand употребляет палочку из смеси различных окислов металлов: магния, тория и церия, т. н. Nernst-Körper. Для изучения освещенного этой лампой глаза употребляется корнеальный микроскоп Zeiss'a или микроскоп Abbe. Благодаря этому прибору удается видеть в глазу тонкое гистологическое строение тканей, что

ранее достигалось только изучением на мертвых препаратах.

Остальные статьи: д-ра Самойлова «Исследование слепого пятна при главкоме», М. Благовещенского «К дегенеративным изменениям в роговой оболочке» и В. П. Страхова «Случай серозной кисты радужной оболочки и циллиарного тела» представляет значительно меньший интерес.

Д-р Е. Трапезонцева.

МЕДИЦИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА — периодическое издание, посвященное вопросам медицины и медицинского издательства, под редакцией И. А. Багашева, Е. И. Кватора и Н. Г. Фрейберга, 1. Издания Народного Комиссариата Здравоохранения. Москва. 1922 г. 56 стр.

Еще один медицинский журнал, кажется, 45 или 46-ой в настоящее время. В первое время, когда только развертывалось медицинское издательство, приходилось радоваться всякой новой книге, всякому новому журналу. Но по мере того, как число медицинских книг, особенно журналов, увеличивается, должны повышаться и требования, предъявляемые к ним. Нам необходимо уже не только количественное восстановление нашего медицинского издательства, но и качественное. И вот с этой-то точки зрения лежащий перед нами новый журнал, нам кажется, не оправдывает ни по идее, ни по выполнению средних требований, которые мы можем к нему предъявить. Уже само заглавие обнаруживает некоторую спутанность и неуверенность в понимании задач журнала его редакций. «Медицинская Библиография» — заглавие весьма ясное, определяющее в полном масштабе содержание журнала. Но редакция в пояснительном заглавии вводит сюда еще вопросы медицины, гигиены, которые, конечно, находят себе отражение гораздо более полное в медицинских журналах, специально им посвященных.

Неуверенность в правильности и достаточной обоснованности содержания этого нового журнала делает его пестрым, собранным из отдельных случайных кусков. Случайным следует назвать обзор И. Д. Страшуна: О литературе по борьбе с курением табака в Германии. Обзор Н. А. Семашко: «О вопросах питания в новейшей литературе» уже, кажется, был напечатан, по крайней мере в значительной части, в Известиях В. Ц. И. К. и потому новизной не отличается. Из обзоров интересны только небольшой обзор о новой Сибирской бальнеологической литературе — Мультановского, знакомящий нас с мало доступными нам и мало изученными курортами Сибири. Еще более интересен и потому резко выделяется из всего материала обзор А. И. Абрикосова—о патологической анатомии и патогенезе эпидемического гриппа.

Казалось, наибольшей полноты и интереса следовало бы ожидать от статьи одного из редакторов журнала—Е. И. Кватера—об издательстве Народного Комиссариата Здравоохранения за все время его существования. Увы, мы не имеем в ней ни картины издательской работы Н. К. З., ни изложения тех идей, которыми она руководилась, ни даже простого перечисления всех вышедших изданий Н. К. З. Статья смахивает на бюрократическую отписку о количестве названий и экземпляров листовок, брошюр, книг и журналов.

Что касается самой медицинской библиографии, то она очень бедна. Нет даже простого перечисления всей медицинской литературы, вышедшей за последнее время, что было бы очень желательно иметь.

Таким образом, приходится констатировать, что 1-ая книжка нового журнала не дает никакого удовлетворения даже скромным запросам во области медицинской библиографии. Последняя полнее представлена во многих общих медицинских журналах. А поскольку медицинская библиография пытается дать и статьи-обзоры по научной медицине, то в этой области ей не угнаться за большинством медицинских журналов.

Понятно поэтому, что у нас возникает вопрос: нужен ли этот новый медицинский журнал? Способен ли он кого-нибудь удовлетворить? На эти вопросы пусть нам будет разрешено дать ответ после выхода 2-ой книжки журнала.

И. Гельман.

А. Ф. ЖОРНО. Молочная кухня для вскармливания грудных детей. Руководство к устройству молочной кухни и производство работ в ней. 2-ое дополненное издание. Государственное Издательство. 1922. Стр. 155.

Наблюдающаяся высокая смертность среди искусственно вскармливаемых детей грудного возраста выдвинула необходимость в специальных «консультациях» и «молочных кухнях», т.-е. таких учреждениях, где матери получали бы как врачебный совет, так и пищу для детей из доброкачественного молока, правильно приготовленную сообразно с возрастом и состоянием здоровья ребенка. Сведениям о молоке и его свойствах, другим молочным продуктам, технике изготовления молока и приготовлению пищи, рациональной постановке молочных кухонь,—словом, теоретическому обоснованию и практическому выполнению задачи посвящена книга Жорно. Как практик, автор не оставил без внимания ни одной стороны этого сложного дела, начиная от момента получения молока до выполнения врачебных рецептов и ведения отчетности. Как талантливый лектор, он сумел, несмотря на необходимые отступления в области физики, химии и физиологии, изложить весь материал настолько понятным языком, что книга читается с большим интересом. Книга Жорно снабжена 43 рисунками и вышла 2-м изданием. В последующих изданиях желательно было бы разбить весь материал на большее количество отдельных глав, включив в них и многочисленные уже теперь добавления. Выбор книги Жорно для печати следует отметить как один из удачных, и книгу можно рекомендовать не только специалистам, но и широкой публике.

В. Суконников

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ.

П. И. БИРЮКОВ. Биография Льва Николаевича, Толстого. Том третий с иллюстрациями. Государственное Издательство. Москва. 331 стр.

Подобно первым двум томам, недавно появившийся третий том представляет драгоценнейшие материалы для биографии Льва Толстого. Это сырье, лишь хронологически систематизированное П. И. Бирюковым, да и то в самых общих очертаниях, потребует от читателя большой напряженной работы, которую иной биограф, вооруженный какой-либо точкой зрения на материал, кроме стремления сыпать все в одно место, значительно облегчил бы.

В руках Бирюкова имеются архивные документы первостепенной важности; ими книга перенасыщена: целыми страницами тянутся ссылки на различные неопубликованные данные, перемежающиеся обширными извлечениями из уже известных печатных сочинений о Толстом—и зачертить лик писателя, установить четко все зигзаги его духовного развития чрезвычайно трудно, так как хаотично разбросаны материалы, без критического аппарата вбрасывалось многое из того, что могло быть опущено. Личное «толстовство» помешало к тому же отчетливо наметить сложность и дисгармоничность русского гения, скептицизм «учителя» к «ученикам» и все то внутренно противоборствующее», что делает из Толстого неизмеримо высшее, чем рисуемое нам, так называемыми, его последователями. Но глубокая признательность читателя к труду П. И. Бирюкова не уменьшается от слабой архитектоники книги и отсутствия в ней свободного воззрения биографа на любимого им человека—мыслителя и писателя. Третий том охватывает 1884—99 годы,—тот период, когда жизнь и деятельность Толстого стали приобретать мировое значение, когда Ясная Поляна сделалась духовным центром всего мыслящего человечества, с другой стороны, когда в личной жизни Толстого резко

определилась та трагедия, которая не покидала его вплоть до знаменитого ухода,—когда борьба художника и проповедника давала видимый перевес религиозно-моральной пропаганде.

Впервые нестерпимо стало от «безнравственной праздности» окружающей жизни в июне 1884 года; «мне стало ужасно тяжело... я хотел уйти совсем, но ее беременность заставила меня вернуться с половины дороги в Тулу́».

В следующем году опять разыгралась страшная сцена: Толстой пришел сказать Софье Андреевне, что хочет с ней разводиться, что жить с ней не может, что он поедет в Париж или Америку. Обычно, этот эпизод рассматривается под углом «вины» жены Толстого, но пора оценивать его в связи преимущественно с личностью самого Толстого, трагедия которого была в том, что он не был в силах разорвать этот союз, для которого семейная драма была источником возбуждения покаянных чувств и сознания умиления в себе. В этой драме не менее страдающим лицом была и Софья Андреевна... Ее письма (на стр. 20—22) к сестре и письмо Толстого к Черткову (стр. 21) заслуживают пристального внимания психолога.

Для характеристики «эгоцентризма» Толстого исключительный интерес имеют выдержки из его дневников, где он рассказывает о ночных голосах, требующих от него «обличения зла мира»: «верю, что во мне сила Твоя, данная для исполнения дела Твоего. Дело же Твое в том, чтобы преувеличивать силу Твою в себе и во всем мире». Но на той же страничке он, чувствуя себя «орудием», «органом Бога», записывал: «не то, совсем не то!» И в сущности вся книга то и дело говорит, как внутренний голос часто говорил Толстому в его скитаниях по заколдованному кругу отвлеченных рационалистических построений: «не то, не то»... Если «толстовец» с радостным чувством читает длинные запутанные соображения Толстого о религиозных вопросах, то не впавшему в это настроение совсем иначе освещаются геометрические чертежи Толстого, которыми он пытался разрешать религиозно-нравственные проблемы,—в споре между Тургеневым и Толстым невольно становишься на сторону первого. Не даром и «великий писатель земли русской», взявшись за статью о науке и искусстве, по собственному признанию, «запнулся», в то же время признаваясь: «как бы хорошо писать роман, освещая его «теперешними взглядами»... В третьем томе не раз рассказывается о незавершенных художественных планах Толстого (стр. 83, 120 и др.), о борении проповедника, признававшего свои поэтические писания «незрелыми и слабыми», в том же письме мечтавшего: «иногда хочется все-таки писать и, представьте себе, чаще всего именно роман широкий, свободный в роде «Анны Карениной», в которой без напряжения входило бы все, что кажется мне непонятным мною с новой, необычной и полезной людям стороны». Есть что-то за пределами человеческого, поистине «по ту сторону добра и зла», когда представляешь Толстого, на закате жизни спокойным голосом говорящего его трудолюбивому биографу: «Вот вы пишите про меня все хорошее. Это неверно и неполно. Надо писать и дурное. В молодости я вел очень дурную жизнь, и два события этой жизни особенно и до сих пор мучают меня. И я вам, как биографу, говорю это и прошу вас это написать в моей биографии. Эти события были: связь с крестьянской женщиной из нашей деревни, до моей женитьбы. На это есть намек в моем рассказе «Дьявол». Второе—это преступление, которое я совершил с горничной Гашей, жившей в доме моей тетки. Она была невинна, я ее соблазнил, ее прогнали, и она погибла. В этом бесстрашии и муках духа Толстой приближается к Достоевскому, являет свое великое и подлинное лицо. П. И. Бирюков приводит много важных признаний Толстого о связи фактов его жизни с темами его художественных и *публицистических* творений,—только что приведенное вошрается «Воскресеньем», как один из автобиографических элементов этого романа. Для уяснения процесса творчества, как от первоначальной записи замысел превращался в законченную форму, важны данные на стр. 145, 275.

Нельзя не пожелать скорейшего завершения монументального труда П. И.

Бирюкова,—из современных биографов Льва Толстого автор трехтомного труда располагает большими возможностями для написания последнего четвертого тома, включающего последние годы последней великой славы русской литературы дворянского периода.

Н. Бродский.

Н. Е. ЭФРОС. Александр Николаевич Островский. Петербург. «КОЛОС». 1922. Стр. 112.

Широкими мазками набросанный этюд достаточно полно вскрывает факты жизни и творчества А. Н. Островского. Автор любовно лепит фигуру драматурга, отбрасывая как упреки некоторых критиков, будто Островский был только фотографом, бытовиком, так и утвердившееся представление об авторе «Грозы», как писателе-обличителе. Для биографа в Островском «гораздо больше гуманности, чем сатирической желчи, добродушия, чем гнева, и понимания, чем негодования». Вслед за автором «театральных прелюдий» Н. Е. Эфрос убежден, что у Островского «обобщенные события, и факты, и речь,—обобщенный быт, но быт не ради быта, а быт ради раскрытия высшего, светлого начала в мире, живущего в душе человека и через нее свободно проявляющего себя». Горячо, почти патетически, развертывает эти тезы в нескольких главах автор рецензируемой книжки, вплетая в них историю сценических воплощений пьес Островского, давая меткие характеристики современных актеров. Приближающаяся столетняя годовщина со дня рождения великого драматурга (31 марта 1923 года) заставляет обратить особенное внимание на этюд Н. Е. Эфроса: он хорошо ориентирует интересующегося русской драматургией. Следовало бы душевный облик Островского резче зарисовать—обширная мемуарная литература дает не мало любопытных фактов, рисующих более пеструю жизнь драматурга, чем та «тишь да гладь», которые видит наш биограф. Для малоподготовленного читателя мало будут значить частые упоминания о некоторых современниках Островского, напр., об Ап. Григорьеве, сопровождающиеся слишком общими характеристиками. Разработанный вне историко-литературной рамы этюд Н. Е. Эфроса не дает для драматургии Островского никаких скреп, что, по нашему мнению, даже в популярных книжках снижает ценность материала; ограничиться случайно брошенным указанием, требующим подтверждения и, во всяком случае, нуждающимся при новом понимании творческого пафоса Островского в теоретических и фактических доказательствах, что «Островский есть прямая эволюция Гоголя»,—ограничиться этой мнимой аксиомой слишком недостаточно. Если есть глава—«типы и темы», должны быть главы о драматургической композиции и языке Островского.

Н. Бродский.

СОБОЛЕВСКИЙ, ДРУГ ПУШКИНА. Со статьей В. И. Саитова: «Парфенон». П., 1922. 48 стр.

Эта книжка является, прежде всего, перепечаткой статьи о С. А. Соболевском Саитова из «Сборника статей в честь Д. Ф. Кобеко», изданного в Петрограде в 1913 году. Это лучшее, что было написано у нас о Соболевском. Прекрасный знаток Пушкина и его эпохи, В. И. Саитов исчерпал в статье все материалы печатные и привлек некоторые неизданные материалы архивные. Впрочем, не все было доступно исследователю; напр., около ста писем от Соболевского имел Я. Ф. Березин-Ширяев, но они пока неизвестно где находятся; рукописный фонд Соболевского был приобретен гр. С. Д. Шереметьевым и хранился в архиве села Михайловского, но тоже пока не разработан.

Наконец, «драгоценную библиотеку Соболевского, состоявшую из 25 000 томов, купил за 25 000 талеров лейпцигский книгопродавец Альберт Кон и распродал ее по частям» (!).

Второй составной частью являются письма Пушкина к Соболевскому (счетом десять), взятые из собраний сочинений Пушкина; к ним присоединено

единственное известное в печати письмо Соболевского к Пушкину.

К письмам примыкает статья Соболевского «Таинственные приметы в жизни Пушкина», взятая из «Русского Архива» 1870 г., перепечатано и послесловие П. И. Бартенева. В свою статью Соболевский включил и личные воспоминания и показания других, собранные им из печатных источников.

Затем из сборников эпиграмм Соболевского, изданного В. В. Каллашом, выбраны эпиграммы, «относящиеся к Пушкину»,—их оказалось мало, и ради полноты в эту группу включены и эпиграммы на Льва Сергеевича Пушкина.

Ценнее следующий отдел: «Отзывы Соболевского о Пушкине»—из писем к Шевыреву, Ив. Киреевскому, Рожалину, извлеченные из «Русского Архива», «Старины и Новизны» и «Былого».

Замыкают сборничек эпиграммы Соболевского на Шаликова, Бор. Федорова, Мих. Дмитриева, Кетчера, Вигеля и других литераторов—из того же издания Каллаша.

Сборник составлен при содействии Н. О. Лернера С. Я. Штрайхом, которому принадлежат и примечания, не очень обширные, но деловитые.

В книжке, как видим, нет ничего нового, неизданного. Но и для специалистов-пушкинистов и для любителей историко-литературного чтения она удобна тем, что сосредоточивает в одном издании разбросанные, но однородные элементы. Нельзя не пожалеть, что не приложен список печатных работ Соболевского; этого было естественно ждать от таких осведомленных участников сборника, как В. И. Саитов и Н. О. Лернер.

Н. Пиксанов.

ИННОКЕНТИЙ АННЕНСКИЙ. Пушкин и Царское Село. Изд. «Парфенон». Ст. 1921. 24 стр.

Книжка разочарует тех, кто думал бы найти в ней нечто новое. Это — простая перепечатка брошюры И. Ф. Анненского, изданной в 1899 году в Петербурге,—с явным расчетом на популярность имени автора. Между тем, эта «речь», произнесенная директором Николаевской гимназии И. Ф. Анненским 27 мая 1899 года на Пушкинском празднике в Китайском театре в «Царском Селе», носит на себе все приметы торжественных речей и не блещет ни глубиною, ни обстоятельностью.

В ней всего понемногу — и цитат из стихов Пушкина о Царском Селе, и биографических справок о жизни поэта в лицее. Есть кое-что и лишнее: цитаты из «Заклинания», из «Анчара», из «Анжело» и других произведений, нисколько не связанных с Царским Селом.

Тот же самый сюжет о Царском Селе в жизни и поэзии Пушкина можно было бы теперь разработать глубже и обширнее. И если уже надо было непременно перепечатывать старую речь Анненского, то следовало редакции «Парфенона» снабдить ее хотя бы дополнительными библиографическими указаниями (напр., на труды о Пушкинском лицее Грота, Кобеко, Гастфрейнда).

Проф. Н. Пиксанов.

ТЮТЧЕВ. Сборник статей, редакция А. Л. Волынского. Изд. «Парфенон». Пб., 1922 г. Стр. 110.

Всякого, взявшего в руки эту тоненькую книжечку в приятной обложке на меловой бумаге, ждет неминуемое разочарование. Во-первых, редакторство А. Л. Волынского выразилось едва ли только не в выставлении его имени на обложечном листе для вящшей приманки; во-вторых, сборник целиком образован перепечаткой старых, давно известных статей.

Вслед за коротким введением «От составителя», Александра Тинякова, следует, очевидно, в качестве руководящей, его же статья из «Северных Записок» за 1913 г. Затем под общим заглавием «Критика о Тютчеве—обзор» даны в бо́льших или меньших извлечениях статьи Некрасова, Тургенева, Фета, Соловьева, Горнфельда, Брюсова и выдержки из книг Аксакова, Волынского, Саводника и Дарского.

Цель «обзора» не ясна. Если составитель хотел проследить историю твор-

чества Тютчева в среде читателей и критики, его «таинственную причудливую участь» (слова Дружинина), то это сборником совершенно не достигается. Составитель не только ни одним словом не упоминает о целом ряде отрицательных статей, вызванных изданием 1854 г., и неоднократных рецензиях и отзывах за период до напечатания стихов Тютчева в пушкинском «Современнике», но и повторяет застарелую ошибку, указывая, что самое имя Тютчева до 1836 г. совершенно не было известно в литературе.

Если перед сборником была поставлена задача: дать лучшее из литературы о Тютчеве,—недопустимо совершенное умолчание о статье «Отечественных Записок» за 1854 г.; изобилующей меткими и тонкими наблюдениями статье Платона Краснова (книжки «Недели» за 1895 г.); наконец, пропущены статьи Франка и Лаврецкого (сборник «Слово о культуре», 1918 г.), делающего интересную попытку объединить в одном цельном миросозерцании лирику Тютчева и его политические воззрения и стихи. Едва ли правильно также опущение статьи Мережковского, которая, по словам составителя, «оставлена без внимания в виду ее полемического (составитель, вероятно, хотел сказать публицистического) характера». Оставлена без внимания, не считая мимолетного упоминания в предисловии, и оценка Тютчева Львом Толстым, для уяснения которой современный исследователь располагает достаточным материалом. С другой стороны, если перепечатка статей Некрасова и Фета, не вошедших ни в одно из собраний сочинений этих писателей, действительно могла бы иметь большое и художественное, и историко-литературное значение — составитель сам отнял его, вырезав из них целые куски, склеивая (в статье Фета) одну фразу с серединой другой, и т. д. Должно, кстати, отметить, что и в самой идее своего сборника составитель не выказал оригинальности (см. изданный в 1904 г. и вышедший 2-ым изданием в 1911 г. сборник историко-литературных статей о Тютчеве В. И. Покровского).

Вслед за обзором литературы о Тютчеве следуют его стихи, выбранные Некрасовым из пушкинского «Современника» (приложение 1-ое) и дополненные (приложение 2-ое) составителем. Стихи Тютчева, напечатанные в «Современнике» 1836 г., подверглись в дальнейших изданиях коренным изменениям. Имеются все основания полагать, что сам поэт не принимал в этом никакого участия. Воспроизведение первых текстов представило бы благодаря этому особенный интерес, и должно быть всячески приветствуемо. Однако, составитель счел нужным напечатать эти стихи «в том виде, как они появились в 1854 г.», т.-е. в позднейших и принятых всеми изданиями искаженных редакциях. Исключение, ничем, кстати, не оговоренное, сделано только для Silentium. Стихи: «Как ни гнетет рука судьбины» и «Давно ль, давно ль, о юг блаженный»— вовсе выпущены. «Стихи, дополняющие некрасовский изборник» (такого, кстати, никогда не существовало), подобраны совершенно произвольно: опущены такие пьесы, как «Сон на море», «Весенняя гроза», «Слезы людские», не дано ни одного политического стихотворения и т. п. Стихи напечатаны по новой орфографии, не всегда, однако, выдержанной до конца: в Silentium, напр., составитель не решился уничтожить рифму (читаем—встают и заходят *оне*).

Отмеченные недостатки отнимают у сборника научное значение; в рядовом же читателе нагроможденный без всякой систематизации однородный критический материал едва ли может вызвать интерес к его усвоению. В своем введении составитель отмечает бедность современного книжного рынка. Такие книжки, как сборник, его не обогатят.

Д. Благой.

ТЮТЧЕВИАНА. Эпиграммы, афоризмы и остроты Ф. И. Тютчева. Предисловие Георгия Чулкова. Изд. «Костры». М., 1922 Стр. 53.

Редактор последнего, составленного по автографам, издания стихов Тютчева 1900 г., А. А. Флоридов по каким-то непонятным соображениям не нашел нужным включить в него «несколько

мелких стихотворений и отрывков», найденных в бумагах поэта и «до сих пор в печати не появлявшихся».

В течение последующих двадцати двух лет весь этот материал так и оставался под спудом, и только теперь, получивший доступ к автографам, Г. И. Чулков начал его последовательное опубликование: в XIX книжке «Былого» напечатано 6 эпиграмм и одно стихотворение из цикла так называемых «политических стихов»; в Тютчевиане, кроме тех же эпиграмм, помещена еще одна и 7 «стихотворных шуток»; ряд лирических фрагментов и стихов вводится в подготовляемое новое собрание сочинений Тютчева. Нет нужды напоминать, что уже само по себе всякое новое слово такого поэта, как Тютчев, заслуживает безусловного внимания. Но, помимо того, многое из опубликованного в Тютчевиане, несмотря на свой «мелкий» размер, дает огромной важности материал для характеристики общественной мысли Тютчева, отчасти и его поэтического творчества. Среди особенно значительных пьес этого рода выделяется эпиграмма—эпитафия Николаю первому.

Не Богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей,
И все дела твои, и добрые, и злые,—
Все было ложь в тебе, все призраки пустые:
Ты был не царь, а лицедей.

Такой жестокий приговор мертвому царю со стороны монархиста и славянофила Тютчева, на первый взгляд, может показаться слишком неожиданным. Однако, он не только совпадает с отзывами молодого поэта о режиме «кнута и чина»—совершенно отвечает он и его настроенности в эпоху Севастопольской войны. Так, в своих письмах жене от этого времени Тютчев не только предчувствует неизбежность революции, но и прямо призывает наступление того переворота, который бы смел «всю эту гниль». О Николае отзывается он тогда, как о «мысли, которая сама себя не понимает». Подобные же настроения владеют Тютчевым и в течение нового царствования. «Так вот куда неумолимая историческая логика должна была привести эту призрачную Россию,—эту тень живой настоящей России», пишет он Аксакову в неизданном письме от 1861 года. Даже более того, с годами горький скептицизм Тютчева, повидимому, все усиливался, простираясь не только на «призрачную», официальную Россию», но и на пресловутую «святую Русь» славянофильских мечтаний и чаянии.

Об этом свидетельствует другая новонапечатанная эпиграмма.

Куда сомнителен мне твой,
Святая Русь, прогресс житейской:
Была крестьянской ты избой—
Теперь ты сделалась лакейской.

Из остальных эпиграмм характерна желчная отповедь поэта «доброхотам русской печати» и эпиграмма на «новую Европу», выняньченную «в железной колыбели» франко-прусской войны. Любопытен, с точки зрения литературных вкусов Тютчева, отрицательный отзыв о «Казаках» Льва Толстого. Из помещенных вслед за эпиграммами «стихотворных шуток»—четыре написаны на французском языке. Исследователи вслед за Аксаковым склонны были утверждать, что Тютчев всю свою переписку вел исключительно по-французски, стихи же писал только по-русски. Проф. Потебня даже построил на этом теорию о двуязычии Тютчева. Однако, число вновь опубликовываемых русских писем и французских стихов Тютчева все увеличивается. Среди русских пьес этого отдела—стихотворение «Когда-то я был майором» уже было напечатано в VIII книге «Старины и Новизны» за 1904 г.; стихи к князю Вяземскому представляют разработку той же темы, которая легла в основу напечатанного послания «Беспомощный и убогий», умножая и без того немалое у Тютчева количество параллельных стихов; остальные особого интереса не представляют.

Стихотворный материал, данный в Тютчевиане, видимо, подлежит дальнейшему увеличению. Так, Погодин сохранил нам сведения об эпиграммах Тютчева на Каченовского; эпиграммы эти считались утерянными. Однако, нам удалось в Архиве Погодина разыскать набросок одной из них. Точно так же, недавно только начатая систематиче-

ская разработка корреспонденции Тютчева, вероятно, даст еще ряд мелких стихотворных экспромптов, вкрапленных поэтом в его письма. Вот, например, двустишие, извлеченное нами из неизданного письма матери от 1846 г. Тютчев пишет об одной из своих деревенских собеседниц: она—

Часов угрюмых облегчает бремя,
Живит беседу, окрыляет время.

Три таких же коротких пьески и опубликовал недавно Г. И. Чулков в «однодневной газете Помгола Ак. театров от 28—9 мая».

Кроме стихов, внуки поэта собрали в Тютчевиане афоризмы и остроты его,—те блестящие «словечки», которые так восхищали и тешили современные ему гостиные. Уже сейчас же после смерти поэта кн. Вяземский писал: «какую драгоценную нить можно нанизать из слов, как бы бессознательно спадавших с языка его». Однако, нанизать эту «драгоценную нить» так и не удалось, да едва ли когда-нибудь и удастся. Правда, новое собрание значительно дополняет до сих пор известную серию его острот материалами, извлеченными из тайников семейной памяти; правда, и это собрание можно, в свою очередь, значительно расширить на основании писем поэта, его французских статей и целого ряда неиспользованных печатных источников,—но огромное большинство сказанного Тютчевым утеряно бесповоротно. Даже больше—в сущности погибло для нас и то, что удалось запомнить, записать, сохранить. Вяземский мечтал из острот Тютчева составить «прелестную, свежую, живую современную антологию». Однако, не даром современники поэта сравнивали так охотно его «mots» с жемчужинами. Отвлеченные от этой, напитавшей их своими эманациями современности, они умерли, как умирает с годами жемчуг, принятый от живой плоти, которую он некогда так блистательно собой украшал. Мы не можем не доверять рассказам о том необыкновенном эффекте, который они когда-то вызывали, но нам только и осталось верить в это: в нас они—увы!—уже неспособны его возбуждать.

Издана «Тютчевиана» со всем доступным в наше время изяществом. К изданию приложено интересное предисловие Георгия Чулкова, тщательно составленные примечания и воспроизведение автографа двух эпиграмм.

В качестве мелких недочетов, могущих быть исправленными в следующем издании, должно указать следующее: стихотворный ответ Тютчева на один из вопросов, предложенных ему в игре «секретарь», правильнее бы было поместить среди стихов, снабдив его соответственным примечанием; давая русский перевод большинства поддающихся таковому французских острот поэта, составители забыли это сделать для №№ XVIII, 2, XX и некотор. др.; наконец, в эпиграмме У-ой слово «прогресс» следует печатать с одним с, согласно приложенному к книге автографу.

Наконец, к примечанию о «словечке» Тютчева по поводу Севастопольской войны—c'est la guerre des crétins contre les gredins (это война кретинов с негодяями)—любопытно было бы добавить первоначальный его вариант, приводимый А. О. Смирновой—c'est la guerre des chrétiens... (война христиан...) Из сопоставления этих двух вариантов эволюция общественно-политической мысли Тютчева за время войны вырисовывается чрезвычайно ярко и отчетливо.

Д. Благой.

ЛЕОНИД ГРОССМАН. Три современника. Изд. Кн-ва Писателей в Москве. 1922 г. 114 стр.

Очерки, составившие книгу, посвящены Тютчеву, Ап. Григорьеву и Достоевскому.

Наиболее спорная и новая по материалу статья о Тютчеве, об его политических воззрениях. Автор старается доказать, что отношение поэта к революции было сложнее, чем это думали до сих пор на основании его славянофильских статей,—«идеолог самодержавия и апостол всемирной теократии», он с ужасом отвращался от революции. Но как творческая натура, вечно стремящаяся к

последним граням освобождения, как жадный созерцатель «древнего хаоса», он чуял в революции родное, близкое и неудержимо влекущее к себе. Отсюда его глубокая внутренняя разорванность». Нам думается, основная разорванность Тютчева, или дуализм поэтической стихии, вряд ли соответствует его политическим увлечениям, навеянным отчасти традицией, отчасти впечатлениями минуты.

Ведь если прибегать к таким отвлеченно-психологическим аналогиям, то придется и Пушкина зачислить в ряды крайних революционеров на основании его «Пира во время чумы».

И как ни сильно звучит отрывок из письма Тютчева: «красный запад и спасет нас в свою очередь», не следует забывать, что этому отрывку можно противопоставить два других из писем к барону Пфеффелю от 14 м. 1848 г. и 10 августа 1870 г., где оба раза Тютчев неизменно называет революцию «роком».

И если нельзя отрицать некоторой сложности Тютчева, как политика, то вряд ли следует эпиграмму или несколько отрывков из писем считать решающим для него, законченного аристократа и убежденного славянофила, не мыслившего Россию не монархией.

Поэтому несравненно лучше удались Гроссману те страницы, где переданы опасения и страх поэта, его чувство конца монархии. Эти опасения, несомненно, были, и из них, как крик отчаяния, могло случайно вырваться «приятие» революции.

Статья об отношении Достоевского к Западной Европе построена на более фактическом и прочном основании. Это менее рискованный и менее гадательный ответ на поставленную тему. Хорошо изучен «Дневник писателя», письма, все художественные произведения Достоевского, в которых говорится о Западе.

Общий вывод этого изучения таков: «При всех своих прозрениях Достоевский в политическом отношении не был пророком».

С этим выводом спорить не приходится, поскольку под пророчеством понимается безошибочное угадывание событий, но, с другой стороны, недостаточно отмечена воистину пророческая дрожь Достоевского, которая била его всякий раз при мысли об отношениях России к Западу. Не только в том смысле, что он чувствовал Россию и Запад, как два мира—старый и новый, омертвелый и мессианский, но и в том смысле, что он никогда не верил в добрые отношения Запада к России, предчувствовал в этих отношениях трагедию и непримиримость. Здесь, быть-может, Достоевский оказался более проницательным, чем в другом, когда по самому основному качеству своего темперамента он мог быть только односторонним, преувеличивающим. Автор хорошо проанализировал эту слабую сторону угадываний Достоевского, но все же мы никак не можем согласиться с тем, что «Достоевский-публицист был всецело человеком бисмарковской эпохи, строящим мировую политику с предполагаемых точек зрения немецкого канцлера». Этому решительно противоречит весь дух «Дневника писателя» и особенно его «записных книжек». Человек бисмарковской эпохи—это прежде всего человек трезвый, а какая же трезвость была у Достоевского? Во всяком случае, ее не хватило бы на «предполагаемые точки зрения немецкого канцлера». Не следовало также называть кн. Мышкина «русским Парсифалем».

Статья об Ап. Григорьеве связана с двумя другими только «современностью»; Гроссман рассматривает его только, как критика и оценивает высоко. Дается общая характеристика его метода, выросшего на основе шеллингианства и вообще немецкой идеалистической философии. Излишними нам показались сопоставления с Бергсоном,—достаточно было упомянуть имя Шеллинга. Жаль, что автор не остановился на письмах Ап. Григорьева,—в них он бы нашел ряд образов, характерных для этого художника-мыслителя 60-х годов.

К. Локс.

КОНСТАНТИН ЛЕОНТЬЕВ. Страницы воспоминаний, под ред. П. К. Губера. «Парфенон». СПБ., 1922. Стр. 63.

Под общим заголовком «Страницы воспоминаний» читателю преподносится 8 отрывков, набранных из различных ав-

тобиографических очерков Леонтьева и скомбинированных редактором по своей собственной фантазии. Все эти очерки были уже напечатаны в IX томе «Собрания сочинений» К. Леонтьева изд. «Деятель» и в «Русском Вестнике» за различные годы. Но там они были напечатаны полностью, в том виде, как они вылились из-под пера такой сильной писательской индивидуальности, какой был Леонтьев, а в «Страницах воспоминаний» все они варварски изрезаны, искромсаны и в таком виде преподнесены доверчивой публике.

Эта литературная вивисекция постигла следующие произведения Леонтьева—«Мое обращение и жизнь на Афонской горе», «Рассказ моей матери об императрице Марии Феодоровне», «Мои дела с Тургеневым», «Сдача Керчи в 1855 году». Характерна сама структура губеровской работы над текстом Леонтьева: «Страницы воспоминаний» под ред. П. К. Губера; «Мое обращение и жизнь на св. Афонской горе», стр. 21—23; «Рассказ моей матери...», стр. 36—39, 40—41; «Мое обращение...», стр. 24—28; «Мои дела с Тургеневым, стр. 69—71, 71—74, 75—76—77—79, 79—80, 81—83, 88—89, 103, 104, 106—108, 111, 114, 124—127, 128—135, 140—147; «Сдача Керчи...», стр. 193—205, 205—206, 207, 212—225; «Мои дела с Тургеневым», стр. 147—153 (страницы везде указаны по изд. «Деятель»). Даже из этого сухого материала видно, как г. Губер творил свою окрошку, разбивая цельный очерк на кусочки, склеивая их многоточиями, вклеивая в него куски из других очерков и, наконец, снабдив это автобиографическое попурри претенциозным предисловием с довольно пошленькой мизансценой своего первого знакомства с Леонтьевым и довольно убогими биографическими сведениями о мыслителе. Но, найдя место для своих мало кому нужных реминисценций и довольно туманных разглагольствований о специфической роли Леонтьева для после-февральской и после-октябрьской России, редактор «Страниц»... не счел нужным оговорить ни способ своей работы (пожалуй, стало бы стыдно), ни места напечатания использованного им материала (пожалуй, стало бы невыгодно) и пустил состряпанную книжечку в оборот, надеясь на слабость известной части нашей интеллигенции к тому, что имеет пикантный и острый привкус реакции. Что же, Леонтьев—покойник: «мертвые срама не имут», а так как здравствует и г. Губер, то, пожалуй, не имут срама и живые.

Проф. П. Преображенский.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ДНЕВНИК. Мариэтты Шагинян. «Парфенон». СПБ., 1922 г. Стр. 110.

Даровитая поэтесса собрала в одну книжечку свои критические опыты: литературные фельетоны, заметки, отклики (большинство помечено 1921 годом). Материал далеко не равной ценности: местами метко, талантливо, остро, местами бледно, вяло, отвлеченно, наивно, но всегда культурно, а главное—искренне. Необходимо отметить также философский уклон «Дневника».

«Я не марксистка и ровно ничего не понимаю в системе Маркса,—признается автор,—но мне кажется, что причина ее успеха и ее распространения в рабочей среде это как раз ее *связь с делом жизни*: разве она сейчас не единственная из философий, которая, давая последовательную схему мира, делает ее за раз и программой действия, не только учит, но и предписывает. Что делать, если мы не умеем свести *нашу* философию с кафедры и ею указать путь жизни. Словом, висящим в воздухе, сыт не будешь!»

Это признание тем более ценно, что исходит оно от прежней горячей поклонницы Платона, Шеллинга, Баадера. В области литературы Шагинян тяготеет к классикам—Гомеру, Шекспиру, к Гёте в особенности. Но и к живой современной литературе вплоть до пролетарской—ее отношение явно сочувственное. Белый, Сологуб, Волынский, Блок, Ахматова, Ходасевич, Илья Садофьев, Илья Ионов, «Серапионовы братья»—нашли у автора «Дневника» и тонкое понимание, и живое сочувствие.

В статье «Пролетарская культура» автор дает интересное истолкование процесса внутреннего роста пролетарской культуры. Основное своеобразие

последней—«чувство бытия, как единственной ценности». Здесь, в этом пункте новая культура резко расходится со старой. «Мы уже так оторвались от непосредственного чувства бытия, что система культурных ценностей, поднявшись над жизнью, стала автономной, что-то в роде государства в государстве». С великим недоумением встречает старый культурный человек, по рукам и ногам опутанный цепями отживающей культуры, человека нового и вольного.

Призывы Шагинян всегда дышат бодростью. Русскую интеллигенцию она приглашает начать «не с унылых жалоб на то, что невозможно работать, ибо нет культурной среды», а «с повышенно требовательной работы».

Одно специальное замечание. Статья «Поэт в театре» (речь А. Блока перед постановкой «Короля Лира») не учитывает, что речь эта в гораздо большей степени характеризует настроение самого Блока последних лет, чем пьесу Шекспира.

Д. Цинговатов.

ЗАПИСКИ МЕЧТАТЕЛЕЙ. № 6 «Алконост» ПБ. 1922. Стр. 183. Тираж 5000.

Шестая книга «Записок мечтателей» целиком посвящена памяти А. Блока. Здесь помещены воспоминания А. Белого (2/3 книги), В. Зоргенфрея, К. Чуковского.

А. Белый, связанный 18-летней дружбой с Блоком, его ближайший единомышленник и «младший брат», дал необычайно богатые и ценные воспоминания. Пока напечатана 1-я глава: она охватывает период общения обоих поэтов за 1904—1905 г. и бегло обозревает дальнейшие годы.

Задачу свою Белый понял по-своему очень широко: «мне приходится мобилизовать и эпоху, и идейные течения того времени, и разнообразный мир моих мыслей, устремлений и чувств (стр. 112).

Повышенный романтизм на рубеже двух столетий, возникновение кружков декадентов и символистов, выдающаяся «эпохиальная» роль Блока, как продолжателя дела Вл. Соловьева по «организации» мистических переживаний, апокалиптических предчувствий и эсхатологических чаяний,—словом, эпоха «мистической весны» нашла в Белом не только активнейшего участника, но и блестящего, изумительно-точного летописца. Для характеристики нео-романтических кружков нач. XX в. мемуары Белого будут играть ту же роль, что и соответствующие главы «Былого и Дум» Герцена для характеристики идеалистов 30-х годов.

В качестве документов эпохи Белый приводит письма Блока. Своеобразный мистический «жаргон» писем требует комментария, и Белый дает его. «Пусть прочтут эти письма,—посмеются над ними»... меланхолически замечает он. Отметим здесь следующее: Блок никогда не смешон в своих письмах, Белый в своих комментариях подчас, действительно, смехотворен.

Но чаще комментарии Белого очень ценны. Известно, напр., что мистическое декадентство было тесно связано с кругами буржуазии, культивировалось крупными меценатами. Этого греха не таит и А. Белый: «в московской декадентской среде, независимо от индивидуально-высоко культурных людей, социальная среда складывалась по линии интересов крупного купечества к новой литературе. Миллионер неизбежно входил, входил сам, в литературный салон, входил осторожно, с конфузом, а выходил... уверенно и без всякого конфуза» (59).

На фоне «мистических зорь» набрасывает Белый фигуру восходящего светила первой величины—Блока. Характеристика внешнего и внутреннего облика поэта сделана мастерски: точно, тонко, интимно, выразительно.

«Ландшафты» взаимных переживаний переданы бесподобно. Выясняется огромная роль в жизни и творчестве Блока—Шахматова, дворянско-помещичьей усадьбы, где в значительной мере протекали детство, отрочество и юность поэта, где сложилась первая его книга «Стихи о Прекрасной Даме». Отмечаются черты врожденного аристократизма Блока («ничего от разночинца»). Юный Блок «внушал какую-то особую нежность людям старого поко-

ления... почтенные древние старушки из старо-дворянских семейств... часто с особою нежностью относились к А. А. Может-быть, они воспринимали его сквозь призму для них еще близкого Жуковского, связанного с их молодостью» (53).

Воспоминания Белого очень выиграли бы, если бы он освободил их от многословной примеси субъективных, «слишком субъективных» элементов: антропософских домыслов, самовлюбленного прекраснодушия, фетишизма случайных совпадений» (см. стр. 109), или таких «открытий», как то, которым завершаются «Воспоминания»: «в Боге мы родимся, во Христе умираем и в святом Духе возрождаемся».

Воспоминания В. А. Зоргенфрея, охватывающие 15 лет общения с Блоком (1906—1921), выдержаны в глубоко благоговейном тоне. Характерно, напр., такое признание: «К тому времени, когда вышли «Стихи о Прекрасной Даме», у меня, на ряду с страстным желанием увидеть, узнать автора книги, возникло и укрепилось чувство, которое я не мог назвать иначе, как сомнение в подлинности его существования среди нас».

Однако, Зоргенфрею удается дать и возможный максимум объективности и сохранить необходимое равновесие в характеристике Блока внешнего и внутреннего. Эта характеристика слагается сама собою из отдельных моментов, штрихов, черточек, сделанных четко, сдержанно-взволнованно.

Очень интересны отдельные штрихи. Напр., большое нежелание Блока в 1916 г. итти на войну: «Я все-таки кровно связан с интеллигенцией, а интеллигенция всегда была «в нетях». Уж если я не пошел в революцию (1905 г.), то на войну и подавно итти не стоит». Итти все-таки пришлось, хотя бы «табельщиком»; но в 17-ом году Блок был уже в Петербурге: он вернулся при первой возможности, откровенно сопричислив себя к дезертирам. О жизни в тылу позиций вспоминал урывками, неохотно: «война—глупость, дрянь».

Весною 18-го года Блок сказал уверенно: «следующий сборник (после «Седого утра»), куда войдут «Двенадцать» и «Скифы», я назову «Черный день», т.-е. уже в 18-ом году отношение Блока к революции двоилось, и чем дальше, тем больше возникало у него сомнений и колебаний». Человек, звавший к вере, заклинавший нас: «слушайте музыку революции!» раньше многих других эту веру утратил».

Относительно своего «молчания» в последние годы Блок в конце 20-го года заметил: «Было бы не совсем добросовестно взваливать все на трудные времена: мешает писать также и чрезмерная требовательность к себе».

Воспоминания К. Чуковского написаны в обычной для критики остро-талантливой, но все же фельетонной манере. Весь вопрос в том, в какой мере совместимы: подлинный Блок и тонкий фельетон?

Воспоминания дают ряд очень интересных деталей из жизни Блока (особенно последних лет), но пользоваться показаниями Чуковского надо с осторожностью: они явно тенденциозны. Воскуряя фимиам великому покойнику, Чуковский старается непременно «задеть кадилом живых».

Это бесцеремонное размахивание кадилом обесценивает воспоминания, превращая их местами почти в памфлет. Одной рукой Чуковский разрушает легенду (напр., о том, что Блок «отрекся» от «Двенадцати»), другой—создает ее. Вот образец «творимой легенды»: «Какой-то русский дьявол, из самых тупорылых, почему-то решил, что будет гораздо лучше, если великий национальный поэт вместо писания стихов будет коченеть на заседаниях. Участие поэта в революции понималось именно так: бери портфель, иди на заседание. А если не хочешь,—умри. Мы не дадим тебе даже той мокрой капусты, которую ты несешь на спине с заседания... Как поэты, как творцы, писатели были в ту пору никому не нужны—их ценили только, как распространителей общеполезного и общедоступного знания».

Читая Чуковского, можно серьезно подумать, что в России последних лет был образован чуть ли не заговор, с целью довести Блока до скорой могилы.

Чуковский приводит слова Блока, сказанные им о себе за несколько месяцев до смерти: «Слопала-таки поганая

гугнивая, родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка».

Весь вопрос в том—*какая* Россия? Новая или старая? Чуковский изо всех сил бьется доказать, что—новая.

С. Городецкий в своих «Воспоминаниях об А. Блоке» («Печать и Революция», 1922, I) дал иное истолкование этим словам Блока и очень убедительно показал, как затягивало поэта «петербургское литературное болото»—с головой затягивало: «старое нагрузло на нем, объявило его своим гением, своим Пушкиным—и задушило».

Да и сам Чуковский не скрывает того, что Блок был сильно измучен той «трехлетней травлей, которую вели против него его соотечественники»,—травлей за то сочувствие, которое заявил поэт новой России в 18-м году.

А. Цинговатов.

«ПАРФЕНОН». Сборник первый. Спб., 1923 г. 111 стр.

При всей солидности имен и серьезности тем, поднятых его статьями, сборник производит печальное впечатление полной оторванности от жизни. Это особенно чувствуется там, где затрогивается современность. Таков прежде всего очерк академ. Ольденбурга: «Направление научной работы в современной жизни на Западе и у нас», который открывает книжку и задает ей тон. Фактическое состояние науки, изложение проблем, выдвигающихся на ее горизонте, видимо, мало интересует автора. Основная задача статьи—защита теоретической науки (в противовес прикладной) от того недопустимого пренебрежения, в каком она находится, по мнению автора, у нас, в России.

«... надо сделать возможной настоящую научную работу, надо, чтобы лаборатории могли вести свою аналитическую работу, чтобы в библиотеках не гнили и не погибали книги и рукописи, чтобы мыслимо было пользоваться музеями, а не только закрывать их за отсутствием топлива, и тем более не думать об их распродаже на хлеб...». Надо сделать так?—Святая истина. До того святая, что и писать ее не стоило. Не лучше ли прямо к делу: а как это сделать? Тут и обнаружится, что вопрос немного сложнее, и одними жалобами и вздохами, в роде короленковского (который сочувственно приведен тут же): «Скоро ль будет день на Святой Руси,—тот день, когда рассеются призраки, недоверие, вражда и взаимные недоразумения» и т. д.,—одними этими вздохами делу не поможешь. До тех пор, пока не изобретен способ благими пожеланиями золотого века отапливать музеи и улаживать печальные «недоразумения» на горестной земле,—приходится время от времени вытаскивать кое-какое добро из музеев и, отряхнувши его от пыли, выменивать на хлеб. Со странным чувством пишешь эти истины на шестом году Революции. А приходится.

Но академик Ольденбург берет на себя защиту науки и в более широком смысле: он хочет защитить ее «свободу» от «посягательства светской догмы», в лице «многих социальных учений». Не знаем, про какие социальные учения говорит автор. Видно только, что они всячески стараются одурачить публику. Они «манят... человечество... мнимыми обладаниями неполной истиной». Как известно, неполная истина—та же ложь. А здесь еще и обладания мнимые. Получается ложь в квадрате. Вот какую пакость подстраивают человечеству и науке некоторые «социальные учения». То ли дело хорошая империалистическая война, напр., 1914 года: «в сознании более широких масс»—это война «обороны», «самозащиты», она «вызвала и усиленную работу научных сил»...

Как видите, мысль не нова, но выражена в яркой и смелой форме. Что ученые академики не любят некоторых «социальных учений», это, конечно, истина старая, как мир. Но не всегда они так искренни и последовательны, чтобы открыто связывать мирное дело культуры с тем, что для всякого грамотного и неграмотного представляется как разбой и разрушение этой культуры.

Автор идет дальше. Он рекомендует не переоценивать *самой* науки, он опасается, как бы она не стала для «масс» новым божеством, явившимся «на смену старому, низвергнутому Богу». Ува-

жаемый академик подозревает, что скоро у масс наступит разочарование, и пойдут следующие ужасы: « массы, раньше потерявшие веру религиозную, теперь утратив веру и даже доверие к науке, окажутся потерпевшими полное душевное крушение». Дальше—«искание новых идолов», «погоня за грубым наслаждением минутою», простое самоубийство «из-за бессмыслия жизни» и, наконец, «духовное вырождение человечества». Вот страсти-то! Только о каких же это массах хлопочет автор. Если об интеллигентских, так еще туда-сюда. Но при чем же тут вырождение «всего человечества». Очевидно, автор имеет в виду чернь, жалкий плебс, требующий просвященной опеки, т.-е. попросту рабочих и крестьян. Ведь они тоже принадлежат к человечеству, и даже, гл. обр., из них-то это последнее и состоит. Против этого не возразишь даже с академической точки зрения. Но ведь это народ не такой уж увлекающийся, каким он представляется с высот кафедры,—народ, занятый тяжелым трудом и по одному этому не склонный к самообманам и иллюзиям. В частности он давно раскусил, в чем разница между наукой, ценность которой ему небезызвестна, и той частью ученой среды, которая всеми своими симпатиями связана с мечтами о «самообороне» и т. п. прелестях.

В более сжатой, академической форме это можно бы выразить приблизительно так: «массы знают академиков лучше, чем академики знают массы».

Другая статья в том же унылом роде принадлежит ex-публицисту из «Русской Мысли»—А. С. Изгоеву, и озаглавлена: «О задачах интеллигенции». В ней доказывается прежде всего нужность интеллигенции для народа—и как бы вы думали чем? Тем, что Революция которая названа успешной (следовательно, речь идет об Октябрьской), обязана своими успехами интеллигентским лозунгам, воспринятым массами. Ага, смекает читатель, значит, речь пойдет о революционной части нашей интеллигенции, которая шла во главе октября? Это об ее задачах собирается толковать кадетский публицист. Положение интригующее.

Но дальше оно становится менее пикантным и даже, пожалуй, совсем пресным. Интеллигенция—это, оказывается, те «умственные работники», «деятельности которых... присущ элемент учительства». Как видно, определение довольно непритязательное и мало к чему обязывающее. Из дальнейшего выясняется, что главная задача автора заключается в том, чтобы освободить интеллигенцию от всяких обязательств участвовать в практической жизни, от всякой ответственности за участие, которое уже имело место. Полюбуйтесь на такие мысли (или на такого рода «учительство», если угодно): «все интеллигенты... не могут не желать определенной и ясной меры свободы для своей проповеди...» Свобода проповеди—вещь прекрасная, бесспорно. Но оказывается, «...они хотят ее только для себя и для своих единомышленников. Некоторые прямо это и говорят, не скрывая. Другие лицемерят, до времени пряча когти». Вот тебе и свобода! Какая же это свобода—«для себя»? Да еще так «прямо и говорят». Это на что же похоже?

Впрочем, наш автор не принадлежит к этим неосторожным. Он «прячет когти». «Интеллигенция, по самому существу, не может служить интересам какого-либо одного класса, одной группы. Она должна выяснять разнородные интересы и указывать возможные пути их согласования и примирения в интересах целого. Идея компромисса есть идея по существу интеллигентская». При этом всем ясно видно, как Белинский, Толстой и Герцен скривились в брезгливую гримасу от невыносимой пошлости этих слов. Но... мертвые молчат. А живым не до пошлостей гр-на Изгоева. У них—дела по горло.

В остальном сборник бессистемен: тут и бессодержательная заметка Ев. Б. о Шпенглере, и «У Гёте в Веймаре» Мар. Шагинян, и «Новая Еврейская поэзия» Д. И. Выгодского. Среди всего этого материала выгодно выделяется статья известного пушкиноведа М. Л. Гофмана, представляющая удачный ответ на книгу М. О. Гершензона «Мудрость Пушкина». Гофман удачно разрешает благодарную задачу—отстранить натянутое подчеркивание пушкинского пес-

симизма и подойти к поэту, беря во внимание всю его многогранную личность. Результатом такого подхода должен быть вывод о глубокой любви Пушкина к жизни, о «благословении бытия Пушкина». Таково и заглавие удачной статьи.

Но это исключение в сборнике. Большинство же авторов настроено на минорный лад. Общее убеждение их в том, что культура не принадлежит массам, она делается людьми в белых перчатках и гибнет на вольном воздухе. Наиболее талантливая из всех, М. Шагинян, резюмирует это в следующем восклицании по поводу Веймарского дома Гёте: «Эти комнаты как бы учат вас (решительно «учительство» в этом сборнике—мания. *Д. Г.*): без школы ничего нельзя. Вкус должен быть освящен собирательно и соборно. Традиция—не помеха, а закрепление... Я не знаю тягчайшего осуждения хамству, осуждения и наказания, нежели эти чопорно-прекрасные залы». Впрочем, автор тут же сознается, что «Гёте не мог жить в них» и только принимал посетителей, а сам «ютился на задворках». Надо полагать, что на «задворках» им и написано все то, за что помнится его имя.

Страсть к парадным комнатам и облагороженным понятиям, дышащая со страниц сборника, мало способствовала его серьезности и значительности. Не только большинство статей крайне поверхностно и ухитряется ничего не сказать по поводу самых значительных предметов, но и материалы (напр., письма Фета, переписка Короленки) выбраны самые бессодержательные.

Один из авторов, Д. И. Выгодский, высказывает опасение, что облюбованная им новая поэзия на древне-еврейском языке окажется никому не нужной и останется без читателей.

Боимся, что такова судьба и самой книжки. И она останется без читателя. Современный читатель жаден к жизни. Слишком многое нужно знать. Слишком многое встало, как насущный жизненный вопрос. Что скажет ему это брезгливое отворачивание от злобы дня, как от «хамства»? Да мимо пройдет и филолог: и ему ненужна вся эта вульгарная публицистика на утонченные темы.

Дм. Горбов.

КАРЛ МАНЦИУС, МОЛЬЕР. Театры, публика, актеры его времени. Перевод с французского. Ф. Каверина. Госиздат. 1922 г. 172 стр.

Мольер, как театральный деятель—основная тема книги Манциуса. Такая постановка вопроса позволила автору довольно широко захватить историю французского театра XVII века, его постепенный рост и развитие.

Материал сгруппирован удачно, дано много интересных подробностей, мало знакомых русскому читателю.

Мольер в провинциии в Париже, постепенная организация постоянной труппы, принципы сценического воплощения,—все это дано с достаточной полнотой, но без тех бесконечных мелочей, к которым привержены многие исследователи «узких тем». При этом никогда не забывается сам Мольер, его личность, выступающая особенно ярко в периоде борьбы за зрителя, за признание.

Воистину это был путь напряженный и страстный, где трагическое познавалось, как подлинный источник юмора и комедии. И если вообще Мольер всегда выходил победителем, то за многое ему приходилось расплачиваться дорогой ценой. Даже после смерти тупость и ненависть врагов, не забывших «Тартюфа», преследовали его: «в темноте ночи, при свете факелов, без малейшей пышности величайший поэт страны был словно тайком перенесен к своему последнему жилищу; только большая толпа простонародья, словно чувствуя, что предают земле кого-то необыкновенного, собралась около дома на улице Ришелье». Эта сцена странным образом напоминает похороны Пушкина. Перевод книги выполнен в общем без особенных погрешностей, хотя и встречаются досадные стилистические промахи (напр.: «Забавлять народ тысячью ломаний» или «сделать из этого дела великое употребление» (стр. 9—33). Но этих промахов сравнительно немного. Книга Манциуса, без сомнения, заинтересует читателей, а лица, специально занимающиеся театром, найдут в ней много любопытного об игре и театре XVII века во Франции.

К. Локс.

В. М. ФРИЧЕ. Очерк развития западно-европейской литературы. Гос. Изд. Москва. 1922 г. Российский Пролеткульт.

В. М. Фриче принадлежит к числу прямолинейных марксистов. Этим определяются особенности его историко-литературных и критических работ. Для него почти не существует границ, отделяющих литературу от других форм творческой деятельности общества, и лежащая перед нами книга—ряд очерков по социальной истории Европы, в которых литература служит только отправной точкой. В самых подразделениях на периоды автор исходит не от литературных направлений и школ, а от социальных переворотов. Напр., раннее возрождение (Боккачьо, Чоссер) выступает у него под рубрикой: «Возникновение городской литературы», а расцвет Ренессанса (XV—XVI века) под рубрикой: «Литература эпохи воцарения торгового капитала — так называемая эпоха Возрождения». Благодаря такому подходу старые привычные классификации, построенные по формальным, эстетическим и даже психологическим признакам, уступают место новым группировкам. Напр., в общую главу («Английская литература эпохи установления буржуазного строя») попадают и Байрон, и Шелли, и Диккенс,— писатели, столь не сходные по художественным приемам, обозначающие своими именами последовательные вехи в истории литературы, как таковой. При изображении «французской литературы эпохи воцарения буржуазии» автор рассматривает Сен-Симона в качестве философа промышленной буржуазии, Бальзака, как бытописателя буржуазии, а Альфреда де Виньи, как наиболее гневного обличителя буржуазного общества, с точки зрения оппозиционной аристократии. И если читатель не найдет в книге В. М. Фриче сколько-нибудь исчерпывающей характеристики ни Бальзака, ни Сен-Симона, ни Альфреда де Виньи, зато перед ним развертывается яркая картина социальной борьбы, переживания отдельных групп общества, отраженные в художественных образах этой эпохи. В главе о романтизме—ни слова о романтическом направлении, как о совокупности определенных художественных приемов, об определенной литературной теории, но ряд суждений о социальном и психологическом содержании романтизма.

Автора этой книги часто упрекают в схематичности, в неоправданности и неубедительности его построений, в ненаучном характере сближений, которые он устанавливает между явлениями экономического порядка и литературными фактами. В этих упреках много справедливого. Ряд мыслей В. М. Фриче представляются в высшей степени спорными. Нередко все многообразие и сложность художественных явлений сведены к упрощенным общим схемам. И тем не менее книга В. М. Фриче—одна из любопытнейших книг по истории литературы, вышедших за последнее время. Она дает толчок мысли и открывает горизонты, перед которыми нам кажутся безжизненными и ненужными исследования наших формалистов, усердно высчитывающих число гласных и согласных у Пушкина и Брюсова. Два крайних полюса: на одном—гурманы, смакующие форму, ничего не видящие за ее пределами, на другом—исследователь, проникнутый социальным инстинктом, за всяким актом человеческого творчества старающийся уловить законы общественного развития. Автор вычерчивает схемы резко и отчетливо. Более тщательное исследование оправдает, несомненно, многие из них, иные опровергнет.

Но можно ли сомневаться в том, что будущая наука направит свое внимание от художественного образа к той социальной среде, в которой он возник и поставит на свое место те формальные методы, которые в наши дни все более и более принимают вид бесплодных схоластических умствований. Рассчитанная на широкие массы читателей-рабочих, книга В. М. Фриче дает верное направление их вниманию при знакомстве с явлениями европейской литературы, и, может-быть, самая прямолинейность автора в этом смысле должна быть признана скорее достоинством, чем недостатком.

П. Когэн.

М. Н. РОЗАНОВ. Очерк истории английской литературы XIX века. Часть первая. Эпоха Байрона. Стр. 247. Госиздат. Москва.

Заглавие книги не вполне соответствует ее содержанию. Перед нами собственно не «первая часть» «очерка истории английской литературы XIX в.», а просто этюд о Байроне. В самом деле, из 242 страниц Байрону отведено 180, иначе $^3/_4$ книги, остальные 60 страниц посвящены: Вордсворту, Кольриджу, Соути, Т. Муру, Китсу и Шелли. Превратив этюд о Байроне в «первую часть» «очерка истории английской литературы XIX в.», автор был поневоле вынужден дать ей подзаголовок: «эпоха Байрона». Никакой такой «эпохи Байрона» в истории английской литературы XIX в., конечно, не было. И если автор продолжит свой труд и даст вторую, третью и т. д. части, то ему придется озаглавить вторую (30, 40, 50 гг.)—«эпохой Диккенса», что ли, а третью (60, 70) «эпохой Теннисóна» или еще таким же несуразным образом и т. д. Да и создается «эпоха Байрона» весьма искусственно. Во-первых, на долю других современных ему писателей приходится всего несколько страничек, совершенно не исчерпывающих всего содержания и значения их творчества. Так, о Вордсворте всего $4^1/_2$ страниц, при чем не указаны некоторые существенные стороны его поэзии (напр., его картины из жизни «трудового» крестьянства; его отношение к фабричной промышленности), о Кольридже—таком типическом «романтике»—всего 3 страницы (указывается, что в его Biografia literaria изложена «эстетическая теория новой поэзии»; однако, самая эта теория, столь существенная для освещения английского романтизма, не изложена) и т. д. Даже на долю Шелли пришлось только 14 стр., при чем оставлена в тени его деятельность как романиста и памфлетиста, и ни словом ни упомянуто об его связи с революционно-национальным движением Ирландии, Италии, Греции, об его связи с рабочим движением Англии, об его рабочих песнях, об его «Маске анархии» и т. д. Во-вторых, о ряде глубоко характерных для «эпохи Байрона» литературных явлений или говорится слишком мало, напр., о «готическом романе», или не говорится вовсе, напр., о революционном романе Холькрафта и др., о Годвине и его «социальном» романе «Калеб» упоминается лишь вскользь и т. д. Так, отводя другим писателям место черезчур скромное или же совершенно игнорируя их, автор искусственно создает свою «эпоху Байрона». На самом деле такой «эпохи», повторяем, не было, как ни велик Байрон и как ни велико было его влияние на европейские литературы. На самом деле «эпоха Байрона» была—если стать на формально-литературную точку зрения—«эпохой романтизма». Автор неоднократно оперирует этим термином, но точного определения этого термина не дает. Указано, что «романтизм» существовал в Англии еще в XVIII в., что он был подготовлен «сентиментализмом» и мыслится он, повидимому, как противоположность классицизму, но все это не выявлено с достаточной отчетливостью, и нет ни детального описания этого литературного явления, ни четкого определения его обозначения. Указано и отличие английского романтизма от романтизма других стран, при чем это отличие усматривается, во-первых, в том, что в Англии романтизм не представлял «разрыва» с прошлым (но ведь и немецкий романтизм был подготовлен исподволь, и в Германии классицизм, как и в Англии, не играл такой роли, как, напр., во Франции), и, во-вторых, в «решительной склонности к натурализму (с ссылкой на Брандеса), хотя самый термин «натурализм» здесь полон неясности, а если его отождествлять «с любовью к природе, столь характерной для английского романтизма» (16), то ведь «любовь к природе» без указания на определенное отношение к природе,—черта, характерная для сентиментализма, а не для романтизма. Можно мыслить «эпоху Байрона» и как «эпоху политической реакции». Автор книги весьма склонен к такому их отождествлению и потому начинает ее главой, посвященной этой теме. К сожалению, вся эта глава носит чрезвычайно расплывчатый характер: «французская революция не оправдала возлагавшихся на нее идеальных (!) и

благородных (!) надежд» (чьих?), поэтому «значительные части французского общества довольно рано от нее отвернулись» (какие?), в Англии «чувствовалась потребность в парламентской реформе» (кем?), «парламентская реформа была проведена лишь в 1832 г.» (каким образом?) и т. д., а, с другой стороны, связь между «политической реакцией» и «эпохой Байрона» в ее литературном проявлении намечена лишь вскользь—одни писатели были реакционерами, другие, напротив, находились в оппозиции к реакции, но ведь ясно, что «политическая реакция», объясняя кое-что во взглядах писателей, ровно ничего не дает для объяснения самого романтизма и разных в нем имевшихся течений. Только освещение социального процесса, происходившего в Англии на рубеже XIX в., способно выяснить истинный смысл как «политической реакции», так и сущности романтизма, а эта сторона дела совершенно осталась вне поля зрения автора книги. Он вообще склонен больше констатировать факты, чем объяснять их, а когда он принимается объяснять их, то не всегда его объяснение удовлетворяет. Так, отсутствие в Англии сильного классического течения обусловлено, по его мнению, особенностями «национального характера» англичан (15), точно классицизм всегда был присущ литературе французской. Автор вообще склонен злоупотреблять национальным фактором при объяснении литературных явлений. Так, сопоставляя Вордсворта и Байрона (17), он утверждает, что «эти поэты были воплощением совершенно различных сторон английского национального характера», а именно: Байрон олицетворяет «мятежные» чувства, «входящие в состав национального английского характера», а Вордсворт—его консерватизм. Мы спрашиваем, когда «мятежность» была характерной чертой *всей* английской нации? Очевидно, никогда. Очевидно, Байрон и Вордсворт выражали настроения и идеи, характерные для разных групп английской нации в определенные периоды исторического существования этих групп. И можно ли согласиться с автором книги, когда он «объясняет» пристрастие Байрона к типу революционера-разбойника ссылкой на Шиллера (129) или «непонятное» пристрастие Байрона к Попу его желанием всегда быть в оппозиции (123—4), или превращение Байрона из романтика в реалиста влиянием итальянской природы и жизни (203). Предпочитая вообще объяснению фактов их констатирование, автор, с другой стороны, весьма склонен заниматься нравственной реабилитацией своего героя (211), но дело ли науки сражаться с морализующими филистерами в ученых колпаках или без оных? Вообще автор склонен злоупотреблять моральными категориями (вместо того, чтобы оперировать социологическими терминами). Так, на стр. 149 в характеристике «идеалиста» начала XIX в., превратившегося в «скорбника» под влиянием господства реакции (!), на пространстве нескольких строк к нему четыре раза приложен эпитет «благородный», так что у читателя от всего этого «благородства» голова начинает итти кругом. Если обратиться затем к главной теме книги, к Байрону, то ведь о нем и за границей и у нас написано так много (как всякий убедится из приложенного к каждой главе обстоятельного библиографического списка), что только став на новую методологическую точку зрения—формальную ли или социологическую, можно было бы сказать о нем нечто свежее, а так как автор никаких таких новых точек зрения не разделяет, то и нового в его книге читатель не находит. Если сопоставить его труд с той частью «Главных течений» Брандеса, которая посвящена английской литературе—оба труда написаны приблизительно по тому же методу и в том же духе—то еще вопрос, сделала ли первая часть «очерка» М. Н. Розанова ненужным Брандеса. В заключение несколько мелочей, способных вызвать недоразумение. При изложении «Вернера» оставлена без внимания социальная сторона трагедии героя, поэма «Остров» рассматривается только как «идиллический мотив любви среди роскошной природы», в трагедиях Альфиери сказалась его любовь к родине (а политический их характер!), среди подражателей Пульчи назван сначала Касти, потом Берни, хотя Касти

жил в XVIII в., а Берни в XVI ст., поэма Пульчи названа «Моргант Великий», хотя эпитет maggiore—«больший» относится, очевидно, не к герою, а к тексту, к изданию.

В. Фриче.

Е. М. БРАУДО. Э. Т. А. Гофман. «Парфенон». СПБ., 1922 г. 56 стр.

Небольшой очерк Е. М. Браудо о Гофмане, написанный, очевидно, по случаю столетия со дня смерти писателя, больших заданий себе не ставит. Это—биография и только! «В наши дни,—замечает автор,—когда биографический метод не пользуется фавором и когда на первом месте стоит исследование художественных форм, творчество писателя кажется легко отделимым от его личности, но как раз у Гофмана все важнейшие произведения неразрывно связаны с фактами его личной жизни». Нельзя, однако, сказать, чтобы этот тезис, правильный не только, конечно, относительно Гофмана, был автором очерка убедительно продемонстрирован. В самом деле, где им доказано, что без «фактов личной жизни» Гофмана нельзя, как следует, понять, напр., «Элексиры Сатаны» или «Кота Мурра» или «Золотой горшок» и т. д. Для своего очерка Браудо использовал, может-быть, Hitzig'a, а может-быть, Гризебаха (его предисловие к собр. соч. Гофмана в издании Хессе) и притом часто весьма рабски (напр., на стр. 35 излагаются воспоминания о Гофмане Лауна, как у Гризебаха на стр. LI), и по поводу его склонности строить гримасы Браудо от себя прибавляет: «привычка корчить гримасы, действительно, принадлежала к оригинальным особенностям Г. и повторяется у героев его рассказов»,—совершенно так, как Гризебах от себя заявляет: «упомянутое здесь гримасничанье принадлежало, действительно, к оригинальным особенностям Г.», и затем ссылается на одного из его героев (в «Магнетизере»). Изложена биография Г. на основании указанных источников в общем удовлетворительно, хотя, конечно, следовало бы подробнее остановиться на мужественном поведении писателя в дни «травли» и процессов «демагогов», ибо в летописи жизни аполитичного романтика Гофмана это одна из лучших страниц. Литературной стороны вопроса автор очерка почти не касается, хотя делает неудачную попытку объяснить «фантастический дуализм» Гофмана впечатлениями детства (8), подчеркивает, что Гофман мог творить только, когда «путем экзальтации» освобождался от плена действительности (46), хотя Гофман написал ряд рассказов и отнюдь не плохих и не в состоянии «экзальтации», приводит отрицательный о Гофмане отзыв Гёте, но без всякого пояснения, приводит свидетельство Гейне об упадке интереса к автору «Серапионовых братьев» в 30 годах, опять-таки не объясняя, чем был вызван такой упадок интереса, и кончает указанием на влияние Гофмана на русскую литературу, которой как нельзя более пришлась по вкусу борьба немецкого романтика с филистерством, хотя ведь борьба Гофмана с филистерством во имя утверждения параллельно с миром будничной пошлости социально и политически не перестроенного мира красоты и искусства представляла собой лишь разновидность этого самого филистерства.

Поражает в очерке Браудо неточная передача немецких цитат. Так, на стр. 11 приводится письмо Гофмана: «я люблю ее, но я *безгранично* (этого слова у Г. вовсе нет) несчастен... и в сладостном ощущении любви чувствую (у Г. «мучительно» чувствую). Или на стр. 35 приводятся воспоминания Лауна о Гофмане, взятые в кавычки, значит это цитата (хотя и сокращенная, что не оговорено, в чем, однако, нет беды), но раз это цитата, хотя и сокращенная, то мы в праве ожидать точного перевода, который, однако, заменен вольной передачей («губы его подергивались усмешкой... становилось жаль, что этот молчаливый человек столь скуп на слова. Иногда он отодвигал стул в отдаленный угол и т. д.», а у Лауна: «губы подергивались саркастической усмешкой, заставлявшей жалеть, что этот молчаливый человек не облекал ее в слова. Иногда он садился на стул возможно дальше от общества» и т. д.).

Встречаются и досадные опечатки, напр., на стр. 12: «он упивается Дон Карлосом Шиллера, как трогательным изображением любви» (очевидно, «дружбы», ибо речь идет о характерном для Г. чувстве дружбы), или на стр. 21: «меня страшит мысль о дневнике» (очевидно, о «двойнике»). Задуманный Гофманом роман был озаглавлен Корнаро (а не Корнаре), свою жену Михалину Гофман называл, кажется, не «Мишкой» (13), а «Мишой».

Читая очерк Браудо, невольно спрашиваешь себя: не заслужил ли Гофман к столетней годовщине этюда более основательного и продуманного?

В. Фриче.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

«ШИПОВНИК». Сборники литературы и искусства. № 1. М., 1922 год, изд. «Шиповник».

Сборник целен. Это организованное выступление символистов после всех пережитых потрясений. Тут—старые, заслуженные его бойцы: В. Зайцев, Ф. Сологуб, М. Кузьмин, теоретики—Бердяев, Степун, Муратов, Эфрос. Примыкающие: А. Ахматова, Ходасевич и более далекий Пастернак. В качестве людей с миросозерцанием активным и всеобъемлющим, всегда стремящимся итти в глубину, символисты не могли пройти мимо пережитых социальных катастроф ни в теоретической мысли, ни в художественном творчестве. Символизм хочет пережить все случайности до конца и, пройдя каждую из них, постичь некий вечный смысл, в них скрывающийся. Это—громадное преимущество истинного символизма, никогда не позволяющее ему выродиться в отрезанный от жизни эстетизм, эта жажда цельности в построении целого и в восприятии частного делает всякое продуманное проявление символизма значительным.

Все статьи сборника, два рассказа (из четырех), три стихотворения (из восьми)—являются посильными откликами на переживаемую социальную драму.

Но достигнута ли в них та полнота созерцания, то живое восприятие материала, которое одно может обеспечить истинную художественность? Чтобы изобразить—надо понять, чтобы понять—надо полюбить. Это золотое правило символизма есть в то же время необходимое условие всякого художественного изображения.

А как обстоит дело в сборнике у испытанных художников слова? Прочтите его от доски до доски, вы нигде не найдете там любви к тому мировому явлению, за изображение которого авторы берутся. Революция ими не принята, а тем самым и не понята вовсе, а тем самым и не изображена, несмотря на открыто поставленную себе авторами задачу—осознать ее и изобразить, хотя бы в некоторых ее сторонах. Она улетучилась с этих страниц, почувствовав нелюбовное прикосновение. Она оставила там след, но как что-то нежелательное для художника, как насилие, как что-то такое, чего лучше бы не было. Такова она в рассказе Б. Зайцева «Улица святого Николая». На тонкой и богатой палитре этого писателя не нашлось красок для ее изображения. Да и самый большой талант не найдет их для того, чего он не видит и не понимает. Революция для Зайцева — это сплошное несчастье, это разрушительный вихрь, пронесшийся над миром и захвативший в свой круговорот и тот маленький мирок, который возлюбило сердце художника,—милый и привычный ему Арбат с тремя Николаями (Никола-Явленный, Никола-Плотник и Никола-на-Песках). Б. Зайцев влюблен в старую, обывательскую Москву. На нее он тратит свой богатый язык, лучшие узоры иногда слишком вычурного стиля. И когда он говорит только о ней, и о том, что с ней связано, он—мастер своего дела. Но

вот в его любовно-вырисованную картину вваливается революция. Ее тяжелая поступь не в его средствах. Он только в высокой степени талантливый москвич. Он не хочет революции, а она властно заставляет изображать себя. Каждый изображает, как может, иначе перестает быть художником. Зайцев слишком художник, чтобы изменить себе. Он скорее изменит революции. И она идет у него как одно сплошное страдание, как босяцкая волна дезертиров, справедливо ожесточенных и несправедливо истребляющих все на своем пути. Творческого в ней нет ничего. Значит, сплошной хаос и бессмыслица! Но помириться с этим—значит признать свое бессилие осмыслить изображаемое. С этим не помирится художник. И выход остается один: религия. Она, научающая тому, как, не любя мира и всего, что в мире, жить в нем с покорным смирением и всепрощением в сердце, научит и революцию принять смиренно, во всепрощении, если не любви. Зайцев прощает революцию. Но душа его проникнута ужасом и грустью. Он не понял ее. Если бы понял, не пришлось бы прощать.

Рассказы Л. Леонова «Бурыга» и Б. Пастернака «Письма из Тулы», не касаясь щекотливой темы, получились цельней. В первом—тот же психологический стержень: жалость к обездоленным. На этот раз автор не нашел среди людей никого, достойного жалости; напротив, люди у него бессердечны, тупы, бессмысленно жестоки. Предмет жалости—маленькое лесное чудовище Бурыга, которое попадает к людям, терпит от них всякие жестокости, встречает «человека» только в дворовом псе и, измученное нравственно и физически, возвращается в лесную глушь. Как видно, жалость автора, составляющая главную движущую пружину рассказа, настолько тонка, что достойный ее объект может быть создан только специально на этот случай,—в живой природе такого не имеется. Это обстоятельство превращает рассказ в эстетическую конфету. Как бы ни была искусно сделана конфета, и какой бы начинкой она ни была начинена, она конфетой остается.

Пастернак дает в своих письмах из Тулы некоторые новые приемы захвата действительности в орбиту художественного изображения и проводит это с успехом. Полагаем, что безусловная ценность этого рассказа не изменилась бы и в том случае, если бы он был выдержан в менее заумных тонах.

Отдел стихов представлен бедно. Стих. Ф. Сологуба и А. Ахматовой не прибавляют ничего нового к их облику, это не больше, как хорошие образцы обычной манеры. Вл. Ходасевич в сжатых и выразительных строчках формулирует общее настроение сборника:

Мне все невыносимо!
Скорей же, легче дыма,
Летите мимо, мимо,
Дурные сны земли.

В такой формулировке этот отрыв от всего земного—старый напев сивмолистов. К сожалению, М. Кузьмин пытается придать ему новое содержание, применить к обстоятельствам, и получается безвкусица:

Что значат «хлеб», «вода», «дрова»,
Мы поняли и будто знаем,
Но с каждым часом забываем
Другие лучшие слова.

Не говоря уже о до странности легкой забывчивости М. Кузьмина, трудно признать художественно-вразумительной тоску по сверхземному, размененную на столь мелкую монету, как острое недовольство недостатком в предметах первой необходимости Неужели это и есть то шило, которое нужно было утаить в символическом мешке?

Отдел статей очень богат как крупными именами русской философии (Бердяев—Вольский), так и темами: тут знаменитый (отчасти уже набивший оскомину) вопрос о «культуре и цивилизации» (Бердяев), о трагедии в ее связи с современностью (Стапун), «предвидения» П. Муратова о путях искусства и т. д. Нам, однако, кажется, что все это богатство чисто внешнее: обилие затронутых тем и глубина их не застраховывает авторов от поверхностности и безответственности их разрешения, поскольку таковое проводится не приемами научного характера, а не поддающимися проверке

религиозно - поэтическими фантазиями. Так, Бердяев, повторяя мысль Шпенглера о противоположности культуры и цивилизации,—при чем культура определяется им как нечто самоценное и не нуждающееся в воплощении в жизнь, а цивилизация, в противовес ей, как воля к жизни,—подчеркивает, что цивилизация, выражающаяся и в капитализме и в социализме, есть умирание культуры именно потому, что она является дурной волей к жизни. Проявлением истинной воли к жизни, по Бердяеву (и в этом его поправка к Шпенглеру), будет, конечно, «религиозное преображение». Далее—мечты о мессианской роли России, великой грешнице, которая нуждается в «великом покаянии» (очевидно, каяться придется, главным образом, в октябрьских грехах), после чего получит от гр. Бердяева право на «религиозное преображение» в пику народам Запада, которые «скованы символикой культуры и прагматизмом цивилизации», а потому никогда не попадут в рай.

Полагаем, что метод разрешения мировых проблем в сборнике достаточно ясен на этом примере, а потому не разбираем остальных перечисленных нами статей. Желающие могут найти в них ответы на все вопросы, волнующие современного человека,—и благо им будет, если эти ответы будут для них действительно ответами. Тогда все просто и хорошо. Мы же, к нашему несчастью, будучи абсолютно не способны «к преображению» и гаданиям о том, какое возникнет в будущем искусство — *аляско-сибирское, японо-мексиканское, китайско-калифорнийское* или *индо-перуанское* (см. ст. Н. Муратова)—и в полной уверенности, что во всем этом очень мало истинного символизма, смысл которого—в творческой любви к действительности и художественно-полном ее воссоздании,—решительно предпочтем всей этой астрологии заметки в том же сборнике Б. Грифцова: «О писательском пути Флобера»; Г. Чулкова: «Тютчев на смертном одре», и др., основанные на конкретном материале, вдумчивом его изучении и ценные одним уже этим. К ним примыкают и те, рассеянные по статьям сборника, места, где авторы, воздерживаясь на минуту от слишком широких обобщений, рисуют то или иное направление литературы, искусства и жизни. Такие отдельные живые места есть и у П. Муратова и у А. Эфроса и у С. Вольского,—всюду, где авторы не отрываются от эмпирики и наблюдения в тех областях, где каждый из них является знатоком.

Хорошее наблюдение и высокая техника изображения не спасут от дурной философии; скорее одна эта тощая корова пожрет первых двух, как бы тучны они ни были,—таков общий вывод, остающийся у читателей от этого сборника и в беллетристической и в статейной его частях.

В сборнике имеется библиография, посвященная, главным образом, художественной литературе и истории литературы. Большая часть заметок разбирает книги, связанные с А. Блоком.

Д. Горбов.

БЕРНГАРД КЕЛЛЕРМАН. 9-е ноября. Роман. Перевод С. В. Крыленко, под ред. В. М. Фриче. Моск. Отд. Гос. Изд-ва. 1922. Стр. 392.

Бернгард Келлерман, автор общеизвестного занимательного «Тоннеля», в своем новом романе, соблазнительно озаглавленном «9-е ноября» (день германской революции), усвоил себе импрессионистическую манеру письма. Состоит она в том, что автор не *рассказывает* (что естественно в эпическом произведении), а все время стремится *показывать*. Надо, напр., сообщить, что герой романа сел в автомобиль и поехал туда-то. Вместо этого сначала говорится: «Хлопнула дверца. Привычно, низко склонился швейцар. Машина помчалась». Потом следует ряд «картин»: целый поток танцующих зонтов, сверкающие лужи, две серые омнибусные клячи, шуцман... далее: «рессоры скрипели, шоффер вытягивал то правую, то левую руку, предупреждая, раздавался свисток» и т. д. Такая манера, выдержанная на протяжении 400 страниц, достаточно утомляет; кое-что остается для читателя и не вполне внятным.

Написан роман под явным влиянием русских писателей, особенно Достоевского (фигура Хербста, местами, прямое подражание Достоевскому), иногда Льва Толстого, наконец, Андрея Белого. За непосредственное влияние последнего трудно ручаться, но сходство в манере письма несомненно, и за Белым—приоритет. Заглавие романом оправдано слабо. Страницы, посвященные революции,—самые неудачные в книге; автор больше спасается под прикрытие общих мест и избитых фраз: «Приди же, благословенный день!» и тому под. Повидимому, изображать быт американских миллиардеров («Тоннель») гораздо более в пределах таланта Келлермана. Роман сводится к описанию жизни некоего генерала, его дочери и сына, еще двух барышень и одной полукокотки. Великие мировые события, война, революция, проходят, если не за кулисами, то во всяком случае на заднем фоне. Психология генерала и барышень и их любовные истории автором вырисованы гораздо отчетливее и любовнее. Есть сцены «батальные», окопы, над которыми рвутся снаряды, гибнущие аэропланы и т. д., но как все это напоминает другие подобные сцены из бесчетного множества военных романов.

Тем не менее, надо быть признательным Госиздату за выпуск романа Келлермана. Хотя однобоко, но он знакомит нас с жизнью в Германии в последний год войны. Ценность исторического документа за романом несомненна. И читатель, прочтя яркие описания пышных берлинских празднеств в месяцы общего голода и полного изнеможения страны, сделает более решительные выводы, чем автор, несмотря на его выкрики о «благословенном дне». Перевод кажется старательным, но от совершенства далек [1]).

Валерий Брюсов.

---

[1]) Прекрасным противовесом роману Келлермана может служить другой переводный роман, также выпущенный Госиздатом: У Синклер, «Джимми Хиггинс», из американской жизни эпохи войны; вот где настоящая революционная и пролетарская психология. Жаль только, что на некоторых страницах Синклер не устоял перед некоторой идеализацией американцев и преувеличенной оценкой их роли в войне.

УОТ УИТМЭН. Избранные сочинения. Перевод и предисловие К. Чуковского. Стр. 264. ПБ., 1922.

Уитмэн принадлежит к числу писателей лауреатов,—к тем, которые вошли уже в пантеон поэзии человечества и, как ни странно это звучит в приложении к его собственным претензиям, он стал классиком. Поэтому появление его имени в списке авторов, воспроизводимых коллекцией Мировой Литературы, более чем законно. Однако, если уже издавать Уитмэна, то пора издать его полностью, а не переиздавать с маленькими добавлениями и изменениями поэтический текст в том объеме, который был отведен Сытиным Чуковскому девять лет тому назад. Повторяю: современный русский читатель имеет право на «полного» Уитмэна, как он имеет право на полного Шекспира или Гейне.

Пока этого нет, совершенно неоправданным является приложение к поэмам пространного прозаического привеска в виде литературного дневника и бесконечной статьи Уитмэна о демократии, которую автор называл: «Демократический просек», а переводчик перекрестил в «Будущие пути демократии». В Уитмэне нам сейчас не так важна его политическая идеология, более того, она, пожалуй, нам его портит: беспредметный демократизм в обстановке наших дней достаточно дискредитован, а проповедь личного самосовершенствования, противопоставляемая социализму, явление, цену и место нашедшее. В «Побегах» нам дорога и *агрессивность* идеологии и агрессивность ее выражения, и агрессивность поэтики: от метрики до словаря, до эпитетики, до метафоризма. Без этих свойств поэтики Уитмэна ускользает его главное значение, как создателя фольклора современности, а это именно и определяет как его место в литературе, так и причины его воздействия на теперешнюю поэзию,

для которой влияние Уитмэна фактически не менее насущно, чем воздействие любого национального поэта-определителя Пушкина, Гёте или Гюго. Это влияние настолько легко усл'едимо, что для его обличенья совершенно излишне приводить целый печатный лист российской Уитмэнианы, уместной в пору первых переводов американского лирика, лестной пропагандисту его десять лет тому назад, но совершенно нелепой уже в 1919 году, когда печаталось четвертое издание этой антологии, тем более же непростительной в пятом, теперешнем. Кто знает поэта-северянинца Оредежа? Почему важно, что в десятых и сей гордый муж подлежал воздействию Уитмэна? Да, следы такого «влияния» Чуковский без труда найдет у любого Нетропова или Дешкина, не говоря уже о Захаровом-Менском. Этот отдел—курьез и недоразуменье.

О самом переводе трудно говорить. Трудно потому, что кроме безграмотной пародии, изданной на Уитмэна Бальмонтом, у нас другого перевода, не имеется. Но работа Чуковского над текстом еще продолжается, хотя перемены текста на этот раз весьма ограничены, сравнительно с прежними вариациями. Мы видели, что сделано с заголовком уитмэнской прозы: метафора опрощена в газетном порядке—то же приведение образов Уитмэна к методам изложенья захолустной передовицы настойчиво проводится переводчиком в стихотворном отделе книги. После этого немудрено ему жаловаться на то, что его «Побеги» сходством с подлинными не могут похвастаться. Подстрочник, что ни говори, все-таки был бы лучше, но русской литературе нужен и не подстрочник, а поэтический перевод, стоящий на уровне *современной*, а не символистской техники, которой располагает Чуковский. Новая техника стиха, метафоры и эпитета развилась не без влияния того же Уитмэна, методы которого инстинктивно восстанавливались конгениальными ему поэтами, при чтении далеко не конгениальных переводов. Последнее обстоятельство дает основание думать, что время появления *настоящего* русского текста «Побегов Травы» не столь отдаленно, как это может казаться читателям переизданного текста данного Чуковским и заслуги которого все же достаточно ценны, чтобы не быть ему благодарным и за то малое понятие об одном из величайших лириков планеты, какое дается новым изданием Всемирной Литературы.

И. Д. Аксенов.

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ. «Цветные ветра». Повесть. 185 стр. Петербург. К-во «Эпоха» 1922 г. «Лога», рассказы. 40 стр. «Эпоха». Петербург, 1922 г.

Всеволод Иванов определился как крупнейший и продуктивнейший из современных молодых беллетристов. Цельность миросозерцания, яркость, часто доходящая до болезненной пестроты образов, собственный, богатый провинциализмами словарь—характерные черты этого автора. А территориальная ограниченность большинства его произведений заполняет эту характерность живым эмоциональным содержанием. Всеволодом Ивановым обрабатывается кусок земли от Урала до Тихого океана; и обрабатывается упорно, безустально, с великой любовью, пристальностью, восторженной чуткостью. И дикая, непонятная для нас до сих пор тьма тайги, проясняется, цветет и дышит под горящим — сталью лемеха продирающего целину—острым и звонким пером.

Повесть «Цветные ветра» должно признать лучшим из написанного Всев. Ивановым. Разбитая на сорок три импрессионистки - фрагментарных отрывка, она ни разу не прерывает ни фабулятивной, ни эмоционально стилистической связи между ними. Наоборот, все эти мелкие (иногда по 10—12 строк) зерна и чешуйки образуют свежий и плодоносящий организм сюжета, похожего на смолисто-клейкую, шуршащую семенами кедровую шишку.

Страшна чужая и холодная земля. Синие льдистые ночи, синий, льдистый ветер Тарбаготайских гор. Страшны и люди, живущие на этой земле, огрубившие свои лица этими ветрами. Чалдо-

ны, таежники, победившие север, непогодь, камни—пообтерли они об эти камни все, что было в них мягкого, тихого «рассейского». И если мечется и тоскует Каллистрат Ефимыч по «новой вере»,—то не мистическими, спутанными ключами питается эта тоска. Нет. Медвежье сверхсилье, загустевшая в жилах черная кровь бродит и ищет выхода. Это скорее тоска по «новому ощущенью действия», чем по новой «вере». Или еще точнее—по новой «вере»—в целесообразность, четкость и огромность этого действия, этой накопленной в глуши и тьме таежных урочищ силы. И потому-то эта тягота звериной силы, неиспользованной и неисчерпанной разрешается в стихийный животный рев избиения *киргизов*, осмелившихся посягнуть на кабинетские земли: «Бей!», «Кро-ой!».

И искатель новой веры—Ефим Каллистратыч, в погоне за этим рвущимся с уст звериным гоном, находит свою «веру», как находит он ее и в своеобразно деформированном звании вождя «Шестнадцати партизанских волостей».

Фигура эта—деревенского, таежного хозяина, в шестьдесят лет полного силы, распираемого тоской о неуемности этой силы и близкого ее заката, живущего своим желанием и умеющего укрощать это желание напором такой же тяжелой, как и оно само, воли—удалась Всев. Иванову до мельчайших характерных подробностей. Это—своеобразный таежный Тарас Бульба, в современной обстановке среди современных таежных же «гайдамаков». Тяжелый смётанный дух «дикой воли» и домовитости, добродушия и жестокости, хитрости и прямоты.

В горах, в тайге прячутся красные партизаны, отрезанные от России Колчаковским «царством». Неподалеку хутор Талица, откудова за ними, как за красным зверем, охотятся чалдоны: за голову «красного» получают керенку-сороковку. На такой «охоте» и застрелен один из красных Семеном, сыном Каллистрата Ефимыча. Остальные, спасшиеся бегством, ведут жизнь преследуемых зверей.

Но Омск трещит, «Толчак» колеблется, и таличанские «хозяйственные» мужики решают использовать скрывающихся красноармейцев, как организаторов и предводителей восстания. Мобилизация атамановцами молодежи, не желающей служить «Толчаку», и угроза потери земли толкают их на это. Один из красных, Никитин, становится во главе восстания. Но это только—формально, ради декорума. Душой же восстания является «ищущий новой веры» Каллистрат Ефимыч, «свой», «хозяйственник». Он расстреливает целую волость, непошедшую туда, куда хотел «мир»; он первый бросается на киргизов, он первый уходит вновь «хозяйствовать» на землю, отпущенный «миром» на «хозяйственный фронт».

Великолепно скомпанованы характеры и других лиц повести. Семен и Дмитрий—сыновья Каллистрата, Шаман Апо. поп Исидор, Липатыч, Никитин (хотя последний все же бледнее других), и, наконец, такие эпизодические как серб Микешь или Кузька—идиот—богатырь, побеждающий киргизского силача на байге.

В краткой заметке мы лишены возможности цитировать отдельные места «Цветных ветров», по силе образности превосходящие весь искусный и «искусственный» инвентарь «природной» лирики современной поэзии.

Но от этой же самой поэзии у Всев. Иванова встречаются существенные щербины на ярко отполированной поверхности его блестящей прозы. Примером может служить неумеренное употребление автором частицы «как», глубоко въевшейся в поэзию современья.

Иногда эти «каки» сводят на-нет хорошо построенный ряд сравнений:

«Как племя злобных рыб, пойманных в сети, билась в Камнях вода. Голубое, нежное, как мех песца, стояло небо. Катились арбы. Было их много, как птиц на перелете... Увидав отца, он, указывая на киргиз, крикнул:

— Немананы-то бегут. Они как мыши гарь чуют».

(Стр. 38).

Перенесенное из описания в диалог «как» начинает звучать уже пародийно. И кроме того, следует помнить автору, что сравнение убедительно не формальным стяжанием двух понятий или образов, а их ассоциированной и усиленной

одна другой уподобленностью. А потому и раз употребленное только *формальное* объединение, не подтвержденное внутренней, хотя бы частичной схожестью, заставляет неприятно настораживаться и критически проверять правильность остальных. Конечно, это может быть случайной небрежностью, но от такого мастера, как Вс. Иванов, мы в праве требовать и полного мастерства, вне случайных небрежностей и белых ниток спешно заштопанных мест.

А что некоторая небрежность у автора имеет место—подтверждают, подчас, совершенно неисправные строки:

... «он был в той же шинели, только *на ногах*, вместо солдатских штиблет, *надел* большие пимы-катанки». (Стр. 14).

К числу неудачных приемов В. Иванова следует отнести и те лирические отступления автора, которые не органически вылились и остыли в сияющую сталь его прозы, а дрожат на ней подражательными отблесками дезорганизованного пафоса. Иногда они приближаются к таким же отступлениям Гоголя; иногда впадают в «бесшабашную» крикливость В. Каменского:

«Эх душа моя, радость моя неземная!
Эх душа моя — кошева на повороте!
А ковры туркестанские—избы!»
(Стр. 171 и др.).

За всем тем, «Цветные ветра» являются лучшей и у автора, и среди всей современной беллетристики вещью.

«Лога»—этюды, если не к этому, то к такому же большому сибирскому полотну.

«Монголия—зверь дикий и не радостный. Камень—зверь, вода—зверь и даже бабочка и та норовит укусить».

Так начинается первый рассказ—«Дите». Те же почти характеры, та же трактовка темы—и эпизод мог бы войти целиком и в «Цветные ветра» и в «Голубые пески». У убитых красногвардейцами, загнанными в Монголию, «краснооколышников» (из которых один оказался переодетой женщиной) оказался в тележке ребенок. Чтобы выкормить его, решают отнять у киргизов, что ночуют поблизости, корову. Набег на киргизский аул—и в результате за кормилицей похищается киргизка, кормившая грудью своего киргизенка. А так как она «заподозрена» в большей заботливости к своему питомцу, то решают попросту туземного конкурента ликвидировать:

«Взял киргизенка Афанасий Петрович, завернул в рваный мешок.

«Завыла мать. Ударил ее в зубы Афанасий Петрович и пошел из лога в степь».

Второй рассказ еще сжатее и ярче. Женщина в «Логах». Около нее—только такие, как «ее муж Пет.—у него черная, точно унавоженная борода,—земля сто лет непаханная», да «дед Емолыч—хан казанский. Лыс, как курган, хитер и слово бережет, словно клады земли. Молчит». Женщина тоскует, ищет выхода из «Логов», от жестоких, таежных, чалдоньих дум и дел, но на горизонте, плотно сомкнувшемся «кольцами пышной жирной земли»—никого, кроме голодных, вымирающих киргизов.

Когда эти киргизы проезжают без надежды на помощь кряжистой нахохлившейся чалдоньей деревней, мечется и тревожится сердце ужасающейся житью в логах женщины.

И курчавый Сенька Трубычев, бросающий киргизам в издевку куски хлеба, без труда завладевает ею, увидевшей в злой и звериной забаве человеческое сердце.

И на трепетный, полный ужаса, вопрос ее:

...«А киргизы-то? Сенька! Киргиз-то кормил?!»

Отвечают ей темным хохотом Лога:

...«С киргизами-то, Аксинья, потеха! Дай, маракую, покормлю их всласть, наголодались. Взял я у матери булки-то и давай их напихивать. Лопай. И, верно, ведь трое подохли. Обожрались, немаханы. А?»

Прекрасная сжатость цельно исчерпанной фабулы, остроты эпизодов, и тот же утрированно грубый, тяжелый язык, так идущий к территориальной отграниченности автора, дают и «Логам» ту полновесность подлинной «большой» прозы, в погоне за которой устремлено теперь столько навостренных на «новый быт» перьев.

Ник. Асеев.

БОРИС ПИЛЬНЯК. «Смертельное манит». Рассказы. Москва, 1922. К-во З. И. Гржебина. Стр. 181.

Характерной особенностью ультрамодернизованной прозы Б. Пильняка является попытка к чисто внешнему, формальному обновлению стилистических приемов, хотя и в этой попытке автор не является самостоятельным реформатором. Попытка эта сводится к ломке обычного типографского набора и была значительно раньше использована А. Белым. Отбитые строки, кавычки, петит, жирненький шрифт, частый курсив, сноски—как ни упестряют они страницы книг Б. Пильняка—все же не скрывают бесконечных наслоенных на них влияний, за которыми трудно расслышать болезненно резонирующую на них, неокрепшую нотку личного дарования автора. Здесь слышатся—и все тот же А. Белый, и Чехов, и А. Толстой, и Ф. Сологуб, и Б. Пастернак, и иные, менее заметные руководители и воспитатели восприимчивой музы Б. Пильняка. Порой эта слоистость строения прозы просквожает одним слоем сквозь другой,—порой залегает плотным пластом на целые страницы. Таковы, например, рассказы: «Вещи» (целиком Чехов), «При дверях» (анекдотический, по-чеховски, эпизод с доктором, лафитником и мальчиком, освежающим языком бутерброды), «Смерти» (прекрасно сделанный рассказ, однако, сильно напоминающий А. Н. Толстого). Кроме этих, пришлось бы цитировать десятки мест, с прорывающимися стилистическими усвоениями, иногда—прямо пародийными, того или другого из упомянутых нами писателей. Самый синтаксис Б. Пильняка детонирует в зависимости от того или иного стимулирующего строки влияния. То это—замедленный сологубовский речитатив с разъятыми подлежащим и сказуемым, определением и определяемым («с охровыми двумя колоннами», стр. 1; «финансовый свой отдел», стр. 8), то торопливый, захлебывающийся истерически на слове, пафос Белого («хватает ветер и кидает в сугробы, буйный и дерзкий, и взметывает пыль, и мчит дальше, призывая, призывая, призывая», стр. 139); то чисто по-пастернаковски — сдвинутый логически «забор, торчащий в тоску»... (стр. 119).

И на ряду с этим—часто встречающиеся небрежности, граничащие с полной беспомощностью в обращении с языком. Нельзя, напр., сказать: «снежные космы встали сплошными дыбами» (стр. 10), не по-русски это! Или «всю Москву стриангулировать в *сплошную... сплошность*» (стр. 136, курсив автора).

Мы бы не упоминали об этих мелких кляксах, если бы Б. Пильняк не кокетничал, не щеголял ими, как особенностями *своего* стиля. Но он употребляет их сознательно, он любуется этим модернистическим косноязычием, он считает, что этими ущербленностями характерен язык эпохи; а в результате—

...«в этих корнях свили гнездо себе *две большие*, серые птицы, самка и самец. Птицы были большими...» (Стр. 34 «Целая жизнь»)

— ученический вялый, подпирающий себя повторным определением на двух строках, язык.

О той же вялости и рано сказывающемся в таком молодом писателе бессилии говорят и повторные эпизоды, встречающиеся, как, например, в рассказе «Наследники», использованные автором ранее в других местах его прозы.

Так, на стр. 100 рецензируемой книги Б. Пильняка встречается эпизод, рассказанный буквально теми же словами в романе «Голый год» того же Пильняка, вышедшем отдельным изданием ранее. Предоставляем сравнить читателю след. цитаты:

«Татары небрежно вскидывают на руке старинные платья... старинные ручной работы шандалы.

«Наконец, татары хлопают по рукам, проворно - привычно свертывают купленное в кокетливые тючки, платят керенки из пузатеньких бумажников и уходят».

(«Наследники», стр. 100).

«Татары будут вскидывать на руке старинные, ручной работы шандалы... потом привычно-проворно свернут купленное в кокетливые тючки, заплатят тысячи из пузатых бумажников и уйдут»...

(«Голый год», изд. Гржебина, стр. 43)

Конечно, писатель волен использовать свою записную книжку, как ему заблагорассудится, но если он все свои вещи будет писать по однажды заполненной записной книжке—вряд ли кто поверит в серьезность его работы.

Но, быть-может, мы придираемся к мелочам? Быть-может, идеологически Б. Пильняк стоит на таком высоком уровне, что считаться с мелкими, в общем, стилистическими погрешностями было бы с нашей стороны ненужным филистерством?

Здесь нам приходится попытаться побороть одно большое предубеждение, психологически фиксированное критикой. Борис Пильняк считается молодым *советским* писателем, талантливо рисующим революционный быт, хотя бы в его отрицательных чертах. Уже ознакомившись с «Голым годом», мы составили об этом писателе совершенно другое мнение. Разбираемые рассказы подтвердили нашу точку зрения. Не изобразителем этого быта, а исказителем его является Пильняк. Все глухое, наносное, мертвое в нем берет он и раздувает до пределов, заслоняющих подлинный лик революции, подлинный облик этого быта. И делает это он сознательно, расчетливо, со вкусом, также кокетничая *бессилием*, якобы заложенным в сердцевину нового быта, как щеголяет и кокетничает бессилием своего косноязычно-модернистского стиля. Что касается формальной стороны его прозы—мы доказали это выше приведенными цитатами. С такими же цитатами попробуем установить и это наше положение.

Какими эпитетами автор определяет революцию в целом?

А вот какими:

«Над степью, Волгой и городом творились метели, скакали снежные кони—творилась революция, такая же, как при Стеньке Разине, разбойная, вольная-вольница»...

(Стр. 95 «Наследники»).

«Не кажется ли многим, что дни наши—сплошной Памир, никем не изученный во имя Далай Ламы. И поэтому, без сроков дней сошествия,—не Христа, а нас,—не со креста, а просто с Памира».

(Стр. 106 «Иван да Марья»).

Или, наконец:

«У меня иногда кружится голова, и я чувствую, что вся революция пахнет половыми органами».

(Стр. 154, ibid.).

Правда, последнее определение автор дает не от себя—до него додумывается героиня тщательно и любовно обрисовываемая Пильняком в рассказе «Иван да Марья». Героиня эта—бывшая княжна, во время действия рассказа—начальница Чека, коммунистка, красавица, умница, «правдивая» и не ординарная женщина.

Столь экстровагантное определение революции не мешает ей любить «чистой любовью» писателя Тропарева, вершить суд и расправу над гражданами - «обывателями» и вообще быть одной из самых ярких, *вовсе не отрицательных*, героинь Б. Пильняка.

Но, быть-может, *умышленно* заставляет Пильняк *так вырожденчески*-пряно изъясняться бывшую княжну, хотя бы и чекистку. Посмотрим, как заставляет он «изъясняться» «хозяев съезда и уезда»—членов съезда советов—«рабочих от цехов, завкомов, шахт и станков».

— «Товарищи! Кто получил колбасу! Съезд сейчас открывается. Кто получил колбасу?

— Погоди, поспеешь. Чай, не пожарна команда.

— Одно дело, надо подкрепиться! Бывалыча, как в старину-то, завертки на оглоблях у саней руками отогревали, а теперича што...

—Эх, касатка, мало ты даешь се-таки». И дальше:

...«Этак почавкивая, доедает колбасу: открывают съезд советов.

...«Товарищи! пстому как я беднейший крестьянин на трех уездах, в трех уездах моего петуха слыхать, потому я хочу высказаться за резолюцию. У нас, товарищи, не социализм, а скотолизация. Вон в тоем углу сидит товарищ Буфеев, а он из нашего Совхоза, заморил трех народных коров и буржуй. А лизарюцию мы примаем! Правильно! Буржаков нам не надыть. А что касается коммун—тоже не надыть».

(Стр. 144 «Иван да Марья»).

Цитировать можно было бы без конца, но хватит и этого. Только *эти* голоса услышал Б. Пильняк в революции. И как он ни забегает вперед перед «кожаными куртками», как ни старается расписаться в своем пламенном сочувствии к ним, все как-то выходит у него, что эти «кожаные куртки» только и занимаются, что «коммунистическими» вечеринками да половой проблемой, а вся революция укладывается в анекдот.

Когда же Пильняк пытается с серьезным лицом подойти к современности—получается, в лучшем случае, следующие претенциозно - бессвязные ламентации:

«... Что было бы, если на палитре индивидуальностей поручить Достоевскому приготовить краски для Москвы (?), пользуясь тюбиками психик (!?)—Аполлинария Васпецова, Чуриянца, *Бохса* (!?) *и, конечно*, Ленина, Троцкого и Луначарского?»

(Стр. 122).

Думаем, как ни морщи лоб автор при столь мастерски бессмысленно составленном вопросе,—ответа на него он и не думал получить. И ни Чуриянис, ни Бохс (?) ему в этом бы не помогли.

Рассказы Пильняка местами не лишены наблюдательности, бойкости и хорошего эклектизма, но та дурная манерность и кокетничанье, как расслабленностью стиля, так и псевдо-усложненной психологичностью, в конец портят их и угрожают серьезной опасностью для дальнейшей работы Б. Пильняка.

Ник. Асеев.

МИХАИЛ ЗОЩЕНКО. Рассказы Назара Ильича, господина Синебрюхова. Петербург. Из-во «Эрато» 1922 г. Стр. 76.

Стилизация, как метод художественного воздействия, всегда играл в литературе второстепенную роль. У писателей крупных она являлась побочным, вводным приемом, служившим для характеристики того или иного персонажа, того или иного эпизода. Самодовлеющим этот прием был у писателей второстепенных. Характерно, что у крупных художников прием стилизации обычно покрывался общей высокой художественностью выполнения—рассказы Рудого Панька,—повести Белкина,—частичная стилизация у Достоевского. И наоборот, у второстепенных величин метод этой всегда выпирал наружу, апеллировал к постоянной специфической настроенности читателя, к необходимости подмечать те особые «словечки и выраженьица», которые обусловливали такой прием.

Именно так трактовался этот прием Лесковым, Горбуновым, Островским, Щедриным. И не даром Писарев в свое время возмущался *перефандосами»* Салтыкова-Щедрина, указывая, что здесь смех читателя направлен не на уродства описываемого положения, а на уродство самого словечка, самого выражения.

М. Зощенко, стилизуя свой язык под штабного писаря, идет по второму из указанных нами путей. Поэтому фактура рассказов достаточно однообразна, фабула—анекдотична, а затраченное на прочтение рассказов время не оправдано ни внутренним, ни внешним их мастерством.

Тем не менее, отказать автору в известном волении к классической ценности языка нельзя. Приходится предположить, что «Рассказы Синебрюхова»—оселок, на котором пробует дарование молодой автор. Но в таком случае ни в печать, ни в продажу эти первые шаги пускать ни в коем случае не следовало бы.

Ник. Асеев.

Н. ЛЯШКО. «Рассказ о кандалах». Гос. Изд. М., 1921.

Около этой пары «старых, до блеска отшлифовавшихся на чьих-то ногах» кандалов развертывается, если не бояться прозаизма, вся история русского рабочего класса—после 1905 года и почти до наших дней. Эти кандалы, с тех пор как в них заковали каторжанина-рабочего, выступают в качестве пролетарского палладиума каждый раз, как вздымается волна рабочего дела.

Перед читателем, как на экране, проносятся картины роста рабочего движения, мелькают отблески февральской

революции, октябрьской, разрухи и борьбы с ней, гражданской войны. И всегда эти кандалы в руках старого рабочего—отца носившего их каторжанина—своим бряцаньем, неустанно напоминающим о перенесенном гнете, заражают пролетарские ряды стойкостью и силой.

Скомпонирован рассказ недурно. Счастливо избегнута опасность слащавости. Сюжет умело оторван от злобы дня и обобщен, хотя события, разыгрывающиеся в той или другой главе, легко приурочиваются к определенным годам и месяцам. Но у молодого автора не хватило средств «романтизировать» самые кандалы.

Кандалы в рассказе т. Ляшко—это nature morte, «мертвая природа»... Неверное название; гораздо точнее выражает существо этого жанра искусства немецкий термин—still leben — «тихая *жизнь*». И для того, чтобы «кандалы» в рассказе «*жили*», нужно о них как-то *пропеть*,—может-быть, так, как М. Горький пропел про буревестника... Романтическая тема требует романтических же и средств.

В. Блюм.

ВЛ. ЛИДИН. «Моря и горы». Изд. «Северные дни». М., 1922 г.

На всякий звук
Свой отклик вдруг
Родишь ты в воздухе пустом.

Это для поэта обязательно. Ведь его ухо не только слышит, а в некотором роде «наполняется шумом и звоном», внимая и «горнему ангелов полету, и гад морских подводному ходу, и дольней лозы прозябанью».

Хотя рассказы Вл. Лидина датированы 1917—1918 гг., вы не найдете в них прямого отражения этой эпохи, беспримерный акустический эффект которой не имеет себе равных среди исторически известных «звуков»,—по крайней мере, на памяти людской. Ни одного «революционного» рассказа, ни одного «военного» очерка, ни одного бытового штриха, который оправдал бы не без вызова подписанную под каждым рассказом хронологическую дату. И однако, вся книжка являет собою несомненнейший «отклик» на тяжелозвонное скаканье, потрясенной в своих основаниях жизни... «мирного жития» пописывающего писателя.

При всей внешней разноликости галлереи персонажей Вл. Лидина, все они выглядят разными числовыми выражениями все одной и той же алгебраической формулы. Будь это известная актриса, отрекшийся от мира богатый купеческий сын Алеша, проститутка, древне-русский князь, скрывающийся преступник,—резкие «фамильные» черты делают их удивительно похожими друг на друга.

Все они—«непринявшие» жизнь, растерянные, оброшенные, одиночки, уходящие—в добровольную смерть, в нирвану наркоза... Жизнь с ее «морями» и «горами» осталась где-то позади. «Так вместе они ждали, проплывали знакомые горы с их меловым сиянием, моря с режущими их пароходами, ровно несущими за собой свинцовую полосу дыма, и закаты в золотых волосах, распущенных по красным плечам». Они ждали, чтобы жизнь к ним сама пришла,—и вот «самым большим храмом жизни представляется смерть»... И умирают они все—охватываемые «самым страшным холодом и безмерным отчаянием».

Все они—в той или другой степени—бродяги, неприкаянные перекати-поле... Но это не то бродяжничество, в котором слышатся вольные раскаты «буревестия»; это—слабость трости, *ветром* колеблемой, это—неприкаянность *изгойства*, укрывшегося от бушующих вихрей под стеклянный колпак и там задохшегося.

Понятно, и речи не может быть о какой бы то ни было «динамике» творчества Вл. Лидина. Характерное для подобной панихидной беллетристики отсутствием «выдумки» и диалога возмещается, как принято в таких случаях, лиризмом, напевностью и ни с чем несоразмерным раздуванием описательного элемента.

Нельзя отказать автору в известной технике, но поразительно уныло-однообразен его «напев», и скудна его палитра... В книжке 107 страничек, и на каждой вы обязательно встретите

что-нибудь «желтое» или близкое по колориту: «рыжее», «оранжевое», «золотое»...

В заключающем сборник очерке, помеченном «Июль 1918», поэт размышляет о родине: «Мне хочется благословить ее и за слепое буйство, и за все дикое (!) смятение, в котором пребудет она, как святая блудница (!!). А дома шумит самовар—русское спасение от горя и одиночества». Апофеозой *обывательства* только и сумел «откликнуться» поэт, при первом же громоподобном «звуке» юркнувший в выложенный стеганый нутром футляр.

Владимир Блюм.

А. БИБИК. К широкой дороге. Моск. Отд. Гос. Изд. 232 стр.

Роман А. Бибика печатался десять лет тому назад в журн. «Совр. Мир». Вскоре после этого он вышел отдельным изданием и быстро был распродан. Вот почему надо приветствовать это второе издание, ибо читатели нашего времени не имеют о романе представления.

А между тем этот роман писателя, вышедшего из рядов пролетариата, заслуживает самого серьезного внимания.

Как целое—роман страдает многими недостатками. И прежде всего, все три части недостаточно спаяны между собой. А затем и ценность этих частей далеко не одинакова. Самой яркой и интересной нужно признать первую часть. Во второй части хороша северная природа—место политической ссылки. И в третьей части—жизнь Игната в семье, митинг на заводе и яркий, полный художественного достижения, образ матери Игната—Натальи.

В первой части перед нами будничная жизнь завода, которая впервые в литературе предстает в романе А. Бибика. Автору удалось показать многообразие характеров, типов и настроений в рабочей среде, чего ни в какой мере не удалось, напр., М. Горькому в его ром. «Мать». И дело тут не в степени таланта, а в том, что всемирно-известный поэт окуровской Руси мог подойти к рабочей действительности только как писатель-романтик.

Главный герой романа А. Бибика—Игнат вырастает на наших глазах. Перед нами поступление на завод, падение авторитета отца, кружок товарищей, впечатление от статьи Писарева, зарождение стачки, тюрьма и ссылка. А. Бибик очень интересно оттеняет разницу умонастроений двух одаренных рабочих—Игната и Артема. И только недостаток места не позволяет нам цитировать отдельные места романа.

Затем глубоко верно изображает А. Бибик тот скрытый и явный антагонизм старых и молодых рабочих, который был до революции серьезной преградой в развитии рабочего движения. Но и среди этих рабочих-стариков он находит чудесную фигуру правдоискателя Журбы, идущего вместе с молодежью в ссылку и погибающего в столкновении с войсками.

Во второй части романа перед нами политическая ссылка кануна революции 1905 года. Эта часть романа уже не так хороша, как первая. Но и здесь есть яркие, подлинно художественные страницы. Размагниченный интеллигент Гановичи во второй части романа обрисован слишком грубыми чертами, а потому недостаточно убедительно. Не потому, чтобы таких типов не было, а потому, что свое «разочарование» они не так уже откровенно-глупо обосновывали. Да, наконец, в предреволюционную эпоху Гановичи представляли в ссылке исключение, а не правило.

В третьей части А. Бибику удивительно удался образ матери Игната—Натальи.

Можно горячо рекомендовать новому читателю роман А. Бибика. Перед ним пройдет картина роста рабочего сознания и предстанет рабочий класс, не как безликое стадо, а со всеми своими особенностями и внутренними антагонизмами. И вместе с тем перед ним предстанет рабочее движение первой революции и уровень сознания рабочих масс этой, уже далекой от нас эпохи.

И. Кубиков.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ. «Офейра». Стр. 200. М., 1922 г.

Бо́льшинство современных описаний стран заморских обязаны своему происхождению своей формой-содержанием. Происхождение же это обусловлено тем, что путешественнику-писателю нужны деньги на путешествие и добывает он их путем корреспондирования в газеты. Не избегли этой участи и очерки А. Белого, в свое, довоенное, время, в значительной мере напечатанные в «Утре России», а теперь, уже после многого пережитого и перестроенного, воспроизводимые отдельной книгой.

Затруднительность положения автора заключалась в том, что ему вначале приходилось описывать страну, столь использованную путешественниками, как Сицилию: место, истоптанное всеми туристами и изрегистрованное всеми путеводителями: ясное дело, что простое описательство было неинтересно, приходилось добавлять своего; это свое, естественно, оказалось мистикой, а в связи с юбилейной датой—вагнеризмом. Приближался срок истечения литературных прав Байрейта на постановку «Парсифаля», и пресса всех заинтересованных стран муссировала эту оперу. Первая часть «сенсаций» А. Белого посвящена этому неблагодарному занятию, и рассуждения его построены по столь новой схеме, как антитеза между Востоком и Западом, арабской и романской культурами. Повидимому, ничего больше в Сицилии придумать самому не удалось, а внешний мир давал уже записанные другими и достаточно литературно-приевшиеся мотивы живописности пейзажа и романтических лохмотников. В Тунисе дела пошли лучше: философия мистики исчезает неведомо куда и появляется некоторая реальность, правда, излагаемая с той же стремительной манифестацией преклонения перед самобытностью и живописностью арабства, осуждением гнилой Европы, восхвалением добрых, свободных и гордых туземцев, к какой нас приучил Вас. Ив. Немирович-Данченко в аналогичных случаях. Явление, впрочем, законное—путешествие предпринимается с единственной целью «развлечься», так как Пятисобачий переулок надоел автору, и он искренне рад благословить все, что не напоминает ему географии Арбатского участка. Интересно не это, а что надоело тогдашнему А. Белому в Пятисобачьем переулке. Читатель не сразу до этого доберется.

Да и автор не вполне и не сразу об этом догадывался. Вначале были мотивы той чеховской дамы, которая бежала на курорт просто от серого забора («Дама с собачкой»), этот мотив, свойственный «дачнику вообще», прочно держится во все время пребывания А. Белого в Италии. Понадобилось заехать в Тунис, чтобы впечатление конкретизовалось. Оно очень любопытно и найдет свое место в истории русской интеллигенции десятых годов нашего века.

«Невольно мне помнится выспренний стиль всех заседаний редакции (повидимому, «Мусагета». *А. И.*)... заострéнья культуры столетий в Москве, где соль жизни Европы; собрание избранных есть соль Москвы; а собрáние редáкции—соль этой соли, или «пуп» европейской культуры; вопросы, которыми мы занимались в Москве, были «пупного» свойства; мы пухли от пупности» (стр. 189). Наивный читатель может подумать, что автор осуждает «пупность» вообще и в частности первые полтораста страниц, наполненные этим замечательным философским элементом,—ничуть не бывало: на той 189 странице красуется разъяснение: «Пуп-то увидим *мы*: в Иерусалиме есть пуп, не в Москве». Дальнейшие события становятся нам понятны: о них А. Белый повествовал в ранее выпущенных работах, но предварения великих событий содержатся и в Офейре. Ясно, например, что пресловутый «пуп земли», заподозренный Гёте в Сицилии и перемещенный временно в Иерусалим, окажется потом в Дорнахе. Впрочем, он еще далек от стабилизации. Формула, к счастью, известна. «Ах, господин доктор, до чего смешен мой сосед: он уверяет и даже уверен сам, что он—Христос. Полечите его как следует. Можно ли говорить такой вздор. Ведь Христос-то—я». Согласимся заранее с еще не обнародованным, но подлежащим оглашению догматом: «пуп земли есьм аз, А. Белый, и да не будет тебе иного пупа, кроме меня».

С высоты такого величия можно покрывать, конечно, взглядами самого величественного презрения приземлистую классовую точку зрения (стр. 197) и кривляться пустыми словами, пустых фраз вокруг пустого места Бедекера на протяжении двухсот страниц инокатво. Читать эту «манифестацию духа» особенно мучительно потому, что она написана белым стихом неважного качества, притом типографски искаженным под прозу.

Стр. 190 (чтоб недалеко ходить):

«Высшая пупная раса, что знаешь о гордом величии древних кушитских ученых, что знаешь о тонких кружках гуманистов. В былом Тимбукту, где гремели Петрарки, где негр Али-Баба с кружком просвещенных друзей собирал манускрипты багдадской, сирийской, испанской, египетской мудрости, где Салютато, Николи, Манетти и Поджио трудолюбиво копили, веками отстоенный, мед; мы его не копили, не копим» и т. д. до бесконечности. Очень противно получается в книге. В фельетоне, вероятно, было более выносимо, хотя не знаю, не пробовал.

И. А. Аксенов.

В. МАЯКОВСКИЙ. Маяковский издевается. Стр. 48. М., 1922 г.

Стихи, собранные Маяковским в этой книжке, читались и печатались им в разных местах задолго до ее появления и, тем не менее, несмотря на злободневность изданных тем, эта работа поэта читается и теперь с тем интересом, который привычно является у читателей Маяковского, разбирающего сложноватый типографский узор его простых строчек. Причиной такой живучести поэм может быть или сюжетная интересность или формальное совершенство техники. В данном случае мы в значительной мере должны сознаться в устарелости тематики: врангелевский рай давно и разоблачен и рассеян, Латвия перестала быть землей обетованной, а коллегиальность обсуждения любой мелочи сохранилась пока только в одном Наркомате, да и там на ладан дышит. Формального новшества трудно спрашивать от поэта, имеющего такой продолжительный и блестящий стаж, как В. В. Маяковский. Действительно, эта книга написана в его всем известной манере, и отступления от привычных стихослагательских приемов своих мастер проводит в направлении к традиционной метрике: вся история про Куму и Врангеля, например, написана классическим хореем. Тем не менее, повторяю, книжка—весьма значительное литературное явление. Значительность эта, во-первых, в исторически непреходящем интересе эпохи, которую она сатирически воспроизводит, а во-вторых, в самом характере поэтического сарказма. В противность заголовку, личность автора нигде не является критерием его отношения к трактуемому предмету, при наличности лиризма сатиры: комбинация исторически весьма редкая, а в наши дни и принципиально ценная. Эти качества отчетной работы и обусловили как общественный, так и литературный успех сборника, представляющего новое торжество так называемого левого искусства.

И. А. Аксенов.

К. БАЛЬМОНТ. «Песня рабочего молота». Москва. Госиздат. 1922 г. Стр. 32.

Двадцать стихотворений из бесконечного количества—небольшая дань революции. Тем более небольшая, что большинство из них—холодные рассуждения на тему о том:

Почему теперь пою?
Почему не раньше пел?
Пел и раньше песнь мою
Я литейщик, формы лью.
. . . . . .
Был я занят сам собой,
Что ж, я это не таю,
Час прошел. Вот час другой.
Предо мною вал морской.
О, рабочий, я с тобой,
Бурю я твою пою.
(Поэт рабочему).

Или поучения на тему:

Есть одна достойная основа,
Океан, где много разных рек,

Этот талисман—Свобода Слова,
Человек лишь с нею—человек».
(Герцен).

Непонятно, для кого Госиздат выбрал эти серые как речь эн-эса восклицания:

Кто верит в созидание свое,
Тот видит ложь в расколе разделенья.
Заря взошла, горит, вглядись в нее,
Сияет солнце без ограниченья.

Рабочему эти строки смешны, нэпу скучны. Кому же нужны? Очевидно, только Госиздату. На том и примиримся.

Н. Асеев.

«БЫЛОЕ».—«Губернатор» В. Рышкова и «Ряса» И. Н. Потапенко. Издание Вологодского Областного Отделения Госиздата. 1922 г.

Оба автора, и Рышков и Потапенко, рассказывают нам о «былом» и рассказывают одинаково, как сотни раз раньше рассказывалось и как, без сомнения, еще многие будут рассказывать к вящшей скуке читателя.

Оговорюсь: не все соскучатся за чтением двух выше названных пьес. Для послеобеденного чтения среднего интеллигента, любящего изредка побранить былое, поставив его в кавычки, эти пьесы вполне пригодны.

Рышков, дабы придать пьесе более или менее современный оттенок, оповещает читателя:

Действие происходит в губернском городе на Волге *перед войной* (курсив наш). Что же происходило в губернском городе на Волге перед войной?

А там, видите ли, губернатор Вирязев брал взятки с евреев, которые не имели права жить в городе, с купцов, обещая выхлопотать производство купеческих сынков в «камер-юнкьерей», устраивал пикники на купеческий счет и проч. Дочь этого губернатора влюбилась в либерального чиновника из студентов, состоявшего при отце.

Возлюбленный просветил ее насчет козней папаши, насчет окружающего взяточничества, рабства и зла. Дальше—банальные положения, заезженные фразы, отрады по поводу «спасения ближнего» из болота беззаконий, губернаторских и полицейских, по поводу спасительности высших женских курсов и т. п. Если бы эта пьеса была написана в семидесятых годах прошлого века, ее, без сомнения, встретили бы радостно; она была бы современна.

А для нас и даже для довоенного времени пьеса представляется каким-то серым, скучным анахронизмом.

По нашему мнению, литературная безграмотность—заставлять богатого купца-миллионера 1913—14 года сыпать словами: «хоша», «хранцусский язык», «слободно», и просить губернатора о назначении его сына «камыр-юнкырем». Автор, вероятно, полагает, что этими несообразностями он выказывает свое величайшее понимание буржуазии и презрение к ней.

Странно, очень странно, почему действие происходит «перед войной». Пьесу можно отнести к временам «Очакова и покоренья Крыма».

Вторая пьеса... Но кто читал вещи Гусева-Оренбургского из духовного быта и того же Потапенко, тому не стоит брать в руки «Рясу».

В пьесе—героические священники, слагающие сан à la Григ. Петров, протодиаконы, возглашающие: «Слушай, Валентин! Так, брат, нельзя. По-моему, ежели змея вонзает в пятку твою жало, так ты наступай ей на голову. Борись, отбивайся, а не отступай! Против всех иди—грехи-то у всякого найдутся, даже у архиерея. И я с тобой пойду, помогать буду. Думаешь не смогу? Ого! Да хоть бы одной глоткой. Стану на площади, разверзну хайло свое и буду кричать о том, какие они подлецы» и т. д.

Следует, конечно, писать о былом; но так, чтобы читатель без кавычек понял, что автор—его современник, что он идет, если не в первом ряду, то хоть не плетется позади среди либеральных литературных старых дев.

Правда, провинциальные издательства выпускают книги еще худшие, чем эти две. Во владимирских сборниках «Рассвет», напр., масса прегрешений этимологических и синтаксических, не

говоря уже о художественных и идеологических.

Все-таки Вологодского Госиздата это не оправдывает.

Провинция должна печатать, но она должна при этом выбирать.

Анна Баркова.

А. ЧАПЫГИН. Волк за волком. Драма. Гос. Изд. Петроград.

Как пьеса, драма «Волк за волком»—очень плоха. Перед нами весьма затасканный трафарет: богатый отец, его дочь и бедный, полный добродетелей, жених. К тому же автор строит свою пьесу по старинке, с большими монологами в публику, чего, как известно, нет даже в лучших пьесах Островского последнего периода.

Перед нами приморское село далекого севера. Два героя пьесы фигурируют в ролях «сверхчеловеков». Один из них, Честняков, пытается добиться взаимности от своей родной дочери, а другой, по прозванию Теснота-Копыто, вообще по ту сторону вопросов морали, ибо все равно—«Бог молчит». Он даже хвастается тем, что душа ему «дадена крепкая, но жалостливая на людскую беду». Но от всех его сентенций и монологов веет скукой. Когда Теснота-Копыто уверяет, что «слово грех для слабых людей придумано», то уже чувствуешь влияние героев Горького «босяцкого» периода.

Вот почему при чтении пьесы «то флейта слышится, то будто фортепьяно».

Впрочем, язык пьесы колоритный, только местами, для драмы, излишне этнографичен.

Малодраматический конец пьесы с нагромождением эффектов напоминает старого театрального мастера Шпажинского с его «Чародейкой», «В старые годы» и другими забытыми пьесами.

А. Чапыгин—значительный писатель. Его повесть «Белый скит» показывает, на какие художественные достижения он способен.

Но названная драма является почти пустым местом и ничего к его писательскому облику не прибавляет.

И. Кубиков.

Н. ЛЕРНЕР. Николай I. Историч. пьеса в 9 карт. Изд. коопер. «Книгопечатник». 92 стр.

Н. Лернер использовал для своей пьесы некоторые материалы и труды по истории декабристов и из них составил пьесу.

Художественной ценности все это не имеет, но пьеса может быть полезной для широкой аудитории малосведущих слушателей.

Автору, напр., надо сказать, что Рылеев написал «Исповедь Наливайки». Для этого он заставляет Мих. Бестужева брать со стола книгу и декламировать, а Рылеева объяснять эту поэму.

Таким же простым и весьма нехитрым манером пригнан и другой материал (антагонизм между Каховским и Трубецким, республиканские взгляды Пестеля, допрос Трубецкого Николаем I).

Напрасно только автор заставляет Николая I переживать нечто в роде угрызений совести... Пьеса кончается обличительными тирадами жены Рылеева и появлением Николая, утверждающим свое самодержавие.

Для лиц, хотя немного знакомых с историей декабристов, пьеса, как материал для чтения, ничего не дает.

И. Кубиков.

Д-р Ф. М. ОРЛОВ-СКОМОРОВСКИЙ. Из цикла: «К человечеству». Госиздат. 1921 г. 146 стр. Книга первая. «Голгофа ребенка».

Книга, которую тяжело дочитать до конца. Автор, врач, описывает свое детство, которое являет собою, поистине, Голгофу. В 31 год он представляет собою совершенно разбитого, неизлечимо-больного человека. Он не знал счастья, вся его жизнь была исковеркана, и его жуткий рассказ дает нам описание того, как и почему была она исковеркана в первый период, в детстве. Следующие книги будут озаглавлены: II—«Одиссея интеллигента» и III—«Распятие личности».

На своей несчастной, разбитой жизни автор затрогивает важность вопросов-эвгеники и воспитания для образова-

ния личности. Он рассказывает сначала, как отец его женился на его матери во исполнение обещания, данного умирающему отцу этой последней, перед которым был виноват.

Любви в этом браке с обоих сторон не было. Автор, первенец от этого брака, родился слабым ребенком, был в раннем детстве каким-то маленьким старичком, часто цедившим: «скучно!» Четырех лет он лишился матери. Дальше пошла обычная история: отец, чтобы «дать детям мать», женился; после смерти второй жены женился в третий раз; но, как водится, он давал детям не матерей, а мачех, мира и счастья в доме не водворялось и особенно тяжело отражалось это на детях от первой матери и на авторе, самом старшем. В периоды отсутствия матерей в доме хозяйничали бонны и гувернантки, детей колотили, тиранили,—особенно одна из них, настоящий утонченный палач в юбке. Отец, как это большею частью бывает, был слеп; дети боялись его и не смели перед ним пикнуть. Да и сам он придерживался того взгляда, что детей без розог не воспитаешь и сек их, особенно старшего, немилосердно. Автор объясняет это тем также, что любви к ним, рожденным без любви, у него не было.

В результате—детство настоящего страстотерпца, с покушениями на бегство из родительского дома и на самоубийство; отвращение к учению, которое вбивали пинками и розгами; стремление убегать из постылого дома, неудачные знакомства. Отчасти под влиянием этих последних, отчасти, как думает автор, вследствие порок, раннее пробуждение чувственности, онанизм и ранние половые общения, закончившиеся заболеванием сифилисом. И вот, еще не сойдя с гимназической скамьи, в пятнадцать лет, автор попадает в больницу для венериков. На этом кончается книга первая.

Автором затрогивается серьезный и наболевший вопрос, о том роде тираннии, который останется, вероятно, дольше всех других—о тираннии над самым беззащитным существом, над ребенком. Этот возмутительный род тираннии прикрывается не только правом нанимателя к наемнику, но и самым «священным» из всех прав—родительским. И даже когда в числе других «священных» прав аннулируется и это, как в Советской России, злоупотребления им продолжаются дольше, чем при отмене какого-нибудь другого права, именно потому, что объект, ребенок, всего меньше может постоять за себя.

Вследствие этого у нас и возник вскоре после пролетарской революции отдел «Охраны детства» при Народном Комиссариате Социального Обеспечения,—позднее он был переведен в Наркомпрос. В числе его задач стоит борьба с эксплуатацией ребенка, «кем бы она ни производилась». Ему дается право охранять ребенка не только на фабрике и в мастерской, но и в школе, и в семье. В его задачи входит широкая и планомерная борьба со всякой и всяческой эксплуатацией детей и развитие сети учреждений для общественного воспитания их в духе коллективизма и в соответствии со здравыми требованиями педагогики. Тяжелые условия современного положения России, главным образом, голод, не дают возможности развернуть эти задания так широко, как они намечены, но работа идет в этом направлении, которое одно только и является целесообразным в борьбе с указанным злом. На ряду с общим повышением культуры помочь могут только широкие, общегосударственные меры.

Этого д-р Скоморовский со своей индивидуалистической точки зрения не видит. Положительной стороной его книги является лишний вопль о страданиях ребенка. Но если, с одной стороны, этот вопль воспринимается очень болезненно и режет по сердцу, как подлинные испытания живого, искалеченного ими человека, то с другой—он может рассматриваться как результат исключительного стечения несчастных обстоятельств, и читатель может таким соображением убаюкивать свою совесть. Между тем «Голгофа ребенка» может быть, к несчастью, взята гораздо шире и в таком виде, в ряде фактов, когда она выступает на фабрике, на улице, в школе и в семье, дать более объективную и поэтому более потрясающую картину. Вспомним описание детских страданий

в английской промышленности, данное нам Марксом и Энгельсом. Такое же объективное описание того, что приходится переживать ребенку, но не только на фабрике, а повсюду в его жизни, что не только надрывает преждевременно его физические и духовные силы, а зачастую калечит и коверкает его бесповоротно,—такое описание должно быть дано теперь. Друзья детства, сторонники необходимости его охраны, должны собирать и группировать материал, показывающий, как в разных условиях, от различных причин уродуются детские жизни. Таким образом, вопль о гибели одного беззащитного ребенка превратится в вопль о калечении множества и множества существ, принадлежащих к беззащитному детству. И с тем большей силой такой вопль должен ударить по сердцам, пробудить сознание в необходимости борьбы с этим злом. А из такого сознания вырастут и наиболее целесообразные меры борьбы с тем, чтобы «голгофа ребенка» как в том виде, в каком описывает ее д-р Скоморовский, так и во многих других, встречающихся в жизни, была скорее сдана в архив, в историю.

Отдельными призывами «к человечеству» по поводу того или другого случая, как мнит это в своем индивидуалистическом сознании д-р Скоморовский, достигнуть этого нельзя. Его отчаянием продиктованные фразы, «чтобы люди не смели поступать так больше» и т. п., будут иметь общую судьбу со всеми такого рода призывами к нравственному чувству всего человечества в целом.

Отступления автора, в которых он от описания переходит к ругани искалечивших его людей,—отца, гувернантки: «Если ты жив еще, мерзкий человек, или поганая женщина»,— извиняемые нами, как извиняется бред тяжело больного, лишь ослабляют впечатление и к литературе во всяком случае отношения не имеют.

Вообще с литературной стороны в книге много недостатков. Мы не согласны, конечно, с мнением автора, что писать должен только зрелый человек, выносивший свои мысли. Как всякое искусство, литература нуждается в технике: неправильные мазки, неуклюжие выражения режут глаз и ухо и мешают общему впечатлению. Обилие причастий и деепричастий, например: «Рожденный за два года до отмены крепостного права, ясно помня на заре своего детства, живя в украинском селе, благодетельное вляние крестьянской реформы»... Или: «Семья их состояла теперь из вдовы, очень симпатичной старушки, дочери Екатерины, чахоточной, хромой, очень образованной учительницы, в городском училище на Матвеевской улице, при котором пользовался в натуре квартирой, где вся семья и жила...» (стр. 26).

Неряшливость в обращении с языком доходит и до таких фраз, как: «Мои семилетние, но успевшие уже много проплакать, глаза остановились на одночасовых (!?), тогда еще слепых уже пятого по счету брата» (стр. 26). Или: «Он получает уведомление об опасной болезни самого Тыщецкого и личную его просьбу навестить себя».

Таких выражений много, и если в особо жутких описаниях детских переживаний это забывается, то язык книги вообще тяжел.

Таким образом, ни со стороны формы, ни, тем паче, со стороны содержания мы не можем ждать, при чуждом нам, индивидуалистически морализирующем подходе автора, ничего интересного от следующих двух его книг из цикла «К человечеству»,—«Одиссеи интеллигента» и «Распятие личности».

А. Елизарова.

Л. ГРОССМАН. Вторник у Каролины Павловой. Сцены из жизни московских литературных салонов 40-х г. Изд. второе. Т-во «Кн-во писателей в Москве». 1922 г. 52 стр.

Сороковые годы и литературные салоны того времени—одна из интереснейших страниц нашего прошлого. Изобразить в художественной форме один из таких салонов, когда на одном вечере соединялись «немецкая музыка, французская литература, русская философия»—замысел, во всяком случае любопытный.

На вторнике в доме Павловых собираются послушать Листа А. Тургенев, Чаадаев, Герцен, Хомяков, Аксаковы, Киреевский, Грановский—цвет тогдашнего славянофильства и западничества. Перед приездом Листа А. Тургенев начинает читать неудачные мемуары Шатобриана. Это дает повод для легкого спора. Вся трудность заключалась в том, чтобы сохранить салонный характер беседы, сделать ее легкой, остроумной и уловить то почти неуловимое, что называется «духом времени».

Центральный «драматический» образ—самой хозяйки дома поэтессы Каролины Павловой. Нам кажется, автор удачно справился со своей задачей. Для любителя 40-х годов его сцены лишний раз напомнят Герцена, Чаадаева и др., малосведущий читатель захочет перечесть и того и другого. Лучше других, пожалуй, удались Герцен, А. Тургенев и К. Павлова. Постоянные цитаты из поэтов, аффектированная искренность вполне соответствуют образу поэтессы, поскольку мы знаем ее биографию.

Шевырев изображен более утонченным, чем он был на самом деле. Чаадаев вышел слишком педантичным. Конечно, все эти замечания «субъективны». Общий тон «вторника у Каролины Павловой» чувствуется, как найденный, соответствующий времени.

К. Локс.

ИЗ ЕВРЕЙСКОЙ ПОЭЗИИ.

1) МАРКИШ, ПЕРЕЦ. Ди купэ (Куча). Поэма. Кооперативное издательство «Культур-Лиге». Киев. 1922. 16⁰. Стр. 35.

2) ГОФШТЕЙН, ДАВИД. Тройэр (Печаль). Рисунки МАРКА ШАГАЛА. Кооперативное издательство «Культур-Лиге». Киев. 1922. 4⁰. Стр. XXIII—4 отд. листа рисунков.

(На еврейском языке).

Новая книжка молодого, уже ставшего известным еврейского поэта Маркиша.

«Ди купэ»—это куча, груда трупов, наваленных после еврейского погрома в украинском городке Городище, у Днепра. Эта куча гниет под синим небом и зовет небо к ответу.

Своеобразная попытка сочетать эстетизм бодлэровской «падали» с модернизованным «богоборчеством», но нет выпуклости в ее осуществлении, нет заостренности углов, и все тонет в маркишевском многословном неубедительном пафосе: и эстетизму «кучи» далеко до бодлэровского (у Маркиша «эстетизм» гниения ослабляется, напр., тем, что его «куча» — «куча грязного *белья*»), и «богоборчество» оказывается уж очень доморощенным: к ответу поэт тянет «Ягве, Христа и Аллаха».

Еще одно: в первой книжке Маркиша был целый цикл стихотворений «Вчерашние дни», посвященных достаточно известному и не еврейскому читателю поэту Бялику и за которыми в еврейской литературе осталось название «антибяликовских»: в стихах этих Маркиш противопоставлял «пророчеству» Бялика «Вчерашний день» своеобразный темпераментный «нигилизм». А сейчас в своей новой поэме рядом пристегнутых древне-еврейских цитат Маркиш заставляет вспомнить Бялика, написавшего властно в свое время прозвучавшее «Сказание о погроме», вспомнить не в пользу «Ди• купэ»: пророческие ноты решительно чужды Маркишу.

Поэт темперамента по преимуществу, Маркиш первой своей, такой неожиданно-яркой книгой стихов «Швели» (Пороги — Киев, 1916)' привлек всеобщее внимание. Увлекала какая-то стремительная стихийность этого поэта: он без удержу мчался на каруселц, бороздил босыми ногами поле и, распахнув сорочку («chraste oif dein hemd»), бросался на голое тело земли... Эта темпераментность облекалась плотью и кровью и, казалось, вырастала в *содержание*. И многословие, которое уже здесь, в первой книге, проступало не в меру, казалось, соответствовало тому *стихийно иррациональному* несказанному, которое Маркиш определенно носит в себе и что так напряженно ищет сказаться. И это рождало веру в молодого поэта; мы напряженно ждали того, чтоб поэт «мог вместить» себя в свое искусство. Дальнейшие его книги, которых за эти три года вышло около десятка, ставили нашей вере в поэта большие испытания: «многословие» стало

носить зловещие признаки графомании. И вот новая рецензируемая поэма Маркиша, требовавшая больших пространств, только с большой выпуклостью обнаружила его недостатки: стремительность от темперамента перешла на идеологию, и от этого получилась та мешанина из Бодлэра и многих других, о которой говорилось выше. На всем протяжении поэмы привлекает к себе только небольшой «тихий» рассказ о «старой, толстой вороnихе» (kroeche), которая пролетала мимо «кучи».

Итак, сгущенность, поэтическая концентрация в новой поэме Маркиша остается неосуществленной мечтой. Но Маркиш далеко не сказал своего последнего слова. Находящаяся к моменту писания этой заметки в печати новая небольшая книжка стихотворений Маркиша (изд. «Лирик», Москва) говорит о новом повороте в его творчестве, об этих взыскуемых «берегах» для его стихии.

В противоположность Маркишу, другой еврейский поэт Гофштейн в совершенстве знает мастерство «строк рифмованных, сжатых» («schures gereimte, gepresste»). Его творчество проникнуто какой-то светлой рациональностью, как по способу выражения, так и по мировоззерцанию поэта. Так, и печаль, служащая предметом его книги «Тройэр», обращается у Гофштейна в осязательно-ясную категорию.

Книга посвящена «всем до времени скошенным» и, как и поэма Маркиша, навеяна кровавыми еврейскими погромами, в полосу до-советской «петлюровщины» и прочей атаманщины, волной захлеснувших Украину.

Ядро книги составляют стихи, ранее напечатанные во втором сборнике «Eigns» (Киев, 1920) под заглавием «Tristia»— зачем только поэт отказался от этого заглавия, так ассоциировавшего с европейской культурой печали!

А эта перспектива печали сохранена—от старинной еврейской книги Иова до наших детей, разыгравшихся в четыреугольниках февральского солнца, через нашу современность, для которой: «величие моего человеческого несчастия, величие моей печали—это мое утешение, мое сознание, моя отвага и моя сила»... Такую значительность приобретает у Гофштейна первая встреча детства с «ниткой капелек крови, светлых и чистых», неведомо кем оброненных у сорного ящика; а созданный поэтом образ убитой лисички («у которой была только одна мудрость... шкурка пуховая, белая»), через кажущуюся романтику жертвенности, вырастает в образ активного констатирования печали.

В своей замечательной статье об еврейской литературе (см. журнал «Штром», № 1) Ш. Гордон говорит о Гофштейне, что он «создал эпическое равновесие оптимистически - пессимистических переживаний». Только пусть это не будет понято, как душевная статика. «У дорог»—называлась первая книга стихов Гофштейна; вот и в этой книге он вновь «подвержен перемене, вновь в пути». В этом perpetuum mobile странствований поэта от одной «перемены» к другой залог его душевной жизненности. Но мир уж так устроен, что так часто стирается «грань между беспокойством и покоем». Своей ясностью, своей рациональностью Гофштейну удается обозначать эту дрожащую грань.

В книге четыре отдельных листа рисунков Марка Шагала, не считая его же обложки и заставки. Совершенно отличный от Гофштейна, этот художник в своих «сумасшедших» жестах (не иначе, как жесты, представляются нам его рисунки) продолжает создавать какую-то своеобразную мифологию еврейского быта, вычерчивая крохотные фигурки лошадок с возницами, черно-белые домики с дымками и нанизывая одну к другой еврейские буквы и точечки...

Такой изящной по внешности книги, изданной in quarto, на еврейском книжном рынке в России давно не было. Издана книга на средства Еврейского Общественного Комитета («Идгезкома»), и весь доход с издания идет в пользу голодающих еврейских колоний на Украине.

Д. Гурштейн.

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА.

Э. СЕТОН-ТОМПСОН. «Приключения Рольфа». Госиздат. 263 стр.

Сетон-Томпсон и Вилльям Лонг—два наиболее любимые детьми среднего возраста писателя. И не даром. Рассказы из жизни животных этих, горячо любящих природу, живых и непосредственных наблюдателей прочтутся с удовольствием и взрослыми. Между прочим, одно из несомненных достоинств детской книги, если она читается с интересом и взрослыми, что возможно лишь тогда, если от нее не несет за сто шагов специально для детей сфабрикованной назидательностью, поучительностью или сентиментальностью. Нам, взрослым, это скучно и противно? Так не будем давать такого скучного и противного чтения и нашим детям, пусть этот признак будет меркой для нас. Особенно имеет это значение в изучении природы. Педантичные рассказы Вагнера поселяют в детях такое же отвращение к естественным наукам, как школьное преподавание какого-нибудь футлярного педагога. И тот же ребенок с таким же увлечением, не отрываясь, читает рассказы Лонга или Томпсона, с каким он бежит за охотником, рыболовом, всяким человеком, который сам неподдельно и просто интересуется наблюдаемым, а не стремится поучать или подлаживаться под чужую психологию. Поэтому Госиздат обязательно должен включить в свою серию детских книг все рассказы этих двух авторов, как переведенные раньше, так и новые, если таковые имеются. Многие из них вышли в издательстве «Посредник» Горбунова-Посадова.

В «Приключениях Рольфа» Томпсон подходит к своей задаче несколько иначе. Он не просто излагает наблюдения над животными, или тем или иным животным, а вплетает их в историю пятнадцатилетнего белого мальчика, ушедшего к индейцу, знакомя попутно с нравами и бытом этого вымирающего племени по одному,— последнему по рассказу,—его представителю. Это также чрезвычайно интересные страницы книги: немножко в розовом свете, но для юности это хорошо, хорошо так же, как протест против свойственного нам, культурным народам, отношения свысока к первобытным племенам,—рисует он нам как отблеск заката этот последний луч «уходящего к своим» когда-то великого племени. Отмечая правильно его недостатки: малую выдержку в труде, он показывает нам правдиво все его светлые стороны: недоступную для нас цельность натуры, мужество и твердость, связанные с трогательной скромностью и добротой. Все эти черты вместе с поэзией первобытного народа роднят его с детьми, и мы чувствуем то благодетельное влияние, которое они имели на душу подрастающего мальчика,—влияние, совершенно недоступное стольким педагогам по профессии!

Особенно хороши те краткие строчки, когда индеец для спасения недавно попавшего к нему чужого мальчика решается на жертву,—уйти в северные леса,—хороши по той простоте, с которой приносится эта жертва, вызывающей тем более глубокую благодарность. Как протест против неприятных, лживых, ходульных, расслабленных и сентиментальных сторон нашей цивилизации звучат эти струны, этот лейт-мотив всего рассказа. И он проникает, несомненно, в души детей. Как хорошо затем описание мужественной борьбы индейца с морским чудовищем, наведшим на него страх, ибо по запавшему в его душу с детства правилу его отца главное, с чем он должен бороться в жизни,—это с чувством страха.

Да всех хороших мест не перечислить. Для этого надо прочесть всю книгу. Массу знаний из жизни и нравов животных почерпнут из нее дети. Издание этой книги надо отнести в большой плюс Госиздату. Перевод ее хорош. Мы кончаем тем, с чего начали: детская серия Госиздата должна включить в себя полное собрание сочинений обоих писателей.

Добавим лишь, что наша симпатия к Вилльяму Лонгу еще бо́льшая, ибо у него жизнь животных излагается с точки зрения не охотника, а наблюдателя, т.-е. чужда цели убийства, что делает его рассказы еще более ценными для нашей подрастающей молодежи.

Д. Елизарова.

Л. Н. ТОЛСТОЙ. Книга для чтения. Гос. Издат. 1921 г. 136 стр.

Всякий, кому приходилось заниматься в народных школах, с удовольствием, как старого знакомого, встречает книгу рассказов Толстого. Сколько воспоминаний связано с ними! Тех незабываемых воспоминаний, когда над этими книжками разгорались детские личики, когда от них подымались глаза, горящие интересом и восторгом перед вновь открывающимся кладезем тех знаний и наслаждений, которые дает книга. Немеханическое составление слов, а целые яркие, доступные картины из жизни окружающего. Не скучная учёба, когда заставляют зачем-то складывать длинные малопонятные слова и фразы, где детская мысль путается в разных причастиях и «которых», не зная, направо или налево их отнести, а своим языком рассказанная повесть как о том, что окружает, так и о новом интересном. Ну, конечно, своим языком. Ведь эти рассказы писаны самими детьми, записаны с их слов; ведь происхождение их относится к тому времени, когда Толстой звал всех «учиться писать у крестьянских детей»; ведь они дышат безыскусственной поэзией народной речи, над которой с чисто материнской чуткостью прошла гениальная рука нашего великого мастера слова. Рассказы эти, не менее чем все остальные его произведения, должны войти в сокровищницу нашего слова. Давая ощущение счастья, как всякое истинно-художественное произведение для того круга, для которого они назначены, они своей безыскусственной прелестью приохочивают к чтению, к *сознательному* чтению с самого начала. В этом их главное и великое достоинство, их незаменимость и непревзойденность в нашей школе, в руках наших начинающих учиться детишек. Немудрено, что четыре «первые книги для чтения» Льва Николаевича Толстого выдержали массу изданий и что в последнее время нам сильно не хватало их. Госиздат должен был выпустить их одним из первых изданий.

Но нам непонятно, зачем нужно было эти книги свободного творчества причесать обязательно под учебное руководство, под шаблонную хрестоматию. Зачем, когда они вылились в виде 1-й, 2-й, 3-й и 4-й книги для чтения и Л. Н. не счел нужным изменять эту форму в течение 40 приблизительно лет; когда они вращались при его жизни, и наша царистская, казенная стократ современным коммунистическим просвещением ругаемая школа не накладывала на нее своей бездушной руки,—зачем, какому педанту понадобилось теперь, при коммунизме, разбить рассказы по отделам? Сначала идут «Басни Эзопа», затем «басни других народов». Потом следует отдел «Сказки», затем «Рассказы из жизни детей»; «Рассказы из жизни взрослых» и, наконец, «О животных и растениях». Эта разбивка составила, конечно, особую работу, за которую составитель получил особый гонорар. И как Госиздат не задумался, что не только особый гонорар не следовало платить, но штраф за такую порчу живого и непосредственно талантливого следовало брать?! Для нас несомненно, что сборник этот составлял один из тех футлярных педагогов печального наследия прошлого, которое нам не так скоро, должно-быть, суждено изжить, каковые сидели и сидят еще—увы!—специально для того, чтобы портить детям ту радость, которую дает раскрывающаяся перед ними новая во всех своих проявлениях жизнь, чтобы отвращать их от книги и школы. Ни к каким иным результатам такая никчемная систематизация привести не может.

В самом деле? Ребенок с утра наблюдает жизнь какого-нибудь животного, потом с живостью передает вам случай из жизни детей или взрослых, а чаще тех или других вместе; затем задумается над рассказанной ему басней, а к вечеру выслушает всего охотнее, прижавшись к вам, сказку. При наметившейся потребности к тому или иному роду чтения, каждая вещь усвоится тем охотнее и лучше. Не так ли поступаем и мы, взрослые, когда выбор книг свободен перед нами. От философского сочинения переходим к какой-нибудь популяризации или книге по общественным вопросам; от этих последних отдыхаем за беллетристикой. Зачем же детям надо обязательно прочесть сначала все басни

Эзопа, затем басни других народов, сначала рассказы из жизни детей, а затем взрослых?

Зачем понадобилось это составителю? Чтобы дети запомнили, какие именно басни принадлежат Эзопу? Ошибается он, никоим образом они этого не запомнят, да и нужды никакой в этом нет.

Рассказы эти вырастали естественным путем. Сегодня дети писали пересказ басни: «Муравей и голубка», и лучший из этих пересказов, может-быть, с легким исправлением Толстого, вошел в книгу для чтения. На завтра главный их интерес сосредоточен на пережитом деревнею пожаре, и дети записывают по-своему это переживание, не заботясь, из жизни ли это взрослых или только детей, и совершенно правильно, конечно, не заботясь об этом. В другой раз они на практике, вычищая дорожку, заинтересовались вопросом о том, как ходят деревья, и записывают свои наблюдения. Их рассказы находятся в тесной связи с их жизнью. Но вот если им надо выделить и прочесть сначала все басни Эзопа, чтобы перейти к басням других народов, а затем к следующим отделам, то это учёба, скучная, никчемная, отбивающая интерес к жизни и знанию учёба. Да и не произвести безукоризненно такого несуществующего в жизни разделения. Почему, в самом деле, «Солдаткино житье»—этот чудный рассказ, в котором так художественно жизнь целой крестьянской семьи передана через призму детского миропонимания, почему он подведен под рубрику «жизни взрослых»? Ведь он передан, пережит, перечувствован ребенком,—одним из активных действующих лиц рассказа, каким же образом не является он так же страницей детской жизни? Или, почему рассказ: «Как мальчик дедушке нашел пчелиных маток», относится к жизни детей, а не к жизни и пчел также? И таким образом целый ряд рассказов вылезает из искусственного Прокрустова ложа и должен вылезти. Поэтому несомненно, что для следующего издания надо отбросить эту никчемную классификацию.

Нам скажут, может-быть: рассказы разбиты для удобства преподавателя, а читать дети могут из разных отделов. Но раз принципиально признается отступление от систематизации, то тем более не для чего было отступать от порядка Толстого.

Ни к чему также первый отдел—«Рассказы для первоначального чтения». Они взяты, очевидно, из азбуки Толстого, но, кроме крупного шрифта, ни по содержанию, ни по изложению не являются более приспособленными для первоначального чтения, чем остальные. Поэтому их надо либо присоединить без такой рубрики, либо переиздать со всей азбукой. Это вопрос особый: азбука не приемлется многими вследствие отступления от звукового метода, но для привычки к сознательному чтению с первых же шагов также очень ценна. По нашему мнению, педагог и при звуковом методе может утилизировать ее.

Затем отчасти систематизация, очевидно, побудила выпустить многие рассказы. Перед нами нет четырех книжек прежних изданий, поэтому приходится восстановлять по памяти. Но несомненно, что опущен ряд рассказов по неорганической природе, например, о превращениях воды; чем руководствовался тут составитель—неизвестно. По-нашему, кроме неудобства вставлять из-за небольшого числа рассказов особый отдел, других мотивов быть не может. Это уже новый вред: из-за никому ненужной классификации выпускается ряд нужных рассказов. Не видим мы также рассказа о том, как русский мужик изобрел более дешевый и простой способ удалить с дороги камень, чем ряд инженеров, а именно: вырыл яму подле него и, свалив его туда, заровнял дорогу. Не вошел прелестный рассказ: «Бог правду видит, да не скоро скажет». Мотивы его исключения нам более понятны, но, поскольку нам помнится, тенденция его выражена подчеркнуто только в заглавии, и если заменить его таким, например, как: «Повесть о купце Аксенове», то весь рассказ может пойти без изменений, и впечатление от него не ослабеет. А лучше уж опустить оглавление, чем весь рассказ: нам памятен тот захватывающий интерес, с которым читали его дети. И потом не надо и тут утрировать: ведь целые бытовые полосы изживаются не так просто,—тогда надо бы опускать и то, что Жилин («Кавказский пленник») пере-

крестился, пускаясь в бегство, и слова деда в рассказе о пчелах: «матка, все равно, что царь в народе, без нее нельзя быть пчелам». Никакой беды, если дети прочтут это, не будет: от своих дедов и других родных они все равно это еще слышат и будут слышать, и не это может сделать их сторонниками правых партий.

Итак, следует переиздать книжки Толстого полностью в том виде, который придал им автор. Кроме всех приведенных мотивов, можно указать еще тот, что в таком непосредственном виде они могут заразить детей желанием составлять и самим такие книжки,—должно быть указано в предисловии, что большинство рассказов составлено самими детьми,— а такой толчок по пути самостоятельного детского творчества, указанного нам нашим гениальным писателем, был бы тем самым ценным и жизненным, что сумело бы взять от него наше молодое коммунистическое строительство.

А. Елизарова.

Р. КИПЛИНГ. Маленькие сказки. Книга 1. 82 стр. То же. Книга II. 94 стр. Издания Тов. «Мир».

После дышащей неподдельной художественной простотой книги рассказов Л. Толстого, после правдивых и жизненных рассказов о животных Сетон-Томпсона странное впечатление производят сказки Киплинга для детей. В них чувствуется, что автор принижает себя до детского понимания и на это реагируют уже 8 — 9-летние дети, заявляя с некоторым пренебрежением: «это для маленьких!» в то время как все рассказы Толстого, понятные в большинстве 6—7-летними, читаются с интересом и 12-летними. Неприятно действует слащавость рассказов Киплинга, это постоянное «милые мои»,—следовало бы выпустить хотя в русском переводе; мораль: человек сидел и полоскал ноги в воде, это потому, что его мама позволила ему это делать; слоненок был излишне любопытен, за что терпел от дяди-павиана и тети-жираффы. Какой ненужной приторностью и фальшью веет от всего этого! А затем и тема сказок: у верблюда не всегда был горб, кенгуру не всегда выглядел таким, как теперь, слоны не имели в старину хоботов, и т. п. Это тема почти всех сказок. Шутка, конечно, всегда возможна и в юмористическом отделе своего журнала дети прочли бы, может-быть, с удовольствием о том, как крокодил вытянул слоненку нос в хобот: среди других серьезных рассказов это произвело бы впечатление веселой забавы. Но если вся книжка наполнена такими рассказами, то или дети, помоложе и понаивнее, будут верить, что в старину кенгуру и верблюды были иными, или отзовутся, как указано выше, что «это для маленьких», и почувствуют обиду, что их мистифицируют. По крайней мере, те русские дети, с которыми нам приходилось иметь дело в семьях и школе. У них более серьезные требования от книги.

Нам скажут, что сказки предназначаются для детей младшего возраста. Для какого? Для дошкольников не понятны ни экскурсии в первобытные эпохи, ни фантастические «слоны—всех тогдашних слонов», или «коровы всех тогдашних коров», ни различные трудно произносимые боги «Нга» и «Нконги», ни морские приливы и отливы, которым дается сказочное объяснение. Тем менее понятны им темы в роде ссор девятисот девяносто девяти жен султана и того, как помог султану мотылек, который «топнул».

Непонятна нам также цель сказки о первобытной азбуке, в которой человек с дочерью составляли буквы из рыбьих хвостов, шестов и других принадлежностей их повседневной жизни для обозначения фантастических, нигде не существовавших слов фантастического первобытного языка. Если для приохочивания к изучению азбуки, то существуют гораздо более современные и интересные способы приохочивания. Но теперь и приохочивать-то не приходится: дети рвутся обыкновенно к чтению и письму, а по современным педагогическим взглядам их в возрасте детского сада, т.-е. лет до 7-ми, грамоте не учат. Так что не привлекать к азбуке, а, наоборот, отвлекать другими занятиями приходится.

Лучшей является известная сказка «Как кот гулял, где ему вздумается».

Тут не дается никаких выдуманных представлений о превращениях кенгуру или верблюда,—наоборот, хитрость и лукавство, присущие коту, прослежены остроумно с первобытных времен.

Собрания же детских сказок Киплинга, по нашему мнению, издавать для русских детей не надо. Лучше отложить знакомство их с этим писателем, чтобы дать им прямо в руки, когда они подрастут, многие прекрасные сказки его для взрослых.

А. Елизарова.

ИСКУССТВА.

Проф. Ф. И. ШМИТ. Искусство древней Руси Украины. Издательство «Союз» Харьковского Кредитного Союза Кооперативов. 1919 г. Стр. I—111.

Перед нами интереснейшая книга, написанная известным специалистом по истории восточно-христианского, в частности, древне-русского искусства, харьковским профессором (ныне киевским академиком) Ф. И. Шмитом.

Отзыв о книге мы начнем с ее заключения, которое представляет вопль автора по поводу состояния русских древних памятников, отношения к ним, их изучения. Нельзя не присоединиться к этому воплю и можно указать еще целый ряд причин, его вызывавших, в нашей все еще варварской России?

Для отдыха своего и для назидания широкой публики написал автор свою небольшую книгу, и написал увлекательно и вместе с тем серьезно, иногда входя даже в мелочные и кропотливые соображения археологического, географического, художественного и литературного характера. Но автор обладает выгодной способностью интересно излагать даже, казалось бы, скучные вещи.

Самый подход к изложению обличает широту горизонта автора. Установление и анализ памятников связан с широкой рамой историко-культурных отношений народов. Чувствуется веяние, идущее от столь знаменитого историка византийского искусства, как Стржиговский, имя которого автор однажды упоминает. Научность обусловлена привлечением, можно сказать, последних слов исследовательского характера, из которых иное принадлежит самому автору.

Главы II, III, V, VI дают ясную картину наших отношений к греко-восточному миру и вряд ли вызывают какое-либо сомнение в своей общей концепции. Отношение древней Руси к Константинополю в общем поставлено верно. Но, к сожалению, автор несколько исключителен, следовало бы обратить большее внимание на сношения русских, хотя бы через ту же Тмутаракань, а далее через Синоп, с М. Азией, на зависимость от Болгарии, на тяготение к Македонии и Солуни, которые, в свою очередь, опять-таки тянут к М. Азии.

Быть-может, тогда бы можно было поставить в центр воздействий восточно-христианской культуры на Русь северо-западные части М. Азии, а не Кавказа.

В частности, приходится сказать это об архитектуре и Черниговского Спасо-преображенского собора (вместе с недошедшим Тмутаранским) и Киевских Десятинной церкви и св. Софии. В этом вопросе, думаем мы, надо оставить, наконец, привычку опираться на *Можви*. Здесь мы имеем опасность, происходящую из обычая опираться в сравнительном анализе архитектурных форм только на план. Ведь вопрос в том, насколько он всегда руководящ? Можно всегда мыслить разные здания на одном и том же плане. Все дело в организации массы. Замечательно, что этого понятия проф. Ф. И. Шмит не вводит в свое теоретическое определение архитектуры, и вот у него египетская пирамида оказалась скульптурой а греческий храм—

живописью (повидимому, лишь по причине полихромии?).

Теоретические воззрения проф. Ф. И. Шмита, неоднократно им излагавшиеся в отдельных книгах, достойны специального обсуждения, и мы их здесь оставим.

Думается нам, что нельзя самое искусство Кавказа считать однородным, особенно в области архитектуры, где Грузия имеет нечто свое против Армении. Наконец, где на Руси тот «армянский» крест плана, те конусы вместо куполов, те покрытия, те центрические с экседрами здания, которые сохранили в армяно-грузинской обработке свой очень древний сирийский арамейский прототип?

Желательно также было бы более обратить внимание на кубичность южнорусских храмов XII в., на существование малых одноабсидных храмиков и проч. Если этого нельзя было вводить в краткий популярный очерк, то это все же следовало бы учесть при проведении общего взгляда. Мы при этом учете опять повторим: в северо-восточной части М. Азии (кроме Трапезунда, всегда несколько «византинизирующего») надо искать того русла греко-восточного искусства, которое влилось на Русь. К сожалению, эта область пока неизвестна, и в известной книге Стржиговского о М. Азии не затронута.

Глубоко интересный анализ киевских мозаик возвращает нас к старому взгляду о национальном мастере, работавшем в Михайловском монастыре. Быть-может, это и так. Все же следует отметить, что живописная связность темы Евхаристии Михайловского монастыря, в отличие от лишь ритмически-орнаментальной, но живописно-разрозненной композиции св. Софии, не дело рук русского мастера, а прототипа едва ли не Константинопольского характера. Многое ли мы знаем о мозаиках собственно Византии этой эпохи, т.-е. XI—XII вв. Возможная гибель никейской и хиосской мозаики подготовительных трудов по их изданию, произведенных автором, поистине была бы ужасна.

Конечно, проф. Ф. И. Шмит—большой знаток византийских мозаик вообще, а особенно их иконографии, и не здесь можно беседовать с уважаемым автором о восточных источниках последней для русских памятников. Отношение иконографии к стилю—одна из самых деликатных и в наше время опять возрождающихся проблем. Но все же и та и другая могут итти из разных центров и соединяться в одном памятнике. Мы полагаем, что для объяснения нового движения в византийской живописи еще мало с точки зрения стиля изучены мозаики Дафни и Сера. Михайловские мозаики, быть-может, должно присоединить сюда же.

Еще Буслаевым отмеченная любовь русских к плоскому узорочью фигурирует у автора в характеристике и живописи, и скульптуры, и орнамента, и ювелирного производства, правильно характеризованная, как собственный русский вкус, воспитанный соответственными восточно-христианскими образцами. Жаль только, что автор мало остановился на шиферных рельефах, не все даже упомянув. Не случайно ли забыт семейный портрет Святослава? Совершенно для нас неприемлема глава IV, устанавливающая глубокую архаичность галицийского деревянного зодчества в области храмов. Глава эта составляет один чистый конъюнктуризм и исходит из предвзятого мнения о сохранности традиции в захолустье.

У украинских ученых (а к ним принадлежит автор по месту своего жительства) образовался своеобразный патриотизм признавать украинскую деревянную церковь за явление еще домонгольского вкуса. Мы уже имели случай возражать по пунктам по этому поводу проф. Г. Г. Павлуцкому и не будем здесь входить еще раз в полемику. Польско-венгерский барокко—вот источник этого зодчества. Самая организация массы, пространства, композиция, организация сил давления,—все, что так хорошо подмечено автором, говорит против него, но за нас. Досадно лишь, что далее автор привлекает свою неудачную идею для толкования русского вкуса в каменном зодчестве.

Слоистость крыш, в которой автор видит чуть ли не китайщину—лишь следствие варварского подражания.

Конечно, в популярном изложении автору несколько канонически прихо-

дилось излагать пока еще только свои личные домыслы и говорить sein там, где еще только werden. Однако, все же автор так добросовестно осторожен, что и неопытный в жизни науки читатель поймет эту книжку лишь как талантливый опыт ввести всякого сколько-нибудь образованного человека в светлый мир мысли о выражении изящного в истории.

Проф. А. Некрасов.

ИВАН ЕВДОКИМОВ. Север в истории русского искусства. Вологда. Издание Союза Северных Кооперативных Союзов. 1921 г. 8°. Стр. 4 нен.+230+2 нен.+48 стр. иллюстраций на вкладных листах.

«Выпуская в свет монографию, составитель считает необходимым указать, что его труд в общей литературе по изучению русского искусства является первой попыткой представить в целом и законченном виде историю развития старого искусства севера», такими словами открывается эта книга и из них явствуют те исключительной важности, а вместе и сложности задачи, за разрешение коих автор предполагает приняться.

Естественно, первое, что стоит на пути характеризуемой приведенными словами работы—определение понятия «север», в приложении к истории русского искусства. На стр. 18 в это территориальное собирательное целое включается: Олонецкая, Архангельская, Вологодская губернии, Череповецкий и Кирилловский уезды. Но это мнение не представляется убедительным, тем более, что, с одной стороны, автор в пользу его не приводит никаких соображений, а с другой—оно не оправдывается самим содержанием книги, которое, будучи посвящено преимущественно рассмотрению памятников Вологды, В. Устюга и Сольвычегодска, вовсе не затрагивает, например, Кирилловский, Ферапонтовский, Горицкий монастыри, гор. Архангельск, памятники ризницы Соловецкого монастыря и т. д. На ряду с конкретизацией понятий «север» хотелось бы также демонстрации тех оснований, которые позволяют как-то выделить «север» из общей истории русского искусства. Думается, это недостаточная определенность материала, с которым предполагается оперировать—один из самых важных методологических недостатков рассматриваемой книги. Методологического же характера и другое важное обстоятельство, вызывающее некоторое недоумение у внимательного читателя: И. Евдокимов обещает в своем сочинении дать «историю искусства севера». Под «*историей* искусства» разумеется представление эволюции художественных форм, а этого в книге нет. Некоторая историческая перспектива сохраняется еще при рассматривании архитектуры и живописи, областей более разработанных, но она вовсе исчезает в главах о скульптуре и, особенно, о прикладном искусстве.

Таким образом, книга не оправдывает те обещания, которые даются читателю в «предуведомлении». Но мы очень склонны винить автора не в этом нарушении обещания, а, скорее, в том, что он его неправильно формулировал. Не посули он «истории»—никто бы и не стал критиковать работу И. Евдокимова, как историческое сочинение, а так бы и принял ее, как она есть: как опыт популярного ознакомления широких читательских масс с памятниками, кои на севере (без особого углубления этого понятия) сохранились. И тогда возражать бы пришлось лишь относительно деталей отдельных исторических указаний и характеристик памятников—к чему и переходим.

Но прежде отметим одно влияние, испытанное автором книги, определившее, в значительной мере, подход его к памятнику искусства вообще и основную концепцию истории русского искусства—влияние «Истории русского искусства» Игоря Грабаря.

Этому влиянию обязано, в большей своей части, содержание первой главы, являющейся как бы некоторым вступлением к дальнейшему изложению, дающей, вместе с тем, общую историческую канву русского искусства. Большая часть и второй главы, посвященная деревянной архитектуре, восходит к «Ист. рус. иск.» (статьи Ф. Горностаева и И. Грабаря в I т.) не только в своих

основных мыслях, но и самым подбором материала и порядком его рассмотрения, вплоть до сближения, на стр. 48, Коломенского Вознесения с Успенской церк. в Варзуге, Кольского уезда (см. И. Грабарь, «Ист. рус. иск.», т. II, стр. 66), и приведения опубликованных в «Ист. рус. иск.» выдержек из документов (см., напр., стр. 40 книги Евдокимова и «Ист. рус. иск.», т. I, стр. 482). Переложением статьи П. П. Муратова из того же коллективного труда под общей редакцией И. Э. Грабаря является начало третьей главы, где рассматривается так называемая Строгановская школа иконописи. Это влияние сказалось и на таком моменте, уже художественно-технической композиции книги, как рисунок набора последних страниц глав.

Остановимся теперь на отдельных местах, вызывающих возражение.

Замечание о влиянии на искусство Киева—Чернигова и Владимира—Суздаля «местных деревянных культур» (стр. 47) следовало бы развить более подробно, пояснить на памятниках, иначе оно остается совершенно непонятным.

При рассмотрении вопроса о влияниях деревянной архитектуры на каменную очень быстро и просто решается вопрос о происхождении восьмискатного покрытия многих новгородских церквей из конструкций деревянного строительства (стр. 47, 48), что, думается, недопустимо после указаний в этой области В. В. Суслова, А. И. Некрасова и некоторых других исследователей (между прочим, при перечислении храмов, имевших покрытие на 8 скатов, пропущен Никола Липный, являющийся основной вехой в попытках решить сложный вопрос о происхождении четырехфронтонного покрытия). Кажется, в факте такого решения более всего повинна очень распространённая и симптоматичная «боязнь иноземных влияний», против которой автор, впрочем, порою протестует (стр. 5, 6, 113, 114). Эта странная (ведь наличие влияний, переработки их—лучшее *свидетельство жизни* художества определенной территориальной и временной группировки) боязнь послужила причиной тому, что церковь в Корневе, Кадниковского уезда, оказалась перекрытой «как бы двумя главами» (стр. 35), в то время, как без труда здесь легко усмотреть влияние куполов украинских храмов («Ист. рус. иск.», т. II, рис. на стр. 349, 351, 385 и др).

Недостаточно обоснованной представляется датировка Цареконстантиновской ц. (стр. 58). Слишком общие соображения легли и в основу датировки дома Азовых в В. Устюге (стр. 62).

Говоря об иконе Михаила Архангела 1687 г. в Иоанно-Богословской церкви, в Вологде, автор находит в ней традиции новгородской иконописи, наблюдающиеся в красках, рисунке, крыльях и облаках. Вместе с тем он видит в иконе «новый вариант... образа Архистратига» (стр. 79 и 80). Мы думаем как раз напротив: рисунок, крылья и облака на этой иконе чрезвычайно характерны именно для второй половины XVII века, в то время, как представленный вариант образа идет от более ранней эпохи (см. Аполлон, 1913, кн. 10, Архангел с мечом XVI в. Собрание Н. П. Лихачева: Русский музей в С. П. Б. [1]).

Необходимо было бы уделить несколько более места стенописям Великого Устюга и Сольвычегодска. Для специальной монографии о «севере» $7^1/_2$ строк (стр. 89), в которых говорится об этой группе памятников двух центров художественной культуры севера, слишком мало.

«*Бедное* художеством Петровское время» (стр. 84; курсив наш. *Г. Ж.*)—так ли?

Трудно согласиться с характеристикой типа иконы Ивана Воина из Благовещ. собора в Сольвычегодске, как «далеко не лучшего» (стр. 91).

Датировка иконы «Троицы» из Цареконстантиновской церкви началом XVI в. нуждается в более основательной аргументации, чем та, которая предложена автором на стр. 107 и 108. Против этой атрибуции сильно говорит приложенная репродукция с иконы (в то время, как присутствие Авраама и Сарры еще не свидетельство принадлежности иконы к XVI в.—другие детали говорят о более позднем, чем

[1]) Примеры могут быть приведены и для более раннего времени.

начало XVI в., времени происхождения ее). Композиция Троицы представляется нам, в противоположность мнению И. Евдокимова (стр. 102), устойчивой не более, чем композиции всех других «праздников». (Кстати, «лицевой подлинник» и «сюжет» не одно и то же, и почему композиция Троицы «повторялась бесконечное количество раз иконописцами всех веков» только «до XVI включительно»?).

Не кажутся достаточно убедительными соображения относительно триптиха с изобр. «Собора Архангела Михаила» на центральной пластинке (стр. 128).

Слишком поверхностен очерк развития иконостаса; вовсе недопустима сравнительная оценка русского иконостаса и византийской древней перегородки с мозаиками по сводам—явлений принципиально совершенно различных в смысле художественного воздействия (стр. 144 и 145). Говоря о «скромной древности, влияющей простотой рисунка, простотой форм» в украшениях царских врат некоторых северных деревянных церквей, автор не считается с тем, что по поводу этого украшения было сказано А. И. Некрасовым в рецензии на «Ист. рус. иск.» И. Грабаря, напечатанной в «Ж. М. Н. П.» (стр. 146).

Мы совершенно не можем согласиться с И. Евдокимовым в оценке русской художницы—вышивальщицы плащаниц, покровов и т. д., как «...никогда, нигде не учившейся, не знавшей никаких законов мастерства...» (стр. 157). Казалось бы совсем напротив...

Вовсе удивляет то обстоятельство, что во главе о живописи из поля зрения автора исчезла миниатюра, живописный элемент древней русской книги.

Укажем несколько оплошностей И. Евдокимова в области чисто-иконографической. Марии Египетской не «...какой-то старец протягивает... ее одежду» (стр. 124), а старец Зосима *свою*. В композиции Воскресения «фигура старца с протянутыми вперед руками на переднем плане»—Адам, на своем обычном месте (стр. 128). И, наконец, на стр. 159, в выдержке из книги И. К. Степановского то, что считается, при описании обратной стороны одной из шитых хоругвей Прилуцкого монастыря, за «кольцеобразное изображение цаты»,—конечно, обычный в аналогичных композициях терновый венец.

К книге приложен «Указец книгам и статьям по художественной культуре севера», распадающийся, собственно, на две части—«общие труды по русскому искусству» и часть, специально посвященную работам по художественной культуре севера. Что было принято в качестве основания для выбора книг, помещенных в первой части этого указателя? Здесь есть ряд изданий, присутствие которых в списке *общих трудов по русскому искусству* совершенно непонятно, как сочинения Вундта (№ 32), Гегеля (№ 35), Гильдебрандта (38), Гроссе (44), Лало (84), Липса (86), Рескина (157 и 158), Тэна (219), Тепфера (214), Тика (215) и т. д. На ряду с этим не имеется указаний ни на одну из многочисленных работ по русскому искусству Е. К. Редина, из работ Д. В. Айналова, говорится только о трех (из них одна — по византийскому искусству). Нет таких, именно «общих» трудов, как «Иконография Богоматери» Н. П. Кондакова 1911 г., «Материалы к истории древней новгородско-псковской архитектуры» В. В. Суслова 1888 г., работа о тераталогическом орнаменте А. И. Некрасова 1913 г. и т. д. Налицо и ряд почти курьезов. Так, известный альбом с текстом Н. П. Кондакова «Лицевой иконописный подлинник, том I. Иконография... Христа» 1905 г. фигурирует три раза под неодинаковыми названиями (74, 75, 92), при чем авторство его в одном случае приписано Н. П. Лихачеву. Упоминается невыходившая книга В. К. Мальмберга о древностях юга России (100). Как на место издания работы Ф. И. Шмита (а не Шмида) о Кахриэ-Джами неправильно указано на Харьков—книга вышла в Софии (240). Недостаток места не позволяет нам остановиться на целом еще ряде замеченных в первой части указателя ошибок[1]). Напротив, вторая

[1]) До последней степени несовершенно составлен список журналов по искусству (стр. 174—5).

дает, действительно, очень важный и ценный материал, собирая воедино мало известные работы, преимущественно, местных ученых, печатавшиеся в различных периодических изданиях и в виде отдельных брошюр. Но, конечно, это только начало работы, а не ее завершение. Совершенно незакономерно присутствие в указателе отдельных рукописей, не вынесенных в специальную группу (напр., №№ 546, 673, 674). Чрезвычайно нужным и плодотворным, бесспорно, является собирание материалов по местным художникам, в частности—живописцам, результатом чего явился помещенный в самом конце книги «Словарь северных иконников», о котором сам автор говорит, как о «начатках» (стр. 163).

Книга написана языком, несколько злоупотребляющим образностью. Положительно неудачными представляются образования, в роде: «кровяной фундамент» (стр. 5), «дымчато-воющая осень» (стр. 19), «одномассный» (стр. 24), «размахнувшийся крест на лазури» (стр. 31; крест «размахивается» еще на стр. 84), «огромно-глазый Никола» (стр. 90) и т. д.

Один раз в жертву «красному словцу» принесена историческая правда: «Византия вышла из Парфенона» (стр. 9). Иногда, и довольно часто, встречаются предложения в роде: «Достигнуто много. Создана огромная художественная культура, связанная через *золото-красную* Византию с *божественно-чистой, ясной, непостижимо-прекрасной* культурой *розово-мраморной* Эллады» (стр. 17, курсив наш. *Г. Ж*). Несколько затрудняет чтение большое количество опечаток, иногда искажающих смысл текста. Странным кажется, что И. Евдокимов не пользуется обычным приемом библиографических ссылок и, говоря о воспроизведенных памятниках, не указывает, где они воспроизведены.

Заканчивая, позволим высказать одно соображение. Автор часто на протяжении книги, говоря вскользь об отдельных памятниках, указывает на то, что они заслуживают более солидных, монографических исследований. И эти работы, думается, прямой долг работников на местах. За успех их говорят и страницы, посвященные вологодским памятникам, наиболее интересные и ценные в книге И. Евдокимова, являющейся как бы некиим введением к такого рода исследованиям.

Г. Жидков.

ВИППЕР, Б. «Проблема и развитие натюрморта» (Жизнь вещей). Изд. Татгосиздата. Казань. 1922. 8⁰. Стр. 168+12. 3000 экз.

Данное научно-художественное исследование является первою из четырех «диссертаций», выдвинутых в 1921 году Московской школой искусствоведов (проф. Б. Р. Виппера, А. И. Некрасова, Н. И. Романова, пишущего эти строки) и появление ее в печати своеобразное событие, заслуживающее самого тщательного внимания. Можно смело сказать, что до появления работы Б. Р. Виппера русское искусствознание не могло указать ни на один оригинальный труд в форме книги. У нас была история искусств, есть ряд превосходных монографий об отдельных художниках. Б. Р. Виппер—пионер и вождь: будем рады приветствовать счастливо начавшего товарища по общей работе.

Книга Б. Р. Виппера ставит темою своею исследование «проблемы» и «развития» одной художественной темы, с самого начала, однако, столь расширяя ее границы, что книга невольно становится очерком истории искусства вообще.

Автор обещает дать «философию» своей темы, но вряд ли будет он протестовать, если мы определим его основной пафос *историческим*, нефилософским. Нам думается, что проблема натюрморта в книге Б. Р. Виппера не оказалась уловленной в хитро и часто сплетенную сеть исторических фактов, ибо она не конкретизована, и автор, расширив ее до пределов «одного из двух (?) главных обликов художественной формы» (стр. 5), дает нам в книге своей ряд чрезвычайно интересных очерков по «предметной эстетике» старого искусства—самый «Натюрморт», как он обычно и правомерно понимается, оставив до следующего ли исследования? Некиим распространенным предисловием к обещанному содержанию

исследования невольно представляется книга.

Написана работа блестяще, автор — бесспорно чудесный писатель Вельфлиновой школы, умеющий находить острые и адекватные художественному факту слова. Книга изобилует биографическими ссылками, но не носит в себе никакого балласта, в виде хронологических дат или специальных изысканий. Ее легкая и чистая фразеология, конечно, найдет себе читателя; хотя, скажем это сразу, отсутствие конкретных анализов, иллюстрационного материала,—того, что является самою «плотью» искусства, разочарует привыкшего к форменному подходу читателя. Вряд ли стоит автору настаивать на исключительно формальных достоинствах его темы, сближая натюрморт несколько поспешно с архитектурой (стр. 9); мы видим весь интерес его книги именно в продолжении чисто и плоско формальной методологии; всякая «проблема» ставит вопрос о «творчестве», книга Б. Р. Виппера— о психологии восприятия мира художником; не даром, снова увлекаясь, тут же говорит автор, что у импрессионистов натюрморт превращается в «одухотворение всего сущего» (стр. 10). Боимся, что «импрессионистом» - историком высказал себя исследователь, хотя бы потому, что поистине «всего сущего» касается он в своем странствовании по стилям!

Первая глава посвящена «Термину и проблеме». История слова «натюрморт» прослежена с образцовой тщательностью. Заметим, однако, что неправ Б. Р. Виппер, думая объяснить выпады против натюрморта у Готье влиянием японцев: об этом последнем нельзя говорить серьезно до выставки 1867 года, составившей эпоху, Готье же писал о натюрморте значительно раньше (цитата 1856 г., см. стр. 26). В полемике Б. Р. Виппера по поводу его термина с А. Трубниковым и Я. Тугендхольдом все наше сочувствие на стороне автора. Конечно, и здесь спорным остается такого рода утверждение, что содержание натюрморта Сезанна «состоит в изложении формы предметов», и что потому его «мы назовем большим формалистом», чем старых мастеров (стр. 36). Думается, что это только не особо удачно выраженная вполне верная мысль о нарочитом внимании к конструкции формы у Сезанна. Вторая глава посвящена «Первобытному искусству» и Египту. Скажем сразу же, что автор не убедил нас своим старанием отыскать натюрморт у троглодитов: при всем интересе его освещения первобытного искусства жаль, что он, обещавший дать «философию» своей темы, отвернулся от первой же чисто философской проблемы первобытного искусства, его происхождения (стр. 41—21). «Щитообразные» фигуры все-таки вряд ли что-либо изображают, здесь определенно чувствуется натяжка, желание, во что бы то ни стало, отыскать предмет (стр. 47). В истолковании закона фронтальности (стр. 51, прим.) Б. Р. Виппер не опроверг «исключения из правила» в мексиканском искусстве, во-первых, «фронтальность» все-таки принцип изображения, во-вторых, именно мексиканские-то статуэтки нефронтальны и как предмет: фронтальность не просто «правильность», но и обязательно симметричность. Толкование Б. Р. Виппера, даваемое им египетскому искусству, поистине, блестяще, но мало имеет касательства к натюрморту: здесь Б. Р. Виппер переносит акцент на пространство, делает это правомерно с точки зрения исторической, но не с своей собственной. В следующей главе об эгейском искусстве, как и в предыдущей, впрочем, дает себя чувствовать основная болезнь современной русской науки: отсутствие новейших иностранных пособий, труды Шефера по древнему Египту, о древнем Крите дали бы автору, бесспорно, много интересного. Не станем вслед за автором углубляться в спорную и невыясненную им все же проблему «обратной» перспективы; укажем, что именно в главе об эгейском искусстве чувствуется «натяжение» темы Б. Р. Виппера еще на одну область, от которой ему надо было бы отграничиться: не орнамент (стр. 80). Четвертая глава об античном искусстве богата особо меткими замечаниями (напр., об эволюции помещавшихся на древнегреческих вазах глаз, стр. 99), но в то же время и определенными натяжками. Неужели автор серьезно думает, что

«внутренний рисунок плоской чаши мы рассматриваем сквозь пространство, заключенное в глубине сосуда, сквозь некоторую среду» (стр. 95)? Вслед за Римом автор переходит к готике: где осталась Византия?—в праве мы спросить Б. Р. Виппера, именно в порядке его исторического построения. Как субъективно порою сказывается его истолкование, показывает его мнение, что в (раннем) готическом орнаменте «жизнь», его наполняющая, есть «жизнь предмета» (стр. 108). Мы, конечно, не станем, во что бы то ни стало, искать здесь предмет, характеризованный самим автором, как «неуловимый», и будем попрежнему следить за Ворринтером, считать орнамент раннего средневековья — выражением «беспредметной» жизни самого художественного средства линии. Эта глава вообще не столь удачна. Шестая глава имеет дело с кватроченто. Анализ автора, при приближении к более новому времени, становится все изысканнее, тоньше и вычурнее, нельзя же в серьез принимать положение, что Рафаэль превратил в своей «Афинской школе» свои группы в натюрморт (стр. 132). Глава о классическом искусстве, к сожалению, слишком эскизна. Мы во всяком случае ждали встретить хотя бы упоминание о чудесном ювелирном мастерстве Гольбейна или какого-нибудь Г. Милиха. Но импрессионизм автора достигает своего апогея в главе о Барокко, являющемся его настоящей специальностью. «Пространство у Тинторетто — это живое существо» (стр. 148). «Прикосновение их нежных рук к больному телу чуть уловимо и в то время сотрясает все *наше* тело» (152). Примером не столько стилистическим, как только что приведенные, но методологически важным для приемов описания и «переживания» автора пусть послужит следующее: кто видел «Амура» в Берлине, тот помнит, что за его чуть хвастливой усмешкой прячется не юмор, не теплое участие, а жуткий порок, притаившийся, как левая рука амура в тени, терпкий (?), как завернувшееся крыло, и все же равнодушный, как набросанные кругом предметы». Все это, конечно, остается на совести не художника, а писателя. Нас не удивит уже гипербола, что голландский стиль объединен «новым натюрмортом» (стр. 165). Книга кончается чуть кокетливо на самом интересном месте, до Рембрандта.

Наше подробное сопутствие Б. Р. Виппер у, надеемся, показало все особенности его книги: *талантливость мысли*, широта кругозора, чудесная порою умелость интуиции, глубина эрудиции— при нежелании себя праведно оковать границами более четкими, при склонности к гиперболичности и несвободе от *апперцепирования* темы своей в рассмотрении областей, которые не обязательно же должны давать одинаково обильную пищу исследователю. Боимся, что, доказав себя блестящим писателем, не дал Б. Р. Виппер в этой книге достойных себя доказательств серьезной чисто научной, и нам хорошо ведомой, одаренности своей как аналиста, историка и определителя. Впрочем: всегда хорошо, когда читателю явствует, что автор какой-либо книги имеет в себе больше возможностей, чем то в книге выражает.

Внешне книга издана недостойно своего содержания. Приложенные случайные таблицы иллюстраций абсолютно неудачны, помимо всего с текстом почти не связанные. Печать небрежна и изобилует опечатками, обложка и колькозиция страниц—провинциальны. Жаль, ибо работу Б. Р. Виппера, которой все же в праве, как первым своим оригинальным трудом, гордиться Московское искусствоведение, хотелось бы видеть изданной «по-немецки».

Проф. А. А. Сидоров.

МАРИЕТТА ШАГИНЯН. История искусства для консерваторий и музыкальных школ. Под редакцией А. С. Волынского. Выпуск I. Петербург. Государственное Издательство. 1922. 7—10+II; 96+XXII таблицы.

Нельзя не согласиться с основной мыслью предисловия: наши музыкальные учебные заведения очень нуждаются в курсах по всем отраслям искусств. Искусство в целом и его принципы, бесспорно, недостаточно известны деятелям музыкального искусства. В этом нуждается и будущий композитор, и пе-

вец, и исполнитель на каком бы то ни было инструменте.

Единый очерк всех искусств, изложенный под углом зрения цельного миросозерцания, задуман М. Шагинян; мир, как исходная точка—вот что лежит в основе воззрения автора на искусства. Как формальное оправдание, автор замечает, что весьма немногие ученики консерватории знакомы с университетом, где могли бы получить общее историко-художественное образование.

Соображение верное, но не слишком ли смело для автора надеяться, что предлагаемая книжка сколько-нибудь заменит университет. Если бы даже текст книги был вполне неоспорим, она все же мала для консерваторий. Консерватория, как высшее учебное заведение, нуждается в университетских курсах и по истории и теории музыки, и по литературе, и по истории искусств, и по эстетике, и по психологии и т. д. Московская консерватория уже давно ступила на этот путь.

Другое дело маленькие провинциальные школы, в роде той, где работал автор (Ростов-на-Дону). Но и здесь является сомнение, связанное с проповедью цельного миросозерцания. Дело идет не только об оценке личности автора, а об ученическом восприятии фактов. Как опасно здесь научную истину подменить выдумкой, хотя бы и интересной личности. Ведь мы в праве потребовать, чтобы эта личность обладала очень солидными и разносторонними знаниями и сама была бы творчески одарена в поднятых вопросах и темах своего изложения.

Вот почему интересная книжка для чтения, составленная автором, все же не учебник для школы. Сам автор признается, что книга писалась почти без пособий, которых достать было невозможно. Ссылок на ученую литературу мы почти не видим, как нет указателя той литературы, которая могла бы руководить далее в поднятых вопросах. Иллюстраций приложено мало, последняя—персидская колонна—отпечатана перекувыркнутой и они не связаны с текстом, текст не трактует о данных образах и не выводит никаких впечатлений, т.-е. смысл формы не раскрывается показательно.

Тут мы подходим к самому духу книги. Среди немногих ссылок на устаревшие или слабые труды (Шнаазе, Розенберг) находится (и в предисловии и в тексте) упоминание сочинения Морица Карьера «Искусство в связи с общим развитием культуры».

Ну, разве не заманчиво на крыльях единой мысли пронестись над всем человечеством? Но ведь для этого нужна была, скажем, к случаю, гегельянская философия и громадная эрудиция Карьера, чтобы составить его пятитомное сочинение. А с того времени мы приобрели многое, и знания, и методы, и осторожность. Лишь с этими данными опять в наши дни стали намечаться новые попытки синтеза, на основе принципов, свойственных природе самих изучаемых фактов и природе их изучающей науки. Отмечается подобное и в науке об искусстве. Есть ли и это у автора? Анализировать всю книжку в подробностях—значит написать другую книжку. Не можем только не сделать некоторых замечаний и среди них одного общего. Почему автор думает, что его книжка предназначена для музыкантов, а не для живописцев, скульптуров, поэтов и т. п. Ведь надо же считаться с тем, что воспринимать книжку будут люди с специфически развитым восприятием, с определенным уклоном художественного опыта. Связь форм всех искусств с формами музыкальными—вот что было необходимо. Показать однородность понятий ритма, отвлечения, метода композиции и проч. во всех искусствах. Поэтому-то именно так недостаточно анализирован вопрос о происхождении искусства, об его изначальной природе, хотя бы она на заре человечества и связывалась с другими переживаниями человеческого духа в известном синкретизме. Художественная воля, как способность ритма, свободы и отвлечения, отсутствует в изложении автора. Проникновенные мысли Ригля и Воррингера ему чужды, на орнаментику обращено мало внимания. Об искусстве доисторическом автор слишком поспешно судит по искусству дикарей. Слишком мало сказано о полудиких народах Америки. Впрочем, недостаточность предлагаемого материала так очевидна, что не стоит о ней особо

говорить. Что же было бы, если бы еще сократить общекультурные пояснения, например, в лекции III об Египте?

Своеобразная геометризация искусства в Египте, конечно, не может быть принята; толкование храма произвольно; употребление наклонных стен стоит в связи с происхождением египетской архитектуры от глинобитных сооружений, а композиция храма говорит лишь об отсутствии единства в здании, где помещения прицепляются друг к другу и к святилищу, как вагоны в поезде к паровозу. Суть дела заключается в функциональной аналитике предметов и их последующем синтезе вне представления, а лишь по отвлеченным понятиям. Кажется, именно египтяне обнаруживают себя в формах искусства, как любители отвлеченной математики.

Вряд ли можно говорить, что «любовь к качеству художественного материала» является отличием семита от египтянина; эта любовь встречается и у того и у другого. Более правдоподобными являются признаки материалистичности и движения (в чем автор видит экспрессию). Но пять ног у крылатых колоссов стоят в зависимости не столько от принципа движения, сколько оттого, что эти колоссы все же угловые рельефы здания, которые не следует рассматривать в $^3/_4$ (тогда видны все пять ног). Понятие круглой пластики, рассматриваемой при обходе, было чуждо семитическому Востоку.

Гораздо лучше написаны те главы книги, которые посвящены евреям Индии и Персии. Здесь поэзия и поэтизирующая философия, столь свойственные, повидимому, автору, вступают в свои права. Зато изложение пластических искусств страдает колоссальными пробелами; так от персидской архитектуры античной эпохи автор обращается к миниатюре XVI—XVIII в. в. (не приводя датировки!). Куда же делось все то искусство, с которым давно уже связывают художественный переворот в Европе, начавшийся еще в конце до-христианской эры?

Написанная хорошим языком и увлекательно, книжка зажигает любознательность—и в этом ее главная ценность.

Проф. А. Некрасов.

Г. ВЁЛФЛИН. Истолкование искусства. Перевод и предисловие Б. Виппера. Изд. «Дельфин». Москва. 1922 г. 40 стр. 16°.

Рекомендация Б. Виппера маленькой книжечки Вёльфлина, как «умной и остроумной», верно подчеркивает ее характер. Она представляет прекрасное по сжатости изложение взглядов швейцарского искусствоведа. Но она, в самом деле, пожалуй, черезчур осторожна, чтобы не вызывать некоторых, порой слишком распространительных, толкований. Сомнения возникают не по поводу самого Вёльфлина, а его интерпретаторов.

Такого рода мысли, что отдельный элемент формы получает свой смысл лишь в «одновременном охвате целого» произведения (11 стр.), что оценить художественную вещь можно лишь ее «собственным, а не чужим мерилом» (27 стр.), что «решающее в подходе к искусству заложено в эстетической оценке» (37 и 25 стр.), вошли, кажется, в плоть и кровь не только «формалистов», но и всякого «уважающего себя» искусствоведа, на какой бы точке зрения он ни стоял, лишь бы не считал в числе своих предков (блаженной памяти!) Стасова. Но не в этих отдельных, неоспоримых, давно знакомых, несомненно, ценных мыслях центр тяжести, а в том толковании формального метода, которое дается вёльфлиновской теории в искусствоведнических кругах.

Нет сомнения, что узкий «формализм», рассматривавший произведение искусства «вне времени и пространства» лишь в его «материальной» структуре, очень быстро изжил себя. К такого рода «формалистам» Вёльфлина, конечно, не отнесешь, как и они не сочтут его «своим». Но существует и другая крайность толкования формального метода, всецело покоющаяся на исторической основе понимания искусства. Это, так сказать, особая интерпретация формального метода в истории искусств, представляющая до некоторой степени contradictio in adjecto, если поставить твердые «точки над и» обоих понятий: истории искусств и формального толкования произведения искусства. Я склонен категорически противопоставлять этот формаль-

ный метод в истории искусства—формальному методу теории искусства.

При толковании взглядов Вёльфлина и «перетаскивании» его в разные лагери возникают разные интерпретации, рождающиеся потому, что Вёльфлин, боясь обвинения в узости, с крайней осторожностью трактует некоторые, чрезвычайно щепетильные для точного выяснения позиции вопросы.

«Истолковать художественный памятник—значит поставить оторванное явление в общую историческую связь—для того, чтобы сделать его по-настоящему понятным (10 стр.). «Кто привык рассматривать мир, как историк, тому знакомо чувство глубокой радости, когда глаз начинает различать, хотя бы на небольшом протяжении, причины и ход событий, когда все существующее теряет видимость случайного и становится необходимостью его возникновения» (19 стр.). «Изучай эпоху, и ты постигнешь ее стиль» (20 стр.). «История искусства переплетается с историей хозяйства, общества, государства» (21 стр.). «Для истолкования памятников искусства мы привлекаем жизнь во всех ее проявлениях». Из этих цитат видно, что путь Вёльфлина—не путь теоретика, утверждающего самодовление формы, а путь историка, лишь обновляющего сорную заросль академической рутинной истории искусства (ничего общего с искусством не имеющей), привнесением в историческое изучение искусства превалирующего значения формы, утверждающего смысл искусства «не в широких группах, не в стиле, а в отдельном произведении» (37 стр.) и вносящего эстетическую оценку, оценку качественную, как основную проблему истолкования искусства и, что важно, истории искусства.

Благодаря своей «историчности», Вёльфлин так близок к московским искусствоведам, почти исключительно историкам, а не теоретикам искусства. И вот тут-то происходит перегибание вёльфлиновских положений в другую сторону, затушевывание всех наиболее существенных достижений и оседлывание старого конька: искусство как выражение «стиля» времени и народа... Такого рода формальный метод, выражаясь мягко и тактично, вводит лишь в заблуждение о существе этого понятия в искусствоведении.

Во всяком случае маленькая книжечка, изданная «Дельфином», представляет ценность, как чрезвычайно сжатое изложение взглядов Вёльфлина. К недостаткам этого изложения можно отнести то, что ни из одного примера не сделано соответствующих выводов и что все они не являются поэтому яркими иллюстрациями высказываемых положений.

Николай Тарабукин.

«ВЕЩЬ». Берлин, №№ 1, 2 и 3, стр. 56, 1922 г.

Международное искусство, несомненно, уперлось в тупик. Его правое крыло беспомощно повторяет сезанновский и прочие зады, его левая часть, перейдя к беспредметным композициям, остановилась перед невозможностью дальнейшей эволюции в виду отсутствия новых организационных задач, в виду превращения продуктов творчества в окончательную, никакой «изобразительностью» не прикрытую (как у сезанновцев) самоцель.

Понадобилась пролетарская революция для того, чтобы «беспредметничество просто» перешло в конструктивизм, т.-е. в лабораторную обработку материалов с производственными задачами. Русское искусство нашло себе выход в слиянии индустриального труда с трудом художественным, сдвинутым с мертвой точки повелительными требованиями рабочей диктатуры и ее социальных идей.

На Западе ничего подобного, конечно, не произошло. Там левое искусство продолжает барахтаться в болоте самодельщины и индивидуализма. Правда, под влиянием могучих успехов техники, западные беспредметники отехнизировались, т.-е. впитали в себя технику чисто идеологически, стали чертить, а не рисовать, употреблять геометрические и технические формы, но все это в пределах все той же эстетической станковой картинки. Да это и понятно: при настоящих условиях художникам буржуазии Европы

отказаться от картины—это значит отказаться от всякого творчества; буржуазия знает либо голую технику, либо прикладничество, внешнее украшение вещей; левым путь в жизнь там отрезан.

Но и в России, несмотря на все растущие возможности (начинания профсоюзов, реорганизация Пролеткульта), идея производственного искусства не целиком захватила левых; человеческая психика сама собой не перестраивается в 2—3 года, и для многих из левых оказалось невозможным отречься от старого,—они решили примирить родную им, любимую самодельщину с новым представлением об искусстве.

Берлинский журнал «Вещь» и явился в результате своеобразного стыка между этой группой русских художников и левых художников «заграницы». Поскольку «Вещь», за искусство конструктивное, не украшающее жизни, но организующее ее, поскольку «для Вещи» «искусство—созидание новых вещей», поскольку, наконец, «Вещь» «не мыслит себе созидания новых форм в искусстве вне преображения общественных форм» (цитаты из декларации редакторов), постольку она представляет собою глубоко прогрессивное и, несомненно, революционное для Запада явление; нет поэтому ничего удивительного, что под знаменем «Вещи», а тем самым под знаменем Советской России соединилось все молодое и жизненное, что есть вне России (Чарли Чаплин, Крэг, Карл Эйнштейн, Глез, Голл, Леже, Жюль Ромэн, Северини, Вильдрак и т. д.). Кроме того, «Вещь» чрезвычайно симптоматична, как идеологический манифест художественного отряда наиболее передовой современной интеллигенции, а именно, интеллигенции технической, впервые выдвинувшей перед собой проблему организации вещей (вот темы двух номеров журнала: «Музыка и машина», «Беспредметный кинематограф», «Оптофонетика», «Дома сериями», «Литература и кинематограф», «Татлинова башня», «О фотогении», «О новой поэтической технике» и т. п.).

Но, с другой стороны, «Вещь» явно оппортюнистична. Ее декларация утверждает: «Всякое организованное произведение—дом, поэма или картина—целесообразная вещь», в 3-м номере эта мысль иллюстрирована более чем наглядно,—даны две фотографии,—паровоза и квадратика из кухни Малевича, а сбоку напечатано: «техническая вещь—супрематическая вещь».

«Вещь» не хочет и не может понять, что квадратик Малевича это не вещь, тем более не целесообразная вещь (как паровоз), а голая зрительная форма. Оппортюнизм «Вещи»—это оппортюнизм социальных условий, находящихся в состоянии брожения и сдвига, но не преодоленных революцией,—это оппортюнизм тех, кто хочет нового, но, не чувствуя под собой новой почвы, продолжает трусливо держаться за старое. Нет никакого сомнения, что революционный процесс добьется и на Западе полного отказа от картины, предоставив художнику реальные возможности в сфере производства, в сфере подлинно-органического созидания жизни. «Вещь»—переходное явление, и, как таковое, она полезна, но здесь перед нами только первый шаг, второй будет сделан самой жизнью в лице западного пролетариата, и тогда название журнала, действительно, целиком ответит его задачам.

«Вещь», хорошо иллюстрированная произведениями левых художников, помещает много стихов (Маяковского, Асеева, Есенина, Вильдрака, Ромена, Ив. Голла и других). Печатается журнал на 3-х языках: русском, немецком и французском. Его типографский монтаж в соответствии с идеями «Вещи» сработан в стиле новейших технических изданий.

Вообще «Вещь» не так далека от эстетизма, как ей кажется. Наоборот: вместо того, чтобы строить новую эстетику,—эстетику вечно изменяющейся, совершенствующейся, технически и социально целесообразной реальности, она провозглашает новый штамп все того же эстетизма, но с другим фетишем: современной техникой. Для нее техника не средство, а цель, и в этом ее основной порок, от которого ей следовало бы поскорее излечиться.

Б. Арватов.

К. МАЛЕВИЧ. Бог не скинут (Искусство. Церковь. Фабрика). Изд. Уновис. Витебск, 1922 г. Стр. 40.

Книжка написана изобретателем и главою супрематизма, К. Малевичем. Книжка может произвести двоякий эффект: разочаровать сторонников левого искусства и дать лишний козырь в руки его противников. Поэтому, прежде отзыва о самой книжке, несколько слов в разъяснение.

Супрематизм—одно из ответвлений т. н. беспредметного искусства (т.-е. искусства, не изображающего предмета). Современная дилетантская критика, возможная только при русской ненаучности и безграмотности в вопросах искусства, обыкновенно сваливает в одну кучу все течения в беспредметничестве, либо именуя их отрыжкой буржуазии, либо видя в них новую эстетическую Мекку.

Между тем, уже по одному, чисто *отрицательному* логически, названию (беспредметничество) можно было бы утверждать, что в нем возможны любые *положительные* задачи. Сказать: «беспредметность», это значит сказать «не изобразительность», но это еще никак не значит сказать, а что же вместо изобразительности.

И действительно, в беспредметничестве так же, как раньше в изобразительной живописи, борются два прямо противоположных течения, *ничего* общего друг с другом не имеющие: *экспрессионизм*. т.-е. искусство субъективных и эмоционально-анархических форм, идущее от Ван-Гога (Кандинский, Поль Клэ, Кокошка), и *конструктивизм*, т.-е. искусство технического овладения реальными материалами, искусство делать вещи, идущее от Сезанна (Татлин, Родченко, Стенберги). Первое течение ставит искусство выше жизни и хочет жизнь переделать под искусство, второе ставит жизнь выше искусства и хочет искусство сделать жизненным. *Для первого—форма* на первом месте, *для второго* на первом месте *цель этой формы*. Первое — метафизично, второе — позитивно; в первом—индивидуализм, во втором—социальность.

Куда же отнести супрематизм?

Вопрос этот сложен не по существу, а тактически. Дело в том, что супрематисты резко отгораживаются от компании Кандинского и, наоборот, льнут к противоположной группе. Отсюда—впечатление об их «революционности». На самом же деле супрематизм есть не что иное, как тот же экспрессионизм, но только не эмоциональный, а интеллектуальный; в то время, как экспрессионисты характерны полной формальной беспринципностью,—супрематисты, напротив, держатся строго-г еомерических форм (квадрат является «священным знаком» у всех супрематистов и нашит у каждого из них на рукаве куртки и пальто). Но этим исчерпывается вся разница. И те и другие рассчитывают на голое зрение; и те и другие строят свой воображаемый мир (напр., Малевич, по его собственному ответу, на прямо поставленный вопрос, намерен заменить нынешнюю вселенную вселенной супрематической); и те и другие хотят свое маленькое искусство, эту часть жизни, сделать религией и философией всей жизни в целом; и те и другие, не имея почвы в реальной действительности, вынуждены оправдывать свое искусство неприкрытой метафизикой; и те и другие—фетишисты формы. Новая книжка Малевича представляет собой попытку наметить пути «супрематической философии». Идеологический метод книжки вполне и до конца соответствует художественному методу ее автора: на протяжении всех 40 страниц он не супрематизм анализирует с точки зрения законов жизни, а, наоборот, расценивает жизнь с точки зрения законов выдуманного им супрематизма.

Отсюда выводы:

1) *Бог сделал ошибку, устроив мир с «пределом», т.-е. не супрематический (гл. 15).*

2) *Церковь и фабрика—это равноправные техникумы духа и материи (гл. 23).*

3) *Искусство стоит над ними, как царство гармонии и совершенства (гл. 29).*

4) *И церковь, и фабрика, и искусство, и разум, и все прочее на самом деле беспредметны, и только по чьей-то глупости этого до Малевича никто не понимал (гл. 18 и 20).*

5) *Череп человека равен вселенной и может поэтому ее переделать (гл. 9).*

6) *Мир стремится к единству, т.-е к богу, т.-е. к покою, т.-е, к небытию (гл. 18, 20 и 26).*

И еще неожиданнее:

7) а значит «бог не скинут» (гл. 33);

8) а значит марксизм—это «жратвенная» философия (устное заявление Малевича, а также гл. 24 и др.) и безумие.

Все эти мысли я с трудом выудил из книжки,—до того невразумителен ее язык. представляющий какую-то чревовещательную смесь патологии с маниачеством вырожденца, вообразившего себя пророком.

Уже раньше, до того, как я познакомился с идеями Малевича и с его сектой (супрематисты всегда напоминают мне хлыстов, у них есть и свой христос, и богородицы, и символы, и чуть ли не заклинания), я неоднократно указывал, что супрематизм—это злейшая реакция под флагом революции, т.-е. реакция, вдвойне вредная. Левое искусство, в лице его подлинно революционных групп (конструктивизм), должно беспощадно оборвать ту нить, которая связывает его еще с супрематизмом. После откровенного выпада Малевича даже сомневающиеся, даже близорукие сумеют под маской красного квадрата разглядеть черное лицо старого искусства. Малевичу нечего делать с левыми,—пусть он найдет себе место там, где его с удовольствием примут в рядах догнивающего индивидуалистического, доведенного до полного соллипсизма эстетства.

Б. Арватов.

БИБЛИОТЕКА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫХ МОНОГРАФИЙ ОТДЕЛА ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ КАЗАНСКОГО НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ. Выпуск I. Николай Иванович Фешин. Очерк Петра Дульского. Казанское отделение Государственного Издательства. Казань. 1921 г. 32 стр.+24 воспр.+2 воспр. в тексте.

Новая книга П. М. Дульского, неутомимого исследователя казанской художественной жизни, посвящена современному художнику Н. И. Фешину. Выход этой книги продиктован, главным образом, местным патриотизмом и с этой стороны является, конечно, ценным вкладом в литературу о казанском искусстве.

Автор довольно подробно освещает биографию Фешина, последовательное развитие его художественного дарования—годы ученичества сначала в Казани, потом в Петербурге, в Академии Художеств, его дальнейшую деятельность как участника русских и заграничных выставок, преимущественно Carnegie Institute, где оригинальная «разорванная» манера художника, повидимому, очень заинтересовала американскую публику.

Автор приводит здесь выдержки из обзоров, посвященных творчеству русского мастера. главным образом, известного за границей по ярким красочным вещам, не чуждым этнографического элемента.

Несмотря на такое отношение иностранных критиков, увлекающихся своеобразной экзотичностью художника, Фешин рисуется нам скорее как хороший рисовальщик и недурной портретист. Среди последних работ особенно выделяется портрет В. Адоратской, как справедливо указывает автор, любопытный по рисунку, оригинальной композиции, соединению на одном холсте портрета и nature morte'a.

Интересной является заключительная часть книги—анализ художественного творчества Фешина: здесь автор ставит мастера в связь с окружающими современными течениями в искусстве, указывает его место как ученика, самостоятельного художника и учителя. Тут же приведены слова самого Фешина, вводящие читателя в лабораторию его творчества.

Многочисленные воспроизведения сопровождают текст; жаль только, что они не вполне удачны; последнее объясняется, с одной стороны, мало отчетливой манерой письма художника, с другой—еще не вполне окрепнувшей репродукционной техникой. Бумага, особенно на обложке, несколько груба, но вполне удачен рисунок на ней, исполненный Фалилеевым.

К книге приложен хронологический указатель работ Фешина, значительно облегчающий рассмотрение его творчества.

Д. Греч.

ПОДМОСКОВНЫЕ. Выпуск I-й (составлен группой руководителей экскурсий по подмосковным). Москва. 1922 г. in 8⁰.

Новая книжка с многообещающим заглавием, повидимому, открывает собой серию выпусков, посвященных изучению подмосковных. Вернее, не изучению, а популяризации. Эта идея—уже не новая, но—увы!—как-то всегда остающаяся невыполненной. Так обстоит дело и теперь. Книжка рассчитана, должно-быть, как на руководителей, так и на участников экскурсий, заинтересовавшихся обаятельной стариной русских усадеб. В обоих случаях изложение не отвечает цели; слишком кратки обзоры, страдающие недостатком чисто фактических сведений, слишком много отведено места «лирике» в ущерб описаниям и художественному анализу. Есть в тексте ошибки, есть и неточности, главное же—черезчур случайным кажется выбор сообщаемых авторами сведений.

Совершенно непростительным является отсутствие библиографии. А ведь написано было не мало—неудачные выпуски Шамурина, издания С. Д. Шереметьева, путеводитель Бороздина, о котором уже приходилось говорить на страницах журнала, статья об Останкине в «Старых Годах», изд. Археологического О-ва, наконец, путеводитель Любецкого 1880 г. и многие другие материалы, не посвященные специально усадьбам, но дающие множество ценных сведений, не указаны авторами. Если не современный язык, можно было бы подумать, что описания подмосковных составлены в 80-х годах, так мало дают они нового по сравнению с книгой Любецкого. Впрочем. и язык довольно своеобразен, например: «засидевшись на пороге зрительной залы» (стр. 23). «Большая часть дворца занята парадными комнатами. Любопытно отметить, что самые нарядные из них связаны с искусством»... (стр. 22).

Обращаясь к содержанию, нельзя не остановиться на нескольких принятых составителями положениях: например, что выходящий в парк фасад дворца в Архангельском более домашний, чем дворовый—это является полным непониманием компановки усадьбы, именно рассчитанной на чрезвычайно парадный и эффектный вид с террас, со стороны сада. В статье об Архангельском почти ничего не сказано о театре, этом замечательном, великолепно сохранившемся памятнике усадебного быта, где не «были», но и сейчас находятся декорации Гонзаго.

Не упомянут также ряд замечательных комнат в доме—Ротариевская, сплошь увешанная женскими головками, старая библиотека, с длинным рядом шкапов и фигурой Руссо,—библиотека, до последнего времени сохранявшая свой прежний облик. Касаясь наружного вида дома, следует отметить пропущенное указание на перестройку его, на более поздний ампирный бельведер, нарушающий цельность здания, совершенно нелогичный, судя по плану дворца. В очерке, посвященном Кускову, находим довольно рискованное сближение усадьбы с царским селом. Если это вполне приложимо к гроту и некоторым другим постройкам, то во всяком случае не дает оснований распространять подобное утверждение на парк, скорее напоминающий в плане голландские затеи Петра Великого. Едва ли справедливо также, что гобелены, украшающие стены,—французской работы; их скорее можно считать памятниками русского, шереметьевского производства. Слишком обще говорит здесь автор и о портретах; помимо работ Ивана и Николая Аргунова, представленного рядом выдающихся вещей, в Кускове есть портреты Ротари, Гроота, Дела, Пьера Тончи, Таннауера, да и вообще портреты на стенах придают совершенно особый облик дворцу. Едва ли можно также по небольшому, сравнительно с домом, помещению библиотеки, давно уже увезенной из Кускова, выводить «преобладание определенных настроений в вельможном обществе».

Интереснее других написан очерк о Нескучном, где верно схвачен облик

усадьбы и тонко подмечено мастерство в древесных насаждениях.

Заметка о Воробьевых горах мало касается усадебной культуры, и потому мы не станем на ней останавливаться; что касается до Коломенского, то здесь все снова повторено по трафарету.

Вероятно, из-за недостатка места или из-за «переживательного» метода экскурсий, чуждающегося подробных сведений, лишь поверхностно обрисованы подмосковные усадьбы. Как бы то ни было, обильные лирические излияния, быть-может, и уместные в отдельных монографиях для передачи genius loci, помещены с явным ущербом содержанию.

Еще раз на страницах этого журнала приходится пожелать составителям очерков по подмосковным больше внимания, уважения и любви к старине русской усадьбы.

Д. Греч.

«КНИЖНЫЕ ЗНАКИ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ», под редакцией Д. И. Митрохина П. И. Нерадовского и А. К. Соколовского Петерб. 1922 г. Изд. «Петрополис». 8⁰. Стр. 240. 500 экз.

Наш интерес к «книжным знакам» удивлять не должен. Мы отнюдь не считаем пресытившимся эстетическим гурманством страсть к собирательству. Наоборот, мы очень хорошо знаем, что она рождена бессознательной часто, но искренней почти всегда преданностью настоящему и прошлому мигу родной культуры. Из частных коллекций вырастают музеи и архивы, лаборатории объективного знания, источник наших будущих идеологических и практических выводов. И когда эта собирательская страсть избирает себе объектом книгу и все, что с нею связано,—мы можем быть только рады. «Музей книги» будет; он уже в зародыше есть. Это будет чудеснейший из всех музеев; и книжный знак, «ex libris», в нем получит особый отдел. В нем пересекаются по существу две линии, обе имеющие чрезвычайный интерес для всякого исследователя. Одна из них повествует о психологии владельца книги, бросает яркий свет на то, как с книгой обращаются разные времена и разные социальные группировки, то-есть оказывается малой, но весьма интересной отраслью общественной науки («библио-психология»); другая—рассказывает о том, что делает с книгой (уже готовой, вышедшей из печати, приобретенной и переплетенной) художник-украшатель. Здесь книжный знак оказывается автономной отраслью искусства графики вообще, откликается на вопросы о психологии художественного творчества, являет великолепное поле для сравнений и сопоставлений. Если к тому прибавить, что книжный знак—обычно произведение печатного станка, выполненный механическим или граверным способом, то наш интерес к нему, думается, окажется оправданным до конца. Тем паче, когда, как в данном случае, он имеет объектом великолепно изданный большой том, изобильно украшенный, построенный по последовательно проведенному принципу: второму из нами намеченных. Петербургских авторов данного издания интересует творчество русских художников, выполнявших книжные знаки; и книга приобретает большое право на внимание со стороны истории современного искусства.

Означив так всяческое наше сочувствие петербургскому изданию, мы все-таки невольно не можем не обратить внимания на чрезвычайно для Петербурга характерную черту «эстетизации» всего, за что он не возьмется. Связи с современностью никакой не признает он; собирательство вообще и интерес к книжным знакам, в частности, Петербург отведет в область самого какого-либо ограниченного круга лиц; и тщательнейшим образом отмежуется от всякого более или менее серьезного вопроса. Ни проблем теоретических, ни социальных для него не подымется в связи с рассматриваемой им темой. Так, о книжных знаках можно было бы увлекательнейшим образом рассказать, как отражается в них социальное положение владельца. Разве не интересно, что порою знак, посвященный геральдическому символу рода, будет свидетельствовать тем самым, что

книга принадлежит «не мне, а моей семье». Разве не безынтересно отметить, что, бесспорно, самые безвкусные из всех книжных знаков принадлежали семье Романовых, выполненные все по одному шаблону: вензель под короной, окруженной сиянием. Более резкого утверждения интереса к собственному «я» трудно себе и представить. Мы не говорим уже, что чужды Петербургу вообще оказываются интересы теоретического искусствоведения; группировок художников и сравнительной оценки их работ в рассматриваемом издании нет. И неправ глубокоуважаемый П. И. Нерадовский, когда он говорит на стр. 39, что лежащие в основе «ex libris» принципы эмблематики и геральдики «столь чужды современности». Р. С. Ф. С. Р. имеет свой серп и молот; у профсоюзов есть свои эмблемы; мы могли бы присутствовать перед становлением новой и великолепной «геральдики труда».

Чисто с профессиональной теперь точки зрения придется отметить, что книга, к сожалению, богата погрешностями. Многие из них объяснимы спешкой, нежеланием довести свой труд до последнего уровня; так, невнимание, которым грешит книга по отношению к московским художникам книжных знаков; из них многие столь увеличили свой oeuvre (Фаворский, Купреянов, Павлинов, Кравченко, Энгельс, пишущий эти строки), что здесь книга оказывается с самого момента своего выхода устарелой. Другие ошибки извинить труднее. Авторы мало считаются с своими предшественниками, например, с «Русским книжным знаком» В. Я. Адарюкова, где опубликован второй книжный знак работы М. А. Врубеля (на стр. 32—утверждение, что Врубель исполнил только один ex libris). Еще хуже промах, в котором повинны оба автора книги: П. И. Нерадовский, составивший вступительную статью, и А. К. Соколовский, давший словарь художников. Л. О. Пастернаку приписаны три (Нерадовский, стр. 32) книжных знака, тогда как им выполнен лишь один, второй из отнесенных на его счет—работа его сына, А. А. Пастернака, чья подпись вполне ясна на воспроизведении. Впрочем, авторы петербургского издания многие книжные знаки описывают за глаза, и с такими ошибками, что поспешности издательства приходится удивляться. Вместо «Витова» словарь пишет «Витьева», вместо Парусинова—«Парусникова». Когда «Словарь» описывает книжные знаки, которые его составитель имел перед глазами, дело не лучше. Книжный знак Дмитриева, работы И. Н. Павлова, описывается так: «гравюра... с изображением церкви, возвышающейся на берегу реки, за крепостной стеной» (стр. 158). Изображен здесь—храм Христа Спасителя. Даже в описании столь близкого «Петрополису» книжного знака В. В. Воинова есть lapsus, перед дверью «одной залы Эрмитажа» стоит там не «греческая» статуя, а «Парис» Кановы (стр. 77). Есть пропуски имен художников, исполнявших книжные знаки и не только в наши дни (кроме А. Л. Пастернака, пропущен Р. Г. Жизневский, автор книжного знака А. Бачинского). Зато в число «русских художников» почему-то попал Генрих Кирбах, мастер вполне немецкий, житель Вены. Знак Тэффи не является ex libris'ом; вполне неправильно описан книжный знак Апфеля, сделанный Грузенбергом (здесь путаница со знаком самого художника); ex libris Романова (Павловский) опять, по мнению словаря, изображает «греческого юношу», тогда как на нем скопирован раб Микель Анджело с потолка Сикстины. Даты работ в большинстве указаны неточно. Многое другое; наш разбор нарочито подробен, ибо вскрывает все слабости поспешного библиофильства.

Внешне книга весьма интересна. Типична «Анисимовская» композиция, на этот раз свободная от претенциозности собственных трудов известного этого книгодела. Но есть и здесь дефекты. Мы считаем в корне неправильным воспроизведение только одного рисунка книжного знака без указания на формат и размер самого листа (напр., ex libris Нотгафта, работы Билибина). Но авторы вообще не сообщают ничего о вариантах отдельных ex libris'ов, их величинах, бумаге, на которых они воспроизведены. Почему? С точки зрения книжной композиции надо отметить неправильную верстку одной страницы с

цитатой (стр. 19). Краткие биографии художников так разнокалиберны и случайны, что от них, пожалуй, было бы лучше отказаться совсем.

В общем, чрезвычайно типичная для современного Петербурга книга, обладающая его всеми достоинствами и недостатками.

Проф. А. А. Сидоров.

Э. ГОЛЛЕРБАХ. Детскосельские дворцы музеи и парки. Государственное Издат. Петербург. MCMXXII. 8⁰. 120+1 нн. стр. 2.000 экз.

Этот путеводитель представляет нам бывшие дворцы Царского Села в совершенно ином виде, чем они были до революции. Устройство их в настоящем виде—работа специальной художественно-исторической комиссии 1917—1918 гг., и настоящий путеводитель является как бы отчетом этой большой и сложной работы.

Цель издания—«дать краткий и общедоступный обзор художественно-исторических достопримечательностей Детского Села». Предназначается он для широких масс народа, как пособие при осмотре, и помимо перечня предметов снабжен беглыми справками о стилях школах художеств и биографическими сведениями с характеристиками творчества наиболее выдающихся художников, скульпторов и зодчих. Этому назначению путеводитель вполне отвечает: составлен он толково со знанием дела и не перегружен излишними подробностями.

Наш «всероссийский Версаль» представляет огромнейший интерес и дает богатейший материал—и художественный и исторический. Здесь наглядно могут быть изучены все стили: и бароко, и рококо, и классицизм, а также художественные школы второй половины XVIII и первой половины XIX в. Наконец, здесь может быть изучен придворный быт с Елизаветинской эпохи до последней.

Путеводитель начинается небольшим предисловием, далее идут описания по комнатам: Большого дворца, Александровского дворца, дворца Палей и построек в детскосельских парках, затем: схема исторического развития Царского Села, литература о Царском Селе и указатели имен и названий. Путеводитель снабжен 6 планами.

Что касается биографических сведений о художниках, скульпторах и зодчих, то таковые приведены лишь к именам первостепенного значения, как говорит автор, исключение сделано отчасти для русских живописцев, а также для иностранцев, которые много работали специально над украшением дворца. «Понятие первостепенности» значения очень относительно, автор приводит сведения о таких художниках, как Ботман, Натуар, Каульбах и др., и не дает никаких сведений о Ф. Вувермане, Д. Тенире, Тьеполо и др., не указывает даже имени архитектора Руска, которого называет Руски (стр. 80), а между тем Луиз (Луиджи, Алоизий) Иванович Руска был большим мастером переходной эпохи от Кваренги и Камерона к Росси. Им были построены : Обуховская больница, Стрелецкий дворец, д. Мятлева, дом иезуитов, церковь Всех Скорбящих, кавалергардские казармы и др. постройки, не только в Петербурге, но и на юге России, в имениях кн. Кочубея, гр. Румянцева и др., им в 1815 г. было представлено в Академию Художеств «Recueil des Dessins de differents batiments, construits à St.-Petersbourg et dans l'intérieur de l'Empire de Russie par Louis Roezca, dédié à S. M. Alexandre I, empereur de toutes les Russies, avec la description». (Каталог Russica, III. II); Л. Руска 19 января 1815 г. был избран почетным вольным общником. С. Кондаков в «Справочнике Академии Художеств» (т. II, стр. 382) называет его академиком.

На стр. 47 автор указывает, что в постройке Александровского дворца принимал участие архитектор Н. Руско (?). В России работало пять архитекторов, носивших фамилию Руска, и ни один из них не носил имени, начинающегося на букву Н.

Что касается литературы о Царском Селе, то полнота сведений относится, главным образом, к последним годам. Но в общем это мелочи, которые не

могут умалять положительных достоинств этого путеводителя, составленного очень толково и с большим знанием дела. Издан путеводитель очень прилично и даже изящно и напечатан на хорошей бумаге.

В. Адарюков.

L'ESPRIT NOUVEAU. **Ежемесячный журнал. Париж. № 16. 120 стр. 8⁰.**

Пользуясь получкой № 16 журнала «L'esprit nouveau», я хочу отметить этот орган, о котором почти не упоминается в русской библиографической литературе, в то время, как этот журнал, выходящий в Париже уже второй год, является, может-быть, одним из самых интересных, посвященный всем передовым идеям в области искусства, науки, жизни. Несмотря на то, что программа журнала обширна и охватывает все области мысли, в нем искусству, и по преимуществу живописи, отводится много места. Объясняется это тем, что редакторами журнала состоят художники Озанфан и Жаннере.

В целом ряде номеров были напечатаны статьи, посвященные отдельным живописцам, как современным (Леже, Брак, Пикассо, Дерен, Меценже, Озанфан, Жаннере и пр.), так и прежним (Коро, Энгр, Пуссен и др.); статьи, разрабатывающие отдельные проблемы живописи, напр.. «Свет, цвет и форма» (Ch. Henry, Parlons Peinture—Z. Rosenberg), статьи по общим вопросам эстетики и, между прочим, ряд очерков Лало—«L'esthétique sans amour». Наиболее частыми сотрудниками по вопросам искусства являются: Ch. Henry, W. George, Vauvregy, Raynal, Corbusier-Saugnier и др. Последний, между прочим, напечатал целую серию очерков под заглавием: Des yeux qui ne voient pas... les Paquebots les toions... les Autos и пр.

В вопросах эстетики журнал часто расширяет границы чистого искусства и проводит мысль, что новая эстетика не может быть замкнута исключительно рамками т. н. искусства станкового. В № 16 может быть отмечена статья об архитектуре уже упоминавшегося Corbusier-Saugnier, посвященная Парфенону. В ней автор выдвигает три основных условия для произведения искусства, оно должно быть точно формулировано: должно заключать в себе единство движения и обладать определенным характером.

Различая в постройке утилитарную конструкцию от пластической идеи, Corbusier-Saugnier в собственной архитектуре видит проявление, именно, этого пластического принципа, относимого им уже не к строительному, а к композиционному искусству. Когда в произведении архитектуры эта пластическая идея создана не произволом, а обоснована точным математическим расчетом, мы воспринимаем постройку как гармоническое единство. В произведении искусства должно быть наличие «оси» (l'axe), которая является основой как природы, так и правильного функционирования утилитарных вещей.

Если произведение искусства построено по этой «оси», то в нас начинает вибрировать чувство, которое является откликом гармонического сочетания пластических элементов.

Живописи в № 16 посвящена статья Vauvregy под названием «Les fauves». «Фовистами» автор называет: Матисса, Гогена, Ван-Гога и др. представителей примитивистических форм в живописи. Но, расширяя понятие, он находит, что «fauvisme» присущ в известный период творчества почти каждому автору. Так и Делякруа, Курбэ, Сезанн, Пикассо, Дерен и др.,—все в свое время были «фовистами». Но для Сезанна этот период «фовизма» Vauvregy находит не характерным по сравнению с основной осью его творчества, которую он называет конструктивизмом и видит в Сезанне «великого предшественника кубизма».

В том же номере статья de Fayet, посвященная греческим вазам. В отделе библиографии упоминается, между прочим, книга Эренбурга, вышедшая в Берлине «А все-таки она вертится», о которой рецензент остроумно замечает, что Эренбург, говоря и о Пикассо и об интернационале, о Фармане и «dada», так торопится, что проглатывает слова и фразы, напоминая одного человека, который, желая сказать очень много,

только «взмахнул рукой и не сказал ничего».

Я не касаюсь остального материала в журнале, ибо моим намереньем было отметить лишь сторону изобразительного искусства в большом отделе «Beaux-arts». и среди всего, помещенного в номере.

Николай Тарабукин.

ЛЕШКОВ, Д. И. «Мариус Петипа» (1922—1910). К столетию его рождения. «Театральная библиотека», под общей редакцией А. С. Полякова. Выпуск I, II. Изд. Петроградских Академических Театров. 1922. 8⁰. Стр. 71+1.

Балет своей литературы, которая бы удовлетворяла требованиям научности, не имеет. Не имеет он также и своей методологии; долго, боимся, придется ему довольствоваться анекдотическими жизнеописаниями отдельных деятелей его или мириться с теми крохами, которые на его долю отведены драмой и музыкой, создавшими себе уже и теорию и историю. Это всеконечно жаль, ибо танец, одною из разновидностей которого является балет, поскольку он нас здесь интересует, есть искусство, наиболее достойное внимания и уважения, что в нем художественность обычно подвержена жестокому сомнению. Если воспринимать его как «дрыганье ногами на потеху праздной публике», то давно уже следовало бы его отменить. Но история не пойдет на это. Идеологическое обоснование танца как искусства, имеющего своей основной темой, может-быть, величайшую художественную организацию человеческого тела, есть одно из очень интересных заданий современной эстетической мысли.

Тем более приятно отметить попытку популяризации хотя бы балета в брошюре, посвященной одному из тех крупнейших сценических деятелей, которые создали для России славу классической страны балета.—Книжка Лешкова рисует жизненный путь величайшего, быть-может, балетмейстера XIX века, и делает это с любовным и тщательным уменьем. Петипа, проведший 60 лет на сцене академических театров, фигура столь характерная с самых разных точек зрения, что историк русского искусства невольно должен обратить внимание на его биографию. Именно с этой точки зрения жаль, что жизнеописатель мало останавливается хотя бы на социальном положении крупного артиста, давая между тем любопытные сведения о заработках руководителя нашего балета. Особенно пожалеет историк, что так вскользь, желая, очевидно, кое-кого оберечь, касается автор последнего инцидента в жизни Петипа его ссоры с «Дирекцией императорских театров», разоблачений и контр-разоблачений, связанных с концом его карьеры.

Чисто теоретически можно пожалеть, что в книге нет ни одного разбора более или менее конкретного постановочной работы Петипа, его искусства в полном смысле слова. Но это зависит уже от причин, на которые мы указали вначале: отсутствия методологии изучения танца. С этими оговорками издание Петроградских Актеатров, по внешности скромное и приличное, заслуживает привета.

Проф. Д. Сидоров.

Н. Н. ЕВРЕИНОВ: 1) «Первобытная драма германцев». Изд. «Полярная Звезда». ПБ. 1922. Стр. 31. 2) «Театральные инвенции». Изд. «Время». М. 1922. Стр. 14.

Есть такие судьбою взысканные лица, которые не поддаются сколько-нибудь «серьезному» гриму,—и чем значительнее морщит его обладатель свой нос и чем сосредоточеннее хмурит высокое чело, тем потешнее все это у него получается. Такова трагедия (или «козлогласие»—по переводу Н. Евреинова) иных писателей.

К последним как раз принадлежит и сам Н. Н. Евреинов. Нелишенный остроумия парадоксалист, светский эрудит и элегантный causeur на театральные темы, он иногда любит предпринять экскурсии в дебри науки. И тогда его грациозное порхание по библиотечным полкам, стремительное перелистывание затянутыми в раздушенные перчатки пальцами пыльных фолиантов являет

забавнейший контраст с его ужасно серьезной миной.

Его очерк «из праистории театра германо-скандинавских народов» подан со всеми гелертерскими онёрами (31 страничка оборудована 90 сносками), пестрит цитатами на всех языках и такими свирепо-«научными» транскрипциями, как «Bertho'ы»... И все же все это как-то совсем-совсем несерьезно. Какая-то фольклористическая каша—горячая, кипящая, булькающая пузырьками...

Почти всегда Н. Евреинов исходит из какой-нибудь маленькой, но небезосновательной идейки, заострив ее в более или менее эпатантный парадокс, начинает навертывать вокруг нее необузданное плетение словес. Парадокс разбухает, принимает размеры и формы римского огурца... Припертый к стене, беззащитный читатель только кряхтит, но бормочет: «А ведь и в самом деле. Оно—пожалуй».

«Когда детей учат, что *художественная* драма впервые возникла в Элладе,— им говорят правду. Когда их учат, что и *культовая*, обрядовая драма есть порождение эллинского гения,— детей уже вводят в явное заблуждение». Так задорно начинается брошюра о первобытной драме германцев. Мысль—не менее благонадежная, чем известный тезис о впадении Волги в Каспийское море... И стоит ли беспокоить себя и тревожить мирные тени почиющих писателей и ученых от Константина Багрянородного до Вильгельма Вундта включительно из-за пары, быть-может, уцелевших идиотов, все еще продолжающих «вводить в явное заблуждение»? Н. Евреинов находит, что стоит—и бросается проверять это положение в самую чащу германо-скандинавского фольклора...

Поиски «козла», конечно, увенчиваются успехом. Беда только, что Н. Евреинов не делает из него никакого употребления. Более того: утверждая, что «козел (коза) является косвенным виновником возникновения драмы», у всех европейских и передне-азиатских народов, он оставлянт в голове читателя, и без того ошеломленного этим непомерно раздувшимся «козлом», какой-то мистический сумбур. А между тем все так просто.

Настоящий ученый, а не «театральничающий под ученого для себя», выбрав умело всего две-три цитаты, установил бы, что праарийцы имели некий культовой обряд, религиозное действо, где в качестве «замбога» фигурировал козел, как его зооморфная эмблема. И не оттого козел, что будто бы он обладает какими-то «трагическими» свойствами (как, я боюсь, думает читатель Н. Евреинова), а в силу того прозаического обстоятельства, что зарождение этого культового действия, очевидно, приходится на эпоху, когда крупный рогатый скот не был приручен. А потом и пошло: у эллинов развилась из этого художественная драма, у германцев и славян ничего не развилось...

Почему не развилось? Вот это и есть настоящая историческая тема! Отсюда надо начинать. А Н. Евреинов, порезвившись около козла и поломившись в настежь раскрытые ворота, заступается ни к селу ни к городу за «гений германского народа» и ставит точку.

Вообще ведь этот разыгранный Н. Евреиновым ученый «театр для себя» показал одно: что автор до страсти, до самозабвения любит театр,—любовь, как известно, зла...

От «полюбившегося козла»—естественный переход к «инвенциям».

Здесь нанизаны друг на друга шесть парадоксиков, не отличающиеся ни особенной изысканностью, ни свежестью, ни... скрытностью.

Вот, наприм., инвенция «вторая»: «*В чем мой tonument (um) aere f(p?) erennius*. До сих пор думали, что театр там, где его здание. Прошли тысячелетия, прежде чем люди узнали *от меня*, что театр везде, во всем и всюду» (теократия—пантеизм)...

Вот девочка, вплетением ленточки в косичку «выполняющая акт *преображения*, спасительный в трагедии разочарованности этим миром»... Остальные «инвенции» так или иначе провозглашают лозунг *театральности*.

Пятнадцать лет назад это было ново и звучало «разрушительно». Но последние годы предъявили к этому лозунгу требование *конкретного* содержания, параллельно революция осложнила проблему до крайней степени. «Театраль-

ность» стала звучать просто плоско и пусто... Н. Н. Евреинов—

Все в той же позиции
На камне сидит.

Пожалуй, и настала пора подумать о «памятнике» Н. Н. Евреинову. Только лучше. когда это берут на себя другие...

Владимир Блюм.

ШЕСТЬ СТИХОТВОРЕНИЙ НЕКРАСОВА. Рисунки Б. Кустодиева. «Аквилон». Стр. 92. Петербург. 1922 г.

«Аквилон» взял блестящий реванш. После малоудачных изданий «Бедной Лизы» и «Скупого рыцаря», «Шесть стихотворений Некрасова» радуют и привлекают. Перед нами, несомненно, одна из самых красивых книг русского книжного рынка. По настоящему времени—чудо и шедевр типографского искусства. Как книжный иллюстратор, Кустодиев выступает едва ли не впервые. По справедливости нужно признать это выступление блестящим, оставляющим далеко позади многое из того, что в этой области было достигнуто русскими графиками. У Кустодиева нашелся настоящий лиризм, подлинное чувство русской природы. Нежная литографская пыль его заставок и концевок, как нельзя лучше, сочетается с текстом. По своей редкой цельности и органичности перед нами в полном смысле слова художественное, не грешащее дурным эстетизмом («Бедная Лиза»), издание.

Оно делает честь молодому петербургскому издательству.

В. Блох.

ЗАМЕТКИ О ЖУРНАЛАХ.

«Журналист», ежемесячный журнал, № 1. Сентябрь 1922. Москва. Изд. Центр. Бюро Всеросс. Секции работников печати при союзе Всеработпрос. Стр. 80.

Положение нашей печати плачевно. Провинция стонет от экономических тисков нэпа. Газетные сотрудники разбегаются. Один за другим лопаются местные органы. А те, что выживают, влачат существование не только жалкое, но временами постыдное. Нэп, одной рукой душа нашу печать, другой ласкает ее, и на страницах наших органов зацветают цветы такой идеологической дряни, которая красовалась в старое время лишь на презренных задворках бульварной печати. Это последнее, развращающее влияние нэпа особенно опасно. И совершенно своевременно выброшен боевой лозунг: борьба с развращающим влиянием нэпа, борьба за спасение и оздоровление нашей прессы.

Эту именно задачу, в качестве центральной, и ставит себе «Журналист». Нельзя поэтому не приветствовать его появления. Этот крайне необходимый орган призван сыграть огромную роль в деле подъема нашей печати на должную высоту. Ему предстоит блестящее будущее, если он в должной мере соберет наши передовые силы и сумеет дать им верное направление.

Вышедший только что номер производит в общем благоприятное впечатление. Внешность его прекрасна, быть-может, несколько эстетна, напоминающая слегка петербургский «Аполлон» своими широкими страницами, с прекрасным набором и хорошей версткой. Но этого ему в упрек мы ставить не будем. Несколько отстает от внешности его содержание. Здесь можно было бы дать больше. Многое можно было бы еще более заострить, ибо ценность «Журналиста» находится в прямой зависимости от его боевых качеств. Это должен быть орган разоблачающий, полемизирующий, беспощадно выводящий на дневной свет все пятна нашего газетного дела. А пятен много.

Из статей первого номера наиболее порадовала нас блестящая, сжатая (и потому сильная) статья т. С. Ингулова—«Муть». Она как раз посвящена центральному вопросу—о развращающем влиянии нэпа. В ней приведены «цветочки», и искусно собранные в небольшой букет, они производят гнетущее впечатление. Враг показан ярко, картина получилась выразительная. К сожалению, т. Ингулов коснулся лишь небольшого числа провинциальных газет. Он оставил в тени столичную прессу. А на нее-то и следовало обратить наибольшее внимание. Ведь совершенно ясно, что именно столичная пресса задает тон провинции И если мы из Москвы будем указывать на «сучки» наших провинциальных изданий, провинция с полным основанием сможет ответить евангельским изречением: «Врачу, исцелися сам». Многое, конечно, сможет указать провинция столичному журналисту, как это с большой доказательностью сделал на заседании расширенного пленума Ц. Б. Всерос. Секции работников печати в Доме Печати 1 октября т. Костров из Киева. Он дал т. Ингулову благодарную тему—гнойники и язвы столичной прессы.

Из остальных статей, довольно разнообразных, отметим т. Белякова: «О свободе критики». Эта тема своевременна. На развалинах старого быта возникает новый. Причудливо переплетаются уцелевшие обломки старины с новыми ростками. Иной раз получается нелепая амальгама, в которой надо разобраться. Это требует открытого разговора во всеуслышание. Мы организовываем новое общество. Нам необходимо общественное мнение. Этого мнения не организовать, не ставя перед ним наиболее острые вопросы. Мы не заинтересованы в сокрытии теневых сторон нашего сегодня. Напротив. Эти теневые стороны мы всемерно должны подчеркивать, освещать, разоблачать—иначе ведь мы их не победим. И совершенно правильно т. Беляков замечает, что в нынешних условиях мы можем «позволить себе бо́льшую свободу критики, чем до сих пор».

Из остальных статей отметим т. А. Голубева «Периодическая печать Р. С. Ф. С. Р., Л. Тарского «В тисках нэпа» (к вопросу о финансовом кризисе печати), К. Новицкого «Газетное дело, как предмет преподавания».

Совершенно лишними мы считаем статьи Ю. Соболева «О птицах живых и мертвых» и дружеские пародии Л. Митницкого. Это, так сказать, материал «для чтения». Соболев рассказывает о писателях Н. Ляшко. Б. Пильняке, Всеволоде Иванове. Это обычная критическая статейка, каких много в наших журналах и газетах. Следует ли «Журналисту» заводить такой отдел на своих страницах? Нет, не следует. Прежде всего, «Журналисту» надо каждый вершок своего текста посвящать непосредственным своим задачам, *которых не осуществляет никто*. У «Журналиста» *свои* задачи. А статьи о современной художественной литературе, поэзии, театре и т. п. читатель «Журналиста» прочтет в «Красной Нови» или в другом каком-нибудь издании. Ведь не предполагает же редакция «Журналиста» удовлетворять все культурные запросы своей аудитории. Нет, конечно. Тех 80 страниц, которыми располагает «Журналист», едва-едва хватит на разрешение своей главной, непосредственной задачи.

То же самое приходится сказать о «дружеских пародиях». Они не плохи. Но нам думается, что вместо этих безобидных безделушек редакции «Журналиста» следует завести отдел жестокой сатиры, не церемонящейся ни с кем и ни с чем,—этакую «черную доску» или «позорный столб». Сатирический отдел в «Журналисте» желателен, но содержание его опять-таки должно быть ограничено теми узкими, но глубокими задачами, которые ставит себе этот орган. Не растекаться во все стороны, а концентрировать свое содержание. Бить в одно место. Некий видный военный специалист выразился как-то, что для победы надо бить сжатым кулаком, а не растопыренными пальтами. «Журналист» пальцы «растопыривает».

Ценны отделы: «Наша жизнь», «Провинция». Эти отделы придется расширять. Они крайне необходимы. Расширить также следует обозрение заграничной печати. Мы считаем полезным завести «Почтовый ящик». Ответы на запросы провинциальных газетчиков сослужат им большую службу. Это—во-первых, а во-

вторых. они послужат способом выяснять и нужды и общее положение журналистики на местах.

Несколько карикатур освежают содержание номера. Жаль только, что редакции не удалось привлечь наших первоклассных карикатуристов. «Журналист», издающийся в Москве, должен показать провинции, *как надо делать карикатуры*,—и здесь без Моора, Дени и Черемных не обойтись. Эти мастера не без успеха поспорят с лучшими карикатуристами Европы. Впрочем, о молодом Б. Ефимове заметим, что среди самых сильных он не будет последним. Большой талант. Портрет лорда Нортклиффа можно было с успехом не печатать.

В заключение—пожелаем новому собрату процветания и энергии. Задачи его—первостепенной важности. Аудитория обеспечена. Первый номер говорит, что эта задача будет выполнена с успехом. Ждем с нетерпением следующего номера.

Вяч. Полонский.

К статье „Русская графика". Рис. М. Черемных из „Бов'а".

СОДЕРЖАНИЕ.

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ.

Стр.

1. *М. Павлович.* Под пятой Карфагена 3
2. *М. Покровский.* Граф С. Ю. Витте. Воспоминания 11
3. *Г. Баммель.* Сумерки идеалистической философии 22

Искусство и литература Р.С.Ф.Р.С. в эпоху революции (1917—1922 г.).

4. *В. Брюсов.* Вчера, сегодня и завтра русской поэзии. 38
5. *Н. Асеев.* Художественная литература 68
6. *А. Луначарский.* Театр Р. С. Ф. С. Р. 80
7. *Л. Сабанеев.* Русская музыка за время войны и революции. . . . 91
8. *А. Сидоров.* Русская графика в годы революции. 100
9. *Б. Арватов.* Изобразительное искусство 140
10. *Н. Ефимов.* История русской литературы за годы революции. 147

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ И ПЕЧАТНОЕ ДЕЛО.

11. *Н. Яницкий.* Некоторые итоги деятельности Книжной Палаты последних лет 162
12. *М. Щелкунов.* Законодательство о печати за пять лет 172
13. *П. Гуров.* Новая библиотека и ее читатели 189

ОТЗЫВЫ О КНИГАХ.

I. Империализм и международная политика. Ф. Капелюша, И. Майского, И. Звавича, ... 201
II. Экономические науки и народное хозяйство. С. Членова, Г. Эльяшева, А. Бессера, И. Степанова. 212
III. Рабочее движение. В. Яроцкого, А. Чекина 218
IV. Промышленность и техника. Д. Крыпина, П. Риццони, А. Мозера, Б. Тычинина, С. Обручева, А. Скочинского 222
V. Литература о востоке. М. Павловича, А. Аросева 237
VI. История революции. А. Дивильковского, П. Лепешинского, Д. Волковичера, С. Пионтковского, В. Полонского, И. Аксенова 240
VII. Философия, психология. П. Никсанова, Г. Баммеля, П. Преображенского 251
VIII. Языкознание. М. Петерсона, С. Боброва 256

IX. Книжное и печатное дело. М. Щелкунова 257
X. Библиография и библиотековедение. А. Сигорского, Е. Хлебцевича, Н. Орлова 262
XI. Науки о природе. М. Завадовского, В. Шарвина, Н. Андреева, А. Тимирязева, В. Арнольди, Б. Завадовского, С. Конобеевского, А. Немилова, Е. Аркина, А. Крубера, Н. Изгарышева 265
XII. Медицина и народное здравие. В. Сукенникова, И. Гельмана, В. Гуревича. Н. д'Аммелиус, А. Перунского, Л. Прозорова, Е. Трапезонцевой 280
XIII. Теория и история литературы. Н. Бродского, М. Пиксанова, Д. Благого, К. Локса, П. Преображенского, А. Цинговатова, Д. Горбова, П. Когана, В. Фриче 289
XIV. Художественная литература. Д. Горбова, И. Аксенова, Н. Асеева, В. Блюма, И. Кубикова, А. Барковой, А. Елизаровой, К. Локса, А. Гурштейна. 307
XV. Искусства. А. Некрасова, Г. Жидкова, А. Сидорова, Н. Тарабукина, Б. Арватова, В. Блюма, А. Греча, В. Блох, Н. Стефановича, В. Адарюкова 331
XVI. Заметки о журналах. В. Полонского 352

Книга иллюстрирована графическими работами из русских журналов и книг вышедших в 1917—1922 гг.

К статье „Русская графика".